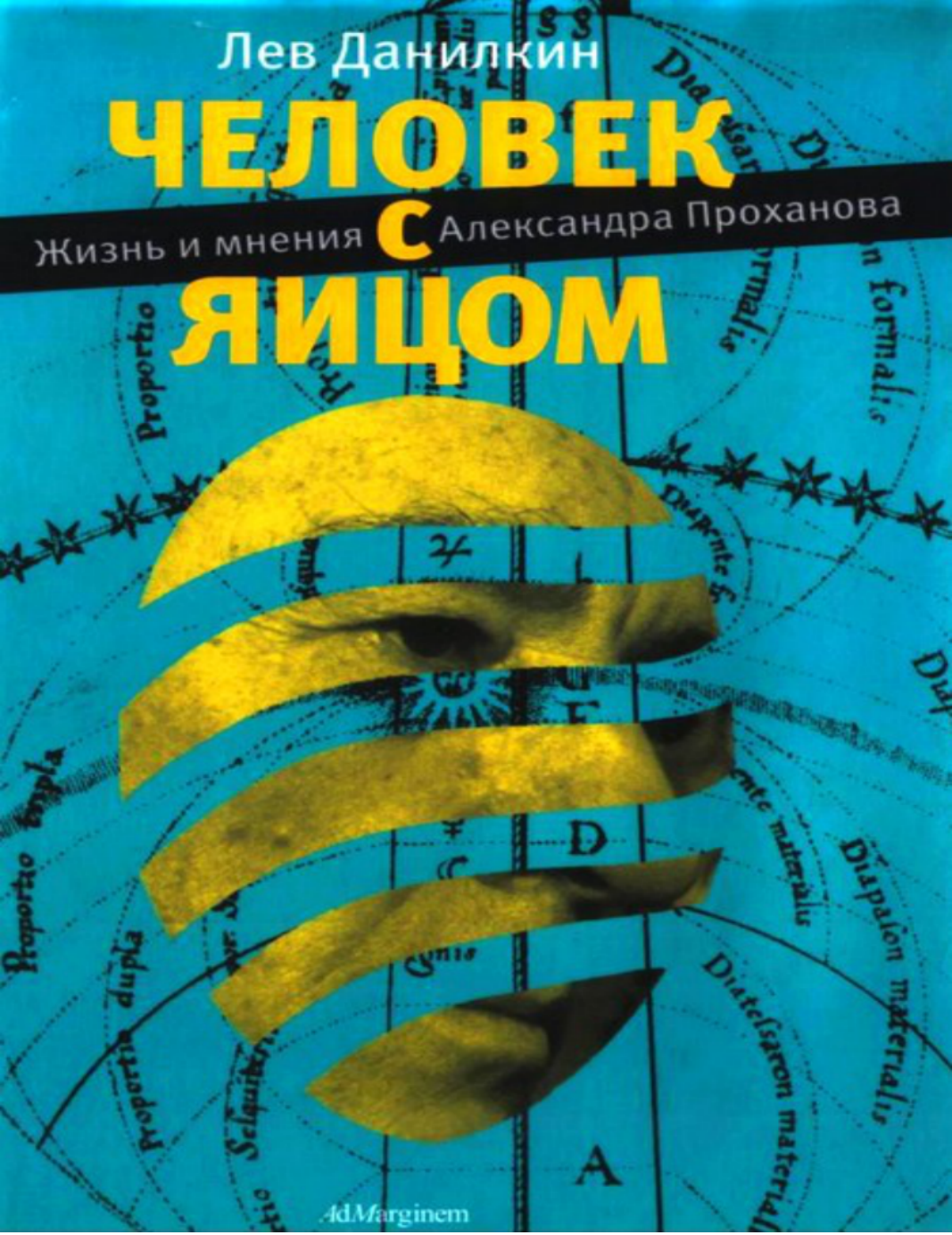
Лев Данилкин

ЧЕЛОВЕК С ЯЙЦОМ

Жизнь и мнения Александра Проханова



Ad Marginem

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Еще в рукописи эта книга вошла в шорт-лист премии «Большая книга»-2007. «Человек с яйцом» — первая отечественная биография, не уступающая лучшим британским, а Англия — безусловный лидер в текстах подобного жанра, аналогам. Стопроцентное попадание при выборе героя, А. А. Проханова, сквозь биографию которого можно рассмотреть культурную историю страны последних пяти десятилетий, кропотливое и усердное собирание фактов, каждый из которых подан как драгоценность, сбалансированная система собственно библиографического повествования и личных отступлений — все это делает дебют Льва Данилкина в большой форме заметным литературным явлением.

- Лев Данилкин
  -
  - Пролог
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12

Лев Данилкин
Человек с яйцом: Жизнь и мнения Александра Проханова

— Шалтай-Болтай был пророком, человеком, изрекавшим истины, к которым мир еще не готов. — Человеком? — Простите, оговорился. Хотел сказать — яйцом. Впрочем, оговорка моя не случайна и весьма симптоматична, ведь все люди в каком-то смысле яйца. Мы существуем — но мы еще не достигли того состояния, которое предначертано нам судьбой. Мы ведь существуем лишь потенциально, являясь примером «еще не состоявшегося». Ведь человек — существо падшее, мы знаем это из Бытия. Шалтай-Болтай — тоже падшее существо. Он падает со стены, и никто, ни королевская конница, ни королевская рать, не могут его «собрать». Вот к этому-то мы все и должны стремиться. В этом наш человеческий долг — подобрать упавшее яйцо. Ибо каждый из нас, сэр, — это Шалтай-Болтай. Помочь ему означает помочь нам самим.

Пол Остер

ЧЕЛОВЕК С ЯЙЦОМ

Эта биография — первая в своем роде отечественная попытка жизнеописания живого человека с мнениями (в отличие от человека с мнениями, но мертвого или человека живого, но спортсмена).

Коммерсант

Сочетание яростной пассионарности Проханова — «русского Киплинга», — неоднозначности героя и осведомленности очевидца, с остроумным и искренним — редкое сочетание! — тоном рассказчика, придает этому «документу эпохи» ритм и дыхание увлекательного романа.

Собака. Ru

Кто бы смог подумать, что «глянцевый» Данилкин часами, днями и месяцами специально беседовал с Прохановым, ездил с ним по «местам боевой славы», сидел в редакции «Завтра», слушая бредни прохановских сотрудников. Наконец, он перелопатил гору газет, журналов 60–70-80-х годов. Наконец, он прочитал (и въедливо) всего Проханова! Книга отменно выстроена и закольцована. Браво. Завидую.

Павел Басинский / Литературная газета

Сначала я хотел записать серию интервью и стачать из этого пинг-понга — вопрос-ответ, вопрос-ответ — книжку «Разговоры с Александром Прохановым» в том же жанре, что «Диалоги с Бродским» Соломона Волкова. Но Проханов играл со мной в какой-то странный пинг-понг: я-то подавал по правилам, а он все время перекидывал обратно через сетку то шарики, то какие-то шевелящиеся комки, из которых торчали перепончатые лапки. Его реплики были нейробомбочками, которые хотелось разглядывать. Какие-то из них смущали меня, ускоряли или замедляли химические реакции у меня в голове. Каждый раз он сообщал мне что-то такое, от чего менялась моя картина мира — и я сам. Мне показалось важным фиксировать эти сдвиги, и тогда это стало — в жанровом смысле, разумеется, — походить на книжку Босуэлла о Джонсоне. В ней появился сюжет, связанный с взаимоотношениями автора и субъекта биографии. Потом и этого показалось мало, я стал читать старые газеты, встречаться со свидетелями, комментировать услышанное, куда-то пришлось съездить. Так это превратилось в нечто странное: здесь есть и беседы, и мои соображения о прочитанном, и описания путешествий, и персонажи-двойники, и две причудливые интермедии, мои лирические какие-то, прости господи, отступления. Когда все это кое-как спеклось, мне показалось логичным дать книге подзаголовок «Жизнь и мнения Александра

Проханова».

Лев Данилкин

Пролог

Теоретически всем известно, что Дух дышит где хочет, но, почувствовав ветер Иного собственной кожей, мы склонны списывать свое ощущение всего лишь на «странные обстоятельства». Первый раз мы встретились с героем этой книги при странных обстоятельствах. Однажды, дело было осенью, я направлялся в Музей кино. В кармане у меня лежал заблаговременно приобретенный билет на фильм «Птицы». Вверх по эскалатору «Баррикадной» ехал я один, зато на том, что спускался, происходило нечто необычное: словно гигантского людоеда, посмотревшего безобразный фильм, вырвало в рукав. С улицы доносился тревожный рокот — тот же звук, много лет спустя, издавали гигантские боевые треножники инопланетян в спилберговской «Войне миров», да и сама площадь легко сгодилась бы для съемок картины о начале космического вторжения. По пятачку перед входом в метро металась массовка — старухи с транспарантами, подростки в кожанках, синие воротнички, торговки с беляшами. В начале 90-х в Москве бывало всякое; рассудив, что, не разбив яйца, не сделаешь яичницы, я двинулся против течения — к Музею кино, центру этого бурления. Скоро я оказался у полупустыря-полускверика. Посреди, омываемый ордой людей, покачивался, будто на якоре, грузовичок; на него карабкался какой-то тип в демисезонной одежде. Сграбастав мегафон, этот субъект — крупная бизонья башка, пегие всклокоченные волосы, массивный лоб, глаза-бусинки — не нашел ничего лучшего, как утешить толпу не попавших в Музей кино зрителей слоганом, похожим на рекламу пива: «Держись, народ!». Тут же чьи-то серые руки вцепились ему в штанины и бесцеремонно стащили его вниз; он потонул в людской слякоти. Машинально сфотографировав в памяти этот эпизод, я продолжил свой путь. Музей кино оказался наглухо заперт; деньги, потраченные на билет, пропали. Это все из-за таких, как он, подумал я про «держись-народ», ну чего ему дома не сидится, чего он кино мне не дает смотреть?

Как и «все», в глубине души я относился к романисту Проханову глубоко скептически — ходячий курьез, отгружающий по два талмуда в год, с самыми нелепыми сценами, какие только можно себе вообразить; ну да, «так плохо, что уже и хорошо». Одновременно, парадоксальным образом, он вызывал прилив симпатии — как эстетически прекрасный объект, безусловная антропологическая удача, крупный экземпляр — горилла среди

мартышек. В России не так много персонажей, стопроцентно приемлемых для мирового каталога эксцентриков всех времен и народов, и Проханов относится к ним вне всякого сомнения: киплинговско-индиана-джонсовские приключения, лидерство в духовной оппозиции, дурной вкус — антисемитизм, светлые томвулфовские костюмы, глазуновские портреты.

Жизнь Проханова — идеальный материал не только для серии «ЖЗЛ», но и для голливудского байопика; месторождение, где даже самый ленивый биограф может ставить буровую и без каких-либо усилий качать грошовую нефть, не беспокоясь об иссякании запаса; куча странных коллизий, контрастов, анекдотов, профессий, хобби, экстравагантных знакомств, перемещений, конфликтов, оригинальных особенностей поведения.

Человеку, решившему ознакомиться с творчеством Александра Проханова в полном объеме, лучше всего первым делом пойти в отдел кадров и отнести туда заявление об увольнении по собственному желанию. На поздравление с выходом нового романа Проханов обычно благодарит и рассеянно замечает, что, кстати, сегодня он как раз закончил еще один. Решаясь приступить к исследованию этого чересчур богатого материала, я убеждал себя: быть читателем Проханова — значит состоять в некоем клубе эксцентриков; он как вино из знаменитого виноградника, при этом такого урожая, который всеми экспертами признается испорченным, — но есть чудаки, наоборот, восхищающиеся присутствием в напитке особенных оттенков вкуса. И даже если оставить в покое собственно органолептические методы, следует признать, что, в любом случае, это аномальное пойло может рассказать о той почве, на которой вырос виноград, больше, чем стандартный продукт брожения — и уже поэтому представляет интерес.

Неочевидный интерес: у Проханова много книг, но мало читателей. Назначение романа «Господин Гексоген» «национальным бестселлером» выглядело оксюмороном. Как выразился в свое время некий Юмбло, отвергший от имени издателя Оллендорфа рукопись «В поисках утраченного времени»: «Возможно, конечно, это следствие моей ограниченности, но я не в состоянии постичь, зачем описывать на тридцати страницах, как человек ворочается в постели перед сном». Можно представить, как отреагировал бы этот нетерпеливый читатель на пятидесятистраничные мемуары о бабушкином бульоне и лиловых сосках африканской любовницы.

Читать Проханова без путеводителя может показаться так же скучно, как ездить по протяженной и невыдающейся в

ландшафтном отношении стране (ничего личного) без проводника. Бесконечные отступления, блуждания по патриотическим катакомбам, босхианские ассамблеи, экзальтированные филиппики, литании красных духов; мне множество раз приходилось держать в руках в библиотеках прохановские романы, ни разу, судя по формулярам, не востребованные за двадцать, а то и тридцать лет.

Мне известны несколько людей, которые, испытывая к автору искреннее уважение, не готовы работать мачете, чтобы пробиваться сквозь сельву его текстов. Ученый С. Солнцев, не отрицающий, что «Проханов — прежде всего искренний и пламенный борец за Красную империю», подчеркивает, тем не менее, что «писатель он постольку, поскольку он борец за эту идею». Философа Дугина мне удалось поймать на слове в тот момент, когда спросил, похож ли, по его мнению, Проханов на генерала Белосельцева. После неловкой паузы — единственной посреди великолепного монолога-экспромта — он сказал: «Знаете, может, это не для книги, но я, честно говоря, ни одного произведения Александра Андреевича не читал. Это не принципиальная позиция, но так получилось. Не хочется его обижать, но…» Что «но»? Получается, он не воспринимал Проханова как писателя? «Знаете, избитая шутка: „Вы читали Бальзака? — Нет, я с ним обедал“. Такой яркий человек, веселый публицист и единомышленник… мне казалось, что при таком интенсивном взаимодействии литература может подождать — потому что для рефлексии, фиксации, параллельной, выдуманной истории нет места. Мы делали историю, мы могли написать призыв на баррикады и тут же пойти туда. Литература — осмысление, для нее нужен человек вне истории». Означает ли это, что даже среди сотрудников у него была репутация графомана? «Он человек действия, мне не интересны были продукты его литературной рефлексии, он был интересен как Актор». Впрочем, и Дугин с удивлением отметил, что даже «среди самых вменяемых людей» у Проханова находились читатели; хотя — «я некомпетентен, у меня консервативные литературные вкусы».

Итак, «всем» Проханов известен как невыносимо скучный конъюнктурщик-лакировщик-соловей Генштаба в советское время — и «красно-коричневый» графоман, показавший зубы после перестройки, когда ему пришлось расстаться со своим привилегированным статусом в иерархии обласканных властью лиц, которым он обладал в советское время. Это обывательское — «официальное» — представление, безусловно, имеет право на существование, и некоторые факты из биографии Проханова, не

говоря уже о тех цитатах, которые легко выудить из его произведений, дают право выстроить модель его личности именно таким образом. Точный список претензий, прибитых на его доме коллективной Натальей Ивановой, выглядит следующим образом: антисемитизм, биоагрессивность, стилистическое дурновкусие, графомания, конъюнктурщина, политическая беспринципность, обскурантизм, ханжество.

Между тем, посвятив некоторое время тщательному изучению его творчества и проведя в его обществе несколько десятков часов, я бы не торопился соглашаться с этими претензиями. Кое-кто мог бы назвать этот список сводом заблуждений.

«Человек с яйцом» начинался как биография эксцентрика, отчасти даже «маэстро дурного вкуса»: человек предпенсионного возраста, швыряющийся бутылками с зажигательной смесью в правительственные бэтээры, «потомственный английский шпион», «кампучийский сатир отечественной словесности», автор небылиц о гигантских соленоидах, теле- и радиобуффон, превращающий самую скучную передачу в феерию. Автор будущей биографии воображал себя беспристрастным исследователем азиатских нравов и ненормативных стилистик: все мы так или иначе склонны искать себе не только идеальную пару, но и абсолютного Другого. Идти по следам этого старика с большим-большим приветом оказалось крайне увлекательно — я опускался в пещеры, поднимался на башни, угорал в бане, звонил в колокола, слушал голубые гнущиеся пластинки, поил лебедей кофе, бродил по царству слепых, посетил избушку колдуна, бандитский шалман, трапезную попа, редакцию журнала «Знамя» и логово гэкачеписта. Однако наслаждаясь обществом «безумного дервиша», культивирующего познание через мистический опыт, «дионисийское» откровение, я столкнулся с тем, что сам объект всю дорогу очевидно оставался в высшей степени «аполлоническим» интеллектуалом, проницательным аналитиком и расчетливым мудрецом; и не так уж просто было смоделировать концепцию, объясняющую, как уживаются в одном человеке две противоречащие друг другу натуры; это заняло какое-то время. Я глубоко благодарен Проханову за то, что фактически он подарил мне этот конфликт, эту коллизию, этот сюжет, надиктовав мемуары, с которыми сам бы справился бесконечно сноровистее.

Примерно десять лет спустя после эпизода с «Держись, народ!» у меня появилась возможность рассмотреть низвергнутого с трибуны горлодера с более близкого расстояния: лицо в возрастной гречке, сарматский шлем седых волос, крупный, в старческих свищах, нос, покрытый багровыми

капиллярными рисунками, надменные тонкие губы, золотая коронка, обильные, баварского производства, пальцы. Примечательно: если абстрактный «Проханов» воплощает все то, к чему я привык относиться скептически, то конкретный «Александр Андреевич Проханов» необычайно аттрактивен. Выслушав мой отчет о сорванной благодаря ему попытке сходить в кино, Проханов объявил его фальшивкой. Ни в какой Музей кино, заверил меня он, 1 октября 1993 года я ходить не мог: в течение десяти последних дней Белый дом был оцеплен, на «Баррикадной» омоновцы сначала сбрасывали людей прямо по эскалатору — и те летели вниз, разбивая по дороге фонари, а потом гонялись за демонстрантами вдоль платформы, так что даже если бы мне удалось прорваться вверх, то меня затоптал бы бутсами клин цепных псов Ю. М. Лужкова. Но как насчет звука, который, сейчас понятно, исходил от омоновцев, грохотавших дубинами в стеклянные щиты? А бабка с рассыпавшимися беляшами? Я вспоминаю все это очень отчетливо. «В конце концов, — заметил однажды эксперт по такого рода вопросам Питер Акройд, — общая цель биографии — создать произведение искусства, которое было бы столь же убедительным, как роман, оставаясь столь же материальным и реалистичным, как история. Есть только одно различие: в романе от вас требуется говорить правду, тогда как в биографии вам позволено — а иной раз без этого вообще никуда — кое-что выдумать».

Глава 1

«Бородинская панорама» как источник сведений о прохановских предках. Пращур перебирается поближе к Арарату.

Молоканские корни. И. С. Проханов отказывается собирать грибы с Львом Толстым и проектирует свой город Солнца.

Михаил Титович высматривает в небе «цеппелины»

Зимой 1990-го по приглашению своего друга, генерала КГБ Поляничко, Проханов, сколотив из «патриотически настроенных» писателей летучий отряд, десантировался в Баку — где только что прокатилась волна армянских погромов, в ответ на резню азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Одурманенные кровью, ориентальной экзотикой и коньячными спиртами литераторы набрели на рынок — где, среди прочих этнографических курьезов, приметили «русских женщин, торговавших плодами». Выглядели те экстравагантно даже по восточным меркам — долгополые юбки-сарафаны, на головах кики. Легко включив свое природное обаяние и вступив с ними в контакт — «Ну а что, девушки, издалека приехали?», — Проханов выяснил, что они — из деревни Русские Борисы. «Мы молокане», — объяснили женщины. Это слово застало Проханова врасплох: «все родовые вещи тогда были заблокированы, меня занимали только военно-политические процессы». Между тем молокане имели к нему самое непосредственное отношение — и ничего удивительного, что тотчас же после встречи на рынке он отправляется в штаб с просьбой выдать ему и компании сочинителей вертолет, чтобы слетать в русскую деревню. Их визит в этот чудом сохранившийся парк юрского периода начался переполохом — жители, увидев физиономии писателей, здраво рассудили, что к ним опять явились погромщики, и в ужасе разбежались. Когда недоразумение разъяснилось, пришельцы получили возможность совершить вылазку в заповедный мир: их водили по домам, угощали молоканской лапшой, муссом «химмельшпайзе» — и за те полтора часа, что они провели здесь, многое в памяти Проханова «разблокировалось».

Тема рода любопытна в том смысле, что, исследуя ее, можно понять генезис некоторых, по-видимому, передающихся по

наследству особенностей характера нашего героя. «Глубинную родственную связь» между потомками и предками можно воспринимать как всего лишь фигуральную, но, кажется, это было бы умалением ее значимости. Проханов, являющий нам эталон человека, испытывающего чувство единства со своим этносом, безусловно, не мог обзавестись этим инстинктом в его случае основным — сам по себе, он именно что передавался из поколения в поколение, как инфекция.

Составление прохановского генеалогического древа — задача любопытная, но каверзная. В силу религиозных — сектантских — особенностей родового уклада материнские и отцовские корни переплелись задолго до знакомства родителей Проханова. На переплетении разных ветвей вырастали странные орхидеи.

Мы еще увидим в творчестве Проханова множество так называемых галлюциногенных деревьев, но первым из тех, на которые следует обратить внимание, будет вот это, генеалогическое — раз уж оно навевает Александру Андреевичу сны о бородинских ополченцах из «Войны и мира». Во всяком случае, мне доводилось слышать от него, что генетически он произошел от героев толстовского романа — доказать это, разумеется, невозможно, но он «чувствует», что «за пращурами был кто-то еще, вне родословной, имевший сходство с ополченцами из толстовской эпохи. Именно в ополченцах, встретивших Пьера на дороге под Можайском, узнавались мои дальние, безымянные предки».

Эта литературность происхождения сразу привлекает внимание: некоторым образом Проханов створожился из словесного молока, произошел из того синкретичного состояния литературы и действительности, когда невозможно до конца различить, чем правда отличается от вымысла.

В каком-то смысле лучшим пантеоном прохановских предков является «Бородинская панорама».

Пращуром, то есть наиболее далекой фигурой прохановского рода, которая может быть персонифицирована с минимально допустимой точностью, считается его прапрапрадед Иван Антонович Фефелов (который, впрочем, с равной вероятностью мог быть Прохановым или Мазаевым, но, скорее всего, никакого паспорта и фамилии у него попросту не было) — харизматичный крепостной крестьянин откуда-то из южных деревень Тамбовской губернии. А надо сказать, что примерно в начале XIX века односельчане этого Ивана, наслушавшись, по-видимому, немецких проповедников, стали сектантами-молоканами —

отказались почитать обрядовые книги, православные иконы и ритуальные одеяния православных священнослужителей. Никаких документальных свидетельств о том, что именно там происходило, не сохранилось; остается полагаться исключительно на родовую память самого Проханова, который задним числом предполагает, что то было не столько протестантство, сколько нечто близкое к язычеству, «доправославное ощущение бога, мира, воды, жизни, смерти». «При своем возникновении, — пишет историк Л. Н. Митрохин, — дореформенные секты были тончайшими, капиллярными нитями связаны с народным духом, с мужицким разумением и часто примитивно, косноязычно выдвигали идеи, составлявшие гордость „высокой“ религиозной мысли Запада. При этом, однако, исходные воззрения не переплавлялись в формализованные теологические системы». Как бы там ни было, местные власти отнеслись к еретикам крайне негативно: крестьян насильно сгоняли в православные церкви, проверяли в домах наличие икон и тестировали на лояльность РПЦ. Полумифический Иван вынужден был стать ересиархом деревенской общины. Неизвестно, оставил бы этот человек свой след в мировой истории или нет, если бы не событие, произошедшее в Германии примерно за год до его рождения. Дело в том, что именно в 1807 году немецкий писатель И. Г. Юнг-Штиллинг (1740–1817) рассчитал, что в 1836 году произойдет Второе Пришествие Христа. Те, кто «отмечен печатью», в течение двадцати лет, с 1816 по 1836 год, должны были сознательно готовиться к этому визиту, в частности переселяться поближе к горе Арарат, где и будет функционировать тысячелетнее «царство спасенных», новая земля обетованная. Юнг-штиллинговские мистические сочинения пользовались в молоканской среде, связанной с немецким протестантизмом, исключительной популярностью. Проповедники переквалифицировались в пророки и пошли смущать народ; к концу 20-х годов прорицатели добрались до Тамбовской губерниии и рассказали о немецких расчетах тамошним молоканам. «Сначала по этим деревням шли ропоты, брожения, и кончилось тем, что ночью все они проснулись, встали, запрягли лошадей в телеги, снесли иконы к порогу поповского дома — не стали их жечь, портить. Погрузили на эти телеги детей, скарб и ушли». Это произошло в начале 1830-х. Словно Луна, отколовшаяся от Земли, молоканская деревня вылетела в открытый космос; этот поступок и образ будет занесен в наследственную родовую память участников той экспедиции.

Под руководством пращура Александра Андреевича деревня принялась кочевать на юг — пока не оказалась за Кавказским

хребтом, на землях сегодняшнего Азербайджана, в Шемахинском и Ленкоранском уездах Бакинской губернии. На том месте, где решено было угнездиться, никто не жил, поэтому этнических конфликтов не предвиделось. Колония религиозных иммигрантов была названа Ивановкой — опять же в честь прохановского пращура.

У Проханова есть собственное, вынесенное из той поездки 1990 года, представление о том, что такое молоканство. Там — в Исмаиллинском районе — оказались горы с белыми скатами, известняковыми обнажениями, окрашивающими млечные ручьи, которые текут и сочатся из этих белых пластов. Интересуясь, что это за такие молокане, он выяснил у своих родственников, что это те, кто живут на млечных водах, на молоке.

Ересиарх и возмутитель спокойствия.

Традиционно, впрочем, считается, что молокане называют себя таким образом потому, что в течение Великого поста

позволяют себе пить молоко. Также есть мнение, что слово «молоканин» отсылает к цитате из св. Петра: «Как новорожденные младенцы, возлюбите словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение»; и в этом смысле Проханов никогда не переставал быть сектантом. В прочих религиозных отправлениях они совпадают с разными конфессиональными группами. Практика добрых дел и требование добродетели — главный долг верующих и одновременно путь к спасению. Нельзя есть свинину. Главное руководство в вопросах спасения души — Библия, никаких ритуалов, икон, поклонения святым, постов, храмов. В песнопениях молокане используют характерные русские мелодии.

Всем нам приходилось слышать: «Да ведь Проханов — из молокан, это многое объясняет». Молокане русские протестанты, еретики, сектанты, реформисты, по сути, отказавшиеся от обрядности в пользу служения богу добром. «Полностью отвергая церковную иерархию, — сообщает эксперт по конфессиональным различиям Ал. Иванов, — молокане признавали и чтили государственную власть, в их богослужении и обязательном порядке входила молитва за членов царской семьи». «Постепенно, — уточняет Л. Н. Митрохин, — духовное и политическое верноподданичество молоканской верхушки проявлялось все отчетливее». Молокане выражали социальное мировоззрение и самосознание тех индивидуальных предпринимателей, которые уже достигли определенной хозяйственной самостоятельности, а поэтому стремились к «порядку», опасаясь всякого рода брожений и неустойчивости как в религиозной, так и в политической сферах. Настроенный более романтически Дугин настаивает на «белой святой арийской горе Эльбрус, недалеко от которой первые молокане нашли таинственные источники белого, молочного цвета», и вообще описывает кавказских молокан как «крайне спиритуалистическую русскую секту, одержимую мечтой о „волшебной стране“, где вместо воды источники земные дают молоко, белое райское молоко…» Позже, оправдывая название своей искрометной статьи о Проханове «Последний прыгун империи», он вынужден будет предположить, что «среди строгих и рациональных кавказских молокан с довольно пессимистическим складом ума иногда появлялись проповедники иного рода. Разновидность хлыстов — прыгуны. Они проповедовали необходимость дикого телесного ажиотажа, взвинченного эзотерического духовного радения, выкликания из-за грани потустороннего новой реальности, Нового Града. И бывало, что и молоканские наставники — прямые предки Александра Андреевича Проханова — поддавались на этот вызов экстатического делания. Прыгуны,

посланцы невиданной энергии, призывающие сделать фатальный шаг за черту, за бритвенную черту ночи, чтобы выплыть с обратной стороны, не сожалея более о закате, но доставая из бездны полуночи новое солнце, упование Новой Зори…» К сожалению, свидетельства самого Александра Андреевича и предположения Дугина — практически единственные источники суждений о «доисторической» деятельности предков главного редактора «Завтра».

Молоканская община, тем временем — оказавшись за бритвенной чертой ночи, — выкопала колодцы, распахала целину, принялась разводить скот; до определенного момента у переселенцев была общая собственность, доходы распределялись поровну. Они вели бедную, сопряженную с множеством трудов жизнь фермеров на южном фронтире — такова была расплата за то, что за ними никто не гнался и позволил им вести скрытное, катакомбное существование. В сущности, это было естественное гетто.

Они были не одни среди чужого мира — чуть южнее была еще одна русская деревня — Борисы (над которой Проханов однажды летал на вертолете), но вообще-то это была закрытая община: Фефеловы женились на Мазаевых, их дети — на Прохановых, а те опять засылали сватов к Фефеловым и так далее.

Следующая фигура, о которой появляются свидетельства, — прадед Проханова по материнской линии, Тит Алексеевич Фефелов. Шли годы, и многие члены молоканской общины выбивались из круговорота натурального хозяйства и брались за промысел. Самым популярным бизнесом того времени был частный извоз. Чтобы открыть свою лавочку, требовалось иметь несколько лошадей, кибитку, хорошие связи на почтовых станциях и минимальный комплект для самообороны. Сферой интересов русских ямщиков была Военно-Грузинская дорога — стратегическая магистраль для кавказских и русско-турецких войн. Там передвигались военные грузы, и на транспортировке можно было хорошо заработать. Уже через несколько лет Тит был владельцем нескольких ямов и первостатейных, по уверению его правнука, лошадей. Однажды, когда в очередную русско-турецкую войну (речь идет о 70-х годах XIX века) на фронт ехал некий великий князь, Тит так лихо домчал его до Тифлиса, где располагалось генерал-губернаторство, и при этом оказался таким обходительным, что клиент, в знак благодарности, пожаловал ямщику перстень — изумруд, окруженный десятком бриллиантов. Теперь этот перстень, ставший фамильным, лежит в шкатулке у Проханова среди прочих bric-a-brac. Изумруд, если

присмотреться к нему, сколот. Эта трещина появилась, когда один из дедов Проханова, в гневе на свою жену, шандарахнул кулаком по столу. На самом Проханове этого перстня я никогда не видел. Перешла ли к нему гневливость его предка? «Иногда срываюсь». Плохо себе это представляю, честно говоря. «Нет, меня посещают иногда приступы бешенства, сейчас меньше, чем раньше… Я называю это бешенством, потому что, когда оно кончалось, у меня возникало ощущение бездонной тоски: я понимаю, почему в Писании сказано, что гнев приравнивается к убийству, что человек, который гневается на ближнего своего, убийца, что это один из самых страшных грехов. Что такое гнев? — это такая одержимость, слепота, разрыв всех сдерживающих элементов, в этом состоянии люди способны убивать, я это все знаю…»

Разбогатевший на извозе и сумевший уберечься во время турецких и кавказских кампаний Тит (чей портрет, кстати, украшает десктоп прохановского лэптопа, «строго и укоризненно смотрит на все мои деяния, и мне кажется, что к моему творчеству он относится серьезнее, чем я сам») перебрался из своей родовой Ивановки в Тифлис, где принялся приобретать недвижимость, скупил несколько домов и вошел в городскую элиту. Тифлис в те времена был столицей российского юга; И. С. Проханов, о котором еще зайдет речь, писал про него: «Если вы посетите Тифлис, вы увидите космополитический город, похожий на этнографический музей, где грузины, абхазцы, осетины, армяне, татары и многие другие ходят туда и сюда по улицам, напоминая картинную галерею разнообразием своих одежд. Это место напоминает времена Вавилонской башни». В Тифлисе до тридцатых годов XX века работал Молоканский рынок, но вообще, молокане жили несколько наособь.

Тит Фефелов.

Женой Тита Алексеевича Фефелова была Аграфена Петровна Мазаева — та самая, которую главный герой романа «Надпись» Коробейников узнает в тонущей корове. Мазаевы были династией купцов и промышленников, миллионщиками, которые в молоканской среде пользовались репутацией «старцев», сторонников домостроевских традиций. В большом двухэтажном доме — одном из приобретений Тита — жила семья, имевшая восьмерых детей: трое девочек и пятеро мальчиков. Шесть десятков лет спустя, 26 февраля 1938 года, именно в этом здании появится на свет А. А. Проханов. Национализированный после революции и превратившийся в обычный многоквартирный, этот

дом стоит там и теперь.

Фефеловы.

Помнит ли он свое детство в этом доме в Тбилиси? «В Тбилиси я не могу ничего помнить, потому что в Тбилиси я только родился, 26 февраля, а уже в марте был снова в Москве. В Тбилиси отправили рожать мою мать, потому что считали, что там теплее, что там родственники, старые связи. Спустя много лет у меня был такой период, когда я был поводырем слепых, и однажды мои московские слепые поехали в гости к тбилисским слепым. Я пришел к своему дому, причем это был уже другой Тбилиси, другой город и другие названия улиц. Бабка рассказала мне, как найти этот дом на Татьянинской улице. Ну, скажем, пойдешь по Никольской набережной, дойдешь до Кирочной улицы, где кирха стояла, свернешь там налево и пойдешь до ресторана Вейцеля — ничего этого уже нет, все занято другим, никакой кирхи. И вот я ночью, после очередного пира, оставил слепых, пьяный, в таком галлюциногенном состоянии, пошел по ночному Тифлису, спрашивая прохожих, нашел эту улицу и среди глубокой ночи, в три часа, сел на тротуар и смотрел на двухэтажный дом с воротами посередине, где я родился, где родились мои предки. Мимо меня бегали кошки, входили в подворотню, и мне казалось, что эти кошки оборотни, метемпсихоз — что это мои предки, пращуры.

— У Бондаренко написано, что по праву рождения вы имели бы основание претендовать на грузинское президентство не меньше, чем какой-нибудь Шеварднадзе (которого, заметим в скобках, Проханов однажды назвал „витязем в крысиной шкуре“).

— Это все бреды бондаренковские. Никаких прав у меня, по-видимому, нет, да и нет никаких претензий. Грузия меня интересует стратегически только как отколовшаяся от России мятежная республика, которую придется — не мне, так моим внукам, — пристегивать обратно, батальонами или энергосистемами. И еще, конечно, в моем роду ходят кавказские мифы, легенды родовые, бабушка, например, все время рассказывала, как мой дед ходил в гости к чеченцам, своим друзьям, с которыми они вместе учились, и однажды эти друзья решили его ограбить — снять с него кольцо золотое, часы. Он где-то подслушал этот разговор и делал вид, что пьет, а сам не пил, набил карманы песком, а когда они пошли провожать его и замыслили уже нападение, он кинул им в глаза горсти песка, ослепил их и этим сам спасся».

Тит Фефелов порвал с молоканством и перекрестился в баптисты. Молоканство к концу XIX века стало чем-то вроде конфессиональной экзотики, по крайней мере, для представителей истеблишмента; молокан запрещалось брать на офицерские должности, православные партнеры по бизнесу поглядывали на них с подозрением. В Россию тем временем хлынуло множество миссионеров из Европы — среди знати обычно проповедовали англичане, а среди низших сословий — немцы. Новые баптисты, как правило, рекрутировались не из православных, а как раз из молокан. Однажды в Тифлис явился проповедник Феттлер, который и обратил многих бывших молокан в баптизм — более вестернизированную форму протестантизма.

Сам до сорока лет неграмотный, Тит ближе к концу жизни стал выезжать в Европу на конгрессы баптистов и всем своим восьмерым детям дал прекрасное европейское образование. Одна двоюродная бабка Проханова кончила Бестужевские курсы и ездила на стажировку в Италию, где копала Помпеи, другой дед учился в Гейдельберге и Халле, где слушал лекции Виндельбанда, Вунда и Мунде и стал германофилом, третий окончил химфак университета и был художником. Согласно представлениям Проханова, «эти разночинные люди были одновременно и рафинированные, и народные».

Параллельно мигрировала из поволжских деревень и пускала

корни на Кавказе вегетативная система, связанная с отцом, — линия, состоявшая в тесных родственных отношениях с семьей Тита Алексеевича и поэтому странным образом оказавшаяся родней и по материнской. Как и Мазаевы и Фефелоны, Прохановы составляли руководящую верхушку российского баптизма.

В первую очередь следует упомянуть о родном деде Александра Андреевича — А. С. Проханове, который в 1890-х годах организовал общество образованных молокан, программной целью которого было создать «религиозное безбожное сектантское общество», что бы это ни значило. Этот клан также выбился в городскую среду — но не в Тифлис, а во Владикавказ; и именно там, кстати, находился родовой склеп Прохановых — даже и при том, что Александр Андреевич ничего о нем не знает и никогда не был во «владикавказских резиденциях».

Самая, однако, неоднозначная фигура отцовского тейпа — двоюродный дед, брат отца нашего героя, Иван Степанович Проханов. В чине прохановских праотцев Иван Степанович Проханов (1869–1933) — «русский Лютер», проповедник, утопист, организатор евангелического движения, президент союза евангелистов России — занимает одну из центральных позиций; по его биографии имеет смысл проехать на первой передаче.

Это не то чтобы близкий нашему герою человек (они не имели возможности общаться), но в их биографиях и манере проповедовать встречается немало неожиданных рифм, на что первым указал Дугин. Исследователь прохановского рода не может пройти мимо любопытнейшего документа, который называется «В котле России». Это автобиография И. С. Проханова, изданная им в 1933 году в Берлине.

По этому документу можно судить о том, откуда произошли предки Александра Андреевича по отцовской линии, каков был примерный статус семьи, а главное, об интенсивности присутствия семьи Прохановых в российской общественной жизни.

Иван родился в 1869 году, а его родители, крестьяне-молокане из деревень Канопино и Свастуха Откарского уезда Саратовской губернии, в 1862-м на бричке переехали на Кавказ — «из-за преследований со стороны православных священников». Путешествие, 2000 км, «было очень опасным». Семья осела во Владикавказе, владела четырьмя водяными мельницами на берегу Терека, землей. Степан Проханов стал членом городского совета, а в 1876-м перешел в евангелизм. В 1894-м выслан из Владикавказа в селение Гюрюсы: «это была естественная тюрьма». Умер в 1910-м.

Обратившись в 1886 году в евангелизм, Иван поступает в

Санкт-Петербургский технологический институт. Пишет поэмы и гимны. Много путешествует — в том числе и по тем местам, где через сто с лишним лет будет бродить в обществе Б. А. Березовского его двоюродный внук: «Наиболее популярным местом в Лондоне был Гайд-парк, в котором на открытом воздухе можно было обсуждать все, что угодно». Выступая в Бристольском баптистском колледже на обеде, он произнес любопытный тост: «Англия является лучшей страной в мире», — но когда аплодисменты прекратились, тихо добавил: — «после России».

В связи с этим эпизодом нельзя не вспомнить провокационный выпад публициста Д. Галковского, объявившего в 2005 году, что А. А. Проханов является «потомственным национал-предателем» и представителем спонсируемой Лондоном религиозно-антирусской секты, а его дед Иван Степанович был «одним из активнейших членов английской резидентуры в Российской империи» — и по возвращении из Англии «развернул широкомасштабную подрывную работу». В связи со всем вышеизложенным публицист позволяет себе дать А. А. Проханову совет: «Чемодан! Вокзал! Англия!». Версия Галковского, несомненно, заслуживала бы самой пристальной проверки, будь она подкреплена ссылками хотя бы на какие-то источники.

«Русский Лютер».

В 1893 году Иван Проханов увидел Льва Толстого — и отчет об этом событии удивительным образом рифмуется с рассказом его двоюродного внука о встрече с Шолоховым. Вместе с другом они решили посетить Ясную Поляну — навестить «его». Они увидели «старого человека с крупными чертами лица, с седыми волосами и бородой», одетого «в белую блузу, серые брюки и выглядящего как садовник». После того как они представились, писатель предложил им прогуляться по аллеям, а затем спросил, предпочитают ли они вместе с ним пойти в лес гулять и собирать грибы или хотят почитать рукопись его новой книги «Царство Божие внутри нас». Друзья предпочли «Царство», и Толстой, «забравшись в окно своей комнаты, взял копию своей рукописи, передал ее нам, а сам пошел в лес с корзиной».

В 1894 году Иван Степанович попытался создать действующий по принципам первохристианской общины религиозно-хозяйственный коллектив «Вертоград», но, как и многие начинания подобного рода, проект потерпел фиаско. Более удачлив он был в сочинении духовных песен; он обогатил отечественную словесность 1037 гимнами.

В Тифлисе он женится на Анне Ивановне Казаковой («красивая, богатая, хорошо образованная»: говорила по-английски, французски, немецки, талантливо музицировала). У них было двое детей — мальчики, Ярослав и Всеволод, получившие образование в Петербургской школе высшей немецкой реформаторской церкви, а до того воспитанные гувернанткой-англичанкой, которую специально выписали из Лондона. Оба знали по три языка, а старший — еще и латынь, греческий и древнееврейский. Они поступили в Петербургский университет и преподавали в Библейском колледже.

В 1905 году Иван Проханов создает в Петербурге Евангелическую общину и соответствующее молодежное движение, но не отгораживается от прочих конфессий, а, наоборот, пытается найти основания для объединения с баптистами и РПЦ. «Энергия Проханова была поистине неисчерпаемой. Ему было тесно в рамках немногочисленного объединения. Он постоянно создавал новые союзы, организации, издания, курсы и школы… Это был религиозно-общественный деятель „нового типа“, России до сих пор не известного. Его авторитарные методы, не всегда предсказуемые поступки смущали и раздражали более степенных уравновешенных коллег…» — когда читаешь эти характеристики, данные историком Л. Митрохиным, легко забыть, что речь идет не об Александре Андреевиче, а об Иване Степановиче; не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться: нынешний Стэплтон — из тех самых Баскервилей… Он неутомимо разыскивал зарубежных спонсоров… Ему принадлежит почти монопольная заслуга в оформлении вероучения евангельских христиан. Он был не теологом в строгом смысле этого слова, а, скорее, честолюбивым и одаренным евангелистским деятелем. Его больше волновало «прикладное» христианство… Его призывы широко использовать в труде «все достижения и усовершенствования науки и техники», овладевать знаниями, получать высшее образование, практиковать «такие светлые, невинные развлечения, как спорт, гимнастику, плавание, греблю и бег на ристалище». В 1917 году, воспользовавшись волей, он создает Христианско-демократическую партию «Воскресение» — первую в России религиозно-политическую партию. Проблемы с властью начинаются в 1923-м, когда проповедовавшего пацифизм Проханова арестовывают. У него уже не такая безупречная репутация: «После (ареста) он стал послушной марионеткой в руках „религиозного куратора“ из ОГПУ Е. Тучкова. В 1924-м по его инициативе съезд евангелистов принял резолюцию об отказе от пацифизма и полной лояльности советской власти». В

принципе, Проханов приветствовал «социалистическое строительство и революционное преобразование жизни», надеясь одухотворить революцию духом Евангелия. Главной идеей прохановцев в 20-е годы стала идея массовой евангелизации. Основатель движения разрабатывает принцип «последовательного благовестия» от села к селу. По два благовестника решено послать в Индию и Китай. Кончилось тем, что в 1926-м Проханов отсылает советскому правительству проект закладки к Сибири города Евангельска, где, как предполагалось, будет реализована идея коллективного труда. Закулисный босс из ОГПУ Е. Тучков одобряет проект, но настаивает на наименовании «Город Солнца». Проханов признается, что «боялся, что будет невозможно реализовать такой образ мысли в старых городах. В Алтайских горах мы нашли такое место на стыке двух рек — Бия и Катунь. Мы посадили несколько дубовых деревьев, закрепляя место будущего города».

На этом этапе, впрочем, футурологический проект забуксовал — в 1928-м Проханов уехал из СССР, навсегда.

Также Иван Степанович занимался издательским бизнесом: публиковал ежемесячник «Вифезды» (разговор, беседа — с древнееврейского), газету «Утренняя звезда», журнал «Христианин». (Дугин утверждает, что цикл статей в журнале «Христианин» в 1925–1926 годах даже называли «социальным евангелием Проханова»; если верить все тому же источнику, «в этом интеллектуальном журнале нонконформистской, революционно-консервативной, национальной и неортодоксальной русской мысли поразительно много встречаешь параллелей с нашим временем».)

Один из самых любопытных моментов в «Автобиографии» — отрывок из сочинения юного Ивана Степановича о России, который был напечатан в бюллетене школьного совета: «Пространство русской территории занимает ныне одну шестую часть всей континентальной поверхности Земного шара и равно поверхности Луны. Но есть одна разница между поверхностью Луны и Россией. В то время как поверхность Луны представляет собой постоянство и не изменяется, просторы России становятся все прекраснее. Но наша вера пойдет и дальше, мы верим, что не только поверхность России, но и ее душа будет улучшаться и процветать».

Эта метафора — Россия (СССР) как Луна, территория инаковости, оторвавшаяся от поверхности Земли, — станет одной из любимых метафор внука, и он сам уже будет развивать ее (в «Сне о Кабуле» сказано, что Россия 90-х годов, после двух путчей, напоминает остывшую Луну). Проханов, таким образом,

унаследует от своего деда не только лидерские качества, но и некоторые образы.

«Их род, — один из рефлексов той же метафоры обнаруживаем в романе „Надпись“, — был подобен планете, пережившей катастрофу. Одна ее цветущая часть была вырвана и унесена во Вселенную, погибла там среди жестоких столкновений, ядовитых и злых излучений. Другая, изуродованная, в рытвинах, в дымящихся кратерах, медленно излечивала рубцы, лечила страшные раны, храня больную память об исчезнувшей, унесенной взрывом половине».

Калейдоскоп событий, в которые вовлечена прохановско-фефеловская семья, начинает вращаться на высокой скорости после революции. Фактически семья, относящаяся к средней и крупной буржуазии, оказывается вне закона; в клане присутствовали и владельцы кавказских нефтеприисков, и хозяева оружейных предприятий в Петербурге (в мемуарах начала XX века встречаются словосочетания «пороховые заводы Фефелова» и «прохановские мануфактуры»), мельниц и коптильных фабрик во Владикавказе, и радикальные баптисты; среди них не было настоящей белой кости, но еще труднее тут было рассчитывать на статус рабочей косточки; словом, с советской властью им явно было не но пути. Кто-то воевал в Белой армии, кто-то погиб не то в Румынии, не то в Болгарии. Кто-то из дедов сгинул в Праге, где сумел просуществовать до войны, получая вспомоществование но баптистской линии. Двоюродная бабка — та самая, которая отучилась на Бестужевских курсах и копала Помпеи, осталась в Ленинграде, в квартире на Васильевском острове; ее вышлют оттуда за Урал в 1935-м, после убийства Кирова (и маленький Александр Андреевич еще успеет съездить к ней в гости); после смерти Сталина она вернется, уже не в отдельную квартиру, а в коммуналку на Московском проспекте; но, в принципе, когда в «Теплоходе „Иосиф Бродский“» герой по имени Александр Проханов напишет: «На Васильевский остров я приду умирать…» — это будет не только жест в сторону нобелевского лауреата, но и кивок на историю семьи; у Александра Проханова есть права и на Васильевский тоже… Василий Титович, бизнесмен, сумел эмигрировать, работал сначала таксистом в Париже, а потом лифтером в Лос-Анджелесе, в Голливуде, и в 90-е годы Александр Андреевич бродил уже по лос-анджелесскому кладбищу, пытаясь отыскать его могилу. Прохановская тетка Таисия, как и рассказано в «Надписи», оказалась по миссионерской линии в Австралии и умерла там же.

Однако некая, крайне небольшая, часть семьи приняла большевизм. В результате «в наш сектантский мир залетела огромная трагедия и разрушила его»; среди родственников начались скандалы, попреки, кто-то с кем-то не разговаривал; «драма», «склока» — какая именно, трудно судить, поскольку, по словам самого Проханова, «до сих пор все продолжается».

Протагонистов в прохановских романах обычно воспитывает дед. В детстве Александр Андреевич видел двоих дедов, столько осталось в России, все прочие разъехались или погибли. Эти двое — оба колоритные персонажи, которым было что ему рассказать, — и формировали его, безотцовщину, как интеллектуальный продукт.

Больше прочих повлиял на него Михаил Титович. Он был германофилом, учившимся в Гейдельберге и Халле. Разночинец по происхождению, он никогда не бедствовал — нефть, недвижимость и промышленные инвестиции составляли основу его состояния. Перед революцией он принимал в своем тифлисском доме Гучкова и позже рассказывал внуку: «Если бы знать, что эта сволочь привез отречение Государю императору, я бы его своей рукой застрелил из пистолета, тут же, в моем кабинете!».

Проблемы возникли сразу после революции, когда он попытался продать свою долю на Бакинских нефтяных приисках. Каким-то образом об этом узнало ЧК и принялось преследовать его. Он не смог эмигрировать в любимую Германию, скитался и чудом оказался в Москве, где на Садовой-Каретной у него была квартирка. Там он и прожил до середины 60-х годов, в течение полувека находясь в розыске, боясь выходить из дома, опасаясь соседей, всего и вся и пребывая в своего рода тюрьме; не худшая, впрочем, по тем временам участь. Беда в том, что в какой-то момент вместо него несколько раз арестовывали его брата, Петра Титовича, от которого требовали, чтобы тот сдал Михаила. На Лубянке его пытали, лили на голову ведрами фекалии, но он ни разу не признался. Так его брали несколько раз, кончилось тем, что в 1937 году, когда его в очередной раз отпускали, при чтении приказа об освобождении он умер от разрыва сердца, не вынеся нервного напряжения. От него мало что осталось, некоторое время в семье хранилась его инкрустированная перламутровыми пуговицами «тифлисская скамеечка», которую он смастерил, вернувшись в очередной раз из лагеря, но и она была сожжена в печке в Ленинградскую блокаду.

В семье поговаривали, будто дед Михаил виноват в том, что из-за него погиб невинный человек. Судя по всему, это и было

предметом родовой склоки. У самого Михаила на этот счет сложилась «карамазовская» теория, согласно которой он, Николай и Петр были репликами Ивана, Дмитрия и Алеши.

Все эти свои теории он пересказывал и своему двоюродному внуку Александру Андреевичу, который бывал у него на Садовой-Каретной. Он и дал ему «нелегальную» книгу у А. Закржевского «Карамазовщина», изданную еще в 1912 году; там говорилось о параллелях между Ницше и Достоевским. «И я читал ее — она вся была исчеркана — дед искал аналогии, сходства». Позже «карамазовщина», особое свойство персонажной системы романа, несколько раз будет возникать в его собственных текстах, особенно в «Месте действия».

Еще дед — «интеллектуал, эпикуреец, патриций, играл на скрипке» — преподавал ему философию, античную и немецкую, рассуждал о германской метафизике, объяснил диалектику, цитировал Гегеля, заставлял штудировать Фихте и давал почитать Виндельбанда, при этом том заворачивал в «Правду». В 1941-м Михаил Титович с восторгом ждал прихода немцев, высматривал в небе самолеты и цеппелины и чуть ли не собирался стать бургомистром Москвы, за это его тоже упрекали в семье.

В общем, это с его стороны шло антисоветское (но не антирусское и не антиимперское). При этом, по словам Александра Андреевича, все в этой семье «были такие патриоты страшные. Их драма была драмой русских патриотов, которые в Советах видели империалистов. Они прощали Советам огромные издержки, потому что Советы восстановили империю — хотя бы красную, не белую».

Вторым живым дедом был дед Николай, по основной профессии химик, но увлекшийся живописью и принятый в кругу «мирискусников». К нему молодой Александр Андреевич ездили на Страстной бульвар, где у того была огромная комната, стены которой были увешены подаренными картинами Судейкина, Валишевского, Коровина, Лансере. Книжные полки ломились от переплетенных подшивок «Аполлона», «Весов», «Золотого руна». «Он тоже очень сильно на меня влиял. Мужчина, которого я слушал… брал меня с собой в странные путешествия». Он много рассказывал. Например, о том, как во время последней русско-турецкой войны (1877–1878) пошел добровольцем на фронт и стал командиром батареи горных орудий. Отличился под Карсом, когда его отряд попал в засаду и был атакован турецкой пехотой. Прадед не растерялся, приказал развьючить лошадей, которые тащили порознь стволы и лафеты. Их тут же на склоне собрали, и батарея открыла огонь прямой наводкой по наступающей

турецкой цепи. Прадеда наградили «золотым оружием». Вручал награду приехавший в Тифлис великий князь, с ним маленький цесаревич. Получая «Золотого Георгия», дед так разволновался, что, в нарушение всяческого этикета, приблизился к цесаревичу и поцеловал его. Был прощен за искренность и сердечность поступка.

Когда случилась революция и в Тифлис из Петербурга и Москвы бежали именитые писатели, художники, музыканты, он принимал их у себя в доме, где образовался своеобразный салон. Затем он ушел воевать в Белую армию и окончил войну под Перекопом, чудом избежав плена и жестокой казни. Позже он прошел лагеря в Каргополе, уцелел и старился в Москве, уделяя своему двоюродному внуку много внимания, дожив до 60-х годов. В прохановском деревенском доме, в Торговцеве, я видел его «подмалевок»: незаконченная картина называется «Сирень», трудно судить о том, что там нарисовано, но она, пожалуй, навевает меланхолию и, да, в самом деле, сиреневая.

«Его детство прошло среди чудесных родных стариков, от которых остались книги, прокуренные трубки, монограммы на серебряных ложках…» — сказано про похожего на Проханова героя романа «Дворец». «Какое количество людей было вокруг меня — кормило, воспитывало, лелеяло! Целая рать прекрасных мужчин и женщин выстроилась, чтобы уберечь меня в этой жизни. У меня всегда было ощущение, что я был как бы птенец в окружении множества птиц, которые не имели возможности вывести собственное потомство…».

Любопытно, что все идеологические вирусы, то есть отклонения от господствующей доктрины, Проханов подцепил вовсе не в 60-е годы, в подполье; они обосновались гораздо глубже, в семье, на молекулярном уровне. Нельзя исключать, что всю свою жизнь он так интересовался различными «штаммами» не только потому, что надеялся синтезировать из них учение, способное преодолеть нынешнее состояние материи, но и потому, что хотел уловить некий промысел в истории собственного рода. Под официальной коммунистической идеологией жило все: баптисты, западники, славянофилы; какие-то из обитавших в этой удивительной среде существ ждали немцев, другие — второго пришествия, третьи — наступления советского рая. Как бы то ни было, мы видим: прохановские предки достаточно инвестировали в историю страны, чтобы у Александра Андреевича была возможность чувствовать себя полноценным гражданином и иметь право говорить от лица этноса. Эту возможность он и использует на все сто процентов.

Глава 2

Проханов рассказывает автору про найденное сокровище и демонстрирует дверь в преисподнюю.

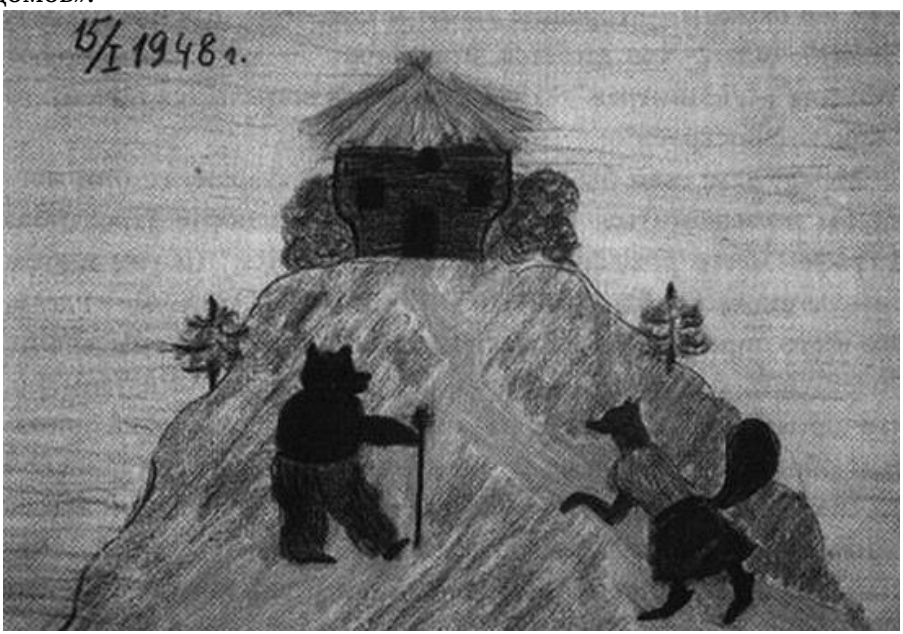
Школьные проделки. Подагрические ноги и феноменология Достоевского.

Причины поступления в МАИ и участие в конкурсе экзотических галстуков

«Вот! Это я! — на ходу расстреливая боекомплект, по долинам и по взгорьям несется советская тэ-тридцатьчетверка со звездой и красным флажком. Ей навстречу с утробным урчанием выползают два тупорылых немецких „тигра“ с тевтонскими крестами. — А вот это… Сванидзе! — Александр Андреевич показывает мне свои детские рисунки: танковую битву. — И я его долблю! — Некоторое время назад мы беседовали о том, каким милым человеком оказался ведущий программы „Зеркало“, когда они, наконец, познакомились в прямом эфире на „Эхе Москвы“. Я случайно услышал радиодиалог Александра Андреевича с Николаем Карловичем, и Проханов показался мне на удивление любезным по отношению к своему давнему оппоненту, „Сатанидзе“. — Бронебойным! Бабах! Получай, сука! Так его, так его!» — Проханов входит в раж. Я начинаю опасаться за сохранность раритетных рисунков баталиста. Не то чтобы в них чувствовался будущий Леонардо да Винчи — типичная детсадовская каля-маля, сплошные диспропорции, но выглядят они весьма аутентично: атрибутировать их можно без малейших затруднений. Многажды повторяются одни и те же сюжеты — горящие танки и самолеты, Кремль, СССР, Сталин, салют. Что касается эпитафики, то здесь доминируют «Москва», «Ленинград», «1945», один раз встречается почему-то «Христос Воскрэсэ».

Между тем, если бы Сванидзе был чуть старше, то они могли бы познакомиться гораздо раньше: в паспорте Проханова в графе «место рождения» написано «Тбилиси» (и уже в этом смысле он настоящий Caucasian). Впрочем, как мы уже видели, это всего лишь эпизод; Проханов коренной москвич, имеющий, более того, особые отношения с этим городом. Любопытно, что прохановская Москва не вполне совпадает с общепринятым образом. Он

почему-то практически не видит сталинской Москвы или даже иронизирует по ее поводу: так, Речной вокзал однажды он назовет «шедевром сталинской архитектуры, где итальянское причудливо сочеталось с неандертальским», зато очень бурно реагирует на Москву старинную и новорусскую, и особенно — конструктивистскую, в которой видит «дотлевание авангардной энергии 20-х годов». Любимая побасенка его героев, обычно предназначенная гуляющим с ними под руку девушкам, состоит в том, что основатель Москвы — не Юрий Долгорукий, а Лентулов, «Москва построена по проектам Лентулова». По тем же проектам, скажем, забегая вперед, будут построены и романы Проханова — по сути, романы-фабрики, выпячивающие на всеобщее обозрение свой каркас, техническую основу и грубую функциональность. «Дома, похожие на военные корабли и танковые колонны… Рабочие клубы имени Русакова и Зуева, клуб „Каучук“, Академия Фрунзе, дом Корбюзье, похожий на стеклянную лабораторию со множеством колб, пробирок, строения братьев Весниных, Мельникова и Гельфрейха, напоминающие эскадрильи инопланетных кораблей… застывшие своими гранями, призмами, иллюминаторами в известняках и ракушечниках мещанских домов».



Теремок.

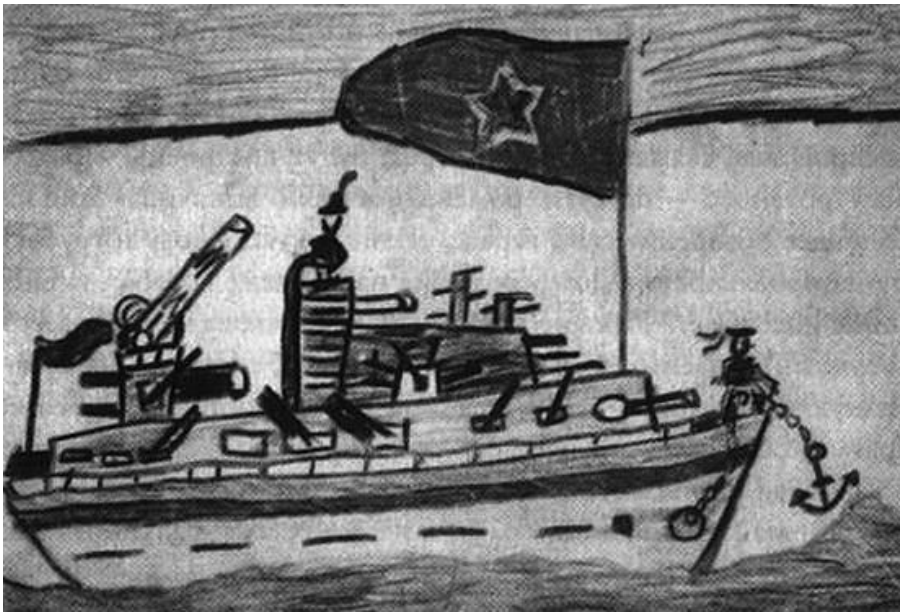


Рисунок баталиста.

В Тихвинский переулок — место жительства нескольких десятков прохановских героев, как правило, тех, которых можно назвать его двойниками, мерзавцев он сюда никогда не селил, — можно попасть через известняки и ракушечники Новослободской, Палихи и Трифоновской. Раньше это было тихое место, хоть и мощенное брусчаткой, а в 40-е годы здесь дай бог если за весь день проезжал один грузовик. С одной стороны громоздятся богато отделанные по фасаду модерновые дома, с другой — возведенные в двадцатые конструктивистские 5-этажные трущобы стандартной планировки, без лифта: наглядно выраженная в архитектуре социальная разница.

На самом деле раньше дом номер 10/12 был 4-этажным, а 5-й надстроили уже позже; о перепланировке свидетельствуют заложенные кирпичом, по-видимому, для укреплении несущих стен, окна. Прохановы жили на третьем этаже, в трехкомнатной коммунальной квартире: две занимали они с мамой и бабушкой, одну — соседи, мать и дочь. Комната, в которой они жили с матерью, была угловой, на стыке двух сходящихся стен. Это было удивительное пространство, напоминающее внутренность платоновского икосододекаэдра: не менее двух десятком углов, не столько встроенные, сколько вынесенные, как в центре Помпиду, коммуникации. Прохановские герои обычно видят из окна тополь (растущий здесь по сей день — «вот, мое тотемное дерево») и желтую классицистскую церквушку XIX века — невыразительную для постороннего, но вызывающую у него

приступ ностальгии и благоговения. Во времена прохановского детства в церкви размещался не то маленький заводик, не то мастерская, купол был разрушен, туда заносило ветром семена — и поэтому прямо на крыше росло карликовое деревце воплощенная метафора угнездившейся в тонкой телесной оболочке души. Еще из окна виден был двухэтажный «мещанский» домик, в окне которого однажды он обнаружил молодую женщину, совершавшую утренний туалет. Та же сцена, только в обратном порядке, повторилась вечером. В течение многих лет он наблюдал в окно этот потрясающий стриптиз и с тех пор всю жизнь вспоминал «туманные оранжевые окна в доме напротив, и в одном из них, лунно белея сквозь наледь, теплая после сна, обнаженная женщина поворачивается пред невидимым зеркалом, медленно надевая лиф на свои полные груди, и от этого ежеутреннего, головокружительного зрелища нельзя оторваться». Однажды, не выдержав, он выбежал на улицу, ей навстречу, посмотреть, как она выглядит вне этой оконной поволоки. Женщина наверняка уже в могиле; на месте мещанского домика пустырь.

В квартире-трешке все, кроме него, были женщины. В этом гинекее маленький Александр Андреевич царил безраздельно. Им занималась бабушка и все время негромко напевала баптистские, сочиненные Иваном Степановичем Прохановым псалмы: «Великий Бог, ты сотворил весь мир!» — или: «Открой, о Боже, чертог своей любви!». Проханов совершенно уверен в том, что его бабушка была святая, и, похоже, это не та тема, относительно которой он позволил бы какие-то насмешки. Одна из самых пронзительных сцен во всем тридцатироманном корпусе прохановских текстов — та, где Коробейников, герой «Надписи», купает немощную бабушку; отсылаю к ней целиком, цитировать из нее кусками отдавало бы кощунством. Бабушка возникает не только в автобиографической «Надписи», едва ли не в каждом романе для нее заботливо зарезервирован некий минимальный объем. Она была медсестрой. Сначала работала в сиротском приюте, а потом в доме подкидышей. Она была баптисткой (уже не молоканкой, от молоканства в семье остались только кулинарные традиции — домашняя молоканская лапша и клюквенный мусс, который называли «химмельшпайзе»). На фотографиях можно увидеть женщину, похожую на мисс Марпл из английского сериала. Хотя, по уверению ее внука, она и не была интеллектуалкой, но тоже вращалась в модернистской среде, посещала вместе с Александром Степановичем салон Мережковского и Гиппиус: «Мистическая модернистско-христианская атмосфера докатилась до меня через ее уста».

Бабушка была очень религиозна: «Всегда кончала день чтением Евангелия. Из Писания она извлекала не богословские тонкости, которые повергали ее в глубокое недоумение и заставляли говорить о великой тайне, а ощущение какой-то любви бесконечной, которую она проецировала в основном на меня. Бабушка для меня была Христос одновременно. Она меня любила безгранично, со всем, из чего я состоял, с дурным».

Бабушка отстаивала очереди в магазинах, хлопотала у плиты, стирала, а по вечерам усаживалась перед маленьким репродуктором, купленным матерью после войны, и слушала Барсову — романсы, арии из опер. Детство Александра Андреевича прошло под звучание песен, особенно русской классики. «Я и сейчас вскакиваю ночью в ужасе и начинаю петь арию Сусанина: „Я вас завел туда, куда и черт не брал, костей не заносил“. Удивительным образом этот мир всплыл зимой 2005 года, когда в „Завтра“ вдруг появилась передовица про то, как Проханов умиленно слушает по телевизору концерт Дмитрия Хворостовского и едва удерживается от того, чтоб прослезиться. Когда я спросил его об этом странном тексте, он ответил, что плакал в самом деле: „Я был размягчен совершенно. Он работал на мое подсознание и воскресил целый период обожаемых мною образов, культур и переживаний. И я, как и всякий человек, состоящий из многих слоен, был как распиленный пень, который сам увидел свои древесные кольца. В этих древесных кольцах будут какие-то слои, которые состоят не из пластмассы, не всяких сплавов металлических, а из реальной живой материи, и там много от Хворостовского. Тронул, тронул Хворостовский, и многие читатели отметили эту передовую как возвращение к истокам, от которых я слишком далеко ушел“».

Истоки: то была квартира, заставленная предметами, которые на всю жизнь впечатались в его память: резная табуретка с мавританским узором, старинный, стройный буфет из орехового дерева, с резным навершьем, внутри серебряные и фарфоровые сервизы, блюдо с орхидеями, ваза на толстой стеклянной ноге, — по правде сказать, я реконструировал этот интерьер по упоминаниям в его текстах, но в какой-то момент понял, что если припишу все эти вещи прохановской семье, то получится, что они жили на складе «ИКЕА». Точно могу поручиться за аквариум с разноцветными гуппи, на которые он глядел часами, это был один из первых предметов в его жизни, выполнявших функцию визуального наркотика.

В детской комнате был еще один психоделический аттракцион: «шар из зеленого литого стекла, в которое был запаян то ли разноцветный паук, то ли морской скорпион, с

красными и желтыми чешуйками, дававшими переливы лазури и зелени». Он приближал глаза к тяжелой холодной сфере, и в ней при слабом повороте зрачков возникало свечение, красноватые искры, волшебные лучи и разводы. Он наслаждался этим световым волшебством, с которым навеки связалось ощущение дома, детства. «Осталась память в зрачках. Если случалось их повторение, — вспоминает главный герой „Дворца“, — память мгновенно откликалась на этот цвет».

Наблюдение за светом и цветом, игрой оттенков, судя по всему, доставляет Проханову не только эстетическое удовольствие, но и является своего рода мистическим опытом. Мы еще много раз заметим эту его склонность выглядывать божественное в повседневной жизни, искать потустороннее в самых простых объектах. Ничего удивительного поэтому, что он делает стойку на цвет и свет: чистые, несмешивающиеся цвета и свет — не только проводники, но и сами — проявления божественного.

Обогнув фасад, мы увидим старомосковский, как в «Покровских воротах», дворик с малометражной клумбой, на которой раньше росли маки, ноготки и душистые бледные табаки, а теперь кудрявится безымянная мурава. Жизнь протекала в гораздо более плотном общении с соседями, чем сейчас можно себе представить. Это был мир, где все знали все про всех. Набор персонажей был достаточно стандартный. Пьяница, ругающийся с женой и время от времени материализующийся на лестнице с топором в руках. Юродивый — полудурковатый Тютек-Витек, не выговаривавший некоторые согласные. Еврейская пара на третьем этаже. Она — Сара Абрамовна, строгая командирша: ее все боялись, но уважали; муж ее — театральный антрепренер. Про него шептали, что он соблазнил интересную молодую женщину за пару импортных колготок. Эта «интересная женщина» была прохановской соседкой — младшей — по коммунальной квартире; однажды он увидел ее в кухне, под душем, голой — «распаренной, розовой, млеющей, с большими грудями», это произвело на него такое впечатление, что он счел нужным упомянуть о нем шестьдесят лет спустя; знаменитые «гексогенные» «креветки, похожие на маленьких распаренных женщин, вышедших из деревенской бани», — не от нее ли?

Помнит ли он войну? «Конечно, помню. Хотя война для детского сознания носила мифологический характер. Я страшно любил все эти военные фильмы, непрерывно рисовал цветными карандашами танки, взрывы, салюты, Кремль, все это пылало огнями… Все говорили о войне, но это все превращалось в

детском сознании в загадочный пугающий миф. Я помню, проснулся от разговоров в комнате, смотрю, стоит мама в ночном одеянии, в халате, а рядом с ней какой-то большой крупный мужчина в шинели, обмотке и бутсах. Я спрашиваю, почему этот мужчина рядом с мамой, я был в таком враждебном состоянии. И вдруг я узнал в нем своего отца. Он приезжал из пулеметной школы, где учился до отправки на фронт».

В октябре 1941-го, как и вся Москва, Прохановы уезжают в эвакуацию, в Чебоксары, и спасаются там дна года. В последнее время Проханова часто показывают по телевизору, и если его интервьюируют под Новый год, он обязательно вспоминает историю про шальной эшелон 1942 года с елочными игрушками, который всем мешал, никак не мог никуда приткнуться и почему-то забрел в Чебоксары, где его и разгрузили, и город, в котором не было никаких товаров, вдруг оказался засыпанным игрушками, страшно дешевыми. Мать накупила их целую гору и сделала восхитительную елку, а ему сшила из клеенки кобуру и выточила деревянный наган.

В тот же Новый год, вспоминает он, к ним снова на побывку приезжал отец. Это смутное впечатление, скорее похожее на наваждение. Отец посадил его на колени, и они стали рисовать. Отец нарисовал очень красивый грузовик — с колесами, кабиной, который ему страшно понравился. А потом взял и раскурочил его: из-под передних колес нарисовал страшный взрыв. Трехлетний Александр Андреевич разрыдался, и отец тут же переделал этот взрыв в куст: дорисовал листья, цветы… (Удивительным образом этот взрыв-куст прорастет в романе «Время полдень» — на панно, которое нарисовал по заказу администрации ДК геологов-нефтяников один из персонажей, художник Антонов. Там вездеход разбивается о клюквенный куст, символически изображая взрывоопасное столкновение природы и цивилизации, болот и техники).

Отец — вечная фантомная боль Проханова. Об этом можно судить уже хотя бы по тому, что до сих пор, вспоминая своих детских друзей, он говорит — у того был отец, а у того не было.

Андрей Проханов родился в 1910 году. Он закончил исторический факультет университета, никогда не был в партии, но увлекался большевизмом — настолько, что однажды привез из Тифлиса Сталину несколько бутылок его любимой хванчкары, был принят генсеком и вручил ему свой дар. Проханов уверяет, что даже после репрессий его отец не изменял утопическим идеям. В 1942 году он пренебрег бронью и ушел добровольцем на фронт. За какую-то провинность он попал в штрафбат и в ночь

перед Рождеством 1943-го погиб при наступлении под Сталинградом, тридцатитрехлетним.

Удивительное свидание с отцом происходит у Проханова в Никарагуа, на границе с Гондурасом, ну или, по крайней мере, у Боброва, главного героя романа «И вот приходит ветер». Увидев у местных партизан старую советскую пушку, советский фотокор вдруг понимает, «что пушка — отца. Отцовские тело, душа, не исчезнув, были заключены в металлическую плоть орудия. Это свидание с пушкой было свиданием с отцом». «Отец, это я, — повторял он, чувствуя, что дождь на лице стал горячий. — Вот и встретились с тобой, отец». Эта не первая попытка поговорить с отцом: в финале «Иду в путь мой» герой обнаруживает в степи могилу погибшего отца и медитирует о нем. С фигурой отца, в том числе, несомненно, связан интерес Проханова к николай-федоровской теме «воскрешения отцов» и, шире, бессмертия. Не исключено, именно к фигуре отсутствующего отца восходит его безусловное преклонение перед авторитетом, силой и властью государства — государства, от которого, в свою очередь, ожидается, что оно будет патерналистским.

> «Была единственная фронтовая фотография отца с кубарями на лацканах — я ее где-то потерял, мать до сих пор не может простить».
>
> «Еще я запомнил: мама все время рыдала после гибели отца, были непрерывные слезы. До сегодняшнего дня, вспоминая, начинает дрожать и плакать».
>
> «Эта тема была запретной, табуированной, я не мог смотреть на страдания матери, мне было жалко не отца, а мать. Для меня война была той страшной мифической силой, которая отняла у меня отца, заставляет все время рыдать самое мое любимое существо — мать».

Матери в момент смерти отца было тридцать два года. Когда в Тифлисе ее принимали в пионеры, ей повязывал галстук Троцкий. Это не сделало ее идеологически активной, она даже избежала комсомола. Получив образование в архитектурном институте, она участвовала в строительстве многих крупных заводов, налаживала инфраструктуру в разгромленном после войны Смоленске. По словам ее сына, она была классическим советским человеком. В 90 лет она прочла трехтомный роман Личутина «Раскол» и вплоть до своей кончины в 2007-м работала над книгой семейных мемуаров.

В 1944 году мать повела Александра Андреевича на трофейную выставку: напротив Парка культуры, там, где сейчас

аттракционы, стояли захваченные трофеи. Он впервые увидел танк «тигр» с немецким крестом, чья башня представляла собой искореженный клок стали, видны были блестящие оплавленные кромки огромной дыры — «видимо, из зенитки шарахнули в упор или из самоходной установки ломанули, пробили болванкой». «Я смотрел с восторгом. В эту минуту я понимал, что вот на эту силу, которая отняла у меня отца, нашлась другая сила». Собственно, «битва со Сванидзе» и была создана именно после посещения этой экспозиции.

В первую декаду мая 1945-го он, как это часто с ним бывало, слег с сильнейшей ангиной, поэтому сам День Победы помнит смутно. Зато в его памяти отпечаталось, как к ним в дом пришли фронтовые друзья отца, принесли и подарили железный крест, сорванный с убитого немца, со свастикой, и еще знак, который отмечал участие немецкого солдата в рукопашной схватке: дубовый венок и пересекающий его карабин. Победе — «мистике Победы», «религии русской Победы» — будет посвящено множество майских передовиц Проханова. «Победа осуществила великий синтез советского общества, которое до войны выглядело как расколотое, наполненное противоречиями, во многом неустойчивое». (Не следует забывать, что тут речь идет в том числе и о семействе Прохановых-Фефеловых.) Победа вызвала к жизни «океан пассионарной энергии». «Победа подтвердила, что „русская цивилизация“ сберегла». Победа стала оправданием Сталина: ускоренной индустриализации, ГУЛАГа, «пакта о ненападении». Победа для Проханова — творческое преодоление материи, находившейся в кризисном состоянии, а любое творческое преодоление для него, в принципе, благостно и оправдывает любые затраты просто потому, что вселенная развивается по такому закону, и никак иначе не бывает.

Двор был наполнен врагами и «союзными существами». Что это были за существа? Ему припоминаются трое-четверо. Некий мальчик, у которого был отец — редкость по тем временам. А что это за странное существо, несколько раз возникающее на рисунках, которое то погружается в унитаз, то проваливается под землю, и все в самых неожиданных ракурсах? «А, ну это ж Витька, приятель мой по двору». Этот Витька, «умач», но «хилый» и поэтому постоянно нуждавшийся в защите, однажды сам чуть не угробил будущего главного редактора «Завтра». Однажды маленький Александр Андреевич тоже принял участие в шуточках над своим слабым другом, тот обиделся и исподтишка с немотивированной детской жестокостью столкнул его в яму у окна цокольного этажа (Проханов показывал мне эту яму во время нашей экскурсии в Тихвинский, довольно глубокий

цементный мешок, шею там можно свернуть себе запросто.) Это вероломство друга, не оценившего изящное bon-mot и ответившего на него попыткой убийства, поразило Проханова: «Как он мог предать меня, своего лучшего друга?!». В «Месте действия» Горшенин рассказывает бабушке: «Он меня тогда к яме подвел и спихнул, а ты за ним погналась, как орлица».

В соседнем подъезде жила грузинская девочка Этери, в которую он был влюблен в детстве и любил наблюдать, как она кидала мяч в стенку и прыгала через него, когда он отскакивал; много лет спустя он встретил ее и был страшно разочарован: она оказалась толстой некрасивой восточной бабой, метаморфоза, вызывающая у него глубокое удивление, потому что сам он, даже и в возрасте под семьдесят, так и не научился выглядеть стариком. В соседнем доме жил мальчик Оскар, научивший его странной детской наркомании: он его хватал сзади, как-то по-особенному стискивал за грудки, тот делал десять глубоких вдохов-выдохов, и тут этот Оскар крепко сжимал его, так, что он от этого падал в обморок: «такое опиумное забытье, морок сладкий». По-видимому, ему, как и многим детям, нравились ощущения, связанные с дезориентацией, своего рода искусственный рай, параллельная реальность, во всяком случае.

Вся эта компания собиралась во дворе у фонтана в форме пятиконечной звезды, шныряла вокруг трансформаторной будки, лазала по гаражам — вот они, по-прежнему громоздятся у дома; там молодые люди обнаружили однажды воровскую закладку с похищенными у кого-то документами и орденами, что-то было подкинуто в милицию, что-то ушло старьевщикам. Они и сами устраивали тайники; в частности, Александр Андреевич похоронил рядом с домом канарейку, о чем косвенно свидетельствует не только герой «Дворца» (который «в черной сырой земле рыл глубокую ямку, выкладывая ее глиняными черепками, фарфоровыми осколками. Цветочки лазоревые и золотые каемки, и на мягкий лист лопуха, среди стекла и фарфора, клал мертвую желтую птицу»), но и Куприянов-Касьянов из «Теплохода „Иосиф Бродский“» (который рассказывает на одной из оргий, как погреб таким образом попугайчика Сити, чтобы затем, в честь него, Лужков назвал район Москвы, где это произошло).

По ходу нашего моциона по Тихвинскому я осведомился, каким был его образ жизни в подростковом возрасте. Был ли он компанейским ребенком или валялся с книгой? «Нет, подростковый возраст я вспоминаю как драматический: возрастание, мужание, появление всяких мужских рефлексов… Вон в той подворотне я подрался однажды насмерть»: во дворе

орудовал некий шнырь, старше Александра Андреевича года на два, всячески шпынявший будущего баталиста. Однажды тот, не в силах более сносить обиду, подстерег его и намял бока по полной программе, «впервые поняв, что воля сильнее силы». Это была первая его драка, но не последняя. Про военных говорить не приходится, но даже его «гражданские» персонажи, списанные с него самого, никогда не отказываются от рукопашной: Фотиев, Коробейников, Завьялов, Белосельцев. Чаще всего это драка за женщину, но не обязательно, можно было почесать кулаки и из-за философии.

Они купались в Москве-реке, по пять раз бегали в кино на «Пятнадцатилетнего капитана», жевали вар, черный, как антрацит (его варили в асфальтовых котлах на улицах), и пугали родителей черными зубами. Они кидались в окна осколками стекла, потому что это было оружие-невидимка: одно стекло смешивалось с другим, и никаких улик найти было невозможно. Однако однажды его все-таки «взяли мильтоны» — за то, что ему хватило ума швырнуть в чье-то окно бутылку из-под сидра.

В соседнем доме жила учительница английского языка, у которой он взял несколько уроков. (Нельзя сказать, что английский язык — сильное место Проханова, я присутствовал однажды при его беседе с немецким писателем Кристианом Крахтом: он все понимает, но предпочитает отмалчиваться или ограничиваться «да» и «нет»: «Можно я поеду в багажнике вашей „Волги“?» — «Yes, Christian», — но объясниться он может довольно уверенно.) По словам Проханова, она «знала людей Серебряного века», Андрея Белого, ходила на Блоковские чтения и запомнилась тем, что именно от нее он узнал, что Белый — не Белый, а Бугаев. Эта дама снабжала его литературой, в том числе однажды принесла ему почитать шпенглеровский «Закат Европы». Ознакомившись с этой декадентской библией, он, разумеется, вернул ее, но через пару месяцев дама обвинила его в том, что он украл книгу. Проханов был страшно оскорблен. Через какое-то время запропастившийся Шпенглер обнаружился, и она сообщила ему об игом, «но это была такая обида, которую невозможно было простить».

Центром той детской, «амаркордной», вселенной Проханова был дом в Тихвинском переулке. Двор был микрокосмом, но существовал и макрокосм, его границами были Новослободская улица, Бутырская тюрьма, Палиха, а на северо-восток Марьина Роща, дальше они не уходили: «там почему-то были другие стаи, совершенно другая экология». И если на Марьину Рощу существовал какой-то запрет, то, наоборот, «некая странная

динамика улиц» выносила их на Тихвинскую улицу, к площади Борьбы, к Божедомке, к чахоточным клиникам. Потом от этих ампирных клиник, с памятником Достоевскому, они стали доходить уже и до театра Советской армии, «этой огромной морской звезде, выброшенной на московский берег», скверика с памятником Толбухину и даже дальше, до Самотеки. Там, впрочем, опять начиналась чужая территория, «другие существа, которые вытесняли мою линию».

Это вообще важный для Проханова район, к которому он все время будет возвращаться. Несколько поколений прохановских протагонистов будут фланировать по этим улицам и скверам, и где-то здесь Коробейников (так зовут в «Надписи» Мастера) снимет дом для свиданий с Еленой, прохановской Маргаритой.

Слушая его рассказы, я вдруг понимаю, что не вполне свободно представляю его ребенком. Фотографии почему-то не выглядят убедительными.

— Мне кажется, вы родились сразу… бородатым?

— Нет, я был мучительно взрастающим ребенком, боящимся. Я страшно боялся…

В этом подростковом эдеме был свой глаз ужаса, «дверь в преисподнюю», на описание которого в среднестатистическом прохановском романе обычно отведена минимум двухстраничная квота: лестница в подъезде, ведущая вниз, в подвал, где раньше находилось оборудованное бомбоубежище. Ужас, сочившийся из-за этой двери, был настолько чудовищен, что в течение всей жизни Проханов заставляет своих героев признаваться в этом «реликтовом страхе». «Каждый раз он (на этот раз Калмыков, герой романа „Дворец“) испытывал ужас, открывая парадную дверь. У спуска в подвал… копился сырой зеленоватый мрак, присутствовало множество глаз, странных тел, косматых голов, изогнутых клювов и когтей. Мрак был населен чудищами, злыми уродами, отвратительными карликами, которые вылезали навстречу, когда он входил в подъезд». Именно за избавление от чудищ тьмы в этом подъезде политолог Стрижайло отдаст злым духам свою бабушку и впустит в себя «змея с костяной башкой».

Там всегда была тьма, объясняет он свою странную фобию, когда мы с ним оказываемся у этого подъезда, тьма и странный какой-то мусор. Чтобы избежать встречи с «демонами», он, перед тем как войти в дом, смотрел в дырку, пытаясь обнаружить признаки существ, вылезших из подвала, и, если все было тихо, не глядя распахивал дверь и стремглав влетал вверх по лестнице. «Я удивляюсь, что это такое было, это либо я начитался сказок, либо сквозь меня проступал демонизм создания человека,

создания человечества, таким образом во мне реализовался весь этот ужасный языческий пантеон — домовые, ведьмы, берегини, мавки…». Позже аналогом этой подъездной дыры станет малевичевский «Черный квадрат» — визуальная метафора входа в пекло, заслонка, место выхода хтонических богов.

Почему подростковый опыт так и не оформился ни в какое отдельное произведение? «Видимо, потому, что, когда я начал писать, я был настолько наполнен надвинувшейся на меня реальностью, что я в нее ворвался, и у меня до сих пор нету времени заниматься ретро. Я набит реальностью, она мне кажется столь значительной, я не успеваю справляться с этими импульсами, которые, как помпой, вталкивают в меня новые катастрофы. По-видимому, надо окончательно отойти от актуальности, окончательно состариться, чтобы почувствовать пренебрежение к сегодня и вернуться в ту пору. Хотя сейчас я иногда лежу ночью и думаю, что весь этот странный мир вокруг моего дома, все то, что было в моем Амаркорде, включая павлинов, может быть описано». Павлинов? «Если помните, в „Амаркорде“ были поразительные кадры, странные — белый снег и среди белого снега почему-то павлины. Дивные перламутровые перья, странный иррациональный кадр».

На самом деле, если читать Проханова внимательно и не пропускать его «обмороки» про бабушку и желтую церквушку, выяснится, что фактически весь этот амаркордный ресурс детских воспоминаний уже в значительной мере капитализирован — и вовсе не только в автобиографической «Надписи», но еще в 70-х годах. Просто все это разбросано по эпизодам, подано как воспоминания героев, обычно генетически восходящих к нему и его другу Пчельникову. Критиков обычно раздражают эти немотивированные «обмороки», но сочувственный читатель встречает эти непременные страницы с особым удовольствием, как любимые стихи.

В семь лет он отправляется в школу. Его приводит туда бабушка, которая, очень трогательно узнать об этом, чтобы он не пугался, покупает ему горячий бублик с маком. Это была хорошая идея, потому что именно этот бублик позволил ему быстро и успешно интегрироваться в чужую для него, маменькиного, ничего не поделаешь, сынка, мальчишескую среду. На первой же перемене Александр Андреевич делится этим бубликом с другим «подготовишкой», и они становятся друзьями. Он довольно быстро адаптировался, но первое время его поражал и угнетал этот визжащий «террариум».

Проханов уверяет, что это была «замечательная, может быть,

даже лучшая школа в Москве». По-видимому, так оно и есть, и судить можно не только по одному из ее выпускников, экспериментальная 204-я школа до сих пор находится на федеральном финансировании с годовым бюджетом в 3 млн долларов. Неудивительно, что там отучились многие будущие селебритиз, в том числе художник Шилов, который — уже в 90-е годы — предложит нашему герою нарисовать его портрет, и Проханов согласится, но, не выдержав ужимок и сосредоточенного молчания артиста, сбежит после трех сеансов позирования.

Помимо Шилова, в 204-й школе было еще много людей, сделавших большую карьеру; кого здесь не было, так это девочек, школы в тот момент были еще раздельные. Альма-матер находилась на Миусе, не так уж близко от Тихвинского, но из-за того, что все школы рядом с домом были женскими, приходилось минут 10–15 тащиться пешком, вдоль трамвайных путей, наблюдая за тем, как трамваи роняют длинные искры, — мучительно московский, щемящий сердце образ, который он будет фиксировать на протяжении всей своей жизни.

Среди педагогов выделялись старорежимные персонажи. Историк, например, был бывшим кадетом и даже входил в кадетский ЦК — отсидев потом за это, разумеется. Это был конец 40-х — начало 50-х годов, и аресты в учительской среде вообще были частым делом: некоторые вдруг исчезали и могли явиться через несколько месяцев с бритыми головами («а если женщины, то в платочках»). Кроме учителей, на занятия приглашали специальных аниматоров, которые назывались массовиками-затейниками. Те проводили «минуты организованного смеха»: «Давайте сейчас мы все коллективно улыбнемся. Раз, два, три! Молодцы! А теперь организованно похлопаем себе и чихнем!». Школьная жизнь Александра Андреевича была похожа на волька-костыльковскую, описанную в «Хоттабыче». И так же как Волька обнаружил кувшин с джинном, Александр Андреевич наткнулся однажды на нечто не менее странное.

«Мистический» эпизод, связанный со школой, возникает в одной из передовиц 2003 года. Проханов уведомляет читателей своей газеты, что учился в школе, «которая была построена в тридцатые годы на территории огромного Миусского кладбища, вокруг монастыря. Во время весенних субботников каждую весну мы сажали деревья на школьном дворе. Долбили грунт, рыли ямы, раскапывали старые склепы, извлекали истлевшие чиновничьи мундиры с двуглавыми орлами на пуговицах, челюсти с золотыми зубами. Сажали молодой сталинский сад на

костях исчезнувших поколений».

Вообще, тема находок была в те времена, что называется, первополосной. Во-первых, в городе вовсю строилось метро и Москва была наводнена шахтерами; герой Михалкова в «Я шагаю по Москве» не случайно вкалывает метростроевцем. Кроме того, в московской земле копались прочие коммунальщики, в частности, в 1947–1948 годах в городе стали прокладывать газовые трубы, церкви и кладбища существенным препятствием при этом не считались. Экскаваторы вырывали из-под земли множество скелетов, стройплощадки часто напоминали съемочные площадки для «Восстания мертвецов». Неудивительно, что весь этот эффектный реквизит привлекал внимание молодых людей: мальчишки собирали кости, черепа и похоронные принадлежности, чтобы затем отнести их в лавки старьевщикам — иногда по несколько мешков черепов за раз. Одним из этих черных археологов как раз и был Александр Андреевич.

> «Когда мы обустраивали футбольное поле и ставили ворота, то выкопали череп. Мы все были молодыми футболистами, болели за „Спартак“ и „Динамо“. Стали пинать этот череп ногами, играть в футбол, и я помню, как мой носок ударил в пустые глазницы. Много позже, когда я исследовал топографию этого кладбища, уже зная, что там похоронен Федоров, я обнаружил, что его могила находилась примерно в том месте, где мы ставили ворота. Конечно, у меня нет полной уверенности, но некое мистическое чувство подсказывает мне, что я играл в футбол черепом Федорова».

«Именно из этого попранного черепа, из гулкой костяной чаши, — уверяет Проханов, — впервые донеслись до меня слова федоровской проповеди „воскрешения из мертвых“, искупления грехов отцов подвигами сыновей».

Гверчино. «Et in Arcadia Ego» («И в Аркадии Я есть». «Я» в смысле «Смерть»).

В самом деле, философ Николай Федоров, умерший в 1903 году, был похоронен на кладбище Скорбященского монастыря — там, где сейчас находится Новослободская улица. В 1929-м его могила, в числе прочих, подверглась надругательству — кладбище монастыря было стерто с лица земли, утрамбовано под парк и детскую игровую площадку. «Симптом нравственного одичания, — возмущенно комментирует снос исследовательница жизни и творчества Н. Федорова С. Семенова, — о котором предупреждал философ памяти, призывавший живущих обратиться сердцем и умом к кладбищам, к ушедшим из жизни, отчетливо выступил наружу: „сыны человеческие“ с очевидностью превратились в „блудных сынов, пирующих на могиле отцов“». В этой картине, напоминающей сюжет Пуссена и Гверчино «Et in Arcadia Ego» — «Проханов натыкается на череп Федорова», — чувствуется не только ирония истории, но и совершенно романная, редко случающаяся в жизни неотвратимость: смерть есть везде, все предрешено, чему быть, того не миновать.

Что касается футбола, то, сколько я смог понять, в зрелом возрасте его уже нельзя назвать болельщиком. Мы разговаривали с ним после майской, 2005 года, победы ЦСКА над «Спортингом»

в кубке УЕФА: издатель Александр Иванов заявил, что для народного сознания эта победа оправдывает все 15 лет здешнего капитализма. Проханов по-иезуитски согласился — да, конечно, в том числе отдачу двух островов на Амуре и тайно готовящееся соглашение о передаче двух Курильских островов. Футбол — быстро вырулил он на взлетную полосу — это ведь как кока-кола, спорт масс, «удел плебеев», полу криминальных, люмпенизированных. «И на самом деле, Александр, это подмена идеи национальной победы — реально ведь играют четыре негра на деньги абрамовичевской „Сибнефти“».

С кем он играл в этот футбол? Кто был в его компании? Марьинорощинская шпана? Нет. «В этом круге я не общался».

Классе в пятом он вместе с тем же Витькой Ивановым, несостоявшимся душегубом, посещает кружок в Ботаническом саду. Затем записывается в Дом пионеров, куда приносит обнаруженные в ящиках комода амулеты, найденные его двоюродной бабкой на археологических изысканиях в Египте: статуэтки богов, скарабеев. Уже через десять минут пионервожатый выцыганивает их у простодушного школьника: «Вот такой был мой первый контакт с пионерской организацией». Уже тогда Александр Андреевич был медиа-востребованным человеком: я видел «Пионерскую правду» с фотографией его и его коллег по кружку.

Однажды в прохановскую школу явился Евгений Адольфович Кибрик — замечательный художник-график, бывший одно время, среди прочего, наставником М. Шемякина. По заказу Госиздата он иллюстрировал роман Островского «Как закалялась сталь» и подыскивал модель для юного Павки Корчагина. Отсмотрев несколько десятков детей, он остановился на будущем герое этой книги, он оказался самым колоритным. Тот согласился позировать — и раз пять ходил к художнику в мастерскую на Масловку (в тот же дом, между прочим, где в тот момент продолжал еще биться над своей моделью «летающего велосипеда» футурист Владимир Татлин). Чтобы изобразить Павку, скачущего на коне, Кибрик сажал Проханова на спортивный снаряд «козел», давал в руку палку, предлагал размахивать ею и вопить «ура!». Александр Андреевич с удовольствием выполнял все, что от него требовалось, один раз на крик даже прибежали уборщицы и потребовали прекратить безобразие. Несмотря на противодействие обывателей, портрет все же получился, он воспроизведен в издании «Как закалялась сталь» 1953 года.

С тех пор Проханову часто придется позировать — и художникам, и журналистам, его не раз выводили в литературных

произведениях, снимали про него телепрограммы, но самыми любопытными оказались опыты профессиональных художников — Марата Самсонова, Ильи Глазунова. Можно оспаривать степень художественности получившихся работ, но очевидным представляется то, что портреты «идут» Проханову: в нем есть нечто монументальное, и он хорошо на них выглядит. Урок, который следует извлечь потенциальным прохановским портретописцам из опытов Кибрика, Самсонова и Глазунова, состоит в том, что им следует думать не о фотографическом сходстве с клиентом, а о своего рода «нимбе», то есть метафизическом аспекте фигуры Александра Андреевича.

Иллюстрация Кибрика к «Как закалялась сталь».

Есть свидетельства, что самым важным для Проханова учителем был словесник Михаил Кузьмич Фатеев — тощий,

длинный, в пиджаке, с портфелем, напоминавший не то молодого Белинского, не то Писарева, не то педагога в бурсе, не то просто земского интеллигента из чеховских рассказов: педант, очень закрытый, сухой, скептичный, постоянно заботившийся о дистанции между собой и окружающими, он рассказывал о «факультативных» авторах — Блоке, Достоевском, сам любил декламировать классические тексты, устраивал литературные вечера — поскольку школа носила имя Горького — горьковские. «Я, честолюбивый человек, добился того, что по сочинению и по диктанту два раза у него получал „пять с плюсом“. Это была редкость, я был единственным, но то был вопрос игры, честолюбия, мне страшно хотелось ему понравиться, и я добивался». Этот Фатеев был для него «абсолютно загадочным и пленительно притягательным образцом», и он запомнил его надолго, а в 1967-м написал о нем в «Литературной России» «житие, очерк, песнь»: тот был страшно растроган. Уже после выпускного Проханов сблизился ним почти по-приятельски. Они вместе гуляли в парках — вокруг Театра Советской армии, Тимирязевском — и выяснилось, что в душе тот был едва ли не антисоветчик, во всяком случае, он не мог простить советской власти раскулачивание и коллективизацию. Проханову он доверял как своему лучшему ученику.

Они любили вспоминать эпизод, когда Фатеев задал им выучить наизусть некоторые куски из «Войны и мира»: Болконский на Аустерлице, первый бал Наташи Ростовой, но Проханов выбрал фрагмент не из списка, а сам. Обладатель феноменальной памяти (он до сих пор, в его-то возрасте, может читать стихи часами), сам к тому времени уже заядлый охотник, он продекламировал сцену охоты, в том числе следующий пассаж из четвертой главы второго тома: «„Жопа, — крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа. — Просрали волка-то!.. охотники!“ — И как бы не удостаивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленною на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и понесся за гончими».

> «Я доходил до этого момента, мне страшно нравилось, когда доезжачий Данило проскакивал мимо графа с криком „Просрали волка, жопа“. И я брал на себя смелость говорить это в классе. Класс замирал. А он ухмылялся, позволял».

Проханов утверждает, что «в школе был постоянным диссидентом. Я устраивал обструкции своим педагогам, поднимал класс на борьбу с классным руководителем. Я не

выносил халтуру, она меня возмущала». Предметом насмешек часто становились не только профессиональная, но и эстетическая компетентность преподавателей. В частности, все про того же словесника, годами ходившего в одной и той же косоворотке и мятых, годами не глаженных брюках, он сочинил своего рода фаблио, в котором были, в частности, строки: «Кузьмичишко, Кузьмичишко, где добыл свои портишки? — Было мне шешнадцать лет, подарил мне их мой дед!» — которое, с его легкой руки, распевал весь класс.

В романе «Дворец» описана влюбленность героя в свою учительницу начальных классов. «Нежность, которую он (Калмыков. — *Л. Д.*) к ней испытал, была не похожа на нежность к матери, а была мучительным обожанием ее голоса, ее волос, ее розовых губ, ее ног в темных туфлях с ремешками, перетягивающими подъем стопы…». Он в самом деле был влюблен в учительницу? По-видимому, это хороший вопрос Проханов начинает вспоминать с воодушевлением. «Однажды у нас в классе появилась молодая стерва, грубо, жестко, с визгом, криком с нами обращавшаяся. И тогда, в первом классе, я заметил ее ногу с ремешком. Потом, после четвертого класса, она была у нас классная дама, и вот все время в моих с ней отношениях война, вражда, я поднимал бунт класса — было связано с этой задавленной или, наоборот, с растущей молодой эротикой. Когда она забеременела, я страшно ревновал, как будто это и должен был трахнуть ее, а трахнул ее муж. На выпускном балу и пригласил ее на танец. И мы танцевали в огромном зале: сумрак, цисты… и я ее к себе прижал. Грудь, живот, ноги ее почувствовал, и но время танца она ответила мне на это прикосновение, как бы отдалась на одну секунду. А потом умерла. Не после этого, естественно. И до сих пор в моем дряхлом сознании возникает этот танец, прикосновение, нога[1]. Удивительно: мужские миры, в которых гуляют эти женские ноги, пластика, потаенная красота, тайны женских мест. Может быть, это такое сластолюбие, нет, это витальные силы. То, что делает самца самцом, это то, что Господь заложил в отношения полов, то, что отличает нас от женщины, постоянно, до смерти Господь напоминает, что ты мужчина, а не женщина. Над могилами сладострастников в тумане вьются тени — это женщины».

Как насчет собственных текстов? Первый свой стих он сочинил 24 августа 1947 года. То был день города в год 800-летия Москвы, один из нерутинных, запомнившихся на десятилетия, праздников. Отдельной строкой в бюджете были прописаны затраты на иллюминацию Кремля, фабрикам предписывалось выпустить специальные сувениры, а завлитам театров — оживить

репертуар пьесами соответствующей тематики. В ту ночь в Парке культуры состоялся карнавал, посвященный истории Москвы. Они гуляли там с теткой Ириной Петровной, разглядывали висевший в небе аэростат с флагом карнавала, подходили к гадалкам, гипнотизерам и звездочетам, на эстраде выступали артисты, а в детском городке был представлен уголок старой Москвы. Все это вдохновило Александра Андреевича на сочинение стиха, который, к сожалению, дошел до нас не целиком, но лишь отдельными фрагментами: «Воскликнул хан Батый сердито: все сжечь! и поднялся над Москворечьем татарский острый и кровавый меч…» — и далее: «Над Красной площадью дни и ночи горит красавица звезда».

Когда умер Сталин, ему исполнилось 15. Помнит ли он массовую истерию, похороны? «Смерть я помню, но сам этот день я проболел — как и многие крупные события и даты. Меня в детстве мучили ангины, которые порождали температуру страшную, скачки температуры, а температуры порождали бреды. И эти бреды носили достаточно творческий характер. В этих бредах, когда раскалялся мозг, кипела кровь, а в крови совершались сражения под стать сражениям мировой войны, когда эритроциты и лейкоциты бились с вирусами и я сам был Сталинградской битвой, в этих бредах проступала первооснова, возникали ощущения, мне казалось, что я влетаю в матку, откуда я вышел, возвращаюсь в смерть через ступени своего развития и рождения. И было страшно и сладко ужасно. День смерти Сталина я провел именно таким образом. Но чуть ли не на следующий день я позволил себе определенное, на мой взгляд, кощунство. Когда меня вызвали отвечать на уроке немецкого, я сделал ужасно огорченное трагическое лицо и сказал, что я настолько потрясен кончиной Иосифа Виссарионовича, что не могу сейчас отвечать. И она поняла мое состояние и не стала меня спрашивать. Хотя я вполне мог ответить. Я помню, что я решил почему-то проэксплуатировать эту социальную риторику, и до сих пор не знаю, что это — смелый, бравый, интересный или гнусный поступок?».

Взрослея, он больше времени проводит дома, глотая старые французские романы и поэзию символистов, но у него по-прежнему много друзей, в том числе одноклассников. У него есть не только обычные приятели, но и чуть ли не апостолы, ходившие за ним по пятам, например Гарик, художник, тоже поступивший вслед за Прохановым в МАИ и тоже в какой-то момент переставший учиться, но, как и многие вокруг него, быстро спекшийся и сошедший с дистанции: «увлекся экстрасенсами,

стал медитировать и спятил».

К десятому классу Проханов, хотя и обладающий математическими способностями, ощущает себя скорее гуманитарием. Он часами мог читать наизусть Блока, сочинял романсы, музыку к стихотворениям Блока. Импровизировал на гитаре — целыми днями качался в кресле: «А когда пройдет всё мимо, / Чем тревожила земля, / Та, кого любил ты много, / Поведет рукой любимой / В Елисейские поля».

Относительно советской школы тех лет принято считать, что она было торжеством серости, но, похоже, Проханову повезло больше, чем его среднестатистическим соотечественникам. С самого начала жизни к нему будто притягиваются эксцентричные персонажи — и вот он сводит знакомство к неким полусумасшедшим учителем психологии, посещает его дом на Масловке, где тот часами рассказывает ему о феноменологии Христа и Достоевского. «Я чувствую, — шамкал тот, паря в тазу свои подагрические ноги, — как во мне необъяснимо слились черты Достоевского и Христа». Проханов всегда очень ценил эту возможность отыскивать важную информацию независимо от режима и презрительно отзывается о диссидентах, ноющих, что в СССР они задыхались от информационного голода. «Никогда я не был обделен информацией, в самые советские годы. Была семейная библиотека, было общение, и главное было уметь находить». И «поэтому вся эта перестроечная гласность — все это херня».

Ближе к выпуску в его сознании происходит «поворот винта». Он по-прежнему частенько околачивается у окна, где программы вот уже много лет идут словно по расписанию: покачивается тотемный тополь, пробивается к свету деревце на крыше колокольни, в домике напротив, будто кукушка в часах, утром и вечером на авансцену выдвигается женщина, чтобы совершить свой традиционный стриптиз. Но однажды весной он открыл форточку, и «там трепетала мартовская синева, ослепительно синее, как у Грабаря, небо, мистическая лазурь, и сквозь эту лазурь неслись самолеты. Это была пора, когда авиационная техника каждый год рождала серии самолетов. Над Москвой каждый год летали десятки новых реактивных самолетов. Вдруг появлялась какая-то гигантская сумасшедшая машина, от которой грохочет весь город. Это было зрелище, они готовились к весенним, майским, победным парадам».

Освоением неба занимались в массовом порядке, систематически, как сорок лет спустя, тоже в массовом порядке, начнут осваивать киберпространство. В небе бушует настоящая

«война миров»: там столпотворение, биток, ходынка, оно не пустое, оно кишмя кишит живыми существами и рукотворными объектами. Незнайка с друзьями — и те летят на воздушном шаре: «и все доступно уж, эх-ма, теперь для нашего ума». «Я высовывался и долго смотрел, и идея самолетов поразила мое воображение. Она была поэтическая, а не техническая, конечно. Эти самолеты тайно говорили, что развивается авиационно-космическая программа. Это было рождение реактивной авиации, и бомбардировщики должны были таскать ядерное оружие через океан, создавались носители». Так у него возникла идея поступать в МАИ, и летом 1955-го, впервые соблазненный «романтикой техносферы», он поступает на радиофакульет Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. Институт был на Соколе.

Весь первый курс Проханов настойчиво вгрызается в учебники, пытаясь понять, каким образом над колокольней воспаряют летательные аппараты, но довольно быстро математика, радиоуправление, сопромат, специальные технические знания, «всякая мура, которая не была связана с самолетной мифологией», наскучивают ему, он начинает прогуливать. Одна за другой следуют «мучительные» сессии, за которые он отхватывает но три двойки. Несколько раз его почти отчисляли.

По идее, Проханов почти ровесник персонажей «Я шагаю по Москве», и почему бы не предположить, что его повседневная жизнь тех лет очень напоминала ту, что вели шпаликовские герои? Но, похоже, этот фильм имел к нему не больше отношения, чем, к примеру, «На последнем дыхании». Ом не участвовал в КВНах, не рисовал на скорость лошадь, не шшмался комсомольской работой, зато вел жизнь «декадента»: унимался Блоком, участвовал в литературных вечерах и даже — однажды, на первом курсе — занял первое место на конкурсе циклических галстуков. «Ваш лиловый аббат будет искренне рад и отпустит грехи наугад», — манерным баском вытягивает он на литературных вечерах, под гитару, романс Вертинского. Там же он декламирует свои «декадентские», позиционируемые им как написанные «под Северянина и Бальмонта», стихи: «Умирают левкои, легко им, как сиреневый пар — парк», — словом, ведет полубогемное существование модного в студенческой среде человека, неформала и диссидента; не зря полвека спустя он с явной симпатией будет наблюдать за Бугаевым-Африкой, почувствовав, по-видимому, в нем знакомую натуру. В компании с актерами, балеринами и художниками он зависает в мастерских каких-то инакомыслящих скульпторов. Они пьют сухие вина,

рассматривают слайды Парижа, острят, беседуют о стихах и романсах. Однажды в каких-то гостях он впервые встречает живого Евтушенко, который тогда уже находился в ореоле своей славы: «накачанный адреналином, был красив, прекрасно владел средой, на него восторженно смотрели девушки, ему внимали взрослые мужчины». С одной стороны, он ему страшно понравился, с другой, что неудивительно, вызвал дикое раздражение: «потому что я, конечно, внутренне ревновал». Тогда он еще даже не предполагал, что сорок лет спустя Евтушенко посвятит ему несколько глав своего автобиографического романа.

Евзерихин. «Парад в Тушино».

С этих вечеринок он часто уходил не один; во «Дворце» упомянута женщина старше его, которую все называли «жена дипломата».

— Правда ли, что вы заняли первое место на конкурсе

экзотических галстуков? Честно говоря, это про какого-то вашего героя сказано, но вы же обычно ничего не придумываете.

— Это и правда, и не совсем. Это был первый курс, новая среда, после школы… нас пригласили в какой-то соседний институт, может быть кулинарный, где было обилие женщин… там было состязание какое-то… и я выиграл галстук, мне девушка подарила его… более чудовищного я не встречал в жизни… подбор цветов… какая-то химия… Нет, он не сохранился, я очень быстро от него избавился… он сразу стал причинять мне эстетическое страдание. Но да, я его выиграл.

По желанию он имеет возможность менять плотность и состав своей коммуникативной среды. Витька Иванов — тот самый, который столкнул его в яму, случайно отдыхал в санатории с неким Гурием Окским, который на самом деле был Сидоровым, но предпочитал представляться более экзотическим псевдонимом. Этот Сидоров, лет шестидесяти, был из Серпухова и работал директором краеведческого музея внутри Троице-Сергиевой лавры, а жил прямо там, внутри монастыря, в доме, где сейчас находится ризница. В свободное от основной работы время он сочинял дадаистские стихи, занимался резьбой по дереву на манер «народного» скульптора 20–30-х годов Цаплина (которого Проханов успеет застать в живых и даже сделает с ним интервью в конце 60-х годов) и объемной фотографией. «Он был бонвиваном и красил себе волосы». Познакомившись с этим экстравагантным человеком, Витька рассказал ему о своем друге детства Саше, уже тогда имевшем репутацию оригинала и раритета. Проханова привезли в Загорск, их представили друг другу — Проханова, в частности, как автора стиха, который, с точки зрения Окского, показывал всю глубину понимания женской психологии: «Вот рука, садитесь глубже в кресло, пальцами коснитесь темной кожи. Слышите? Сучок в комоде треснул, дом вздохнул и в одночасье ожил. Это мне у женщины знакомо, этот страх за прожитые годы. Эти скрипы старого комода. Этот вид давно забытых комнат…». Окского восхитило, что Проханов, будучи молодым человеком, уже, судя по всему, имел огромный любовный и житейский опыт.

Проханов начинает часто наезжать к нему. После непременного визита в Троицкий собор, к раке преподобного Сергия, они приступали к домашним развлечениям. Там были женщины, местная богема, служители музея, краеведы — словом, это был настоящий салон, насколько эта институция была возможна в конце 50-х годов в советском обществе, причем салон, в котором «эротика и декадентство соединялись с мистикой православия» (не самая уникальная, как мы дальше увидим,

комбинация в прохановской биографии). По ночам, уже разгоряченные алкоголем, они выходили из дома и рассматривали огромные купола монастыря, слушали крик ворон, созерцали темные луга за церковью Сергия Радонежского. Сорок лет спустя, в 1999 году, туда в поисках решения приедет генерал Белосельцев — и уйдет оттуда ни с чем: преподобный Сергий ему «не ответил».

Этот параллельный мир никоим образом не соприкасался с институтскими делами и московскими знакомыми: «Я с этим своим восхитительным декадентским безумием являлся на кафедры и лаборатории». Тем не менее, утверждает Проханов, «мой образ жизни не был ветреным. Я не был стилягой, не ходил в брюках-дудках, не посещал дансинги. Я очень любил природу и, если бывала возможность, брал ружье и уезжал на охоту. Это был такой эпатаж: когда вы увлекаетесь танцами и портите паркет, я в это время хожу по болотам и стреляю там гусей и лебедей». Стрельбу по движущимся мишеням он впервые освоил еще в школе. У него было один друг, Володя Лебедев, у которого был старший брат и отец, уцелевший, потому что работал на оборонном заводе и имел бронь. Эта счастливая мещанская семья, не похожая на траурный прохановский дом, увлекалась охотой. Лет с 13 они стали брать его с собой. Ружье? «О, мать моя, великая, конечно, женщина, она решила так: поскольку у меня нет отца, она будет у меня отцом, а бабка будет мне матерью. От бабушки я получал бесконечную любовь, ласку, обожание, все, что делает человека прекрасным, что заставляет его любить, прощать, терпеть, обожать, помогать. А все, что делает человека строгим, крепким, энергичным, мужским, — это я получил от матери. Мать меня никогда не хвалила, например. Бабка позволяла мне все — все что я ни сделаю, было сверхгениально, никогда не позволяла на меня нападать, защищала как курица. А мать всегда была строга, порицала меня, была скупа. Но она мне купила ружье, одностволку».

С этой тулкой он и выезжал на охоту — под Волоколамск, Лобню, в Дубосеково. «Мои охоты протекали, с одной стороны, среди восхитительной природы подмосковной…» — с позволения читателей, я опущу воспоминания о том, как именно трепещет на осеннем ветру малиновый куст. «Это была природа, это была страсть, это была погоня за птицами, за зверями, за белками, за зайцами, за утками». Они бродили по болотам и перелескам и часто оставались ночевать, просясь на постой к деревенским бабушкам. Именно на этих охотах он, горожанин до мозга костей, впервые столкнулся с деревенской, «лубяной» Россией. Проханову досталась «стихия окончившейся войны». Он видел крепких

крестьян, которые вернулись с войны израненными, но победителями, которым государство дало золотые ордена, хромовые сапоги, статус, и он видел, как они «лупили самогон, была гармонь, рассказы». По сравнению с поздним брежневским официозом то была живая энергия победы, которая перетекла в него и кипит в нем до сих пор: чтобы убедиться в этом, достаточно купить в ближайшую среду газету «Завтра» и прочесть там статью под шапкой.

С другой стороны, это были «странные деревни», наполненные не столько бабушками, сколько «нестарыми волоколамскими вдовами» погибших на войне солдат. Именно в этих местах располагались поля сражений, здесь погибли 28 героев-панфиловцев, там до сих пор были могилы, следы боев, остатки разгромленной техники. В деревнях, где останавливались охотники, определенно витали духи. Вдовы рассказывали про бои, как собирали на лугах трупы убитых солдат, хоронили их. Мистические интервенции в эти места продолжаются, о чем свидетельствует, например, военный памятник в Ленино, на Волоколамке, где танки заросли какими-то невиданными многогранниками, а на 38-м км. Новориги вылезла из земли циклопическая «пирамида Голода».

Дичь и посиделки с вдовами были не единственной причиной, по которой молодые люди выдвигались на охоту. В одной деревне под Лобней им удалось познакомиться с туземными девушками. «Визгливые, смешливые, — вспоминает главный герой „Дворца“ Калмыков, — они ждали нас с нетерпением». Из-за этих аборигенок, если, по крайней мере, верить все тому же герою «Дворца», и закончилась та его подростковая дружба. Однажды он заболел и пропустил выезд на охоту, друга это не смутило, и он поехал один. При встрече Проханов стал расспрашивать его об одной из своих знакомиц. Тот рассказал, что ему удалось переспать с ней, «и то, что случилось, было отлично…». Он испытал «боль, одиночество, чувство потери… Так кончилась моя дружба, моя первая дружба», и теперь он уезжал на охоту один: садился на электричку, сходил на каком-нибудь «лесном малолюдном перроне и шел наугад по дорогам, отдыхал у маленьких речек, выбредал к разрушенным старым усадьбам…». Не думаю, чтобы он слишком долго переживал эту волоколамскую фрустрацию. Судя по всему, он пользовался известной популярностью в женском обществе, во всяком случае, демонстрируя мне фотографии своих сокурсниц, непременно добавлял — а, такая-то: была влюблена в меня очень. «А, вот та, которую я впервые полюбил. А, Таня, на берегу Плещеева озера, под Переяславлем: креолка, с косыми глазами

бурятскими, искусствовед. А, Ритка Евстигнеева, у нее был роман с маишником старшим, но на первом курсе она мною увлеклась, у нас был скоротечный роман, а потом она к нему вернулась, я не мог понять, почему мной пренебрегли».

В это же время, на первом курсе, в жизни Проханова возникает Псков. И именно Псков вытесняет из него МАИ. «Мои университеты были в Пскове».

Глава 3

Проханов везет автора в свое Комбре. Краткое описание «псковского ренессанса».

Столкновение с миром неолитического антиквариата. Фиолетовый гроб. Избрание нового губернатора

Пещеры Псково-Печерской лавры похожи на романы Проханова — здесь сыро, не слишком запутанно и неожиданно много подозрительных типов… По нешироким, размером с дорожку для боулинга, туннелям шаркают группы паломников. На входе каждому монахи дают пару свечек, но из-за сквозняков то и дело возникают блэкауты. Своды из влажного песчаника позволяют перемещаться в полный рост, однако то и дело тут натыкаешься на людей, сидящих на корточках, впотьмах они шарят руками во влажном рассыпчатом песке: осторожно, не наступите, тут где-то мой мобильный. Ноги подвязают в песчаном полу, будто идешь по дну. Почему-то здесь очень много пьяных, похожих на десантников из Псковской воздушно-десантной дивизии в увольнении, они быстро отбиваются от своих, теряются в лабиринте каверн и пытаются пристраиваться к чужим группам, в целях интеграции задавая батюшкам-экскурсоводам наводящие вопросы: а мумии — это как Ленин в мавзолее, да?

В Пскове мы с Прохановым оказались в конце 2004 года молитвами действующего губернатора Михайлова, судьба которого решалась во втором туре голосования: местные коммунисты его прокляли, но протестный электорат терять не хотелось, и поэтому администрация обратилась за помощью к своему матерому союзнику Проханову — «оказать информационную поддержку». Не похоже, чтобы это предложение было для него чем-то экстраординарным, скорее обычная практика. В любом случае, я давно уговаривал его повторить рывок генерала Белосельцева, показать мне «Псков земной и небесный», который то и дело материализуется в его романах и передовицах, и мы поехали. Читатель Проханова знает, что пещеры и подземелья привлекают этого автора необычайно; часто он обозначает их клишированным сочетанием «катакомбы красной веры»; словосочетание означает то, что вера и чистота — любая, но и советский проект, в частности, — вынуждена укрываться под землей. Это могут быть и советские подземные

города, и атомные комбинаты вроде Красноярска-26 (где в случае военного удара цивилизация продолжит свое существование), и катакомбы под Белым домом, кишевшие в 93-м его сотрудниками («Один убит, второй ранен, за третьим гонялись по катакомбам», ударится он в воспоминания на встрече с читателями). «Катакомбное сознание» было свойственно патриотической оппозиции на протяжении всего ельцинского и первой половины путинского периодов: противники сатаны, не имея возможности противостоять врагу силой, проводили дни в посте и молитвах. Небесное было загнано под землю, где, законсервированное, сохранялось для будущего проекта. Здесь, в Печорах, развернулась подземная цивилизация праведников, противостоящая верхней, где победили алчность и ограниченность, Кудрин, Греф и Зурабов; так под грязной и мелеющей Волгой течет, по заверению Проханова, «вторая», подземная Волга — чистая и полноводная. Кроме того, «катакомбное сознание» — это еще и пунктик в его характере, в силу которого Проханов не вполне может служить эталоном вменяемости. При всем своем здравомыслии он — человек упертости, обороны, последнего боя, десперадо, знающий о неизбежности будущего поражения и все равно верящий в свою правоту, человек императива места, пространства, которое вменяет родившемуся здесь человеку необходимость оставаться здесь до конца. С одной стороны, именно из-за таких шахидов — пассионариев, нахвативших в свое время пространства и теперь вынужденных защищать его любой ценой, тут и происходит все то, что не позволяет России превратиться в «тихую европейскую страну»; с другой, этот эталонный образец отечественной упертости, упрямства и стойкости внушает одновременно и опасение, и уважение.

Батюшка-спелеолог не миндальничает с не в меру любопытными приблудными: «Вы разворачивайтесь на 180 градусов и идите откуда пришли; вы не с нами здесь», — под землей пьяные быки смиренно следуют указаниям особы духовного звания. Представитель администрации договорился с менеджерами Псково-Печерской лавры, чтобы нас без очереди пустили в главный здешний аттракцион — подземелья, «пещеры богом зданные». В псковских нерукотворных пещерах, обозначенных на входе ярким, золотым по красному, транспарантом, хоронят вот уже лет девятьсот, и сейчас там не то 11, не то 16 тысяч гробов. Чтобы низвергнуться в катакомбы, надо сначала проникнуть на территорию монастыря, который занимает внутренность живописного оврага. Издали он похож на фантик от шоколадки «Сказки Пушкина», и чем ближе, тем больше

подтверждается первое впечатление: аляповатая азиатчина. Ортодоксальные избушки декорированы сусальным золотом, на крышах грядками высажены башни-луковки. В овраг спускаются по выложенной брусчаткой «кровавой дороге» — Грозный, как справедливо указано в каком-то из романов Проханова, нес по ней на руках тело убитого им Корнилия. Справа остается стеклянная коробка — еще один штрих в эклектичной картине — в которой почему-то выставлена «Коляска Анны Иоанновны». Это богатый монастырь. По мощеной дороге деловито снует массовка из раскормленных батюшек, изможденных схимников, бритых паломников в спортивных костюмах и кожаных куртках и паломниц в некрасивых хиджабах, как у мусульманских женщин. Поскольку где-то поблизости находится не то священный источник, не то колодец, повсеместно распространенным здесь реквизитом является пятилитровая пластиковая баклага из-под «аквaминерале». То тут, то там можно увидеть «старцев», тех самых, надо полагать, которые, если верить автору передовицы «По молитвам старцев сгорело Останкино», молились в свое время об испепелении «этой огромной бетонной суки» — имелась в виду «сатанинская башня».

Псковский Кремль.

Псков, который покажется внимательному прохановскому читателю его наследственной вотчиной, никогда на самом деле не фигурировал в его родовой памяти. Он нашел свою «духовную Мекку» сам — более того, случайно. Мать, большая любительница отечественного туризма, купила себе путевку в Псков и заболела. Он только что сдал сопромат и с грехом пополам закончил

первый курс; работать он не собирался, так что ничто не мешало ему поехать вместо матери. Осмотрев вокзал, где отрекся Николай Второй, он отправился в центр, к Довмонтову городу, тамошнему кремлю. Пораженный мощной северной фортификационной архитектурой и величественным собором, он оказался достаточно открытым человеком, чтобы обратить внимание и на современность, вовсю осваивавшую средневековую крепость. Внутреннее пространство вдоль и поперек было перерыто ленинградскими археологами, которые в тот момент рыскали по всему Русскому Северу в поисках берестяных грамот, это была своего рода золотая лихорадка. В одном из шурфов внимание молодого экскурсанта привлекла необычайно красивая девушка, рассматривавшая найденный нож и некие предметы, похожие на курительные трубки.

Он не решился заговорить с ней при ее знакомых, но вечером, встретив на танцевальной веранде, пригласил ее на чачача и сообщил о том, что видел ее в раскопе, удачно пошутил насчет того, что, сделав сенсационные археологические открытия такого рода, она сможет защитить диссертацию «Кольца табачного дыма как прообраз древнерусских архитектурных форм» — и проводил до Поганкиных палат, где было общежитие археологов. На следующий день он отклонился от официально утвержденного экскурсионного маршрута, она взяла отгул, и они до ночи шатались по городу, разглядывая фрески и купаясь в Великой. Тех, кто интересуется дальнейшими подробностями того дня, отсылаем к роману «Господин Гексоген», где он воспроизведен с поистине прустовской обстоятельностью.

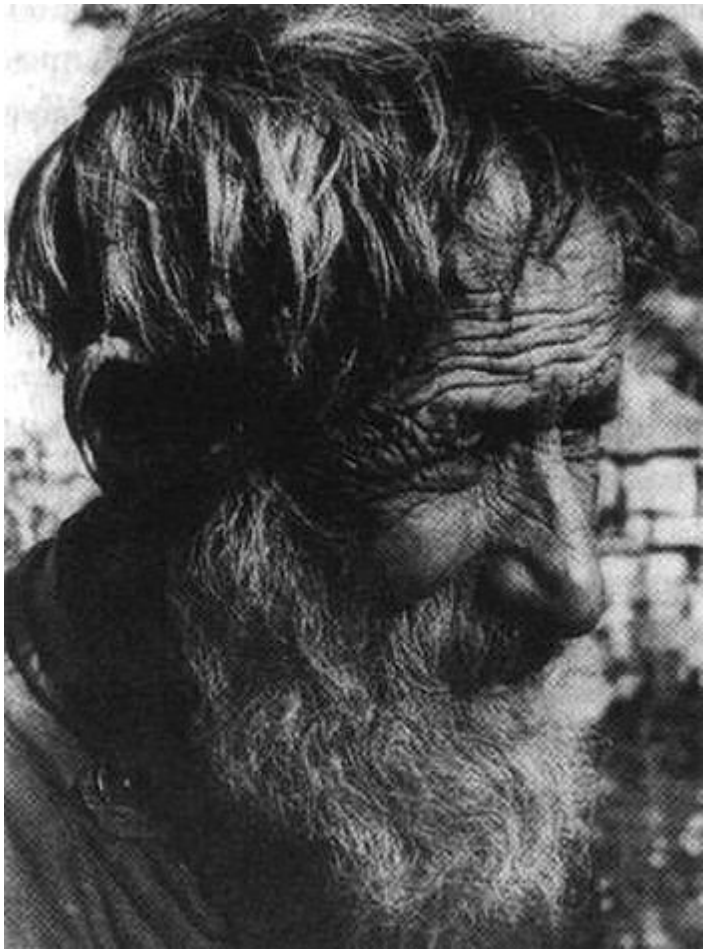
Девушка, которая позже станет работать искусствоведом в Эрмитаже, в отделе знамен, станет первой его долгоиграющей возлюбленной, они проведут вместе целый год, будут ездить друг к другу. Для нас, однако, важно, что через нее он познакомится с компанией ленинградских реставраторов.

Отцами-основателями экспедиции — и крупнейшими фигурами воспетого Прохановым «псковского ренессанса», якобы случившегося после войны в отдельно взятом районе «Красной империи», — были Борис Скобельцын (1921–1995), Лев Катаев и Всеволод Смирнов. Архитекторы и реставраторы, все они были старше Проханова, все прошли войну и все были людьми, занятыми практическим воплощением русской идеи. Это был лестный для него и психологически комфортный мужской коллектив («Псковские друзья были мне отцами и старшими братьями»). Именно это «псковское братство» научило его всерьез ценить красоту и мистику древнерусской культуры, продемонстрировало исторический ресурс России, который

можно использовать в мобилизационном проекте развития. В сущности, он был готов к этому: его мать, архитектор, всегда старалась приобщить его к старине и часто вывозила на осмотры усадеб — Кускова, Архангельского, Коломенского, теперь, однако, он попадает в среду, где красотой не просто любовались, но с энтузиазмом соучаствовали в ней, инвестировали в нее время и таланты. Скобельцынские реконструкции полуразрушенных храмов выглядели очень впечатляюще.

«Во Псков, полюбоваться на храмы, — вспоминает Проханов, — приезжали из других городов ревнители старины — архитекторы, писатели, студенты. Скобельцын водил их по городу, как проповедник, открывая их жаждущим, наивным душам таинство веры. Вел по Запсковью, Завеличью, увозил в Изборск и Печеры. Из его уст они слышали имена церквей, похожие на имена псковских посадских: „Василий на горке“, „Никола со Усохи“, „Илья Мокрый“, „Никола на городище“. Он говорил о церквах, как говорят о людях, живых, одушевленных, неповторимо-разных, со своим нравом, характером и судьбой, проживших долгий век среди озер, облаков и зеленых нагорий». «Сонмы, сонмы людей приходили в эту псковскую Мекку на паломничество свое».

Рассыпающиеся в труху на глазах памятники республиканского значения нуждались в реставрации, а средств не хватало, поэтому рады были всем добровольцам. И вот каждое лето, в течение лет пяти-семи, он приезжает «в экспедицию» работать на обмерах и раскопках. Постепенно из этой компании сложилось «псковское братство», в котором, кроме названной троицы реставраторов, состояли и Радий Погодин, и Лев Гумилев, и Семен Гейченко — и вскоре сам Проханов. Они занимались раскопками, ремонтом, документировали информацию о памятниках истории, фотографировали антропологически яркие народные типы (в «Завтра» после смерти Скобельцына будет опубликована его коллекция фотоизображений этих типов — очень выразительная).



Русские типы. Фото Б. Скобельцына.

Вместе со Скобельцыным они составляли опись гробов в Пещерах: архимандрит Алипий, бывший боевой офицер и художник из мастерской баталиста Грекова, призвал светских реставраторов помочь в реконструкции монастыря, и поэтому в самых темных закоулках Лавры он побывал не как экскурсант, а как инсайдер.

Батюшка-энциклопедист, наш экскурсовод, тем временем докладывает про то, что сайт Псково-Печерского монастыря — второй по посещаемости среди сайтов монастырей, а также про чудесное излечение от мухи цеце («а мы знаем со школьной скамьи, что ее укус неизлечим»), и что, во-первых, слова «смерть» и «смрад» — однокоренные и, во-вторых, на всех языках слово «прах» звучит одинаково. Проханов, уважительно относящийся к вопросам языкознания, оживляется, поднимает палец и шепотом говорит мне: «О — ПРАХанов!» Здесь, в этой волглой атмосфере,

напитанной сладковатым душком нетления, он чувствует себя как рыба в воде. В силу непроясненной температурно-влажностной аномалии тела в пещере не истлевают, а самомумифицируются. Некоторые ниши на этом элитном кладбище до сих пор не замурованы — видны гробы. Это и есть материал для великого проекта воскрешения, сырье для будущего бессмертия.

Русские типы. Фото Б. Скобельцына.

Рассказывают (это уже не батюшка) про то, как в середине 90-

х за 100 000 $ здесь похоронили какого-то бандита — операция, кончившаяся скандалом и снятием игумена. Самостоятельно туристам здесь ходить воспрещается; администрация монастыря располагает фактами, что кости активно расхищаются посетителями, среди которых особенную опасность представляют сатанисты, которые недавно якобы украли здесь череп.

Главным его наставником был Скобельцын; одна из центральных фигур в пантеоне Проханова, наряду с дедом-германофилом, Пчельниковым и отцом Львом. В тот момент он как раз реставрировал церковь Николы на Устье. Эта простая, одноглавая, белая, на кряжистом основании, немосковская храмина, 1473 года постройки, вот уже много лет поражает воображение Проханова едва ли не больше, чем все прочие виденные им здания. «Как будто ангел белый встает», — описывает он идеальные пропорции, «золотое сечение» церкви. Внутри — чистая белизна, напоминающая выветренную кость, скелет динозавра; храм, типично псковский образец архитектуры, зиждется на четырех столбах-колоннах. Проханов преподносит священнику стодолларовую купюру, чем вызывает ажитацию старушек. Они начинают суетиться и, желая отплатить благодетелю, ведут нас в закрытую часть храма. «Смотрите — видите дырки под парусами? Это, — объясняет Проханов, — глазья, специальные отверстия: в стены замурованы голосники, глиняные кувшины, предназначенные для улучшения акустических свойств помещения». Образ, связанный с голосниками, обнаруживается в «Политологе» — там Стрижайло «читал газету „Завтра“, чтобы лучше понять лево-патриотические настроения, удивляясь шизофреничности передовой статьи, которая звучала, как вой шакала, уловленный в гулкий кувшин».

Церковь Николы на Устье.

Через кладбище проходим к воде. В этом месте Великая впадает в Псковское озеро, а то соединяется с Чудским. Именно здесь политолог Стрижайло вырывал из своих кишок километрового змея с костяной башкой. Полвека назад здесь же, у развалин, они со Скобельцыным сидели в причаленной к берегу лодке, и Скобельцын читал Проханову сонеты Шекспира. Сейчас не до пикников: бешеный ветер, почти ураган, валит с ног, и при этом отчаянно морозит. Я впервые вижу ледостав: вода на глазах сворачивается, переходит в другое агрегатное состояние, уже не вода, а ледяная крошка в лиловой морозной пене, удивительное природное таинство. «Смотрите, — говорит Проханов, — наглядная иллюстрация энтропии, наступление холода, хаоса, замерзание, обледенение». Через день на встрече с читателями-избирателями он скажет об этом моменте: «И я понял, что это покойный Боря Скобельцын посылает мне огненный псковский поцелуй».

Они так подружились, что уже через несколько месяцев он становится полноправным участником их экспедиций. О псковских днях находим свидетельство в воспоминаниях Саввы Ямщикова: «Во Пскове я впервые познакомился с Сашей Прохановым… Я увидел человека… красивого, с дореволюционной офицерской выправкой. Я завидовал тому,

какие прекрасные дамы его сопровождали. Сначала от Бориса Скобельцына, потом от Всеволода Смирнова, потом от Левы Катаева, москвича, я услышал самые теплые отзывы о Саше».

Никого из этих троих уже нет в живых, поэтому трудно судить о том, чем именно они так его прельстили. По-видимому, в чтении шекспировских сонетов у врат своими руками поднятой из руин церкви XV века было не только «нью-эйджевое» ощущение братства, но и опыт непосредственного, что ли, участия в истории, который не раз ему пригодится.

Вообще, скобельцынская компания оформила в его сознании именно эту компоненту: бескорыстная любовь к родному этносу, избыток чувств по отношению к сдержанной, не сказать фригидной, красоте русского ландшафта, к лицам, благодарность за то, что здесь, вокруг Пскова, сохранилось множество материальных свидетельств древности культуры этноса. Действительно, если страна в целом скорее напоминает недавно образовавшуюся пустыню без видимых доказательств древности существования, то Псков — место, где тысячелетнюю русскую историю можно разглядеть довольно отчетливо.

Изборская крепость, 30 км от Пскова, похожа на разрушенную ТЭЦ: полые башни-градирни и полуразвалившаяся стена, поросшая бурьяном. Видно, что электричество это сооружение больше не вырабатывает, но и здесь продолжается жизнь: проходят похороны. В местную церковь мы заглядываем аккурат в момент окончания отпевания, серьезные родственники несут фиолетовый гроб. «Еще одного псковича свезли в Англию», — шепчет Проханов.

От Изборска начинается трехкилометровая «тропа здоровья» в деревню Малы, о чем и информирует жестяной щит с картой-схемой. Дорожка огибает кладбище, утыканное красивыми узорными крестами, где мужики уже вырыли могилу для обитателя фиолетового гроба и расположились с водкой, и зря — не успеют: через пять минут процессия будет на месте. Дальше тропинка вьется вдоль живописных, без всяких скидок на локальные мерки, мест, в том числе Труворова городища, где дыбится из-под земли невероятно древний, по здешним понятиям, Труворов крест. Над обрывом высится крепкая русская церковь с ливонскими, как на плащах тевтонских псов в «Александре Невском», крестами. «Вот тут, на юру перед церковью, — показывает Проханов, — в войну было немецкое кладбище, для солдат, которые в 1941-м наступали на Псков. А потом наши танкисты тут покрутились — одни зубцы каменные от плит остались».

От церкви открывается чрезвычайно насыщенный пейзажный

вид на так называемое Труворово городище. Из пронзительно синих северных небес лупит по складкам местности зимнее солнце — так интенсивно, что невооруженным глазом видно, как по краям пространство сворачивается в свиток. Здесь действительно любопытный ландшафт — разнообразный, изрезанный, особенно драматично выглядящий в декорациях «стальная голубизна северного неба».

Нам еще придется говорить о том, что Проханов — советский Пруст; если принять это анекдотическое утверждение всерьез, получается, что Псков — это что-то вроде прохановского Комбре. Он опрокидывается в него чаще, чем можно предположить. Как у всех людей, склонных к конспирологическому сознанию и мифологизированию повседневной жизни, для Проханова важна топография, «святые места». Он «постоянно в них возвращается», склонен приезжать туда «на дезактивацию»: «очищаться» от сцен пыток, смертей, скандалов. Псков — анти-Чернобыль, красный угол в его психическом жилище, и одновременно запасной аэродром, то, чем у буржуа бывает купленная про запас квартирка в Европе. В кармане у Проханова всегда лежит авиабилет туда с открытой датой: достаточно споткнуться о какой-то черепок в дорожной пыли, и вот уж Коробейников, Стрижайло, Белосельцев ни с того ни с сего погружаются в стопятидесятистраничный обморок. Это действительно похоже на «В поисках утраченного времени», за тем исключением, что для того, чтобы выйти из этого штопора, Прусту едва ли пришло бы в голову воспользоваться типично прохановским приемом: загостившегося в Пскове героя (и сбившийся с курса сюжет) прилетают спасать два генерала КГБ, которые чуть ли не за руки — за ноги выкидывают его обратно в Москву.

Спустившись в одну из здешних лощинок, обнаруживаем «Мальской погост» — каменный деревенский храм с голубыми куполами и золотыми крестами, отнесенная чуть в сторону звонница и собственно погост, кладбище. Звонница, поясняет Проханов, — типично псковская: плоская плита с тремя прорезями-окнами для колоколов. Он знает все ее паспортные данные — сам обмерял.

«Малы — моя матка духовная. Там я зачинался». Там, судя по «Господину Гексогену», «ему было уготовано место священника». Оттуда, надо полагать, его псевдоним «Александр Малов», которым он будет подписывать иногда свои репортажи. На тамошнем кладбище, в юности, он хотел, чтобы его похоронили. Надписи на могильных плитах здесь в основном сделаны латиницей, потому что населяли эти места сету, православные эстонцы: Alexandr Yansmaa, Pyotr Sokk и т. п. Вообще-то это

бывшие эстонские земли. Странным образом в этом месте возникает пронзительное чувство уязвимости и конечности страны: этот территориальный раритет с латиницей на могилах и каменицами из известняка слишком лакомый кусок для чужого глаза, и утрата его была бы крайне болезненна. Не исключено, мой проводник тоже ощущал нечто подобное, спросить его об этом мне показалось неловким.

Малы. Колокольня.

На кладбище обнаруживаются опять знакомые кресты от того же кузнеца, у которого он жил. Здесь же находится памятная по «Господину Гексогену» могила Матвеюшки Болезного, местного юродивого. На ней — фарфоровый медальон с совершенно выцветшей репродукцией коричневого цвета. В оградке торчат два березовых пня, все чисто выметено и украшено фиолетовыми пластиковыми цветочками.

В Малах он и работает, по поручению Скобельцына, обмерщиком церквей (еще одна странная профессия в его богатой коллекции, приятное, томсойеровское занятие). «Иногда просыпаюсь и вижу себя молодым в разрушенном коробе мальского храма. Старательно прикладываю рулетку к щербатым стенам, обмеряю апсиду, проем окна, остатки каменных шершавых столпов. Бережно заношу контуры храма на неумелый чертеж, выполняя поручение любимого друга, реставратора

Бориса Степановича Скобельцына, для меня — просто Бори. И он сам вдалеке приближается ко мне по цветущей горе, машет ржаным колоском. Не дойдя до церкви, делает несколько снимков, прицеливаясь в меня стареньким „Киевом“, изгибаясь в странный иероглиф, похожий на большого журавля».

Скрупулезная работа обмерщика требовала налаженного быта, вследствие чего он, по протекции Скобельцына, снимает комнату у местного кузнеца Василия Егоровича, который ковал кресты и знал, как на праздник смастерить колесо, набить его порохом, «чтоб кружилось во тьме, брызгало в ночь, как солнце». Дом кузнеца сохранился; это удивительное для русской деревни архитектурное сооружение из невероятно фактурного известняка хитрой кладки, с деревянными надстройками, фигурными оконцами, увитое плющом, богатое и уютное, похоже на постоялый двор из «Дон-Кихота». «Сверху был сеновал», — со значением говорит Проханов.

> «Кузнец целый день гремел железом, краснел лицом над горном, раздувал сиплые, дующие пламенем мехи», снабжая округу металлическими изделиями, и в первую очередь затейливыми жестяными могильными крестами. Пребывание в этом доме было видом этнического туризма. «Мы с Борей обмеряли развалины мальской церкви — шелушащийся каменный свод, поросший сладкой, растущей на камнях земляникой. К вечеру кузнец усаживался в саду под яблонями и мастерил большой жестяной крест, заказанный ему в соседнем селе, где случились недавние похороны. Крест собирался из витых полосок, завитков, жестяных цветков, сваривался, спаивался, свинчивался. Был похож на узорный прозрачный куст, увитый вьюнками, горошком, повиликой, с бутонами и побегами. Такими крестами, изделиями кузнеца, были уставлены окрестные погосты, напоминавшие кустистые заросли. Василий Егорович, простукивая молоточком, рассказывал нам о своем житье-бытье, расспрашивал о разных разностях. И почему-то каждый раз сводил разговор к Индии. Мы отдыхали от дневных трудов, говорили об Индии, сквозь прозрачный крест синело мальское озеро, за черной рыбацкой долбленкой тянулся стеклянный след, и яблоки над каменным колодцем были золотые, как в райском саду».

Рай или не рай, но в этом музее под открытым небом можно было безмятежно хипповать, обретая интеллектуальный,

мистический и сексуальный опыт. Псков — прохановская Калифорния, Малы — его Вудсток.

В деревне Сенно (одна из точек внутри «мистического псковского круга») Проханов демонстрирует высоченную плоскую звонницу XVI века: сахарно-рафинадную, похожую на двутавр невидимого моста, соединяющего Псков земной с Псковом небесным. К колоколу привязан шнур, который можно дернуть прямо снизу, что Проханов и делает, окрестности наполняются звоном — некстати: мы опять натыкаемся на похороны, паренек лет 16 хоронит отца. Вокруг свежей могилы кучкуются родственники. Все это как будто нарочно иллюстрирует прохановские передовицы о русском населении, уменьшающемся за год на миллион. Проханов начинает ворчать: надоели пещеры, гробы и похороны, если так дальше будет продолжаться, придется ехать в родильный дом. Не факт, что там будет чем утешиться: по статистике, в Псковской области разрыв между смертностью и рождаемостью — самый значительный в России.

В романе «Господин Гексоген» есть любопытный пассаж, на который мало кто обращает внимание, он похож на начало «Острова сокровищ»: «В псковском музее Ане поручили раскопать один из древних могильников, тянущихся длинной мягкой грядой за Малами».

С миром неолитического антиквариата Проханов впервые столкнулся в тот момент, когда услышал от местного тракториста о его удивительных находках. Распахивая землю под лен, тот подцепил плугом валун на одном из холмиков, там оказался клад: изделия из меди и бронзы и доисторические каменные молотки. Не раздумывая, Проханов предложил приобрести добычу — разумеется, недорого, за копейки, больше и не было. Любуясь кладом, он стал подумывать о том, почему бы самому не попробовать себя в роли черного археолога. Дело сулило немалые дивиденды.

Судя по некоторым его высказываниям и намекам в передовицах, поиск кладов был одним из главных развлечений в этих экспедициях: трудно сказать, где именно пролегала грань между легальными раскопками и разграблениями могил. Экивоками об этом сказано в «Пскове земном и небесном»: «Скобельцын неутомимо ходил по псковской земле, исхаживая ее, как землемер. Мерил ее вдоль и поперек длинными, не знавшими устали ногами, словно высчитывал шагами расстояние от церкви до церкви, от горы до горы, от озера до озера, отыскивая спрятанный клад, обозначенный на каком-то, ему одному ведомом чертеже… Видя, как я устал, он оборачивался красивым,

глазастым, загорелым лицом. Белозубо хохотал, бодрил, трунил, звал в цветущее поле, на травяное ветряное городище, в красные сосняки, уверяя, что клад будет найден. И клад открывался».

Вокруг Малов было множество таких микрокурганов, под которыми часто оказываются древние могилы. Следовало снять верхний слой, за ним обнаруживался моренный гранитный валун, затем надо было копать вглубь, не очень глубоко, метра полтора. Однажды перед ним открылась настоящая скудельница времен неолита VII или VIII вв. до н. э., где лежал скелет и множество украшений: ожерелья из стеклянных бусин, покрытые патиной бронзовые височные кольца. Ему прекрасно было известно, что бизнес Лары Крофт — уголовно наказуемое преступление, но он не смог справиться с соблазном и выгреб все, что там находилось, вплоть до черепа доисторической женщины.

Из находок того лета, когда он жил у кузнеца, мало что можно увидеть. Часть бронзы была передана в псковский музей, где и исчезла, по его словам, бесследно, часть лежит где-то в родовых сокровищницах Прохановых; интересна судьба черепа. Проханов отчистил его и поместил у себя на письменном столе, рядом с пишмашинкой «Рейнметал», как кабинетное «мементо мори». Однажды он похвастался им своему другу отцу Льву, который страшно возжелал стать хозяином черепа, и Проханов великодушно его подарил. Тот долгое время возил его с собой, но кончилось тем, что во время какой-то попойки компания принялась не то играть им в футбол, не то просто кидаться, и расколола этот хрупкий предмет. В таком виде череп был уже ни на что не годен, да и неприятно напоминал о случившемся инциденте; вместе с другими участниками попойки они похоронили его.

В барнсовской «Истории мира в 10 с половиной главах» приводится следующее соображение: «Миф вовсе не отсылает нас к какому-то подлинному событию, фантастически преломившемуся в коллективной памяти человечества; нет, он отсылает нас вперед, к тому, что еще случится, к тому, что должно случиться. Миф становится реальностью, несмотря на весь наш скептицизм». Это очень прохановская теория; он уверен, что Первая Чеченская случилась для того, чтобы явился российский солдат-мученик Евгений Родионов, что «Курск» погиб для того, чтобы кто-то из мичманов оставил записку «Не надо отчаиваться», что все нынешние страдания парадоксально, по-русски, приближают нас к преодолению наличного состояния, что ничего не бывает случайно, что миф непременно обернется реальностью, и поэтому занимается мифотворчеством при

каждом удобном случае. «Почему бы, — представители администрации, криминала и местной интеллигенции провожают нас за богато накрытым столом в одном из придорожных шалманов, и Проханов произносит тост, — не синтезировать из псковской мифологии новую российскую государственную идеологию?» Участники коллоквиума — директор рынка, директор типографии, бойцы охраны и, местная достопримечательность, литературный критик Валентин Курбатов — по-гоголевски колоритны. «Здесь ведь столько всего: пограничная земля, Елиазаровский монастырь, где старец Филофей придумал концепцию Москвы — Третьего Рима („великая имперская доктрина России“), могила Пушкина, место, где бросился на дот Александр Матросов, церкви, восстановленные Скобельцыным, 6-я десантная рота, погибшая в Аргунском ущелье, старец Иоанн Крестьянкин, иконописец Зенон». Валентин Курбатов, похожий на точеную фигурку с книгой, в полдень с музыкой выдвигающуюся из механических курантов на какой-нибудь чешской площади, всплескивает руками: «Да потому что никому это не нужно!». Проханов не расстраивается — не нужно так не нужно, авось когда-нибудь понадобится; любопытно, что даже за столом, с залитыми глазами, он работает мифотворцем, идеологом, синтезатором. Мифологизировать, опутывать сетью историю, биографию, географию свойственно ему на биологическом уровне: так паук инстинктивно выделяет клейкую нить, быстро твердеющую и превращающуюся в паутину.

Надо сказать, у него удивительное чутье на материал — действительно, где еще, кроме Пскова, сконцентрировано столько материала для державного маркетолога — «Англии, Англии» в российском варианте, Диснейленда идеологического туризма. Удивительно, что никто, кроме Проханова, по сути, не обратил внимания на этот перспективный хронотоп.

«Что же вы кукситесь: я вознес вас на небеса и опустил под землю!» — пихает меня Проханов. Честно говоря, наш «крестный ход» и «путешествие по святым местам» можно описать и совсем в других терминах: блеклые и не слишком разнообразные ландшафты, скромных достоинств архитектура; небезупречной репутации монастырь с сомнительным подземным аттракционом; картины бедности и опустошения, плывущий над руинированной крепостью деревянный ящик, размалеванный в вопиюще неуместный цвет. Одно из самых любопытных свойств прохановского глаза — видеть то, что он хочет видеть, и смотреть сквозь пальцы на несущественное, пропускать ненужное. Он с искренним восторгом бьет в колокола, бродит по подземельям со

свечой, опрокидывает у каждого столба «капотные» и «походные», восхищается «красными сосняками», это заразительно. Но, по правде сказать, главная достопримечательность «духовной столицы России», точнее сказать, мобильная достопримечательность, — сам Проханов.

Проханов отправляется на аудиенцию с терпящим бедствие губернатором, я — гулять в Довмонтов город, где сорок лет назад Проханов повстречал в раскопе свою возлюбленную. В кафе работает телевизор — в дневных новостях показывают, как Проханов вручает Михайлову подарочное издание «Крейсеровой сонаты» и, едва не прищелкивая каблуками, отдает честь: «Я не гражданин Пскова и потому не могу принять участия в воскресном голосовании, но считайте, что это мой избирательный бюллетень». Через неделю в «Коммерсанте» проклюнется микроскопическая заметка о том, что в Пскове избран новый губернатор. Чуть позже Проханов рассказал о том, как ему позвонил чиновник, оказавший нам радушный прием, и уведомил его о фиаско: «Голос у него был такой, как будто он лежал в том фиолетовом гробу».

По крайней мере, у него, должно быть, остались связи в лавре, значит, есть шанс, что Страшного суда он будет дожидаться в лучшем склепе из возможных.

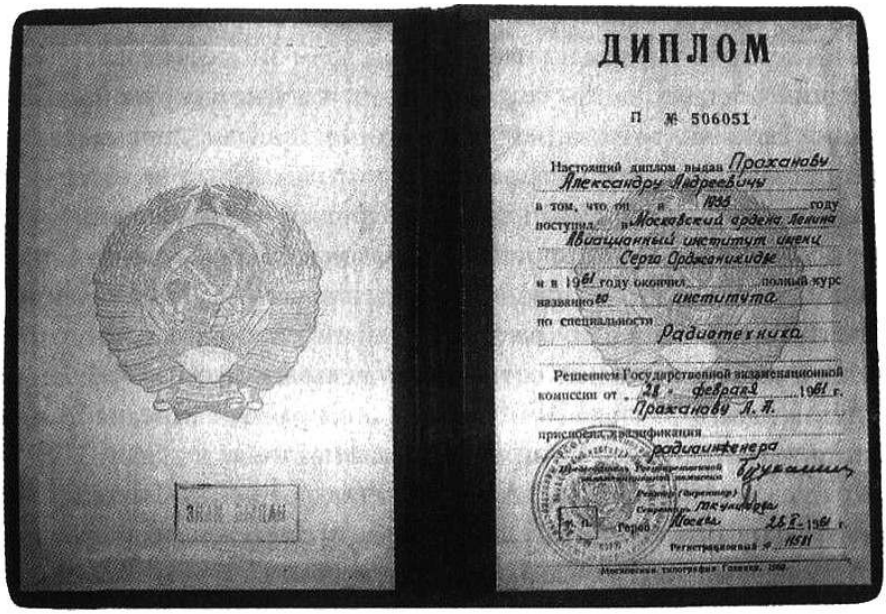
Глава 4

Пророчество майора. «Инфернальные снимки». Отказ от «Майкрософта».

Автор реконструирует тезаурус прохановской Невесты

Институт Проханов заканчивает едва ли не с красным дипломом, неожиданно оживившись курсе на четвертом, когда студентов перестали мучить общими техническими дисциплинами — физикой, математикой, сопроматом; пошли закрытые сверхсекретные лекции, которые читали люди, работавшие на космодромах, ракетных шахтах, проектировавшие и строившие в тот момент Байконур. Студентов допускали к настоящей государственной тайне — ракетно-стратегической. Им рассказывали, как совершаются пуски, что такое телеметрия; особенной популярностью пользовались истории про Вернера фон Брауна, фашистского ракетчика, создавшего «фау» и перешедшего затем по наследству к американцам. Он снова увлекается ракетным искусством, с головой погружается в техническую литературу и с блеском защищает диплом по противотанковым снарядам — точнее, по снаряду, который вдребезги разносил броню танка Т-74 (вопрос, зачем было разносить советскую технику, не обсуждается).

Перед выпуском его отправляют на сборы в военные лагеря, где он тянет армейскую лямку на протяжении двух месяцев. Этот отъезд и казарменная, связанная с лишениями и затворничеством в своеобразном мужском монастыре жизнь не были для него трагедией: он был достаточно спортивен, в институте у него был третий разряд по лыжам и второй по плаванию. Сохранились «инфернальные снимки», изображающие голого Проханова, борющегося со своими однокурсниками, где видны их античные, поразительно пропорциональные, олимпийские тела; сам он не без удовлетворения в голосе комментирует — «пергамский алтарь». Вручая новоиспеченному лейтенанту запаса военный билет, майор пророчески говорит ему, что всем-то он хорош, но «брехливый язык» его погубит; это он запоминает.



ДИПЛОМ

П № 506051

Настоящий диплом выдан Проханову Александру Андреевичу

в том, что он в 1956 году поступил в Московский ордена Ленина Авиационный институт имени Серго Орджоникидзе

и в 1961 году окончил полный курс названного института

по специальности радиотехника

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 28 февраля 1961 г. Прохановой А. А.

присвоена квалификация радиоинженера

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор (директор)

Секретарь

г. Москва 28 II 1961 г.

Регистрационный № 1511

Московская типография Госкомиздата, 1960

Подлинный документ.

Еще доучиваясь в институте, в 1960-м, он уже на полставки работает в секретном режимном НИИ, на оборонном предприятии. Это было большое КБ, тоже рукой подать от Тихвинского, напротив помпезного Театра Советской армии; такое распределение считалось престижным. Лаборатории были закрытыми и поэтому изолированными друг от друга, но кое-какие сведения о деятельности коллег все-таки проникали сквозь стены. Сколько можно понять из его скупых рассказов и редких упоминаний в текстах, то было что-то вроде лаборатории Кью в «Джеймсе Бонде». Здесь создавались разного рода гэджеты — высокоточные торпеды для подводных лодок, шпионские приспособления, шли эксперименты с «электронным пакетом человека» (нечто вроде клетки, из которой можно клонировать полностью идентичного андроида — «с тем же лицом, группой крови, аппетитом, памятью. Даже бородавка, если она, конечно, имеется, воспроизводится в точности» («Вечный Город»)), конструировались техноголемы, обладающие искусственным интеллектом. Вся эта деятельность не лишена была и отечественной специфики: так, один из прохановских соседей инженеров умудрился настроить в своем биороботе шестеренки таким образом, чтобы голем кланялся и поднимал рукой рюмку водки. Едва ли сотрудники лаборатории видели первые серии «Бондианы», появившиеся как раз в эти годы, но они наверняка узнавали себя, по крайней мере, в пародии — «Фантомасе», где

комиссар Жюв демонстрировал своим коллегам причудливые приспособления, очень похожие на вышеописанные. К сожалению, никакой документации, связанной с этими проектами, не сохранилось: ничего выносить оттуда было нельзя; но когда Проханова будут называть «певцом ВПК», можно, по крайней мере, не сомневаться, что он хорошо понимал, что именно он воспевает.

Отдел, в который попал Александр Андреевич, занимался противотанковыми снарядами, которые в ту пору еще управлялись по проводам, — НУРСами. «Аперцепторная система» состояла в том, что к ракете крепилась небольшая катушка, которая разматывалась по мере движения снаряда; этот разработанный еще немецкими конструкторами проводной вариант, когда оператор должен совмещать ракету с танком, уже через несколько лет, с появлением инфракрасного наведения и лазерных прицелов, безнадежно устарел, но Проханов этого еще не знает: на тот момент он совершает «некое большое открытие», «даже на патент хотели подавать». Он мечется по танковым полигонам, ночами паяет схемы, сидит за чертежным столом — и переживает нечто вроде катарсиса, связанного с техническим творчеством. У него происходят «озарения», он чувствует «сладость, упоение». «Я знаю, что любое творчество — литературное, музыкальное, техническое — имеет божественную природу. Расщепление происходит функциональное: одни творят в области искусств, другие политику, третьи — супермашины». За свою жизнь он успел попробовать принципиально разные виды творчества и везде, похоже, преуспевал; исследуя его биографию, мы убедимся, что его путь — история агента Духа, что вся его жизнь — это поиск нового опыта и нового материала для преодоления и «воскрешения», такого преодоления, при котором будет выделено максимальное количество энергии. Техника, политика, литература.

Зная его, не приходится удивляться, что он продолжает эпатировать окружающих. По примеру своих псковских друзей, архитектора Скобельцына и Семенова, он отпускает себе бородку — не хэмовскую (хотя Хемингуэй лежит у него в дипломате: пару лет назад, в 1959-м, вышел двухтомник, и это была самая популярная в СССР книга), а что-то вроде эспаньолки. Такого рода «выпадения из стиля» не приветствовались и даже осуждались. Директор института, например, отзывался о Проханове так: «Этот, молодой инженер, который с бородой ходит».

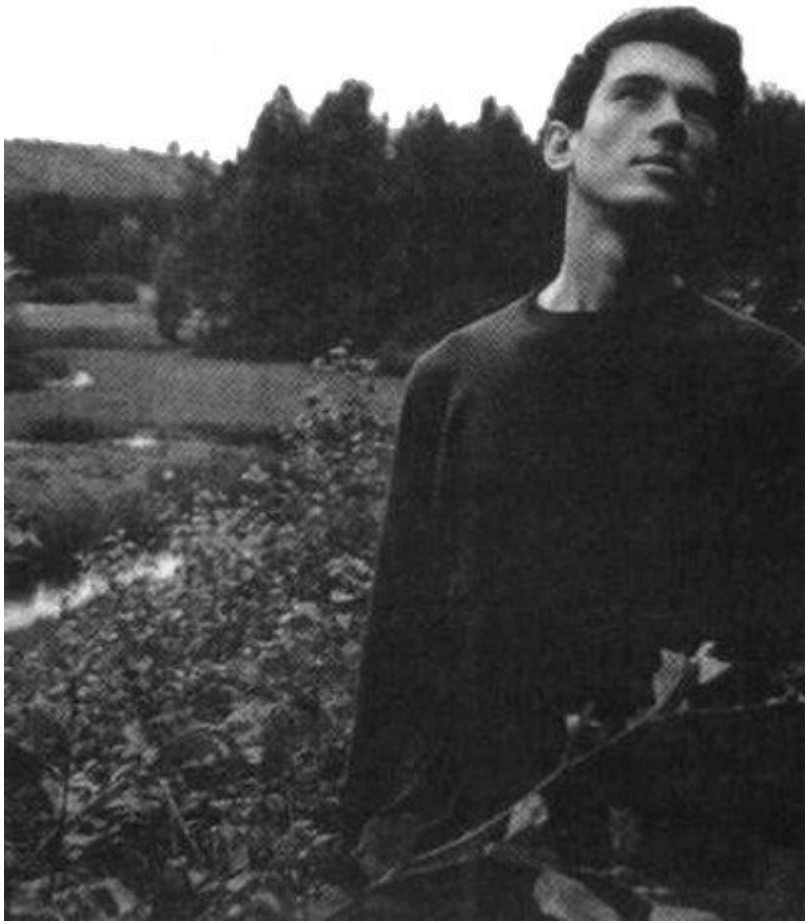
В КБ он проводит полтора года и постепенно начинает

тяготиться тамошним антуражем. Его раздражает и угнетает система кордонов, пропуска, охрана — «бабы в формах с пистолетом на толстых бедрах», «как в концлагерях», «ощущение того, что я прихожу в заведение, где на вахте сидят контролирующие меня люди». Он понимает, что, погружаясь в НУРСы и «электронные пакеты», теряет свою гуманитарную компоненту. «Я был на развилке, был раздираем двумя формами творчества. Меня это страшно тяготило. Либо я должен был сказать себе, что я закрываю книги Блока раз и навсегда и занимаюсь только системным анализом, информатикой, электроникой, где мне открывалось огромное будущее — „Майкрософт“ и так далее, либо я порываю с инженерией. И я страшно мучился, был сжигаем этим дуализмом». Эта тема джекилхайдовского раздвоения будет преследовать его всю жизнь и часто проявляться в романах: апогея все это достигнет в «Политологе», где главный герой Стрижайло утратит контроль над собой полностью.

Именно на эти полтора года, по-видимому, приходится пик отношений с его Прекрасной Дамой — полумифической «Невестой», про которую упомянет в своем предисловии даже не особенно близко знающий его Трифонов. Последний запомнил только то, что Проханову пришлось ее «бросить», но никаких деталей ему известно не было. Из разговоров и нескольких пассажей в «Полете вечернего гуся», «Месте действия», «Дворце» можно понять следующее. Эта девушка училась на филологическом факультете «на кафедре русского языка», была «знатоком древних текстов» и могла свободно читать «письмена на каменных, вмурованных в стены плитах». Кроме того, она, кажется, прекрасно говорила, во всяком случае, «мучила» его своей лексикой, огромным словарным запасом, «а я был технарь». На предложение заглянуть в ресторан героиня отвечает: «Но егда веселишися многими брашны, а мене помяни сух хлеб ядущи. Или питие сладкое пиеши, а мене помяни теплу воду пьюща». Единственное, чем он мог парировать, — это стихами собственного сочинения: «Милая, я слишком часто грежу / Красными лесами на заре, / Будто я иду по побережью / Незнакомых и холодных рек».

В повести «Полет вечернего гуся» воспроизведен отрывок из их диалога перед отъездом героя на охоту: «Привезите мне птиц, мой охотник. — Поглядите в старинных книгах, как готовится дичь. — Лучше всего на костре. — Ну, не жечь же его в вашей комнате!» Почему на «вы»? «Она меня приучила называть ее на „вы“. И даже когда у нас уже произошла близость, мы все равно были на „вы“. Однажды она все же попыталась перейти на „ты“:

„Ну давайте же говорить „ты““ — но у нас не получилось». «Она была богаче меня душой, желаниями, чувством. Знаю, что любила меня. И одновременно каждый раз как бы играла в меня и в себя, причиняя этим страдание. Видно, такой уж склад. Так возникла постоянная, почти необходимая боль, которой она разукрасила наши отношения. Так повелись утонченные обиды, которые мы, любя, наносили друг другу. Это длилось несколько лет».



Иду в путь домой.

Жила она, по-видимому, где-то неподалеку, во всяком случае, он часто вспоминает, что любимым местом для прогулок были Мещанские улицы. По выходным они зимой выезжали из города на лыжах (любимый маршрут — от Калужского шоссе до Пахры или если по Савеловской дороге, то вокруг Лобни).

В романе «Дворец» есть эпизод, где герой ждет «Невесту» на скамейке у ее дома и видит, как та подъезжает на машине с

другим мужчиной, ее провожающим.

> «Через несколько дней она объявила ему, что выходит замуж за известного математика… Они расставались мучительно, несколько недель кряду. То встречались, и он снова распускал на подушке ее волосы, целовал их, и она плакала на его голом плече. То она кричала на него, гнала прочь, требовала, чтобы он сгинул, исчез».
>
> «Она вышла замуж, без любви… но это не имело конца, и все продолжилось. То в письмах, то в нежданных появлениях… у них родился сын, а потом и дочь. Она ввела меня в дом и тут же призналась мужу…»
>
> «Такого страдания, как в ту осень, он больше никогда не испытывал… Все, что они пережили вместе, заключили в свою любовь, чтобы от этой любви родились их дети, продлился их род, теперь, как дым, вырывалось на свободу, уносило из него смысл жизни, оставляло темную прорву».

Почему он на ней не женился? «Ну, как-то понял, что не мое». Какова ее судьба? «Она потом вышла замуж, двое детей, один из них в Канаде».

Однажды, измотанный всеми этими переживаниями и ощущением, что гробит в чертовом КБ лучшие годы своей жизни и что работа такого рода не слишком напоминает свободное творчество, он, уйдя из конторы пораньше, садится на Белорусском вокзале в усовскую электричку — чтобы через полчаса выгрузиться в Ромашково. Бродя где-то в районе нынешнего огорода Оксаны Робски, он взвешивает сценарии развития ситуации: чем может кончиться для него разрыв с КБ при том, что он не успел отработать положенные три года? Краем уха он слышал, что буквально месяц назад СССР подписал Женевскую конвенцию, в которой был пункт о праве устраиваться и оставлять работу по собственному разумению. Еще пару лет назад ему грозил бы суд, но сейчас… сейчас… непонятно, непонятно… Наткнувшись на какое-то препятствие, он вдруг понимает, что наткнулся на противотанковую мину — и вот броня крошится, его разрывает на куски, распыляет на атомы, он успевает лишь запомнить необычайную цветовую яркость открывшегося мира… Очнувшись от обморока, он понимает, что взрыв произошел у него в голове, а пылающий осенними красками ореховый куст оказался его визуальным воплощением. Выбравшись из влажных зарослей с резными листьями, вытерев с лица холодные капли, он вслух произносит «Ва-банк!» и быстро

шагает обратно к платформе в сгущающейся темноте. Решение принято.

Глава 5

Погружение в стихию народного творчества. Автор сворачивает с Новорижского шоссе и обнаруживает лесников, работавших под руководством Проханова.

Аферы чувашских пильщиков. Интермедия: Тайная жизнь деревьев. Жизнь и мнения отца Льва Лебедева.

Медовый месяц. Отъезд в окрестности Кондопоги

Ядовито-льстивый Саблин в «Надписи» заливает Коробейникову: «Ваш уход в леса созвучен монашескому подвигу. Вы всем пренебрегли — оставили Москву, отчий дом, невесту, оставили свою престижную инженерию, которая сулила вам, при ваших талантах, быструю карьеру. Вопреки страшному давлению советской среды, ушли в леса. Это напоминает уход Толстого. Напоминает поступок Императора Александра Первого, оставившего трон и ставшего старцем Федором Кузмичем. Для это нужно мужество, нужен порыв, нужна высшая духовная цель. Это подвиг — аристократический, монашеский». «Из технокосмоса уйти в космос природной красоты», «эпатажный поступок», «вызов системе», «лишался права возвращаться в Москву», «обрекал себя на жизнь в провинции» — позже Проханов станет описывать свой поступок в достаточно выспренной манере. Трифонов, явно с его слов, сочувственно информирует читателей о том, как его протеже «бросил все (невесту и прописку), работал лесником среди стихии народного творчества».

Нет никаких оснований сомневаться в фактической стороне дела, но некоторое понижение градуса в смысле оценки этого события представляется уместным.

Во-первых, это не было внезапное исчезновение в духе Бильбо Торбинса. То есть момент с кустом, когда он сказал себе: «Все! Я разрываю с инженерией, срываю вериги, бейте, терзайте!» — был, но затем пришлось заблаговременно сообщить о своих намерениях руководству, подписывать миллион бумаг, бегать с обходными листами. Его стращали судом, вызовом в КГБ, расписками о неразглашении военной тайны и проч. «Они были потрясены, это был действительно революционный бунт. Там был один инженер, ракетчик, тоже по танковой тематике, старше

меня, но молодой, очень яркий человек, он меня патронировал, ему очень нравилась моя работа. Когда узнал, что я ухожу, посвятил мне несколько недель, доказывал мои способности, сулил перспективы, пугал будущим, радел, предлагал остаться. Я запомнил это, как человек, казалось бы, чужой мне, вошел в мою ситуацию, хотел оставить меня в зоне инженерии. Я ему очень благодарен за это сочувствие».

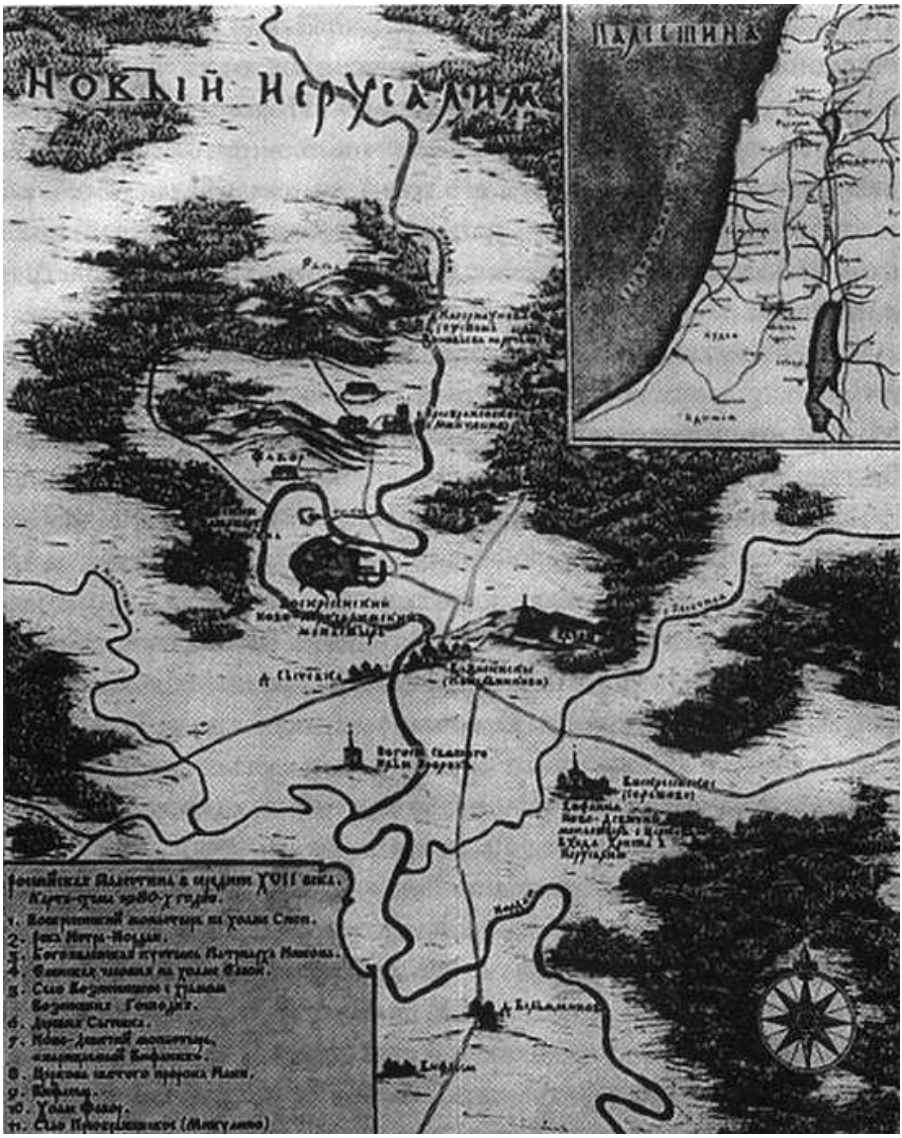
Вообще, если искать в жизни Проханова неблаговидные поступки, то, пожалуй, знаменитый дауншифтинг должен возглавлять их список: государство вкладывало-вкладывало в него, а он взял и сбежал. С другой стороны, его дальнейшее медийное сотрудничество с ВПК, безусловно, можно квалифицировать как отдачу долга с гигантскими процентами.

В тот момент ему 24 года, ему не нужно кормить семью, он свободен, не имеет карьерных устремлений, хочет поменять профессию, среду и образ жизни; почему бы, в самом деле, не «бросить все». Неудивительно, что при всей важности этого решения он чувствовал «потрясающую легкость».

Не исключено, подлинной причиной этого социального самоубийства стал кризис в отношениях с «Невестой». Как бы там ни было, в один прекрасный день 1962 года он берет в кассах Рижского вокзала билет на электричку до Волоколамска. Почему не чуть дальше по той же трассе, в Псков? Псков означал бы, что он окончательно становится реставратором архитектуры, уходит в архаику, а его занимала другая карьера. Почему Волоколамск? В этом направлении он чувствовал «что-то мистическое»: оттуда катилась война, которая в его сознании связывалась с отцом, там находился мифический разъезд Дубосеково, где погибли 28 панфиловцев, там они вместе с другом одноклассником подстрелили своих первых бекасов и вальдшнепов, там они останавливались у знакомых «волоколамских вдов». Справедливо рассудив по дороге, что весь этот набор можно получить и поближе к Москве, он выходит раньше, в Истре, городе, который раньше был монастырской слободой.

Центром этой местности был и остается возвышающийся на пологом пригорке Новоиерусалимский монастырь. Туристу, не имеющему представления о символическом смысле каждого строения, эта архитектурная композиция едва ли покажется особенно выразительной: это не величественный Кирилло-Белозерский монастырь и не нарядная Псково-Печерская лавра. До нашего совместного с Прохановым визита я был здесь лишь однажды, в начале 80-х годов, и главное, что мне запомнилось, — циклопический яйцеобразный купол, вырастающий неподалеку. Курьезным образом это яйцо птицы Рух и яйцевидный купол

храма Воскресения в моем сознании совместились, так что я все искал, где в монастыре находится это Яйцо, исчезновению которого посвящено несколько абзацев «Надписи». В монастырских постройках присутствует нечто фантастическое, и даже сейчас можно понять, почему это пространство намертво впечаталось в сознание Проханова и навело его на метафору «монастырь — космодром для Второго пришествия». Здания здесь причудливой, какой-то не вполне русской и даже не византийской — палестинской, надо полагать, формы. Раздутые, как железные жабы, тяжеловесные, приземистые, некоторые так будто даже продавившие землю купольно-коробные сооружения, похожие не то на бункеры, не то на воздушные шары, не взлетевшие из-за перегрузки балластом: часовня, символизирующая Гроб Господень, Голгофа и Гефсимань. Главный храм — Воскресения — увенчан куполом с множеством окошек-амбразур, похожих на ласточкины гнезда. Нельзя сказать, что архитектура на все сто процентов справляется с функцией символической транспортации посетителя в Святую Землю — на постороннего он производит впечатление заурядного захламленного подмосковного монастырька, который не чувствуют своим ни попы, ни музейщики, ни паломники, ни праздношатайки. Топонимы Святой Земли, однако, намертво закрепились за здешними объектами недвижимости: башни, копии иерусалимских, называются Дамасская, Ефремовская, Варуха; близлежащий лес — Фаворским; и это будет его лес.



Карта Нового Иерусалима и окрестностей.

Сойдя с электрички в Истре, он двинул прямиком в лесхоз, потому что полагал, что полезнее прочих будущему писателю-натурфилософу освоить именно профессию лесника. Нельзя сказать, чтобы в Истру каждый день приезжали люди с высшим образованием, готовые за сотню рублей исполнять обязанности лесника, — поэтому чиновник без долгих раздумий согласился на предложенные услуги. Этот же благодетель моментально устроил чудака москвича в избу на постой; заглянув в соседний магазин, они отправились на подводе в соседнюю деревню Бужарово — заселяться. Первый раз они отхлебнули у монастыря.

«Сейчас коттеджей понастроили, а ведь вон там была моя береза, под которой я много времени леживал. Под ней я обнаружил каток от немецкого танка, с клеймом „Рейн-Вестфалия“. Вон куда зашли. Есть что-то мистическое в этом поражении: стоило пропахать всю Европу, чтобы оказаться здесь, под этой березой». Недалеко от этой же березы он обнаружит остов немецкого штабного «Мерседеса»; похоже, военные артефакты укрепили его в мысли о стратегической правильности именно этого выбора направления.

Патриарх Никон, в середине XVII века возводивший Новый Иерусалим, намеревался в русских условиях воспроизвести евангельскую — палестинскую — топографию. В сущности, эта абсурдно буквальная калька, классический пример того, что в английском языке называется словом folly: причудливое архитектурное или ландшафтное сооружение, не имеющее практического применения, но привлекающее к себе внимание живописностью и экстравагантностью; так в XIX веке эксцентричные русские помещики вешали на флигель табличку «Палата лордов», а на амбар — «Палата общин», трансформируя свою деревеньку в Лондон. Никон, человек с фантазией, не поленился выбить у Алексея Михайловича бюджет и отгрохать под Москвой в камне «русскую Палестину», вызывавшую изумление не только его соотечественников, но даже и иностранцев (умеренное). Сам Никон, кстати, похоронен здесь же. В то время он вряд ли предполагал, что триста лет спустя к его раке частенько будет наведываться молодой литератор, пораженный грандиозностью патриаршьего проекта. Стела над погребальницей Никона украшена расшитым покрывалом-гобеленом; явившись туда с визитом, мы пытаемся прочесть каменные письмена на ней, но у нас не получается — «буквы червь поел». «Да, Никон», — с уважением произносит Проханов, но тут же оговаривается: — «Хотя мне, конечно, ближе Аввакум».

Речушку у стен монастыря сейчас принято называть Истрой, но на самом деле это Иордан. «Вот, Лева, река, в которую в романе входил мой герой Белосельцев». Действительно, в конце «Господина Гексогена» ополоумевший от взрывов и интриг Белосельцев отправляется в какой-то подмосковный городок, чтобы пройти обряд Крещения — оказывается, это Истра. Лет за сто до того именно в этой речушке рыбачил и чеховский «Злоумышленник», свинтивший гайку с железнодорожного полотна — благо рядом находится деревня Бабкино, где проживал Чехов с компанией из друзей и родственников; писатель часто вставлял здешних колоритных типов в свои тексты; те отплатили ему, установив белый алебастровый

памятник, у которого, впрочем, на протяжении всех 60-х то и дело пропадала то рука, то нога, а со временем он и вовсе исчез. (Проханов рассказывает мне о перипетиях, связанных со злополучным монументом, так подробно, что поневоле начинаешь подозревать его самого в участии в актах вандализма.) Сейчас прохановский баптистерий и место рыбного промысла представляет из себя узенькую канавку, заросшую ветлами. История не прекращала курсировать по этому руслу и в период между Никоном и Белосельцевым: в войну по берегам Истры проходила линия фронта. Немцы оккупировали монастырь до 10 декабря 1941 года и взорвали его перед уходом. Разрушение монастыря даже инкриминировалось Германии на Нюрнбергском процессе, но затем якобы выяснилось, что советские войска сами уничтожили монастырь, и репарации на восстановление так и не поступили. Сейчас трудно представить, что еще в 60–70-е годы монастырь буквально лежал в руинах; впрочем, и сейчас место не производит впечатление Виндзорского замка. Пространство, однако, в самом деле крайне насыщенное историей. Любопытный момент: уже в XX веке на том месте, где, в координатах предложенной топографии, должно было быть Галилейское море, вроде как случайно построили Истринское водохранилище. Разумеется, советские проектировщики менее всего чувствовали себя последователями Никона, но факт тот, что контуры их замыслов наложились друг на друга (о мистической подоплеке совпадения «красного» и «евангельского» проектов лучше спросить самого Проханова).

Ландшафт, свойственный этой местности, Проханов назвал бы мистическим, скептик нашел бы его непримечательным — пологие возвышенности и долгие поля-леса, кривой линией очерчивающие горизонт. Бужарово топорщится на пригорке, так что телега накренилась и кое-чего из пожитков будущего лесника попадало прямо на дорогу — а он, хмельной, и не заметил того. Среди прочего он обронил и ружье, но, к счастью, нашел его на следующее утро, когда отправился на работу.

Почему именно лесник? Может быть, не желая дожидаться середины земной жизни, он сыграл на опережение и оказался в сумрачном лесу заблаговременно? Как бы то ни было, его должность называлась «начальник лесничества». Лесхоз делится на лесничества, лесничество — на объезды, объезды — на кварталы. Резиденция Проханова находилась в Истре, а до самого дальнего участка было 12 км. Лошади не предоставлялось, и всюду приходилось чапать пешком, что, в принципе, ему скорее нравилось, и иногда он накручивал за день десятки километров.

Это была не самая изнурительная работа, оставлявшая много

времени на охоту, письмо, отношения с женщинами и прогулки, но тем не менее не совсем уж непыльная. В чем состояла рутинная деятельность? Клеймили деревья, делали засечки, разреживали посадки, вывозили бревна на какую-то адскую машину-«щеподралку», распахивали плугом участки, привозили из питомника трехлетние сосенки. «Вот лес, который я посадил», — с гордостью демонстрирует мне Проханов свой участок, сосны не то чтоб корабельные, однако это вполне себе хвойные крупномеры, удовлетворившие бы любого дачника-шестисоточника.

ПЕРВАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ

Бужаровский сосняк — не единственный лес, посаженный, Прохановым. «Их дерево», «Дерево в центре Кабула», «Горящие сады» — при самом мимолетном знакомстве с библиографией Александра Андреевича в авторе определенно виден человек, много лет посвятивший профессии лесника. Демобилизовавшись из «стихии народного творчества», он и в литературе остался рачительным лесничим, в каждой книге выращивая по несколько деревьев. Рецидивы профессиональной деятельности возникают в самых неожиданных местах. Так, в «Островах» Белосельцев расспрашивает камбоджийского председателя колхоза о вырубленных пальмах с задней мыслью: «На досуге он переведет количество спиленных пальм в кубометры бревен»; странная квалификация для персонажа с репутацией «советского Джеймса Бонда». Нетрудно заметить, что, описывая какие-то места, Проханов непременно упоминает то или иное дерево — «там стояла ветла», «из окна был виден мой любимый тополь», «я вдруг наткнулся на ореховый куст» и так далее. Деревья постоянно возникают как опорный пункт для выстраивания мемораблии; почти во всех его экстерьерных сценах символическим ключом к картинке является дерево. «Листья кленов на „Краснопресненской“ наполняются кровью защитников Дома Советов» — ни больше ни меньше. Совсем уж анекдотическая дендрофилия вдруг поражает героев «Теплохода „Иосиф Бродский“»: ни с того ни с сего они усаживаются вокруг старинного дерева и начинают «состязаться, кто лучше предание про дуб расскажет», после чего автор жертвует пятнадцать страниц на выдумывание диких баек, например, про то, как «один деревенский силач по имени Иван, лежа под дубом, поднял на своем члене двухпудовую гирю. Это и был

русский богатырь Иван Поддубный».

Так или иначе, на разного рода деревья натыкаешься во всех его книгах.

Из самых примечательных можно составить небольшой арборетум; короткая экскурсия по этой рощице может оказаться небесполезной для понимания некоторых нюансов характера Проханова и особенностей его творчества.

1. Дерево в центре Кабула

Пресловутое «дерево в центре Кабула» было чинарой, или восточным платаном; оно зеленело во дворе гостиницы, где квартировал в свое время сам Проханов, а потом и его персонажи Волков (в «Дереве») и Белосельцев (в «Сне о Кабуле»). На передний план не имеющее прямого отношения к сюжету романа растение выдвинуто потому, что оно — наглядный символ справедливой, естественной (подлинно народной и укорененной в исторических традициях) и перспективной советской власти, которая очевидно улучшила жизнь афганцев: до того, в своем феодальном средневековье, испытывая дефицит топлива, они вырубали деревья, а теперь в стране воцарился новый, городской, связанный с электрификацией, уклад, кабульцы получили возможность подумать об экологии и эстетике; им зажегся зеленый свет, у них появилось будущее — о чем, собственно, и рассказывает нам роман, за который с автором перестала раскланиваться вся прогрессивная интеллигенция.

Platanus orientalis.

Любопытно, что символ этот не просто растаял в воздухе при смене политического климата, но продолжил функционировать в рабочем режиме. В конце 80-х годов, когда советские войска ушли из Афганистана, чинара столь же наглядно просемафорила наблюдателям о смене власти: кора на ее стволе сорвана ударом танковой кормы (новая власть, связанная с идеологией вечного джихада, не намерена заботиться ни о комфорте жителей, ни об экологии, ни об эстетике, ни вообще заниматься «корой явлений», предпочитая иметь дело непосредственно с «сердцевиной» — божественным смыслом всего происходящего), она засохла (сигнализируя тем самым о бесперспективности исламистского проекта), и, мало того, именно на ней, во всяком случае, по утверждению Проханова, был повешен в 1990 году Наджибулла: «Его обезображенный труп с выколотыми, глазами висел в петле

на дереве в центре Кабула». Так, в приключениях одного дерева внимательный наблюдатель в состоянии прочесть историю целого периода страны.

2. Акация «Смерть белым»

Однажды, выполняя сложное разведзадание — перевербовать агента ЦРУ Маквиллена — герой романа «Африканист» Белосельцев ужинает в открытом ресторане в Луанде. Дело, считай, уже на мази, но в самый разгар атаки на своего клиента офицер советских спецслужб неожиданно становится жертвой козней дерева «Смерть белым». Так в Анголе называют фиолетовую акацию, чьи пыльца и сладкий ядовитый запах вызывают у европейцев приступы удушья и слезотечение. И без того сверхвпечатлительному Виктору Андреевичу кажется, что он попал в центр накаленного реактора, а затем у него начинаются галлюцинации: он видит в ветвях «лилового колдуна», куст превращается в летнюю веранду на подмосковной даче и так далее…

Это не единственное дерево в книгах Проханова, опрокидывающее его героев в сюрреалистические обмороки. В Александровском садике у Кремля растет липа, вызывающая видения у персонажа раннего романа «Их дерево» по имени Лучков (тут, кстати, следует упомянуть о неопределенности названия. Не вполне понятно, во-первых, чье же все-таки имеется в виду дерево и, во-вторых, что это за дерево: то ли галлюциногенная липа, то ли «нависающее золотой полусферой» дерево перед ЦДЛ, «звонким светом» облучающее спину и плечи главного героя Растокина, пока тот разглядывает листья на асфальте, «будто здесь ощипали большую меднoперую птицу»).

Цветы фиолетовой акации.

Во внешне ультрасовременном, но по сути архаичном мире Проханова есть магические объекты, которые, попадая в поле зрения героя, детонируют и разворачивают психическую атаку. Это могут быть мелкие сувениры вроде бусинок, мусор вроде черепка, архитектурные сооружения, но одни из самых опасных объектов в смысле генерации паранормальных явлений — это как раз деревья. Деревья — своего рода природные соленоиды, по которым бежит ток и которые держат вокруг себя постоянное магнитное поле, антенны, «облучающие» попавшего под их чары человека. В измененном состоянии сознания жертве раскрываются двери в мир духов, а также подлинная суть вещей, явлений, она попадает в зону, где происходят интенсивные семиотические процессы, «прозрения». Лучков, к примеру, наблюдает, как от Кремля отделяется ракета Ивана Великого, Белосельцев чувствует в Маквиллене собственного двойника. Дорожа этими далекими от нормы психическими состояниями, прохановские герои обычно перемещаются по жизненному лесу не протоптанными маршрутами, а от дерева к дереву, интуитивно считывая зашифрованную в них информацию. Деревья, вступающие в

контакт с героем, сигнализируют об опасности, предоставляют укрытие или, наоборот, ведут себя агрессивно (ср. «путеводные деревца», «берегини»).

Это указывает на то, что дистанция, разделяющая прохановские и фольклорные тексты — где также часто фигурируют «говорящие яблоньки» и проч., — крайне незначительна. Подверженность Проханова — скептика, способного иронизировать над чем угодно, — внешнему психическому воздействию говорит о живом, незаскорузлом сознании. Несмотря на все свои гимны техносфере, он по-прежнему остается человеком природы, обладателем локаторов, настроенных на «интуитивное знание», и рассчитывающим свои жизненные траектории, сообразуясь с указаниями «натуральных» сил.

3. Мамврийский дуб

Опытный краснобай и интерпретатор самой экзотической информации, автор передовиц газеты «Завтра» не мог не связать между собой два события, произошедших осенью 1996 года, — достижение критической близости «русского апокалипсиса» и биологическая смерть так называемого Мамврийского дуба в Палестине: предполагалось, что второе с неопровержимой очевидностью подтверждало первое.

Мамврийский дуб, иначе говоря, «священное древо Авраама», рос неподалеку от Хеврона и являлся остатком дубравы, Мамре, у которой произошло первое в мире ясное откровение Святой Троицы человеку. В 1868 г. имеющее многовековую историю дерево было приобретено РПЦ (несомненно, попытка продолжить никоновский проект «русской Палестины», реализованная менее склонными к поэзии людьми) — и под ее благотворной опекой зеленело вплоть до 1996 года, когда тлетворность флюидов, испускаемых Березовским и Дудаевым, стала особенно заметной, даже на таком значительном расстоянии: дуб взял и засох.

Мамврийский дуб в 1880-х.

В Мамврийском дубе легко разглядеть не только метафору «русского проекта», оказавшегося в руках интернациональной банды мошенников, но и, с ботанической точки зрения, другое — однако по сути то же самое — дерево: березу; тот дуб, у которого Аврааму явились трое странников — и у которого затем стали праздновать Троицын день — является прообразом русских троицких березок.

На каждую Троицу любимый прохановский герой отставной генерал Белосельцев садится в старенькую «волгу» и уезжает в свою деревню, где и поклоняется растущей там березе, словно живому существу, — зная, что со временем сам превратится в нее. «Оно, почти одних с ним лет, переживет его на земле. Знает об этом, предлагает ему прибежище. После смерти его душа перенесется в березу, устроится среди тесных древесных волокон, останется здесь. Он благодарно погладил березу, свой будущий дом» («Сон о Кабуле»). Часто анимизм реализуется буквально: внутри дерева, по мнению автора, обитает живое существо: бабушка, колдун, любовница, да даже и сам автор. Дерево может быть заместителем человека, и не просто условным: это ведь языческий метемпсихоз — узнавать (умерших) людей в деревьях.

Едва ли можно назвать Проханова «язычником», но его отношения с религией чрезвычайно запутанны. Крещеный, но, в силу хорошей осведомленности о не вполне благовидной деятельности РПЦ, не вполне воцерковленный, он по сути ближе к язычеству, чем к ортодоксальному христианству. Язычество следует здесь понимать прежде всего как синоним анимизма и пантеизма, обожествление и одухотворение природы, население ее близкими и родными существами. Проханов — просвещенный язычник, сделавший пантеизм частью своей натурфилософии, но при этом иногда контактирующий со своими демонами буквально, напрямую, без посредничества разума — как в случае с этой березой (или, если уж на то пошло, тем дубом).

4. Я-дерево

Сразу после августовского путча 1991 года в журнале «Столица» было опубликовано открытое письмо литератора Е. Храмова к А. Проханову. Топорный текст, выполненный в риторике J'accuse! сопровождался не лишенной остроумия карикатурой, где адресат послания был изображен в виде дерева с маршальскими погонами, на одном из которых примостился соловей; из-под корней тем временем выползают тяжелые «тэ-тридцатьчетверки». Художник очень точно уловил образ своего персонажа, тот действительно сам часто воспринимает себя как дерево.

Карикатура из журнала «Столица», сопровождавшая открытое письмо Храмова.

«Она коснулась его, как касаются старого дерева…» («В островах охотник…»). «Будто кто-то извлекал его из огромного города… переносил, как саженец, в другую землю и почву, в которую ему предстояло врасти, пустить в нее свои чуткие корни. Вырванный из одной земли, еще не коснувшись другой, он летел в небесах, словно дерево с обнаженными корнями» («Африканист»). «Он и был веткой на божественном огромном дереве, растущем в

центре мироздания» (там же). «Книга его росла, словно дерево, и сам он себе казался стволом, а людские жизни и судьбы — кроной. Он знал в ней уже каждый лист, питал его соком и силой, и дерево разрасталось» («Иду в путь мой»).

Самоотождествление с деревом занимает Проханова на протяжении многих лет. Дерево — субстанция, находящаяся ближе к природе, чем к людям и технике, дерево, на ветви которого садятся бабочки событий.

Это выражается в его парадоксальной, при такой биографии, склонности к созерцанию, к внутреннему спокойствию, к выносливости, к незлопамятности, к неагрессивности.

Человек-дерево — сквозная метафора, проходящая через все его творчество (да и, чего уж там, повседневную жизнь, если на вопрос, сколько лет тому или иному человеку, он обычно предлагает распилить этого человека и «понять по кольцам»), может быть использована как опровержение обвинений, высказанных Н. Ивановой: «Проханов не просто соловей Генштаба, он певец биоагрессивности как таковой». В сущности, вся его «поэтика насилия» — гимны легированным бомбардировщикам и чавкающим экскаваторам — выросла не из особенностей его характера, а скорее была романтическим увлечением, любовью дерева к бабочкам, которые садились на его ветви.

5. Чудо-дерево

Сюрреалистическое дерево в Дагестане. Вырастает в сознании Белосельцева, который обвиняет себя в том, что это он оказался в центре интриги возведения Избранника на трон и, таким образом, развязал войну. В «Господине Гексогене», сразу после штурма Карамахи, «Белосельцев обходил строение, и на заднем дворе, изрытом воронками, увидел зеленое ветвистое дерево. Издали глаза различили странные плоды, усыпавшие ветки розовыми сочными гроздьями. Приблизился и замер: в расщелине сучьев торчала оторванная, с растопыренными пальцами рука.

На обломанный сук была насажена половинка черепа с длинным пучком волос. На ветках, окруженные листьями, висели вырванная печень, мотки кишок, ломоть грудины. Неловко прицепилась нога с голым бедром, обутая в туфлю. Все дерево, до вершины, пестрело красными клочками. Близко к земле, качаясь на мокрых тягучих нитках, висел глаз с белком и черным неподвижным зрачком. „Твое дерево. Ты его вырастил. Тебе сидеть под ним, познавая Добро и Зло. Ты искал свой рай и нашел“, — неслось из небес».

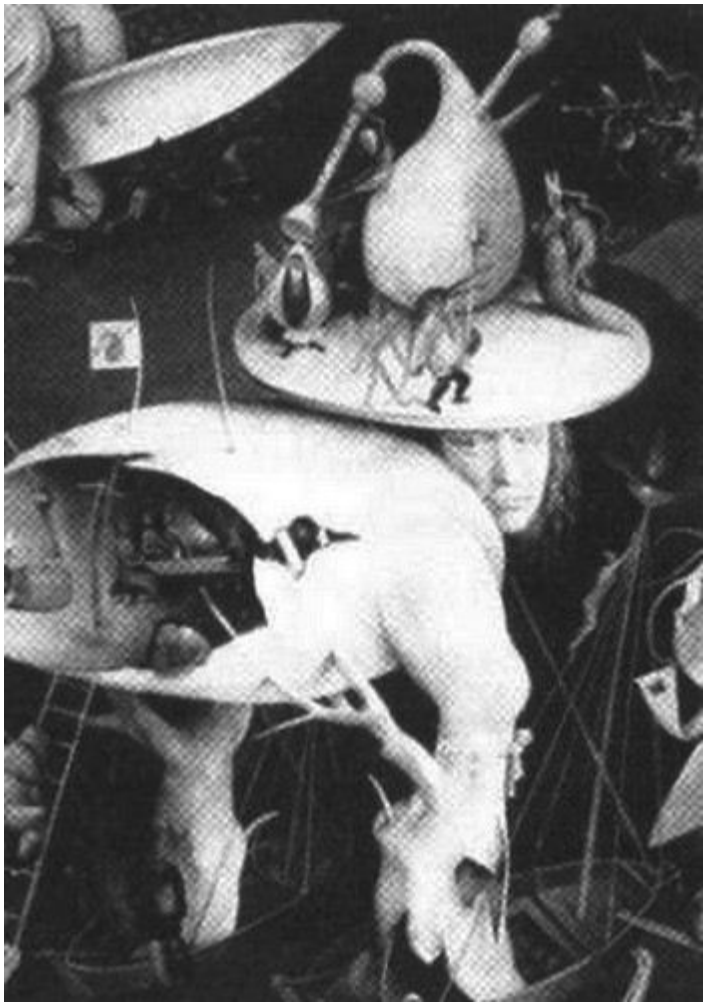
Примерно в той же манере описано в «Сне о Кабуле» дерево на Котляковском кладбище, где развешаны части тел жертв взрыва двух конкурирующих группировок «афганцев».

Можно было ведь просто раскидать части тела по земле, и тоже было бы внушительно, но он устраивает театр, развешивает мертвые ошметки на живом дереве, распинает их на особом каркасе. Дело в том, что, в сущности, это не столько деревья, сколько кресты, распятия — по сути, устройства из срубленного дерева, предназначенные для умирания бога плодородия — и одновременно действующие метафорические машины воскрешения, макеты для Второго пришествия. В мире Проханова вся подвергающаяся распаду материя, в принципе, восстановима. Достаточно лишь обнаружить уже существующие аппараты для воскрешения, чем и занимаются, каждая по-своему, магия и техника.

Сделав шаг в сторону, заметим, что тема смерти вообще занимает в сочинениях Проханова исключительное место — и довольно часто реализуется в таком странном мотиве, как «приключения трупа».

Мертвые тела — которых в сочинениях Проханова именно что пруд пруди — претерпевают здесь самые неожиданные коллизии. Хорошо еще, когда они просто лежат (как пограничники в гробах на Даманском; тут стоит припомнить и страшные фотографии трупов, сделанные автором текста) и разлагаются (как Ленин), но еще чаще с ними происходит нечто невообразимое. Их перерабатывают на бойне (в «Вечном Городе»), их минируют, носят, возят, раскатывают в лепешку, оскверняют, насилуют (характернейшие мотивы в «афганских» и «чеченских» вещах). Именно как труп часто описывается у Проханова развалившийся СССР — обычно труп кита, выбросившегося на берег, и теперь в этой гигантской дохлятине кишат мириады червей и личинок. Эта «трупная» метафора, став базовой, бывает, целиком организует романную поэтику, странная, «абсолютно неадекватная» «Крейсерова соната» есть не что иное, как «симфония разложения».

Проницательный В. Личутин, уверенный, что русская литература избегает описаний трупов и никто в ней, кроме Проханова, не переходил этот рубеж («умер — и все»), рассказывал мне о том, что он даже специально предупреждал своего друга, что в его страсти описывать трупы есть нечто «дьявольское, нечеловеческое». Личутин подчеркивает, что эта образность — «БТР раскатал голову в лепешку, и листик кровавый лежит» или «Ленин в операционной — чресла, мошонка отвисшая, ужасно» — его, специфически прохановская. «У него другое видение», «зрение нечеловеческое».



Чудо-дерево в «Аду» Босха. Фрагмент картины «Сад наслаждений».

Оставляя в покое дьявола, позволим себе заметить, что, с одной стороны, это стремление обнажить гниение, дать смерть в динамике — всего лишь обыкновенная «декадентская» тяга художника к табуированным зонам, к «падали». С другой, не надо быть психоаналитиком высшей категории, чтобы заметить, что в прохановских сочинениях возникает особая театральная эстетика смерти, что когда речь идет о трупах, он чрезвычайно оживляется, становится декоратором, режиссером, что Проханову — ну да, НРАВИТСЯ описывать трупы — и истолковать это как признаки латентной некрофилии; однако надо сказать, мало что подтверждает наличие у Проханова этой эксцентричной перверсии.

В общем контексте его творчества более эффективно предположить, что, описывая «приключения трупа», он на

фольклорный манер «заговаривает» смерть, нейтрализует ее, низводит к чисто техническому препятствию, к перебою в кинетике. Показать мертвое тело, его разложение, гниение, осквернение есть самый экономный и действенный способ преодолеть смерть и перейти к рассказу о живой душе. Мы еще увидим, что весь смысл прохановской деятельности есть преодоление. Тело есть то, что нужно преодолеть. Смерть есть то, что нужно преодолеть. «Опять новый виток сделал и переступил», в терминах Личутина.

Между прочим, по-видимому, слишком частое обращение к этой теме имеет свою цену. Вряд ли случайно, во всяком случае, юная литзвезда Денежкина в своем рассказе «Нацбест» описывает самого Проханова таким образом: «Проханов похож на труп. У него такая трупная рожа. Он может играть покойников в кино». Похоже или не похоже, можно спорить, чего точно нельзя сказать — так это что Денежкиной таким образом удалось похоронить своего старшего коллегу.

6. Стальная яблоня/бетонная сука

В романе «Вечный Город» главный герой Завьялов перед отъездом из Москвы выслушивает историю женщины, которая посадила перед своим домом яблоню и, ухаживая за ней, уберегла мужа от гибели на войне. Да ведь это притча о яблоне, смекает герой, технократ-экстремист, — и постигает, наконец, важность природного элемента для своих Городов будущего; в его городе на Каспии рабочие в массовом порядке высаживают яблони. До того, однако, он слышал в кроне старой яблони звон стальных листов.

Дерево — концентрированная биосфера, но в футуроориентированном мире Проханова технологии вторгаются в биосферу и заменяют несовершенные природные объекты высокотехнологичными искусственными — так возникают «стальные деревья», да и сам СССР часто описывается через образ «стального древа, взращиваемого среди трех океанов». Со временем образ превратится в автоштамп, обозначающий синтез природного и техногенного. На манер дерева были устроены пчельниковские стальные штанги, на которых висели «Города Будущего»: предполагалось, что «ствол», по которому течет энергия, эксплуатируется максимально долго, тогда как ячейки-«листья» постоянно меняются и обновляются. На практике это означало, что по Сибири раскидывались гигантские стальные штанги (высотой в четыре Останкинские), на которые навешиваются сборно-разборные города-ячейки. Вдоль штанги

постоянно курсировала стальная капсула-лифт. Ячейки, стандартные типовые комфортные комнаты, оборудованные одеждой, мебелью и горючим, можно было мобильно грузить на вертолет, ставить на состав и разворачивать в считаные часы. Точечное соприкосновение с поверхностью земли обеспечивало минимальное загрязнение экологии и максимально интенсивное освоение ресурсной базы. Рельсовые подвесные коммуникации между вертикалями позволяли решить проблему «транспортного тромбофлебита» современных городов, то есть гарантировали отсутствие пробок. Нечто похожее на это Проханов, по его словам, увидит в 2000 году в городах ЮКОСа, куда приедет по приглашению Ходорковского.

Иллюстрация к роману «Место действия».

Если сначала все эти «Вавилонские башни современности» вызывали скорее восхищение, как Шуховская башня, то со временем они же стали генерировать и тревогу. Классическим деревом такого рода стала Останкинская башня, замеченная Прохановым еще в 1972 году. Персонаж романа «Их дерево» Лучков, обходя места своего детства, видит, как строится Останкинская башня, кажущаяся ему железным деревом. «Телебашня вырастала, как стебель, тянула гигантской трубкой соки земли, выкидывала их в небеса холодным туманом… Она погрузила в землю гигантский бетонный клубень, пустила в небо стрелу ростка… С острия

срывались в эфир черно-белые и цветные картины. Ирреальные изображения мира магнитными смерчами уносились в пространство».

Смысл деятельности Художника в том, чтобы соблюсти паритет между инженерным проектированием и духовной компонентой, иначе «стальная яблоня» превратится в «бетонную суку», что и произошло с телебашней; прочесть об этом можно в знаменитой передовице 2000 года «По молитвам старцев сгорело Останкино».

7. Деревья-памятники

В «Последнем солдате империи» Чекист приглашает Белосельцева посетить так называемый «Объект-12», который раньше назывался Дендрарием НКВД, а до того — Ботаническим садом ЧК. Эта коллекция деревьев, начало которой якобы положил Дзержинский, отмечавший каждую успешную операцию органов посаженным деревом, живая биография учреждения, наглядный путеводитель по его истории. Белосельцев, размышляющий о «таинственном, нерасторжимом единстве человеческого и растительного, революции и зеленого леса», видит магнолии и дубы, араукарии и секвойи. Все эти деревья напоминают об устранении Троцкого, расстреле Тухачевского, супругах Розенберг и взятии дворца Амина. Каждое дерево — это и душа, и живой памятник, и живая история страны (и, надо полагать, шутка, связанная с полисемией глагола «посадить»). Неудивительно, что дальше образ леса-дендрария будет развит, и на одном из деревьев мы увидим и белочку, которой окажется Ю. В. Андропов.

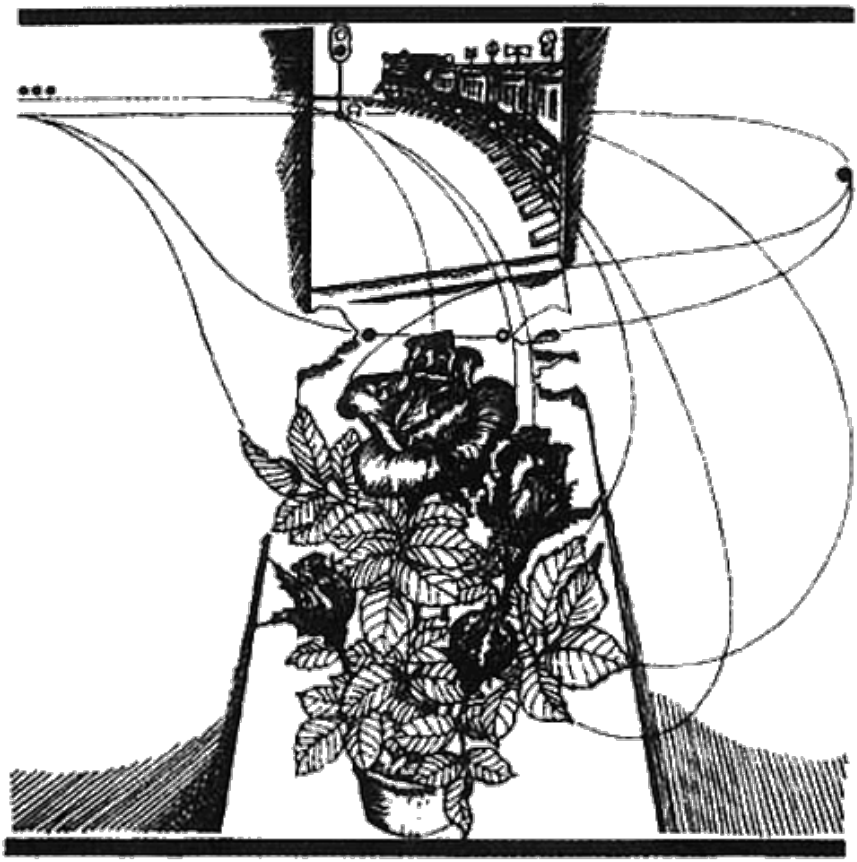
Мемориальное дерево (рис. В. Проханова).

Любопытно, что метафора подлинного вождя — лесник / мудрый садовник, но не, например, пастух. За «лесом» стоит образ пассивной страны, медленно цивилизуемой, подвергающейся деятельности человека, исподволь подчиняющейся. Воздействие «лесника» менее явно — он работает не столько с телами, с материей, сколько с душами; тайный диспетчер, он не столько активно поощряет или препятствует чему-то, сколько создает атмосферу, обеспечивает заповедные условия, предостерегает от

вторжения посторонних; так реализуется конспирологическая модель жреческой цивилизации, храмом в которой служит сама природа. Лесник засеивает, сажает — чтобы некогда выросло нечто, отдаленно соответствующее его планам. Лесник сам может оказаться существом злокозненным, и тогда он превращается в политического модельера, такого рода диспетчеры и становятся персонажами романов про тайные ордена, конвергенцию разведок и генных инженеров.

8. Самоходное растение

Название прохановского романа 70-х годов «Кочующая роза» объясняется так: в некоем советском сибирском учреждении (в городке, через который проезжал спецкор) вот уже много лет в загсе молодым на роспись дарят отросток розы — на счастье. Пары молодоженов, осваивающие целину и тундру, постоянно перемещаются, а с ними и их розы, которые они тоже дарят своим друзьям. Это расползающееся по стране декоративное растение — вегетативная аллегория социализма с человеческим лицом, почкующегося стараниями добрых людей. Тот же сюжет можно легко представить себе в фантастической аранжировке: бесконтрольно распространяющаяся и пожирающая реальность вегетомасса, да что далеко ходить — разумеется, и этот вариант тоже был разыгран Прохановым в поздних текстах, где «галлюцинаторная» эстетика сделала его уместным. Через тридцать лет кочующая роза в горшке трансформируется в кочующий чайный гриб из банки. Это классический темный двойник — тоже некая фитосубстанция, размножающаяся отпочкованием, но представляющая скорее инфернальные силы, связанные с атлантической цивилизацией.



«Кочующая роза». Иллюстрация К. Пчельникова.

В «Последнем солдате империи» гриб становится врагом генерала Белосельцева и грозит трансформировать твердую, кристаллическую континентальную советскую империю в жидкую, текучую и склизкую — как он сам; Белосельцеву приходится сразиться с этим существом в манере, напоминающей об эстетике «Матрицы» и «Крадущегося тигра». На первый взгляд, трудно поверить, что «Последний солдат империи» и «Кочующая роза» — книги одного писателя, между тем, все было уже тогда.

С этим мотивом мобильной вегетативной структуры связан возникающий время от времени у Проханова образ «Красного дерева», идея экспорта революции как трансплантации. «Работа садовника, который пересаживает в другую землю черенок революции, бережно отламывая его от огромного красного дерева, растущего в центре России. И там, в той лунке, куда помещался саженец, начинало дымить и сверкать, трескалась почва, рвалась на куски территория, и в огромном взрыве, среди катастроф и пожарищ, вырастало красное дерево».

9. Иудино дерево

Это дерево представлено в нескольких модификациях, от осины до баобаба («электронного еврейского баобаба», простершегося над Россией, под которым Белосельцев падает от ужаса в обморок), но на самом деле оно одно и то же: дерево антисемитизма.

Нет сомнений в том, что это дерево присутствует в прохановском арборетуме и даже занимает значительные площади, вопрос в том, добровольно ли он принялся водить вокруг него хороводы или его приковали к нему недоброжелатели?

Иллюстрация к рассказу И. С. Тургенева «Жид» в газете «Завтра».

Помню, при первой же встрече Проханов ни к селу ни к городу рассказал мне «дурацкий», по его словам, анекдот из «Господина Гексогена», как потом выяснилось: «Кого-то допекало большое количество мышей, глобально: мыши, целые стаи, ели все — рукописи, свечи. И другой пришел к нему спасать его и привез ему

маленького механического мышонка. Завел его, тот побежал, и все остальные мыши пошли вместе с ним и канули в реку. А этот хозяин лабаза оказался антисемитом и говорит: а нет у тебя маленького заводного еврея?».

Это не первый и не последний, надо полагать, его опыт в этой скользкой юмористике: были и шуточки про заминированные плакаты «Смерть жидам», и прибауточки про «дерево-антисемит» — липу, поваленную бурей и раздавившую сходку у московской синагоги, и каламбуры августа 1998 года про «курс доллара семьсорок».

— И анекдот так себе, и вообще: антисемитизм — это ведь дурной вкус.

— Это тема. Дурной ли вкус показывать женские соски? В искусстве нет дурного вкуса. Даже худо написанный фрагмент, если поместить его в золотую раму, начинает сверкать. Если угодно, я маэстро дурного вкуса, маэстро высокого стиля. В искусстве нет дурного вкуса. В политике есть: когда начинают дымить крематории или когда для достижения локального военного успеха тратятся дивизии. А в искусстве — что противопоказано пуританской Англии, то на индуистских барельефах открыто. Современное искусство прекрасно, потому что устраняет иерархию. Антисемитизм — пикантная тема для людей культуры.

Психобиографу могли бы дать материал для размышлений следующие эпизоды. Первая и главная «травма» в его писательской карьере связана с приговором, произнесенным еврейским писателем В. Финком. Можно вспомнить и о не вполне сложившихся отношениях с «Аэропортом», либерально-еврейской писательской средой Москвы 60–70-х годов. Можно обратить внимание на беллетристические «свидетельства» Е. Евтушенко и А. Козловой, которые подчеркивают «семитские» глаза самого Проханова и циркулировавшие среди злопыхателей слухи о том, что его антисемитизм извращенным образом связан с тем, что он сам — еврей.

Любопытный момент: в романах Проханова — где есть и «электронные еврейские баобабы», и гигантские семисвечники, лазерными лучами уничтожающие русское воинство, — ни одна реплика, которую можно квалифицировать как антисемитскую, ни разу не приписана протагонисту — Белосельцеву или Коробейникову. Почему? Проханов уверяет, что его герои вообще больше слушают и, кроме того, «там нет серьезных дискуссий по еврейскому вопросу. Это все-таки ремарки. Еврейская

проблематика проходит там фоном, мои герои не исследуют серьезно достоверность сионских мудрецов, или талмудистский характер большевистской революции, или серьезность политических или национальных намерений сегодняшних еврейских олигархов». Мог ли бы он написать действительно антисемитский роман? «Мог бы. Но мне кажется, что такая угрюмая, прямая и ограниченная антисемитская риторика и тематика сужает уровень катастрофы, происходящей в мире. Я не являюсь расистом. Но еврейский вопрос — это данность, он вездесущ, вокруг еврейского вопроса клубятся дискуссии, это вопросы, которые занимают таких значительных людей, как Шафаревич и Солженицын. Это сущностные вопросы, их нельзя обойти. Но вникать в них, строить на этом сюжет, создавать роман такого рода — видимо, я не способен на это. Я не носитель расовых теорий. Я скорее касаюсь еврейской проблемы, поскольку она очень актуальна и трепещет в сегодняшнем социально-политическом контексте. В советское время было полное умолчание этой темы. Ее не касались. А она странно и мучительно проступала в текстах, о ней можно было как бы догадываться, а сегодня это все вышло на поверхность, и это так же значимо, как, скажем, осень за окном. Художник не может пройти мимо этой темы. Но идеально было бы в нее не вмешиваться. Он просто фиксирует появление этих пузырей страдания, ненависти, негодования, конфликты, но не принимает в них особенного участия, потому что, повторяю, лучше бы художнику быть все-таки не участником эксперимента мирового, а наблюдателем. Наблюдать за этой странной социальной ящерицей, которая ползет перед ним, не тревожа ее, и постараться не обратить ее внимания на себя, иначе она может оглянуться и сожрать тебя. Я люблю природу, я люблю войну, я люблю открытое зрелище, а все они не укладываются в этот узкий лабораторный масонско-талмудистский контекст. Мир шире, хотя я постоянно жил и живу в атмосфере, где эта проблема ставится и так или иначе решается». Что значит «решается»? «Например, отец Лев считал, что Конец света и вообще вся эсхатология связана с судьбой как русских, так и евреев. Русско-еврейская драма лежит в основе онтологии мира. А поскольку он относился к русско-еврейскому конфликту не как Гитлер, не как к конфликту банковских вкладов, экспансий и конфликту различных центров влияний, а религиозно, он, конечно, решал его не примитивно, поскольку евреи без русских невозможны, и русские без евреев невозможны. И Конец света, эта огромная драма, будет проходить в недрах этой встречи». Значит ли это, что русские и евреи — это воплощения добра и зла? «Просто русские должны выкликать Второе пришествие Христа, причем

выкликают ужасным для себя образом, они приносят постоянную жертву, гибнут, умирают, исчезают в муках и в катастрофах, умножая тем самым сонмище святых и молельщиков, и, по существу, это должно привести к полной аннигиляции. А евреи, вторгнувшиеся в Россию, способствуют вот этому перемалыванию, этому уничтожению: ГУЛАГи, которые возглавлялись евреями, первое большевистское правительство, которое, по существу, пустило под нож три русских сословия. И в этом — тоже миссия еврейства. И возмездие, которое постигнет евреев за то, что они участвовали в этом пребывании зла, если угодно, оно будет ужасным, оно сделает их народом сатаны, народом, среди которого родится князь тьмы, антихрист, и когда антихрист будет низвергнут в результате победы Нового Иерусалима, вместе с антихристом будет низвергнут и еврейский народ, который его породил, который его выпестовал, который ему предложил мир. Ну, это православная, вообще общехристианская концепция». Ясно.

По существу, «еврейская мелодия» в творчестве и жизни Проханова распадается на несколько тем.

Есть фундаменталистское окружение, ветераны «русской партии». Есть политика газеты, которая публикует передовицы о «гнилой сперме» Гусинского, «беличьих глазках» Березовского, а также интервью с Макашовым, Баркашовым и лидерами «Хамас». Значит ли это, что «Завтра» — антисемитская газета? «Нет, это неправда, и не стоит путать газету с людьми, пишущими на форуме». В «Завтра» никогда не было дискриминации персонажей и авторов по национальности. В кабинете у Проханов почти с равной вероятностью можно увидеть и казачков, на вопрос «Как дела?» отвечающих «Жиды замучали!», и профессиональных гебраистов, и чуть ли не раввинов. В этой газете действительно чаще, чем в «Новой», встречается прилагательное «еврейский» с пейоративным оттенком значения, но при этом у газеты — и лично у Проханова — было и есть много союзников-евреев: от покойного Льва Рохлина до здравствующего Исраэля Шамира. Отдельно проговаривал в печати эту тему писатель Шурыгин в интервью с А. Гордоном: важна не национальность, а отношение к родине, и судят именно по этому.

Есть соратники по политической борьбе и есть Проханов — автор множества колонок с названиями вроде «Макашов, мы с тобой!». Бравирует ли он дружбой с «Шинелью номер Пять»? «Нет, я не бравирую. Скорее, я намеренно беру на себя часть того негативного поля, которое сложилось вокруг Макашова, умышленно, как бы отнимая это поле от него. Макашов генерал,

герой 93-го года, мученик-радикал, за ним гораздо больше харизмы, чем за многими нашими патриотами. Я считал, что обязан заслонять и защищать своих товарищей, если у меня потенциалы вековые больше, чем у него. Может, это выглядит как бравада. Это момент тонкий, психологический». Не стыдно ли ему за него? «Нет, я не стыжусь, потому что Макашова я числю среди своих товарищей, своих друзей. Политкорректность — ужасная вещь на самом деле. В последнее время я сам себя ловлю на этой политкорректности. Ведь я кочую по всем этим программам».

В середине 90-х годов, в разгар кампании по обвинению Макашова в «русском фашизме», разжигании национальной розни и публичных оскорблениях еврейского народа («жидов», в его терминологии), «Завтра» тиснула рассказ И. Тургенева «Жид» и, чтобы не оставалось сомнений, о чем и о ком идет речь, проиллюстрировала его рисунком: на дереве висит герой, «жид», с лицом Березовского, а рядом с ним — офицер с лицом Макашова. И? «Мне передавали, что Береза был в бешенстве, грозил мне расправой».

Дочь бонзы Союза писателей Вадима Кожевникова Н. Кожевникова, изумляясь «хазарским» страницам «Гексогена», вспоминает, что в молодом Проханове «этого» не было в помине, и приходит к выводу, что «сволота (либеральная. — Л. Д.) наградила его антисемитизмом, как сифилисом».

Разумеется, можно объяснить все. Пусть «фашист» — вовсе не синоним эсэсовца из лагеря смерти, а — человек преодолевающий, преступающий грань дозволенного, нонконформист. Пусть «жид» — это не еврей вообще, а архетип «антихриста», «плохого чужака», злокозненного выжиги, негативно влияющего на популяцию русского населения и его перспективы в будущем, посыпающего солью раны народа, коллективный, так сказать, абрамович, существо, смирившееся с тем, что оно демонизировано. Пусть так — но и не стоит, в таком случае, рассчитывать на то, что посторонние будут скрупулезно отделять его безгрешный «идеологический антисемитизм» от «зоологического расизма», ему не свойственного. С другой стороны, он и не рассчитывал на то, что кто-то станет вникать в эти тонкости. В конце концов, если «сволота» и наградила его антисемитизмом, «как сифилисом», то он никогда и не пытался «вылечиться» от этой инфекции. Он тоже — рядом со своим «Жидом» — висит на этом своем «иудином дереве» или «дереве-антисемите» и, как ни странно, чувствует себя в этом положении и в этой компании достаточно комфортно. Еще один штришок к портрету одного из самых выдающихся эксцентриков нашего времени.

В Бужарово он осваивает приемы и навыки ведения сельского хозяйства — запрягания лошади, трансплантации саженцев, косьбы.

В сущности, лес был банком стройматериала для крестьян, и надо было управлять им с некоторой степенью мудрости: не позволять расхищать социалистическую собственность не обладающим лицензией крестьянам, но смотреть сквозь пальцы на то, как подворовывают свои лесники, и одновременно приглядывать и за ними, чтобы, таща, те знали меру. Были и более мелкие мероприятия, не связанные, собственно, с объездами лесов и убережением от браконьерства. Например, учет веников. Приезжала машина с грузом веников, в накладной обозначавшейся цифрой 350 штук. Все? Все, божился шофер. Беглеца от цивилизации, однако ж, на мякине было не провести: он пересчитывал, и не зря, потому что веников было, например, 300. «Там же я материться научился», — флегматично комментирует он этот эпизод.

Зарплата был по советским меркам минимальной, но он не жаловался — благородная бедность входила в стоимость путевки, кроме того, у него было не так уж много потребностей. Ему не надо было поить девушек шампань-коблером, не нужно было тратиться на одежду — резиновые сапоги, роба и брезентовый рюкзак не снашивались, в сущности, ему нужна была лишь небольшая сумма денег на собаку. Собаку звали Сигнал, с ней он ходил на охоту, стрелял вальдшнепов и белок. Судьба этого Сигнала неизвестна, но в «Господине Гексогене», когда Белосельцев, прикованный к трубе в обреченном доме в Печатниках, вспоминает свои грехи, он признается в том, что в юности разъяренные соседи однажды осадили его дом с жалобами на то, что его собака ворует у них кур; так и не сумев отучить пса от этой привычки, он вывел его в поле и пристрелил.

Зимой, облачившись в валенки и долгополую шинель, он становился на огромные деревянные лыжи; две красные ладьи под ногами завораживали его своим видом, и он готов был кататься на них целыми днями. Все эти сосны он воспринимал не столько как склад лесоматериалов, сколько как банк впечатлений, натуральный капитал. «Восхитительная природа. Два года я видел все ее малейшие изменения, жил ею». «Инспектор метелей», он чувствует себя как живописец начала века, уехавший в Париж почувствовать атмосферу эпохи. По его мнению, изучать эту атмосферу следовало в истринских лесах.

В его подчинении были несколько лесников, все на сколько-то старше его. «Вы были менеджером?» «Топ-менеджером», — со значением поправляет он. Топ-менеджер представлял интересы

администрации, являясь промежуточной ступенью между рабочими и чиновниками — и одновременно исполнителем непосредственных дел по ведению лесного хозяйства.

Всего в этой зондер-команде служило человек шесть хорей и калинычей, все они проживали в окрестных деревнях, прошли войну и были старше своего начальника. Двое из них — Виктор Ратников и Геннадий Филиппович, последний более известный как Хохол, как ни странно, живы и здравствуют — мы обнаружили их в деревне Мартюшино. Ратников — прототип Гришки Ратника, лесника из «Иду в путь мой». Именно вместе с ними Проханов был сфотографирован однажды корреспондентом местной газеты на истринской дороге. Посреди тракта, пролегающего через заснеженные поля, позируют трое мужчин в валенках, на деревянных лыжах с веревочными креплениями: один здоровый битюг, второй постройнее, третий помозглявее — «Лесничии обходят свои владения. На их участках все в порядке». В центре, в островерхом, с капюшоном, балахоне — Проханов, по бокам — Виктор Ратников и Геннадий Филиппович. Три богатыря.

Они голосуют за КПРФ и однажды углядели своего бывшего коллегу на Первом канале «у Малахова». Трудно было произвести на них более благоприятное впечатление. Последний раз они видели своего патрона сорок лет назад, и поэтому подробности общения с Александром Андреевичем несколько изгладились из их памяти.

Бессребреничество Проханова вовсе не подразумевало отсутствия возможностей для наживы. Сейчас складывается ощущение, что этот Фаворский лес — как, надо полагать, и многие другие — был местом, где шла непрерывная подпольная торговля всем, чем только можно. Крупным событием лесной жизни был приезд пильщиков из Чувашии. Визиты контрагентов истринского лесничества имели обыкновение заканчиваться чудовищными попойками, избежать которых означало бы восстать против всей коррумпированной системы в целом. Механизм вовлечения в аферу не предполагал наличия чистоплюев. При, допустим, напиленных 100 кубометрах древесины учетчик Проханов, с карандашиком и рулеткой обмерявший поленницы, писал в ведомость 80, тогда как остальные 20 чуваши-пильщики продавали местным же крестьянам, а взамен выставляли покрывавшей их администрации в лице молодого москвича бакшиш. После одного из таких посещений будущего члена политсовета Фронта национального спасения можно было увидеть плачущим, вопящим и одновременно катающимся по земле, кончилось тем, что его

забрал к себе ночевать один из подчиненных — Хохол, который до сих пор хлопает себя по ляжкам при этом приятном воспоминании.

В общем, это было такое ерофеевское времяпрепровождение, хотя и не столь прочно связанное с употреблением алкоголя; скорее можно сказать, что Проханов был родоначальником протестного поколения дворников и сторожей. Зарплата у лесников была далеко не министерская, их кормил лес, и единственное, что им нужно было, так это чтобы не мешали подворовывать. Как мы помним по сашесоколовскому «Между собакой и волком», где речь идет о загадочном убийстве, с местными жителями у лесников могут складываться самые непростые отношения. С Прохановым им повезло, и поэтому они его любили. Хохол и Ратников сообщают об одной любопытной детали, касающейся своего шефа: крайне демократичный и никогда не дистанцирующийся от своих подчиненных, он, тем не менее, довольно часто отказывался пить с ними водку. Иногда он даже любезно предоставлял им безвозмездный кредит в размере одного-двух рублей, а сам с утомленным видом садился на какой-нибудь пенек и мучительно, до слезной поволоки, вглядывался в даль, в свои «угодья», молился на «иконостасы лесов», цифровал пространства, чтобы через три-четыре десятилетия иметь возможность припомнить пейзаж вплоть до последнего листика.

— А вот был у меня здесь случай, я все время вспоминаю, — затравливает байку чуть захмелевший Проханов. — Пошел я на охоту и подстрелил утку, а та возьми да и упади в воду, далеко в болото. Собаки у меня тогда не было, зима, вода в болоте максимум плюс два, но я все-таки раздеваюсь, бросаюсь, как спаниель, в ледяную воду, холодно страшно, плыву, прямо зубами ее хватаю — еле-еле доплываю обратно, выхожу — голый, с уткой в зубах — и смотрю: стволы берез — красные! кровавые! Это у меня от холода помутнение.

— Ага, такие красные, что еще чуть-чуть, так и утка поджарилась бы, — неожиданно вставляет шпильку Митрофаныч видно, что несколько ироничное отношение к молодому и чрезмерно аффектированному начальнику осталось у него еще с тех лет.

Если судить по его интервью прессе, Проханов планомерно реализовал программу «романтического беглеца» и жил подобно герою романа американского писателя Торо «Уолден», удалившемуся от цивилизации, чтобы жить в массачусетском лесу естественной жизнью, читая книги и постигая природу. Это было своего рода «ритуальное самоубийство»; в качестве неопровержимого довода в пользу этой теории прохановские

биографы все как один заявляют о том, что их клиент даже лишился столичной прописки. Не уверен, что это правда: Истра не так уж далеко от Москвы, и уж точно в Московской области, что даже при тогдашних драконовских законах едва ли лишало его права жить в столице. Во всяком случае, ни о каких бюрократических трудностях, связанных с восстановлением прописки, Проханов мне не рассказывал. Впрочем, даже если он ее и потерял, то тут же восстановил, женившись.

Кроме того, наслаждаясь изоляцией, лесник вовсе не анахоретствовал; железнодорожная связь между Москвой и Истрой не прервалась, и он наведывался к московским знакомым, а те приезжали к нему — институтские и кабэшные приятели. В частности, здесь бывали и его будущий друг номер один Пчельников, и даже та самая «невеста», которую он «бросил». Это было такое модное чудачество, хождение в народ: бежать в деревню, жить у стен монастыря, иметь в своих угодьях Фаворский лес — даже если деревня была рядом с Москвой, монастырь — краеведческим музеем, в котором показывали ржавую мосинскую винтовку и фотопортрет Кагановича, а Фавор — всего лишь ономастической копией настоящего.

> «Когда я ушел оттуда и поселился у тети Поли в Бужарово, была целая драма, весь институт трепетал. Ко мне приезжали, там была женщина, которая мечтала обо мне, как-то затащила меня в ледяной погреб ночью, там исповедалась мне в своей любви. Они не верили, что я совершил этот поступок, ушел из инженерии в какие-то писатели. Моей матушке звонили: что, действительно писатель?»
>
> «И недаром, когда я оказался в лесниках, в деревне, ко мне странным образом потянулись москвичи, бабки всякие. — Вы вели образ жизни старца? — Они думали, что я старец, а мне было забавно, они приходили в келью, как к отцу Сергию, и ждали откровения, полагая, что я узрел какое-то чудо и пошел по тропе Савла-Павла».

Обязательным пунктом московской программы был визит в Тихвинский, к матери и бабушке, и поход в мясной отдел гастронома: там он загружался дефицитным в деревне мясом, для себя и для хозяйки. И вот уже несколько раз воскресными вечерами, вцепившись в промерзшей электричке в набитую антрекотами торбу, он подслушивал разговоры двух странных соседей по вагону. В них можно было различить слова «бог», «история», «Никон», «Гефсимань» — это были пассажиры,

выделявшиеся среди прочих своим интеллектуальным уровнем. Неудивительно, что незнакомцы волновали молодого беглеца из технотронной цивилизации, у него тоже были соображения, которыми он мог поделиться, в том случае, разумеется, если бы у него появилась возможность стать третьим участником этой беседы. Самое удивительное, что они всегда сходили там же, где он, но направлялись в саму Истру, а не в Бужарово.

Он так и не решился отрекомендоваться им, и кончилось тем, что эти двое, узнав, что в Бужарово поселился экзотический молодой человек, интеллектуал, ушедший из города «в архаику», явились к нему сами. Один из них оказался сотрудником Новоиерусалимского краеведческого музея Львом Лебедевым, а второй, ни много ни мало, историком Натаном Эйдельманом, тот также занимался там историческими изысканиями. Отношения с Эйдельманом — один из самых любопытных моментов прохановской биографии, очень странно представить вдвоем этих совершенно разных типологически людей — и в смысле психического устройства, и как служителей обществу. Наверняка они схлестнулись бы в 90-е — но не успели: Эйдельман умер в 1989 году.

Познакомившись и составив друг о друге самое благоприятное впечатление, они стали встречаться, примерно раз в неделю: там были «иудейские, Натановы, и православные, отца Льва, разговоры, споры». Именно эти двое открыли ему мистику этого странного места. «С Натаном мы не были ни друзьями, ни врагами», а вот с Львом Алексеевичем Лебедевым у них завязалась дружба, длившаяся вплоть до его кончины в конце 90-х годов; он стал одной из самых важных фигур в его жизни, идеологом, повлиявшим на него в не меньшей степени, чем Дугин, Кургинян и Джемаль. Лебедев был старше его года на четыре. Закончив экономический факультет МГУ и истфак ЛГУ, он оказался в музее Нового Иерусалима, где тоже, по-видимому, пытался реализовать модель «бегство от цивилизации».

— Вон дом, где отец Лев жил, — указывает Проханов на постройку из белого кирпича. Внутрь попасть не удается: замки и заборы. Сорок лет назад все здесь находилось в руинах: «обломленные башни, рухнувшие купола, поверженные колокольни».

На территории можно было найти затейливые цветные изразцы вроде глазированной львиной морды, по сей день хранящейся в коллекции прохановских сувениров, но сама музейная экспозиция не отличалась большим разнообразием: ее ядро составляли окаменелые ракушки, чучело совы и засушенный пшеничный сноп. Каких-то особенных усилий по поддержанию

она не требовала и поэтому оставляла хранителю множество времени на досуг.

Тот имел обыкновение злоупотреблять чарочкой и вообще пользовался репутацией человека эксцентричного, даже когда закончил семинарию в Загорске, принял сан и стал протоиереем. Это он крестил Проханова, и он же выведен в «Надписи»; истории с походом в ЦДЛ и дебошем в ресторане гостиницы «Украина» в самом деле имели место.

Изразец из Нового Иерусалима.

«Мы познакомились с ним, когда я был исполнен языческих православных чаяний, а он увлекался восточной философией и йогой, что не мешало ему уже тогда быть бражником». Они выпивали, стояли на голове, спорили о путях русской души, благодати, полученной через крещение. Чокались обычно за что-то важное, в плей-листе фигурировали композиции: «Давайте за Бога!», «За скорое возвращение святой православной монархии на русскую землю! Пусть сгинет жидовская власть и вновь над Кремлем воссияют имперские золотые орлы!», «За святую Русь!», «За Владимира Кирилловича Романова, наследника русского престола!».

«В школе, — рассказывает отец Лев в „Надписи“, — я

собирался стать заговорщиком, собрать боевой отряд и с помощью динамита взорвать ненавистных партийных вождей. В университете углубился в историю, льстил себя мыслью, что овладею историческими и политическими науками, вступлю в партию и трансформирую изнутри эту богомерзкую власть, избавлю Россию от коммунизма. Отчаявшись что либо сделать, я стал заниматься йогой, полагая, что это путь к индивидуальному спасению, и, стоя на голове, медитировал, пытаясь разорвать кармический круг. И только попав сюда, в эту обитель, я оказался под могучим животворным влиянием православных святынь».

Самые заурядные предметы и явления в этом месте казались приметами и предзнаменованиями. Друзья шатались по ночному монастырю, воспользовавшись ключами от музея, отправлялись в собор, разглядывали сквозь взорванный купол зияющий провал небес, наблюдали «звездные миры, голоса, крылья». Они не уставали воображать, что именно здесь, и, возможно, не через век, а прямо сейчас, через минуту, мог спуститься Христос. В ожидании Второго пришествия, захватив свечу, они спускались в склеп — к надгробью Никона, декорированному стелой, «которая в лучах свечи переливалась таинственными цветами, это был камень такой полудрагоценный, наполненный розовыми светами, с акафистом написанным». Этот надгробие ныне находится в открытом доступе, в помещении все так же пахнет свечами, все завешено рушниками и иконами, старославянские акафисты непроницаемы, рака устлана богатым покрывалом с черепом и костями, похожими на эмблему «не-влезай-убьет».

Спровоцировавший раскол патриарх возникал в их беседах чаще, чем погода. Нюансы можно смоделировать не столько по прохановским воспоминаниям, сколько по опубликованной масштабной лебедевской статье «Размышления у стен Н. Иерусалима» (итогом каковых становится соображение о том, что русские интересуются не земными благами, а царствием небесным). Отзвуки тех бесед мне удалось подслушать и в разговорах Проханова со своим священником-протеже Дмитрием Шмелевым. Они все так же спорят о патриархе-реформаторе («Никон, Александр Андреевич, был первый глобалист. При нем, и им фактически, была присоединена Украина». — «И, отец Дмитрий, не забудьте, что именно Никон придерживался взгляда, что церковь обязана активно вмешиваться в дела государства»), но Проханов не выдерживает накала беседы и в самый разгар религиозного спора позволяет себе дуракаваляние. «Скажите, святой отец, — очень серьезно спрашивает он батюшку, — а чем отличается лавка от камилавки?»

Автор книги «Крещение Руси», отец Лев, будучи истовым

никонианцем, «понял Никона как никто из ныне живущих — как грандиозного трансформатора, колоссального русского космиста», готовившего единый православный мир ко Второму пришествию. Перенесение координат святынь из еврейской пустыни в центр России, по его мнению, «равносильно смещению земной оси, изменению ее места во Вселенной. Ибо Второе пришествие и есть чудесное преображение земли и всей Вселенной». Вот уже сорок лет блажь патриарха Никона представляется Проханову беспримерным религиозным и гражданским подвигом и занимает центральное место в разработанной им теории Красной Пасхи. «В середине XVII века при патриархе Никоне Россия собиралась стать огромным государством-монастырем, так как мыслила себя местом „Второго пришествия“. Русские избраны Господом для того, чтобы здесь, среди них, объявиться на Земле. Новый Иерусалим, построенный под Москвой, — инженерно-метафизический проект, связанный с перенесением топонимики „святых мест“ в Россию, для того, чтобы именно сюда спустился „космический корабль“ Второго пришествия. Это не была игра ума, это не японская имитационная архитектура, не Диснейленд, где изготовлены маленькая Испания, крохотная Франция, миниатюрный Китай. Это была гигантская задача, под которую подверстывалась вся русская история. Русское инобытие предполагало, что Россия — страна райская, что она не захвачена мировой порчей и что она будет выстраивать мир в чертежах Царствия Небесного».

Никон, всерьез считавший, что Второе пришествие должно будет состояться именно в России, предположил, что Христос будет чувствовать себя более комфортно, приземлившись в знакомой топографии, на космодром, который похож на тот, который однажды уже видел. Оставив в покое напрашивающиеся вопросы о правомерности предположений, касающихся консервативности привычек Господа, можно предположить, что, соорудив такой «тематический отель» и разрекламировав его в своих молитвах, Никон собирался перебить конкурентов лучшим предложением.

Между прочим, метафора «монастырь — байконур для Второго пришествия» могла прийти Проханову в голову при виде гигантского яйца, о котором уже шла речь. «В ночное небо дико и пугающе, почти у самых монастырских стен, возносился белый громадный купол. В поселке размещался секретный научный институт, и под белой оболочкой купола скрывалась невидимая установка, — то ли устройство для уловления молний, то ли громадная, шарящая в небесах антенна, посылающая к звездам закодированные земные сигналы. Вид купола был чужероден,

нелеп, странен. Словно здесь побывало фантастическое существо, громадная змея или птица. Отложило яйцо, и теперь оно вызревало под туманными звездами». Это яйцо, отложенное советской цивилизацией, говорят, было разрушено ураганом; мрачная символика этого события, судя по роману «Надпись», произвела на Проханова впечатление.

Трудно понять сейчас, видно ли было это яйцо из деревни Бужарово, где, напротив церковки XIX века, в домике под ветлой, он прокуковал год с небольшим. Эта деревянная хатка, декорированная иконками и фикусами, часто возникает в текстах; опознавательный знак — свисающие с потолка беличьи хвосты, крутящиеся в теплых воздушных потоках, испускаемых печкой. Эти хвосты, словно затейливый скринсэйвер, развлекали его в минуты одиночества.

С хозяйкой, «теткой Полей», он и сейчас, по его уверению, продолжает мысленно разговаривать. Эта деревенская женщина была для него субститутом и собственной бабки, и Арины Родионовны, животворного источника фольклорной эстетики. Именно она спела ему — «с каждым куплетом молодеющим голосом» — «В островах охотник цельный день гуляет».

Как протекали бужаровские будни, о которых не осталось воспоминаний посетителей, как о Норенской Бродского, можно судить по миниатюре, нарисованной пчельниковской женой: над столом скособочился юноша в тулупе и валенках, под носом у него хлопочет пожилая женщина. Это были, по-видимому, идиллические времена, зимнее коротание времени под лампой, покой, тишина, изредка прерываемые стрекотом сверчка или «мистическим криком какого-то странного существа» — в мороз хозяйка забирала петухов и кур в дом и держала их в подполе. Эти катакомбные кукареку и кружащиеся сами по себе беличьи шкурки будут потом часто грезиться специальным корреспондентам, архитекторам, полковникам ВДВ и художникам-баталистам. «Половик чуть краснеет. Кот на теплой лежанке. Самовар мерцает… Рюмочка наливки с темной рябиновой ягодкой», — умиляется кто-то то ли в Африке, то ли в Азии, то ли в Латинской Америке.

Поскольку «уход в леса» был также способом перевести себя, технаря, на гуманитарные рельсы, он систематически — «я поставил себе задачу» — читает русскую классику: с самого начала, с Глинки («Дика Карелия, дика, / Надутый парус челнока / Меня промчал по сим озерам…») и до своего предшественника в этих краях Чехова.

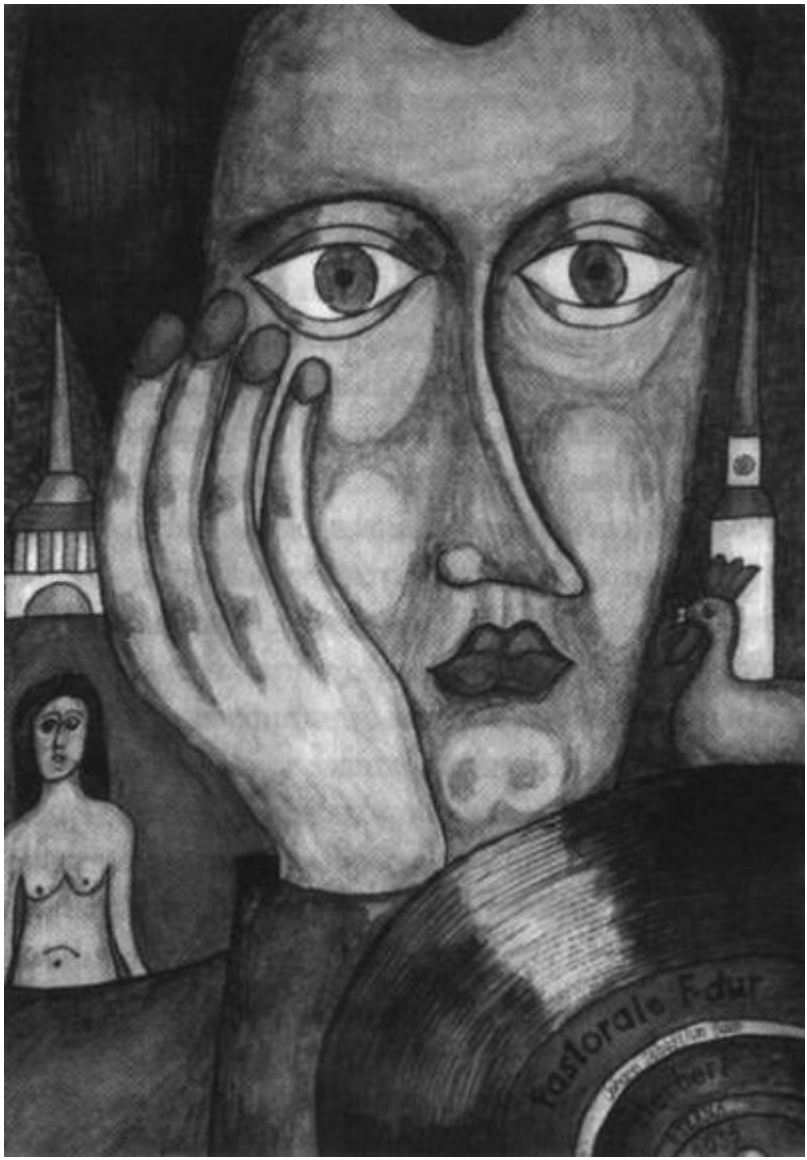
— Послушайте, а почему на фотографиях, которые вы мне

показывали, там, где печка и беличьи хвосты, на письменном столе, рядом с каменными топорищами и печатной машинкой, лежит журнал Newsweek на английском языке?

— Может, Ратников принес, прочитал и принес. А может, это бужаровская версия, тетя Поля издавала сама.

Культуролог Б. Парамонов, посвятивший Проханову язвительную статью, особенно напирает на отраженный в трифоновском предисловии эпизод с «брошенной невестой», обвиняя Проханова в нарушении либидо и сексуальной ущербности. Доводы американского исследователя трудно опровергнуть, но, судя по кое-каким репликам нынешнего Проханова, тантрический аспект существования его 24-летнего двойника был далек от ущербного. Так, уже в автобусе, на котором он ехал с железнодорожной станции Истра в город, ему удалось познакомиться с кондукторшей («симпатичная крепкая грудастая девка»), с которой они сначала принялись «кокетничать», а потом и «встречаться». «Любви не было. Но мое движение было отмечено этой девахой», — дальше он сказал «малявинской» или «кустодиевской», я не запомнил. Под деревней, на повороте с истринской дороги, расположена автобусная остановка, где он обычно и назначал свидания.

По вечерам можно было читать или писать, подражая чевенгуровскому герою: «Лесной надзиратель, хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобие в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи». А можно было двинуть в сторону клуба, который удачно располагался метрах в ста от домика хозяйки. Хотя фактически эта зеленая ветхая избенка, сейчас ослепшая, с заколоченными окнами, выполняла функцию деревенского паба, — официально внутри крепкий алкоголь был вне закона. На тамошние ассамблеи, которые он посещал едва ли не каждый вечер, стягивались на закате отборные деревенские силы, в том числе и элитный дивизион трактористов, уже принявших где-то на стороне: им нравилось танцевать под граммофон. На просьбу припомнить, какие именно произведения пользовались среди бужаровской золотой молодежи наибольшей популярностью, экслесник отвечает не задумываясь: Скарлатти. Отношения с трактористами были если не дружественные, то вполне нормальные; набиравшийся опыта писатель старался ничем не выделять себя.



Автопортрет. Лубок работы Проханова.

— Мне Личутин говорил, что вы в Бужарово хотели уйти в монастырь. Правда?

— Конечно. А чего делать-то мужику, куда податься? Религиозные были состояния, я был исполнен мистических переживаний природы, мира, душа жила, чаяла, и мне казалось, что если я совершил этот поступок, то нужно это все развивать дальше. Я помню, был момент, я мчался на грузовике, совхозный шофер знакомый посадил меня в кузов. Я держусь за борт, вечереющий лес — елки, шишки красные, ели накаленные,

дороги белые, ветер, огонь белый сверкал — и я думал, что мне нужно идти туда, в монахи, я отрок, зажигающий свечи, «Милый свет лампадки, я тебя люблю». И я сказал — я пойду туда, обязательно, но господи, позволь мне повременить еще, насладиться, нагуляться. И я отложил этот уход в монастырь — и вот все еще не нагулялся никак: с вами сижу, романы пишу дикие какие-то… Это все хи-хи, ха-ха, но есть слабость.

Ни «невеста», ни «кондукторша» не занимали в эти два года его внимания целиком. Пять или шесть, отвечает он на прямой вопрос о количестве. Когда мы проезжаем мимо какого-то очередного, мало чем примечательного поля, он вдруг чуть ли не требует остановить автомобиль и торжественно демонстрирует мне какой-то бугорок, за которым виднеются черные хатки. «Вон там одна жила. Вон в той деревне — стала моей. Был восхитительный март, таяли снега…» В разговоре с лесниками он осторожно наводит справки, «не помнит ли кто» насчет какой-то «почтарки Ани», которая «прижила еще потом ребеночка», — что бы эти расспросы ни значили.

Из лесников особенным расположением Проханова пользовался ныне покойный местный сквайр Витька Одиноков — абсолютно тургеневский, по его уверениям, из «Записок охотника», мужик — «мудрец», деревенский философ, и так далее. (Тут Проханов начинает изображать своего приятеля; единственное, что понятно из этого спектакля, что тот чаще, чем следовало, употреблял странное междометие «пумаешь».) Вдвоем они совершали долгие лыжные прогулки, бродили по участкам, охотились. Именно он научил его держаться подальше от лесной одноколейки, которая вела к кирпичному заводу (директором которого, по иронии судьбы, был не кто иной, как Абрам Березовский, отец лондонского изгнанника) — там постоянно ошивались какие-то темные личности, подкарауливающие рабочих с зарплатой и отбирающие у них ее. Счастливо избежав участи этих несчастных, Проханов вновь обращался к своему товарищу — с ним единственным можно было поговорить о красоте, Софии, пославословить die ewige Weiblichkeit, на что, впрочем, его собеседник скептически качал головой и изрекал: «Какая барыня не будь, все равно ее ебуть». Молодой декадент хлопал себя по ляжкам, набирал дыхания и принимался высвистывать новую трель про изумление от красоты, но коллега-перипатетик эффективно обезоруживал его сентенцией вроде: «Ебешь — города берешь. Выебал — будто нищенку обокрал». (Удивительным образом в романе «Политолог» это присловье вложено в уста английской королевы, которая будто бы говорит аграрию Карантинову, воображающему себя принцем Чарльзом и

созерцающему портрет леди Ди: «Чарльз, из всего этого ты должен извлечь урок. Какая барыня ни будь, все равно ее ебуть…»)

Вообще, по словам своего коллеги, то был настоящий деревенский консерватор — и прежде всего в эстетике. Так, Проханов, желая порисоваться, читал ему свои упаднические «Умирают левкои — легко им…», на что тот корректно выражал сомнение в том, что это вообще можно назвать стихами, и в качестве аргумента цитировал ему строчку «Горит восток зарею новой!», резюмируя: «Вот это, я понимаю, стихи», — после чего Проханов со своими левкоями чувствовал себя Незнайкой, срифмовавшим «палку» с «селедкой». По-видимому, именно эти моменты имел в виду Ю. В. Трифонов, когда использовал в своем предисловии к прохановской книге словосочетание «работать лесником среди стихии народного творчества».

Именно Одиноков был свидетелем у него на свадьбе. В Бужарово — «в лесах», в паспорте зафиксирована дата: 1963 год — он женится на девушке по имени Людмила. «Она приехала ко мне в деревню под Москвой… Истра… на стогу сена… она художница… там мы познакомились. Ее пленила эта романтическая ситуация… многих женщин она пленяла. Нельзя сказать, что это была бурная любовь или это была первая любовь. Встреча с моей женой не была каким-то потрясением. Говорят, пришла пора молодцу жениться… Я и понял, по тысячам признаков, что эта женщина должна быть матерью моих детей, продолжить род, быть главой моего дома… И я не ошибся ни в чем». «Она приезжала ко мне, это были восхитительные встречи: лес, стога, зима, прогулки, собаки, охота, лесники».

«Это была одна из самых тихих деревенских свадеб». Монастырская компания на свадьбе не присутствовала. Одиноков, явившийся на церемонию бракосочетания с трогательным букетиком колокольчиков, расписался за свидетеля в книге регистраций бужаровского сельсовета. Молодожен приобрел бутылку красного вина и кулек карамелек-подушечек; втроем они сидели за столом председателя, пили вино из единственного стакана и закусывали сладким. «Наша свадьба прошла тихо, нешумно и восхитительно. Сохранение таинства. Встреча двух людей однажды и навсегда». В коллекции прохановских стихов есть особый «свадебный псалом», который часто будут цитировать его двойники: «Мы с тобой не венчаны, мы в избе бревенчатой, наши гости званые — шубы, шапки рваные. Наши люстры гроздьями звездами морозными. Мы с тобою встречные, мы сверчки запечные».

— А вот ты говорил нам, когда прощался, что напишешь про

нас книгу. Вот ты кажи — напысав или не напысав? — допытывается настырный Хохол.

— Надо говорить — написал, — дружелюбно подначивает его Проханов, явно не расположенный обсуждать эту тему. — Вот ты скажи, ты за кого: за Януковича или за Ющенко?

— Та шоп им обоим. Ну так ты кажи — напысав или не напысав?

— Написал, — отвечает он и не врет: в повести «Иду в путь мой» обнаруживается если не сам Хохол, то по крайней мере «лесник Ратник». Но «Иду в путь мой» будет позже; а там, за печкой, поглядывая на крутящиеся хвосты, ему удалось сочинить два крупных текста, «Кони в клевере» и «Стрелять птиц», в которых он попытался отобразить и зафиксировать «технически-любовный опыт»: полигоны, танки, застревающие в броне сердечники, КБ, экзистенциальные сомнения, любовь, женщины, эротика. По-видимому, что-то связанное с «невестой». Он их сжег. «Они были несовершенны. Просто я понял, что они не должны оставить след. Это были первые подмалевки». Он, впрочем, признается, что в «Иду в путь мой» есть «отголоски» этих вот романов, «остатки взорванной планеты», мотивы и настроения, и «иногда эти первые вещи снятся, как ампутированные руки и ноги».

После свадьбы оседлая бужаровская жизнь, уже обросшая знакомыми, привычками, обязанностями, вдруг осточертевает ему, и он, неожиданно даже для себя, увольняется из истринского лесничества и отправляется в Карелию. И если подмосковное Бужарово было репетицией, то Карелия — настоящим бегством.

Судя по многочисленным упоминаниям в текстах и довольно скупым — в разговоре (в первый раз он вообще пропустил карельский сезон, и мне пришлось добираться до него специально, вытягивать, как клещами), Карелия — это территория, связанная прежде всего с женой, потерянный рай, еще не испорченный бытом, рутиной, заботами о детях и посторонними увлечениями, главное семейное воспоминание. Уехал он туда при этом странным образом без жены, причем едва ли не сразу после свадьбы, молодоженом, неожиданно бросив ее. Трудно сказать, что там происходило и даже почему именно туда. «Когда я сидел в Бужарово на печке, как кот, справа у меня был Newsweek, а слева — большой том Пушкина, издания 38-го года. Там была литературоведческая статья о предтечах Пушкина, в том числе о Федоре Глинке — „Дика Карелия, дика, / Косматый парус рыбака промчал меня по всем озерам“. Это настолько меня заворожило, что мне захотелось на этом косматом паруснике промчаться по карельским лазурным озерам, что я и сделал». —

«А нельзя было просто съездить?» — «А времени тогда еще не было. Было ощущение бесконечной жизни, в которую я ворвался. Освободившись от пут НИИ, КБ, я был целиком господином своей жизни».

Прибыв в Петрозаводск и наведя справки о вакансиях, он предоставил документы, свидетельствующие об опыте работы, после чего был принят на должность. Его деревня называлась Вохт-озеро и находилась в окрестностях не столько Петрозаводска, сколько Кондопоги (о которой после погромов 2006 года следует сказать — «та самая Кондопога») — города на берегу Онежского озера. От Кондопоги до деревни нужно было часа два трястись на автобусе по ужасной лесной дороге. В деревне жили русские карелы. Он снял комнату в избе у самой воды, хозяева жили через перегородку. Первое, что сделала хозяйка, — посадила его в лодку, они поехали смотреть сети, после чего наварили ухи.

Деревня была далеко от лесничества, и он шел туда через бесконечные леса, заброшенные деревни. Какие именно? «Такие фиолетовые». Также припоминаются «божественные места, белые ночи, зеркальные озера, гагары, зори, красоты, хождения». Впрочем, карельское лесничество отличалось от бужаровского не только эстетической, но и технической компонентой. Бужарово по сравнению с Вохт-озером было Детройтом: там был богатый совхоз, оснащенный такими механизмами, как трактора, щепкодралки, а здесь ему реально пришлось научиться пахать, восстанавливать лесосеки, братать лошадь; «я иду за плугом, из-под плуга песчаная земля, за мной идет лесник и развеивает семена сосны» — «тоже язычество такое».

Вообще, если Бужарово, осененное соседством Нового Иерусалима, было погружением в христианскую мистику, то Карелия — в «первобытный уклад», наполненный множеством «языческих моментов»: «переплываю озеро на лодке — на участок, с клеймом, по карте, — и вижу: банька стоит, и там на солнышке сидят старики, только что вышедшие — старуха и мужик, голые совершенно: парные такие, блаженные, старенькие, мослы, косточки торчат, зубов нет, глазки голубые, десны розовые, улыбаются, как два младенца — только по 80–90 лет, — и кланяются мне — поразительно».

Через 2–3 месяца к нему приезжает жена, и начинается тот «божественный период» — два молодых человека среди красоты, осиянные, потерянный рай: «Озерный песчаный край со слюдяными гранитами, красными ягодами клюквы, куда приехали они, поженившись». Они прожили там месяцев восемь.

О том, что происходило в этот период его жизни, можно

судить по лубкам. Горшенин в «Месте действия» рассказывает, как «он писал большую огненную акварель, себя и жену — не нынешних, а тех, что когда-то, казалось, совсем недавно, сидели за этим столом, удивленные своей близостью, возможностью встать и друг друга коснуться. Любил этих двух, исчезнувших, одевал в небывалые дорогие наряды, угощал золоченой рыбой, ставил перед ними огненно-зеленые чарки, и в окно, за их головами, по заросшей травою улице текло красное стадо, неся на рогах деревянный город, резные карнизы и ставни».

Он продолжал свои литературные эксперименты. Как сказано во «Времени полдень» о молодости писателя Растокина, «писал свои первые рассказы, разложив листы на влажных березовых плахах… Рассылал их в конвертах в редакции». «Россия в снегах и метелях смотрела ему в окно. Он писал свою книгу, и ему казалось, что огромная печь, полная раскаленных углей, дышит ему в самое сердце» («Иду в путь мой»). Жена рисовала — озера, леса, есть и один портрет его самого — сидит на чердаке, с керосиновой лампой, и пишет; вместо беличьих хвостов его развлекают черепа щук.

Через некоторое время они опять поехали в Карелию, но теперь уже на берег Белого моря, и прожили там все лето, там он все время писал, там была зачата их дочь Настасья. В соседнем домике жила пара их московских друзей — Константин Пчельников с женой Ксенией; но они уехали раньше, и Прохановы остались в полном одиночестве, на краю Северного Ледовитого океана.

Глава 6

Кровавый след радиометриста. Эротический удар в Туве. Приобретение сервиза для возлюбленной Есенина. Проникновение в царство слепых.

Автор обнаруживает следы деструктивной деятельности Проханова. «Инфернальный писатель Малеев» и его «метафизические».

Описание прогулок по Битцевскому парку с идеологом победы в Третьей мировой

Когда срок его добровольной ссылки стал приближаться к двум годам, он почувствовал: пора выходить из тени и капитализировать добытое «в лесах» знание. «В лесах — условно в лесах — я очень многому научился — тому, чего не умела Москва. Я научился петь песни, я научился писать о фольклоре, я страстно, мистически полюбил деревню и народность в целом. Я много прочел и успел полюбить и преодолеть Хемингуэя, Платонова, Набокова. (Трудно не обратить внимание на модернистский набор имен. — *Л. Д.*) У меня появилась лексика». В частности, слово «Текстильщики», название района на востоке Москвы, где они поселились в маленькой квартирке тещи. Это была бедная жизнь на дальней, без метро, окраине: выпивающие по праздникам и в получку соседи, вечно перекопанные дворы, окна на поля аэрации. Теща часто бывала дома, благо работала рядом, в библиотеке колхоза, на месте которого позже будет построен АЗЛК. Все это было неплохо, но не больно-то способствовало тому, чтобы начать настоящую писательскую карьеру: жена к тому же оказывается беременной, денег взять неоткуда, «теща смотрела глазами аспида» — и хорошо еще, что только смотрела.

Меньше всего на свете ему хочется возвращаться в НИИ, поэтому, чтобы заработать на хлеб, он пробует свои силы в разных сферах деятельности. Если прекрасные дилетанты 80-х будут щеголять девственно пустыми трудовыми книжками, то в послужном списке Проханова обнаруживается целая коллекция профессий, в том числе геолог, лесничий, лаборант на кафедре иностранной литературы, лыжный инструктор, поводырь слепых

и еще бог знает что.

Для начала — в понедельник, с утра пораньше — он устраивается лесником в Царицынский лесопарк, но не выдерживает там и недели: грубая физическая работа, слишком много начальства, отсутствие статуса романтического беглеца — и уже в пятницу понимает, что это не работа его мечты.

Каким-то образом, через знакомых Льва Лебедева по Новому Иерусалиму, он сводит знакомство с неким Перумовым, геологом, начальником экспедиции, тот как раз подбирал персонал для очередного проекта. После короткой аудиенции он является домой и сообщает жене, что уезжает на несколько месяцев в Туву работать радиометристом. Женщины были изумлены, но он твердо пообещал, что (дело было ранней весной) обязательно вернется осенью, и не с пустыми карманами.

Позже этот период, точнее, один полевой сезон, станет называться «моим участием в урановом проекте СССР»: с длинной палкой-трубой со счетчиком он шел вместе с геологами и замерял радиацию. «Я двигался таежными тропами, — вспоминает он в эссе „Катакомбы красной веры“, — среди изумрудных пахучих лиственниц и кричащих кукушек. В руках моих длинная труба радиометра, вынюхивает рыльцем породу, упирается то в малиновый цветок „Марьина коренья“, то в черный скользкий валун. Как слепец, держу перед собой зрячий посох, ведущий меня по уступам Саян. И вдруг среди красных песчаников стрелка начинает дрожать, циферблат зашкаливает, и я стою, пораженный, среди огненно-рыжих урановых руд, и солнце, мешаясь с радиацией, выжигает под закрытыми веками фиолетовый вензель».

В этой экспедиции, состоявшей из восьми человек, радиометрист был сбоку припека. Главной миссией геологов Перумова был поиск в верховьях Енисея известняков, гравия и песков для строительства Саяно-Шушенской ГЭС. (Позже Проханов посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, и она поразит его воображение; много раз в интервью он будет говорить, что Ленин — тут, а не в Мавзолее.) Человек с трубой прилагался к экспедиции на всякий случай — вдруг повезет: тогда был бум ядерной промышленности, и страна нуждалась в разведке запасов радиационных материалов. Проханову удалось убедить начальника экспедиции, что на эту должность лучше всего подойдет человек с инженерным образованием, интеллектуал. Телескопическая труба была похожа на зонтик с кривой ручкой; сверху был резиновый набалдашник, на который даже можно было опираться при ходьбе, — и там же была выведена шкала. В обязанности радиометриста входило калибровать этот прибор.

Труба соединялась с радиометром, шкалой со стрелками, и если он чувствовал радиацию, то стрелка оживала. К чести Проханова надо сказать, что уже через пару дней мало кто умел обращаться с прибором лучше, чем он. Среди геологов ходили страшные истории о том, как за экспедиционными радиометристами тянулся кровавый след. Дело в том, что по просьбе этих специалистов пробивали шурфы сквозь сланцевые породы, а вынутый материал, после отбытия геологов, использовали крестьяне из соседних деревень, которые складывали из этих сланцев печи и готовили на них еду, пекли хлеб, лежали, спали — а те, фактически, были урановыми котлами, микрочернобылями. Разумеется, крестьяне не понимали, что умирают от рака крови, лейкемии. Двадцать с лишним лет спустя, в Чернобыле, пробираясь под взорвавшимся реактором, он припомнит эти сланцевые печки и убитых крестьян.

Несколько раз трубка оживала: обычно она реагировала на ураносодержащие сланцы песчаники красного или оранжевого цвета; это были «радиационные поля». При малейшем признаке урановых залеганий полагалось бить шурф — узнавать, насколько глубоко; ничего крупного они не нашли, но даже и не имевшие промышленного значения месторождения фиксировались на карте.

В Туве он научился правильно ходить по горам. Что значит «правильно»? «Ну как — по горам, по долам ходит шуба да кафтан. Это трудная работа. Когда идешь по склону, устаешь ужасно, а там всякие тропки, козьи тропки, и когда устаешь, входишь во искушение наступить на ту тропку, которая ведет вниз. Это главный искус. Утомленные геологи, идущие в горах, должны не дать себе слабину наступить на тропку, которая ведет вниз — потому что ты начинаешь терять высоту. А потом опять придется вверх карабкаться, и будет только хуже. Нужно не искушаться на эту тропу, а пилить-пилить вверх. Вот этот навык странный, но для геологов аксиоматический». Соблазнительно заметить, что Проханов применял этот навык на протяжении всей жизни во всей своей карьере, но от такого рода заявлений отдает не то некрологом, не то школьной дидактикой, так что просто зафиксируем это его знание.

Вообще-то это была работа «не бей лежачего», которая понравилась ему даже больше лесничества. Освоив трубу, он ловил бабочек, цеплял метафоры, цифровал в воображении ландшафты и пейзажи: «божественная нетронутая природа». Южная Сибирь, и Тува в частности, давно занимала его воображение, еще с детства, когда у своего друга Витьки (который хотел его убить) он увидел коллекцию треугольных, с надписями

по-монгольски, тувинских марок, выпущенных еще когда Тува была независимой республикой. Марки, на которых были нарисованы виды лесных животных и рыб, «говорили, что существуют необитаемые земли, божественная природа, горы, и они взвинтили меня».

> «Я видел, например, как начинается ледоход на Енисее. Я заснул в лагере, на берегу, в геологической палатке, среди холодной ледяной реки, и проснулся от космического звона и грома. Когда встало солнце, я увидел, как пошли льды, а во льдах дороги, вморожены сорванный баркас, павшие дерева. Все это грохочет, свистит, летают селезни, одуревшие от звона. Я вылез из палатки и испытывал грандиозное восхищение от этих могучих сил, частью которых являюсь я сам».
>
> «Или, например, я слышал, как стенают и говорят камни. Палатка была разбита у подножия горы Хайракан. За ночь гора остыла, а на рассвете первые лучи солнца стали вторгаться в камни, в граниты, в пещеры, тепло проникало в твердь, и начиналось: стон, шелест, потрескивание, гора стала шевелиться, петь, мычать. Это поразительное состояние, космическое деяние, когда энергия светил, лучезарная, аполлоническая, вторгалась в мертвую землю, в неодушевленные темные материи, и эти материи просыпались, оживали, кристаллы начинали сверкать, переливаться».

В Туве же при нем произошел впечатляющий эпизод, который он запомнил и отныне будет описывать всю жизнь, встраивая его в разные контексты: в рассказы, в «600 лет», в «Надпись». Это история про табун лошадей, якобы заболевших сапом; начальство, узнав об эпидемии, приказывает уничтожить животных; известие о том, что диагноз ошибочен, пришло слишком поздно, его расстреляли понапрасну; странная история про абсурд и жестокость мира припомнится ему в 1991 году, когда внезапно рухнувшая страна покажется ему чьей-то ошибкой, нечаянно, несправедливо, вместо кого-то другого уничтоженным табуном.

Тува запомнилась ему еще одним странным случаем: с ним произошел «мощнейший эротический удар». Их экспедиция выехала на горное плато, рядом с Енисеем, а с другой стороны, на расстоянии примерно километра, стоял такой же, как у них, небольшой грузовичок, тоже, по-видимому, принадлежавший

геофизической экспедиции. Оттуда вышли двое, одна из них женщина. «Я не мог различить ее лица, только выцветшее желтовато-розово-красного цвета платье, и вот на расстоянии километра я испытал эротический удар. Было такое ощущение, что все пространство воздуха, отделявшее меня от нее, стало колебаться, стало стеклянным, потом вскипело, и затем мое желание пробежало туда волной, отразилось и потом вернулось ко мне обратно. Я стал как лазер, ко мне спустился луч и я получил обратный ответ».

Этот эпизод интересен, потому что в текстах Проханова герои то и дело падают в подобные странные обмороки, которые обычно регистрируются со всей возможной тщательностью и вызывают у читателей законное раздражение. Что он сам думает об этом фантасмагорическом событии?

> «Я даже думаю, что, может, это восходит к непорочному зачатию. Без иронии. Сейчас генная инженерия говорит, что можно воздействовать на клетку и заставить мутировать ее в заданном направлении. Это могла быть гигантская энергетическая посылка, оплодотворение яйцеклетки без реального сперматозоида, через воздействие на ген — я говорю неграмотно».
>
> «Может, то, что я пережил, и было таким примитивным вариантом непорочного зачатия, соития во сне. Есть такой странный образ неземного чувства, неземной эротики. Человек получает из другого времени массу всяких намеков, знаков, предложений откликнуться, и большинство из них так и остаются без отклика. Он не принимает эти знаки, проходит мимо них. Видимо, только редкие гении, которые сами не от мира сего, которые сами были зачаты непорочно, в состоянии освоить эти знаки, откликнуться. Большинство людей их фиксирует, но это пугает, потому что осваивать их — жизни мало одной, людям надо деньги зарабатывать, воевать, воровать. Может быть, сладость писания как раз в возможности осваивать эти моменты».
>
> «Я полагаю, что русская проза очень нравственна, религиозна или философична; мне кажется, что это оттого, что русский художник, а может, и все остальные, про русских точно знаю, откликается. Эти знаки, которые посылает ему судьба, которые он получает из облаков, из дождей, из женских лиц, из сновидений, странных, слез

> беспричинных, он каким-то образом фиксирует и пытается развернуть в бытописании, через отношения между людьми, между страной и небом, жизнью и смертью; развернуть метафизическую красоту в прозу. Бунинская проза вся на этом основана». Не столько бунинская, конечно, сколько прохановская. Видел ли он потом когда-нибудь эту женщину? Нет. Но был «потрясен ее способностью выделять такие грандиозные энергии».

Из Тувы, осенью там кончился геологоразведочный сезон, он привез множество впечатлений, и некоторые уже были упакованы в короткие рассказцы — про зэков, про белую меловую гору Хайракан, которую потом растащили на цемент. Рассказы эти нравились друзьям — но тексты эти практически неизвестны, опыт тувинский нигде не фигурирует. В этом виноват Финк.

Виктор Григорьевич Финк прожил долгую разнообразную жизнь и к 75 годам не подозревал, что в истории литературы ему суждено остаться в качестве человека, сыгравшего значительную роль в судьбе Проханова. Перед Первой мировой он ушел волонтером во французскую армию и записался в Иностранный легион, где и проявил себя мужественным бойцом. Перед революцией вернулся в Россию, вступил в партию. В 1935 году он сочинил роман про Иностранный легион и свои подвиги во время войны. Кроме того, он издал ряд юмористических очерков о быте евреев «Евреи на Земле». В общем, это был не какой-то кабинетный писателишка, а видавший виды баталист, но при этом интеллектуал, голова. Для Проханова Финк был «экспертом», которого ему нашли знакомые, чтобы тот смог оценить его рассказы не по-дилетантски, а по гамбургскому счету. Проханову интересно было узнать компетентное мнение, и, кроме того, чтобы начать печататься, нужна же была чья-то рекомендация.

Страшно волнуясь перед встречей с патентованным писателем, молодой автор, неделю назад передавший ему кипу рассказов, тщательно отобранных, в основном свежих, тувинских, явился к нему на прием. Финк добросовестно прочел все — и вынес следующий вердикт: «Строгайте доски. Работайте молотком. Воюйте. Но НИКОГДА не беритесь за перо. Забудьте это дело. Вы безнадежны. Во всей этой куче рассказов есть лишь один, в котором есть какая-то искра, — „Зеленый лоскут жизнь“. Все остальное никуда не годится».

> «Для меня это, конечно, было потрясение. Когда писателю говорят, что он бездарность, затрагивается не какая-нибудь черта его характера: удар попадает в самое

ядро личности, в сущность. Это так же, видимо, как ревность, когда тебя отвергает женщина: она отвергает какую-то твою онтологическую сущность, твою божественную природу. И так же, когда тебе говорят, что ты бездарь: ты посягаешь на творчество, пытаешься уподобиться Богу, а ты просто ничтожество — это сотрясает все основы. Люди должны стреляться и вешаться после этого. Я пришел домой потрясенный, помню, прошел в комнату: жена, постель, дети в колыбели, на стене висит большой лист морской водоросли-капусты под стеклом. И я был во тьме, во мраке. Жена уже заснула, я сел за стол и написал, может быть, один из лучших своих рассказов того времени „Табун“ — про ошибочно расстрелянный табун лошадей. Наутро я встал изможденный, но уцелевший, жилец. Я выжил в катастрофе. Для меня это был важный рубеж, не менее важный, чем явление, скажем, ангела или вид убитого на войне человека впервые. Я в себе победил очень многое. Я записываю это себе в большой актив. В эту страшную ночь, вместо того чтобы погибнуть, я нашел в себе силы выжить, написав этот рассказ. Я победил в себе пораженца, победил Финка».

Прохановские рассказы не свели старика в могилу — Финк прожил до 1972 года. Встречались ли они впоследствии? Нет, но он очень ему благодарен «за этот страшный удар, потому что этим ударом я испытал себя на прочность». «Финковские» рассказы он сжег.

Надо было опять искать работу. По чьей-то рекомендации Проханов устраивается на еще более странную должность, лаборантом на кафедру иностранной литературы в Литинститут им. Горького. Единственным объяснением этого озадачивающего поступка может быть то, что он ищет подступы к литературе, точнее, к печатным органам, раз уж у него довольно много написано, кроме того, его посещает «шальная мысль» о том, что ему следует «изучать литературную среду». Не исключено, он лелеет мысль о том, что, местоблюститель Платонова по линии языка, он заменяет его и буквально, раз уж тот в свое время работал здесь дворником.

Он действительно сразу же окунается в литературно насыщенную среду. Кафедру возглавляла Валентина Дынник — которой, по слухам, Есенин посвятил свое «Письмо к женщине» («Вы помните, вы все, конечно, помните») — знатная, если верить мемуаристам, очаровательница в 20-е годы, а теперь уже

пожилая, дородная, величественная, с большой прической («видимо, шиньон был»). В список обязанностей лаборанта входило выполнять мелкие поручения этой матроны, заблаговременно приобретать чайные принадлежности, расставлять перед заседанием кафедры чашки и наливать кипяток из самовара; однажды ему дали деньги и доверили приобрести для кафедры сервиз. Еще что-нибудь? «Да пожалуй что нет. Я должен был готовить заседание кафедры, звонить педагогам, раскладывать бумажки».

Надо сказать, он отдавал себе отчет, что это не самая подходящая работа для взрослого мужчины. Однако ж, «это было славное время. Оно было славно своей нелепостью». Особенно доходным оно не было, но он не скучал — «там было много студентов, учащихся высших литературных курсов, других лаборантов, хорошенькие женщины, все флиртовали непрерывно с ними, я помогал им на английский что-то переводить», так что «литературная жизнь прошла мимо меня». Мог ли лаборант Литинститута проникнуть, например, в ЦДЛ? Нет. «Я был таким половым. Только его называли не половым, а лаборантом».

Там он прокантовался до следующего летнего сезона, с небольшим отпуском — когда пробовал свои силы в туристическом бизнесе. Однажды к нему в гости заявился отец Лев, по обыкновению, не один: «вокруг него вечно роились люди самые разные, он был очаровательный, притягательный, к тому же пьяница». Второй гость, оказавшийся туринструктором, поразил Проханова тем, что все время говорил о смерти. «Это очень важно, когда человек постоянно думает о смерти. Я тоже все время думал, но никогда не говорил об этом открыто». Из танатальных монологов гостя Проханову удалось понять, что тот водит молодежные туристические караваны в Хибины, на Кольском полуострове. Это его заинтересовало: он и сам был недурным лыжником, много проходил в лесничестве, умел ориентироваться. Поэтому, когда тот сообщил, что ищет себе помощника, тут же предложил свои услуги, и тот согласился.

На вокзале он впервые увидел клиентов: школьников 8–9 класса, среди которых было множество красивых девочек. На поезде «Москва — Мурманск» они доехали до северных белозерских тундр и полярной ночью сошли на маленькой станции, у поселка, где жили лопари. Там в этот момент бушевал фольклорный праздник, в том числе оленьи бега, участие в которых было пунктом программы. В небесах сверкали полярные сияния, ощущения были самые фантастические. Ночевали в школе, в спальных мешках, в спортзале.

Утром, когда рассвело, отряд встал на лыжню и отправился в

трехдневный поход. «Это был удивительный рейд. Скажем, едем по сверкающей снежней равнине, видим стойбище, и там местный туземец, лопарь, свежует пойманную россомаху, держит зверя, вспарывает шкуру, красное тело, падающая кровь, туша болтается в руках». Инструктор знал, каким темпом надо ехать, и к ночи — изнуренные и голодные — они приезжали в маленькую избушечку, которую поставили рыбаки. Там был разведен огонь; они отогрелись и улеглись прямо на полу. Проханову не спится: его удивило, что инструктор, «этот думающий о смерти человек взял к себе в спальный мешок молодую девочку — видимо, они были уже возлюбленными. Такая целомудренная поездка, а он…»

На второй день ночевать следовало прямо на снегу — на лапнике, в палатках, без печки. Проснувшись, они плотно завтракают и приступают к самой сложной части путешествия — перевалу Хибин, из-за которого его, собственно, и взяли. Двигаться в гору тяжело — расщелины, каменные отроги — детям надо было помогать, все время возвращаться, поддерживать. Когда, наконец, они, после ужасных мучений, достигли перевала, на вершине он впервые видит горный закат, «цветомузыку гор», которую потом часто придется наблюдать в Афганистане. «Абсолютное упоение, мир цветов, как на дискотеках бывает: малиновые, изумрудные, каждая вершина загорается своим цветом, на каждой сидит свой ангел цвета — и надо спускать вниз».

Насладившись закатом, школьники устремляются вниз, туда, где их ждет огонь, бивак. И тут случается самое страшное. Спускаться приходилось по довольно крутым склонам, лед присыпан снегом, а лыжи-то у них не горные, и поэтому в какой-то момент, когда кто-то не смог притормозить и врезался в группу, весь отряд покатился вниз, набирая на льду огромную скорость. На такой скорости надо заваливаться на бок, но страшно — и поэтому многие падали не там, где могли, а при столкновении с каким-либо препятствием — камнем, как правило, которые торчали там из снега, «как зубы дракона». Он летел и понимал, что пришел ужас, будут убитые и раненые, сотрясения, переломы и вывихи. При падении он слышит треск сломавшихся лыж.

Им повезло: они отделались синяками, сломались только лыжи. Кому-то дали запасные, но ему, например, не хватило, а надо было двигаться дальше. Заполярье, голая тундра. Он бредет так, проваливаясь в снег по пояс, потеет от усилий, тут же покрывается ледяным панцирем — мороз усиливается к ночи — и понимает, что сейчас умрет. Единственное, что его держит на ногах, — то, что он знает, что от него зависят несколько детей,

которые выносят все то же самое. «И в этой страшной тьме мы прошли вниз кусок этот горный — и вдруг начались первые елки. Там мы достали пилы двуручные, и я помню, как, полумертвый, а дети и подавно, пилю эти деревья. Пилили, валили, рубили сучья, ставили палатки, разводили спасительный огонь, залечивали ушибы, вывихи. Страшная была ночь, ночь смерти». Тут он понимает, почему инструктор так часто говорил об этом.

> «Согрелись, мне дали запасную лыжу, называлась „манюня“ почему-то. Раненые были отправлены коротким маршрутом, а мы двигались вниз. Ручьи текли. Была одна девочка, нравилась мне очень, девятиклассница, я бежал за ней следом и помню — шлепание лыж — и я настигал и бил своей лыжей по ее — такое странное соитие через эти снега, ужас, смерть».

В предисловии Трифонова написано, что Проханов водил караваны туристов в Хибины, но это преувеличение: он провел одну группу и решил, что на этом пора остановиться. «Сколько стоила ваша экскурсия?» — «Ну, на это нельзя было купить „Мерседес“, но зато можно было кормить семью».

Проханов имеет обыкновение описывать свою карьеру таким образом, будто он шагнул прямиком из карельских дебрей в редакцию «Литературки» на Цветном бульваре. На самом деле между «выходом из леса», который произошел, судя по всему, году в 1963–1964, и публикацией в ЛГ прошло 4 года. За это время он страстно, словно лосось на нерест, пробивается в литературу: завязывает знакомства, ищет протекций, пишет куда может — и жадно пьет материал, ищет свои темы. Нельзя сказать, чтобы это были скучные, «черновые» годы. Он провел их не то что просто весело — феерично.

Проханов имеет слабость козырять анекдотическими особенностями своей биографии. Спросите его: «Александр Андреевич, а где был напечатан ваш первый текст?» — и он непременно ответит вам вопросом: «А что, голубчик, умеете вы читать азбуку Брайля?» —?!! — «Дело в том, — чеканит он с шерлокхолмсовским высокомерием, — что мой первый рассказ был напечатан в альманахе общества слепых!»

В сущности, это правда, хотя и неполная.

Визит на Протопоповский, 9, где располагается библиотека ВОС, производит известное впечатление. Здесь царит мертвый штиль, но внутри него, как в стивенкинговском романе, зреет какая-то внутренняя тревога. Тут действительно читают слепые — кто-то гладит белые страницы, улавливая контуры шероховатостей бумаги, кто-то слушает «чтеца», заказанного на

определенное время; возникает ощущение, будто попал в один из эпизодов романа «Время полдень», где персонаж, оказывающийся в клубе слепых, видит «их освещенные, с черными ртами, сведенные судорогой лица… Их лбы и брови, под которыми вздрагивали мутные бельма, или зеркальная, отражающая свет пустота, или лазурная слезная синь стеклянных глаз, или глухая сжатая кожа стиснутых, сшитых век. Лица стариков со следами ожогов и шрамов, с черно-синей пороховой сыпью…»

На Протопоповском обнаруживается июньский номер журнала «Жизнь слепых» за 1964 год, где на полосах 41–42 напечатан оптимистичный и идеально уместный здесь рассказ «Красная птица», представляющий из себя диалог помирающего — слепого, понятное дело — деда, вырезающего ложки, и его малолетнего внука, который собирается стать лесником. Дед рассказывает легенду о птице валешник — «кто ее поймает, у того все желания исполняются». «Нет, дед, ты не умирай. Ты подожди, я вырасту, в город поеду — привезу тебе такие стеклянные очки, большие. Будешь все в них видеть». В конце автор — несомненно, хорошо знакомый с андрейплатоновскими литературными сказами и простодушно не испытывающий того, что называется «страх влияния», — обращает внимание читателя на печку, у которой греются герои, там бьется огонь, будто летают огромные красные птицы. Это и есть первый опубликованный рассказ Проханова.

На обложке — рабочий у штамповочного пресса, с подозрительно задранным вверх подбородком, пешеход с палкой и собакой, музыкант, шарящий по клавишам рояля. «Жизнь слепых» и в самом деле печаталась в двух версиях: точечно-выпуклым шрифтом (Брайля) и обычным, для слабовидящих и тех, кто мог позволить себе чтеца. Журнал был — и остается — органом Всесоюзного общества слепых; с 1969 года он называется «Наша жизнь». В 60-е это был типичный советский журнал великолепного в своей убогости дизайна, по формату похожий на старую «Юность», с пропагандистскими рубриками, фельетоном и непременным разделом «Юмор» — весь, кажется, состоящий из нелепостей. От обычного ежемесячника он отличается разве что многочисленными фото людей в очках с толстыми или черными стеклами.

Как его угораздило попасть в этот мир? Он написал небольшой рассказ, от которого не сохранилось даже названия, «возможно, он был навеян впечатлениями от Экзюпери» — «о слепом летчике-испытателе, который горел вместе с машиной, у него вытекли глаза, и потом ему почему-то казалось, что у него из глаз растут цветы». Непонятно было, куда можно было это

пристроить. Кто-то сказал ему, что существует специальный журнал — «Жизнь слепых». Редакция находилась в Домжуре, на Суворовском, работали там, в основном, слепые, которые, однако, были не настолько слепы, чтобы не разглядеть в этом рассказе «модернистские штучки». Ну а как же все-таки они это поняли? «Не помню, то ли я им прочел, то ли у них были чтецы».

Рассказ не приняли, но у них оказалась вакансия в техническом отделе, и, узнав о том, что Проханов по образованию инженер, они предложили ему работу. Он устроился на ставку штатного сотрудника отдела писем, разбирал почту, приводил корреспонденцию в божеский вид для публикации, вел переписку и при этом с удовольствием брался за редакционные задания, связанные с писательством, ездил в командировки, редакторствовал — «как везде в маленьких изданиях — числишься здесь, а делаешь все», обычная литературная поденщина.

Мастер на все руки, он дает в печать и очерки, и рассказы, и эссе, и публицистику. Вот «На Оке — ледоход» (1964, № 8), очерк о собирателе птиц, сопровожденный трогательным абзацем, набранным уже после имени автора. «От редакции: Пока очерк Проханова готовился к печати, мы узнали о том, что Дмитрий Никитич Демичев передал птиц в горклуб слепых. И теперь все могут наслаждаться пением пернатых солистов». Вот «Живые камни» (1964, № 10) — рассказ о слепом тувинском резчике камней по имени Базыроол, где автор экспериментирует с эпическим синтаксисом и ориентально-фольклорными интонациями. Вот «У крестьян Ярославщины» (1964, № 11), «Сказ о неизвестных героях» (1965, № 5), очерк «Весна на Владимирщине (Из блокнота журналиста)» (1965, № 8), помещенный в разделе «От края до края».

С каждым месяцем увеличивается количество подписанных его именем очерков о промышленных предприятиях. Запоминаются энергичная ода картонной коробке, очерк «Слесарь» (1966, № 11), забойный репортаж с фабрики «Печорский профиль» (1966, № 8) («Валяются обувь, веревки, мочало…» — автопародия на его будущие индустриальные романы). Он путешествует по каким-то странным отсекам советской техносферы: уже тогда понятно, что он склонен выпадать из интонационного норматива при столкновении с информацией об усилиях отдельных людей и коллективов.

Однажды его шеф, главный редактор Першин, повел его в Госплан — нынешнее здание Госдумы — на встречу с чиновником, курировавшим слепецкие дела (слепцы производили картонки, штепсели и розетки, которые также учитывались в

советской экономике и, соответственно, становились объектом интереса Госплана). Проханов уверяет, что чиновник сидел в том же кабинете, который сейчас занимает генерал Макашов. Как бы то ни было, главный редактор разговаривал с этим человеком в высшей степени комплиментарно. Проханов же, которому наскучило слушать про все это барахло, «что-то вякнул дико ироническое, не помню что, но оскорбившее чиновника. И эта обычная серая мышь, он получил возможность растоптать меня. И он наорал на меня, что я посягнул на государственные интересы. Я был страшно смущен и унижен, но зато впервые увидел перед собой государственника, который был реальной частью государственной машины. Я был оскорблен, но в глубине души потом страшно осуждал себя за эту нелепость. Огромный комбайн, сидят люди, планируют штемпели, розетки, вертолеты, экспансии, авианосцы, удары по Америке — это ведь все одно и то же, какая разница. И я, войдя в это святилище, позволил себе святотатство, кощунство. До сих пор вспоминаю без глума этого человека, смотрю на него как на представителя государства. Потом в жизни я встречал много апологетов, жертвенных, видимо, я сам такой. И вот так слепые познакомили меня не только с весенними сопками, Соловками, но и с государственной машиной».

Соловки? Оказывается, помимо писательства, разбора писем и редактуры, для человека, обладающего upward mobility, «Жизнь слепых» предоставляла и другие возможности. Проханов становится кем-то вроде поводыря: водит своих коллег по Москве, посещает ассамблеи слепых ветеранов («В невидящих глазницах пикировали самолеты, взрывались мосты, катился вопль рукопашной…»), свадьбы («Хохотали, гремели посудой. Щупали баб под столом. А слепые, жених и невеста, тихо, озаренно сидели»), ездит с ними в Киев, в Иркутск, на Соловки. Зачем они туда ездили? Например, целью одной из поездок 1966 года было посещение презентации нового дизайна грузинского журнала для слепых «Свет», в ходе которой он посетил свой родовой дом, заехал в Гори, музей Сталина и даже полазил по маршруту Мцыри. Всероссийское общество слепых имело филиалы и партнеров по всей стране: журнал ездил смотреть, как живут региональные слепые. По уверению Проханова, у слепых в ту пору было «целое царство», где был свой царь, председатель общества слепых, своя индустрия — мастерские, где производились штекеры, розетки, коробки, продукция не обкладывалась налогами, поэтому в их распоряжении оказывались суммы, достаточные, чтобы строить собственное жилье, пансионаты, «свои города». «Были деньги, люди были любознательные — надо

поездить». Так был очерчен первый его круг дальних путешествий по СССР и появился первый опыт трэвел-журналистики.

Почти во всех репортажах, которые вряд ли есть смысл перепечатывать в собрании сочинений, но для знатока обладающих ценностью подлинного раритета, — обнаруживается характерный стилистический диссонанс, особенно заметно проявляющийся в начале и конце текста. Так, увертюра может выглядеть следующим образом: «Мы говорим „коллектив“ и верим в его созидательную силу, в то, что лишь вместе труд коллектива и может обеспечить успех начинания». В коде, однако, автор оставляет в покое барабаны и принимается перебирать струны лиры: «Мы идем по хрустальному снегу, я слушаю негромкую речь директора, а над крышами изб ярко, на весь Гжель горят морозно стекла предприятия. Тихо искрится, скрипит снег у нас под ногами».

Среди очерков немалый процент занимают отчеты о встречах с незрячими — ветеранами войны, жертвами аварий или врожденно слепыми — часто мотивируемые неполиткорректно сформулированным желанием «воочию увидеть». Это была целая субкультура, в которую он и интегрировался, полулегально. (И не только он: чуть позже, в 1968-м, в «Жизнь слепых» ворвется Саша Соколов, который тоже станет печатать тут очерки о слепых аккордеонистах («Все цвета радуги») и моряках («Старый штурман») и даже получит в 1971 году премию за «лучший рассказ о слепых».) По-видимому, в ходе этих поездок Проханов становится другом и фактотумом главного редактора Виктора Першина: «Интересный мужик. Старше меня. Коммунистический догматик, но живой, свежий, полемизировали с ним постоянно». Першин ценил фронду своего сотрудника, который постепенно оказывал на него все большее влияние, становясь чем-то вроде спецкора при главреде. В журнале одна за другой появляются статьи, подписанные «Вик. Першин, А. Проханов». Почему они писали тексты в четыре руки? «А почему ряд статей, подписанных Зюгановым и мной, написана мной? Это продолжение практики „Жизни слепых“».

На протяжении своего четырехлетнего (!) романа со слепыми он вовсю сочиняет и печатает там свои рассказы про слепых («смехотворные», «конъюнктурные», скромно вспоминает он их), а затем получает первый собственно редакторско-менеджерский опыт. Это была «прекрасная пора, где было много очаровательных женщин». Тоже слепых? «Нет, не слепых. Мой друг Першин — чуть-чуть у него брезжил свет, но не различал контуров — влюбился в одну из своих сотрудниц. Спрашивал — как у нее ноги, грудь? Я был у него экспертом по всем вопросам. Идем с

ним среди цветущих сопок, где-то в Забайкалье, кукушки орут, и я ему рассказываю, что вижу».

Брейгель. «Слепые».

Они перемещались по какой-нибудь красивой местности, и ему приходилось информировать своих клиентов о наличии гор, цветов, деревьев, бурундуков, птиц. Любопытна даже не экстравагантность этого занятия, а тип речи, который ему пришлось освоить, чтобы компетентно осуществлять эту миссию: «быть глазами слепых». В какой-то момент, упиваясь успехом, он принимался фантазировать, погружая своих слепых подопечных в миры, которые не существовали. «Вон там я вижу гору, а на ней стоит странное таинственное дерево, напоминающее очертаниями огромную фею, вот я вижу, как солнце садится за нее, и она в лучах заката превращается в огромный гриб или хрусталь». «И поскольку они не видят цвета, то они, как опиум, как наркотик, слушают описание цветовых переливов. И слепые, это очень интересно, всегда говорят: „Я видел“ — подчеркивая, что они могут видеть, хотя у них полная тьма. И я все время играл в цвета. Переливы света, радуги; вот как кошки валерьянку нюхают, так они слушали мои рассказы о цветах». Я ловлю себя на мысли о том, что не прочь был бы на время ослепнуть, если бы поводырем у меня был Проханов; так дети хотят попасть под «скорую помощь».

Не оттуда ли его талант описывать, рисовать с натуры? «Наоборот, я использовал свой писательский талант для служения». Более того, «в каком-то смысле», говорит он мне, «я взял на себя миссию глаз человечества». В этих экспромтных, импровизационных репортажах, часто завиральных, — возможно, скрыт один из источников его «галлюцинаторного дискурса»; и

наверняка — его привычка к жадной описательности, ненасытной речистости, всеядности и цветастости. Он действительно часто разговаривает с читателем, как со слепым, — в том, что его первый рассказ напечатан брайлевским шрифтом, есть не только ирония, но и закономерность.

Каждодневное общение с людьми, чьи перцептивные возможности были ограничены, своего рода кастой неприкасаемых, разумеется, отражается на его психике, и в интервью он обычно — если доходит до этого дело — называет этот период в своей биографии «брейгелевским» (имея в виду не только сходство сюжета, но и, метафорически, «слепое человечество», «слепая Россия»; тут намечается и мотив «слепые, прозревающие благодаря художнику» — то есть истории о подлинной функции творца и, если зайти с другого бока, ощущение себя глазом человечества, то есть солнцем (солнце ведь, считается, глаз бога) и мессией). С другой стороны, после одного из сеансов воспоминаний он признался, что на самом деле на Брейгеля это похоже не было. «Люди, с которыми я общался, не были страшными уродливыми слепцами. Были инвалиды войны, музыканты. Особая популяция людей. Конечно, всегда существовало искушение интерпретировать их как инвалидов, а ведь есть и другая точка зрения — люди, побеждающие увечье, выходящие из несчастья. Это ведь была, по существу, постоянная борьба. И я льщу себя мыслью, что я помогал им выйти из их бед, я был для них и светочем, и зрачком, и носил в их среду те знания, которые были мне даны, поскольку я вращался в декадентской и полудиссидентской культуре и все время искушал и смущал Першина».

Автобиографии И. Проханова предпослан эпиграф из пророка Исайи: «И поведу слепых дорогой, которой они не знают…». Под этим же девизом орудовал и его внучатый племянник. Следы деструктивной деятельности молодого Проханова видны сразу: в 66-м году вместо благообразных силуэтов людей с палочками и собаками на обложки выплескивается откровенный дизайнерский брак — фольклорные коллажи из рушников, наложенные на фотографии, какие-то аппликации. Что до содержания, то к концу 1966-го «Жизнь слепых» больше похожа на вестник Бедлама, чем на орган организации инвалидов. Архитектор Пчельников обнародует здесь свои «футурологические открытия». Некие, явно впервые дорвавшиеся до зрителя художники клепают обложки, иллюстрируют статьи дикими виньетками, абстракционистскими «фольклорно-мистическими» рисунками (то были Василий Полевой и Николай Манулов, украинские художники-националисты, уставшие от бесплодной борьбы с властями за

право экспонироваться и теперь компенсирующие свое многолетнее воздержание). «Взрывная футурология, смешанная с языческими исканиями»: слепым было о чем поговорить. «Слепцы первые вкусили этой культуры».

Какой «этой»? Дело в том, что — не в последнюю очередь благодаря знакомству с художниками-националистами, с которыми он не только заседал на редколлегиях в «Жизни слепых», но и рядился в народные костюмы, пек в печи глиняные игрушки, делал из папье-маше маски Весны, Зимы, Смерти, а потом куролесил на непристойных языческих игрищах — жилплощадь прохановской тещи в Текстильщиках попадает на карту «потаенной», «подпольной», «эзотерической» Москвы. Головным офисом «катакомб» была знаменитая квартира в Южинском переулке, с которой незримыми тропинками были соединены десятки филиалов, образуя сеть из квартир, подвалов и мастерских, где все друг друга знали и, в силу неприязни к идее трудового заработка, беспрестанно кочевали с места на места. Проханов и сам не раз окунался в этот Гольфстрим и дрейфовал из одного кружка в другой. Все эти подземелья были абсолютно герметичными, но и всегда готовыми распахнуть люки для людей, исповедующих тот же символ веры. Вием этих подпольных ассамблей был писатель Мамлеев («извлекавший из неопрятных одежд залитые томатным соусом замусоленные тетради»), а в его свите сверкали такие черные бриллианты, как мистик Головин, поэт Сапгир, художник Зверев. В код поведения «южинской богемы» входило постоянно апеллировать к «потустороннему», обливаться холодным потом при одной мысли о присутствии агентов КГБ, вести себя демонстративно экзальтированно («скорее даже жрать что-то невидимое со смехом, чем просто смеяться»), исповедовать широкие взгляды на своевременное выполнение долговых обязательств и не слишком ограничивать свои сексуальные потребности. «Метафизические» (термин Ю. В. Мамлеева) набивались в микроскопические коммунальные помещения и, усевшись на головах друг у друга, выступали с докладами о славянских бесах, дискутировали об Атмане, Брахмане и Высшем Я, мурлыкали вслух самостоятельно переведенные ведические гимны, декламировали Рене Генона и Махабхарату в подлиннике, упражнялись в йоге по Рамачараке и прочих, более экстатических практиках. Один из этих джентльменов, по свидетельству художника М. Уральского, «находясь долго под воздействием философии Махаяны, изобрел <…> забавную конструкцию, представляющую собой особой формы колесо с приводом. В конструкцию эту, подвешенную на место люстры, к потолку, усаживали голенькую дамочку и

посредством компактного пульта управления любой желающий не только мог осуществить соединение своей особы с этой дамочкой, т. е. коитус, но еще одновременно и вращать ее вокруг себя наподобие некоего небесного тела. Называлась эта конструкция „астролябия Будды“». Колдовство, НЛО и левитация в этих «достоевских» квартирках были такими же обыденными темами для разговоров, как обсуждение погоды в английских чайных. Сеансы пифийствования, столоверчения и левитации предсказуемо сопровождались употреблением горячительных напитков и приводили к совсем уж диким ритуальным отправлениям: кликуши в лохмотьях целовали руки Мамлееву, ползали на коленках вокруг памятника Пушкину, тявкая при этом по-собачьи, пугали ночных прохожих, выряжаясь в самодельные маски. Истории в жанре кайдан рассказывались и про самого Мамлеева — шлягером была байка про то, как, когда некая далекая от идеи преодолеть в себе человеческое и погрузиться в Нигредо особа, изумившись увиденному, заметила Юрию Витальевичу, что он и мизинец на ее ноге недостоин поцеловать, тот бухнулся на колени и пополз к ее ноге, сладострастно пришептывая: «А вот и ошибаетесь, голубушка, — достоин, достоин!».

«А что до Мамлеева, — говорит один из свидетелей этих сессий художник Ситников, — то весь его сексуальный мистицизм и есть одни только мелкие жирные пальчики». «Инфернальный писатель Малеев» возникает в романе «Надпись» и даже зачитывает «свою восхитительную гадость, свою светоносную мерзость» — не свою, конечно, а прохановскую пародию: «Федор Федорович, отставной майор Советской Армии, и Леонида Леонидовна, бухгалтер мукомольного комбината, вскрыли заиндевелую дверь морга и остановились у оцинкованного стола, где под синей лампочкой, обнаженная, с выпуклым животом, лежала умершая роженица…» Не исключено, что этот выпад в сторону коллеги всего лишь симметричный ответ: почему бы не разглядеть Проханова в группе прототипов персонажей «Шатунов» или «Московского гамбита». Поездки на дачки, полеживания в травяных могилках, «признаю — хохочу!!!», «ой, петух!» — у профессионального поводыря слепых хватало любознательности и энергии участвовать во всех этих дикостях, так же, как позже плавать на авианосцах Пятой эскадры и летать над взорвавшимся реактором. Так ли уж удивительно, что мы застаем будущего «соловья Генштаба» за одним столом с мамлеевскими шатунами? «Я увлекался фольклором, а что такое фольклор? Это же демонология. Демоны, бесы, беси».

Впоследствии их пути, впрочем, расходятся — «потому что я

стал заниматься войной, государством, политикой, вещами позитивными, актуальными, такими, которые не предполагали подполье, а они все оставались там, хотя у многих из них была страшная потребность легализоваться, они тяготились своей обездоленностью, загнанностью, им хотелось войти в контекст».

В те же годы Проханов много времени проводит в обществе архитектора Константина Павловича Пчельникова — того самого, кто «обнародовал в „Жизни слепых“ свои открытия». К этой фигуре мы будем обращаться еще множество раз. Пчельников (1925–2001) был прохановской Луной, сообщающимся сосудом, братом-близнецом и кривым зеркалом. Он научил его употреблять пространства как наркотик, мыслить геополитическими категориями, восхищаться советской цивилизацией и собирать бабочек.

Сначала он познакомился с его женой, той самой Ксенией, из-за которой убивается Шмелев в романе «Надпись». Произошло это еще в псковские времена, на 2-м курсе; он увидел ее — красотку археологиню — у своей любимой часовенки Илюши Мокрого. Затем, уже в пору бужаровского анахоретствования, лишь изредка наведываясь в Москву ради пополнения запасов мяса, он встретил ее в Столешниковом, обратив внимание на ее умопомрачительные по тем временам красные колготки. Они узнали друг друга, и она рассказала ему про своего замечательного мужа, который был ни много ни мало — футурологом, хотя имел диплом архитектора.

Пчельников строил сталинскую высотку в Варшаве, стадион в Джакарте, президентскую резиденцию в Гвинее («чуть ли не для людоеда Бокассы», утверждает Проханов). По возвращении в Союз его карьера пошла под уклон. Он поставил одно здание в Москве, в Измайлово, одно в Ярославле и одно — музей — в Палехе; официальная критика громила эти здания из всех орудий. В 1965-м он предлагает футуристический проект концептуальной застройки района «Застава Ильича», бумажный проект которого, сделавший честь страницам «Жизни слепых», отдаленно напоминает нынешний даунтаун в Шанхае, но реализовать эти фантазии ему не позволили, мотивировав отказ идеологическими соображениями, а по сути, наверное, от бедности: у СССР не было на это денег. «Возвратясь из странствий, я увидел, что в стране окончательно победившего социализма архитектуре больше нет места», — вспоминает Пчельников в интервью газете «Завтра». Строить «коробки» — «вульгарную урбанистическую инфраструктуру» — ему не хотелось, и он начал придумывать космические полисы, надувные города и города-дирижабли.

Уже понятно было, что в центре Москвы ему вряд ли что-

нибудь дадут построить, и поэтому они вместе с Прохановым часто бродили по окраинам, выбирая место для «проекта». Пчельников разглагольствовал. Идеолог победы в Третьей мировой, он уже тогда приучал своего друга мыслить категориями империи. Реализовав промышленный потенциал, скопив нефтедоллары и мобилизовав — с помощью власти, под началом Вождя-Ваятеля — распыленные человеческие ресурсы, мы должны были поставить Запад на колени. Тот, изнуренный гонкой вооружений, должен был заявить о готовности участвовать в советском Суперпроекте. Страна станет единым целым, «где купола соборов, поместья и крылатые ракеты связаны узлами».

В чем, собственно, предполагалось, должен был состоять «Суперпроект»? Русское будущее связывалось с понятием Империи-чаши. Евразия представлялась Пчельникову вогнутой линзой, титанической чашей, ограниченной по краям горными цепями — Пиренеями, Балканами, Карпатами, Кавказом, Тянь-Шанем, Гималаями и Тибетом. Когда восточные славяне заселили дно, центр чаши, и организовали круглое пространство с центром в Москве, получился магический круг, Священное Колесо, внутри которого заключено до 70 % всех природных ресурсов Земли. Российская, а потом Советская, империя — великий проект синтеза пространств. Планетарный узел коммуникаций, трассированных еще во времена неолита, будет проходить через Россию — надо лишь создать новую систему этих коммуникаций — от Португалии до Москвы, а через нее, сквозь всю Сибирь — к Берингову проливу. Через пролив перебрасывается титанический мост, и возникает сверкающий мегаполис, Берингоград. От Оси Мира меридиальные магистрали пойдут к Африке, Индии, Китаю. Стеречь эту ось должен стальной и грозный гигант — наша стабильная империя-чаша. Важно, что Россия, в отличие от острова Америки, представляет собой сухопутную цивилизацию, а не морскую. Потому что в морской есть только 2 пункта — «порт — порт», а в сухопутной — множество точек, дорога и культура дороги. Создав новую сеть мировых дорог, мы спровоцируем падение роли Персидского и Ормузского проливов, Суэцкого канала и Сингапура (неудобные и опасные морские пути должны были «усохнуть»), обретя огромные богатства и мировое лидерство. Заметьте, все это Проханов прочел вовсе не в газете «Завтра» в 2006 году, а услышал в середине 60-х; неудивительно, что когда в конце 80-х к нему явится молодой Дугин со своими евразийскими фанабериями, то принят он будет с распростертыми объятиями.

В Битцевском парке, там, где сейчас догнивают странные заброшенные олимпийские сооружения и где обитала

пелевинская лиса-оборотень А Хули, Пчельников указал Проханову место, где, по его мнению, должен был быть выстроен «Артполис» — центральная точка «коммуникационного ложа» Великой Чаши — в форме расколотой на две половины восьмигранной пирамиды, в плане образующей 8-лучевую арийскую звезду (отмежевавшись таким образом от шестиконечной звезды, символики иудейско-протестантской цивилизации). Через эту горловину, где сосредоточатся банки, биржи, офисы фирм и информагентств, пункты космической связи, будет происходить обмен культурными и технологическими ценностями, под контролем Православного народа. Пока что следовало овладевать искусством коммуникации, манипулирования пространствами. Поставить на службу современные финансовые бизнес-технологии, вовлекать в освоение богатств Чаши и реализацию титанических проектов капиталы всего мира[2].

Артполис был одновременно «инструмент и полигон постепенной рекультивации распавшейся державы»: с его помощью Россия должна была «реинтегрироваться в глобальный процесс».

Удивительно, до чего прохановский мир 60-х, вся эта «отчасти шизофреническая среда» в диапазоне от Мамлеева до Пчельникова, не была похожа, например, на ту каноническую, что описывают Вайль и Генис в своих «60-х»; если прислушаться к свидетельствам Проханова, выяснится, что зачерпывают культурологи очень неглубоко. По «вайле-генисовской», да и по официально-советской версии, существовало всего три направления, в которых мог реализоваться художник того времени. Советско-нормативный вариант (Проскурин, Карпов, Бушин). Либерально-новомирский (Трифонов, Маканин, Искандер). Деревенско-народнический (Распутин, Солоухин, Белов). В действительности, под советским куполом функционировали «не три, а триста направлений». Трифоновский либерализм не вмещал в себя мамлеевской бесовщины, а распутинское народничество — мистический фашизм. Неужели в 70-х можно было употребить слово «фашизм»? «Фашизм это и есть такая мистическая народность, это проникновение в мистический дремучий древний пранарод, мистика народа». «Там, в этом времени, были все штаммы, все бациллы сегодняшних эпидемий. И поскольку они были в концентрированном, лабораторном виде, их можно было исследовать, рассматривать, и они были драгоценны. А вот в виде эпидемии — после перестройки — они уже во многом были неинтересны, скучны, банальны и отвратительны. А там они были

почти безобидны, такие кристаллы вирусов — фашизма вирус, русского национализма, вирус еврейского национализма, вирус этого вот андроповского реформизма, предвестники перестройки, молодые эти Арбатовы, Примаковы — все это тогда было… Это была мутация, охватившая все общество».

Проханов был одним из тех людей, которые застали эти вирусы еще в 60-е, в подпольных кружках, и именно поэтому он не будет обольщен в 90-е, когда штаммы разовьются в эпидемии.

Из-за художников слепые с более консервативными эстетическими вкусами закатывают Першину скандал за скандалом, и в 1967-м, слава богу, заставляют мятежного редактора вернуться к конформистскому и унифицированному варианту обложек. После провала фронды ему удается протянуть не более полугода, это уже не поломка, а авария, как выражалась в таких случаях советская критика; уже летом его вынуждают уйти по собственному. Вместе с Першиным, осенью, покидает журнал и его серый кардинал — но никоим образом не страдает от дефицита работы.

1967-й был годом активного трассирования доступного ему медиа-пространства; он едва успевает обегать кассы редакций с тем, чтобы забрать гонорары. В «Жизни слепых» в феврале напечатан очерк «Дерево жизни», о псковском отделении ВОС. В марте — «Работает техотдел». («Наше предприятие изменилось неузнаваемо…».) В апреле — «Вести счет деньгам» (в этот момент он довольно основательно окапывается в рубрике «Трибуна конкретной экономики», с каковой трибуны произносит довольно абстрактные проповеди). В мае — очерк «Директор», о руководителе картонажного предприятия, где ударными темпами клеят коробки. В июне — очерк про слепого учителя «Синяя чаша ветра» (с «декадентскими» — чтобы не сказать «игорьсеверянинскими» — фразами типа «Автобус, хрустально брызнув в ночь фарами, укатил», «Сосновый бор кипел на ветру»).

Читаем «Сельскую молодежь». В марте — очерк о доярках «Никто кроме нас». В июне — деревенский очерк «Заглядывая за горизонт», репортаж из совхоза «Березовский» Воронежской области, Рамонского района. В октябре — рассказ «Будьте здоровы, Степанида Петровна», открывающийся бескомпромиссной фразой «Степанида Петровна резала свинью». В декабре — «За лазоревым цветом» — отчет о поездке в Мордовию, в деревню Ямщина, к пимокатам, изготавливающим из мелкочесаной овечьей шерсти валенки, в частности беседа с вальщиком Николаем Степановичем Жестковым.

«Кругозор»: в мае — очерк «Плеховские песни» про пятерых

старух, сформировавших народный хор в селе Плехово Курской области: («Даниловна, с которой начнем?» — «А с которой хошь, Тимофеевна?» — «Ну, „Ветры-ветерочки“ тогда»). Октябрь — эссе «Народное русское» о народных хорах казаков из Забайкалья и колхозниц из села Афанасьевка Белгородской области. Ноябрь — очерк «Балалайка» о композиторе и виртуозе-исполнителе Виталии Белецком.

«Литературная Россия». Апрель — рассказ «Тимофей» (А не странно, что «Тимофей», рассказ про слепого косца, был напечатан не в профильной «Жизни слепых»? «По-видимому, — объясняет Проханов отказ слепцов печатать новеллу, — есть какая-то корпоративная внутренняя ограниченность, не позволяющая принимать явления более сложного уровня, переросшие поэтический канон корпорации. Когда корпоративный вития перерастает рамки, он должен уйти, чтобы не угрожать безопасности корпорации». Точно так же сорок лет спустя Куняев не возьмет в «Наш современник» его «галлюцинаторный» «Господин Гексоген».) Август — очерк «Зори над лесом». Октябрь — рассказ-репортаж «Свадьба», из колхоза «Россия», села Дьяконово Курской области.

Более скрупулезному биографу следовало бы обшарить еще и подшивки «Семьи и школы» и «Смены». Но и без этих исследований видно: бегать ему приходилось как угорелому.

Несмотря на вялые протесты тещи, Прохановы жили открытым домом, куда глава семьи нередко прибывал в сопровождении коллектива единомышленников. Сюда часто заглядывали украинские художники, отец Лев, Пчельников, Мамлеев. Приобреталась нехитрая снедь: бутылка водки, квашеная капуста, соленые огурцы, варилась картошка (Личутин настаивает на «убогой трапезе»). Хозяин демонстрировал разноцветный шелковый казацкий костюм, привезенный из Ставрополья, где он встречался с казаками-некрасовцами. После обсуждений фасона завязывался спор об истоках славянства, мистике православия, который, по мере подачи горячительного, разгорался и становился все интенсивнее; в нем можно было оттачивать риторику, пафос, остроумие. Рано или поздно все дебаты сводились к разговорам об империи, хозяин вставал за нее горой, украинцы поносили, утверждая, что их народ задавлен этим молохом. Здесь практиковалась квазинаучная терминология, пытаясь аргументировать свои постулаты, оппоненты то и дело обращались к трудам Костомарова, Соловьева, Ключевского — или, наоборот, сбивались на совершенно казарменную лексику. Когда в беседе особенно часто начинали возникать термины «бендеровцы» и «москали», вмешивалась хозяйка и предлагала

спеть что-нибудь.

«Ах, Арбат», «A Taste of Honey» и «Лыжи у печки»? Определенно нет. «Меня всегда это возмущало, — говорит он о кухонном репертуаре технической интеллигенции, — как караоке: не ты сочинил, а Окуджава, Галич, а этот воспроизводит, с использованием их интонаций, с переливами. Это такое статусное присвоение этой музыки, попытка почувствовать себя причастными к этой субкультуре, к этой фронде». Домашний хор функционировал не только в селе Плехово Курской области, но и в квартире у Прохановых, так же, как и их коллеги, они специализировались на народных песнях — хлеборобных, военных, свадебных, «Соловей кукушечку уговаривал» (волжская, времен покорения Казани), «Гусарик» (двенадцатый год), «А после Покрова на первой недели». Поощрялись и песни на украинском. Пение в домашнем хоре, по мнению Проханова, отличается от салонного музицирования, «как атомная энергия от фонарика».

Когда я максимально дипломатично высказываю свое удивление по поводу такого странного на сегодняшний взгляд досуга, как домашнее хоровое пение, Проханов проницательно замечает: «— А вы, Лева, филологический человек[3]. Мы же были не филологами. Мы были все самоучки. Мы до этой филологии народной дошли сами. Была страсть, все мы были выброшены каждый из своей ладьи, порвали со своим недавним прошлым, причем мы все были людьми антисистемы и, живя в этом системном мире, были абсолютно наивны, мы компенсировали разрыв системы своей страстью, своей игрой и своей катакомбной такой общностью. Мы все увлекались одним и тем же. Мы согревали свою пещеру вот этой красотой — вязанками дров, которые мы приносили туда».

Проханов настаивает, что собирательство песен было не просто увлечением на выходные: «я занимался этим с той же интенсивностью, как потом атомной энергетикой». Это видно хотя бы по подписям под его журнальными текстами 60-х годов: если составить на их основе схему его перемещений по советским провинциям, то, по крайней мере, вся западная часть СССР покроется мелкоячеистой сетью.

Памятуя о затруднениях, с которыми — верно подмечено, филолог — я сталкивался в университетских фольклорных экспедициях, я осведомляюсь, как именно, в техническом плане, происходил сбор песен: вот вы приходите в деревню — и? «Я беру командировку от какого-нибудь, например, „Кругозора“, и с этой командировкой прихожу в обком или в райком, представляюсь столичным журналистом, а в райкоме столичный журналист — персона. Я объясняю свою цель, говорю, что хочу побывать в

такой-то деревне, описать игрушку, которую там делают, промыслы, нельзя ли? Мне дают машину, газик, и шофера — и загоняют в эту деревню. Либо они сами помогают мне стать на постой, либо просто довозят до деревни, а я спрашиваю, где здесь можно переночевать, может, где-то там одинокая женщина или пустой дом. И я туда набиваюсь, живо делаю свое журналистское дело, не песенное: либо об игрушках, либо о каком-нибудь комбайнере. А глухие деревни в ту пору все пели. В каждой деревне всегда была своя таинственность, странность. Если это был приход, там можно было поговорить с батюшкой, узнать, о чем в приходе толкуют, послушать церковные, но не канонические песнопения. Поскольку я был молодой человек, москвич, ваших лет, — им это льстило. Когда я приходил на службу церковную, ко мне подходила бедная женщина, клала в руку мне металлический рубль… Меня это страшно удивляло — зачем? А это — уважение: „Ты молодой, пришел в храм. Мы тебя принимаем и благодарим, руку тебе золотим… и вот таким образом я знакомился с ними, и они пели мне свои песни“».

Какие же? Проханов утверждает, что «этих песен вы никогда не слыхали». «Их не пел ни Северный хор, ни хор Пятницкого. Это такие дремучие, угрюмые песни, которые странным образом попались в мой невод в смоленских деревнях». Ему известны «уникальные песни XVI века» — времен покорения Казани, начала Смутного времени, «большинство из которых не найдешь ни у Даля, ни в сборниках Киреевского». Также — религиозные песни хлыстов, «северные — с такой мистикой смерти». (— Не припомните чего-нибудь? — Пожалуйста, колыбельная: «Бай-бай, хоть сейчас помирай. Мамка саван сошьет из сырого холста, папка гробик собьет из тесовых досок».) Как он фиксировал мелодии? В основном по памяти, нотной грамоте он не был обучен, но однажды ему все-таки пришлось изобрести оригинальную крюковую запись, похожую на старообрядческую.

Лишенный в силу самых разных причин возможности попробовать свои вокальные данные таким необычным образом, я прошу его объяснить мне специфику этого досуга. «Я не могу описать, я могу спеть». От этого щедрого предложения я уклоняюсь — случайно на одну из моих кассет записали фрагмент корпоративной вечеринки газеты «Завтра», где главный редактор исполнил что-то из своего обычного репертуара: по правде сказать, это весьма угнетающий опыт, кто-нибудь более впечатлительный мог бы употребить слово «вой».

Это длинные, на полчаса, а то и больше, каждая, песни, исполнявшиеся, «чтобы весь темный зимний вечер прошел незаметно», примерно с третьего куплета вводят исполнителя в

транс. «Из этого транса возникает поразительная трансцендентность — взрыв, когда в темной избе или в темной квартире вдруг начинает все светиться, гореть солнце — особое волшебство, колдовство, камлание! — вдруг тебе является твой языческий бог. Тоже в песнях — эта полифония голосов, частью которых ты являешься, ритмы, рифмы, первый голос, второй, подголоски… Все трансы рано или поздно должны кончиться взрывом, катарсисом. Это поразительное ощущение, наслаждение небывалое».

Русский песенный транс, по его мнению, отличается от, к примеру, африканского, в котором исполнители быстро взвинчивают себя ритмикой тамтамов, высекая таким образом сексуальную энергию. «А от мелодий — русских, северных или степных песен возникает такое беспредельное ощущение, душа отделяется от тела. Это благодать. Как молитва. Что такое молитва? Ты молишься, молишься, молишься. Ты холоден, ты взываешь, ты взыскиваешь, и вдруг ты получаешь ответ. В затылок, может быть, в спинной мозг, в сердце прорывается вдруг такая бархатно-светлая энергия, испытываешь странное счастье». Как сказано кем-то из авторов газеты «Завтра», все строится на расовых различиях, не учитывать их было бы глупо. У японцев чайная церемония, у русских — экзальтация при питье водки.

За пением народных песен время бежало столь стремительно, что участники домашнего хора, случалось, даже не успевали выпить за ночь, на четырех-пятерых человек-то, бутылку водки, «так было хорошо с песней».

Позже, уже на Тверской, энергичным участником домашнего ансамбля Прохановых станет В. Личутин, который хоть и настроен скептично в плане датировки репертуара («насчет XVI века — это он свистит»), но свидетельствует о том, что его друг в самом деле мастер петь «песни старинные, стихи духовные». «С Люсей, женой, — у него хороший голос, он запевает густым басом, а она ему подпевает по-женски. Видно, еще с юности, когда они ездили по Белому морю, эти песни — такие ритуальные, обрядовые для этой семьи, смыкают их в некий союз брачный. Когда они запевают, видно, какое у них внутреннее согласие, гармония. Песня подчеркивает единение в семье, когда согласно поют муж и жена — это говорит о духовном союзе. Духовно здоровый человек обязательно должен петь. Песня — не только слезы души, но и токи, реки, омывающие душу». С Личутиным они поют и сейчас, по несколько часов; если надоедает петь народные песни, то в ход идут советские[4].

Иногда репертуар расширяется еще больше: особенно, по

словам Проханова, когда на сходках присутствуют представители генералитета — А. Макашов, генерал-майор Титов («очаровательный человек, старик, уникальный») — и их жены («она славистка, домашняя такая доня, матрона»). «Когда поддашь — ну давайте частушечки. И начинаются робкие такие, не знаю… „Мы сидели на рябине, меня кошки теребили. Милые котяточки. Цап-царап за пяточки“. Такая робкая частушка. Потом: „Меня милый не целует, говорит — потом-потом, Как зайду к нему — на печке тренируется с котом“. А третья была — „Я Маланью еб на бане, журавли летели, мне Маланья подмахнула, валенки слетели“. Все в ужасе — ах! ах! — и, не давая опомниться, можно было впарить следующую частушку: „Все девчата как девчата, а моя как пузырек, сядет срать — пизда отвиснет, как у кепки козырек“. Те вообще визжат — от ужаса и от наслаждения».

«Мое пение поражало моих друзей, это был стимул такой» вспоминает Проханов, забывая, однако ж, добавить: и не только друзей. Из деревень, иногда не успев как следует переодеться, он врывается с добычей в московские редакции, где — лесник, поводырь слепых, бывший ученый, словом, персонаж отчаянно романтический — производит фурор. «В середине 60-х годов, — елейным тоном затягивает поэт Е. Храмов своего знаменитого „Подельника“, открытое письмо „соловью Генштаба“ Проханову, — журнал „Кругозор“ приобрел замечательного автора для рубрики „Фольклорные экспедиции“. Из каждой экспедиции привозил этот автор материал необычный, звонкий, переливчатый. Но за пределами нескольких страниц текста и шести минут звучания пластинки оставалось еще многое, что составляло его устные рассказы. В них была и острая наблюдательность, и лиризм, и патетика, и остроумие. Словом, это был интересный, умный, видящий собеседник».

Ежемесячник «Кругозор» был аналогом издававшегося в середине нулевых «Jalouse» — настоящий глянцевый журнал: дорогой («Ц. 1 р.»), оригинального мини-формата (квадрат), толщиной, дробленостью и размером текстов напоминающий настенный календарь. Направленность его можно охарактеризовать как молодежно-артистическую. Журнал составлялся из динамичных репортажей из заграницы (Токио, Зальцбург), схем, как танцевать тобагианскую польку, фэшн-съемок «Героини сегодняшних дней», анекдотов про физиков, космонавтов и геологов и интервью бравых военкоров, взятых в джунглях у вьетнамских партизан. С гламурной редакцией сотрудничали Визбор, Петрушевская, автор «Приключений Электроника» Велтистов — весь цвет советской

окололитературной богемы либерального толка.

К каждому номеру прилагалось 10–12 синих гибких пластинок, из которых особенно ценилась последняя, с записью какой-нибудь западной группы. Сейчас, напротив, любопытнее первые: визг кабана, звуки революционных вьетнамских джунглей («„Четыре против роты“. Рассказ Кима Фыонга, бойца НФОЮВ, записанный в Ханое») и лязг прокатного стана на металлургическом заводе. Записать шестиминутный диск было целое искусство. О том, что такое «шум леса» и с какими трудностями сталкивается корреспондент журнала «Кругозор», можно понять из рассказа Л. С. Петрушевской: «Может быть, это долгое ожидание у водопоя в кустах? Может, это микрофон, свисающий с дерева над поваленной зеброй, к которой обязательно придут хлопотать и пачкать морды шакалы и вдруг смолкнут и прыснут в стороны, когда придет леопард?.. У меня все произошло достаточно просто. Я шла с магнитофоном наперевес по просеке в Беловежской пуще… Кабаниха заорала. В этот момент у меня стала кончаться пленка… От щелчка кабаниха смолкла и ушла. Потом оказалось, что на пленке увековечено 14 с половиной минут ровного металлического шороха и тридцать секунд выразительного визга».

Можно только догадываться, на какие ухищрения приходилось идти Проханову, чтобы записать свои пластинки, а в «Кругозоре» находим их несколько. К примеру, «Песни и наигрыши села Плехово: „Жарко пахать“, „Батюшка“, „Ой, да и что же ты, селезнюшка“, „Чебатуха“, „Тимоня“» — и все это на одном диске.

В. Бондаренко свидетельствует, что О. Попцов, И. Золотусский, Г. Шергова, С. Есин и другие редакторы тогдашнего тонкого глянца заслушивались необычными рассказами экс-лесника о дойке коров, сенокосе, случке скота, посещении тракторной станции, которые скорее были похожи на сюрреалистические видения: «Зорьку доить первым делом. И, растолкав плотно сдвинутые коровьи бока, Валентина села на перевернутое ведро, подойник цепко задала коленями, уперла голову в шелковистый дышащий коровий живот. Соски горячие, упругие, мягкие. С первого удара острая белая игла впилась в звонкий край, за ней другая, третья. Ведро загудело от боя горячего живого потока, заиграло. Розовое огромное вымя качалось у самых глаз. Косые молочные струи вонзались на мгновение в край, и парной сладкий дух подымался к лицу. Быстро-быстро с подойником перебежала по морозу в телятник, там на ходу приняла его телятница тетя Даша, и еще успела заметить, как наполнилась белизной пустая баклажка, и телячья

голова окунула нос в молочную жижу». Из кармана путешественник мог извлечь то какую-то свистульку, то каргопольского глиняного китавраса, то деревянную полховскую русалочку, до эпохи тайваньских сувениров было еще далеко, и поэтому такая оснащенность производила известное впечатление.

Он не только поет и фокусничает, но и не пренебрегает возможностями произвести на окружающих впечатление экстравагантной манерой одеваться — если не в редакции, то дома: на нем можно увидеть какие-то фольклорные облачения с красными зверями, алыми деревьями, с мордовскими свастиками. В «Их дереве» упоминаются купленные для жены в деревнях сарафаны. Как происходила скупка? «Я приходил в деревню, где уже вымирал старый уклад, где уже в сельпо гигантские трейлеры завозили шведские и французские туфли контейнерами (это шпилька в мой адрес: я попрекнул его сомнительными диалогами деревенских старух в его рассказах: „Ты в сельпо туфли брала? Французские?“ — „Нет, в Макарьево привезли. Шведские“), а эта одежда была достоянием старух и истлевала в сундуках. И я приходил и спрашивал: нет ли у вас старых одежд, сарафанов, платьев? Я помню, в Каргополе, двор старый, на зеленой траве они расстелили мне свое старое барахло, и я все это по дешевке купил. Привез, и даже моя мама до последнего времени носила эти тяжелые домотканые веренитки» (что такое «веренитки», я забыл у него спросить, но факт тот, что слова этого нет даже у Даля).

Обрастая шлейфом знакомств и протекций, он превращается в своего рода комету, появление которой с энтузиазмом приветствуется обитателями тонкожурнальной галактики. «Его зарисовки были нарасхват», — констатирует Бондаренко. Съездив в одну командировку, он «легко, интенсивно» сочиняет тексты для двух-трех газет и журналов: «Литературной России», «Кругозора», «Смены», «Сельской молодежи», «Семьи и школы». Если первый-второй текст обычно подписан просто «Александр Проханов», то третий, почти везде, — «специальный корреспондент Александр Проханов». В «ЛитРоссии», куда он таскает шедевры один за другим, на него даже начинают косо поглядывать: редакторы осторожно выведывают, не имеет ли он доступа к платоновской вдове, не пользуется ли платоновским архивом. И не мудрено — как еще прикажете смотреть на автора, начинающего свои рассказы в такой манере: «Вошла в жизнь Черепанова эта тихая женщина Алена Макарьевна, как входит белый туман с лугов в вечернюю рощу и висит в ветвях, светел и чист. Не скажут они за день друг другу двух слов, не побудут вместе минуты, а радость ему такая, словно все сокровенные

мысли ей передал» («Прорыв»).

Деревянная игрушка из села Полховский Майдан.

Через знакомых его втягивают в орбиту «Литературной России» — газеты, которая существует по сей день, «номера этой полуграмотной газеты с тюремной верстkой, как застигнутые врасплох вампиры, уносились в черные дыры небытия сразу после выхода из типографии», — вспоминает писательница Анна Козлова, работавшая здесь в начале XXI века. Не то было в 1967 году. 24-полосный еженедельник Союза писателей тоже был аналогом современных глянцевых изданий. Здесь можно было наткнуться не только на Солоухина и Василия Белова, но и на рассказ Роальда Даля (что с того, что печатался он под шапкой «Империалистическая стадия развитого капиталистического строя с особенной очевидностью обнажила его антинародную сущность и органические пороки»). А чуть позже и на очерки Саши Соколова, который пришел сюда на два года в 1969-м (вряд ли они с Прохановым были знакомы, но Соколов мог слышать о нем, и как знать, когда в 1971-м он уедет в свое «Заитилье» работать егерем и писать роман, не скопирует ли он биографию своего старшего коллеги?). В 1967–1968 годах Проханов опубликует здесь несколько важных текстов, в том числе «Тимофей» (про слепого), «Свадьбу» (где опишет брачный обряд, виденный им в селе Дьяконово, колхоз «Россия», в Курской области) и «Красную птицу». Красная птица в мире Проханова — вальдшнеп. «Знаете, как он выглядит?» Нет. «Большая птица с таким вытянутым бекасиным клювом (показывает) — и глаза сзади, почти на затылке. Охотиться нужно на зорях, вечером».

К 1967 году спецкору «ЛитРоссии» не до охот. Ему наконец, удалось запрыгнуть на последнюю ступеньку перед стартовой площадкой.

> «Я шел от села к селу, и движенье мое по земле отмечалось в газете очерками и рассказами, а впечатления копились для книги, в которой действовал человек, посвятивший себя движению, и картины народной жизни становились для него частью его собственной жизни».

Таким образом, в течение всего этого периода, «песенного цикла», он вовсю пьет эту «атомную энергию» народного творчества. Во-вторых, обкатывает образ странствующего аэда, певца и собирателя одновременно, наращивает мускулы для того момента, когда понадобится сделать решительное усилие. И «Свадьба», и «Степанида Прокофьевна» — исходники, сырье для «Иду в путь мой».

Многие тексты из «ЛитРоссии» в самом деле унесутся в черные дыры небытия сразу после выходы из типографии, но он не зря таскался сюда на редколлегии.

Во-первых, редакция «ЛитРоссии» сидела в том же здании, что «Литературная газета», так что рассказы и репортажи Проханова замечают соседи и предлагают ему съездить на Сорочинскую ярмарку.

Во-вторых, на «Свадьбу» клюнет еще кое-кто.

Глава 7

Полулегальное проникновение в ЦДЛ и знакомство с Трифоновым. Объяснение тайны названия «Человек с яйцом».

Автор копается в «Иду в путь мой» и пытается не ерничать. Высокодоходный бизнес деревенщиков.

Описание лопасненского ангела

«Мне назначил здесь встречу Юрий Валентинович Трифонов», — скучающим голосом отвечал молодой человек на вопрос цэдээловской вахтерши о цели, своего прибытия. Проникнув в фойе, нелегальный мигрант проигнорировал гардероб и приткнулся в том месте, где сейчас отгорожен закут для кассы кинозала. Освоив эту территорию, он тут же полез за пазуху и, как мистер Бин, неожиданно извлек оттуда цветастый предмет размером с маленькую дыньку-«торпедо». Критически осмотрев свой реквизит, который оказался расписным деревянным яйцом, гость заведения принялся со значением демонстрировать его прохожим, вопросительно заглядывая в глаза всем мужчинам старше себя. Поскольку тот, кого он ожидал, все не шел, молодой человек принялся поигрывать своим странным предметом, небрежно подбрасывал его, прятал в карман, опять доставал; лакированное яйцо, как стробоскопический шар на дискотеке, отражало удивленные физиономии литераторов. Кончилось тем, что гимнастические упражнения с деревянным семенником привлекли внимание одной из служительниц: клацнув челюстями, она уже направилась было к постороннему с твердым намерением указать ему на дверь, но тут ее обогнал крупный сутуловатый мужчина, которого трудно было бы узнать в толпе, если бы не его курчавые волосы и вывороченные негроидные губы. С уважением оглядев нелепый аксессуар, он подал его хозяину руку и спросил: «Проханов?»

Мегера поджала губы и сделала вид, что ничего особенного не произошло.

Проведя молодого человека вглубь, в Дубовый зал, Трифонов усадил его за стол под витражом и предложил выбрать что-нибудь из меню; в ожидании официантки, не удержавшись, он осведомился у своего гостя, что это за яйцо. Тот понял, что игра

пошла по его сценарию, и, потерев кончик носа, доверительно наклонился к своему собеседнику: «Видите ли, Юрий Валентинович…»

— Подождите, а зачем вы подбрасывали это яйцо, пока ждали его?

— Ну, я хотел выглядеть важным, яйценосным человеком.

Про Майдан он узнал случайно — отправленный женой на Люблинский рынок с целью закупки провианта, он наткнулся на крестьянку, торговавшую странным товаром, не вписывавшимся в скудный здешний ассортимент, который проигнорировал бы даже и Джанни Родари. Узнав, откуда продавщица, — Полховский Майдан, Горьковская область, он мчится рассказывать о своем «открытии» в редакцию «Сельской молодежи», где ему мгновенно оформляют командировку в «деревню игрушечников».

«И было мне весело видеть в поезде, как серьезный майор из кармана в карман перекладывал деревянные майданские яйца», — напишет он в своем очерке о поездке и, скорее всего, соврет, потому что майора он наверняка выдумал, а яйца и другие приобретения, по гривеннику за штуку, рассматривал сам, коротая время в поезде «Горький — Москва».

Любуясь раскрашенными коньками, он нащупывает социальную компоненту статьи: мастера кустарничают задорно, с огоньком, и единственное, чего хотелось бы, это чтобы местная администрация относилась к хранителям древней традиции с большей чуткостью и легитимизировала их воровство леса, без которого им никуда. Очерк, по правде сказать, получится довольно постным, пожалуй, единственное, что запоминается из него, — фраза про серьезного майора и еще одно трогательное замечание автора, касающееся деревянной игрушки: «я замечал что дети любят ее больше, чем железные пистолеты и резиновых крокодилов». Весь этот эпизод с поездкой в Полховский Майдан не стоил бы и выеденного яйца, если бы не один из сувениров, которым владелец распорядился более чем удачно.

«Так что это за…» — «Видите ли, Юрий Валентинович, на госфабриках такие не выпускают». В самом деле? Но однажды, двигаясь по глухоманным деревням, не первый, между прочим, год уже, он, вымокнув под ливнем, впотьмах, набрел на некое потаенное селение, где на больших русских печах толпами сушатся удивительные игрушки — и вот, растянувшись на печи и вдыхая лаковый запах, он размышлял о том, что все это великолепие, лубки, яйца, игрушки, точеные крылечные столбики, оконные наличники и даже могильные кресты — а ему, между прочим, приходилось однажды живать у кузнеца, который

ковал ажурные кресты, — так вот, все это часть великого, теперь обмелевшего потока… «Александр, — Трифонов был поражен экспрессией своего собеседника, — вы выдающийся рассказчик».

Перейдя непосредственно к главной теме их свидания, писатель сообщил, что в новеллах ему понравилась лексика, метафорика, наивный и молодой пантеизм, игра со словом. За пару недель до того в маленькой квартире Прохановых в Текстильщиках раздался телефонный звонок. Владимир Ревин, помощник завотдела прозы газеты «Литературная Россия», сообщил Проханову, что побеспокоил его по просьбе Юрия Валентиновича Трифонова — того заинтересовал напечатанный в «ЛитРоссии» рассказ «Свадьба» — и не может ли он, Проханов, сделать подборку своих рукописей, чтобы Трифонов их почитал.

Это было примерно то же самое, если бы сейчас вам вдруг позвонил Пелевин. Трифонов был мэтр, в 25 лет лауреат Сталинской премии за своих «Студентов», а сейчас лидер «новомирской», интеллигентской, полудиссидентской городской прозы. Что до Проханова, то правильнее всего было бы назвать его перспективным журналистом. Экс-лесник, технарь, перековавшийся в гуманитарии, ведущий очеркист и серый кардинал журнала для слепых, он вот-вот дождется приглашения в «Литературку». Из журнального очеркиста он рвется в большую литературу. Пока что тщетно: рассказики, публикующиеся в «Жизни слепых», «Сельской молодежи» и «ЛитРоссии», не складываются в настоящую книгу, в толстые журналы их не берут. Удочки, впрочем, заброшены по всему берегу, и вот наконец клюнула реально крупная рыба. Остаток вечера он посвящает отбору написанного: «Свадьба», «Тимофей», «Красная птица». С замиранием сердца, еще не оправившись от унижения после аудиенции у Финка, он передает их Ревину. В назначенный срок он набирает телефон мэтра, тот оказывается подчеркнуто любезным: я до сих пор под впечатлением от ваших рассказов; не хотите ли встретиться и поговорить о литературе? Конечно-конечно; но а где же? Да давайте уж в ЦДЛ, где еще.

Действительно, где еще. Проблема в том, что в ЦДЛ он вхож не был. «Если вы написали рассказ, то вы еще постойте на улице Герцена часика два, прежде чем со знакомым писателем пронырнуть сюда. На входе стояли две мегеры, старухи с лошадиными ногами, с железными челюстями, ощущение, что они раньше служили в Освенциме, такие Эльзы Кох, они выхватывали из дверей непосвященных и выталкивали вон». Разумеется, он не подает вида, что ЦДЛ — не то место, где его можно видеть ежедневно. Встретимся в фойе. Трифонов спрашивает, как он его узнает. Неожиданно для самого себя,

вместо того чтобы напомнить, что рядом со «Свадьбой» в «ЛитРоссии» была напечатана его фотография, Проханов отвечает: «Я буду держать в руках цветное деревянное яйцо». Телефонная трубка некоторое время молчит, Трифонов не решается переспрашивать и сдержанно прощается.

Может быть, если б это произошло чуть позже, он пришел бы в кедах, снятых с убитого китайского пограничника, или с легированной лопаткой бомбардировщика, но в тот момент трудно было придумать что-нибудь лучше яйца. Надо было увлечь собою, произвести впечатление, врезаться в память. Яйцо подчеркивало социальную экзотичность своего обладателя, а может быть, намекало на скрытый смысл свидания: мэтр освятит этот символический предмет и укажет неофиту путь к воскресению[5].

Выяснив происхождение яйца, Трифонов принялся расспрашивать Проханова о дошедших до него слухах, касающихся курьезных особенностей его биографии: правда ли, что вы… Тот дает понять, что это еще далеко не все; сегодня Проханов признает, что немножко повыпендривался тогда перед мэтром, козыряя своими возможностями и опытом.

Об этой встрече косвенно можно судить по предисловию, которое Трифонов напишет к первой книге Проханова «Иду в путь мой». Лауреат Сталинской премии купился на все. Он старательно пересказывает эпизоды из биографии своего молодого знакомца: ушел в леса, водил туристов в Хибинах.

С какой стати он позвонил ему? «Ему было интересно, он был в стадии учителя, ему интересны были ученики». «Трифонов покровительствовал мне с охотой, с интересом. В этом интересе была заинтересованность как во мне, так и в себе самом. Он, как литературный политик, хотел создать некий слой вокруг себя, из следующего поколения, чтобы этим слоем управлять, патронировать его».

Правда ли, задаю я вопрос эксперту по Трифонову Наталье Ивановой, что Проханов — человек Трифонова? Это неправда. Впоследствии Трифонов очень сожалел, что написал предисловие к его первой книге, потому что Проханов не оправдал его ожидания — или оправдал ожидания совсем других людей. Трифонов считал, что главное в литературе — анализ социальных отношений, а не «модные темы», «всякие там НТР». «А я говорил — нет, главное — национальное. На этом мы очень корректно, но разошлись. Когда я стал писать социальные повести, он отнесся к ним скептически, стал говорить со мной жестче».

Трифонов — уже тогда убежденный, что «нет ничего драгоценнее мельчайших, гомеопатических подробностей»,

напишет еще одно предисловие, к «Время полдень», гораздо более сдержанное. «Я знаю, первое предисловие он делал с большой охотой, второе — уже с некоторой неохотой, когда уже начались разногласия. Я понял, что уже не стану его учеником, его патронат по отношению ко мне завершается; мое место там занял Маканин».

Между прочим, рассказывает Проханов, через несколько лет после их свидания с Трифоновым он оказался в этом же зале — там были убраны столы и стоял гроб с телом мэтра. «Я все время ловил себя на мысли, что его голова мертвая. Она находилась в том же месте, где несколько лет назад была еще живая: говорящая, едящая, вкушающая и жующая голова».

— Вы подарили ему это яйцо?

— Нет, не подарил, это был такой опознавательный знак. Я не уверен, что это яйцо ему было важно.

Напрасно: Трифонову так понравилась эта затея, что он даже предисловие свое назвал «Человек с яйцом». Это предисловие-напутствие напечатано к «Иду в путь мой», правда, без заголовка. Наверное, его вычеркнули редакторы — Трифонов, во всяком случае, по уверению Проханова, не слышал в этом названии несколько комичных обертонов. Действительно, можно только предполагать, как сложилась бы судьба писателя, чьей кличкой наверняка стала бы «Человек-с-яйцом».

13 апреля 2004 года в газете «Завтра» была опубликована передовица главного редактора, которую многие читатели признали самой значительной за все годы существования издания, она называлась «Пасха — национальная идея России». Проханов начинает с пересказа «пасхальной мистерии» Николая Федорова о воскрешении отцов, особенно напирая на то, что федоровские концепции включают в себя идеи бессмертия. (Если быть точным, то Федорова интересовало (искусственное) воскрешение мертвых, а не достижение бессмертия живых; ученый, в частности, предложил несколько оригинальных способов извлечения из земли распыленных останков праотцев: промывать почву водой, чтобы, собрав «редчайшие частицы праха предков», затем воссоединить их «химическими лучами», собирать частицы праха с помощью «луча животворящей воли», притягивать нужные частицы, улавливая «дрожь и трепет (вибрацию), которых не лишены молекулы и прах умерших»). Затем Проханов («О — ПРАХанов!») приходит к эффектным выводам. «Пасха является национальной идеей России. Пасха, понимаемая как вселенский порыв к преодолению смерти, к возрождению, к воскрешению из мертвых, к созданию

бессмертного богоподобного человечества». Россия — территория инобытия, поставщик инаковости. Советский проект — это победа инобытия над взбесившимся разумом, майская Победа, пасхальная, «Красная Пасха». Советский проект — Иной, стремление к Абсолюту. Абсолют — это бессмертие. «Проблема смерти — есть главная проблема человеческой истории и культуры. Абсолютное бытие — в преодолении смерти. Преодолении индивидуальной смерти, коллективной смерти, смерти Вселенной, преодолении энтропии, когда целые участки Вселенной на глазах затягиваются в „черные дыры“». Господь делегирует человечеству все большее количество своих «полномочий». Теперь, может быть, Господь поручил человечеству совершить акт Воскрешения руками самого человечества. Смысл жизни — в ее развитии, распространении в бесконечность во все улучшающемся качестве. Высшее качество жизни — бессмертие. Высшая правда — преодоление смерти, преодоление гниения, смердящего, тварного. Превращение твари в Творца. Глобализм — это когда весь мир пытается достичь бессмертия, преодолеть смерть. Запад даст технику, машину, Россия — добро, свет, инаковость свою.

Это, собственно, и есть то символическое яйцо, которое Проханов несет миру. Яйцо — символ чуда зарождения жизни, очень простое и очень наглядное доказательство креативной потенции Бога; символ Пасхи, воскрешения Христа и, шире, вообще идеи воскресения и бессмертия; символ будущего, символ развития, сотворения новых единиц жизни. Фотиев из «600 лет после битвы» — человек Света — входит в город со своим изобретением, как Пасхофор; его «Вектор» — это ведь и есть Дух-в-действии, совместное творчество-в-преодолении, философский концепт, наивно выраженный в «изобретении». Человек, несущий яйцо, в некотором роде берет на себя роль Христа, которого изображают под слоганом «Аз есмь воскресение и жизнь», потому что именно это яйцо и обозначает. Проханов выбирает этот символ потому, что одержим идеей бессмертия. Человек есть то, что нужно непременно развить и преодолеть. Цель человечества — занять всю вселенную и быть вечно живым.

Конец истории — это не победа капитализма, не разрешение классового конфликта, не апокалипсис — а преодоление смерти. Достижение бессмертия, убежден он, — главный проект человечества, и вклад России в дело глобализации — обнаружение «гена бессмертия».

Это — бремя «красного человека», и отсюда его вечная экспансия, пространственная и внутренняя. Так выглядит главная всемирная, экспортная идея Проханова для глобального мира, то

яйцо, с которым Проханов ждет в фойе уже не Трифонова, а кого-то гораздо, гораздо более значительного.

Разумеется, в отличие от Трифонова, мы помним, что у «яйца» имеется еще и вульгарный смысл, яйцо — это, некоторым образом, тестостерон, мужская энергия, способность доминировать и сопротивляться. Человек с яйцом одновременно смешон, значителен и многозначителен. И это в полной мере соответствует нынешнему статусу Проханова — и в литературе, и в политике, и на телевидении.

Алиса и Шалтай-Болтай, Человек-яйцо. Иллюстрация Тенниэла.

По бескрайним пажитям вышагивает отрок, за плечом у него тростинка, на ней торба с пожитками, сзади трюхает тощая собачонка. Ноги несут его в сторону изумительного града,

вырастающего у окоема и сливающегося с облаками. Над шляпой молодого человека витает выполненная в старославянской шрифтовой манере надпись «Иду в путь свой».

Печной изразец с этой картинкой Проханов, сопровождавший подведомственных ему слепых, углядел в ярославском музее. Такими изразцами в XIX веке обкладывались русские печи в богатых крестьянских домах. По словам Проханова, он замер, потрясенный внятной символичностью этой глазированной притчи: жизнь есть не просто перемещение по хаотической броуновской траектории, а путь, который может пролегать через самые странные пункты, афганские ущелья, ночные клубы, валдайские холмы, но в нем нет ничего случайного, поэтому надо идти, и только движущийся человек может сказать, что его жизнь — настоящая. Честно говоря, мне не удалось разыскать этот изразец и самому судить о том, в самом ли деле эта картинка может произвести на созерцателя такое исключительное впечатление. Можно лишь подозревать, что печной человек, «посвятивший себя движению», похож на логотип виски Johnie Walker— Keep walking, бутылка которого, помнится, украшала стол Проханова в день нашего знакомства; можно ли испытать примерно те же чувства, помедитировав над общедоступной этикеткой? Если и да, все равно это будет считаться ерничеством.

«Моя первая книга похожа на просторную белую церковь у перекрестья дорог»; «Когда я писал мою книгу, мне и впрямь казалось, что пишу настенные фрески по сырой голубоватой извести на тесовых лесах»; «Автор покуда единственной, наивно-романтической книги, напоминающей своей нарядностью деревянную расписную игрушку». За последние тридцать лет Проханов инвестировал в маркетинг своей первой повести — которая иногда может называться «фильмом», «выставкой» или даже «кварталом», если герой работает фотографом, кинорежиссером или архитектором — целое состояние, но никакие метафоры не отменяют того факта, что редко какая книга может вызвать такое стопроцентное отторжение, как первое издание книги «Иду в путь мой». Первый сборник Проханова является непревзойденным достижением безобразного советского дизайна: чудовищная дешевая бумага, корявые псевдофольклорные буквы на обложке.

Автоматически это ощущение пошлой нищеты переносится и на тексты внутри и при беглой ревизии тут же находит подтверждение: экзальтированные гимны крупному рогатому скоту, пьяненькое бормотание киргизских агрономов, «на той горе граф Клейнмихель жил и церква стояла», описания рисунка

на каком-нибудь рушнике — достаточно пространные, чтобы иметь основания сравнить их с гомеровскими.

Картонку населяют с дюжину обитателей; заглянем непосредственно в заглавную повесть. Антон — московский журналист-фрилансер с писательскими амбициями, по заданию редакции вояжирующий по отдаленным регионам СССР. В деревнях он собирает сказки, легенды, тосты и антиквариат, на военных полигонах интервьюирует офицеров, в степях ищет могилу отца. Городской по происхождению, но необычайно чувствительный человек, он выезжает на природу, чтобы окунуться в эстетику отечественных ландшафтов. Он, собственно, только и делает, что упивается красотой — пейзажей, жены, первенца, случайных женщин, вышивок, самолетов, песен и народных подвигов, попутно задаваясь вопросами о смысле собственного существования, впечатления и pencees он забивает в книгу.

В конце 60-х, в процессе хрущевской либерализации, в СССР входит в моду интерес к истории, к корням, почве, укладу, «малой родине», фундаменталистской крестьянской морали; в литературе это выражается в доминировании «деревенской прозы», представители которой изо всей мочи бренчали на балалайках о том, сколько всего у них есть и сколько утеряно безвозвратно. Поверхностный наблюдатель может записать в «деревенщики» и автора «Иду в путь мой», но, если присмотреться, выяснится, что, несмотря на действительно романтическое свое отношение к отечественной истории, протагонист не похож ни на шукшинских «чудиков», ни на ортодоксов Белова и Абрамова: он журналист, заинтересованно изучающий быт деревенских жителей, городской человек, не успевающий на покосе за дюжими лесниками, именно что ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. И ладно бы протагонист — так ведь и объекты его внимания тоже далеко не всегда представители сермяжной Руси. В повести есть странная, неуместная, кажется, военная линия: на испытание нового ракетного оружия на полигон приезжает старый генерал. Прямо перед стартом обнаруживается некая неисправность, однако генерал приказывает не откладывать и сам берется опробовать новинку, за секунду до катастрофы камера прекращает съемку. Эпизод этот сейчас требует комментария, он намекает на происшествие 24 октября 1960 года, когда на байконурской стартовой площадке при испытательном пуске ракеты Р-16, способной нести термоядерный боезапас, заживо сгорели маршал Неделин и еще 74 человека — взорвался двигатель второй ступени. Это было мифообразующее событие своего времени, как

сейчас «Норд-Ост» или взрывы домов: самая крупная катастрофа российской космонавтики. Официально было объявлено об авиакатастрофе, но разговоры, конечно, ходили — и у писателей с острым чувством современности преобразовывались в такие странные, с экивоками, сцены, едва ли уместные и вообще мыслимые у Белова или Распутина.

В «Иду в путь мой» с грехом пополам вмонтированы и очерк про ярмарку из «ЛГ», и «Свадьба» из «ЛитРоссии». Это неровная, шаляй-валяй — то съезжающая в очерк, то ухающая в эссе, то закручивающаяся в рассказ — вещь скреплена серией репризлейтмотивов: избы звенят от песен, травы млеют, кони брызжут росой, половики полыхают красками. Сам Проханов обычно называет свою повесть «языческой», «наивной» и «хохломской», недоброжелатель охарактеризует ее как идеальный материал для сорокинской пародии — «неизбывно совписовскую», «нормативную», «конъюнктурную». Определенные резоны есть у обоих. «Иду в путь мой» до сих пор ударяет в голову метафорическим изобилием, но едва ли этот купаж экзальтированных исповедей, фольклорных документов и журналистских парапсихологических портретов советских люмпенов может вызвать у современного читателя, не являющегося прохановским aficionado по преимуществу, что-либо, кроме недоумения. Некогда прозрачно-медвяный, за три десятка лет текст засахарился. Но для знатока любопытно покопаться в этой вязкой массе, обнаружить здесь исходные точки множества векторов всего его творчества. Не зря Белосельцев будет писать свои очерки о дьявольской Москве нулевых, а из-под пера у него будет переть «Свадьба», та самая, строки в самом деле покажутся драгоценными.

Глиняные игрушки из Каргополя.

Деревенская проза была в начале 70-х самым высокодоходным сектором писательского бизнеса, и за поставщиками товара на этот рынок критика следила очень пристально. Липовые деревенщики и эпигоны выявлялись санэпидстанцией и расстреливались на месте, без суда. С лесническим и сельско-молодежным опытом, в принципе, можно было выдать себя за карельского «кандида», но, в любом случае, его нельзя было продать как новый материл. Важно то, что Проханов, главная тема которого, по Трифонову, «родная земля, народ, его корни, недра», не стал имитировать в своих повестях деревенскую картину мира и лить крокодиловы слезы по погибающему селу. Его герой, несколько анекдотический технократ в лаптях, мечущийся, так сказать, между колокольней и атомной станцией, привлекает к себе внимание не столько тем, что млеет от вышивок и песен про «лебядь», сколько тем, что балдеет от «телеметрических систем последнего выпуска, гораздо лучше американских». Прохановская деревня — почва, питающая космос, и не только метафорический, в смысле «русский мир», но и советскую космическую программу; между этнической архаикой и космополитичной технотронной цивилизацией не возникло конфликта; крестьянский микрокосм и научный макрокосм соединялись в единую вселенную. «Концы и начала, — заметил Трифонов в предисловии, — старики в ветхих избах и ураганные скорости самолетов в поднебесье — соединение, слияние, неустанное движение, один путь». Это предисловие позволило тридцатитрехлетнему синтезатору пройти через фильтрационные лагеря и получить чистые документы, позволяющие ему, горожанину, считаться патентованным деревенщиком, «хотя и с несколько ремизовскими обертонами». В «уходе технаря в архаику»[6] чувствовалось нечто пикантное; прекрасный дилетант, отставший на покосе от аутентичных иван-африканычей, вызывал умиление своим неподдельным романтизмом. Кроме Трифонова, Проханов должен быть благодарен своему будущему верному личарде В. Бондаренко, который снабдил его аусвайсом «романтический этнограф».

Этот же герой-коллекционер возникает во второй повести сборника — «Полет вечернего гуся», которая почему-то не перепечатывалась с 1971 года ни разу, а ведь именно она выдает в Проханове мастера; это по-настоящему виртуозно сделанная вещь, лучшая в его раннем творчестве.

Все тот же герой, журналист-этнограф, мотается по стране: его командируют то в деревни, то на армейские полигоны. В промежутках он вспоминает свою юность и, особенно часто,

отношения с невестой.

Это текст весь построен на синкретическом отношении к жизни, на нерасчленении жизни и смерти. Тут всякое событие запараллеливается, дублируется своей противоположностью, и текст представляет собой постоянное балансирование, сложную образную систему сдержек и противовесов. Все рядом, сцеплено — люди и животные, рождение и смерть, отчаяние и надежда, подвиг и преступная халатность, город и деревня, природа и техника. Рядом с заброшенной бойней обнаруживается череп, но тут же следует сцена с картинами родов животных. Журналист заглядывает в роддом и наблюдает за новорожденными младенцами, чтобы тотчас же попасть на поминки. Тракторист напивается и чуть не замерзает до смерти, но его спасают, буднично и торжественно одновременно. Автор упивается жизнью как синкретичным чудом. Тут все чудесным образом связано: вот они с невестой с особенным вниманием рассматривают в Третьяковке иконы с изображениями животных — и всю дорогу героя преследуют различные зооморфные существа. В повести технично закольцованы два полета. В начале рассказчик едва не погибает в грузовом самолете с быком, который бьет рогом обшивку, животное усмиряет летчик, но в финале в мотор его самолета попадает гусь: «Гусь набирал высоту. Озеро сорвалось с его лап, как маленькая черная слезка, кануло в мутных туманах». «Катапультируйся!» — кричит журналисту летчик, но, похоже, на этот раз ему не спастись.

Этот, очень квалифицированно исполненный, финал тоже, по сути, не что иное, как рефлекс фольклорного психологического параллелизма, когда «журавль по небу летит» — и тут же «корабль по морю плывет». Только в фольклоре эти линии так и остаются параллельными, а Проханов сводит их в одну точку. Финал важный еще в том смысле, что здесь наглядно, как в басне, видно, что в состоянии довести романтика-автора до температуры кипения, до болезненных галлюцинаций: столкновение природы и техники.

В «Иду в путь мой» обнаруживаются и более традиционно-деревенщицкие вещи про чудиков и иван-африканычей, где рассказчик-журналист, обеспечивающий взгляд со стороны, отсутствует. «Деревенские» — говорящее название. «Снятной берег» — как рыболовецкая артель-колхоз с риском для всего дела (сеть может примерзнуть) налавливает много рыбы, выполняет план. «Тимофей» — рассказ о деревенском слепце, которому не дают работать, и он утром тихонько идет косить луг, но в какой-то момент перебарщивает и вторгается в овсяное поле. Женщина хочет его заругать уже, но другой мудрый старик ее

останавливает: не трогай, дай пожить-то ему. Еще здесь есть повесть «Радуйся», про Псков и знакомство с археологиней; внимательные читатели романа «Господин Гексоген» найдут ее там практически неизмененной, Проханов никогда не стеснялся вмонтировывать свои старые тексты в новые.

Трудно сказать, какой была бы реакция публики, выпусти кто-нибудь такой сборник сейчас, полагаю, нулевая, потому что коробейник просто не нашел бы на свой разноцветный товар издателя. Но в 1971 году это произведение имело шансы выстоять в конкуренции с текстами ровесников, хотя рынок тридцатитрехлетних авторов в тот момент переживает настоящий бум, и, чтобы втиснуться в него, приходилось как следует работать локтями. Битов в том же 71-м расставляет последние виньетки в «Пушкинском доме». Бродский вот-вот примется укладывать в чемоданы рукописи «Это было плаванье сквозь туман…», «Натюрморта» и «Октябрьской песни». Петрушевская бьется с корректорами журнала «Аврора» за запятые в своих первых рассказах — «История Клариссы» и «Рассказчица». Высоцкий открывает новые горизонты: в декабре 70-го Москва обсуждает его женитьбу на французской артистке. Эдуард Успенский пишет сказочный роман «Вниз по волшебной реке». Маканин попадает в аварию, ломает позвоночник и создает странную повесть «Безотцовщина». Ерофеев декламирует в подпольных салонах написанную осенью 1969-го «Москву — Петушки». Распутин, к тому времени автор канонической «деревенской» повести «Последний срок», лакирует свои «Уроки французского». К счастью, человеком, который привел желторотого литератора в «Советскую Россию», был влиятельный Трифонов, нашедший в себе силы пожевать губами в предисловии: «Редко кто из молодых писателей приходил в литературу с такой отчетливой и цельной, своей темой… И его всегда будут узнавать сразу. Он заметен». Трифонов не то что миропомазал Проханова, как Самуил Давида или Державин — Пушкина, но подтолкнул его, направил на него лучик своего сияния. Пусть «Человека с яйцом» нельзя было назвать высокобюджетной рекламой, но это, безусловно, было благожелательно.

В истории отечественной литературы «Иду в путь мой» останется, скорее всего, как курьезная девиация от советского деревенщицкого и публицистического канона. Что, однако, не означает, что в более широком контексте эта книга — всего лишь памятник тупиковой ветви литературной эволюции. История про жизнь-путешествие, попытка разгадать тайну пространств

большой страны, подобрать ключ к психотипам людей, которые успешно колонизировали эти пространства, — все это признаки, характерные для типичного жанра тех лет, «роуд-муви» и «роуд-новел»: вряд ли кому-нибудь приходило в голову перевести керуаковское On the Road прохановским «Иду в путь мой», но в этом не было бы ничего криминального.

— Какова дальнейшая судьба того яйца?

— Его постигла судьба всех яиц. Из него вылупился птенец, который сейчас, превратившись в большую старомодную птицу, сидит перед вами.

В лето выхода «Иду в путь мой» он переживает «мистический опыт»: «Я видел ангела». Простите?

Он довольно часто странствовал по Подмосковью, один, без жены, испытывая время от времени необходимость уединяться, и проходил по много километров, ему нравилось преодолевать пешком большие расстояния. В тот раз он двигался по Чеховскому району, вдоль Оки, и в какой-то момент, после спуска с небольшого утыканного соснами взгорья, ему пришлось перебрести маленькую речку Лопасня, впадающую в Оку. Солнце жарило изо всех сил, цветущие заливные луга наполняли его носовые пазухи ароматами, в воздухе носилась пыльца, жужжали шмели и порхали бабочки, мотыльки, стрекозы, носились слепни и комары. В воде, на отмели, он растревожил мальков — и в этот момент с ним произошло нечто вроде удара. Ему показалось, что вода взбурлила, ослепила его солнечными бликами, тысячи рыб высунулись наверх, уставились на него глазами, и возник взрыв света, который останется у него в памяти как «живая страта», «грандиозная фигура», похожая на ангела, «огромного, до солнца, как тот, кто встал перед апостолом Иоанном на Патмосе. Но не грозный, а любящий». Хм… А как все-таки он выглядел? Был ли он похож, к примеру, на Мэтта Дэймона в фильме «Ангел» или на того парня из «Неба над Берлином»? «Глаза у него были как сердолик, ноги были как адаманты, и было ощущение, что он взял меня, оторвал от земли к себе, поднял с земли и секунду подержал». «Я испытал несравнимое ощущение счастья и радости», «в этот момент кончилось время», «я почувствовал прилив какой-то радости, безумного счастья, красоты». «И это могущество, которое меня подняло, я почувствовал не как могущество какого-то зла, страха, способного причинить вред, а как внутреннюю радость». «Это длилось доли секунды». «Это потом, конечно, этот столб света, такой удар радости, это странное видения я облек в одежды…»

Он настаивает на том, что это был именно ангел — «не мамонт, не снежный человек, не пришелец, но ангел». Мне было любопытно вскрыть очаг этого психического воспаления, и я принялся расспрашивать его, с чем он сам связывает это «мистическое явление». «Я находился в расцвете физических и духовных сил. Это была пора, когда я был наполнен силой, светом, верой. Я прочитал достаточно глубоко евангелия, изучил античную философию, неоплатоников. Я познакомился с йогой Рамачараки, с восточными учениями, был оснащен фольклором, у меня была молодая красивая жена, которая принесла мне двоих детей. Я был наполнен творчеством, у меня только что вышла первая книжка. Это было бурное самосотворение. И вот во время этих ритмических движений, шаг в шаг, у меня были удивительные состояния, какой-то воспаленнности, красоты, ночь, звезды, елки, мороз, зори ранние, было какое-то предвкушение, предчувствие какого-то огромного, дарованного мне обязательного, неизбежного, надвигавшегося на меня чуда, что Господь Бог мог меня взять живым на небо. Такое ожидание связано с моей избранностью, исключительностью. Я не думал, я чувствовал: здесь, здесь, здесь».

Глава 8

Чак и Сыр по достоинству оценивают огненный половик. Похвальное слово «Литературной газете».

Описание гробов на Даманском. Опасное путешествие в Жаланашколь. Автора пугают «желтой угрозой»

В августе 1968-го — лето, запечатленное в «Бриллиантовой руке», — он работает на пленэре, откомандированный «Сельской молодежью» в Белоруссию: «Там были очень красивые девушки, я за ними ухаживал, у нас были всякие любовные истории, и в моем кармане была командировка на Украину в Сорочинцы». «И вот утром я вышел в лес, это была прекрасная смоляная, вкусная, душистая, с обилием любовных переживаний, среда, а потом по радио, через динамик, услышал, что войска вошли в Прагу. Это было тревожное сообщение, но у меня была забота: сесть на поезд и добраться до Сорочинцев». Это было первое его задание для «Литературки», и поэтому следовало не ударить в грязь лицом. «На огромном лугу, — перебирает свои сорочинские впечатления герой „Надписи“ Коробейников, — был учинен красочный, пышный торг, во всем обилии и великолепии украинских медовых дынь, пламенных помидоров, полосатых черно-зеленых арбузов с малиновой брызгающей сердцевиной, с молочными поросятами и парными телятами, с карнавалом, балаганом, плясками под дудки и скрипки, с безудержной гульбой, с огромными кастрюлями огненного борща».

Именно с этим брызжущим свекольным соком репортажем с ярмарки Проханов дебютирует в «Литературной газете» — 18 сентября 1968 года, если вам угодно знать точную дату. Это любопытная, почти пародийная вещь, написанная так, как если бы Гоголь стал корреспондентом советской газеты (что, между прочем, видно уже по ритмически задорно-бойкому, в-огороде-бузина, названию материала — «В Сорочинцах ярмарка»): «А мед в тазах такого цвета, что мажь им крест, купола за сто верст засияют». Отчаянно злоупотребляя украинизмами и чуть ли не гхэкая, автор сообщает, что «расцветает на ярмарке национальная кухня», громко чавкает потрясающим борщом, сваренным «Ефросиньей Екимовной Шовкомуть» и балакает с какими-то приобретателями корыт, намеревающимися, ввиду дефицита кровельного железа, раскатать их на листы, несмотря на

дороговизну этого проекта.

Сейчас кажется, что это всего лишь обычное событие регионального масштаба, которым «Литературная газета» могла заинтересоваться только в силу гоголевских обертонов этой сатурналии. На самом деле это была вполне актуальная тема. Та ярмарка 1968 года — рефлекс половинчатых косыгинских экономических реформ середины 60-х, когда власть пыталась, не меняя строй, внедрить в жизнь элементы рыночной экономики и стимулировать сельхозпроизводство личной заинтересованностью крестьян.

Вспоминая эффект, который этот текст произвел в «Литературке», часто писанной казенным языком, и, в любом случае, подчеркнуто городской, интеллигентской газете, Проханов говорит: «Вдруг вот среди этих как бы либерально-городских рассуждений возник яркий гобелен, огненный половик, с тысячами разноцветных полос. Я плюхнул это все, это всех ошеломило: лучший материал номера». Так оно, похоже, и было — судя по анонсу материала никому не известного автора на первой полосе. «Ярмарка» небезупречна в смысле журналистского мастерства, автор еще не овладел искусством вшивать монологи чиновников в свой «огненный половик», но это действительно колоритный — «нарядный, легко и счастливо написанный» («Надпись») — текст.

— Подождите, а как же насчет Праги все-таки? Как же вы — интеллигент, фрондер, полудиссидентствовавший молодой человек, тесно связанный с богемным подпольем, — вам не было стыдно за Прагу?

— Нет, абсолютно. «Танки идут по Праге», — Проханов цитирует Евтушенко, — это абсолютно не ранило меня… Я читал Пушкина «Клеветникам России», я знаю, что такое подавление польского восстания, и как раз мои деды, они-то были империалистами. И империя, советская империя, когда она была на вершине своей мощи, примиряла собой и белых, и красных, и всех остальных.

— Это вы сейчас говорите. А тогда?

— И тогда. Над тем, что подавили тогда чехов, рефлексировала совершенно узкая среда.

Другие танки прославили Проханова и задали вектор всей его карьере. В конце зимы 1969 года происходят так называемые «события на Даманском»: китайские коммандос вырезали советскую заставу на одном из Амурских островов. Как и тридцать шесть лет спустя в Грозном, танки там проиграли сражение пехоте: китайские гранатометчики сжигали машины на

расстоянии. Политическая атмосфера была далеко не безоблачной: СССР только что подавил пражское восстание, в разгаре была вьетнамская война, в которой мы тоже, хоть и косвенно, принимали участие. Вьетнамцам помогал и Китай, но распри между советским руководством и Мао начались еще при Хрущеве. Это был странный конфликт, и когда он был доведен до огневого столкновения на Даманском, этот «вид красной звезды, которую убила другая красная звезда», потряс многих. Вновь воскресли библейские мотивы народов Гога и Магога, заговорили о желтой опасности, как когда-то в десятых годах, Китай опять стали рассматривать как стратегического, «мистически-стратегического» врага.

События на Даманском — одно из его любимых воспоминаний. «О, это была целая история — как зеленый пацан обыграл матерых военных журналюг в газете». Услышав утром по радио о том, что произошло, он сразу рвет в «Литературку», к Сырокомскому — тот оказывается больным.

Сырокомский, замглавного «ЛГ», был тем человеком, который взял на работу молодого Проханова, «прямо с улицы пригласил его в престижную газету, прочитав его первый очерк о Сорочинской ярмарке», как сказано в «Надписи», где Сырокомского зовут Стремжинский. Материал «восхитил Стремжинского», и тот стал патронировать его. Вообще-то верховных главнокомандующих в «Литературке» конца 60–70-х было двое: Чак и Сыр. Но Чак — главный редактор Александр Чаковский, «утомленный писательской известностью, непрерывными, на вершине партийной власти интригами, — редко появлялся в газете», был скорее фронтменом, отвечающим за общую идеологию и отношения газеты с ЦК, то есть он был настоящий писатель, но собственно в газету сочинял не каждый день, приберегая для себя эксцентричные проекты вроде гневного открытого письма президенту США Картеру, размером не меньше полосы: «Скажите нам, господин президент» и т. п. Реальным менеджером и редактором, работавшим с текстами, был его заместитель Сыр — Виталий Сырокомский — «трудолюбивый и мощный, как бык-землепашец. Тащил газету, словно литой и тяжелый плуг, оставляя в общественной жизни дымящуюся борозду». Литгазетовец М. Подгородников в своих мемуарах «Слабый позвоночник» характеризует Сырокомского как человека жесткого, требовательного и немногословного, вызывающего у сотрудников трепет.

Сыр — «блистательная фигура», «интересный персонаж». «Ему нравился Стремжинский. Он испытывал к нему род благоговения. К его могучей энергии, неутомимому на

изобретения разуму… Нравилась в Стремжинском сила, избыточность и звериная чуткость к опасностям, которые таились в рискованных материалах об экономике и культуре».

«ЛГ» по тем временам было центровым местом — молодым и бурлящим. Несмотря на то что основателем газеты считается Пушкин, «ЛГ» как советский бренд с репутацией газеты, которую нельзя не выписывать, появилась не так уж давно. Главным периодическим изданием советской интеллигенции, еженедельником не только респектабельным, но и влиятельным, она становится после брежневско-подгорновского дворцового переворота. ЦК начинает активно инвестировать в «ЛГ» — и успешно: в 1966-м тираж составляет 400 000, в 1968-м — уже 800 000, в 1969-м — миллион, и это все подписка. В штате числились около 200 человек, практически все тогдашние золотые перья, от Евтушенко до Генриха Боровика. Менеджеры втягивают в орбиту газеты дорогих журналистов, охотятся на талантливую молодежь, соблазняют воротящих нос литературных бар загранкомандировками и, главное, выходом на перспективную аудиторию. «Литературку» реально читала элитная target-audience того времени — «интеллигенция». Это была относительно либеральная институция, которая вполне могла бы себе позволить слоган «как скажем, так и будет». «Газета… управляла идеологическими потоками и культурными течениями в среде интеллигенции… Дом был заводом, где производились идеи, строилась политическая машина, создавались тонкие идеологии. Но также и лабораторией, где ставились сложные и подчас опасные эксперименты, запускались в общественное создание мифы и отвлекающие фантомы… Выставлялись ложные, призрачно манящие цели, куда заманивалась общественная энергия и гасилась там, как в искусно расставленных ловушках». «Газета дразнила нервную интеллигенцию, провоцируя в ней всплески идей и эмоций, а затем направляла эти всплески в желоб обязательных, вмененных идеологией представлений».

«ЛГ» была свойственна сложная полифоническая идеология, лавирующая между либеральным и почвенническим направлениями; газета была ареной для дискуссий и споров. Довольно яростных: даже сейчас чувствуется, что с этих ветхих страниц, пропитанных идеологическим жаром, бьют электрические разряды.

За Сорочинской ярмаркой последовали другие задания. Его печатали очень много для начинающего: в среднем, очерк, иногда чуть ли не полосный, раз в два месяца. В начале 69-го он дал

очерк «Корчма на литовской границе», о столовой на развилке Рижской и Печорской дорог, которую позиционировал как ту самую корчму, что описана в «Борисе Годунове», ему ее показал друг, реставратор Скобельцын. «И стоит она славно, на бойком месте. Наверное, и триста лет назад здесь стояла корчма, и купец из Литвы первый раз в ней отведывал русский шипучий квас…»

Очень быстро из внештатного корреспондента он становится спецкором, хотя бы и на полставки. «Я легко и интересно писал. Причем мог писать как технарь — о самолетах, о воздушных боях, и при этом как человек, знающий и любящий фольклор; я мог писать о природе, о деревне, о песнях, о медитациях всевозможных». Редакторам нравилась лексика, стиль, метафоры, «цветастость», «экзотичность», но за то же и упрекали: «избыток красивостей и недостаток социальности».

В тот февральский день, узнав о болезни Сырокомского, Проханов набирается наглости и звонит ему домой, что при тогдашней строгой субординации не было принято. «Прошу послать меня на Даманский». Тот, гнусавым из-за насморка голосом, орет на него: «Вы с ума сошли. Закрытая тема! Прерогатива ЦК! Не думайте даже!» Но через несколько часов, после каких-то консультаций, перезванивает уже сам — езжайте; он улетает в Хабаровск в тот же день.

На заставе Нижне-Михайловка Проханов проводит около недели: лазая по окопам, рыщет по берегам Амура, интервьюирует танкистов, жадно ловя каждое слово побывавших в бою, чуть ли не с лупой ползает по полю боя, разглядывает тела убитых, исписывает целый блокнот на похоронах. Даманский причет — одна из тех сцен в его творчестве, которыми он до сих пор гордится и имеет обыкновение описывать ее так, будто это его «плач Ярославны». Насколько это обоснованно? «Литературка», 12 марта 1969 года. Уже на первой полосе — анонс статьи, на полосе пятнадцатой «Подвиг на острове Даманском» и фото — «Вот они, отважные защитники советской границы», там же — колонка «Позор пекинским правителям!» («Гнев, возмущение преступными действиями маоистских провокаторов»… Пятнадцатая полоса целиком отдана репортажу. Любительские фотографии: табличка на могиле с именами убитых, снятые издали китайцы, стол с брошенными флягами и снаряжением (одна из этих фляг стоит теперь в прохановском имении Торговцево) и — а вот это шокирует даже сейчас, сорок лет спустя — фотография голого человека с исполосованным лицом и грудью: «Советский пограничник, над которым надругались маоистские бандиты».

Аршинным кеглем шапка: «Священны границы твои, Родина!» Ниже, помельче: «Гневно клеймим маоистских бандитов!» Узнаваемое, очень прохановское по ритму и синтаксису, начало: «Уссури — ослепительно белая, туго выгнутая подкова, покрытая льдом и снегами. На нашей стороне сопки в неопавших дубах, катятся, волна за волной, до дальнего мыса. А на той стороне — низина, рыжие травы, кусты… Там — Китай!».

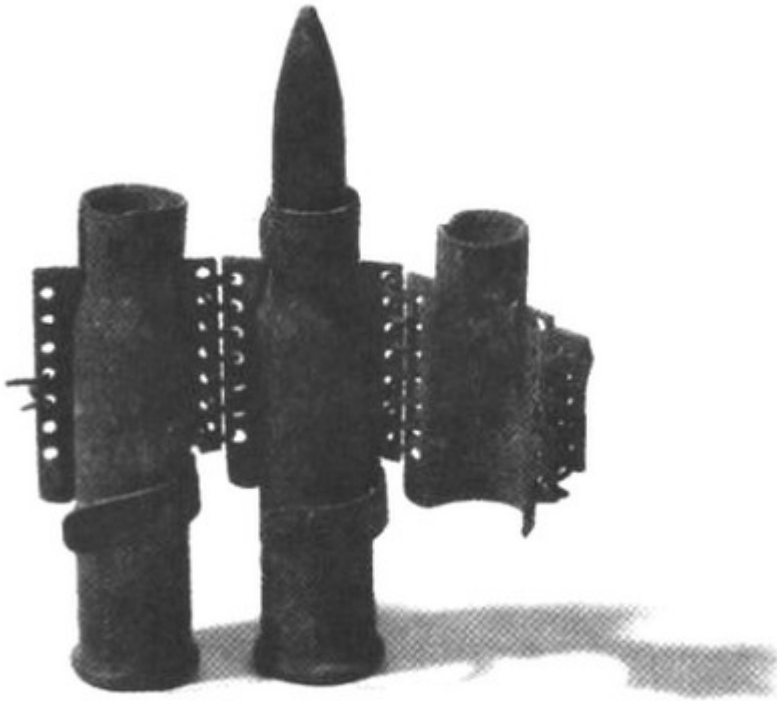
Дальше напряжение в тексте вдруг падает и начинается бубнеж про маоистских бандитов, но затем снова резко подскакивает. Знаменитая сцена похорон возникает в третьей главке:

> «Вертолеты один за другим опускались у сопки. Из них, из подъезжавших автомашин выходили матери и отцы павших бойцов и бежали по снежному склону, залитому ослепительно ярким солнцем, туда, где слышались то затухающие, то нарастающие звуки похоронного марша… Туго натянутая палатка. Почетный караул с автоматами. В глаза бьет красный цвет: обитые кумачом гробы стоят в ряд. И в них застывшие, прекрасные, несмотря на страшные раны, лица наших солдат. Вбегают матери. Припадают к одному, к другому. Не тот, не тот… Вот он! И падает замертво на сыновнее тело, целует его раны, хватает его за руки, безутешно рыдает. А рядом — другая, третья… Мы стоим тут же и, не в силах удержать слезы, слушаем, записываем все, как было здесь сказано, как это вырвалось из материнского сердца. „Сыночек мой, надежа моя… Да что они, изверги, с тобою сделали… Да они всего тебя иссекли, искололи… Писал ты мне, что у тебя чуб растет, а они всю твою голову разбили…“
>
> …Молодая вдова ухватилась за кол палатки; смотрит-смотрит на того, в гробу, забинтованного… Плачет седой отец, утирают слезы воины, стоящие в почетном карауле. Репортер что-то пишет в блокноте, рыдая… Выносили их на плечах и ставили осторожно под солнцем. Алый кумач и зеленая линия пограничных фуражек. Они лежали, юные, окруженные плотной толпой. Небо над ними высокое, и облака плывут вечерние. И в этих белых летящих облаках словно жил еще отзвук недавнего победного боя. А там, на острове, горит их кровь».

Купюра в 1 юань, подобранная Прохановым в китайских окопах на Даманском.

> «Благодаря моему знанию фольклора мне удалось сделать уникальный материал по Даманскому. Все остальные газеты твердили: „маоисты“, „культурная революция“, „мужественные пограничники“, „отважные офицеры“, „святые границы“… А я написал — мужественные пограничники и эти плачи. Это было ошеломляюще. Это был мощнейший удар эмоциональный, вывел этот репортаж вперед лет на десять по стилистике, по методике. Такая парфеновщина была по существу».

Самое любопытное в этой знаменитой статье то, что над ней стоят две подписи — Н. Мар, А. Проханов; она написана в паре. По-видимому, он, молодой корреспондент, был прикомандирован к матерому журналюге. Мар — старая лиса, мастер высокопарного репортажа с учений и ехидного — с границы, где у американских граждан конфискуют «Плейбой», а те на вопрос, зачем вы везете эти журналы, отвечают: «Для личного пользования». Военный журналист Мар фигурирует в «Надписи» как автор «трескучих репортажей», в которых клишированных фраз больше, чем точных деталей. Там он антипод Коробейникова, который, в свою очередь, готов шаманствовать, кликушествовать и бредить, только бы передать подлинную атмосферу происходившего.



Трофей: китайские пулеметные патроны.

«Я был в этой огромной брезентовой палатке штабной, где на козлах стояли гробы, обтянутые кумачом, и в гробах лежали пограничники, их руки были связаны марлей, чтобы не распадались, и носы торчали. И там стояли ведра с водой ледяной и кружки, и в эту палатку вбегали матери, которых привозили на вертолетах со всей страны. Они вбегали и падали на своих детей и начинали орать, стенать, причитать как кликуши. И начинали: „А, Коленька, мой миленький сыночек, родненький, какой же ты стал большой, в гробик не влазишь… Все говорят: у нас мир, мир, а на самом деле война, и что они там с тобой сделали, коль ручки твои все исколоты, как же они тебя мучили, какой же ты холодненький, да как же ты, миленький, а у нас собачка Жучка родила, учительница Прасковья Петровна передает привет, а соседка Катя ждала не дождалась, а я хочу с тобой, ах, у меня нету больше сил…“ Грохнулась, и ей вливали ледяную воду солдаты, она била зубами по кружке. И опять. Сколько гробов — столько матерей. Я стоял рядом и записывал все это в блокноте».

Устный прохановский экспромт кажется убедительнее того, газетного. Трудно сказать, была ли это по тем временам «парфеновщина». Возможно, именно маровские куски портят впечатление от статьи, которая без них в самом деле могла бы показаться сногсшибательной. Эта сцена действительно очень выделялась в советской прессе; один мой знакомый даже уверяет, что помнит, как в детстве делал по этому репортажу политинформацию.

Трофей: китайская звезда.

Один «трещит», второй «рыдает в голос», а в более технических терминах в чем была разница между его подходом к репортажу и традиционным? «Мар — автор, прошедший журналистскую школу. Их учили стилю, методикам, подходам. Потом они работали в газетах, советских газетах, которые окончательно их превращали в орудия дубового агитпропа. Мертвая лексика, стандартный подход: советский народ, пограничники… и т. д. С одной стороны, это всех устраивало, но и, конечно, утомляло. А я никогда не учился журналистике, я до сих пор не знаю методик журналистских, потом я тогда культивировал новый язык, новые энергии, и я привнес в газетные материалы писательские стихии, писательскую культуру. Раньше этого не было. Даже Симонов в своих материалах должен был придерживаться стандартов советского военного агитпропа. Мне всегда, например, интересно было

изображать военную технику. Вот пошли танки, вот там ударили пушки. Мне интересно было посмотреть, как движутся эти армады, как под ними колышется земля, как наматывается на гусеницы стерня, выступает болотная жижа. Эта особая зрелищность удивляла редакторов. Газета мне доверяла, потому что я привнес в скудный черно-белый репортерско-аналитический язык красные цвета, хохлому. А потом эту же хохлому, но уже легированную, я перенес в описание военной техносферы».

Если не иметь доступа к подшивке журналов «Сельская молодежь» и «Семья и школа», то не так просто понять, чем спецкор «ЛГ» занимался полгода после Даманского, потому что он вдруг довольно надолго пропадает из газеты. Мир не стоит на месте: 21 июля 1969 года — Нил Армстронг высаживается на Луне, но событие это не зафиксировано даже и в актуальной «Сельской молодежи».

В «ЛГ» Проханов обнаруживается уже только в конце лета, в номере 34 за 1969 год (20 августа). «Вот они, убитые маоисты, лежат на голой каменистой вершине. Душный сонный ветер дует оттуда, откуда они пришли» — так начинается очерк «После боя. Репортаж из Восточного пограничного округа». Вместо мертвых тел — шлаки войны. «Вот кинокамера уткнулась оптикой в камень. Вот клок мундира с обугленной пуговицей. Сумка, и на дне ее замусоленная книжица Мао, два зеленых помидора, сухая лепешка. Вот стоптанные кеды, обращенные носами к Китаю, — видно, в страхе маоист побежал назад, скинув обувь». (Странное, игнорирующее здравый смысл, предположение, наводящее на мысли о чрезмерном пристрастии к метонимиям.) И только затем возникает, наконец, официальное клише: «маоистская провокация в районе Жаланашколь».

Жаланашколь — казахская деревня, где произошел второй пограничный бой с китайцами. Это был реванш, теперь уже русские перебили там целую китайскую роту. Проханов участвовал в этом вплотную.

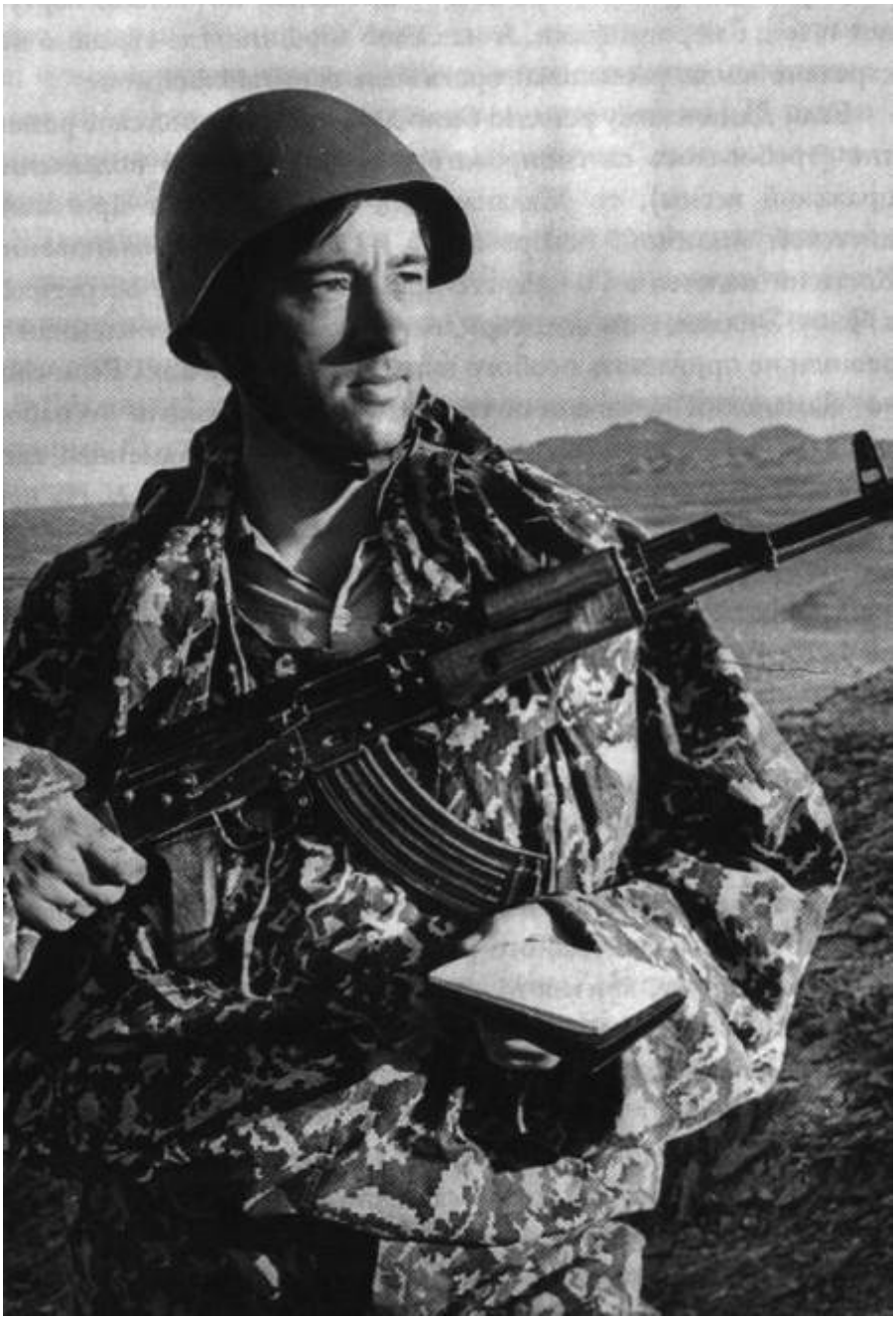
В «Надписи», где обнаруживаются панорамные, будто маслом писанные, батальные сцены событий на китайско-казахстанской границе, говорится о том, что журналист опубликовал «большие, зрелищно-яркие репортажи с границы, где была гекатомба с массовым убийством скота, отчаянная атака пограничников на латунной заре, трупы распоротых пулеметами китайцев с красно-лиловыми георгинами, надгробные рыдания матерей, вносившие в боевые репортажи дух „Слова о полку Игореве“, и оранжевый бульдозер с зеркальным ножом, танцующий на могиле железный танец краковяк».

Второй репортаж находим в «ЛГ» за 3 сентября 1969 года. Анонс на первой полосе: «Защитники Каменной сопки». По заданию редакции специальный корреспондент «ЛГ» А. Проханов побывал на советско-китайской границе на второй день после провокации у заставы Жаланашколь. Репортаж занимает почти всю вторую полосу целиком. Он состоит из фотографий («Захваченное вооружение», «Пуля и цитатник Мао», «Пограничники»), разговоров с участниками боя и их знакомыми — в частности, с девушкой Надеждой Метелкиной, вспоминающей погибшего бойца.

Корреспондент опять пользуется шерлокхолмсовской методологией, восстанавливая картину боя по деталям.

> «Я лежу рано утром на сопке Каменной. Здесь еще живы следы недавнего боя. На склоне валяются пустые автоматные магазины, кольца от ручных гранат, обрывок письма. Вот пробитый китайский картуз, вот газета с иероглифами. А на самой вершине, где страшно исстреляна земля, рассыпана горсть мелких китайских монет».

Если Даманскому решено было дать пропагандистское развитие (требовалось смикшировать с этим событием подавление пражской весны), то Жаланашколь был отвергнут пропагандистской машиной. Вскоре после августовского столкновения Косыгин полетел в Пекин, где прямо на аэродроме встретился с Чжоу Энлаем, они договорились о прекращении полемики и решили не привлекать особого внимания к этому бою. Если слово «Даманский» слышали почти все, то «Жаланашколь» — набор звуков; а, между тем, именно там, на фоне сопки Каменная, сделана знаменитая постановочная фотография Проханова. На ней он предстает в образе советского солдата — в каске, с «Калашниковым», породистые черты лица, грудь колесом, плечи расправлены, тридцать лет. Он великолепен даже в советской военной форме, которую едва ли назовешь образцовой с дизайнерской точки зрения. Фотография источает соблазн, не думаю, что у страны, которая стала бы печатать ее на вербовочных брошюрах, были бы проблемы с призывниками.



Проханов с АК-47 и блокнотом на фоне сопки Каменная.

Интересно, что репортажи в «Литературке» были не единственным последствием его поездок на советско-китайскую границу. Мы располагаем косвенными свидетельствами существования некоего фантомного романа о событиях на Даманском. Во всяком случае, критик М. Лобанов (учивший, в

свое время, кстати, в Литинституте Пелевина) вспоминает в рецензии на «Последнего солдата империи» («Завтра», 1994,5 (10)), «как тридцать с лишним лет назад мне довелось по просьбе издательства „Советский писатель“ прочитать повесть не известного мне тогда молодого автора А. Проханова, местами навеянную, казалось, внешним увлечением Достоевским. Я рекомендовал эту повесть к изданию, отметив вместе с тем, что для самого Достоевского как гражданина события на Даманском были бы куда важнее, чем словесные эксперименты». Лобанов, похоже, путает: то был не роман, а пьеса. После публикации репортажей его по телефону находит режиссер театра имени Ермоловой Комиссаржевский — тот самый, что выведен в «Надписи» как Марк Солим, — и предлагает ему написать актуальную пьесу о событиях. Разумеется, он ухватывается за лестный заказ и буквально за пару недель пишет трехчастное драматическое произведение. В первой, фольклорной, части действие происходит в деревне, на солдатских проводах. Во второй начинается «экшн»: тревога в казарме, бой на границе, китайцы. В третьей были похороны, надгробные рыдания. Пьеса была принята с восторгом, уже прошел кастинг, актеры начали репетировать, но после встречи Косыгина с Чжоу Энлаем тема была закрыта и пьесу сняли с постановочного плана.

Даманский был не только его Аркольским мостом, но и местом, где в его сознании начал происходить «коперниканский переворот». Дело не в том, что он напрямую увидел войну, смерть и прочее, он почувствовал, что пограничники, которые были тогда департаментом Госбезопасности, так что в этих войсках было множество особистов, аналитиков КГБ, — это свои, потому что и ему, и им надо защищать границы от китайцев, и неважно, кто в каких погонах. Он — тот, кто всегда был чуть ли не диссидентом и находился в оппозиции официальной идеологии, — «вдруг оказался вмазанным, вцементированным в этот военно-государственный разведывательный кэгэбистский монолит». Проханов до сих пор иногда рассказывает на всяких ток-шоу про этот момент: первый бой, он ползет по льду рядом с особистом, бывшим врагом, и чувствует, что перед лицом внешней опасности они — союзники, свои, «родненький!».

Он внутренне солидаризируется с военными, воюющими структурами, и в нем срабатывают рефлексы, которые были заложены в семье и в школе, на что, собственно, и указывается в «Надписи», где Коробейников, отправляясь на Жаланашколь, выполняет задание офицера КГБ, сотрудничая таким образом с мегамашиной.

«Я оказался в военной среде на Даманском, там, где говорили о неизбежности большой войны с Китаем. Это не просто атака. Война с Китаем — а как отреагирует наш флот? а ядерный арсенал? а что будут делать наши окраины, а как поведет себя Варшавский пакт?.. А что чехи — они будут пятой колонной? Правильно, давить надо сук, чтобы они в спину не стреляли воюющей с Китаем красной империи».

«Работа в газете вывела меня на совершенно новую тематику, на новые круги, на новых людей. Это позволило мне войти в контакт с самыми разными средами, с самыми разными кружками человеческими. Именно через газету. И через газету началось мое огосударствливание. Через „Литературную газету…“».

В жаланашкольском эпизоде романа «Надпись» возникает полковник Трофимов, поначалу напоминающий толстовского капитана Тушина, а затем вдруг (не особенно мотивированно) превращающийся в мудрого жреца, китаиста-интеллектуала; переливающийся персонаж с двойным дном, он объясняет Коробейникову, что сегодня они заложили начало большого континентального конфликта, в котором через 70–100 лет будут участвовать их внуки. Любимая теория Проханова: рано или поздно, в XXI или XXII веке, в зависимости от стратегии США, Россия обречена на столкновение с Китаем, и Даманский — не случайный эпизод, но всего лишь пролог будущей драмы. Россия вынуждена решать, кому сдаться — Америке или Китаю.

«Китайская опасность — это вечный кошмар русского самосознания. Я думаю, он существует еще с XVII века, когда Китай был очень далеко и когда русские вообще китайцев не видели. Это было связано с нашими традиционными русскими ужасами, с Гогой и Магогой. Впервые желтую угрозу почувствовали в начале XX века — Блок, Розанов; советская цивилизация прожила, не думая об этом, и только на Даманском опять подступило. Пока вектор китайской экспансии направлен на юг в сторону Малайзии, Индонезии и Австралии. Но такая огромная масса, конечно, посылает своих гонцов и на Север, каждый гонец численностью в один миллион человек. Он нет-нет да и приходит на обезлюдевшие русские пространства. Мистически, метафизически эта огромная китайская цивилизация всегда дышала в загривок России. А уж когда Сибирь стала русской и когда, скажем, Арсеньев со своими

казачьими экспедициями пришел на земли Приморья, он там увидел огромное количество китайцев: фанзы, поселения. Наздратенко, губернатор Приморья, рассказывал мне, как казаки Арсеньева выжигали китайские поселения: по существу, экспедиция Арсеньева была не только топографическая, она была военной, связанной с этнической зачисткой территории: китайцы уже тогда мощно двигались, добираясь чуть ли не до Якутии».

— Расскажите, как эксперт в этом вопросе, о ваших прогнозах.

— Крайне ослабленная Россия, которая продолжает слабеть, стремительно теряя волю к историческому существованию, в лице своих будущих политиков будет постоянно маневрировать между Китаем и Америкой, пытаясь найти у Америки защиту от китайской угрозы. Я был знаком, дружил с американцами, которые страшно боялись заселения Сибири китайцами, Китая с его гигантской экономикой, колоссальной антропомассой и мощнейшим экспансивным вектором. И был проект американизации Сибири, чуть ли не установления «першингов» на китайской границе. И я думаю, что появление сейчас американских баз в Средней Азии — это отчасти выполнение того плана. Американизация Средней Азии направлена не столько против России, сколько против Китая. С другой стороны, Россия должна постоянно спекулировать на имеющемся в российском сознании антиамериканском факторе, заверять китайцев, что в будущем конфликте Китая и Америки, который, видимо, неизбежен, Россия будет занимать прокитайскую позицию. Отсюда такое осторожное отношение к Тайваню, отказ от приемов ламы и прочее. Но дело в том, что та часть американской элиты, скажем, бушевской элиты, которая рассчитывает на Россию в своих столкновениях с исламским миром — раз, и в будущем крупном столкновении с Китаем — два, она может быть сменена другой, контрбушевской элитой, либеральной, демократической элитой, которая просто разыграет Россию, обменяет ее на стратегическое время, кинет Китаю российскую кость и получит передышку на весь XXI век. Поскольку американцы будут переваривать и поглощать мир целиком, неолиберализм ведь ненасытен, в какой-то момент они подойдут вплотную к проблеме Китая. И там, внутри этого жуткого треугольника — Китай, Индия, Пакистан — заложен огромный конфликт, готовый взорваться изнутри. И этот

конфликт, я думаю, в какой-то момент американцы будут разыгрывать. И если, скажем, Ангола или Мозамбик, Никарагуа были локальными конфликтами в относительно мало населенных районах мира, а я видел, как этими конфликтами пользовались великие державы, чтобы держать в напряжении целые континенты, я думаю, что Кашмир какой-нибудь может превратиться в кошмар, он может затянуть в свою жуткую воронку миллиарды китайцев, и индийцев, и пакистанцев. Можно раздуть такой гигантский пожар, который отвлечет эти матки, из которых извергаются народы. Это отвлечет их от Европы, от России, и они будут поглощены непрерывной бойней, потому что эти народы достаточно легко управляемы и провоцируемы, особенно Индия и Пакистан. Поэтому русское будущее в свете этого страшного гипотетического конфликта тоже представляется проблематичным, потому что конфликт будет проходить на границах России. Если между Индией и Пакистаном или Индией и Китаем произойдет ядерное столкновение, возникнет гигантский выброс населения. Они побегут в Афганистан, они побегут в Киргизию, они побегут в республики Средней Азии и, конечно, они хлынут сюда, в Россию, где много пустоты, где много рек, где много нерастраченных лесов, где мало русских.

Глава 9

Нравы литераторов начала 1970-х. Короткое путешествие в мир люблинских йогов. Битов и его доха.

Автор предпринимает попытку описать «Их дерево» языком аннотаций к DVD-дискам

Был ли кто-нибудь, кто скептически отнесся к его рассказам о «встрече с ангелом»? Нет, но ведь он и не трепался о своем «лопасненском ужасе» (или пароксизме счастья) на всех углах, только людям, которые могли это понять. Их реакция, впрочем, также была неоднозначной. Отец Лев предложил ему быть осторожным, поскольку «это мог быть дьявол, а не ангел. Это могло быть прельщение. И у тебя не могло быть уверенности в том, что не Сатана явился и должен тебя прельстить». Это его огорчало: «Я думал, что я-то испытал блаженство, и то, что я видел и чувствовал, этому предшествовали совершенно благие состояния». Пробовал ли он отнестись к феномену епифании с обычной своей иронией? «Нет-нет. Я был поражен. Как я мог отнестись с иронией, например, к рождению ребенка своего? „Это не мой ребенок, это бастард?“ Нет, это было полное знание того, что мне ответили на мой огромный запрос. Это был запрос всей моей предшествующей жизни, всего собирания этой жизни. И я был счастлив, что мне ответили».

Официально получив статус писателя, в 1972 году он покидает штат «Литературки», разумеется, оставшись там одним из любимых фрилансеров, постоянно навещая своего попечителя Сырокомского и поддерживая отношения с коллегами. Его включают в составы разных делегаций, причем не только в соцлагерь, но даже и в капстраны. Он раз и навсегда переходит в разряд обеспеченных людей, которые в состоянии каждый вечер приглашать подруг и поклонниц в коктейль-бары, угощать их шампань-коблером и даже снимать, на всякий случай, гарсоньерку, что, впрочем, по тем временам было неразорительно. Деньги поступали на сберкнижку, супруга следила за хозяйством. Через некоторое время он приобретает красный «Москвич», тот самый, которым хвастался «шеф» в «Бриллиантовой руке»: «новая модель!» — и забывает о метро, автомобиль был с норовом, получил шутливое прозвище

Строптивая Мариэтта, но худо-бедно возил его, а если взбрыкивал, то хватало и на оплату услуг таксистов. По писательской линии он получает шикарную квартиру, пока еще в Текстильщиках, но зато 4-комнатную (тещину «двушку» забирают, но предоставляют ей однокомнатную), и у него появляется отдельный кабинет, наконец, у него формируется писательский распорядок дня, когда он в Москве, разумеется.

С утра он пишет («если середина романа — тяжелое утро, отлынивание от стола, усталость, преодоление через кофе, глядение в окно и работа в течение целого дня»). После шести, умаявшись от кабинетной работы, отправляется в ЦДЛ и на протяжении 3–4 часов ведет светскую жизнь — среди вкусной еды, эксцентричных коллег, ироничных критиков и интересных женщин. «ЦДЛ был такой маленькой планетой, луной, которая вырвалась из советской земли. На этой луне творились вещи, невозможные для советского строя. Я думаю, отчасти ЦДЛ был родиной диссидентства, потому что диссидентство питалось самиздатом, писательскими кулуарными вещами». Оказываясь на верхней палубе этого ковчега, в Дубовом зале, он имел обыкновение заказывать бутылку мукузани, бифштекс по-сталински и мороженое. «Здесь была дешевая хорошая кухня, и ЦДЛ славился своей вырезкой: можно было взять большой напряженный кусок, который шипел еще, был румяный, брызгал соком — коронная еда Дома литераторов».

Здесь они «эпикурействовали»: залезали, вместе с приятелем Валерием Осиповым, в снаряженный для пышных писательских похорон гроб, утихомиривали, едва ли не с милицией, автора «Факультета ненужных вещей» Домбровского, путались с цэдээловскими дамочками из администрации, дебоширили, сплетничали и дискутировали о беллетристике с официантками, которые, уверяет Проханов, были абсолютно включены в литературный процесс и среди них даже были пламенные читательницы «Литературной газеты». Если официантки наскучивали, ехали в какой-нибудь салон — интеллигентский бойцовский клуб, где можно было поспорить о литературе с тяжеловесами, он туда не рвался специально, но и не отказывался, если звали. Ему не нравились специфически литераторские места, «коновязи, где стояло много-много писателей». Под литераторскими местами подразумевались квартиры вокруг метро «Аэропорт», гнездовье вокруг Шкловского и его частой гостьи Лили Брик, которые «сидели там, словно пауки, и управляли литпроцессом, ковали либеральную элиту». Эффектного городского деревенщика водили туда на просмотры, и он обычно нравился. Ему льстили, сравнивали с молодым

Маяковским, но его раздражало то, что им нужно нравиться — специально шутить, гримасничать, разыгрывать ужимки — вся эта семиотика поведения, как сказал бы другой писатель.

Анатолий Ким, вспоминая о Проханове начала 70-х, говорит: «Это был молодой, сильный, блистательный завоеватель Москвы из провинции. Парижский Люсьен в московском варианте». В обществе он разыгрывал известную поведенческую схему: оказываясь среди писателей, книжных червей, позиционировал себя как военкора с опытом пребывания в горячих точках, на Даманском и Жаланашколе, тогда как журналюгам всегда мог утереть нос новенькой книжкой — они были шушера, поденщики, а он литератор из другой весовой категории.

Он наведывается в «салон» режиссера театра Ермоловой Марка Комиссаржевского, которому написал пьесу о Даманском. У Комиссаржевского был респектабельный дом на Сретенке — «чисто еврейский дом: жена-актриса, там собирался весь еврейский бомонд, приходил Утесов», «рафинированная среда еврейских интеллектуалов». Комиссаржевский был заинтригован Прохановым, пришельцем из другого яркого мира, ввел его в свой круг, интересовался его увлечениями — православием, фольклором. Проханов к этой дружбе относился с некоторой сдержанностью — «я был разведчиком из другого мира в его мир» — но они бывали друг у друга в гостях, их жены общались.

Новоиспеченный член Союза писателей. Рисунок А. Болотникова.

Он завораживал интеллигентскую публику байками из жизни лесников, саркастическими замечаниями, метафорами, способностью философствовать в режиме реального времени. Вступив в Союз писателей, он активно воспользовался правом выступать в писательской среде. Однажды, году в 73-м, на какой-то писательской конференции, он зачитал с трибуны свое эссе, написанное по мотивам книги американского политолога и футуролога Тоффлера — нечто о модели поведения личности в обществе вообще и в советской системе в частности. Предполагалось, что писателям, интеллектуалам с лицензиями, будет интересно выслушать это, но на самом деле идея выступить

оказалась весьма эксцентричным поступком: на встрече, где писатели интригуют, борются за литфондовские путевки, премии, устраивают склоки, он стал делиться с ними своими открытиями в области феноменологии поведения. На него зашикали, начали захлопывать, особенно неистовствовала Майя Ганина и ее муж Юрий Сбитнев, оба русопяты-почвенники, они начали орать: «Говори по-русски!» Он клял себя на чем свет стоит (не зная броду, не суйся в воду), но не повел бровью и дочитал свое сообщение. Двадцать лет спустя супруги Ганины, израненные ельцинским режимом, приползут к нему в «День» зализывать раны. Еще на каком-то помпезном цэдээловском вечере он на вопрос ведущего, кто из писателей повлиял на него в наибольшей степени, брякнул: «Набоков». Вечером ему позвонил критик Феликс Кузнецов, который едва ли не поседел от этой реплики: «Как же ты мог? Ты ведь не считаешь, что Набоков на тебя повлиял больше, чем деревенщики?!»

Гибель героя в финале «Вечернего гуся», второй повести из его первой книги «Иду в путь мой», неслучайна. «Мне кажется, она завершает собой очень важную, наивную часть вашей жизни, — говорит в „Надписи“ одна из читательниц Коробейникову. — И вы прощаетесь с ней». Действительно, первая книга воспринималась как итог определенного этапа, точно такую же вторую нельзя было писать. Уйти из деревни по-английски, однако, ему не хватает сил: через год, в 1972-м, он компилирует свои очерки за последние пару лет и отправляет в печать еще одну, в шестьдесят страниц, книжечку — «Неопалимый цвет», в мышиной серии «Письма из деревни».

На обложечной фотографии мы видим молодого человека, похожего на десантника, переодетого в хиппи: на нем белая, в цветочках, русская рубаха, скроенная, как утверждает Проханов, из старинных мордовских холстов, расшитых его женой флористическим орнаментом по оригинальным рисункам, он в самом деле несколько раз щеголял в ней, в Москве, разумеется. Этот сельскомолодежный франт чинно заливает о своих этнографических экспедициях («который год я брожу по деревням», «я жил у поморов», «однажды в омских лесах я набрел на деревню»), грамотно имитирует задушевную интонацию: «вы потолкуйте с здешними тружениками» — и не стесняется републиковать в отдельной книге фразы вроде «от того, какую закваску получит сегодня ученик средней школы, зависит его дальнейшая способность получать образование…» Автор, задающийся вопросом, «каков он, сегодняшний герой деревни?», продолжает жестко эксплуатировать тему синтеза двух

культурных волн — крестьянской духовности и городской «итээровской» индустриализации: «в тайге сидит вчерашний кержак перед телевизором системы „Орбита“ и смотрит стыковку космических кораблей». В сущности, «письма из» почтенный жанр, да и интенсивно, с огоньком изложенные соображения Проханова, касающиеся народной песни, игрушки, ремесла, скульптур Цаплина и книжных иллюстраций Мавриной небезынтересны, но, по правде сказать, все эти републикованные «Балалайки» и «Ярмарки» несколько уже напоминают автопародию: ресурс этого его деревенско-задушевного стиля 60-х явно выработан, пора было если не экспериментировать с формой, то закачивать новый материал.

Обеднение этого рудника, впрочем, было его внутренней проблемой; посторонние наблюдатели могут различить лишь сигналы успеха. Печь поехала: книга, а тем более две-три, была скоростным лифтом, поднимавшим человека в социальной иерархии. Он получал возможность посещать ЦДЛ, требовать профсоюзные путевки со скидками, а главное, обзаводился индульгенцией на вольную жизнь, охранной грамотой против обвинений в тунеядстве, в сущности, единственное, что от него требовалось, — время от времени являться к окошечку с надписью «Касса», чтобы расписаться в ведомости за гонорар и предоставить новые рукописи. Ну еще, пожалуй, поддерживать хорошие отношения с редакторами, принимать участие в писательской общественной жизни: ездить в командировки, ходить на собрания и пару раз в год появляться на субботнике, за московской писательской организацией, кстати, была закреплена территория Зоопарка, поэтому каждое 22 апреля слоны, кенгуру и ламы могли попросить автограф у самых ярких литераторов эпохи.

Один из самых выдающихся советских трэйнспоттеров, он был эксцентриком не только на публике, но и в быту. С подачи отца Льва он увлекается «всеохватной йогой». По Москве ходили замусоленные ксерокопии книги «йога Рамачараки», на самом деле американца конца XIX века Аткинсона, эксперта по дешевому эзотеризму, поразившие его «метафизической задачей раздвоения личности». Что вы имеете в виду? «Джани-йога предполагала выделение из личности субстрата, который не подвластен превращениям земным. Одна часть „Я“ остается, тебя могут сжечь, пытать, ты можешь грешить, тебя могут терзать… Другая часть „Я“, астральная, может наблюдать за всем этим, оставаться свободной от трансформации жизни». Нечто подобное он проделал в «Политологе», где разделил себя на Проханова и

Стрижайло: первый остался свободным, а второй был отдан на растерзание демонам жизни.

Погружение в эстетику нью-эйджа, изводом которой, по сути, была и его первая книга, и весь этот эпизод с лопасненским ангелом, достигло угрожающих масштабов к лету 1972 года. Он чуть ли не целыми днями простаивал на голове, читал Евангелия, задыхаясь от дыма горящих шатурских болот, трусил по утрам по ул. Губкина, записался в бассейн в Люблино, где познакомился с группой эзотериков, читавших книгу Брэга по диетологии, и обсуждал с ними античную философию. Вступление в этот клуб софистов стоило ему всего гардероба, потому что он стал пить только дождевую воду, ел исключительно салаты и орехи и «сбросил примерно сто килограммов»: «я был как шпага».

Однажды ему позвонили из газеты «Правда» и — раз уж вы такой многообещающий — предложили прокатиться на целину, в Казахстан, и написать очерк. Это было не то предложение, от которого отказываются, и поэтому очень скоро он уже гонял на самоходных комбайнах, трясся в грузовиках, доставляющих пшеницу на ток, и точил лясы с казахскими фермершами. Он, как всегда, дал «ярчайший, огнедышащий материал», эффектно выделяющийся среди бесцветных чопорных правдинских текстов. Это был именно что «писательский» очерк, «с обилием красочных сцен, романтическим изображением людей и машин, с философией социальных проектов, где освоение целины приравнивалось к созданию океанического флота и высадке на Луне». Пошло называть литературное произведение «аппетитным», но даже спустя 30 лет по прочтении этого очерка хочется послать курьера в булочную за свежим ситным; ничего удивительного, что редактор отдела, отправивший его в Казахстан, при встрече с молодым автором обнял и расцеловал его. Где-то на заднем плане этой сцены в «Правде», кстати, можно разглядеть Болдина, будущего гэкачеписта, который также восхищался его писательской манерой. В общем, его вторым тылом, хлебным во всех смыслах, стала газета «Правда». Кроме того, эта поездка дала ему материал для одного из рассказов — «Трактат о хлебе».

Жизнь казалась ему страшно насыщенной. «Я выпустил книгу и через это невольно соединился с полем огромного напряжения», — признается его персонаж Растокин. Впечатлений от всех этих элементов сладкой жизни было много, неудивительно, что свою настоящую вторую книгу он пишет именно об этом. Это неплохой источник сведений о его жизни в начале 70-х — хотя, конечно, сильно ретушированный в силу

того, что полностью говорить некоторые вещи в то время не представлялось уместным.

В 1974 году на прилавках «Москниги» появляется сборник А. Проханова «Желтеет трава», открывающийся шикарным фотопортретом: хлыщ, с ушами, носом и декадентскими бачками, позирует в профиль, он укутан в умопомрачительную купеческую доху с воротником размаха крыльев маленького самолета. С дохой связана одна комическая литературная история. Этот предмет изначально принадлежал А. Битову, с которым Проханов, правда, очень недолго, общался. Они познакомились в начале 70-х, во время турпоездки по странам Бенилюкса, разговорились в автобусе и показались интересными друг другу. За бутылкой гиневера они обсуждали местную раскрепощенность, воздействие амстердамских неоновых реклам, химических ярких цветов на подсознание — в общем, все, что было в новинку гражданам империи зла. В Голландии они оказались по линии Общества дружбы, в составе советской делегации из писателей и артистов. Западная Европа, что характерно, поражает Проханова не архитектурой, не музеями и даже не товарным изобилием, а — сексуальной революцией, «бьющей отовсюду эротикой». Он был молодой человек из чопорной страны, «а там все это било, дышало, доводило до опьянения». Он использует все свободное время на то, чтобы всласть пошляться по кварталам красных фонарей. Его опьяняет то, что женщину можно купить, как буханку хлеба, абсолютно легально. Он отправляется в кино на порнофильм и рассказывает об этом попутчикам как о подвиге («На меня смотрели как на героя, сами боялись ходить. Даже Битов, раскованный человек, и тот боялся»). «Это было тлетворно, и развратно, зрелищно». «Битов — по-своему блестящий человек. Я поражаюсь его способности непрерывно изысканно мыслить вслух. Тогда меня поражала его блистательная способность импровизировать — не рассказывать, а именно мыслить, создавать интеллектуальные конструкции, категории, гносеологию; я не был способен к такого рода разговорам». По возвращении в Москву он попытался продолжить с ним отношения. «Помню, мы оказались в одном доме у общих знакомых, прекрасно провели время, пили вино, но в конце этого вечера он сказал мне: „Я хочу сделать тебе приятное. Вот у меня есть изумительная доха из оленьего меха, я тебе дешево могу ее продать, ты мне симпатичен“. И он показал мне эту доху — хорошую». Проханов тут же вынул деньги и рассчитался с импровизатором: «сумма была небольшая, не так чтоб бросовая, но я подумал — ничего себе, экстравагантная доха, тогда никто такое не носил». На следующий день он залез в автобус, набитый

битком, и, когда показалась его остановка, стал протискиваться к выходу. По мере продвижения он слышал вокруг себя странный ропот, глухой гул, но, в задумчивости, не понял, что все это относилось к нему. Доха, однако ж, оказалось, была жутко линючей, в силу плохой выделки: «Я был, как малярный валик, которым красят стены, — так же проходил мимо публики, оставляя значительные куски этой дохи на пальто и костюмах». Когда пассажир покинул салон, весь автобус чертыхался и смахивал с себя куски свалявшейся шерсти. «И меня больше всего поразило вероломство Битова: как он мне, своему товарищу, может быть, даже начинающему другу, мог продать негодную, фальшивую гнусную вещь, избавиться! Я это расценил как жуткое предательство — представляете: интеллектуал, „Пушкинский дом“, а поступил со мной, как мерзкий цыган, надул лошадь через заднее отверстие, продал, а когда наездник кинулся на ней скакать, она тут же сдулась».

В «Желтеет-траву» упакована повесть «Их дерево», над которой он работал в 1973-м. Молодой перспективный автор Растокин переживает творческий и семейный кризис: он уже вырос из своей любимой первой книги («отсветы старины», «томление прошлым» — «все это кончилось, сметенное ярким напряженным потоком новой реальности»). В принципе, он собирается воспевать мощь индустрии, мистику пространств, силу армии, гигантскую технотронную цивилизацию, но пока, однако ж, только еще настраивается на новую тематику, сачок уже есть, но бабочка-метафора времени еще не поймана. Находясь в подвешенном состоянии, он, предсказуемо, погружается в двусмысленные отношения с Еленой, редакторшей своей первой книги. В результате семейную атмосферу в доме Растокиных, несмотря на двоих замечательных детей, трудно назвать идеальной, жена закатывает ему истерики, и небезосновательно. Они тайно созваниваются с этой Еленой, встречаются в издательстве, ужинают в ЦДЛ (недурная сцена, хотя, конечно, уступающая аналогичной в «Последнем солдате империи», где две гарпии, Алла и Наталья, испражняются на «соловья Генштаба»), посещают ипподром, фланируют по Москве, накачиваются коктейлями и участвуют в дискуссиях о будущем современной литературы. Постельные сцены отсутствуют, замененные экзальтированными диалогами влекущихся друг к другу коллег: «Знайте, мы созданы друг для друга!.. Я была бы с вами, родила вам двенадцать сыновей… приняла бы в себя всю вашу силу, и дети наши были бы прекрасны!..» «Вы издали мне книгу… Вот наше детище… Это тоже немало…» У Елены тем

временем тоже все не слава богу: муж, инвалид-офицер, боевой летчик, ничего не знает о ее отношениях с Растокиным и мучительно переживает свое раннее старение, пытаясь сохранить их хрупкое семейное счастье. Все четверо мечутся по Москве, то и дело впадая в странные полуобморочные состояния. Финал, да и весь сюжет, собственно, напоминает фильм «Осенний марафон», снятый чуть ли не в этот же год. Растокин влюблен, боится изменять жене, а с другой стороны, ему, некабинетному писателю, необходим опыт, муки неверного мужа и недосформировавшегося писателя бесконечны.

«Их дерево» — редкий ранний прохановский текст, достоинства которого очевидны современному читателю без комментариев экскурсовода. Выражаясь языком аннотаций к DVD-дискам, это адюльтерная мелодрама, в которой описаны отношения офисной служащей в издательском бизнесе с многообещающим фрилансером. С одной стороны, их толкают в объятия друг к другу влечение и корпоративные отношения, с другой, оба связаны семейными обязательствами, в результате чего возникает классический конфликт чувства и долга. Особенное любопытство вызывает сцена, когда жена Растокина изготавливает вуду-чучело ненавистной соперницы. «Из темноты, из верхнего угла, из-за шторы, как из-за театрального занавеса марионетка, на тончайших нитях качалась она, ненавистная. Маленькая, с темненькой челочкой, с узко обтянутой талией, без рук и без ног. Смеющиеся тонкие губы. У остренького, обтянутого батистом плечика приколот красный цветок. И исходят от нее запахи вина и духов и едва заметного сладкого тления». Судя по тому, что позже именно жена помогала Проханову делать, например, чучело Евтушенко, можно предположить, что зомбификацию практиковала не только жена Растокина.

«Мои исповеди стали достоянием всех, и вот я уже не принадлежу себе, вокруг меня началась работа», — фистулой разливается Растокин. Можно предположить, что прохановские знакомые восприняли «Их дерево» как текст почти эксгибиционистский. В самом деле, удивительно, как он не постеснялся напечатать это: в Растокине без труда узнается автор «Иду в путь мой», а в Елене — редакторша этой книги Валентина Курганова. Я видел эту женщину на фотографии с его юбилея, 50-летия, очень видная дама. «Она помогала мне во время подготовки книги и оделила меня таинственным опытом. Вводила меня в литературу, экспонировала. Была вполне женственна и привлекательна, старше меня, мы очень часто появлялись в ЦДЛ. Богемная интересная женщина, она очень любила выпить, говоря, что чувствует себя не очень комфортно

рядом с мужчиной моложе ее. Этот роман действительно был платоническим, это не срывалось в вещи примитивные. У меня в жизни было два или три платонических романа, именно в молодости, лет в двадцать восемь, после ничего не получалось с платоническими отношениями. Это странное взаимодействие через тексты, через странные соки, которые мы выделяли, как две рептилии или насекомые, клейкие жидкости, которые нас друг к другу влекли; она меня мучила моей от себя зависимостью — вдруг она закапризничает и выкинет? — с другой стороны, окружала меня какой-то медовой сладостью, лестью, непрерывной музыкой внушения. Это был удивительный опыт, ужасный и восхитительный». Что ж в нем такого ужасного? «Эти странные, вековечные, пары, диполи: жертва и палач, шут и царь, врач и пациент, художник и модель. Редактор и писатель — классический диполь: с одной стороны, происходит отторжение, с другой — страстное глубинное соитие, проникновение. В редактировании очень много эротического, связанного с соединением материй энергии и плоти».

Каким бы пышноцветным ни казалось сейчас «Их дерево», в смысле карьеры никаких плодов оно ему не принесло. Насквозь литературная история про околоцэдээловский адюльтер, переполненная явно городскими сравнениями и метафорами, скорее подпортила ему репутацию. Эта «рококошная», декорированная вычурными сравнениями и метафорами проза уж точно не была похожа на «деревенскую»: «Бассейн „Москва“, налитый зеленой влагой, был похож на воронку упавшего метеорита, взорвавшего холм вместе с храмом. И если нырнуть среди розовых гладких женщин, жилистых, быстрых пловцов, то на кафельном дне отыщешь осколки витражных стекол, изразцы, иконки». «Он проходил телефонные будки, как красные сафьяновые футляры с драгоценно-металлическим блеском автоматов». Критики язвили и сочли «Дерево» чересчур салонным, что в эпоху диктатуры Распутина было дурным тоном: «ты давай поезжай куда-нибудь в уральскую деревеньку и привези оттуда какую-нибудь производственную сагу», объясняет Проханов. И действительно: нравственные искания нравственными исканиями, но видно, что здесь он явно в чужой, и ладно бы битовской, а то ведь и чуть ли не набоковской, дохе.

Приключения дохи, тем временем, продолжались. Завсегдатай ЦДЛ, Проханов имел знакомства даже среди гардеробщиков и умасливал их по мере возможности. Те, в свою очередь, оказывали щедрым клиентам ответные любезности, а именно: подхватывали генеральские шинельки своих знакомцев,

помогали им всунуться в рукава и, главное, помещали их одежду на вешалку для избранных, без номерка, что во время многолюдных мероприятий было крайней удобно, поскольку можно было миновать гигантский хвост из всякой шушеры и, на глазах у завистников, триумфально получить пальтецо без очереди. Однажды, явившись за дохой, он обнаружил, что та висит отдельно, на дальнем крючке, «словно прокаженная». Эта битовская доха, впрочем, недолго фраппировала окружающих. Однажды, все в том же ЦДЛ, после очередного кутежа он явился получать ее, и выяснилось, что дохи-то и нет: ее похитили. Кто похитил? «Неизвестно кто, но он здорово потом поплатился. Скорее всего, это был Битов: решил вернуть себе собственность, чтобы потом продать ее второй раз».

Глава 10

Путешествия по Сибири и Дальнему Востоку в обществе эфемерной женщины. Плавание по Оби с Пчельниковым.

Встреча с индейцами. Автор диагностирует у 35-летнего Проханова беременность. Описание злоключений Проханова в Нигерии.

Роман «Время полдень» и обстоятельная беседа о поэтике «техносферического романа»

К началу 70-х Проханов попадает в заветную обойму — «Литературку» и «Правду». Он отменно зарекомендовал себя как компетентный этнограф и бравый военкор. Он с энтузиазмом тянет лямку, которую прочие золотые перья, охочие до поездок в капстраны, считали для себя зазорной. Отправляется в вояж по БАМу. Летит в Тынду. Проводит несколько недель на строительстве дороги Абакан — Тайшет, «на ровном плато Казахстана, как в „Буранном полустанке“ Айтматова». «Сжигая в баках тонны топлива» — 12 командировок в год — он фактически становится литературным дальнобойщиком, со всеми плюсами и минусами этой профессии.

Пользуясь неограниченными возможностями (корочки «ЛГ» и «Правды» служили пропуском куда угодно: в кабину локомотива и самолета, в капитанскую рубку, в переполненную гостиницу), 35-летний трэвел-райтер накачивает себя Сибирью и Казахстаном, отличающимися от среднерусских ландшафтами, природой. Как у всякого человека, который хоть раз летал на восток дальше Урала, у него кружится голова от величины территории СССР. Он одержим часовыми поясами, у него развивается наркотическая зависимость от географии, пространственная булимия, он никак не может насытиться: «Это были броски во все ландшафты, во все континенты».

Он дорвался не столько до вип-зоны, сколько до гигантского стимулятора, позволяющего ему чувствовать себя в центре мирового циклона, властелином вселенной. Ему ударяют в голову не только сами пространства, но и их доступность. Обеспеченный скоростным транспортом, он больше не ходит пешком, как тот печной отрок с посохом, новые средства и новые скорости

порождают у него в голове ответную вибрацию и, некоторым образом, индустриальную революцию. Пока он еще не понимает, что станет трубадуром стальных роторов и бетонных градирен, но его энтузиазм по отношению к полатям и шесткам подостывает. То есть он по-прежнему калякает с благообразными селянами о видах на урожай буряка и притопывает ногой в такт, когда слышит задорную мелодию гармони, но, похоже, это уже не те люди, которые вызывают в нем желание провести с ними побольше времени. Он постепенно возвращается к своим ракетам и самолетам, но на другом витке.

В начале 70-х он перекрещивает СССР в два масштабных броска: с Востока на Запад и с Юга на Север. После даманско-жаланашкольских приключений «Литературка» командирует его в долгий вояж вдоль китайско-советской границы. Заручившись этим мандатом, он летит в Иркутск, садится на головной электровоз и движется на Восток, через Байкал, строящийся БАМ, плывет по Амуру, во Владивостоке перепрыгивает на океанское судно и финиширует на Курилах. Словно Фродо, ощущающий на себе зрак Мордора, он все время чувствует цепкий взгляд из-за кордона, это почти идея-фикс; мертвые с Даманского и Жаланашколя остались в его памяти навечно. Даже распивая капотную рюмочку с героями своих очерков, он успевает заметить, что с вышки китайский пограничник видит в сверхдальний бинокль, как сверкают грани их стаканов.

Затем он прорезает Среднюю Азию, плавает по Каракумскому каналу, исследует оксюморонные «рыболовецкие совхозы в пустыне» (через оросительные системы в пески пришла Амударья). Он рыщет здесь не просто как жадный бытописатель, но упивается «футурологией», доподлинно зная, что, после того как Иртыш и Обь перебросят в Арал, здесь будет советская Калифорния. Скомбинировав впечатления от этих двух командировок, он в 1974 году свинчивает из уже напечатанных очерков и нескольких новых глав конструкцию под названием «Кочующая роза». Как и большинство тогдашних его текстов, это роуд-новел, роман о путешествии журналиста по Западной Сибири.

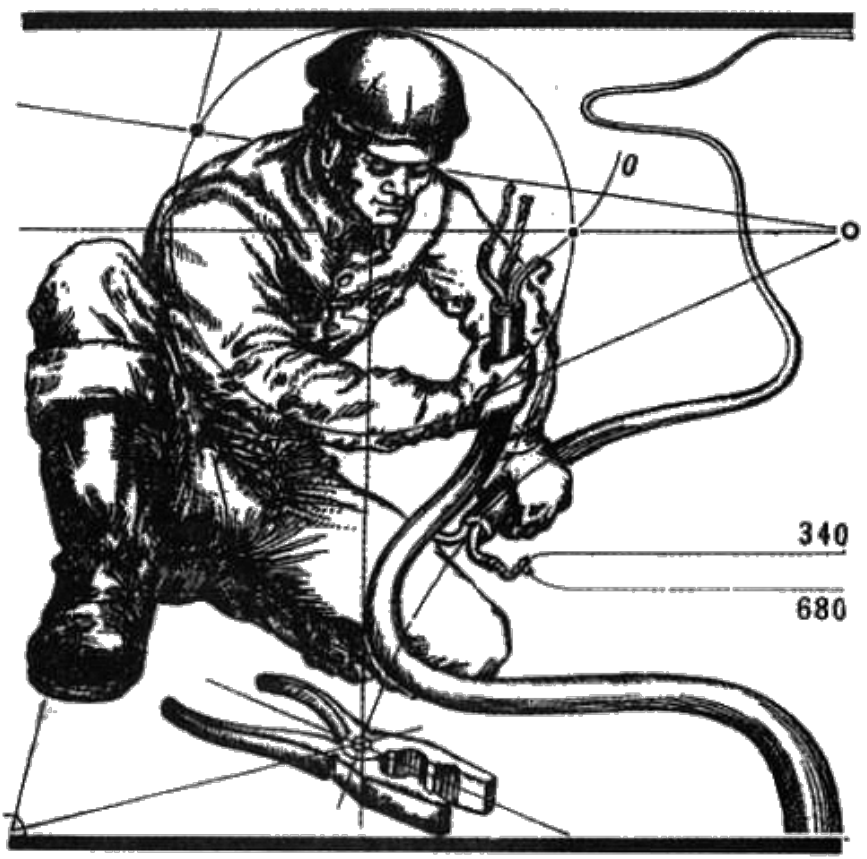
— Странный какой-то, по советским меркам, главный этот ваш герой, спецкор: в первой же главе знакомится в иркутском ресторане с какой-то эстрадной певичкой и уговаривает ее прокатиться с ним по Сибири, а та в течение месяца ублажает его, пока он транжирит свои командировочные.

— Так бывает, на самом деле.

— А что это за женщина?

— Это эфемерная женщина.
— Ясно.

Амуры под перестук вагонных колес с певичкой, которая более строгому редактору могла бы напомнить скорее плечевую девку дальнобойщика, разбавляют горячечные очерковые главы про электриков, зоотехников, комбайнеров, шахтеров и геологов. Сам Проханов не употребляет слово «конъюнктурный» и называет эти очерки «наивными», «романтическими», но скептик, несомненно, обратит внимание на их «советскость» — слишком уже демонстративно стопроцентное соответствие доктрине соцреализма. Они национальные по форме и социалистические по содержанию, почти анекдотично соблюдены все требования: типичность (узнаваемые новые люди), классовость (представлены все советские сословия, но преимущественно занятые физическим трудом), оптимистичность (счастливые труженики, вооруженные техникой, с надеждой глядят в будущее), партийность (они в восторге от общения с корреспондентом центрального издания), идейность (труд для них — творчество и подвиг).



Строитель газопровода. Рисунок К. Пчельникова.

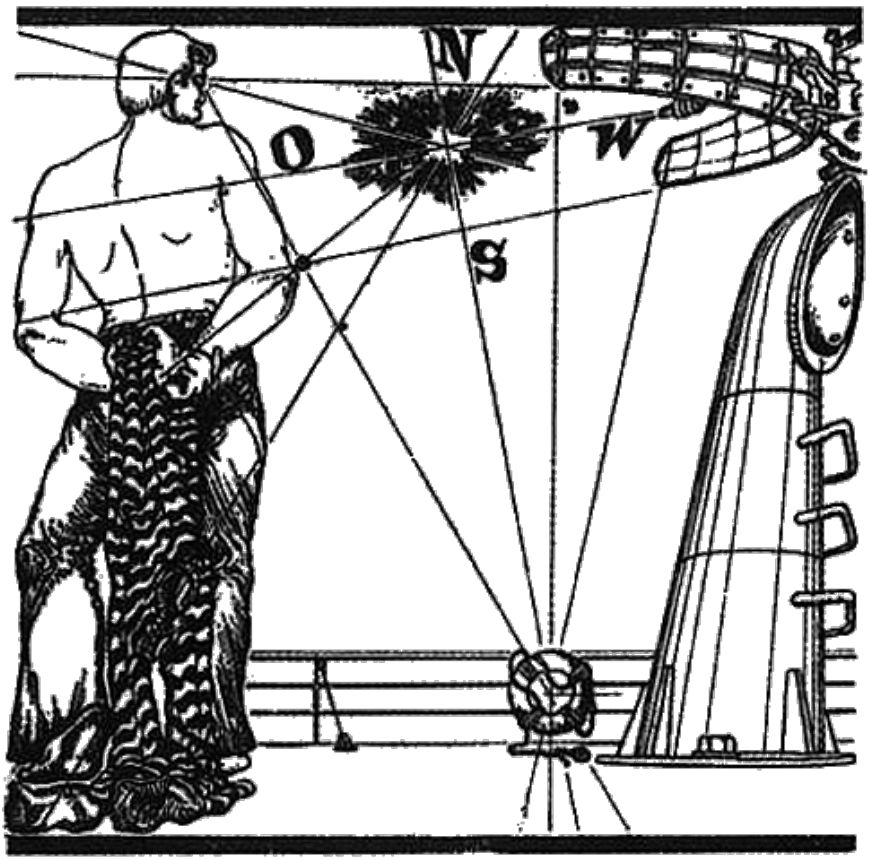
В романе «В островах охотник» герой, Белосельцев, оказывается однажды за ЦДХ, где, «как погорельцы, стояли скульптурные группы, оставшиеся от минувшей эпохи. Сталевары, шахтеры, строители спутников, солдаты непобедимой армии танцевали балетный танец среди рыжей пустыни сгоревшей империи». Это место очень похоже на романы Проханова середины 70-х. Утраченные вовсе либо маргинализованные социальные типы, эклектичная языковая каша, в которой картонными комками плавают недорастворенные публицистические штампы: он словно нарочно льет воду на мельницу своих оппонентов, полагающих, что в советское время он был конъюнктурщиком и лакировщиком. Тут невозможно что-либо доказать наверное, разве что, зная его журналистскую репутацию, предположить, что большинство этих портретов соответствовали реальности. Да и в самом проекте нет ничего запредельно «совкового»: очеркист рыщет по Сибири и Казахстану в поисках людей будущего, с не меньшим энтузиазмом журнал «Афиша» вот уж сколько лет сканирует Москву в поисках «нормальных» (имеется в виду похожих на жителей Лондона) людей. Наверняка когда-нибудь и те и другие встретятся на задворках ЦДХ.

Внимательному читателю Проханова часто приходит в голову, что почти все, даже его вопиюще старорежимно-советские, тексты, легко реанимируются — в силу прочности базовой конструкции. Вот и ревизия советско-китайской границы вполне может оказаться актуальной.

Любопытная (и, разумеется, натянутая) параллель к «Кочующей розе» — текст того же года о путешествии по Америке, и тоже, в общем, состоящий из гимнов труду — «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта М. Пирсига. Само собой, они выполнены в разных манерах, но суть-то от этого не меняется. «Будда… с тем же удобством расположился… в коробке передач мотоцикла, что и на горной вершине или в лепестках цветка» — в сущности, это ведь то же самое, что прохановские проповеди о том, что коммунизм не только в программе партии, но и в делах «электрических людей». Не надо думать, что Проханов был клоуном в стране-цирке, не имеющей отношения к тому, что происходило за ее стенами: он просто бежал по параллельной дорожке и часто выигрывал в скорости.

Тексты первой половины 70-х позволяют диагностировать у

тридцатипятилетнего Проханова особого рода беременность. Он то и дело твердит о «зарождении какого-то кристалла». «Я повернулся от прошлого к будущему. Я езжу и не могу насмотреться. На моих глазах растет, формируется невиданной мощи кристалл! Цивилизация во всей ее красоте и мощи! Мы с вами в этом кристалле, на его острейшей грани! Я верю в нее, как в чудо! Она должна искупить все прежние заблуждения! Все прежние блуждания вслепую!»



Инженер будущего. Иллюстрация К. Пчельникова к «Кочующей розе».

Кристалл (структура будущего — твердая, рационально-симметрично-гармоничная, функциональная, экономная, многогранная и одновременно иррационально-прекрасная), формирующийся под давлением пространств, — главная метафора 70-х; он даже статью о своем коллеге назовет «Кристаллография Маканина» (да что там 70-х — метафора докажет свою жизнеспособность тридцать пять лет спустя, когда

«план» Василия Есаула, протагониста из романа «Теплоход „Иосифа Бродский“», будет описан как «драгоценный кристалл», «конструкция»). В «Вечном городе» об этом уникальном образовании будет сказано более определенно: «кристалл нового общества, нового народа, нового человеческого типа». Кристалл — новая форма материи, результат преодоления наличного состояния вещей под воздействием энергии, вложенной в проекты преобразования природы.

Отцовством этой метафоры он обязан Константину Пчельникову — тому самому, которого притащил в свое время в «Жизнь слепых» и который, кстати, проиллюстрировал «Кочующую розу». К началу 70-х окончательно разочаровавшись в перспективах официальной советской архитектуры, Пчельников начал заниматься «логикой поведения миграционных потоков». Эта тематика требовала постоянных разъездов, и вместе с Прохановым они совершают несколько вояжей по русскому Северу и Карелии, и, главное, путешествие по Оби, от Казахстана до самого устья, Салехарда, через Сургут, Тазовую, Тюмень, которое они предприняли в 1973 году, зафиксировано в нескольких прохановских текстах.

Именно с Пчельникова Проханов в конце концов «снял» своего нового героя — футуролога, человека будущего.

По-видимому, портрет друга наложился на образ, вынесенный из чтения книги Эрика Тоффлера «Шок будущего», которая вышла в 1970-м и очень быстро появилась в СССР в виде ксероксов, это исследование было известно Проханову.

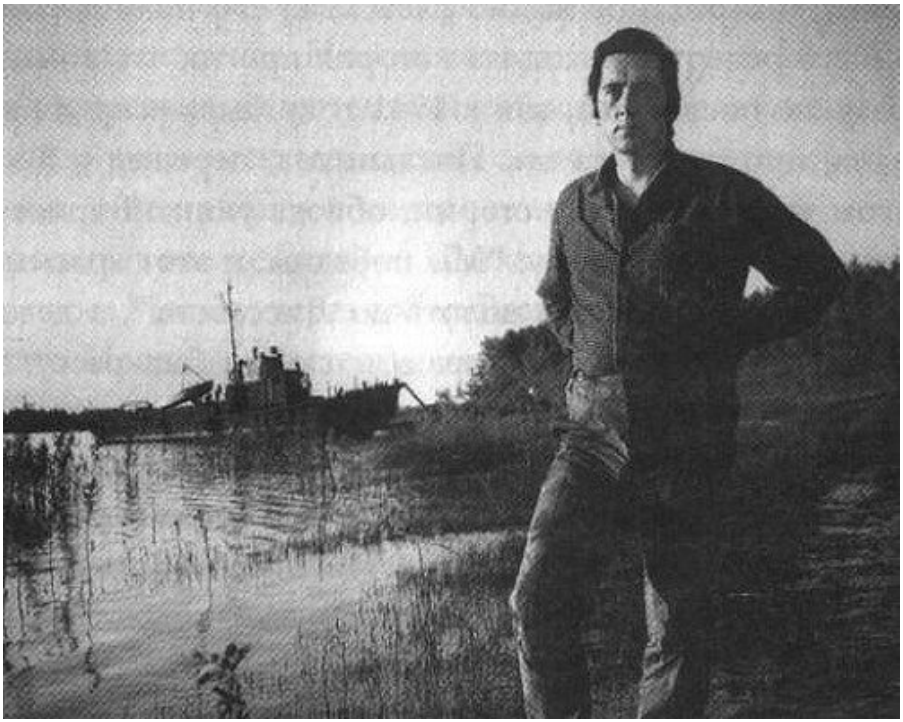
Поиски героя продвигались крайне туго, собственно, главная проблема «Кочующей розы» — замусолившийся от многократного употребления образ протагониста, ему страшно нужно было изобрести Другого, которому можно делегировать свои ощущения.

Пчельников был вампиром, упивавшимся действительностью, заражавшим Проханова своей энергетикой. На Севере они наблюдали, как «стыкуется чум с вертолетом, олень с вездеходом». В Казахстане — исследовали «бурное развитие городов вокруг гигантских электростанций, металлургических комбинатов, угольных разрезов, военных полигонов». Он изучал движение огромных масс населения из русского центра в целинные степи, в зоны индустриального бума. Его интересовали смешанные браки, в которых рождалась новая, как он говорил, «советская раса». Круговорот ресурсов, когда иртышская вода поила заводы Темиртау, целинный хлеб питал гарнизоны Заполярья, дешевое электричество Ермака вращало моторы на авиационных предприятиях Омска, «складываясь в огромную

машину пространств». Раконтер, артистичный, экстравагантный, кипящий идеями, Пчельников рассуждал о техносфере, «которая разумно и гармонично взаимодействует с природой, не враждуя с ней, а сливаясь в долгожданный синтез».

Не исключено, энтузиазм Проханова относительно перспектив именно этого региона объясняется тем, что он оказывается в Приобье в разгар нефтяной лихорадки. Только что, после нефтяного кризиса 1973 года, взлетели цены на топливо, и СССР изо всех сил накачивает свои золотовалютные резервы: окско-иртышская пойма была «гигантским баллоном нефти и газа». Вместе с Пчельниковым они пытаются понять технологию вторжения советской цивилизации в неизведанные области, интервьюируют геологов, у которых заимствуют понятие «вера в площадь» (интуитивное предчувствие наличия полезных ископаемых), гоняют на трубовозах по свежепроложенным бетонным трассам, обсуждают увиденный газовый взрыв в тундре («словно два язычника-огнепоклонника смотрели на пламенный дух земли и пили водку»). В этой будущей вотчине ЮКОСа их восхищает то, что новое здесь не мешается со старым и отжившим, это место, где все — техника, технология — самое новейшее, последние модели. Они своими глазами увидели сбывшуюся здесь и сейчас футурологию.

На огромных танкерах они проплывали мимо нефтяных городов, «обгоняли караваны судов со стальными трубами, сборными домами, тракторами и кранами», приставали к берегу, видели становища хантов, очень похожие на индейские, из гэдээровских вестернов с Гойко Митичем. «На голых полянах трепетали на ветру кожаные или берестяные чумы, внутри которых кашляли в дыму невидимые ханты. Пахло рыбьим жиром, на траве стояли распряженные нарты, людей видно не было». Там они поняли, что совершенно необязательно ехать за «настоящими индейцами» в Дакоту: Соколиный Глаз и Чингачгук — вот они, рядом, свои. Эта черта — презрение к чужой, чисто открыточной по сути, специфике на том основании, что дома есть то же самое свое, не хуже, просто мало кто об этом знает, — останется в Проханове на всю жизнь: именно поэтому он без всякого энтузиазма отпишется после путешествия по Америке, именно поэтому он так часто, оказываясь в Лондоне, просиживает в номере один с бутылкой виски, именно поэтому хлынувший после 1985 года вал «потаенной литературы» будет вызывать у него раздражение.



Отблески Мангазеи.

Несколько недель развлекавшие их пейзажи за бортом были великолепны, но однообразны, и поэтому они болтали о будущем человечества, которое одолеет гравитацию истории, заботу о хлебе насущном и станет как ангелы, развлекали друг друга разными историями, обоим было что рассказать, хотя Пчельникову, пожалуй, на тот момент побольше. Он был выдающимся говоруном, и Проханов жадно схватывал его полумистические байки. В его репертуар входила история про то, что война началась сразу же после того, как в 1941 году была вскрыта могила Тамерлана, про то, когда он, Пчельников, перешел в 8 класс и на первом уроке учитель истории, обводя указкой яркое пятно на карте мира, сказал классу: «Мы победим, и этот красный цвет прольется далеко на Запад, вплоть до Лиссабона», а дело было

1 сентября 1941 года. Пчельников и сам любил рассуждать о геополитике и уверял своего друга, что суть конфликта Жукова и Сталина была в том, что Жуков предлагал радикально покончить с Европой. Жуков, втолковывал он Проханову, понимал, что «Европы не должно быть». Еще была небылица про то, как в 1952 году, закончив Ленинградскую академию художеств и получив диплом художника-архитектора, он уехал работать над проектированием Дворца культуры в Варшаве, под началом

академика архитектуры Руднева. Этот Дворец, заносило Пчельникова, был близнецом высоток в Москве, а для тех, когда их проектировали, Сталин сам выбирал места для закладки — так, чтобы они совпадали с расположением древних церквей, и теперь именно высотки оберегают Москву от нечистой силы. Так вот, там было принято в большие праздники назначать на ночь дежурного в помещении проектного бюро. Дежурный обычно сидел в кабинете у начальника. И вот в ноябрьскую ночь 1952 года Пчельников сидел в кресле академика архитектуры Руднева и увидел на столе документ с грифом секретности, подписанный Сталиным и Георгадзе. Документ якобы представлял собой закрытый проект переделки географических карт мира. На новых картах нулевой меридиан должен был проходить через Пулково! «Гринвич уже ничего не значил».

Пчельников, с его наглядными проектами преодоления текущего состояния мира, надо сказать, был кем-то вроде персонального прохановского Анен Эрбе, именно он — несомненный источник и «неканонической ахинеи», и более поздних «патриотических галлюцинозов» про топонимическую бомбу, перенос меридианов и прочее. Проект переноса мировой оси занимал их воображение больше прочих. Проханов утверждал, что первым это сделал еще патриарх Никон, который, построив Новоиерусалимский монастырь, сдвинул таким образом мировую ось. Пчельников осторожно высказывал свои сомнения на этот счет, в конце концов, они пришли к соглашению, что нулевой меридиан будет пролегать все же не через Пулково и не через Новый Иерусалим, а через Москву, через собор Василия Блаженного, поскольку именно Москва — «естественный коммуникационный узел». Нельзя исключать, что опубликованный в «Последнем солдате империи» проект нащупывания Болта Мира, который якобы искали в Гималаях немцы, а затем, по заданию Берии, — академик Сахаров и который «регулировал земную ось и менял ход истории», — тоже впервые обсуждался с Пчельниковым. К тому же набору бредовых идей явно восходит и шаманский проект поглощения США пространствами СССР в том же «Солдате».

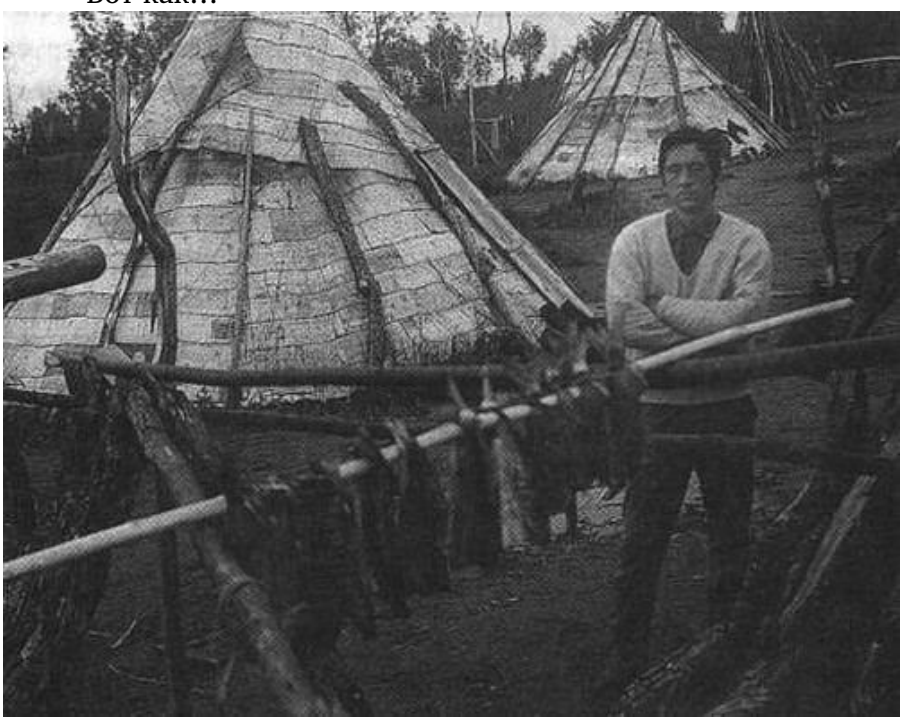
Они плыли по Оби вдоль пойменных лугов — «в сочном, жирном, пахучем месиве трав, цветов, насекомых» — и пьянели от запахов, пространств и перспектив и разговаривали о том, что уже через несколько лет здесь возведут «города будущего». Из прохановских текстов, где тема этих городов звучит не реже, чем рингтон «банду Ельцина под суд», можно понять, что их с Пчельниковым колебания относительно этих футуристических

конгломераций сводились к тому, какой из двух конкурирующих проектов следует выбрать. С одной стороны — подвешенные на стальных штангах города-дирижабли. К штангам крепились завезенные по воздуху мобильные ячейки, уже в момент производства «как бы заряженные высоким потенциалом комфорта», не только жилые, но и общественные, вроде библиотек и бассейнов, штанги соединялись между собой монорельсовыми дорогами. В качестве альтернативы выдвигался проект надувных городов, «переносимых с места на место, с вмонтированными телевизорами, калориферами, компактными платяными шкафами. Уже существуют образцы электронных приборов, отпугивающих гнуса».

— Почему, кстати, их нужно было подвешивать?

— В силу экологических причин — нельзя было застраивать землю городами-блинами, сжирающими пространство и замусоривающими его.

— Вот как…



Верная Рука — друг индейцев.

Доплыв до устья Оби, старинной Мангазеи на берегу Океана, они сошли на чудовищно загаженную, развороченную землю: перед ними лежал отвратительный поселок, весь состоящий из свалок консервных банок и рухнувших железных ферм — экологический ад. Обескураженные увиденным, друзья все же

приходят к выводу, что их раздражение неправомочно. По отношению к будущему вся эта помойка — музей старого уклада, «почти как старинные колокольни в других городах, каменный, покрытый паутиной мусор с вкраплениями стертых фресок». «В этом хаосе чудится утаенная от глаз соразмерность. В бессмыслице — не имеющий названия смысл. В откровенном неумении расставить дома и машины — искренность и наивность, которые не стыдятся своего неумения, просто не замечают его, не камуфлируют в нелепую классическую оболочку, не создают иллюзию порядка, консервируя им беспорядок и хаос. Здесь все живет, шевелится, расталкивает тесную оболочку, громоздит, стирает в прах, оставляет догнивать умершее и тут же, на гнили, возводит новое. Поселок, как корневище, отмирает и нарождается». Этот способ видения останется в нем на всю жизнь — умение разрекламировать нечто традиционно считающееся эталоном безобразия в качестве соблазнительной, динамичной, наполненной энергией, одухотворенной функцией структуры: завод, свалку, стройку, бойню.

Проханов, несомненно, выполняет для всех своих читателей роль экологического фильтра; он тот человек, который сам отшлаковывает антиэстетику — и, отравленный, но не подающий вида, может убедить кого угодно, что монструозный химкомбинат, окутанный ядовитыми испарениями, прекраснее паркового ландшафта с овечками и ротондой; однако, к счастью или к несчастью, у Проханова никогда не хватало силы — и, соответственно, не было монопольного права — на окончательную утилизацию этих «индустриальных пейзажей»; именно поэтому наше отношение к этим антимирам формируется не только прохановскими, но и, например, балабановскими образами.

И Пчельников, и Проханов прекрасно чувствовали маразм системы, но, не видя никакой реальной ей альтернативы, искренне желали ей обновления и пытались изобрести нечто такое, что позволило бы ей преодолеть системный кризис. Оба сходились на том, что стране нужен внятный футурологический проект: «Либо страна совершит небывалый рывок, продолжит проект, именуемый „СССР“, либо рассыплется. Советский Союз был задуман как огромное конструкторское бюро, где непрерывно идет проектирование. Наша страна, как самолет, который постоянно усложняется во время полета, меняет двигатель, виды топлива, совершает дозаправку в воздухе. Сотворяет себя и небо, в котором летит. Лишь на минуту прекратится творчество, как небо исчезнет и самолет упадет».

Проханов не зря упоминает «яростное перо и романтическую кисть Шмелева» из «Надписи», тот в самом деле генерировал эффектные монологи. «Запад, — вещал Шмелев (Пчельников), — строит мегамашину, которая, как страшная драга, жадно сжирает природу и культуру, создает свои валы и колеса из умертвленных народов, украшает свои машинные залы чучелами убитых китов и оленей. Западная цивилизация отнимает у человечества свободу воли, превращая историю в питательную среду, где вызревает небывалое чудище, в застекленной кабине которого восседает электронный, жестокий робот. Центр Помпиду в Париже — архитектурный прообраз этой бездуховной мегамашины…»

Не только этой: в конце 70-х жители подмосковной деревни Торговцево (Дмитровский район), знаменитой до революции своим златотканым — здесь делали эполеты для офицеров — производством, в качестве местной достопримечательности демонстрировали желающим странную избу. Обычный деревянный дом обвивали змеевики-громоотводы фантастического вида, делавшие его похожим именно что на Центр Помпиду. Автором проекта был не кто иной, как архитектор Пчельников (изба, впрочем, принадлежала Проханову, который купил ее за 500 рублей в 1972 году). Земляная изгородь напоминала те, что в Африке окружают хижины кимба, огород был засажен таким образом, будто это посадочная площадка для летающей тарелки, картошка росла здесь концентрическими кругами. За изгородью проживали двое странных существ, одно лет пятидесяти, другое сорока. Они могли часами гоняться за мотыльками, часто спорили о чем-то, причем один вдруг бросал сачок и принимался безутешно рыдать, а другой, явно уставший от этих истерик, утешать его. Они вели продолжительные беседы с чучелом на соседском огороде, раскладывали в палисаднике детали сохранившегося с XIX века ткацкого стана, обнимались с березой-«берегиней», а по вечерам включали длинноволновый приемник и слушали «Свободу» и «Голос Америки», отпуская по поводу услышанного презрительные реплики.

«Русская цивилизация, — наставлял высокого коренастый, — предлагает великую гармоническую альтернативу. В жестокую неживую машину вселяет дух, который, как известно, дышит где хочет — в термоядерном „Токомаке“ или в нефтепроводе „Сургут — Москва“. Соединяет рукотворную технику и первозданную природу, исконного, непредсказуемого человека и его механическое подобие, доисторическое, стихийное время и управляемую историю». Его друг подхватывал: «Наше русское прошлое наполнено такими страданиями, такими вселенскими скорбями, что они умилостивят и одухотворят машину, внесут в

нее живую этику, испытают совершенство машины слезой ребенка. Технический Космос, состоящий из космических кораблей и станций, инопланетных экспедиций и поселений, дополняется Космосом духовным, откровениями святых отцов, народными песнями, стихами Пушкина, учением Вернадского. Это сулит великое, возможное только в России открытие…»

Пчельников, «пассионарий», «третий римлянин», сколько можно понять по прохановским реконструкциям, был человеком традиции русских космистов — в частности Вернадского, с его ноосферой, преодолением пространственно-временных барьеров, готовящимся освоением космических ресурсов, цефализацией человечества (увеличением головного мозга), планетарными масштабами. Пчельников подарил Проханову набор связанных с пространством метафор — коромысло, шарнир, кристалл, стальная антенна и проч. Метафор, позволяющих быстро надувать романы, как резиновые города, конструировать из аморфных пространств жесткие структуры. «Пчельников научил меня мыслить категориями гигантских пространств и гигантской супертехники, не отдельно взятым изделием, а техносферой. Техническое изделие помещено в колоссальный мир, одна подводная лодка в Арктике, а другая — в Антарктике».

Это Пчельников — Шахназаров во «Время полдень», Завьялов в «Вечном городе», Шмелев в «Надписи». Несмотря на то что Проханов, как Платон, всю жизнь писал о Пчельникове статьи, эссе, рассказы, передовицы и романы, тот, кажется, так и не стал советским Сократом. Прототип, к сожалению, умер, а его участие в мировой культуре зафиксировано только у Проханова и поэтому едва ли поддается научной верификации. Трудно сказать, был ли «русский Корбюзье» / «советский Гумбольдт» известен за пределами СССР (точнее, редакции «Жизни слепых»), я бы усомнился в романных свидетельствах Проханова: «В „Пари матч“ пишут, что Шмелев — это архитектурный Гагарин, прокладывающий дорогу в непознанное. Во „Франктфуртер альгемайне“ написали, что этим проектом Советы восстанавливают свое футурологическое измерение, формулируют „советский образ будущего“. Единственный известный мне артефакт, оставшийся от Пчельникова, — покрытое пылью застекленное панно с засушенными бабочками и растениями, висящее в прохановском деревенском доме в Торговцево. „Архитектор Шмелев — выдающийся мыслитель, — произнес Коробейников. — Он один — целая архитектурная и философская школа. Он проектирует не отдельную квартиру, не отдельный дом, и даже не отдельный город. Он проектирует

цивилизацию в целом“». «Шмелев неутомимо изучает развитие индустрии, посещает крупные промышленные центры и вахтенные нефтяные поселки. Исследует миграционные процессы в Казахстане, Сибири и на Дальнем Востоке. Его взгляды есть синтез технического прогресса, новейших представлений о человеке, сгусток идей, с помощью которых он описывает новый, назревший этап нашей социалистической цивилизации. Дает название многим вещам, данным в предощущении. Он формирует образ будущего, как его представляли отцы коммунистического учения»[7].

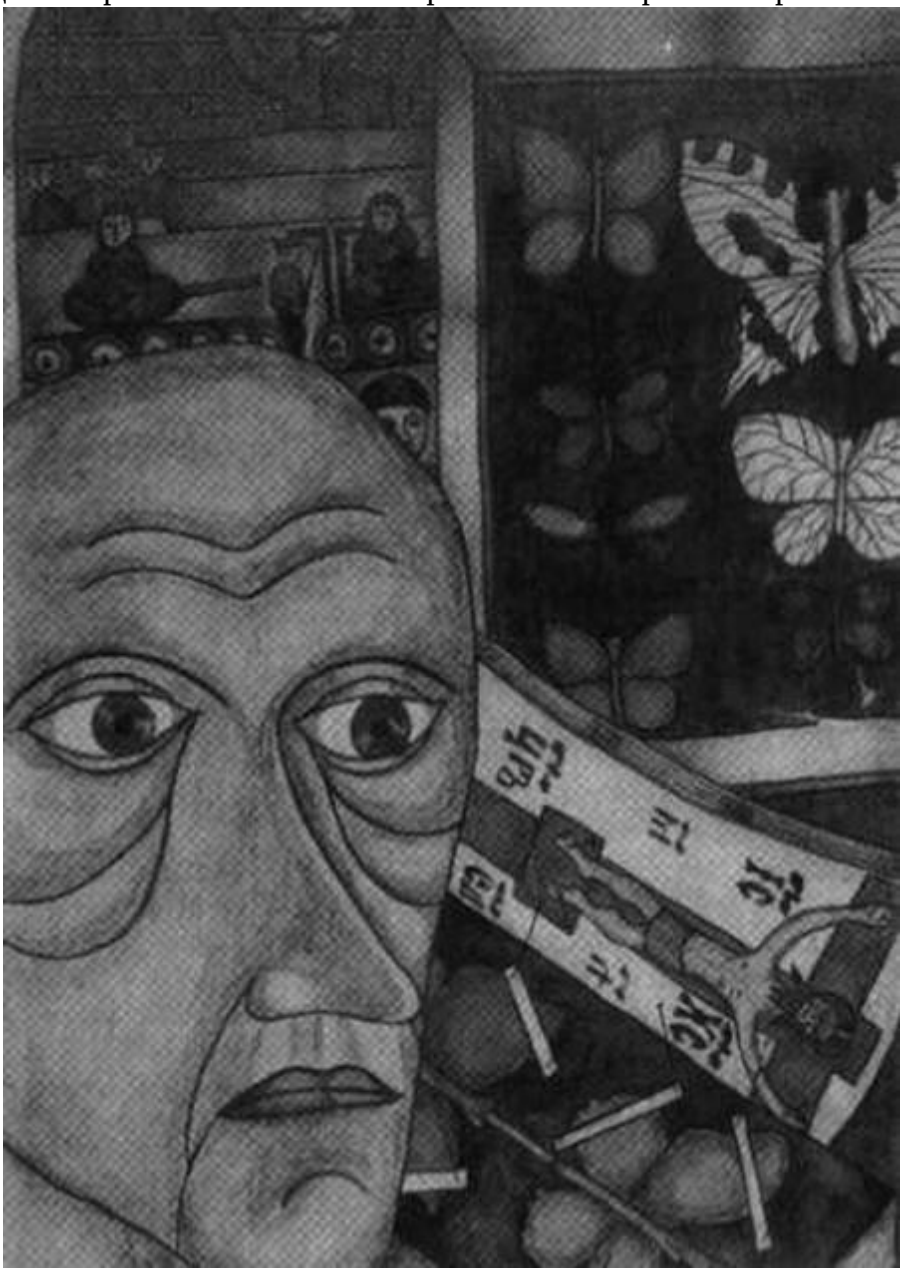
Он всюду таскал его с собой — Пчельников не только артистично философствовал, он и в смысле внешности был экзотом, которого можно было экспонировать знакомым.

Бросалась в глаза его евразийская внешность: азиатские скулы в сочетании со славянскими глазами и чухонскими волосами. «Коренастый, — читаем в „Надписи“, — гибко подвижный, с пластикой дикого зверя и балетного танцора, Шмелев был облачен в неизменный, тонкой вязки, свитер с дырами и латками, из которого высовывались сильные руки с чувствительными пальцами, непрерывно мастерившими, клеившими, сжимавшими резец или кисть, пинцет или топорище. Этими пальцами расправлялись хрупкие бабочки, разглаживались старинные рукописи, снималась с крючка яркая хрустящая рыбина. Лицо Шмелева, сухое, скуластое, с узкими, мнительными глазами, было изрезано клетчатыми морщинами, как если бы долгое время было обмотано сетью. Такие степные азиатско-славянские лица рождаются в низовьях Урала, где долгое время воевали, торговали, обменивались товарами и женщинами ордынцы и казаки, создав порубежный народ, коварный, вольнолюбивый и стойкий».

> «Он очень сильно на меня влиял, был одним из тех людей, у которых я многому научился. У меня в жизни было несколько кружков, где я обретал знания, не рассеянные по книгам».

Не надо понимать все вышесказанное таким образом, что Проханов обобрал гениального Пчельникова. Между их проектами постоянно происходила диффузия, их теории были совместным творчеством, который один воплощал в архитектурных проектах, а другой — в литературе и журналистике. Прохановские представления о двух русских Космосах, техническом и духовном, легли в основу пчельниковской теории «русской цивилизации», рационалист, тот

ценил Проханова как носителя религиозной картины мира.



Пчельников. Лубок работы Проханова.

«Бреды» или «цивилизационные теории», которые Пчельников постоянно генерировал, падали на почвы фольклорных увлечений Проханова, смешались в нем странным образом, пробудили маишно-ракетные воспоминания, подействовали и как реагент, и как катализатор. В 1975 году Проханов издает маленькую

книжечку очерков «Отблески Мангазеи», о путешествии по Оби вместе с Пчельниковым. Фактически это черновик романа «Время полдень», сейчас, к сожалению, изумляющий прежде всего не фактурой, а своей интонацией, которая в 90-х годах называлась «сорокинской»: «Вы бывали на пойменных лугах вдоль Оби, в этом сочном, жирном, пахучем месиве трав, цветов, насекомых?»

В том же 1975-м начинаются африканские приключения Проханова.

На Черный континент его отправила «Литературка», причем не как военкора: это путешествие не имело отношения к горячим точкам. Войны в Нигерии в это время уже не было, зато была нефть, и СССР заключил там два крупных контракта — на прокладку нефтепровода и строительство металлургического завода в Аджаокуте. Проханов, предсказуемо, был «поражен картинами экономической экспансии СССР», увидев, как сквозь джунгли, по специально прорубленной трассе, шли советские «камазы» и «уралы», нагруженные хлыстами — связанными в пучки трубами. Его ошеломила природная экзотика, и особенно «стремительные трансформации среды»: только что кипящие струи тропического ливня кислотой разъедали красную землю, как вдруг тучи уходили, начинало шпарить солнце, почва на глазах высыхала, и из земли высовывали гигантские жирные головы личинки: «земля лопалась под ногами и начинала прорастать червями, как на Солярисе». Повсюду порхали фантастические бабочки — которых раньше он видел только в Бельгии, в музее Африки, под Брюсселем, перед одной — маленькой, густого малинового цвета, похожей на алебарду, — он тогда простоял с блокнотом чуть ли не целый час, медитируя и тут же записывая свои переживания. Оказавшись в Нигерии, он обезумел от количества этих великолепных тварей в совершенно открытом доступе. Там произошла его первая тропическая охота. Несколько раз, добираясь до Аджаокута на «камазах», он выходил на полдороги и договаривался с водителем, что тот подберет его через три часа на обратном пути. В одну из таких вылазок, очутившись на полузаросшей просеке, которую когда-то вырубили французы, он увидел мириады потрясающих бабочек и впал в одержимость: «начался гон, полеты, безумие, сражение с духами земли».

Бабочки были не единственным его увлечением. Чуть ли не первым, что сделал спецкор на африканском континенте, был поход в злачный район. «Я же авантюрист, я познавал не только мир военных баз, но и уклад». В одном из ночных клубов, в баре, к нему подсела девица по имени Астор, и они принялись болтать

и тянуть ликер из маленьких рюмочек. Ему пришлись по душе ее козьи груди, длинные тонкие ноги, необычное черное тело. Договорившись о деталях, они сели в такси и поехали на виллу, которой владел белый, выходец из Южной Африки: на первом этаже — бар, на втором — комнаты, сдававшиеся проституткам. Удовлетворив свое любопытство касательно уклада, он оставил деньги на тумбочке и пошел домой пешком, наслаждаясь одиночеством, сочиняя проект трубопровода из страстной Африки в одряхлевшую Европу, по которому будут качать «эмоцию», и, по обыкновению, размышляя о загадочности своего появления в этом ночном африканском городе.

Одиночеством ему суждено было наслаждаться недолго. На дороге нарисовались два полицейских «лэндровера». Из них повыскакивали афроопричники и стали обыскивать любознательного авантюриста. Здесь только что кончилась война, и ночью был комендантский час и на улице нельзя было находиться. Сержант уперся автоматом в ребро, и его повезли в участок. Инженер Горностаев из романа «600 лет после битвы», которому делегированы эти воспоминания, сдержанно опасается, что «это грозило ему осложнениями по службе». Его прототип нервничал сильнее — в голове у него лихорадочно крутились самые безрадостные картины: арест, выдача, депортация в Советский Союз, загубленная карьера, лишение писательского удостоверения, ссылка к лесникам и т. п. Он проклинал чертову шлюху, неолитовую Африку, «отделял», как ополоумевший от африканских дикостей Белосельцев, «ее стенами от других континентов, обволакивал колючей проволокой, минировал ее кромки, навешивал над ней группировки космических спутников».

Кончилось тем, что он собрался и принял решение пойти ва-банк. Приняв вид утомленного плантатора, обращающегося к своему чернокожему слуге, он вальяжно протянул полицейскому крупную купюру и сказал: «Знаешь, братец, что-то я устал сегодня. Ты будь так добр, отвези-ка меня в район Бадыге». Тот помедлил секунду, потом жадно схватил купюру и сделал, как было велено: довез именно до Бадыге, до дверей, да и еще козырнул на прощание.

Неопытный путешественник, он решил сэкономить и не тратить выданные ему командировочные на приличный отель и поселился чуть ли не в картонной коробке из-под телевизора, прямо на пляже, наивно предположив, что редакции все равно, на что он потратит СКВ, а банально израсходовать казенные деньги на отель — глупо. Надо сказать, ибаданская атмосфера располагала к подобным мыслям: кокосовые пальмы, океанский

пляж, экзотические женщины с корзинами на головах, гибкими руками извлекающие оттуда ритуальные маски, изделия из перламутровых раковин, фляги с кокосовым молоком, жареные бананы, бутылки контрабандного бренди из Бенина. Еще там были базары, где торговали удивительными глиняными сосудами, статуэтками из эбонитового дерева, бронзовыми идолами, ритуальными масками, тканями. Этот африканский текстиль с особым орнаментом до сих пор вызывает у него приступ вдохновения. «Они не похожи ни на индонезийские, ни на латиноамериканские, абсолютно специфические, не просто яркие — в них сочетание яркости с рациональной геометричностью, то же, что в африканских масках, очень выразительный примитивизм. Меня это страшно волновало». Совершенно ополоумевший в этих рядах, он принялся скупать все это барахло рулонами и растратился до копейки. В Москву он прилетел с гигантскими баулами, которые едва сумел вывезти из Шереметьево. Жена ахнула, что делать с ними, было непонятно. В течение едва ли не десятилетий из них кроились какие-то немыслимые занавески, странные платья, эти ткани раздаривались дочери, друзьям. На полке в Афанасово стоят африканские скульптуры искаженных пропорций — пикассоподобные прототипы «Авиньонских девиц». В «ЛГ» был напечатан вдохновенный репортаж со строительства — «Русские идут».

Инвестиции казенных средств в текстиль и местную теневую экономику в момент заключения сделки представлялись необычайно удачными, но в краткосрочной перспективе отрицательно повлияли на финансовый климат в семье Прохановых. По приезду в Москву его нигерийские злоключения не закончились, он подвергся атаке бухгалтерии. От него потребовали квитанции об оплате гостиницы — либо возвращения непотраченных целевым образом командировочных. Никаких валютных средств у него, разумеется, не осталось, он растратился подчистую, энтузиазм по отношению к примитивным орнаментам и поездки на автомобиле с мигалкой опустошили его банковский счет. Все это могло кончиться настоящим скандалом, вплоть до разрыва отношений с «Литературкой» и выдворения из журналистской элиты с волчьим билетом. Он уже начал было занимать деньги у знакомых и приобретать у черных дилеров валюту, но тут, к счастью, его спасает собственная книга.

В Москву прибывает эмиссар немецкого издательского концерна «Бертельсманн» с целью исследования культурного рынка СССР и приобретения экзотических продуктов социализма, которые можно было бы конвертировать на западном рынке. Этот

человек, сын немецкого дипломата и русской женщины, упоминается в «Надписи», нелицензированный маршан бродил по всем этим мамлеевским квартиркам и подпольным, мастерским, салонам, общался с экспертами и в массовом порядке скупал картины нонконформистов и права на некоторые тексты. Неожиданно ему страшно понравилось изруганное советской критикой «Их дерево», и он заключил с Прохановым крайне выгодный контракт. Таким образом ему удалось залатать эту страшную дыру в бюджете.

На немецкий, впрочем, «Их дерево» так и не перевели, а сам этот немец, наблюдая за эволюцией Проханова в сторону «соловья Генштаба», горько сетовал, пророчески указывая ему, что это не то направление, которое приведет его к успеху у широкой читательской аудитории.

Я несколько раз пытался поговорить с Прохановым о тех 70-х, какими они выглядят в моем представлении — из фильмов вроде «Осеннего марафона», ну или хотя бы из его же «Их дерево», но он решительно отрекается от всей этой интеллигентской мути.

— Нет, я видел все стройки, я видел большие коллективы, пуски, старты ракет, военные маневры в Белоруссии, на БАМе видел, как вырывали кости заключенных. Целина — огромный полигон, степь, просторы. Но я был такой налетчик. Я не устраивался на годы в артели, я летал на это все, обожал, создавал образ, вытаскивал из месива то, что бросалось в глаза, не докучая себе изучением быта, уклада, вытаскивал образный ряд. А что там было в глубине — мне не удавалось глубоко проникать. Я очень остро ощущал себя на фоне железа, тайги, у меня происходили старинные мировоззренческие процессы — судьба, смерть, смысл жизни, тварность, род, дети. И было небезразлично, где это пережить.

Б 1975-м он заканчивает «Время полдень» — роман-ревизию великой державы, отчет, из которого следует, что советская цивилизация находится в зените.

Синтезированный из автора и Пчельникова экономист-географ-лектор-футуролог Кириллов (человек, «дающий пространственные характеристики ландшафтам», что бы это ни значило), расставшийся с женой, едет вниз по Оби — из целинного Казахстана, Темиртау, через Сургут, к Салехарду — по какой-то неясной причине ему все это надо увидеть. Он инспектирует целинные поля, стройки заводов, гидроэлектростанции. Чуть ли не в первой главе он знакомится с некой Ольгой и так ею увлекается, что в какой-то момент их

путешествие даже прерывается — они поселяются в идиллической избушке у черта на рогах, намереваясь навсегда прервать все контакты с окружающим миром.

Однако в силу того, что Кириллову требуется медицинский уход (пошаливает сердечно-сосудистая), дауншифтеры вынуждены вернуться в цивилизацию и продолжить путешествие. В Салехарде они расстаются — Ольга летит в Москву, а он должен заскочить еще на одну ГРЭС, есть шанс, что они все же встретятся еще в конце, в столице. Сюжетные главы про Кириллова чередуются, как и в «Кочующей розе», с очерковыми.

«Время полдень» — еще один роуд-новел: кочевание, странствие по задворкам СССР, роман о формировании кристалла характера под давлением природы, ландшафтов, людей, цивилизации и любви. Как точно выразился в предисловии критик Ганичев (ключевая, кстати, фигура в определенных кругах, которые потом назовут «русской партией», характерно, что уже тогда Проханов, каким бы экзотичным ни казался его «авангардизм», был с ними, имел право на предисловия от них), это «роман о пространствах, имя которым — с одной стороны — держава, с другой — душа».

Роман опять ломится от монологов-лекций про кристаллы, целину, территории; разбухает от дифирамбов технике, пространствам, движению масс. Если «Кочующая роза» была «наброском гигантской живой машины», то теперь автор проникает в детали, наводит фокус, щупает узлы и сочленения. Глаз его уже видит не просто кристалл, но различает его грани: техника, индустрия, цивилизация. Он восхищается заводами («И опять комбинат поразил его своей непомерной железной красой. Словно степь в этом месте проросла ветвистой стальной грибницей, и на ней, толпясь, тянутся вверх трубы, мартены, домны»), гидроэлектростанциями («Вот он, наш храм-то! Вот она, наша душа. И наше единство. В нем вся судьба, всех нас… Всем нам памятник рукотворный!»), осваивает энергичную индустриальную поэтику («Механизированная колонна мелиораторов угнездилась на краю поселка, растолкав мелколесье, врезавшись домами и техникой в глину и топь») и злоупотребляет метафорикой («Кружево подстанции звенело в ночи»).

— Я читал у Натальи Ивановой про «ритуальные поездки» по стройкам, в которые «заставляли» ездить писателей. Это ведь Горький придумал в 1933 году таскать своих коллег на стройки, чтобы затем те воспели (рабский) труд. Вы все 70-е чуть ли не раз в месяц ездили на всевозможные предприятия разной степени готовности — от котлована до действующего конвейера. Для вас

это тоже была рутина?

— Я очень любил бывать на этих стройках и действительно довольно много объехал их — электростанции, заводы. Когда я двигался по индустриальным ландшафтам, меня увлекала огромная концентрация энергии, которая там скапливалась. В этих стройках много было электроэнергии, человеческой энергии, энергии денег и энергии государственного планирования. Все это вместе взятое — любая крупномасштабная стройка мне представлялась таким кратером, из которого валит горящая магма сотворения. Я поставил себе целью описать языком, средствами своей метафорической прозы все грубые производственные процессы. Так возник «Время полдень» — я просто шел и описывал, как варится сталь, как катаются трубы, как добывается нефть, как пускаются электрические роторы, как молотится хлеб — все эти, в общем, простые производственные процессы, феноменология труда, который заложен в государственном планировании. Меня это увлекало, в этом была мистика или, скорее, метафизика.

Так возникают словосочетания «строительство хлеба», «чудо о комбинате». Он придумывает одну из самых знаменитых своих — ее будут цитировать в каждой статье о нем — метафор, описывающую свое место в процессах, метафору, специально подчеркивающую его державническую, государственническую позицию: «К чему он стремился все эти годы? О чем писал? Что ему открывалось? Держава, как гигантский авианосец, раздувала ядерные топки, набирала мощь и движение среди своих океанов. А он, как легкий перехватчик, взмывал с ее палубы и вновь возвращался, добывая знание неутомимо и жадно. Он искал человека с новым сознанием и этикой в пекле целинных жатв, в антрацитовых лавах, в плавках огненной стали. И в себе самом, их всех в себе совместившем».

Помимо увлечения энергетикой строительства цивилизации, сама стратегия — создание «индустриального», «техносферического» романа — казалась ему литературно актуальной. «Машина» и «техника» суть центральные (и синонимичные) понятия для того типа романа, который в 70–80-е годы практиковал Проханов и чье если не изобретение, то право наследования он приписывает себе.

В фундаменте поэтики «техносферического романа» лежит представление художника о своеобразном триединстве человека, природы и техники; миссия художника — воспевать это пространство. Техника/машина/инженерная конструкция, обычно воплощающая рациональность, будучи интеллектуальной, по

возможностям равной человеку, парадоксальным образом наделяется свойствами природы — страстной, торжествующей над разумом (мещанским здравым смыслом, во всяком случае), бунтующей против всякого рода условностей, фобий и штампов. «Вы, — говорит писателю-журналисту Коробейникову кто-то из его поклонников в „Надписи“, — пишете о машинах и механизмах как о живых существах. Одушевление машины — это огромная философская задача, которой занималось русское искусство начала века <…>. Вы же одушевляете и очеловечиваете технику, как язычники одушевляли камень, воду, дерево, находя в них живую душу».

Любопытно, что техника становится даже более живой, буйной и иррациональной, чем сама природа. Энергия индустрии подобна силе стихии, природному электричеству. Строительство завода — неприглядный, грязный процесс, в котором, судя по советским долгостроям, больше перекуров, чем ударного труда, — обычно описывается у Проханова как буря, шторм, секс, битва — известные романтические стандарты. С другой стороны, писатель испытывает по отношению к этим процессам несколько курьезный романтический ужас. Критик Дедков, кстати, однажды точно подметил постоянную взвинченность автора, оказавшегося на стройке. Автор постоянно пребывает в состоянии войны, чувствует тревогу, исходящую от машин, которым он сочиняет гимны. Все эти стальные змеящиеся конструкции суть не что иное, как советский вариант западных фильмов ужасов, только там из щелей пространства вылезали неантропоморфные существа, а здесь описывалась экологическая катастрофа, развороченная, изнасилованная осколком стальной бутылки земля. Однако Проханов, «певец техносферы», экспонировал этот ужас как неизбежное зло, приручал его и приучал к нему.

Техника вовлекается в культуру, становится арт-объектом, причем не только что синтезированным из руды, а объектом с историей, с длинной родословной. Так, в «Месте действия» автор договаривается до того, что некий ротор был извлечен и доставлен к нам «из недр высочайшей культуры. Он мог быть задуман, создан там, где являлись один за другим плотной, непрерывной волной Ломоносов, Пушкин, Глинка».

У Проханова возникают целые стихотворения в прозе, посвященные инженерно-техническим конструкциям или оружию: комбайну, мосту, патрубку. Все металлическое, твердое, блестящее, легированное, вороненое, желательно смертоносное, вызывает у него восторг, приступ вдохновения, почти экстаз.

Проханов описывал машину, механизм, которые, принято считать, воплощают антиромантику, бездушность, плоскую схему

— в терминах романтического дискурса: «я распят на крыле самолета». Этот род остранения очень эффектно выглядел в начале века (вообще, воспевание индустриальной, технической красоты — традиция, связанная с ранним авангардом, футуризмом; Маринетти заявлял, что машина красивее, чем Ника Самофракийская; тем же духом проникнуты декларации Ле Корбюзье); в 70-е те, кто пользовался этим приемом слишком всерьез, выглядели, судя по современной критике, уже несколько анекдотически.

Сам Проханов убежден, что «технику писать очень трудно» и «вообще в русской литературе технику мало кто писал». «Русская проза с жадностью набрасывается на явления мира природы, на материальный мир — но останавливается перед техникой. Советская 30-х годов — тоже не умела писать технику. Маяковский умел — „флейта-позвоночник труб“. „Лефовские задачи соцреализм выполнить не умел, не хотел, не мог и боялся. В советской живописи, может быть, только Дейнека поднимался до эстетики Леже“ — умевшего писать эту „потрясающую красоту техносферы, машинерии“». «В 20-е годы любили и понимали машину, пытались продемонстрировать любовь машин друг к другу, совокупление машин, а потом соцреализм ушел от этого. С 30-х годов никто этим не занимался. Практиковались тексты о прочности советской системы, о нравственных исканиях».

Проханов небезосновательно возводит свою — как «певца техносферы» — родословную к футуристам, Бунину («роскошные куски в „Человеке из Сан-Франциско“») и Блоку. Это довольно убедительная самоидентификация, но со стороны представляется, что в этом смысле Проханов — наследник не столько Бунина и Блока, сколько Пильняка и через него — прозы 20-х годов. Еще Тынянов в «Литературном сегодня» (1924) проницательно заметил, что «уже выработалась какая-то общая пильняковская фраза», которая мелькает то тут, то там, то у Малышкина, то у Буданцева, то у других. Это какая-то фраза о буферах, о секторе, буграх, брезентах и элеваторах. Вот она у Пильняка: «Из гама города, из шума автобусов, такси, метро, трамваев, поездов выкинуло в тишину весенних полей на восток» («Никола-на-Посадьях», М., 1923). «В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих городах, на складах, в холодильниках, в элеваторах, подвалах — хранились, лежали, торчали, сырели, сохли — ящики, бочки, рогожки, брезенты, хлопок, масло, мясо, чугун, сталь, каменный уголь» (там же). Вот она у Буданцева («Мятеж»): «рев рек, скреп, скрежетанье, дрожь: не то брань, не то свист под клинькающим буфером; визжа, занывала сталь, кроша и крошась: саповатые ахали вестингаузы

<…> воспалялся и дыхал паровоз <…>. Чудовище жрало телеграфные столбы и стрелки, знобли рельсы» («Круг», 1923, № 2). Тынянов говорит о том, что такой способ «писать технику», изобретенный Буниным и процитированный Пильняком, стал в 20-е общим местом, штампом. Потом, однако ж, уже после шагиняновской «Гидроцентрали» и катаевского «Времени, вперед!», это искусство было утрачено. И только уже Проханов реанимировал его, привил к литературному приему идеологию, свою личную страсть, «футурологический проект Советов», Вернадского, Федорова и Хлебникова.

Критика, кстати, чувствовала родство Проханова с авангардом 20-х: «Его интонация, монтаж, крупный план и синтетические описания напоминают нам об индустриальных романах рубежа 20-х-30-х», — небезосновательно замечал В. Гусев.

— А что значит — никто, кроме вас, не умел писать технику? Нельзя было посадить Искандера или Маканина в самолет и отправить на полигон?

— Да что вы! Они не хотели этим заниматься! Они боялись… К тому времени это была для них чудовищная страшная мегамашина. Тогда же все это ненавидели — как Адамович, все были против этой литературы, этих бомб, ракет, атомной войны, советская страна как источник мировой атомной войны. Они на меня смотрели как на источник зла. А я на это смотрел как на красоту, как на абсолютно новую индустриальную техносферную красоту. Потом, они не умели этого делать. Белов бы не описал никогда авианосец. Он бы описал рощу, описал избу, церковь, чувства человеческие, переливы характеров. Но технику советская литература, мое поколение, описать не умела. Считало это бесовской идеей и задачей. Я был там один, и я господствовал как хотел.

После «Иду в путь мой» у него был выбор — примкнуть к деревенщикам с их страдательной архаикой — или к либералам, к «исповедальной прозе», к западникам, вроде Аксенова и Битова. Вместо этого он вступает на самый сомнительный путь — придумывает «государственный авангард». С одной стороны, там могла быть сила, с этим «авангардом» хорошо сочетались эпитеты «грозный», «победоносный», он всасывал в себя такие магистральные темы, как «индустрия», «техника», «армия», «космос» — но, с другой, на этом пути у него не было спутников. Деревенщики дали ему от ворот поворот как певцу техносферы, либералы не пускали к себе как конформиста и автора производственных эпосов, официальные писатели с подозрением

относились к его авангардной взвинченности. Есть свидетельства, что когда он, даже уже будучи маститым литератором, попытался выступить с «синтезаторской» речью на инспирированном писателями патриотической ориентации диспуте «Классики и мы» 21 декабря 1977 года в ЦДЛ, ему просто не дали говорить: такой патриот им был не нужен.

«Писатель Александр Проханов». Портрет Самсонова.

Фигура Александра Андреевича на фоне Заполярья композиционно отсылает к кустодиевскому портрету Шаляпина: тот же дюжий мужик в распахнутой боярской дохе на фоне характерных зимних сцен. В нардах, запряженных лайками, восседает оленевод-монголоид, его коллега загоняет собак в готовый к взлету вертолет

— лопасти которого осеняют и главного героя. Под распахнутым воротом солидной дохи видна светлая рубашка и галстук, он явно приезжий — но, нет сомнения, перед нами не просто федеральный чиновник, явившийся с инспекцией, но артист, художник, сборщик материала. В руке у него крупный, размером с книгу, блокнот, неизбежно провоцирующий возникновение ассоциации с евангелистами даже у самого наивного зрителя. В картине преобладает серо-сине-бурая холодная цветовая гамма, зимний, скудный колорит. Герой серьезен, смеяться нечему: идет битва за Север, и она далека от завершения. Если у кого здесь и есть повод улыбнуться, так это у зрителя: ба, да ведь на Проханове та самая доха: битовская, жутко линючая.

Скептик может задать Проханову вопрос, почему он замалчивает надвигающийся на СССР кризис, почему, расписывая домны и мартены, ничего не говорит о технологическом отставании СССР: из того же количеств руды чугуна и стали варилось в три и чуть ли не в семь раз меньше, чем в США. Но прохановские романы — не ревизия наличного, а выкликание будущего; здесь луч, бьющий из третьего глаза во лбу писателя, направлен на потенциальные точки прорыва, преодоления, а не высвечивает недостатки наличной системы. Систему следует не латать, а преодолевать.

С точки зрения скептика, «Время полдень» — это опять же скорее черновик романа, совсем уж неаккуратный в композиционном отношении текст; надменный Шкловский аттестовал такого рода сырые тексты как «сожительство нескольких новелл. Можно разобрать два романа и склеить третий». Здесь мало того что рассказ о поездке перемежается вставными новеллами об очередных тружениках (для убедительности оснащенных сомнительным общим знаменателем, все они трудятся где-то в пойме Оби), так еще и главный герой, географ Кириллов, иногда делегирует свои монологи другим персонажам, техническим двойникам. Проханов явно не может придумать, как его героям не дублировать друг друга. Кончается тем, что в Сургуте происходит курьезный съезд прохановских двойников: участниками конклава оказываются архитектор Завьялов (из «Вечного города»), писатель Растокин («Их дерево»), художник Антонов (имеющий, надо полагать, отношение к Антону из «Иду в путь мой»), там они обмениваются докладами на известные темы.

Проханов и сам понимает, что в композиционном отношении

ни «Время полдень», ни «Кочующая роза» не идеальны: «Писательская фабрика действовала тогда по следующей схеме. Писался черновой, на коленке, очерк. Из него — рассказ». Из таких новелл, «нанизанных на тонкую нитку условного сюжета», составлялись романы, «мегауроды». «Это была промежуточная, механическая форма, и она меня закабалила на определенное время»; «Кочующая роза» и «Время полдень» — это дефектные такие образования, подмалевки. Потом я отказался от рассказов и потом стал эти куски, рассказы монтировать внутрь. И действительно, уже в «Месте действия» куски романа не просто агглютинированы, а подвергнуты «более сложному крекингу».

Как бы там ни было, к 1975 году он находит нового героя, овладевает искусством «писать технику», становится «певцом цивилизации» (с базовой метафорой «растущий кристалл»), осваивает жанр «техносферичного романа» и сталкивается как писатель с кризисом романа как сборной конструкции без магистрального сюжета, а как государственник — с нарастающим противоречием между устремленностью государства в будущее и неумением справиться с элементарными текущими проблемами.

Глава 11

«Метафора современности». Стычка с бородатым существом. «Место действия» и курьезные последствия его публикации.

Проханов и КПСС. Литераторы готовятся к Олимпиаде-80. Сходка у книголюбов.

Краткое описание «Тотальных аргументов Александра Проханова»

В девятом часу вечера 12 сентября 1979 года на пороге Дубового зала ЦДЛ появился высокий, излучающий высокомерие мужчина. Вороные, зачесанные назад, до плеч, волосы открывали широкий мягкий лоб. Порочные пухлые щеки, густые, будто углем подведенные брови, уайльдовский подбородок, смоляные глаза, темные подглазья с морщинками — все это складывалось во внешность, о которой обычно говорят «артистическая». Этот человек явно не был здесь посторонним — тот сразу же заблудился бы в сизом табачном дыму, в который вот уже полчаса как погрузился камерный, напоминающий неоготическую часовню зал. За столами на массивных деревянных стульях восседали маститые прозаики, запивая красным вином шкворчащие бифштексы. В стороне перемалывали крепкими жвалами продукцию микояновского мясокомбината поэты, существа рангом пониже в здешней иерархии, просачивавшиеся в Дубовый из соседнего Пестрого. Если они не читали друг другу стихи, то перемывали со своими подругами косточки местным знаменитостям, прибывавшим сюда с регулярностью поездов метро в час пик. Вот на длинных кораморных ногах в зал вкатился остроносый человек в заграничном багряно-бархатном костюме. Мало кто из прозаиков оторвался от своих тарелок, но версификаторы закопошились, и вслед кораморе понеслись шепоты: «Иуда! Предатель! Мерзавец! Рифмоплет! Не ты самый гениальный поэт вселенной, а я!». Самки, тонко понимающие психологию своих поэтов, зашевелили сигаретами в лапках и синхронно выделили порцию сладкого нектара: «Да он в подметки тебе не годится. Ты гениален». Евтушенко, привыкший к такого рода пьяным приветствиям, протрусил к своему столу, не обращая на завистников внимания. Вот появился писатель

Солоухин: он долго вглядывался в дым, якобы выискивая свободный столик, а на самом деле экспонировал женщину, державшую его под локоть. Это был триумф: знаменитый исследователь владимирских проселков удостоился маленькой овации.

Длинноволосый тем временем вычислил курс и двинулся к пункту назначения. Ему предстояло пройти между двумя столами, за которыми гуляла «деревенская проза» второго и третьего поколения — неряшливо одетая публика незапоминающейся наружности, удивительно непохожая на своих кумиров — Распутина, Астафьева и Белова. Это были цэдээловские боевики — крестьянские сыны, которые с тягостным сердцем оставляли соху, приезжали в Москву и сочиняли бесконечные саги о погибающей деревне и о том, как страшно город обошелся с их родиной. Алкоголь традиционно использовался как амортизатор психической травмы, связанной с проживанием среди урбанистов-циников, злонамеренно разрушающих органичный сельский уклад. В меню того вечера не было чего-либо исключительного: несколько бутылок «Пшеничной», сосиски, пельмени, сигареты здесь курить было не принято, поэтому все униженные и оскорбленные смолили «Беломор». Над столами клубился едкий дым, будто в горящем доме или натопленной бане.

Сорокалетний.

Неожиданно из чада выпрыгнуло невысокое плотное существо с хитрыми кулацкими глазками и земской бородкой. Оно отважно перегородило Уайльду дорогу и очень отчетливо произнесло:

— Ты можешь писать о чем угодно, но только не пиши о душе человеческой!

Деревенская проза оскорбительно загоготала. Опубликованная в тот день в «ЛГ» статья Проханова «Метафора современности» была вызовом деревенщикам. Это был манифест, в котором автор провозгласил приоритет машинного начала над почвенническим и земляным, комбайна с автоматизированным управлением над первобытной сохой и т. п. На поверхности статья содержала в себе призыв снять антитезу «машины» и «духа». Но в ней была и менее очевидная подоплека: фактически это был обвинительный приговор деревенщикам, где указывалось, что из хранителей заповедника они превратились в плакальщиков по уходящей деревне, обскурантистов, чурающихся

современности как черт ладана и, более того, этот их статус, якобы оппозиционный, на самом деле гарантировал им место в элите, быть деревенщиком стало модно, хлебно. (И все это — финальное туше — при том, что так и не написано ни одного настоящего романа о целине!) Литература, короче говоря, занимается черт знает чем, тогда как у нее есть более чем конкретные задачи.

«Метафора современности», по сути, была конспектом — и промоакцией, рассчитанной на то, чтобы подогреть интерес критики к только что вышедшему роману «Место действия». То был не просто очередной производственный советский роман, но «этапный» — точно для Проханова и, не исключено, для всей литературы. На этот раз он не просто вытащил из-за пазухи магический кристалл цивилизации, как в «Кочующей розе» и «Время полдень», но столкнул мир архаики и мир футурологии, себя-фольклорного и себя-техносферичного. Это роман о конфликте — который и выплеснулся из романа в ЦДЛ.

Года за три до эпизода в ЦДЛ Проханов отправляется в одну из рутинных поездок — в качестве члена редколлегии журнала «Октябрь». Инициатива исходила от главного редактора, Ананьева, в попутчиках у Проханова был писатель Григорий Бакланов. Они попали в Тобольск, на строительство нефтехимкомплекса.

В первый же день, еще до осмотра строительства, они зашли на старинное кладбище, где уселись на могиле Кюхельбекера, и, потягивая самогон и рассматривая бронзовый памятник, дружелюбно обсуждали стандартные темы своего времени, тестируя друг друга на вменяемость, знакомство с запретными текстами и отношение к пикантным предметам. Проханов испытывал к своему собеседнику уважение, как к фронтовику, и вспоминал, как тот помогал ему печатать первые рассказы в «Октябре». «Я был почти завербован в этот мир баклановско-ананьевский».

Почти. Но если для Бакланова все это так и осталось очередной рутинной поездкой — еще один деревянный кремль, еще один странный городок, где старушки из старого города приходят в новые кварталы кататься на лифтах, еще одна емкость алкоголя — то Проханов, много в то время думающий о том, каким образом «лубяное» может контактировать с «технотронным», ловит в этом городе важную метафору. Место показалось ему любопытным: с одной стороны, старинный купеческий, «лубяной» русский город, в котором Николай провел последние дни перед екатеринбургским финалом, с другой, «в этот деревянный город, куда сброшены все отходы реальной

истории и реальной культуры, ютящиеся среди догнивающих домов и изб, врывается индустриальный гигант, который символизирует, строит цивилизацию, новую эру». Под воздействием этого пришельца люди оказываются по разные стороны баррикад, делятся на людей культуры и людей цивилизации.

По мнению Проханова, на тот момент это была ключевая советская проблема — «просачивание досоветских архаических констант сквозь жесткую технократическую оболочку». Ему кажется, что если обнаружить способ снятия этого противоречия, возможность синтеза — философского и политического — этих двух направлений, то подгнивающая изнутри страна была бы спасена.

Разглядев в Тобольске романную ситуацию, — «комбинат ломится в город, проламывает ветхие сооруженьица, ахает металлом по дереву», — поймав эту «метафору современности», он принялся ее реализовывать. Он регулярно приобретает билеты на самолет до Тобольска и летает туда уже не как путешественник-этнограф или поверхностно знакомящийся с городом трэвел-райтер, а как писатель. У него уже есть замысел, и он ищет только тот материал, который укладывается в сюжет о войне миров.

Так, с одной стороны, он знакомится с директором комбината Владимиром Дзираевым, с другой, с местной интеллигенцией — краеведами, театральными деятелями.

Он воочию наблюдает строительство «чуда»: копошение на дне котлована, перемещения лязгающих железных машин, «армады механизмов», бурные совещания менеджеров.

Так возникает «Место действия» — производственно-краеведческий роман про город Николо-Ядринск. Точнее, про два Николо-Ядринска — архаический и устремленный в будущее. Главных героев здесь двое — амбициозный директор комбината Пушкарев и скромный художник Горшенин. Они непримиримые антагонисты, которые в конце концов должны прийти к синтезу. Поначалу футуроориентированный Пушкарев относится к аборигенам едва ли не с презрением — «сухая, мертвая ветвь российской истории», «предстоит обломать мертвый сук… выращивать новую молодую вершину» — чем провоцирует против себя заговор местной «белой» интеллигенции. Неглупый человек, не зря назначенный в главные герои романа, он, впрочем, быстро соображает, что к чему, и меняет тактику отношений с местной интеллектуальной элитой. Самому бескомпромиссному своему оппоненту, журналисту, он предлагает место пресс-секретаря; у него есть проект не только для технократов, но и для людей

культуры, он готов идти с ними на сближение.

Проханов показывает нам «чудо о комбинате»: в каких муках, физических и душевных, интеллектуальных, рождается комбинат, как вместе со старым городом ломаются не только ветхие кварталы, но и ветхие души. На комбинат в конце концов замыкаются все романные линии: картины художника Горшенина выставляются в надувном (естественно) ангаре для ротора, театр должен сыграть пьесу прямо на стройке, оппозиционный журналист станет штатным историографом комбината, директор музея почувствует необходимость сделать экспозицию о комбинате.

По флоберовским критериям роман, скажем так, далек от совершенства, сюжет часто пробуксовывает, вместо того чтобы действовать, герои постоянно читают лекции, вступают в печатную полемику, ведут малоконструктивные бизнес-переговоры. Но в «Месте действия» много того, что можно описывать как «энергетику», «неканоническую ахинею» или «авангардную стилистику».

Роман — плотина, на которую несется поток метафор, сравнений, образов, рокотание фонетически однородной лексики: двутавры, фермы, градирни, роторы, форсунки, рольганги. Типично прохановские словосочетания, поражающие «полным равенством присутствующих в описании предметов и их определений» (Дедков): ревущие стальные конструкции, перекрученные жгуты труб, кипящие паром вулканы градирен, пышущие жаром домны. Фразы-комбинаты, бурлящие энергетикой и динамикой, мгновенно выдающие готовую образную продукцию: «Бульдозеры торили обочины. Экскаваторы рвали лед». «Оранжевые толстолобые „магирусы“ в дизельных реактивных дымах мчали, груженные грунтом». Котлован со строительной техникой он описывает, как Бодлер — падаль на дне могилы, облепленную могильными червями. И это даже не декадентский интерес к «наоборот», к эстетике безобразного, это странное, присущее только большим художникам умение разглядеть великую красоту там, где обычный человек увидит какую-то черную дыру, в которую даже и плюнуть-то не хочется, красоту механизма, преодолевающего материю.

«Этап, когда культура находилась в эстетическом возбуждении, — писал Проханов в одной из статей 70-х годов, — давно прошел. Мутация прозы вошла в норму. Хочется спокойной очевидной чистоты. Модернизм стал заезжен. Хочется вернуться в чистые зоны. Я сам переболел мифологизмами. Естественно используются мифы в тех литературах, которые ушли недалеко от фольклора. В русской литературе эпоха фольклора в прошлом.

Как минимум два поколения русской литературы не мифологизировано. И сегодня у нас мифологизирование — выморочно, нереально. Сегодня цивилизация сама есть миф с точки зрения предшествующей формации. Неканонический миф».

Эта амбиция — «синтезировать архаику и футурологию», развести в одном пруду белую и красную рыбу, примирить их и на коалиционной энергии спасти страну — не осталась незамеченной. Роман произвел не эффект, но множество эффектов. Георгий Марков, писатель-сибиряк, влиятельный литфункционер, восторженно тряс ему руку и сказал: «Вы даже не понимаете еще, что вы написали!».

Для либеральной критики это был еще один производственный роман, но и она была впечатлена его энергетикой, которая относилась на счет «классного журнализма». «Роман, — процедил сквозь зубы новомирский критик Дедков, — вместил в себя поэтический репортаж о технике, запущенной во всю мощь… Чаще всего эта техника воспринимается как особого рода пейзаж. Информационный, патетический, романтический, метафорический, но пейзаж… Авторское романтическое восприятие „объекта“…».

Вечером 12 сентября 1979 года Проханов еще не знает, как зовут перегородившего ему дорогу человечка, но его происхождение и повод очевидны. У него проносится в голове несколько вариантов контратаки, вплоть до презрительного «Я те гармонь-то куплю!», но затем он приходит к выводу, что отвечать какому-то сомнительному деревенщику было ниже его достоинства. Он холодно смеривает наглеца взглядом, отодвигает его в сторону и шествует дальше — к столику, где уже сидели Ким, Гусев, Афанасьев, Маканин. Мужчины здесь — ровесники и союзники Проханова, которые восхищались «Местом действия» и пытались использовать его как «тотальный аргумент» в конфликте с отсталыми деревенщиками, — были одеты вполне по-европейски, женщины были покрасивее и держались независимо, центральной фигурой стола была бутылка грузинского красного, едва, впрочем, заметная среди нагромождения тарелок с салатами и закусками.

Для «сорокалетних» роман был живым примером того, что современный язык может работать в экстремальных условиях — описывать технику.

Что касается упреков в «советскости» — «конъюнктурный производственный роман» — то и здесь есть что обсудить. Его «советскость» сводится скорее к внешним признакам. Здесь есть персонажи, однозначно указывающие на административную иерархию (парторг, директор, замминистра), но не на социальный

строй; при желании они легко конвертируемы, например, в реалии капиталистической России: олигарх, красный директор, менеджер среднего звена, пиар-директор, промо-директор и т. п. Вообще, административно-социальные реалии в романах Проханова без каких-либо специальных усилий заменяются; миф как основа выдерживает любые «навесы»-вариации.

— «Место действия» любопытный роман, но абсолютно не соответствует сегодняшним представлениям о беллетристике. Трудно все-таки воспринимать его иначе, чем производственный роман — жанр, безнадежно скомпрометированный для нынешнего читателя. С другой стороны, это замечательная работа, и жалко, что никто никогда не прочтет его. Его можно использовать как «подмалевок»?

— Думаю, можно. Он будет не массовый, не модный, но в нем есть историографический и литературоведческий интерес.

— Нельзя ли изложить эту историю в романе, например, про ЮКОС или Роснефть?

— Возможно. Я думал про это. Оппозиция архаики и техносферы, тогда для меня очень актуальная, и сейчас не лишена смысла. Можно подумать над тем, как социалистический, коммунистический, авангардный, технократический пафос вдруг стал достоянием буржуа, людей совершенно нового уклада. И этот роман можно было бы поместить в оболочку сегодняшнего Тобольска, сегодняшних бандитских ночных клубов. Герой — состарившийся супермен, который тогда демонстрировал мощь страны социализма, сейчас был бы типом красного директора, летал бы на собственном самолете, владел собственным заводом, когда-то его строило государство, а сейчас это его собственная вотчина. Я вижу там возможности такой трансформации: закатать этот советский опыт в сегодняшнюю реальность. Я даже хотел специально съездить в Тобольск, посмотреть, можно ли это сделать. Ведь что такое Тобольск? Тобольск — это царские дома, там в монастыре показывают фотографию Николая Второго, там есть до сих пор возможность перенести вот эту драму советского и белого, советского и досоветского, советского и антисоветского — даже в этот самый роман. Его можно модернизировать, не перемещая его, не заключая в новые оболочки, в новый материал. Можно было бы интенсифицировать тему интеллигенции — духовного подполья, которое там существовало — и агрессивного победного советского авангардизма. На фоне сегодняшней реальности это выглядело бы как мнимость и того и другого. Вся подпольная белая культура царская, которая потом выплыла на поверхность и возобладала, и советизм, красная культура,

которая оказалась разрушенной, — обе они в новых условиях превращаются в ничто.

Еще одна любопытная история, косвенно связанная с тем тобольским романом. Собирая материал, он совершает экскурсию в местную тюрьму — знаменитый на всю Сибирь Тобольский централ. Там происходит нечто странное. Сначала его поразил гид — «очень красивый, улыбающийся, похожий на Гагарина, но с гигантской связкой ключей на поясе. Все они были хромированные, как инструменты в хирургии, говорили, что это профессионал, он к ним относится свято — и он меня водил, открывал двери, показывал убийц и — странно, мистика? — в каждом из тех, с кем я встречался, я находил прообраз живущего. Был там убийца, абсолютно похожий на Рубцова, который умер. И у меня возникла мысль, что люди, которые умирают, на самом деле не умирают, а их сажают в эти тюрьмы пожизненно». В «Месте действия» это курьезное сошествие в ад не пригодилось, но эпизод заархивировался в памяти и много лет спустя был активирован: мы встретим убийцу-двойника в «Теплоходе „Иосиф Бродский“»: «Ты — Лешка Клыков по кличке Сластена, серийный убийца. Получил пожизненное за убийство и изнасилование десяти малолетних девочек, пять из которых ты съел», Сластена заменит казненного Василием Есаулом Президента Парфирия Мухина — раз уж так вышло, что «природа создала два клона, по единым лекалам и выкройкам, с поразительным подобием тела, но с различной судьбой… Их сходство, а также прочитанная в детстве книжка „Принц и нищий“ натолкнули Есаула на идею».

Деревенщики, индифферентные к идеям государства, равнодушные к авангардистским идеям 20-х годов, увидели в «Месте действия» дифирамб мегамашине и люто возненавидели этот роман. На одном из писательских съездов на автора обрушился Б. Можаев, доказывавший, что роман слаб в творческом отношении и что в нем «гиперболизированно выпячиваются технизированные стороны бытия в ущерб духовным». Что касается исследования внутреннего мира героя — главного дела писателя — то тут деятельность А. Проханова можно определить как в высшей степени поверхностную.

Реакция ЦДЛ на статью была закономерна, он мог прогнозировать ее. «В ЦДЛ приходили посмотреть на то, как отнеслись к рецензии, которую опубликовала „Литературная газета“, или как вообще отнеслись к твоей публикации. Ты принимал либо поздравления, либо видел ужимки

недоброжелателей, зависть на лице, в том числе своих друзей. Это был самый короткий путь писателя к народу».

Человеком, прилюдно запретившим Проханову писать о душе, был Владимир Личутин — помор, архангелогородец, автор повестей «Душа горит», «Вдова Нюра», «Белая горница». Сейчас трудно сказать, почему он-то оказался вдруг в ЦДЛ, по-видимому, то был «сабантуй» по поводу выхода его новой книги «Золотое дно»: гонорар полагалось обмывать. Личутин был воинствующим деревенщиком, но в каком-то странном статусе — во всяком случае, патриархи жанра дружно игнорировали и горящую душу, и злоключения вдовы Нюры. Не исключено, его нахальный наезд был связан с тем, что он пытался завоевать себе боевую репутацию. Через несколько лет он засядет за трехтомный роман «Раскол» о XVII веке и закончит его к концу века. В октябре 1993 он укроет Проханова с товарищами у себя в деревне после разгрома Белого дома и с тех пор станет постоянным колумнистом газеты «Завтра». Колонка будет называться «Душа неизъяснимая».

«О чем угодно, только не о душе». Не лезь в то, о чем ничего не знаешь. Деревенщики упрекали авторов производственных, индустриальных романов за безнравственность: в пору господства деревенской прозы индустриальная тематика была почти неприличной. «Когда Распутин плакал, что электростанция убила его деревню Матеру, я воспевал эти электростанции. Как можно было воспевать эти электростанции, эти заводы, когда гибли луга, умирали олени? Тогда была мода на такой вот стон, плач… И Распутин был кумир, Есенин — а я вдруг пою свою мегамашину железную. Я был тем, кто своими машинами сожрет их последний озимый клин».

Вызывающе выглядело то, что Проханов, московский интеллигент, не испытывал комплекса вины перед народом (на этом политкорректном комплексе и держался, в сущности, высокий рейтинг деревенской прозы в интеллигентской среде). Он это все знал, прошел через это и сам был в состоянии слагать собственные «Георгики», но ему это было уже неинтересно, это был любимый, но отработанный материал, и держаться за него дальше было неконструктивно. О чем он и сообщил, что и стало скандалом, потому что он выглядел как интеллигент, не чувствующий вины. Это как немец, не чувствующий вины за холокост, — возмутительно.

Знакомство с будущим другом Личутиным было не единственным последствием публикации «Метафоры современности». После статьи разразилась дискуссия о деревенской прозе с даосистским названием «Большаки и

проселки». Слово «дискуссия» — темами могло быть «Будущее поэзии» или «Проза быта и бытие прозы» — означало, что в ближайшие номеров десять на заявленную тему будут высказываться все заинтересованные лица: бросать друг другу перчатки, давать отповедь, а то и отлуп. Обычно кончалось все подсчетами «коэффициента художественности» и примиряющим заключением какого-нибудь маститого — «исполать вам на этом многотрудном пути».

В следующем номере «ЛГ» прохановскую подачу обострил критик В. Гусев. Проханов атаковал «фольклорных авторов» дерзко, но довольно аккуратно, с дипломатичными поклонами в адрес их достижений. Не зря кто-то потом назвал его статью «боем с тенью» — потому что на самом деле он ведь не говорил, что деревенская проза это плохо. Не то Гусев: тот в своих «Поисках высшей зрелости» («ЛГ», 1979, 17.09) без обиняков обвинил деревенщиков в том, что их линия — в современной литературе тупиковая.

После чего началась буча, литературный скандал, и лупили, конечно, прежде всего застрельщика, который впервые осмелился высказать то, что все понимали, но о чем никто не решался говорить, — что «исконное-посконное» практически мало пригодно для современного мира. Проханов был воплощением всего того, выступая против чего они сделали себе репутации. «Я был технократом, а технократизм был непонятен и нормативным советским лидерам». Во-вторых, они воспринимали его как писателя специализирующегося на производственной тематике, воплощение «парадно-лакировочного стиля».

Группы писателей пылили по проселкам в отдаленные области на круглые столы, приглашали к участию председателей колхозов и директоров совхозов. Другие неслись по большакам в неоновые города и тоже едва ли не неделями просиживали за круглыми столами. «В литературе углубились поиски духовности, этических ценностей, обеспечивающих человеческую нравственность. От „экономического“ анализа человека проза явно переходила к анализу личностному, моральному», сообщает Наталья Иванова.

И вот в одном из совхозов Костромской области критик Дедков расставляет кое-кому затейливые ловушки: «Допустим, кто-то не очень любит „проселки“. И не слышит, как рядом грохочет главная магистраль, „большак“. И тут некий доброжелатель говорит: бросьте плутать по этим старым и скучным дорогам, я выведу вас в мир неслыханной, праздничной новизны и глобальных всемирных свершений… Он протягивает руку, он готов быть проводником… Но поднимется ли в ответ чья-

то благодарная рука?» Либерально-новомирская линия восприняла прохановские гимны мегамашине как оду тоталитарному государству, страшному молоху. С их точки зрения, безопаснее был этнографизм деревенщиков. «В дискуссии, — Дедков не спускает ноги с педали газа, — прозвучал призыв к писателям обратить свой взор туда, где „армады красных застекленных комбайнов“, „разноцветное шествие огромных машин“, туда, где торжествуют „железные, легированные понятия“ „технизированной деревни с ее бесконечными планерками, мелиорацией, тракторами „К-700“, сенажом, комплексами, диспетчерской связью“ и т. д. Как видим, начинается отсчет с чего угодно, не с человеческой судьбы».

Официальный финальный аккорд прозвучал лишь 12 марта 1980 года — в статье Вс. Сурганова «Перед завтрашним днем». Автор развенчивает мифы о деревенской прозе («элитарность», «тяга к заповедности», «страх перед современностью») и, подводя итог, замечает: «Не обошлось без полемических перехлестов!»

Но деревенщики еще долго будут ненавидеть Проханова. В 1981 году, когда формировалась делегация писателей для поездки на Север и куда взяли всех — Белова, Распутина, Астафьева, Личутина, Кима, Крупина и даже Гусева, — Проханова даже не пригласили. «Смешно, — вспоминает Наталья Иванова, — что Союз писателей полюбил его в самом позднем своем периоде, а сначала он его ненавидел. Особенно его ненавидели деревенщики, и я очень хорошо помню, что на каких-то собраниях, годовых или пленумах, его захлопывали, освистывали, снимали с трибун. Он начинал говорить о необходимости техноперевооружения страны, другого отношения к литературе… Был очень сильный антагонизм его с теми людьми».

«Метафору современности» перепечатали в дайджесте лучших текстов «ЛГ» всех десятилетий как одну из главных статей за все 70-е. Это, конечно, был показатель его статуса: он в свои сорок лет мог заварить кашу.

И Личутин, и Проханов сами сейчас удивляются личутинскому поступку. «Но я запомнил эту неслыханную дерзость, агрессивность — мне о чем-то запрещают писать!» Конечно, это была такая нахальная, шукшинская попытка срезать зарвавшегося горожанина, но вопрос, поставленный Личутиным, между прочим, не потерял актуальности — правда, не в контексте деревенско-индустриального противостояния, а в более широком смысле. Деревенщик Личутин ведь по сути сказал следующее: ты — со своими форсунками и рольгангами — прозападный

писатель, а у вас там не принято навязывать читателю свои мнения и путать профессии беллетриста и проповедника; так куда ж ты лезешь? Имел ли Проханов право писать о «душе» или ему действительно не следовало соваться куда-либо, кроме своей «техносферы»?

Собственно, этот же вопрос возникает всякий раз у обычного читателя, который сталкивается с прохановскими «обмороками», его «изумлением», его «восторгом» и прочим романным материалом, не относящимся напрямую к развитию сюжета. Может ли писатель, у которого нет официальной лицензии критики и потомков, а у Проханова такой не было и нет до сих пор, лезть в душу: к себе, к читателю, к кому угодно? Проханова и самого это беспокоило; он и был, надо полагать, так уязвлен, потому что чувствовал справедливость этого вопроса. И, как знать, вся его дальнейшая биография — вступление на путь кшатрия, в зону войны и смерти — не попытка ли это добыть вот так, через писательский штрафбат, лицензию на право «писать о душе»?

У романа «Место действия» были и курьезные последствия. Как известно, главный герой Пушкарев списан с Владимира Дзираева, гендиректора Тобольского нефтехимкомплекса. «Тоболяки, — сообщает корреспондент сибирской газеты, — не просто догадались — они знали, что роман написан на местном материале, а Пушкарев — Дзираев».

Роман был более чем комплиментарен по отношению к прототипу («В сжатом до синих бугров и жил пушкаревском кулаке бились и рвались на свободу железные дороги, реки, людские несметные жизни, хрипел и орал континент, а он, Пушкарев, держал его под уздцы»), но в романе присутствует, даже не то что присутствует, а является структурообразующим неизбежный у Проханова адюльтерный сюжет: директор Пушкарев уводит у Горшенина его жену, театральную актрису. В эту актрису влюблены многие, вокруг нее даже вьется один экскаваторщик, но дело, конечно, не в том, что Проханов решил попробовать себя в жанре «секс в большом городе». Главная роль этой актрисы состоит в том, чтобы своим «женским естеством» (едва ли тут возможны ощутимо более удачные термины) гасить излишки энергии самцов и способствовать синтезу различных точек зрения; только так, совместными усилиями, они и могут вытащить застрявшую лошадь (там есть такой эпизод). Жена и любовница, она не столько стравливает самцов, сколько мирит их: одному, тяготеющему к архаике художнику, автору «огненных акварелей» — открывает дорогу в футуристический (надувной)

ангар, на выставку, второго — электрического человека будущего — приводит в деревянный домик с керосиновой лампой, заставляет задуматься о красоте «лубяного» Николо-Ядринска.

Простодушные тоболяки, проглотив «Место действия», тут же принялись гадать, кто из артисток театра была любовницей Пушкарева-Дзираева. Разгневанный Дзираев, ни с того ни с сего оказавшийся крайним в этой истории, чертыхался: «Они еще и домик тот блядский начнут искать, где я вроде трахался. И в театре хоть не появляйся: скажут, опять на свиданку приперся. Удружил мне Проханов. Ох, удружил. Не место действия нарисовал, а вместо действия». Так что его читали, безусловно, и не только сами прототипы.

Не так уж и мало.

Среди знаков доброжелательного отношения к нему власти выделим один: в конце 70-х ему делают лестное предложение сочинить ритуальный текст-обращение на 7 ноября, этот эпизод зафиксирован в «Надписи». Он действительно был кремлевским спичрайтером? «Я не был спичрайтером, просто я зачитывал свои тексты. Любой ритуал сопровождался пафосными речениями перед началом демонстрации».

— Неужели вы прямо с Мавзолея это зачитывали?

Я пытаюсь вообразить Проханова в компании, которую писатели Гаррос — Евдокимов описывают как «выводок зомбаков».

— Нет, по радио: «И вот… Красная площадь… Выступают… А сейчас слово предоставляется писателю Проханову». Это накануне записывалось, а потом включалось. Это было очень престижно. Эти оды мне удавались. И за счет языка, и за счет того, что я мог монтировать храмы с ракетами, саркофаги князей с кремлевским пантеоном, и все сливалось в такую непрерывную красно-белую историю. Это производило впечатление и ценилось тогда. И я сам оценил, чувствовал непрерывность истории, мистику могил, которые были рядом, по разные стороны от стены, по существу, эти кости, пеплы были близки друг к другу. Мне был интересен этот опыт.

Похоже ли это на его сотрудничество с зюгановской компартией? Определенно нет. «Тогда сильная власть, партия, государство приглашали меня к взаимодействию, включиться в мощную всеобщую процедуру, в каком-то смысле я был ангажирован. А сейчас сильного государства не существует — и уже я выступаю с позиции сильного, может, даже в качестве какого-то демиурга. „Нью-Йорк Таймс“ писала обо мне как о сером кардинале партии, уж не знаю, насколько это правда. Роли

изменились. Тогда я был ангажирован, а теперь можно сказать, что я ангажирую.

— Я все никак не могу привыкнуть к тому, что вы умудрились не стать членом КПСС. Ведь все были.

— Я воспитывался в совершенно не партийной, по существу, не в советской среде, семье. Одна часть была репрессирована, другая, став советской, никогда не была партийной. Кроме того, во мне всегда была внутренняя фронда.

— Каким образом вы избегали вербовщиков, которые к вам подкатывались? Как ваш Коробейников: „Не обязательно быть членом партии, чтобы написать блестящий репортаж или очерк. Бунин не был членом партии, но прекрасно справлялся с описанием природы, машин и человеческих душ“?

— Во-первых, я с теми людьми, кто предлагал мне вступить в партию, был если не в дружественных, то в приятельских отношениях[8].

Я мог им отказать, я был не военным, они не были мне командирами. Потом — ну вот я не вступаю в партию — что, они мне запретят печататься? Да я им был нужнее, чем они мне. Кто мог описать атомную триаду советскую? Кто мог описать бомбардировщики, летающие к полюсу, пуски ракет или взрывы атомной бомбы на полигоне в Семипалатинске, как я? Никто. Я им был важен. И потому, почувствовав, что я им важен, они хотели зафиксировать, застолбить мое присутствие в их среде партийной. Партийность — это как кобель, который метит своей ядовитой мочой среду. Это круговая порука. Я это понимал прекрасно, и я вовсе не хотел таким образом заключать с ними договор. Мой договор был не коммерческий и не политический, это было, что ли, бескорыстное служение: я так думал, и мне было интересно этим заниматься, я умел это делать. Давление, которое на меня оказывали, не было субординационным давлением. На меня не столько давили, сколько искушали. А мне это было не нужно. Я не видел в этом корысти. То были анархические настроения художника-одиночки, который предпочитал делать то, что он делает.

Я помню, это было во время какого-то коктейля, в Болгарии, ко мне подошел один функционер крупный и сказал: „Как вы не понимаете, вы не идете в партию, вам предлагают такой высокий уровень, это, может быть, ваш последний шанс“. И вот сейчас я случайно встретил его, он какой-то жалкий, опрокинутый, несчастный по сравнению со всей этой его номенклатурно-партийной вельможностью тех лет. А мой-то шанс, может быть, наоборот, был в том, что я не вступил в партию. Я чувствовал себя абсолютно свободным, не ангажированным…

Храмов в своем открытом письме соловью Генштаба вспоминает, как Проханов не просто не вступал в партию, но и ему решительно отсоветовал: „Не вступай, — сказал ты, — захочешь, они тебе, беспартийному, больше дадут“. Ты захотел — и тебе, очевидно, дали».

Правда? «Нет, я думаю, это не была интуиция, это был внутренний стихийный протест, либерализм такой изначальный, который потом принес мне дивиденды. Сейчас я к этому рационально отношусь. А тогда это присутствовало стихийно; это не стоило большого труда».

У него не было карьерных побуждений — но его карьера развивалась сама по себе. Хотя, безусловно, если бы он стремился к восхождению по социальной лестнице сознательно и не совершал экстравагантных поступков, то, конечно, добился бы гораздо большего.

Тут надо отметить вот что — он не заматерел: в нем было нечто такое, что отличало его от номенклатурных писателей. Он производил странное, не сказать эксцентричное, впечатление. Любопытно свидетельство Бориса Парамонова: «Александра Проханова я заметил давно, еще до перестройки. Помню его статью в „Литературной газете“ году в 84-м или даже в 83-м — об Афганистане. Была неожиданной фразеология статьи: достаточно дикая, но какая-то несоветская, неофициозная, неказенная. Что-то, помнится, говорилось о том, что из смотровой щели танка, ползущего в песках Афганистана, открываются всемирные моря… Он нес какую-то неканоническую, неполитичную чушь: о глобальной геополитике, о тайне четырех океанов, о всемирно-исторической миссии советской армии. Официальная пропаганда таких слов не говорила, ограничиваясь в основном расхожими штампами об ограниченном контингенте с дружественной миссией, о братской руке помощи».

> «Меня не любили ни левые, ни правые, ни власть имущие, по существу. Я был птицей другого полета».

Любопытный эпизод произошел с ним в Венгрии, государстве «гуляшного социализма», много лет процветавшем под руководством рачительного коммуниста Кадара. Это была поездка по армейской линии, в расквартированные там советские гарнизоны. Напарником по делегации был Петр Лукич Проскурин, автор толстого, как телефонная книга, романа «Судьба». Им не нужно было отписываться в прессу, достаточно было просто выступить с чтениями перед офицерскими женами и солдатами из караульной службы, сами офицеры все уехали на

танкодром. Проскурина вдруг отозвали за кулисы. Там он увидел майора в замызганной полевой форме и грязных сапогах: «Петр Лукич, — сказал офицер, — у нас маневры, но, узнав, что вы здесь, я сел на БТР и гнал 80 километров, — тут военный протянул автору замусоленную „Судьбу“, которую явно перечитал весь гарнизон, от полковника до прапорщиков. — Книжку подпишите мне, а?» Подмахивая свою макулатуру, Петр Лукич с гордостью подмигнул своему младшему коллеге, ошеломленному: «Не то чтоб я позавидовал, но я понял, что есть писатели, ради которых читатели бросают гарнизон, рискуют попасть под трибунал, дуют на тяжелой технике за сорок верст только затем, чтобы увидеть своего кумира и подписать книгу. Увидеть и прикоснуться. Писатели были боги, такое было значение литературы в советском обществе».

То был хороший стимул писать дальше и не бояться репутации коллаборациониста и трубадура официоза. Он увидел, что, в конце концов, то, что называлось «репутацией», было всего лишь мнением «аэропортовских» дам, тогда как майору, который и представлялся ему «настоящим» читателем, на все это было наплевать.

Вечером 24 ноября 1979 года в здание Московского общества любителей книги в Кадашевском переулке стягивались несколько десятков мужчин более или менее одного возраста, которые явно имели какое-то отношение к печатной продукции, но и на типичных «книголюбов» похожи не были. Там можно было увидеть будущего букеровского лауреата Маканина, редактора издательства «Советский писатель» и двоюродного брата Евтушенко Александра Гангнуса, писателей Кима, Курчаткина, Афанасьева, будущего председателя Гостелерадио О. Попцова, будущего редактора «ЛитРоссии» В. Гусева. За оформление здесь отвечали двое — критик Владимир Бондаренко и тот, кого он подначивал, — один из самых модных писателей, автор недавно вышедшего «Места действия» и фигурировавшего пока только в рукописи «Вечного города», Проханов.

Эта встреча «Клуба сорокалетних» могла бы войти в историю литературы как «встреча у книголюбов», если бы история литературы ее заметила. У этих самых «книголюбов», кем бы ни были В. Шугаев, Ю. Аракчеев, В. Алексеев, П. Краснов, В. Мирнев, А. Скалон, Ю. Антропов, Г. Баженов, Г. Абрамов, Л. Кокоулин («странный литературный планктон, который не был оформлен в движение»), — прошло нечто вроде круглого стола, на котором обсуждалось состояние современной литературы, и в частности говорилось о поколении сорокалетних, потому что после провала

всех прочих попыток найти общий знаменатель выяснилось, что проще всего объединить всю компанию по поколенческому признаку: все они были более или менее ровесниками. Бросается в глаза отсутствие женских фамилий, хотя по половому признаку разделения не было: Наталья Иванова уверяет, что Бондаренко пытался втянуть в орбиту этого объединения и ее тоже.

Она же, четверть века спустя, описала то, что там происходило, следующим образом: «с подачи энергичного, рвущегося в лидеры Проханова была предпринята акция по насаждению идеи общего поколения, намеренно затираемого и обижаемого».

Почему «затираемого»? Они не вписывались ни в советский норматив, «секретарскую литературу» типа Проскурина, Иванова, Бондарева; ни в деревенскую прозу, представители которой были как бы официальной писательской оппозицией, со своими героями, регалиями, премиями («ранжировали центральный секретарский пласт своим деревенско-русским направлением», уточняет Проханов), ни в шестидесятническое евтушенковско-трифоновское либеральное направление. Ни в диссидентствующих — в этом смысле они были как бы альтернативой «Метрополю», который только что прогремел, в том же 1979 году.

После встречи в прессе начинается шквал манифестов. Зачинщик — Проханов. «Метафора современности», «ЛГ», 1979, 12.09, и «Не ошибиться в диагнозах» «Литучеба», 1980, № 3. Затем в пробитую брешь устремляются Бондаренко («Столкновение духа с материей», «ЛГ», 1980, 5.11) и А. Афанасьев («Молодой писатель в эпоху НТР», «Московский литератор», 1980,18.11). Бондаренко, уже тогда выбравший себе амплуа литературного денщика Проханова, сварганил теоретическую базу. «Зоркое и трезвое социальное наблюдение за нарождающимися характерами общества наших дней». «Реалисты». «Амбивалентность». «Вибрация» между традиционным укладом жизни и современным, между верой и безверием, между личностью и обезличиванием. Десять лет спустя, в книге «Московская школа, или Эпоха безвременья» (М., «Столица», 1990), он транслировал давнишние свои манифесты следующим образом. «Они выработали своеобразную эстетику сопротивления бюрократическому режиму. Они не устраивали шумных митингов, не печатались на Западе, но солженицынский лозунг „жить не по лжи“ они преобразили в эстетическую программу. Когда бывшие шестидесятники воспевали Братскую ГЭС, пели гимны БАМу, заполонили серию „Пламенные революционеры“ своими восторженными поклонениями

всяческому революционизму, начинающие „сорокалетние“ демонстрировали читателям самих себя — людей без идеалов, без высоких идей, без веры в будущее. Их герои ищут спасения на личностном уровне, взамен коллективных идей — ищут личностные идеи». Словом, речь шла об «одиноком мужестве своего поколения, спасающегося иронией, лирическими отдушинами, многочисленными хобби — от альпинизма до алкоголизма». Именно это, по мнению Бондаренко, отличает реалистов «московской школы» от писателей, оперирующих стереотипами предыдущего времени.

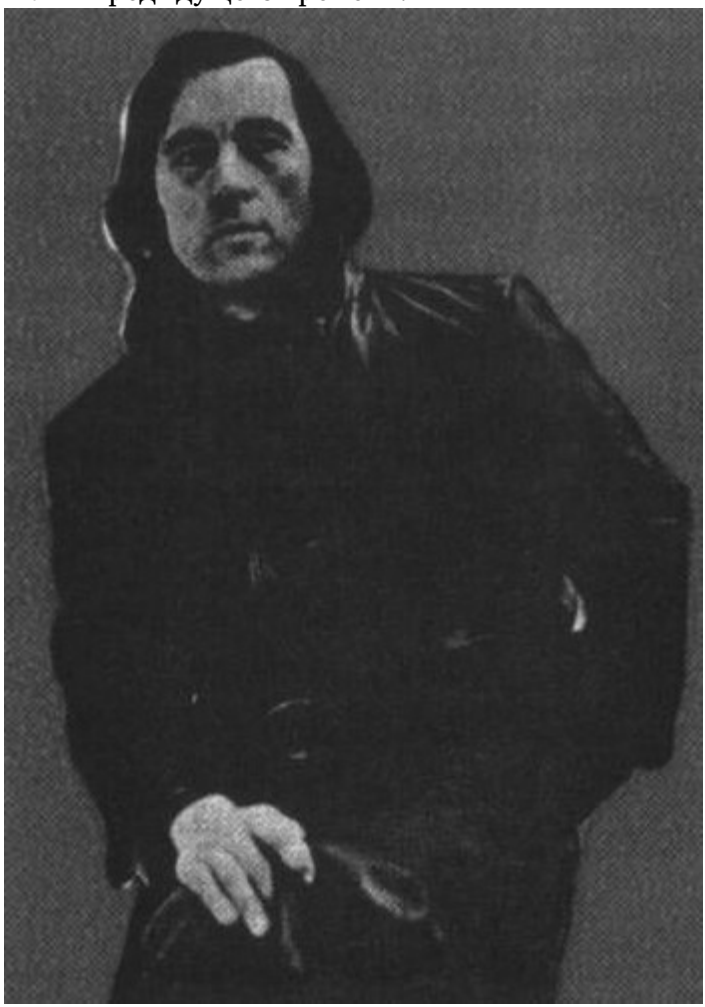


Фото автора с обложки датского издания «дерева в центре Кабула».

Более выразительно, чем отец-основатель, артикулировал представление о прозе «сорокалетних» язвительный новомирской зоил И. Дедков, который, заняв выгодную позицию стороннего

наблюдателя, с иронией пересказывает в своем памфлете начала 80-х типичные сюжеты «40-летних», где центральное место занимают «перспективные современники»: «Талантливый ученый экономист увлекся спутницей по туристической поездке и на двухстах страницах решает, ехать ли к ней в ближайшую субботу; он подозревает, что жена ему неверна, что затеяна какая-то игра и он в ней невольный игрок, но предпочитает ничего не менять в уже избранной форме существования»; «подающий большие надежды провинциальный журналист давно любит замечательную девушку, но, пока то да се, всякие сложности, выяснение отношений, утешается с не менее замечательной парикмахершей („не баба — обомление“, — делится он впечатлением с редактором)»; «очень талантливый молодой философ, отправляясь в столичную аспирантуру, женится как бы в полусне, без большой охоты, и вся его дальнейшая духовная жизнь открыта читателю в ее бесконечном раздражении, досаде, неудобстве, в желании стряхнуть эти путы, эту обузу деторождения и в совестливой оттяжке этого неприятного момента, а главное, в долгом, неутомимом проговаривании всех этих затяжных сомнений и терзаний».

Максималистка Наталья Иванова, не особенно скрывая свое презрение, сообщает: «Это не был реальный андеграунд, это не было новым „Метрополем“, скорее — антиметрополем, состоящим из „допущенных“ (термин Фазиля Искандера), но не удовлетворенных». «Все они были членами писательского союза, регулярно совершавшими ритуальные поездки на стройки века и дни национальных литератур», но плюс к тому хотели «пробиться в литературный истеблишмент. Хотелось большего. Одним хотелось пробиться к широкому читателю, получить, наконец, критику, быть замеченными, а в России это значит печататься в „толстых“ журналах, другим хотелось вытеснить с литпостов стариков, а третьим — самим хотелось стать лауреатами и взять в свои руки управление литературным министерством». Проханов не отрицает: «Это была амбиция неутоленных, обделенных вниманием, может быть, писателей. Сейчас я, конечно, понимаю, что тогда там очень много было честолюбия».

Иванова: «Да, книги-то у иных из „сорокалетних“ выходили, но кайфа не было. Ни официального, ни неофициального. Не говоря уж о том, что места и должности в секретариатах и правлениях прочно были заняты официозом. Или не то что бы официозом, но явно „старшими“ — и по возрасту, и по званиям. А „сорокалетние“ так и оставались в младших лейтенантах. И критика о них если и писала, то или как-то вяло — если положительно, или крайне раздраженно — если отрицательно»

(всем памятна полная сарказма, ядовитая статья И. Дедкова «Когда рассеялся лирический туман»). «Когда рассеялся лирический туман…» (название — аллюзия на фразу в статье Л. Аннинского «Лирический туман рассеивается». — *Л. Д.*), выяснилось, что «все эти „новые реалисты“ обожают „аромат подробностей, прелесть длиннот“, их герои склонны к словоохотливости, „бесконечным словоизвержениям“». Дедков не сомневается, что нечто общее у них у всех есть, но приходит к выводу, что герои у всех этих «40-летних» — якобы молодые перспективные, но, если приглядеться, то просто болтуны, и никто больше, и вся эта «остросовременность» гроша ломаного не стоит, ничем не обеспечена.

На вопрос, чем конкретно завершилась «встреча у книголюбов», Проханов принимается возбужденно перечислять: «КГБ заволновалось. Союз писателей заволновался. И это сработало, кстати. Повышенное внимание, ускоренное прохождение книг в „Совписе“. Маканин, редактор „Совписа“, поддержал мой роман „Вечный город“, он его продвигал».

Идеальный материал для сорокинских вивисекций, странный, напрочь растворившийся в кислоте постперестроечных времен текст, который, однако, даже сейчас, явный анахронизм и сущая нелепость, «Вечный город» — кипяток, которым можно обвариться. Может быть, он и не стоит того, чтобы пить его залпом до дна, но зато там есть одна сцена, которую без каких-либо натяжек следовало бы включать в любые антологии русскоязычной прозы XX века.

Главный герой — архитектор-футуролог Завьялов — проектирует Города будущего (с «гелиоцентром» и «атомным опреснителем») и готов продемонстрировать их на Всемирной выставке в Токио. В Москве тем временем проектируется стандартная ТЭЦ, ради которой надо снести церквушку (архитектурный аналог «слезинки ребенка», которой надо пожертвовать). Завьялов, в принципе, не против, но его учитель Садовников, архитектор старого поколения, отгрохавший Олимпийский и «Ренессанс» («Стадион» и «Олимпийский отель», в районе Божедомки и ЦТСА) и проектирующий Города-сады, не склонен пользоваться бульдозером в городской среде. Ученик и учитель становятся антагонистами. Между тем шеф Завьялова ворует у него имя для статей и сам укатывает на выставку в Токио. Недотепистость Завьялова раздражает его жену, модельера Ксению, которая тоже «выкликает будущее», но мучается отсутствием детей и в конце концов уходит от своего горе-футуролога. Завьялов, чей проект к тому времени из всех орудий

громит официальная критика, вынужден уйти с работы и устраиваться рядовым архитектором в самые банальные учреждения вроде мясокомбината.

Там он и оказывается на бойне и разглядывает конвейер разделки туш: «Шкура сползла. Туша вытряхнулась из нее, голая, мокрая, окутанная паром, словно огромный новорожденный младенец. Дальше уже не было жизни, а красного дерева шкаф, в котором открывали створки, вытряхивали наружу скомканные легкие, как нейлоновые сорочки; печень, как вельветовый тяжелый пиджак; желудок и почки, как шляпы; кишки, как связки разноцветных чулок. Все это бегло и ловко просматривалось, словно при обыске хотели найти улику — записку с телефоном и именем. Разломанный шкаф уплывал, пустой и ненужный. Его пускали на слом». Сцена занимает страниц двадцать, и неудивительно, что она поразила воображение современников — это была настоящая фабрика метафор.

Пламенный урбанофил, он влюбляется не только в открыточные виды, но и в «кишечник города»: в бойни, вытрезвители и очистные сооружения, наблюдает «пульсирующую гигантскую почку», «бурление сальной гущи», «шматки бумаги, комья женских волос» — табуированные, надо сказать, для советского писателя зоны. Почему нельзя было описать «вечный город» менее радикальными средствами? Однажды автор этой книги случайно подслушал разговор Проханова с молодым писателем Олегом Малышевым, автором романа «Лис». Тот, среди прочего, заявил, что «культура должна нести свет», на что Проханов, до того времени дурачившийся, неожиданно перешел в контрнаступление: «А в вас много света? Может быть, одна тысячная. Культура не должна бояться тьмы, культура работает исключительно с тьмой, с говном, это фабрика по переработке тьмы, гигантский ассенизатор, в этом ее функция».

Таким образом, разговоры о том, что Проханов — типичный советский «лакировщик», могут вести лишь те, кто не читал «Вечного города». И неудивительно, что, вспоминают приятели, ему чуть ли не в течение двух лет не удавалось пропустить роман через «толстый журнал» (тогда нужно было сделать это, чтобы книга «сыграла» должным образом). Даже в «Октябре», где Проханов был членом редколлегии, Ананьев сказал ему, что роман про Москву, с бойнями и вытрезвителями, печатать нельзя — «приходите, когда еще что-нибудь напишете».

В конце 70-х Москва, выигравшая конкурс на проведение Олимпиады-80 и переживающая градостроительный бум, вдруг поразила Проханова. Оказалось, метафору современности можно

поймать не только на каком-нибудь строящемся индустриальном гиганте, но и чуть ли не выходя из дома. Более того, по сравнению с этим городом все армейские полигоны и стройки кажутся вымороченой абстракцией. Москва — живая, и от этого оказывается самым зрелищным местом действия, тут все происходит быстрее, тут таких мест действия десятки одновременно: отель, вокзал, стадион и т. п. Тут энергия, амбиции, конфликты, инфаркты, толпы людей, штурмующие здания-плотины, вырабатывающие человековатты. Это город синтеза истории и современности: градирни ТЭЦ — это ведь не что иное, как современные церкви, которые, в свою очередь, построены на каких-то языческих капищах; фантастический город. (Сказывалась, надо полагать, и модная тогда булгаковщина.) Москва — активная среда, воздействующая на героев, гигантская фабрика обмороков. Это город, укомплектованный галлюциногенными деревьями, запускающий потоки метафор, воспоминаний и видений своей архитектурой, странными благотворно воздействующими предметами (например, здесь можно приобрести чудотворную буханку хлеба, восстанавливающую разрушенную семью). По сути, Проханов такой же московский «локальный визионер», как Блейк и Диккенс были визионерами лондонскими. «Вечный город» — главный прохановский «московский роман», однако почти все его романы — специфически «московские». Москва и есть «вечный город», в котором бурлит жизнь, художник выкликает будущее, влюбляется, переживает измену и изменяет сам.

Второй аспект «Вечного города», который требует комментариев, состоит в том, что «архитектор-футуролог» Завьялов — это все тот же Константин Пчельников, друг Проханова; не вполне оправданная трансформация Завьялова из рационального, пламенного, положительного героя в эксцентрика, фантазера и алкоголика связана с тем, что на самом деле герой синтезирован из двух прототипов. Вторым был сам Проханов.

В те годы у Пчельникова была любопытно обставленная квартирка на Арбате (ближе к концу жизни, в 90-х, футуролог-вольнодумец даже зарабатывал на жизнь дизайном квартир; одному новому русскому он построил странную квартиру — всю в зеркалах, а посередине громоздилось красивое старое бревно — «ебальный станок») и небольшая мастерская у Новодевичьего. Там Пчельников держал свой странный, напоминающий машину времени инженера Тимофеева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», аппарат.

Аппарат демонстрировал «город будущего». В принципе, это

давний проект советских архитекторов, сам термин и общий принцип — минимизация нагрузки человека на природу — был придуман еще в 20-е годы. В 1970-м Пчельников, увлеченный идеей «дифференциации пространств» («прерывное расселение на прерывном пространстве»), предложил «схему кинетического расселения» — проект строительства Городов будущего, «вокруг цивилизационных ядер и силовых линий», «с вахтовой системой эксплуатации промышленности на периферии».

В том же 1970-м Пчельников в самом деле вывез свой проект в Осаку, на Всемирную выставку, где получил некую премию. В СССР, разумеется, бюрократы и слышать не хотели обо всей этой экстремистской футурологии, и сколько ни трубил Проханов о своем закадычном друге во всех журналах и газетах, проект так и остался на бумаге. То есть не совсем на бумаге. Здесь было множество всякого технического реквизита. На плоской подставке громоздилась система макетов: башен, выточенных из пластмассы и скрепленных какими-то застекленными трубками. Шарнирами и проводами аппарат был соединен с музыкальным проигрывателем. Прикрученные изолентой батарейки обеспечивали подсветку. Конструкция была увешана гирляндами, все сверкало и переливалось. С помощью встроенных диапроекторов устройство проецировало на стены и потолки слайды: ненецкие чумы, самаркандские мечети, железнодорожные магистрали и атомные станции — все это «производило впечатление, создавало ощущение мегамашины». Для пущего эффекта в шоу участвовали коробки с африканскими бабочками, доставленные с севера иконы и нарытые по поволжским деревням русские полотенца с алыми свастиками, почтовые марки. Пчельников сам крутил ручку этой техношарманки и громко разглагольствовал о неповторимой синтетической цивилизации. Наглядно представляющий футурологическую философию СССР аппарат можно было возить по Москве на автомобильном прицепе и устраивать что-то вроде презентаций — архитектурным чиновникам, друзьям и подругам.

Эта машина, представлявшая Города будущего, каким-то образом оказалась у Проханова в его деревенском доме в Торговцеве, где и пролежала в разобранном виде лет семь-восемь. Сын писателя Андрей утверждает, что именно он однажды обнаружил эти ящики на чердаке, выдрал оттуда детали из «быстрогорелки» и все переломал. Схемы не сохранилось, но, судя по свидетельствам очевидцев, архитектурные фантазии Проханова — Пчельникова представляли собой нечто вроде мебельного центра «Гранд», подвешенного на стальной штанге

посреди Сибири.

Разумеется, их общение не сводилось к медитациям над пчельниковским «волшебным фонарем». Примерно в то же время, в начале 70-х, от Пчельникова ушла жена, которая была для него всем — и которая не смогла простить ему то, что он потребовал сделать аборт, когда та забеременела. Это был для него чудовищный шок, он был близок к самоубийству, и Проханов, забросив свои дела, принялся его «реанимировать»: «Я два года возился с ним и пересаживал ему свои органы». Он поселил его у себя в Торговцеве и присматривал, чтобы тот не повторял своих суицидальных попыток. Пчельников непрерывно бредил вслух о том, что надо выстоять любой ценой, выиграть социальное время, завершить Город будущего и спасти страну от крушения.

Это тяжелое общение буквально разъедало Проханова. Он обижался на друга: «Пользуется мной как мусоропроводом, устраивает сброс нечистот. Уходит облегченный и светлый, а я, как отстойник, полон токсинов и ядов. Корчусь, перерабатываю, обезвреживаю, тратя на это душевные силы, свою энергию, человечность! Где же его хваленая экология, прозорливость?» Несколько раз они надолго переставали общаться: в первый раз после того, как Пчельников проиллюстрировал «Место действия», а роман напечатали, но картинки не приняли и ничего не заплатили; во второй — после «Вечного города», когда они поняли, что слишком близко подошли друг к другу.

Тем не менее именно в Пчельникове Проханов обнаружил своего персонажа современности — порывистого, мечтательного и не приспособленного к повседневности. Человек будущего, носитель проекта идеального города, вынужден сталкиваться с психикой и бытом людей настоящего, с изменами и бойнями — и в силу психологической неприспособленности к этому административному конфликту он, занятый нравственными исканиями, часто проигрывает реальные ситуации. У критики, однако ж, этот романтический креатор вызвал не столько сочувствие, сколько неприязнь.

Сразу после выхода «Вечного города» в журнале «Литературная учеба» появляется самая, пожалуй, большая статья, когда-либо написанная непосредственно о феномене Проханова — «Тотальные аргументы Александра Проханова». С первых строк ясно, что автор, все тот же Игорь Дедков, не является поклонником своего героя. Его раздражает герой-футуролог, пророк, который говорит о «философии государства», открывает большое будущее советской стране, причем о либерализации, ее «человеческом лице» в проекте нет ни слова. Его раздражает бред про звон стальных листов в кроне старой

яблони. Раздражает пафос и высокопарность. Раздражает «победоносность» — «превращение пророка в Победителя. Эта победоносная проза оставляет тревожное чувство». Его тревожит, что слишком много внимания автор уделяет государству, мегамашине и слишком мало — человеку.

Не имея возможности растоптать саму идею мегамашины, критик издевается над бытовой интригой, ковыряется в «стилистических вольностях», всаживает в текст тонкие шпильки — «Пророков нам не хватает, это верно, но „кровавые зеницы“ — про что это?» «„Круги“, должно быть, ада, адовы круги, и это про что?» «…Вот беда: внутрироманные оценки главного героя действительно чрезвычайно высоки и зеницы его действительно кровавы». Прохановский Завьялов — проходимец, в нем проступают «черты не то чтобы самозванства, а какого-то натужного усилия соответствовать объявленной, разрекламированной, но недоступной духовной высоте».

Впрочем, даже Дедков вынужден признать, что кое-какие сцены великолепны. «Если есть в этом романе убедительное изображение реальной жизни, то чаще всего за счет классного журнализма. Я имею в виду репортажи об очистных сооружениях и мясокомбинате». Таким образом, никакого тотального аргумента против самого Проханова Дедкову найти не удалось; статья неприязненная, но неразгромная; явление его раздражает, но он сам понимает, что оно ему не по зубам.

1979-й был годом прохановского акме; он заканчивает «Вечный город»; он становится, наверное, самым влиятельным писателем своего поколения, по крайней мере из официально признанных. Критик номер один, — а статус Дедкова можно, пожалуй, квалифицировать именно таким образом, — посвящает ему сорокастраничную статью. Он может свободно высказываться в нескольких престижных СМИ в диапазоне от «Правды» до «Нового мира», успешно лоббировать интересы своих приятелей; прислушиваются не только к его текстам, но и к мнениям. Апологии армии, государства, города, индустрии и эстетизации функциональности, красоте механизмов очищения, убийства, поддержания орднунга, выработки энергии — он посвящает все 70-е годы. Ревизия его наличных достижений позволяет предположить, что он мог бы сделать любую карьеру по литературной или советско-партийной линии. Деревенщики и западники продолжали обгладывать его «Метафору современности», его ежедневно воспевали и проклинали в ЦДЛ, но сам он в это время, заложив крутой вираж, летел совсем уже над другими большаками и проселками.

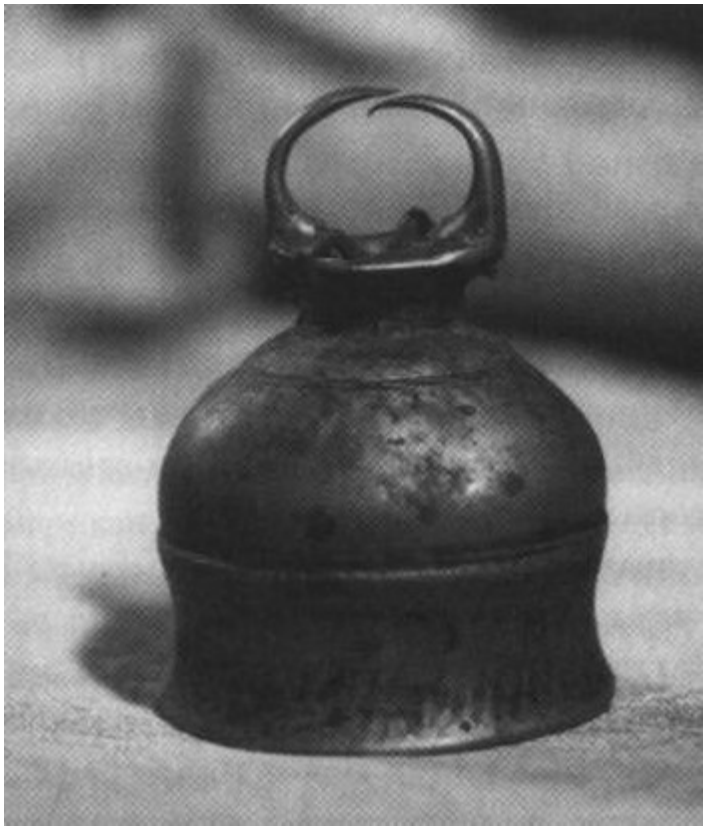
Глава 12

Афганская война. Краткое изложение причин Апрельской революции. Пресловутое «Дерево в центре Кабула».

Необременительный остракизм. Еще один макулатурный роман. Проханов отвечает автору как разведчик разведчику.

Визит к Хикматияру. Разговор о смысле интервенции

тот медный колокольчик был снят в 1985 году с шеи убитого верблюда в пустыне Регистан, недалеко от афгано-пакистанской границы, после того как отряд советского спецназа, с прикомандированным корреспондентом «Литературной газеты» Александром Прохановым, расстрелял группу афганцев. Пролетав несколько часов над красной землей, испещренной следами душманских «тойот», вертолетчики разглядели караван из семи животных, на которых, предположительно, перевозилось оружие. Пока первая машина барражирует кругами на высоте, обеспечивая прикрытие, вторая приземляется в двухстах метрах от погонщиков, стремясь избежать прицельного выстрела из гранатомета. Из чрева выскакивает группа досмотра: спецназовцы в «разгрузках» с боекомплектами, офицер в легких гетрах, репортер с лейкой и блокнотом. Обливаясь потом, они бегут по барханам, валят погонщиков на землю и начинают обыскивать. Переводчик лопочет, что на верблюдах перевозится мука, но солдаты, потыкав в тюки шомполами, обнаруживают там оружие. Через минуту, когда с боевиками все кончено и только «раненные насмерть верблюды отрывают от песка плачущие головы», журналист снимает с шеи одного из животных колокольчик, после чего несколько минут бродит между трупами с трофеем в руке, словно отзванивая по погибшим поминальную службу. Для постороннего сувенир не представляет никакой ценности, но для Проханова это тот самый колокольчик, который, ну да, вот именно, звонит по нему.



Колокольчик из пустыни Регистан.

Афганская эпопея занимает в его биографии важное место, о значительности которого можно судить хотя бы по объему тома «Война с Востока», и это при том, что туда не вошли «Рисунки баталиста», целый роман. Проханов состоит в особой секте — или рыцарском ордене — «шурави». Такие слова, как «Саланг» и «Пандшер» действуют на его героев как заклятия, погружающие их в долгий летаргический обморок, обычно дорого обходящийся читателю. Это его вечная обязанность — произносить «третий — за погибших — тост», за людей, с которыми ему пришлось разделить поражение, возводить и поддерживать в надлежащем состоянии поминальный храм советским «воинам-мученикам».

Апрельская революция 1978 года в Афганистане была чем-то вроде «тюльпановой» революции в Киргизии: в стране были советники из СССР, лидеров время от времени общеловывал в Кремле Брежнев, но никто не мог сказать с абсолютной достоверностью, что именно там произошло; факт тот, что горело где-то рядом с границей, русских туда «позвали», и отказываться было вроде как трусостью.

Проханов узнал о перевороте одним из первых. Так

получилось, что как раз в апреле 1978 году Тимур Гайдар, возглавлявший тогда один из отделов «Правды», дал ему задание написать репортаж с Кушки — юга Туркменистана, где как раз и проходила граница с Афганистаном. Для него это была стандартная гарнизонная поездка: он поучаствовал в танковых учениях Туркестанской дивизии, увидел «роскошный оазис» (фонтаны, вода, несусветной красоты казармы), в который превратился элитный военный городок. Командир дивизии после учений потащил корреспондента «Правды» в баню, где с провинциальной непосредственностью сам парил его эвкалиптовым веником. И вот чуть ли не в этой бане до него дошел слух, будто с той стороны пришли афганцы и сказали, что у них там произошла какая-то революция. Эта информация в тот же день оказывается предметом секретного заседания Политбюро, откуда в виде директив просачивается в идеологические органы, в том числе СМИ. Проханов попадает туда почти случайно, после того, как от поездки отказался «некий маститый коллега»: слишком непрестижно.

Советскому отряду из романа «Дворец», летящему в Кабул, Афганистан кажется космическим телом, на котором жизнь радикальным образом отличается от домашней цивилизации. На самом деле планета эта была уже в значительной степени освоенной. Конец 70-х был любопытным временем, когда США только что получили по рукам во Вьетнаме, а падение цен на нефть еще не стало столь значительным, чтобы помешать экспансионистским возможностям СССР. Так Афганистан стал местом, где столкнулись интересы двух империй. И Москва, и Вашингтон отстегивали Кабулу сотни миллионов долларов ежегодно. Мы надвигались с севера, Америка — с юга; в стране негласно существовали зоны влияния, да и общество было разделено. Советский Союз построил университет в Кабуле, пробил тоннель в горах, соединяя Афганистан с СССР, через Пандшерское ущелье, давал образование военным, аграриям, ученым. Американцы же построили университет в Джелалабаде, аэропорт в Кандагаре. Словом, это был типичный третий мир, или «развивающаяся страна». Президентом республики Афганистан был Дауд, в 1973 году устроивший классический дворцовый переворот: он сверг своего родственника Захиршаха и низложил монархию. При Дауде Афганистан был светским государством, «относительно демократичным, по-азиатски дружелюбным» и по отношению к СССР, и к Западу. Внутри этого восточного мира, попавшего в сферу коммунистической экспансии, уже зарождались фундаменталисты, среди них Гульбеддин Хикматияр, который еще при Дауде бежал в Пакистан и принялся

оттуда мутить воду. Как выразился в «Дереве в центре Кабула» какой-то русскоговорящий афганский крестьянин, «Афганистан был как банка с рыбой. Долго лежала на солнце, разбухла, и взрыв! Революция — взрыв!»

Форма этой банки и даже порода рыбы была не вполне понятна не то что советским обывателям, но даже и Политбюро. Из прохановских текстов запоминаются несколько имен участников гражданских конфликтов и «Великой Апрельской революции» — Тараки, Амин, Бабрак Кармаль, Наджибулла. Я долго расспрашивал его о том, что там случилось, и, думаю, его версия событий будет небезынтересна читателям, многие из которых не состоят в «афганском братстве» и, может быть, даже не вполне понимают смысл термина «шурави». Великую Апрельскую совершили Амин, Тараки и Кармаль — все коммунисты, но соперничавшие друг с другом, как Зюганов и Семигин. Одна компартия — «Хальк» («Народ») — была национал-социалистической, светской. Ее поддерживала армия, члены ее рекрутировались из простолюдинов, крестьян-пуштунов. Амин и Тараки принадлежали к партии «Хальк». Партия «Парчам» («Знамя») были высоколобыми интеллектуалами, городской элитой. Там было много таджиков. Кармаль был из нее.

У въезда в ущелье Саланг.

Кооперация и слияние «Хальк» и «Парчам», произошедшее еще в 1977 году, под прямым влиянием Москвы, было скорее формальным: рафинированная верхушка получила базовый слой «Хальк». Проханов никогда не упоминает об этом, но, судя по некоторым источникам, в Кремле таки готовили в Афганистане нечто вроде революции, планируя ее, однако ж, в лучшем случае на сентябрь 1978-го, тогда как в действительности Тараки, Амин и Кармаль штурмовали президентский дворец Дауда 27 апреля того же года. Дальше начинается процесс борьбы за власть; очень скоро Кармаль оказывается за границей в роли Шуйского-

Березовского.

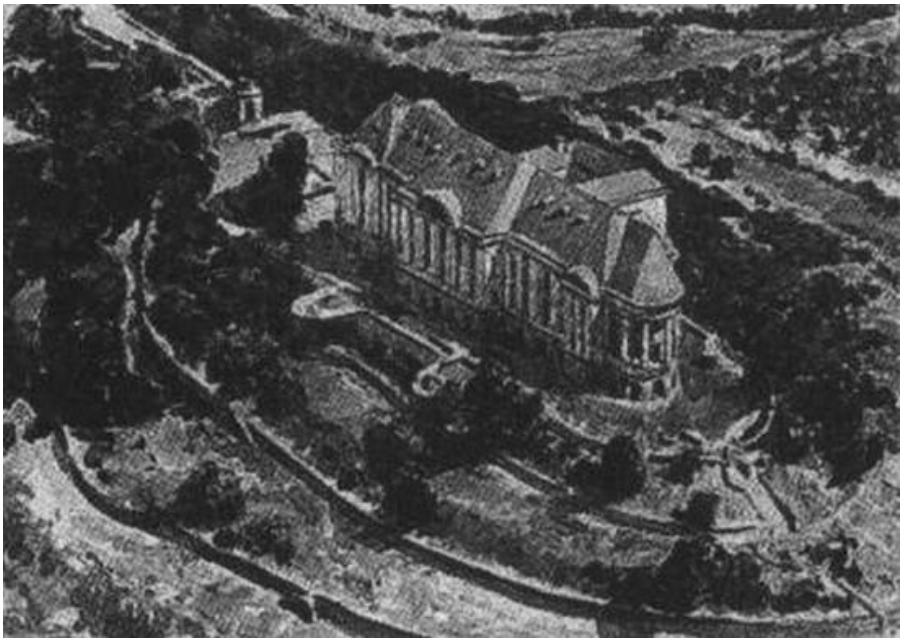
К 1979 году Афганистан превращается в пекло: гражданская война, интервенция, оголившиеся на всем пространстве страны провода исламского фактора; армия контролирует в лучшем случае четверть территории, сообщение между крупными городами возможно только по воздуху — на земле хозяйничали боевики. СССР к 1979 году представлен в стране 3000 военных и экономических советников.

Тараки, по мнению Проханова, был «благодушный, наивный марксист». Он успел явиться на поклон в Орду и был обцелован Брежневым. Осенью 1979 года его придушил подушкой Амин. Гражданская война тем временем набирала обороты, а у Амина оказались свои представления об умиротворении, которые не совпадали с мнением Политбюро. В результате советское командование решает подготовить путч.

Трудно компетентно оценить, насколько адекватно можно отследить по прохановским текстам весь ход афганской войны, но, судя по независимым источникам, ключевые моменты он отобразил все — и поэтому их действительно можно назвать «летописью афганского похода» и доверять им, в том числе и как своего рода документам. События, произошедшие после того, как Амин попытался отодвинуть советских интервентов, описаны в романе «Дворец».

Это история про военный путч, в котором приняли участие советские силовые структуры. Любопытно, что роман о начале афганской войны был написан далеко не по горячим следам, а двенадцать лет спустя, по рассказам очевидцев. Взятие дворца Амина — хрестоматийный успех советских спецслужб. Июль 1979-го. Александр Андреевич Проханов, загримированный под полковника спецназа Калмыкова, проводящего отпуск в Москве с любимой женщиной, готовится к отправке в секретную командировку. Почему-то ему приказано сформировать «мусульманский батальон» — в основном из солдат из Средней Азии. Этот не вполне понятный приказ покажется разумным, когда выяснится, что пунктом их назначения является Афганистан, где интервенты восточного типа вызывают несколько меньшее раздражение населения (отсюда команда: «Посади славян под броню! Оставь на броне мусульман!»). Попав в Афганистан, они помогают афганцам охранять дворец их лидера Амина, только что задушившего своего предшественника Тараки. Устраиваются вокруг дворца, второй линией. Далекому от политики Калмыкову приказы передает полковник спецслужб Татьянушкин, храбрый, но очень жестокий и скрытный офицер. Кабул — мутное место: здесь только что произошла революция,

но хлебом-солью братский советский народ никто не встречает, повсюду слышатся разговоры об американских шпионах. Неожиданно Калмыков получает приказ штурмовать охраняемый им же дворец: Амин — предатель, которого надо поставить на место. Татьянушкин доставляет в расположение спецназовцев ящик с Преемником, советской марионеткой (Кармалем). Калмыков не в восторге от прямого вмешательства в политику суверенного государства, но приказы не обсуждаются. Чтобы минимизировать потери, спецназовцы приглашают своих коллег, афганских охранников, на ужин и вероломно убивают их. Затем начинается штурм. Каждая рота воюет по-своему: мародерство, отравления, изнасилования, отстреленные половые органы, предательство, трусость, горящий труп Амина — крупным планом: «черный, с разведенными стопами, сложенными на животе руками. В рыжем пламени белыми языками отдельно горели соски, пах, ногти ног». О дезориентации интервентов можно судить по эпизоду истерики, когда Калмыкову начинает казаться, что по его людям бьют свои, чтобы убрать свидетелей; Калмыкову приходится угрожать начальству: он не позволит перебить подчиненных и поведет своих головорезов на посольство. После боя Калмыков с Татьянушкиным пьют водку, рассматривают своих раненых. Калмыков переживает даже не столько боевые подробности, сколько из-за того, что понимает: он соорудил пуповину, раструб, воронку, в которую теперь хлынет в эту страну война. Дворец Амина и ящик Преемника — ключевые метафоры романа: ящик Пандоры, из которого вылетели все те напасти, которые в конце растерзали Советскую империю. Конец романа маловразумителен, как часто бывает у Проханова. Калмыков вызван в Москву доложить министру об успехе блестяще проведенной операции. Он пытается забыть об афганском кошмаре.



Дворец Амина. Картина К. Зубрилина.

«Дворец» — беллетризованная хроника новогоднего дворцового переворота, который был осуществлен силами двух подразделений советских спецслужб, «Альфой» (КГБ) и «мусульманским батальоном» спецназа ГРУ, которые, в самом деле, охраняли дворец, втерлись в доверие к Амину и, по существу, подстраховывали действия кагэбэшников. Калмыков, подчеркивает Проханов, — это человек ГРУ, человек армии, а не КГБ. «Этот роман написан во славу не „Альфы“, а во славу спецназа ГРУ». Автор не присутствовал ни при входе войск, ни при самом штурме дворца Амина 27 декабря 1979 года. Он прилетел туда лишь в первых числах января 1980-го.

«Курьез», по словам Проханова, состоял в том, что в 1979-м никто — в «Литгазете», во всяком случае, где все привыкли ездить в «капстраны», — не хотел ехать в Афганистан: «какая-то зачуханная страна у черта на рогах, какая-то непонятная революция». Это была черновая, золушкина работа. Он, наоборот, «жадно вцепился, потому что до этого я же занимался войной, моя ведь тема военная техносфера». Но вообще-то это был некоторым образом эксцентричный поступок, даже для человека с его репутацией.

Доставленный в ящике Кармаль был абсолютно контролируемым человеком. Кукловодом, реально руководившим марионеточным президентом, был военный и политический советник — Михаил Петрович Поляничко, прототип, по-

видимому, Татьянушкина. Проханов, часто встречавшийся с Кармалем, свидетельствует, что тот был алкоголиком и не управлял ни партией, ни страной, всем этим занимались русские.

Разумеется, в первые приезды он мало что понимал в политической подоплеке происходящего. Афганистан стал первой его настоящей горячей точкой, он, еще не подозревая, что станет охмурителем русских мальчиков, «певцом афганской войны», жадно впитывает в себя экзотику — военную, географическую и революционную. По-видимому, он испытывал комплекс не попавшего на войну — даже на Даманский он приезжал, когда все уже кончилось, — и вот, наконец, началось! Его Испания. Он рассказывает об этом едва ли не с надрывными интонациями Радзинского. Афганистан показался ему удивительно разнообразным географически: здесь были пустыни, горы, оазисы, снега и тропики. Ущелье Пандшер, перевал Саланг, Джелалабад, Бамианские фигуры, Герат, Кабул. А эти люди все на одно лицо, похожие на бен Ладена! Со свойственным ему умением воспевать все, в чем заложен ресурс «инаковости», отрицания обывательского здравого смысла, он вцепляется в эту страну руками и ногами.

«Батальон спецназа, погрузив в самолеты оружие и бронемашины, по заданию государства летел на Луну», — описывает он переброску войск во «Дворце». «Это и была та луна, на которую он прилетел, не в пустыню и льды, а в тысячную толпу, в музыку, в дым жаровень. Луна была населена смуглолицым народом, клубившимся у мечетей и рынков». Вместо страха перед разверзшейся бездной он испытывает удивление: удивительный город, удивительные рынки, удивительный дворец. Его поражает кишение, смуглые горбоносые лица, бесконечный ресурс предательства, враждебности. «Словно в земле раскрылись щели и трещины и оттуда, из неисчерпаемых глубин, вываливалось людское варево, бурлило, клокотало как лава, заселяло землю горбоносыми, черноглазыми, темнобородыми людьми в повязках, чалмах и тюрбанах, в плещущих шароварах, в безрукавках, в долгополых балахонах. Все это множество толпилось, обступало лавки, приценивалось, присматривалось, било по рукам, вскрикивало, смеялось, гневалось, считало деньги, хватало кули, сердито плевалось, усаживалось в чайхане и снова текло в проулках, лабиринтах громадного восточного рынка, над которым возносился зеленый глиняный минарет, похожий на прозрачную солнечную сосульку».

В первый приезд он посещает Кабул и осваивается в ситуации. Только что десантники осуществили государственный

переворот в чужом городе. В городе зреет контрпутч хозарейцев, подстрекаемых ЦРУ. Он бродит по мятежному городу, насыщенному опасностью: шальные пули, всплески ярости толпы, восточная немотивированная агрессия. Однажды, на рынке, события начинают развиваться по самому худшему сценарию. Он уже подумывает о том, как его гроб повезут в Россию той же дорогой, что грибоедовский; ему удается ускользнуть от толпы погромщиков лишь потому, что он вышел на улицу, нарядившись в мусульманскую одежду.

Заглотнув крупную порцию впечатлений, он приходит к выводу, что ее будет достаточно как материала для романа. Сшитое на живую нитку из репортажей в «Литературку» «Дерево» — роман скорее не про войну, а про мир. Журналист Волков приезжает в Афганистан, где беседует с местными пламенными революционерами-партийцами, участвует в различных мероприятиях новой власти, знакомится с интернациональным коллективом из соцстран, поднимающих молодую страну, и влюбляется в Марину, переводчицу с пушту. Центральное событие романа — хозарейский (одна из народностей) путч в Кабуле: русские пытаются накормить город, а моджахеды пугают духанщиков. Самые драматичные эпизоды происходят на хлебозаводе, который становится «фабрикой по переработке путча». После отбитой атаки «Волков держал добытый в бою автомат, и в этом сочетании хлеба и оружия, пшеничной плоти и легированной стали чудились извечные символы человеческой природы, знаки всех времен и народов, всех революций и войн, и он, перепачканный белой мукой, с черными от порохового нагара руками, жил под этой геральдикой. „Хлеб и оружие, — думал он. — И еще кровь…“» Разумеется, в романе обнаруживается классический персонажный тандем книг о «братоубийственной» гражданской войне — два враждующих брата: Насим и Назир.

Обложка «Роман-газеты».

Драма о злоключениях Насима и Назира была отпечатана в 1982 году тиражом 200 000 экземпляров, а кроме того, мгновенно заброшена в издательство «Прогресс» переводчикам на английский, немецкий и испанский (в Ленинке все это есть — Un arbor en el centro de Kabul и проч.). Официальная критика приняла явно одиозное и дико сырое «Дерево» — первое художественное произведение об афганских событиях — теплее, чем все предыдущие тексты Проханова вместе взятые. В нем не

было футурологических фанаберий, версия автора совпадала с генштабистскими ориентировками (совпадала — не синоним «вписывалась»), абстрактный братский народ был представлен несколькими конкретными тружениками. Для «Дерева» на скорую руку придумали жанровый термин «политический роман»; репортажность и скороспелость оправдывались безоговорочно, злободневности аплодировали. «Александр Проханов написал политический роман, который по природе жанра не может не быть насыщен публицистичностью», писал осторожный обозреватель «Нового мира» (1982, № 12).

Было бы ложью утверждать, что «Дерево» — вранье от первой до последней страницы, но это, безусловно, односторонний и тенденциозный взгляд на события, скорее мифотворение, чем журналистика. Хотя pas de mieux и он производил немалый эффект: «Этот роман в то время воспринимался как информативный… Официальная версия сводилась к тому, что советские войска помогали рыть арыки и сажать деревья. А я показал — кабульский путч, война, смерть, типы, партии „Хальк“ и „Парчан“ — всю эту кашу. Радиостанция „Свобода“ 5 или 6 передач посвятила чтению этого романа. Для „Свободы“, для врагов западных этот роман открыл глаза на происходящее, они хотели через свою радиостанцию показать русским, что творится в Афганистане».

Любопытнее не тогдашние, явно во многом инспирированные идеологической конъюнктурой отклики, а перестроечные — свидетельствующие, как этот роман был воспринят публикой «на самом деле». Критик Матулявичус, отметив новизну темы и оперативность автора, говорит, что «роман об афганской революции явно не состоялся». «Уровень художественного воплощения образа Волкова не выдерживает критики и губит книгу об афганской революции». Критик предполагает, что все «обмороки» героя и лирические отступления повествователя связаны с тем, что, «по-видимому, ему (автору. — *Л. Д.*) не хватало афганского материала, и поэтому он решил дотягивать за счет воспоминаний». «Прошлое героя — не единая тема, при помощи которой автор пытается „дотянуть“ афганский материал до романного объема», — замечает критик и указывает на адюльтерный сюжет с переводчицей Мариной. «Но даже при воплощении такой деликатной темы писатель остается верен своей помпезной манере <…>». «Содержание книги наводит на мысль, что происходящее в Афганистане для писателя является лишь фоном, на котором он разворачивает описание „доафганских“ жизненных мытарств своего героя Волкова, его любовных приключений. Опасности преподносятся „порциями“, и

это, видимо, должно заставить читателя проглотить и все остальное, нередко не только не имеющее никакого отношения к афганским событиям, но и надуманное или вовсе сомнительное». Резюмируя: «могла получится небезынтересная публицистическая книга — все испортила низкопробная беллетристика». Насчет термина «низкопробный» можно поспорить, но нельзя отрицать, что это вполне здоровый взгляд на предмет.

Афганистан стал для СССР тем, чем Вьетнам был для США, но «Дерево в центре Кабула» не стало для русских тем, чем копполовский «Апокалипсис сегодня» стал для американцев. А шанс был: новейший материал, миф об афганском походе, погружение авангардных отрядов СССР в сердце тьмы действительно требовали нарратива, упаковки. В локомотивном тексте у Проханова не получилось передать мистический ужас афганского кошмара, придумать своего полковника Курца, продемонстрировать отличие от прошлых войн и конфликтов: он был слишком увлечен идеологической компонентой, задачей информобеспечения войны; ему был важен статус Бояна «афганского похода», упивающегося милитаристской экзотикой певца в стане русских воинов. А между тем, судя по его же более поздним текстам, это было другое поколение воевавших, другая война, другие цели, другой тип безумия, но в «Дереве» не нашлось сюжетной ветки, на которую можно было все это повесить; вместо «Апокалипсиса» получился сборник репортажей, нанизанных на живую нитку характера очередного его альтер-эго.

Пережив в Кабуле февральский путч, спровоцированный американской агентурой, Проханов выезжает в Кандагар. Войска прочесывают кишлаки, он участвует в зачистках и, оживив свои навыки «романтического этнографа», изучает местный уклад, а в пути между населенными пунктами наблюдает «светомузыку гор». Четыре года спустя он проедет по той же дороге, которая будет выглядеть совсем иначе: вся, до горизонта, она захламлена битой техникой, взорванными танками, искореженными бэтээрами. От кишлаков тоже останутся одни черепки, груды мусора — все будет размолочено в прах. «Таджикан называлась деревня», вспоминает он одно название.

Увязание в Афганистане, превращение короткого похода в затяжную азиатскую войну происходило медленно, но неотвратимо. Надо полагать, там было все то же, что теперь происходит с американцами в Ираке. Наркоплантации, наркотрафик, минная война, шахиды, попытки замирить одних князьков, вооружить других и уничтожить третьих, издевательства над заключенными в тюрьмах и проч. На местное правительство особых надежд возлагать не приходилось. Кармаль

постепенно «амортизировался»: его алкоголизм прогрессировал, и довольно скоро его уже нельзя было демонстрировать в качестве фронтмена афганской государственности. Его, таджика, сменил пуштун Наджибулла, «доктор Наджи», бывший сначала главой тамошнего КГБ — ХАДа. Как и в СССР при Андропове, разведка пришла к управлению страной.

«Я был в Афганистане девятнадцать раз», — говорит он с такой интонацией, с какой обычно произносят «я девятнадцать раз смотрел „Касабланку“». На самом деле «девятнадцать» — это он сказал мне; просматривая его интервью, я не раз сталкивался и с другими редакциями этой цифры: 11, 13, 15; факт тот, что на протяжении войны он бывал там очень часто. Рутинная поездка длилась от двух недель до месяца. По прилету он обычно направлялся в похожий на Трианон Президентский дворец Тадж — тот самый, теперь там размещался штаб советской 40-й армии. На правах официально аккредитованного журналиста он осведомлялся, где сейчас происходит какая-нибудь крупная операции. К примеру, выясняется, что через три дня начинается операция в Герате (операции в Герате начинались чуть ли не раз в месяц — это был афганский Грозный). Он вылетает в ту дивизию, которая расквартирована у Герата, и появляется всюду, куда его пускают: смотрит, как выдвигаются и развертываются войска, как устанавливается артиллерия, как колонны идут в Герат, как гаубицы начинают работать по объектам, где засели моджахеды, как колонна втягивается в узкие улочки, как БТР подрывается на мине, стрельба, бой… Наблюдать все эти будни войны он может непосредственно из колонны или из штаба, развернутого, допустим, в цитадели крепости: командир дивизии управляет боем, взлетают вертолеты, привозят раненых. Иногда его брали с собой на борт, и он летал на бомбардировки. Зачем? «Для баталиста все это было бесценным опытом».

Афганистан одарил Проханова и другими впечатлениями. После выхода «Дерева» дома, в Москве, в ЦДЛ, он был подвергнут остракизму своими коллегами. С ним демонстративно переставали кланяться — не то чтобы друзья, но те знакомые, кто мог позволить себе за его счет набрать очки. Он становится, по удачному выражению Н. Ивановой, человеком «нерукопожатным». С ним перестает здороваться Комиссаржевский — тот самый, который с восторгом приветствовал его репортажи с Даманского. Очень болезненным для него был эпизод с писателем Олегом Васильевичем Волковым (1900–1996, автор сборника «Последний мелкотравчатый и другие записки старого охотника» и автобиографического романа «Погружение во тьму»). Этот

человек, учившийся в гимназии с Набоковым, просидевший 20 лет в лагерях, был цэдээловской достопримечательностью — символом белой России, патентованным интеллигентом, аристократом и чуть ли не совестью нации. В 70-е они были неплохо с ним знакомы, не то чтоб дружили, но раскланивались, шутили, и это было лестное для Проханова знакомство. Но однажды, году в 82-м, Волков не поздоровался с ним при встрече в ЦДЛ. Проханов удивился, но списал это на возраст и рассеянность. Когда инцидент повторился, все стало ясно: его исключили из круга порядочных людей. Оказалось, петь Афганистан было не комильфо.

Сам он характеризует происходившее как «травлю», но его друг писатель Личутин, например, утверждает, что это была не то что травля, а скорее насмешки. «Проханов-соловей» был поводом «для людей бесталанных и низкого полета объединиться против. Это позволяло им принизить его цельность и значимость — как с Пушкиным, которого называли бабником».

Случай с Волковым, между тем, до сих пор его задевает. «Я вот думаю — если ты символ белой империи, как же ты не можешь понять имперскую тенденцию страны, которая движется в том направлении, в котором шел Скобелев, — на Хиву и на Бухару, достиг границ Афганистана. Как же ты мне, империалисту, а это была ведь чисто имперская война, не подаешь руку?».

Он вспоминает, как его товарищ Маканин, с которым они очень крепко дружили и который, по его мнению, косвенно участвовал впоследствии в его демонизации, подошел к нему и сказал: «Ты объясняй всем, что Афганистан — это не идеологический твой выбор, а просто продолжение традиции путешествия по горячим точкам — ты начал с Даманского, и теперь такая у тебя судьба…» «Мне показалось это диким: он пытался научить меня, как мне защититься от той роли, которую я добровольно, с наслаждением выбрал, которой я гордился. Меня поразило его непонимание, я был искренне упоен этой ролью, увлекался всем этим мессианством военным, ролью баталиста. А он из добрых побуждений предлагал мне обмануть толпу и сказать, что это не более чем рядовой профессиональный рутинный ход».

Логика Волкова и Маканина, между тем, безупречна. Одно дело репутация эксцентричного государственника — и совсем другое, когда вменяемый и остроумный интеллигент вдруг начинает гнать чудовищно ангажированные политрепортажи из мест, где СССР, сам еле на ногах стоящий, ввязался в явно самоубийственный конфликт. Цэдээловская публика считала его

продавшимся власти с потрохами; вряд ли, конечно, кто-то говорил ему что-то в лицо: видно было, что он реальный военкор, корреспондент в горячей точке, постоянно сталкивающийся с насилием, а такие люди обычно умеют постоять за себя. Так что «остракизм был, не настолько, впрочем, сильный, чтобы мне не приносили мяса».

Кроме Волкова, ему приходилось сталкиваться с претензиями и более лояльных друзей, в том числе «псковича» Скобельцына: те упрекали его не столько за поддержку кровавой войны, сколько за «отказ от познания отечества», углубление в ислам, за то, что он «питал своим духом чужое дерево». Как он парировал эти упреки? «Судьба России давно слилась с судьбой народов Востока, и мощный, один из главных, вектор русской истории глядит на Восток. В сегодняшней многоликой державе соединилось в общую историю, проверенную Революцией и Великой войной, множество разных народов, в том числе и восточных, питая общее древо, взращенное среди трех океанов».

Вообще, ему пришлось выстроить целую систему оборонительных сооружений, выработать особую риторику апологетики войны и лояльности своей позиции. В «Дереве» есть важный эпизод, когда государственник и империалист Волков (первая версия Белосельцева) спорит с неким писателем Белоусовым — скептиком, своим антагонистом: тот не понимает и не верит в афганский проект, но по служебной надобности тоже оказывается в Афганистане, в командировке. На его осторожные замечания Волков наскакивает петухом: «Ты считаешь, что советские штурмовики, долетевшие до Кандагара, откуда десять минут лета до американских авианосцев в Персидском заливе, — это тупиковый вектор истории?».

А Белоусов — это Маканин с Волковым? «Ничего подобного — это коллективный образ людей, которые долбали меня за то, что я изменил своему белому знамени. Они находились в полуоткрытой оппозиции политике государства, укоряли меня за мой технократизм и авангардизм, а также за то, что считали суетой. Они считали, что писателю следует быть неподвижным — жизнь мимо него идет, а он ее фиксирует, либо останавливает, либо убыстряет. Респектабельный писатель тот, у которого кабинет, кресло, неспешное писание. А я — носился как угорелый. Я сейчас думаю, те писатели, которые укоряли меня, что я суечусь, — где они? Их нет, они исчезли, они исчерпали свой интерес, потенциал, свои знания, свой вкус, а я столько всего этого наглотался, что сейчас имею возможность эти впечатления разворачивать, раскручивать эти сжатые спирали. Крохотные кристаллики впечатлений, которые я оттуда привозил,

до сих пор, по существу, не растворены. Их можно кинуть — и возникнет целый сосуд, наполненный вином или ядом. Я до сих пор не прожил эти жизни, слишком все было бегло, скачками, динамика была ужасная. Мне бы еще лет сто, я бы их потратил не на то, чтобы жить опять полноценной жизнью, а на то, чтоб медленно, превратившись в респектабельного описателя, сидеть и извлекать пинцетом осколки прошлого и создавать из них целые миры».

Эти кристаллики были еще раз растворены в конце 90-х, когда он переписал «Дерево в центре Кабула», выкорчевав оттуда идеологически устаревшие сцены: поездки по колхозам и братания с афганским народом. В «Сне о Кабуле» восточный город прорастает в Москве 90-х годов — афганские партийцы торгуют овощами на московских рынках, а боевые генералы и калеки-солдаты нищенствуют в переходах. Кабул возникает в снах отставного генерала Белосельцева — это кошмар и рай, война и красота, моджахеды и его любовь Марина. Ослабленный своими снами, Белосельцев и наяву, днем, то и дело опрокидывается в обмороки-воспоминания.

Мы видим Кабул сразу после событий, описанных в «Дворце», после убийства Амина и заброски туда Кармаля. Белосельцев оказывается там, выполняя задание командования разведать, что там происходит на самом деле, руководствуясь не столько докладами, сколько интуицией. В городе творится что-то неладное: убийства, слухи, пакистанские агенты. Где-то хоронится «террорист номер один» — американец Дженсон Ли, плетущий антисоветский заговор. И вот начинает разжиматься пружина кабульского кошмара — антисоветского исламистского путча. Белосельцев, уже готовый к тому, что его растерзает азиатская толпа, как 150 лет назад Грибоедова, едва не погибает на рынке. Опереточный конспирологический сюжет, недостаточно твердо удерживающий на себе романную конструкцию, подпирает эротический контрфорс — Белосельцев влюбляется в сотрудницу посольства Марину (замужнюю), быстро добивается взаимности, но когда та узнает, что ее любовник — разведчик, неожиданно оказывается отвергнут: Марина улетает в Москву к мужу. Тут опять вступает в полную силу батальная тема: Белосельцев летит в Кандагар, где в «зеленке» присутствует при зачистке кишлака и охотится за караванами перевозчиков оружия. Конец тревожный — видно, что сопротивление местного населения будет возрастать быстрее, чем советская экспансия; едва ли у дерева в центре Кабула есть хоть малейшие перспективы выжить.

«Сон о Кабуле» — несколько выморочный роман, где зарифмованы два несостоявшихся путча (хозарейский — в Кабуле

и генерала Ивлева (Льва Рохлина) — в Москве середины 90-х): «главная цель мятежа состояла в том, чтобы армия перешла на сторону путчистов. Тогда… они могли добиться крупного кровопролития. Мятежу явно хотели придать характер некой исламской революции». Мысль о схожести кабульского и московского материала, не исключено, пришла ему в голову потому, что и там и там предполагалось задействовать Витебскую воздушно-десантную дивизию. Провода скручены на совесть, но короткого замыкания, однако ж, не происходит, афганский материал — слишком экзотический, по-видимому.

Правильнее всего классифицировать «Сон» как крепкий репортажный роман о войне, по которому действительно можно составить представление о начале 80-х в Афганистане. О широких читательских перспективах говорить не приходится — хотя бы потому, что для авантюрного романа здесь многовато лирических отступлений. По правде сказать, «подмалевок» — одиозное, вопиюще просоветское, нарисованное в два цвета «Дерево» — производит впечатление более органичное, чем искусственно синтезированный из двух линий «Сон», безобразный по композиции.

Что здесь действительно интересно, так это ревизионистский взгляд автора на свой роман. Он позволяет себе иронизировать над собственными символами. Так, Наджибуллу, по версии Проханова, вешают — где бы вы думали: «Его обезображенный труп с выколотыми глазами висел в петле на дереве в центре Кабула». Бросающееся в глаза различие между «Деревом» и «Сном» — сцены жестокости и насилия, соцреалистический кодекс не позволял писателю пользоваться такими сильными средствами. «Надир размотал лежащий на столе электрический шнур с оголенными концами. Натянул на пальцы резиновые перчатки и с силой ткнул обнаженные, сплетенные из медных жилок провода в живот Али. Зубцы тока ушли под кожу, пробили печень, прожгли желудок, окружили селезенку и почки жгучими разрядами. Ком боли, крика выдрался из черного рта истязуемого… В комнате запахло зловоньем опорожняемого желудка и еще чем-то, напоминающий запах спаленного на печи башмака». После второй половины 80-х описания пыток станут едва ли не коньком Проханова. Мы узнаем, как выколупывают ногти, кастрируют, сжигают заживо, заворачивают в мокрую простыню и бьют током. Впрочем, живодерствуют обычно не русские, а афганская контрразведка. Сами афганцы — недружественные — предпочитают глумиться над трупами. «Лезвие ножа летало, скользило по лицу Белоносова, отсекало губы, выковыривало, выскребало глаза, и, ободранная, в подтеках

крови, безглазая, с липкими красными дырами, голова хохотала, скалила безгубый рот, и душман высекал в ней надрезы, визжал и стонал» («Знак Девы»).

Присутствовал ли он сам при пытках? «При пытках, при расстрелах. Я не вмешивался во все это, я был наблюдателем. И у меня была задача как можно больше видеть, при этом самому, конечно, уцелеть и не мешать тому, что я вижу. То есть, например, если я выходил с колонной, я всегда брал с собой оружие, я никогда не был просто с записной книжкой, и одним из пунктов моей этики было то, что я не должен заставлять других людей меня кормить и защищать. У солдат есть своя задача, и если случится заваруха, они не должны тратить обойму, чтобы меня прикрыть. Я офицер запаса, я знаю, что это такое». (Кстати, в мемуарах «афганцев» нередко встречаются воспоминания о приезде писателя Проханова, про которого обычно сообщается примерно следующее: «Понравился он нашим: на боевой вылет напросился, в общевойсковой операции участвовал. Не прятался, одним словом, все хотел своими глазами увидеть» — О. Грачев, «„Кобаль“ уходит в рассвет»). Личутин, мирный человек, на всю жизнь запомнил рассказ одного контуженого «афганца», офицера разведки, которого они вместе с Прохановым навестили в Севастополе, про то, как они взяли в плен «духа» и, не зная, куда его девать, кинули ему в штаны гранату и погнали его в воду, где тот и взорвался.

Еще один любопытный момент: в финальной сцене романа престарелый Белосельцев у себя на даче наряжает снеговика в пуштунские украшения, купленные для Марины и отвергнутые ею; замечательный, по-тинтобрассовски бесстыдный кадр. Интересно, что он сам привозил из Афганистана? «Однажды у меня скопились деньги, и я привез очень много пуштунских украшений. В лавках были разбросаны груды. Племена переставали носить облачения, и они лежали как этнографические раритеты. Полудрагоценные гиндукушские камни — лазурит, сердолик, яшма — были вставлены в примитивные оправы — перстни, бусы, серьги, височные кольца. Этого всего было очень много, и я так жадно набросился, и привез домой, и до сих пор у меня они есть, и иногда даже жена надевает. Еще у меня тогда была знакомая женщина, красивая очень, с ней не было романа, просто была симпатична и дорога, работала в „Литературной газете“. И у нее случился рак внезапно, она вдруг стала стремительно умирать. Ее положили на операцию. Я сказал ей, что привез из Афганистана камень, который, по местным поверьям, помогает, в нем живет витальная сила, и она взяла его на операцию, но умерла все-таки. Да, это я

возил. Но шмотки как таковые не возил никогда». А при чем здесь шмотки? Можно подумать, я вас обвиняю, что вы были челноком. «Вы спрашиваете, а я вам отвечаю: как разведчик разведчику».

Генерал, посылающий молодого Белосельцева в Афганистан, учит его, что разведка сродни литературе. «Через месяц ты положишь ко мне на стол три странички отчета. Это и будет твоя афганская „Одиссея“. Проиллюстрируем ее вместе миниатюрами из „Бабур-наме“!».

Чем чаще он туда приезжал, тем большим докой становился. Интуитивист, он может уже и прогнозировать некоторые события, но в страшном сне не может себе представить, что всего через несколько лет советские войска бросят эту страну, в которую столько вложено (он знал, сколько именно), на произвол судьбы.

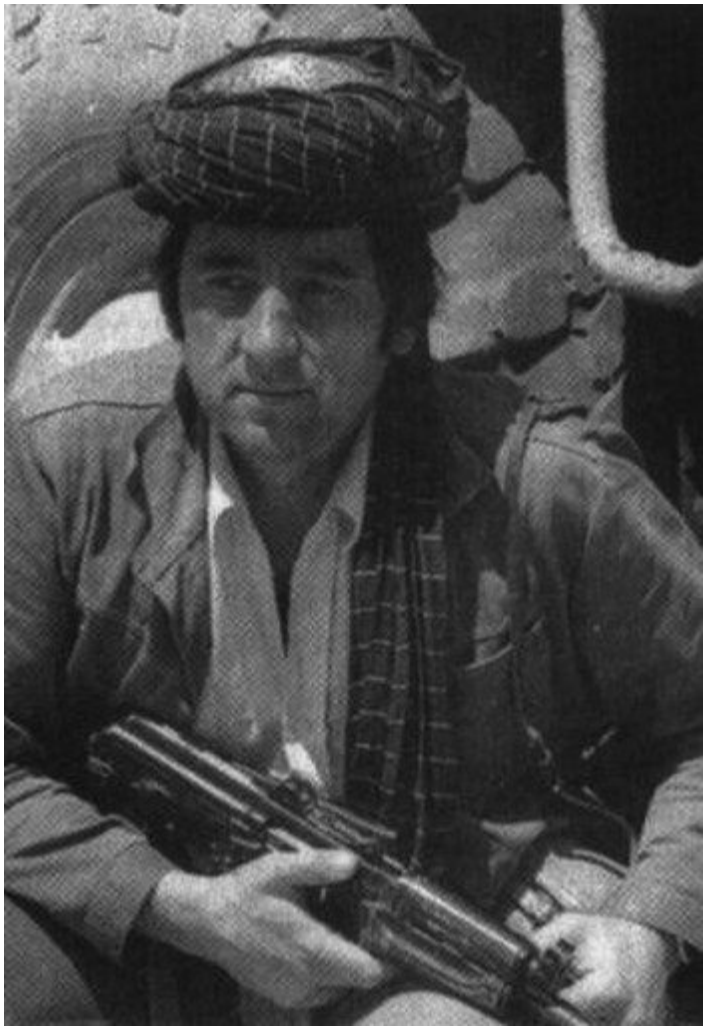
Шурави.

Он всерьез интересуется афганской культурой. Листает в самолете «Бабур-Наме». Может рассуждать о статуях Бамиана, бактрийском золоте, декламировать наизусть киплинговский «Брод через реку Кабул». Про одного из персонажей афганского романа «Рисунки баталиста» сказано, что, попав в Афганистан, «он испытал острое счастье». Он «сидел среди подушек и сложенных горкой одеял в азиатской светлице, чьи стены были нежно-голубые. На них висела мусульманская литография с мечетью и арабской вязью. В маленькой нише стояла керосиновая лампа. Над входом был нарисован павлин. Сквозь раскрытые двери был виден цветущий дворик. Золотились плоды. На дереве скакали и пересвистывались изумрудные птички с хохолками. На деревянном помосте, сложив по-восточному ноги, сидели люди в

чалмах, и казалось, они держат в руках струнные музыкальные инструменты. Все, что он видел: и восточные нарядные ткани, и сад с цветами и птицами, и играющих на струнах певцов — было так знакомо, похоже на иллюстрацию к „Бабур-наме“. Он находится в самых сокровенных недрах Востока, мусульманского мира, который изучал лишь по книгам и рукописям, мечтал увидеть, и вот оказался в самой его сердцевине».

Он чудачествует, ведет себя как Паганель. В разгар операции, оказавшись в старинной иранско-афганской Гератской крепости, где располагался командный пункт, управлявший огнем батарей, он начинает рыться во дворе и обнаруживает цветные изразцы, красивые обломки чаш, кусочки фарфора и майолики. Он набивает ими карманы, как носовский Пончик солью, и таскает с собой, чтобы в Москве вплавить их в свинцовую оплетку и украсить ими свои самодельные светильники.

Его афганских фотографий так много и они так разнообразны, что можно подумать, что он солдат-коммандос, умеющий и попробовавший все. Вот он перед вертолетом с «Калашниковым». С верблюдом без «Калашникова». На фоне дворца, у бэтээра. В чалме, замаскированный под душмана, вылитый Душа Хлеба во МХАТовской «Синей птице». Он видел восстания в кишлаках и операции по их зачистке, жизнь на заставах, катался на броне, участвовал в вертолетных ударах, засадных операциях — во всех, кроме рейдов в горы, видах боевых действий. Видел, как громят «нитки» — колонны техники: подбивают первую машину, закупоривают дорогу и начинают расстрел на месте. Видел жажду в пустыне, когда солдаты, обезумев, тайком отвинчивали пробки с радиаторов бэтээров и пили ржавую воду. Видел броневик «Алла Пугачева» — так называлась машина, в которой размещались специалисты по психборьбе, ведущие агитационно-пропагандистскую работу. У него есть набор классических военных историй, многажды воспроизводящихся в его романах, — например, как он должен был ехать на какую-то очередную заставу через ущелье Саланг, и командир батальона должен был прислать ему БТР. Соскучившись дожидаться его, он сел на попутный, а потом выяснилось, что тот БТР, на котором он должен был ехать, раздолбали из гранатомета, и все погибли. Обычно эта история иллюстрирует рассуждение о божественном участии в его судьбе. В 1983-м, на том же Саланге, его контузило: рядом шарахнули из гранатомета по БТР.



Афганский излом.

— Ладно один раз, два, три — но зачем вы поехали туда в седьмой, двенадцатый, восемнадцатый раз?

— Шла война, и газета нуждалась в том, чтоб поступали новые материалы. А в Афганистан мало было охотников ездить. Все говорили, что не хотят связываться с этой грязной войной, но на самом деле всем хотелось ездить на Ривьеру и в Париж. Газеты давали мне заказы, и мне это было интересно — открытый военно-политический процесс, переживания, впечатления. Их нельзя было получить, сидя в отеле. В этом была своего рода сладость: как есть первичная стадия накопления капиталов, так есть первичная стадия накопления материалов для романа, когда работаешь на живой натуре. Еще не знаешь, чем она для тебя обернется и что ты почувствуешь, но этот контакт с неведомой

реальностью, а еще если он связан с войной, да в чужой, экзотической среде, доставляет колоссальное наслаждение, дразнит и волнует художника.

«Поход, казавшийся поначалу почти экзотическим путешествием среди восточной архитектуры, иноплеменных нравов, азиатской природы, тот поход превратился в кровавую войну».

— С вами понятно: художества. Но можете мне объяснить, с какой стати СССР влез в Афганистан?

— Советский Союз должен был войти в Афганистан, потому что совершилась эта революция, и я верю нашим разведчикам, что мы ее не провоцировали, не ожидали ее, мы узнали о ней после того, как она совершилась. Значит, это не было вмешательством. Красная идея сама стала распространяться по Афганистану и встретила сопротивление исламистов, крестьянства. Фундаменталисты должны были в итоге, я так думаю, смести этот красный комплекс, им изначально помогали Пакистан и американцы. Случилось бы повторение Ирана, то есть исламская революция дошла бы до Афганистана. И тогда мы получили бы на границах с Советским Союзом еще один экстремистский фундаменталистский режим. Мгновенно встрепенулись бы Средняя Азия, Фергана, там уже шевелились фундаменталисты, уже были подпольные медресе, ренессанс исламской культуры, местный национализм — мы же пестовали местную интеллигенцию, традиции, вспомните все эти романы о Чингисхане. Когда все это накручивается одно на другое, у них возникает рудиментарная историческая память, плюс коррупция, мафиозность, всплывают все старые уклады — и возникает угроза распада. Эта угроза распада Союза была уже тогда, ее ощущали, и все эти факторы долго обсуждались и взвешивались. Кроме того, не вошли бы мы — вошла бы Америка. Разместила бы там «першинги» с подлетным временем, позволяющим уничтожить нефтяные поля Западной Сибири.

Дело в том, что — дополним эксперта — ракеты, размещенные в Западной Европе, долетали только до Урала. С другой стороны, кандагарские аэродромы, с которых бомбардировщики за 15 минут долетали до акватории Персидского залива, служили, конечно, плацдармом не столько для защиты, сколько для атаки на нефтебазы США.

Кроме того, нельзя забывать о связи этой войны со столкновением на Даманском. С 1969 года Китай представлялся вероятным противником СССР, и предполагалось, что действовать он будет в альянсе с Пакистаном, тогда как Индия, беспокоясь из-за пакистанского ядерного оружия, тянулась к СССР, просила

оружие и сырье. Соответственно, выход к индийской границе должен был скрепить союз двух стран и рассечь связку Китай — Пакистан. По большому счету, эту войну начали не мы, а китайцы на Даманском, и Проханов был единственным человеком, который видел эту войну от начала до конца.

Напомним еще как минимум два фактора, подтолкнувшие СССР к войне. Во-первых, в этом конфликте было заинтересовано произраильское лобби, чтобы увлечь СССР в столкновение с исламом и разгрузить Израиль от давления арабских соседей. Во-вторых, есть еще и чисто экономическая причина: в 70-е, в результате высоких цен на нефть, правительство СССР получало сверхдоходы, которые закатывались в гонку вооружений. В результате мы получили гипертрофию ВПК и войну как следствие этой гипертрофии.

Как видите, все это похоже на то, что война в Афганистане была неизбежной, и, соответственно, у кого теперь, когда это стало ясным, повернется язык упрекнуть Проханова за то, что он стал хроникером этой войны?

К. Зубрилин. Лето 1986 г. Провинция Кабул.
Спецназ проверяет амуницию и вооружение перед отправкой на задание.

— Почему американцы в 2002-м сделали за несколько месяцев то, что советским войскам не удалось за десять лет?

— Советским войскам все это довольно удачно удалось сделать.

— А почему тогда завязли на десять лет?

— Мы хотели завязнуть там и на сто лет. Мы хотели города свои строить, проспекты. Не хотели вообще оттуда уходить. Я когда туда приехал впервые, только по колено в грязи можно было пробраться, на «газиках». А через три года на этом месте были военные городки, стояли модули, трех- и четырехэтажные дома. Конечно, сопротивление было очень сильным, и чем дальше, тем больше оно возрастало, и не всю часть Афганистана мы контролировали, значительная часть страны контролировалась моджахедами, но когда мы ушли, все говорили, что режим Наджиба падет тотчас же — он не пал, он существовал еще два года.

«На свой второй год войны, переболев гепатитом, настрадавшись от жажды в барханах, обморозив ноги в горах, когда повалил сырой снег и ударил мороз и их горные куртки превратились в гремящие панцири, он, получивший тепловой удар на броне, изведавший род безумия от многодневного ровного завывания удушающе-жаркого ветра, заносившего песчинки на страницы блокнота, в пищу, воду, казалось, в самую душу, покрывавшего ее бессчетными порезами, — он все-таки мог сказать, что любит природу афганских гор и пустынь». Эта фраза из «Мусульманской свадьбы» слишком громоздкая даже для Проханова, усталость свидетеля событий выражается даже не столько перечислением перенесенных невзгод, а синтаксической тяжеловесностью, язык здесь как раз и гремит, как заледеневший панцирь, и по этому звуку можно многое понять о том, что они там переживали на второй стадии войны.

Афганский слой творчества Проханова обычно ассоциируется с «Деревом в центре Кабула», но второй период войны дал совсем другие записки на броне. Начинается он с «Рисунков баталиста» — библии читателей, придерживающихся убеждения о графоманских склонностях Проханова. Никоим образом не разделяя скептицизма этой многочисленной группы, мы, тем не менее, не можем полностью проигнорировать это довольно пространное произведение. Художник Веретенов (прототипом которого, возможно, является художник студии Грекова М. Самонов, сначала писавший сельскую Россию, красоту девушек, затем перешедший на индустриальные ландшафты и портреты писателей, а теперь увлекшийся батальным искусством), вооружившись карандашами и альбомом, едет в Афганистан, чтобы собрать материал для предполагаемых полотен об афганском походе и заодно повидаться с сыном, проходящим срочную в десанте. (Человек с воображением мог бы назвать «Рисунки баталиста» прохановским «Улиссом»: это

история о том, как отец ищет сына, о сближении их при попадании в среду, где различия нивелируются.) Путешествуя по стране, он проживает вместе с армией фронтовые будни, попадает на Гератскую операцию и везде частым бреднем вылавливает в этом мутном потоке характеры афганской войны. Эти очерки-портреты — «Седой солдат», «Боевая подруга» и проч. — сделали бы честь корреспонденту районной газеты, но едва ли могли способствовать прославлению художника его уровня, мало того, они болтаются на романном скелете, как плохо пристегнутая амуниция.

Либеральная меж тем критика встретила «Рисунки» с несколько более сдержанным отвращением, чем «Дерево»: в романе были не только обмороки и слоганы, но «психология», атмосфера войны, правда о фронтовых буднях («необъявленная война, необъявленная любовь», комментирует один из офицеров свой полулегальный роман с полковой библиотекаршей), живые, почти остроумные реплики (приступая к портрету товарища своего сына солдата Маркова, по прозвищу Маркиз, Веретенов хохмит: «Директоров писал, академиков писал, но вот маркизов — ни разу не приходилось»). Впрочем, даже и при всех этих инъекциях человечности этот «относительно удачный роман, — заносит кулак для удара Матулявичус, — не в состоянии выдержать проверку на прочность его художественной конструкции».

С чем связан такой странный выбор персонажа — художник? Какие там могли быть художники? Оказывается, в самом деле в Афганистан ездили живописцы студии Грекова, официальные баталисты, в том числе Самсонов, не без участия, кстати, самого Проханова, который, надавив на ГЛАВПУР, вызвал одного такого в Афганистан. Нельзя сказать, что проект оказался мегауспешным: побывав в битве за Паншерское ущелье, тот намалевал нелепый римейк картины «Теркин» — вплоть до кисета, «хотя какие там кисеты, все „Мальборо“ курили и „Кэмел“». «Интернациональный долг», «подлетное время» — похоже, никому, кроме него, это не было нужно.

Финал этого гератского романа оптимистичен: после зачистки в городе намечается народное гулянье, демонстрация, сообщает нам автор, прошла успешно.

Еще один макулатурный роман окончательно подорвал в глазах либеральной интеллигенции его репутацию неангажированного эксперта по афганскому вопросу — а жаль, потому что поздние афганские рассказы производят впечатление гораздо большей компетентности. В них действительно отразилась смена ситуации, когда перспективный

экспансионистский проект Советов сторожился, превратился в блуждание вслепую по сердцу тьмы; эйфория, связанная с надеждами на экспорт революции, закончилась. О том, что там происходило в это время, можно понять по разговору Проханова с маршалом В. Варенниковым, опубликованному в одном из номеров «Советской литературы»: «К концу 83-го мы почувствовали, что ситуация заходит в тупик. А в 84-м это стало очевидным: потери большие, движения никакого, оппозиция на встречные шаги не идет. 85-й — переломный год». В 86-м Кармаля заменяют на более жесткого Наджибуллу. С 85-го начинаются бесконечные операции в горах; в это время СССР теряет свое главное преимущество — в воздухе: США с 1986 года начинают заваливать своих партнеров-моджахедов снайперскими винтовками и ракетно-зенитными комплексами, «стингерами».

Второй, безнадежный, период войны дал самые лучшие его афганские тексты. Здесь есть рассказы, которые хочется отложить, чтобы их непременно прочли дети: «Родненькие», «Мусульманская свадьба», «Охотники за караванами»: о практически безнадежной войне, которая окончательно превратилась в конфликт со всем гражданским населением. Автор дает понять, что он обескуражен, он явно начинает понимать, куда ввязалась его армия. Теперь она воюет уже не против вооруженных лопатами и вилами крестьян, как в первые четыре года, а против моджахедов, оснащенных М-16, противопехотными минами и ракетами «земля — воздух». Ни о каких операциях по озеленению городской среды больше говорить не приходится: зачистки кишлаков, охота за караванами по пустыням, пытки чудовищные, допросы взятых в плен «бабаев».

Рисунок из газеты «Завтра».

В «Мусульманской свадьбе» (1987) наши, только что заключившие мирный договор с одним князьком, при обыске в пустыне захватывают важного боевика. Тот наводит на свадьбу другого боевика, куда должны съехаться все главные мерзавцы. Наши летят и не оставляют от кишлака камня на камне. Затем поступает сообщение, что мирный князек жжет нашу колонну. На резонное выражение недоумения один из нападавших объясняет свои поступки тем, что шурави только что расстреляли их

свадьбу: о каком мире может идти речь? Их обманули, навели на своих; мы расстреляли не ту свадьбу. Наводчик по-прежнему в плену, но взять с него особо нечего: он орет себе «аллах акбар», и ему горя мало. И чего теперь делать, непонятно; это очень мрачный текст, по которому можно судить о неимоверных усилиях, которые в непонятной чужой стране парадоксально приводят к обратному эффекту. Все выше пережитое действует на главного героя Батурина, переводчика-интеллектуала, крайне обескураживающе: подавленный, он с тоской вспоминает русские свадьбы, где все так ясно. Для прохановских aficionado рассказ интересен еще тем, что в нем шевелятся виртуозно вписанные в афганский контекст ранние вещи «Табун» (про ошибочно расстрелянный табун) и «Свадьба».

Нельзя не вспомнить и лучший, наверное, афганский текст Проханова — «Охотники за караванами»: про то, как группе солдат поручено захватить образец ракеты «Стингер». Перенеся чудовищные муки, теряя одного бойца за другим (очень драматично, в манере «А зори здесь тихие…»), они все-таки сначала перехватывают, а затем и доставляют образец, разумеется, уже не «они», а он. Это невероятно сильная вещь о мужестве и упрямстве, не уступающая лучшим советским — быковским и бондаревским — произведениям; «Охотников» следует порекомендовать тем, кто в самом деле держит Проханова за плохого писателя, они отобьют желание называть его «соловьем Генштаба».

«Знак девы», «Кандагарская застава», «Светлей лазури», «Родненькие» — крепкие афганские тексты вызревают у него двумя урожаями в год. Это уже не авангардные поэмы в прозе, горячечные репортажи из бурлящих энергией точек, а сдержанная хроника трудов и дней войны. Проханов перестал давать петуха; после 85-го года в его графике поездок по горячим точкам возникают окна, у него появляется время на редактуру, селекцию образов. Он больше на стесняется писать как традиционалист, дотошно воспроизводит толстовские методики и штампы «военной прозы»: посторонний на войне, простодушный, оказывающийся пророком для умудренных жизнью, натуралистические подробности в сочетании с импрессионистическими обмороками, отдельные психологические приемы (так, в рассказе «Родненькие», например, есть длинная сцена, где бойцы пьют воду — все по-разному; раскрытие характера персонажа через неосознанную мимику и жестикуляцию — очень толстовская вещь).

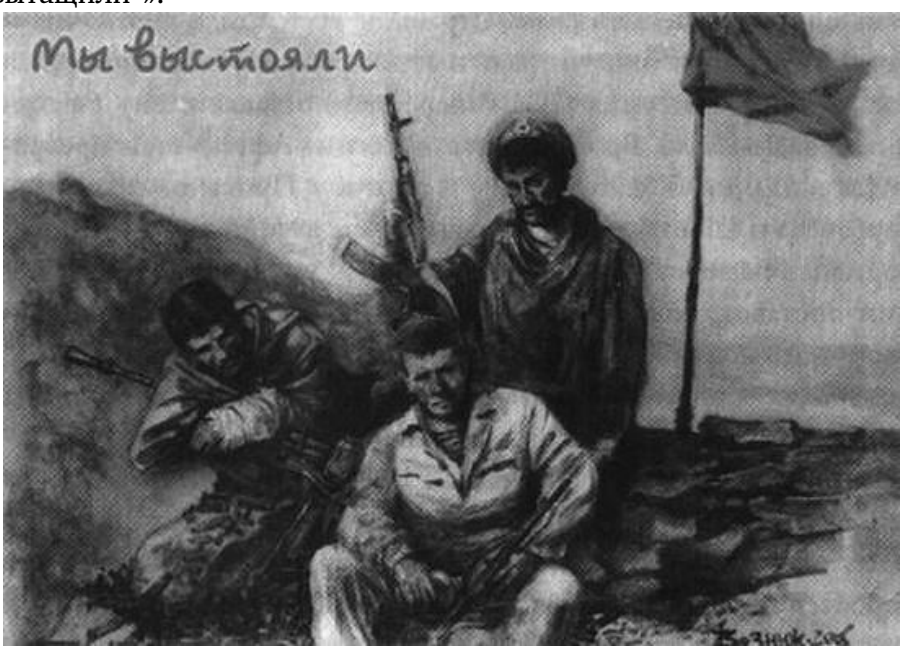
Охотник за караванами.

Позднеафганские вещи объективно представляют художественный интерес. Если бы он остался автором только их, то уже и в этом случае его следовало бы заметить как значительного писателя, уровня Бондарева и Василя Быкова. С другой стороны, его главный козырь по-прежнему — журналистский материал, чисто технически ему так и не удалось выработать какие-либо специфические приемы, сконструировать принципиально новую матрицу военного произведения.

Однажды он оказывается даже не в Афганистане, а в самом Мордоре: Карачи, Исламабаде, Пешаваре. Он возглавлял «Надежду» — делегацию солдатских матерей, чьи дети оказались в пакистанском плену или пропали без вести, и одновременно принимал участие в вызволении сбитых летчиков, среди которых, в частности, был человек по имени Александр Руцкой. Они умоляли афганских моджахедов, у которых оказались их сыновья, отпустить их.

Самым интересным для него было оказаться лицом к лицу с Гульбеддином Хикматияром, который был для СССР Шамилем Басаевым того времени: лидер непримиримых моджахедов, вдохновитель антисоветского сопротивления, Паншерский лев, полевой командир, теоретик исламизма, издатель газет, хуже него был только Ахмад Шах Массуд. За ним специально охотились, а сам Проханов много лет демонизировал его, сочиняя о нем гневные репортажи. Встреча с Гульбеддином была не менее поразительна, чем свидание с Березовским в доме приемов ЛОГОВАЗа или Сванидзе в студии «Эха Москвы». «Я вдруг

оказался у него в гостях, на его вилле, он сидел рядом со мной в этом своем одеянии, босые чисто вымытые ноги, волоски такие на пальцах курчавые, смоляная борода». Поговорив с русскими, Хикматияр пригласил их на внутренний двор. Внутри этого патио, вдоль огромной высокой стены, сидели безногие моджахеды — несколько десятков молодых людей-инвалидов, подорвавшихся на минах, раненных при артобстрелах. Показав делегации на этих калек в хромированных колясках, Гульбеддин заметил: «Вот вы просите своих сыновей у меня, а вы просите своих сыновей у них. Вот что вы сделали с моими младшими сыновьями». «И я помню, женщины несчастные, русские, в черных одеждах, в истерике, рыдая, бежали по кругу вдоль колясок, по кругу, как лошадей гоняют в манеже, они бежали, рыдали и просили у них прощения, вымаливая жизнь своих сыновей, каясь перед ними. Зрелище было, сцена. Кончилось это тем, что они увезли двух пленных. — А остальные? — „А всего их было человек сто. Кто их станет отдавать? Это предмет торга, политического чейнджа. Многие из них еще до сих пор там живут, приняли ислам и так далее. Но двоих мы в эту поездку вытащили“».



Плакат «Мы выстояли».

Хикматияр на прощанье подарил ему одеяние моджахеда — долгополую рубаху, голубые просторные шаровары, плоскую, «похожую на ржаную коврижку» шапочку, безрукавку и полотняную накидку, длинноносые чувяки. В конце 80-х в

окрестностях Тверской в этом салвар-камизе можно было увидеть сына Проханова Андрея, напоминавшего жителя лондонского Ист-Энда; по мнению отца, он был «вылитый моджахед».

В последний раз, уже будучи главным редактором «Советской литературы», он оказывается в Афганистане году в 89-м, на закате советского строя. Вместе с зампредом Олегом Баклановым они встретились с Наджибуллой, который к тому моменту не контролировал уже почти ничего — «и уже было видно, что через месяц-два его фиолетовое истерзанное тело будет болтаться на том самом дереве в центре Кабула». Президентский дворец, где размещался штаб 40-й армии, во время военного восстания Таная был подвергнут бомбоштурмовому удару, и от него остались одни обгорелые стены. Страшнее всего было знать, что и он сам был косвенно виноват в этом: режим Наджибуллы пал только после того, как СССР перестал поставлять ему бензин и танковые масла, бронетехника встала, и Афганистан превратился в планету Железяка. Еще и поэтому Проханов ненавидел Горбачева и Шеварднадзе: для него не было тайной, что те договорились с американцами о выводе войск и взаимном прекращении поставок, только мы все выполнили, а США продолжали вооружать моджахедов, и все знали об этом, но помалкивали. Из отдельных реплик Проханова на эту тему можно также понять, что Горбачев, когда уже было решено вывести войска, специально растягивал этот процесс на два года, вместо того чтобы сделать это сразу, чтобы получить на этом дополнительные политические очки. Кроме того, важным моментом было то, что Горбачев не поехал встречать возвращающиеся войска. В одной из своих опубликованных в перестроечной прессе бесед с генералами Проханов произносит: «Я верю, что все-таки состоится парад „афганцев“ на Красной площади. И президент, не встретивший войска, выходившие из Афганистана, будет стоять на Мавзолее по стойке „смирно“, а по брусчатке пройдут кандагарские, гератские, кабульские полки, протянут подбитую, подорванную технику, протолкают инвалидные коляски с ветеранами». Боль от того, что ничего из этого не произошло, вылилась в пронзительную сцену в «Сне о Кабуле», где Белосельцев, стоя на Мавзолее, принимает галлюцинаторный парад афганцев: по Красной площади идут убитые и калеки, ползет искореженная техника. «Первым на площадь въехал гусеничный тягач — тянул подбитый КАМАЗ, ржавый, окисленный, на спущенных ободах…» — цитировать эту сцену нужно целиком, но она занимает не менее двух страниц. Это — «третий тост» Проханова.

При всей своей склонности к ораторской риторике Проханов не тот человек, который делает заявления вроде «Афганистан

перепахал меня». Однако довольно часто он упоминает, что «мирный опыт — ничто по сравнению с опытом, приобретенным под током». Фронтовик и автор «Горячего снега», старший товарищ, Ю. Бондарев однажды сказал ему: «Вы классический образец кабинетного писателя, ездившего в командировки. Но это было до Афганистана. Афганистан обжег вас: вы проникли в жизнь необычную, кровавую, военную… И стали другим человеком — у вас открылись неожиданные возможности». Личутин считает, что только с началом афганской войны Проханов «надел сюртук государственного человека».

Так что — плохо, что мы ушли оттуда? «Только мы ушли, и после ухода потеряли всю Среднюю Азию, а сейчас и Чечню потеряем, а потом, я думаю, и Татарстан, и Башкирию, потому что сейчас идет наводнение всех медресе, в Татарстане ваххабиты. Мы правильно сделали, что вошли в Афганистан, и неправильно сделали, что вышли из него. Империя, если она империя, должна осуществлять экспансию».

Друг Проханова Личутин, попрекавший его Афганистаном на протяжении всего их знакомства, считает, что Проханов просто из упрямства отказывается признать очевидное: афганская война стала тем, чем русско-японская для Российской империи. Он даже сообщает, что после многолетнего раздумья тот был «вынужден признать, что это был наш великий провал: нас втянули в эту войну, специально, чтобы восстановить против нас арабский мир», как сейчас заманивают в конфликт с исламом Китай, только уже в Ферганской долине. «Мы попали в Афганистан по дурости, это наша драма, стратегическая ошибка. Он это знает, но никому не рассказывает — как человек политики он обязан держать это в тайне. Мы посыпались не потому, что проиграли — мы там все выиграли — мы проиграли потому, что вошли туда, куда не следовало входить никогда. Русскому человеку противопоказано воевать в чужих границах, это не соответствует его психическим структурам. Русский человек — человек обороны, человек пространств, человек защиты». «Ага, Личутин, конечно, великий специалист по Афганистану», — саркастически замечает Проханов, когда я прошу его подтвердить или опровергнуть слова его друга. Косвенные подтверждения личутинской теории обнаруживаются меж тем в самих прохановских текстах. В «Африканисте» американец Маквиллен говорит, что временные победы СССР — западня, расставленная Западом, чтобы отвлечь нас вовне, а тем временем действовать изнутри, разлагая культуру и государство. В «Сне о Кабуле» генерал, отправляющий Белосельцева в Афганистан, чувствует, что эта страна — «преграда, на которую натолкнется Советский

Союз, как падающий кувшин с молоком».

За годы войны правительство СССР потратило на нее 70 млрд долларов. Через Афганистан прошли около полумиллиона советских солдат. Постороннему может показаться, что Афганистан — это самая провальная идеологическая инвестиция Проханова, на ней окончательно рухнули его акции как писателя-модерниста: заработав клеймо репортажника и соловья Генштаба, он поневоле вынужден был стать эксцентричным советским десперадо. На самом деле, помимо «бизнес»-аспекта, есть и другой. Советское газетное клише «братский народ» неточно отражает суть отношения СССР к Афганистану. Афганистан, который последние четверть века представлял из себя нечто вроде гигантской Чечни, страна еще более катастрофогенная, чем Россия: матрица антимира — и поэтому неудивительно, что у незлых, отзывчивых, с большим сердцем людей, к которым, несомненно, принадлежит и Проханов, она вызывает своего рода нежность, жалость, сострадание — ну, что ли, как ребенок-беспризорник. Проханов со своей афганской темой стоит в отечественной культуре, как памятник воину-освободителю с девочкой в Трептов-парке. Эта «девочка» дорого далась ему. Она оказалась себе на уме, и в течение двадцати лет она будет кусать его, может быть, больнее, чем кто-либо другой, из-за нее он окажется в тупиковом положении, будучи вынужден отстаивать заведомо слабую позицию — но он ни разу не сдаст ее. Он думал, что ему придется защищать слабое существо от внешнего врага, а оказался спартанцем, которому грыз грудь лисенок.

Глава 13

Описание мозамбикского, анголького, камбоджийского и никарагуанского походов. Проханова гримируют под негра. Хлор с Диканьки.

Замечания об обмороках. «Красный Киплинг». Сравнительные достоинства суссексской и подмосковной недвижимости. Апология overstatement.

Расправа с Набоковым и контакт с Сорокиным. Белосельцев и Джеймс Бонд

В первой половине 80-х Проханов совершает свой гран-тур по странам третьего мира, точнее, по «горячим точкам»: Афганистан, Ангола, Мозамбик, Зимбабве, Намибия, Эфиопия, Ливан, Кампучия, Вьетнам, Никарагуа, Сальвадор, Сирия, Пакистан. «Это была страшная гонка». «Был год, когда я купался во всех океанах мира». «Мира-Флорес, Нуэва-Сеговиа, залив Фонсека — с этими словами связан мир сладостных воспоминаний, переживания; я был молод, крепок, я был абсолютно свободен, чувствовал себя суперменом, находясь в местах, куда не проникал ни один советский человек». Выныривая на несколько секунд на поверхность, он успевает выстучать на машинке четыре «анабасиса», которые самопроизвольно складываются в цикл «Горящие сады». «Четыре главных героя четырех романов», «благополучные художники», писал критик Вирен, «настолько близки, что, по существу дела, являются одним героем, связанным циклом книг». Сам он позже станет называть их «мои геополитические романы», потому что в них будет запечатлен последний рывок красной империи, ее максимальная — глобальная — геополитическая экспансия. Все четыре романа объединены еще одним общим качеством, которое в благоприятные для автора периоды может называться «злободневность», а в неблагоприятные — «торопливость». «Они были написаны жадно и быстро, были, по существу, вырваны прямо из блокнота, включены в текст». И в самом деле, 1984-й стал первым годом в его биографии, когда у него выходят сразу два романа — «Африканист» и «И вот приходит ветер» — в журнале «Знамя». В любом случае, «Горящие сады» — хороший

повод не только вспомнить его экзотические путешествия, но и обсудить тему «Проханов-графоман».

Начнем, впрочем, с приключений.

Дифирамбисты из газеты «Завтра» имеют обыкновение в качестве синонима фамилии Проханов пользоваться словосочетанием «наш Гумилев», имея в виду, в частности, его африкану, но классическая прохановская Африка не совпадает с гумилевской; это прежде всего Ангола и Мозамбик. В Анголе он десантируется в мае 1981-го. Целью его вояжа было освещение «еще одной необъявленной», войны, которую США вели против соцлагеря не напрямую, а через своих союзников, не сказать наймитов. Кто с кем воевал, на самом деле не вполне понятно. Обе страны были бывшими частями португальской колониальной системы, не настолько четко организованной, как британская. Из-за слабости метрополии развал здесь прошел менее гладко, чем в англоориентированных африканских странах, туземные общества оказались инфицированы вирусом коммунизма. Здесь появились свои полевые командиры, которые, при поддержке военных советников из СССР, стали вторгаться в соседние области — в ЮАР и Намибию. Официально все это называлось партизанской борьбой с юаровской военщиной.

На просьбу объяснить, кто инициировал приграничные стычки, Проханов, всю жизнь разоблачавший юаровскую агрессию, соглашается, что, скорее всего, это была «атака черных».

Приземлившись в Луанде, он сразу отправляется в южную, пограничную ангольскую провинцию Кунене, в Лубанго: место приграничных стычек. Там размещались русские советники по использованию различных типов оружия, по вождению танков, по танковым двигателям и тактике. Эти советники — полковники или подполковники — прикреплялись к бригадам, за каждым туземным комбригом стоял наш советник, помогавший планировать операции. Проханов двигается по этим бригадам, посещает подземные города, состоящие из целых улиц блиндажей, тренировочные лагеря, плавает по айболитовской реке Лимпопо, предпринимает вояж по трансафриканской трассе Каир — Кейптаун, наблюдает на рейде поразившее его зрелище — советский десантный корабль (где, как выяснится, был в этот момент отец Дмитрий Шмелев, тогда еще морской офицер), бродит по улицам Луанды и Мапуту (столицы Анголы и Мозамбика соответственно).

Луанда поразила его «бутафорскими демонстрациями, бумажными электростанциями и тряпочными ракетами» — «пенопластовый социализм», как он выразится в поздней версии

«Африканиста». Не такой уж пенопластовый: как раз в тот момент, когда он туда попадает, начинается строительство мавзолея первого президента Агостиньо Ньето, под чьим предводительством здесь в 1975 году произошла революция. Это циклопическое сооружение, которое видно со всех точек Луанды. Гигантская, 100 метров в высоту, стела, похожая очертаниями на космический корабль, покоится на платформе, которая, как планировалось, должна была вместить собственно мавзолей с саркофагом покойного главы государства, кабинеты президента и министров, бункеры с бронированным стенами, залы приемов. Вокруг разбивается площадь Революции, для торжественных мероприятий. Проект, разумеется, был разработан советской стороной.

Юг Африки был важным коммуникационным пространством — проходом из Индийского океана в Атлантический, и в акватории вокруг мыса Доброй Надежды курсировали как натовские, так и советские подводные лодки. Ангола и Мозамбик были плацдармом советского влияния в регионе, СССР поддерживал Африканский национальный конгресс, который вел террористическую войну против ЮАР за освобождение и против апартеида. «Так что я думаю, мы там воду мутили. А потом были бесконечные ответы».

— Что значит «думаю», вы же специалист?

— Я попал на эту войну, когда она уже была развязана. Но я полагаю, что, вторгшись в португальскую колониальную систему, мы стали помогать повстанцам, предложили свой режим, свои методики, поставляли оружие, «Калашниковы». Обычные советские дела.

В ответ на рейды ангольцев и мозамбикцев юаровский батальон «Буффало» вторгался на территорию Анголы и Мозамбика.

Первый репортаж из Анголы появляется в «Литературной газете» 3 июня 1981 года. «Лесная фазенда — возделанное поле с кукурузой, дом под черепицей», «двигаюсь вдоль намибийской границы с ангольским офицером», «молодые черноликие воины», «арьергардный бой империализма», «живу в партизанском лагере», «круглые, из вбитых кольев, хижины кимба».

Африканские приключения Проханова в «прифронтовых государствах» можно корректно реконструировать по роману «Африканист», который, по обыкновению, существует в двух вариантах. В написанном по горячим следам «подмалевке» главного героя зовут Бобров, он кинорежиссер, снявший несколько фильмов, очень похожих по описанию на «Иду в путь мой», «Время полдень» и «Вечный город»: фольклор, путешествия

по пространствам, город. Любопытно, что в «советском» «Африканисте» эротическая интрига редуцирована — она обрывается после первых робких попыток Боброва соблазнить привлекательную, но тем не менее верную мужу деятельницу Африканского национального конгресса. Не то генерал Белосельцев, герой новейшей версии романа, действующий под камуфляжем легенды «советский журналист» и безуспешно пытающийся укрыться от более точного определения «советский Джеймс Бонд», — который в первый же вечер своего пребывания на континенте влюбляется в эту самую деятельницу, африканку Марию. И, знаете, даже при графоманской репутации нашего автора отрезок текста между «Зайдем ко мне на минуту… Я подарю вам альбом с видами Москвы… Мы выпьем чашечку кофе…» и «В глубину, в сочную сердцевину цветка, в дрожащую сочную мякоть. Цветок увеличивался, раскрывал огромные лепестки, превращался в жаркое солнце, в слепящий взрыв, выталкивая его из бытия в бестелесную неподвижность, в ослепительную пустоту» — крайне выразителен. Об этой африканской женщине, «чьи лиловые соски были сладкими от земляничного сока», и проведенной с ней ночи в мозамбикском отеле «Полана» Белосельцев очень любит вспоминать кстати и некстати — обычно в Москве, направляясь на встречу с Березовским или Хакамадой.

Эти «воспоминания», больше похожие на обмороки, когда герой как будто входит ни с того ни с сего в штопор, — в высшей степени характерное для прохановских текстов явление. Вдруг вспомнил, вдруг навернулось, вдруг увидел. На кремлевском банкете герой погружается в воспоминания о горящих наливниках на трассе Саланг, умирая в горящем наливнике — вспоминает лиловые соски африканской любовницы, разминая лиловые соски — видит перед глазами дворик, где прошло детство, гоняя во дворике мяч пятилетним ребенком — опрокидывается в пренатальные видения.

В связи с этими лирико-миметическими пассажами — можно называть их «обмороками», «флэшбеками», сеансами изумления, микрогаллюцинозами, «оазисами» (Бондаренко), «повторами» (М. Ремизова), «внутренним материалом» (Матулявичус) — чаще всего и возникает слово «графомания», или, как аккуратно выражается А. Сегень, редактор Проханова в «Нашем современнике», «я все боялся, не захлестнет ли его экспрессионистская волна».

Критики обычно воспринимают эти, в самом деле не вполне мотивированные — не в таком объеме, по крайней мере, — «воспоминания», часто посвященные родственникам главного

героя до десятого колена, в штыки — и, по правде сказать, они способны ввести в нарколептическое забытье самого лояльного проханолога. Одна из самых раздражительных читательниц Проханова М. Ремизова утверждает, что «повторы», по сути, «противоречат всякой логике художественного построения текста (любое продлевание эффекта сводит его на нет)». Внятнее прочих выразил недоумение по поводу «оазисов» перестроечный критик Матулявичус: «Есть в романе („Африканист“. — *Л. Д.*) и второй временной пласт — воспоминания Боброва. Но порой просто диву даешься, до чего бесцеремонно и неестественно они включены в общую канву повествования. Многочисленные, не несущие никакой интеллектуальной или эстетической нагрузки отступления служат лишь фоном для африканского действа, но отнюдь не дополняют его. Беспомощность „внутреннего“ материала только подчеркивает так полюбившиеся писателю высокопарные фразы, глобальные понятия, всевозможные абстракции, за которыми не обнаруживается ничего конкретного. Оторопь берет от бесконечного использования всевозможных технических терминов „вектор“, „силовое поле“, „электрическое поле“ — для обозначения душевного состояния героя».

«Проханов, — благоразумно замечает все тот же Матулявичус, — любит кстати и некстати вспомнить важнейшие свершения нашего народа — то и дело мелькают слова о тюменской нефти и целине, интервенции и Отечественной войне. Эти высокие материи не мешают автору (иногда буквально в том же абзаце) вспомнить очередное любовное похождение своего героя: „Его близость с высокой степной красавицей, среди целинных хлебов“. Даже такие приключения происходят не просто так, а на общественно значимом фоне. Этот прием Александр Проханов эксплуатирует безмерно».

Вернемся, однако, в Африку. Белосельцев (Бобров) предотвращает покушение на президента Сэма Нуйома. Африканцы пытаются устроить юаровцам западню: заманить с помощью двойника Сэма Нуйома, штурмующего Намибию с партизанских баз, батальон «Буффало». Едва ли Проханов, как его Белосельцев, сорвал покушение на Сэма Нуйома — действительно, одного из лидеров национального освободительного движения, которыми в тот момент был наводнен мир. Но, во всяком случае, они были знакомы; «хи’з нот джорналист хи из э райта» — представил его Сэму Питер Наниембе, министр обороны в теневом правительстве; те были в восторге — живой писатель! Более того, мне рассказывали, что один из моих знакомых недавно был в Намибии и на встрече с

президентом Сэмом Нуйома рассказал тому о Проханове — и тот, чуть ли не прослезившись, прижал его к сердцу: «А, Проханов! Привет ему!»

«Африканист» — это отчет о белосельцевском турне по прифронтовым государствам. Мотивировками его передвижений являются служебные обязанности и сердечные привязанности. Даже и переписанный, роман представляет из себя набор неважных по драматургии сцен, бойких военных и трэвел-репортажей и не подпадающих ни под какие оценочные категории «обмороков». Простенький на первый взгляд «Африканист», однако, затейливее прочих «Горящих садов». Это роман, кишащий двойниками — обычными и идеологическими. Помимо членов Африканского национального конгресса, Белосельцев знакомится с неким Маквилленом, тоже разведчиком, шифрующимся под бизнесмена, между ними возникают тонкие отношения. На этих отношениях и строится главный конфликт романа: непонятно, враги ли они друг другу или близнецы из двух систем, не случайно все время помогающие друг другу; эта пара — романный рефлекс параллельно развивавшейся андроповской «конвергенции разведок». Маквиллен — персонаж вымышленный, однако что такое агенты западных разведок, Проханов знал не понаслышке — и, разумеется, интересовался этими персонажами — своими двойниками с другой стороны железного занавеса. Так, однажды он увидел перекрашенного под негра немца или голландца, который… «А кстати, вас ведь самого однажды раскрасили, правда?» — «Ну да». — «Расскажите». — «Меня транспортировали из Лубанго на юг, на границу, где размещались базы намибийских партизан. Это была опасная трасса: ночь, охраны нет, машина мчится по саванне, могли ударить, перехватить. Черных не брали, а белый сразу заметен, юаровские информаторы про все докладывали. Прежде чем выехать на эту трассу, долго петляли по городу и только потом вывернули, чтобы не связывали мое появление в штабе с маршрутом. Для предосторожности меня покрасили в черный цвет. Это был грим. Белые люди были очень желанными, и их охотно захватывали: за белого советского советника можно было получить очень много. Во-первых, потрошить его и вытащить из него ценную оперативную информацию, потом обменять на него своих агентов. Это была такая валюта, карренси».

— Ну а красили-то вас как?

— Да в этом не было ничего необычного, потому что…

— Вас целиком покрасили?

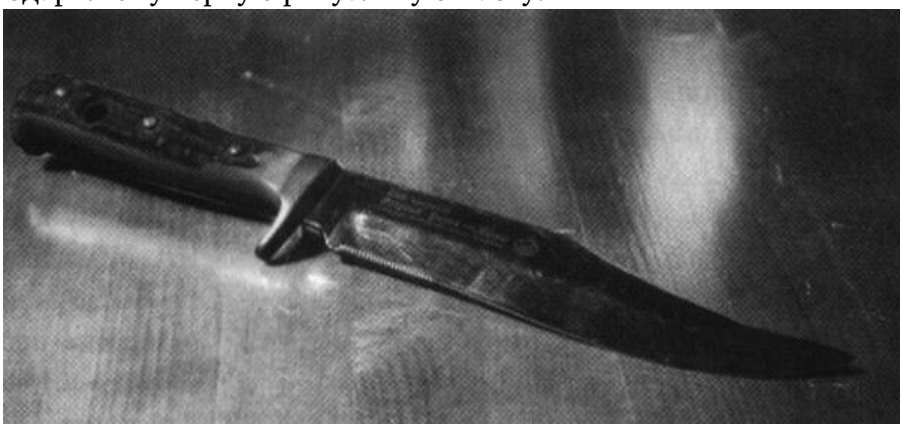
— Ну не целиком, естественно! Пах оставили, пах-то белый

был — чего ж там красить, краски не хватило бы… Руки покрасили, лицо.

— В «Африканисте» упоминается «жестяная банка, в которой находилась темная глянцевитая гуща, напоминавшая сапожную ваксу». Вас гуталином, что ли, красили?

— Я даже не знаю чем. Это была такая баночка стеклянная, там была резиночка типа губки, меня завели в дом, макали и шлепали, шлепали, шлепали, превратили меня в негра. Сначала была пахуча, повоняла эта краска, а потом высохла, и все было благополучно.

По дороге они проезжали место, где несколько часов назад состоялся бой и до сих пор валялись неубранные тела. Среди убитых они обнаружили такого же фальшивого перекрашенного негра: замкомбрига плюнул на руку, провел по щеке — и она оказалась белой. И кто это был? «Какой-то наемник. Голландец или немец. И у меня до сих пор дома трофей есть такой: эффектный нож с пумой, который с него сняли: костяной, ручка из оленьего рога, такая красная сталь, с пилкой, боевой». Комбриг подарил ему черную ритуальную маску.



Трофейный нож.

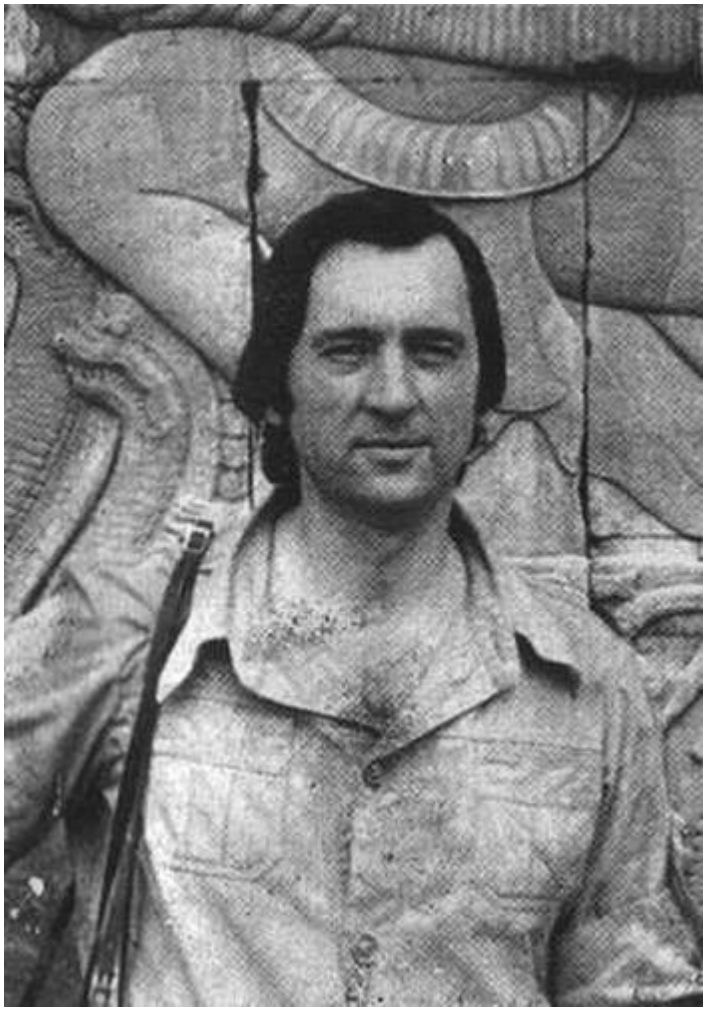
Белосельцев принимает участие в сражениях на реке Лимпопо, ходит вместе с боевой группой в Намибию на теракты; в Мозамбике они ищут «аэродром подскока», откуда прилетают юаровские самолеты. В какой-то момент Белосельцева берет в плен бандформирование, его пытают, издеваются, но затем выменивают его на Маквиллена.

Этот Маквиллен в финале сообщает Белосельцеву, что вот-вот произойдет покушение на членов Африканского национального конгресса, и тот сломя голову летит в Мапуту, врывается в дом, где бушует вечеринка, и погибает в пламени вместе со своей любовницей и ее боевиками.

Кампучия — третий из четырех «Горящих садов», что тушил в молодости генерал Белосельцев (или Кириллов — в первой версии). Проханов побывал здесь дважды: первый раз ездил по стране в течение трех недель, второй — провел неделю в Пномпене в составе делегации от Комитета защиты мира. Роман «В островах охотник» был опубликован в майской книжке «Нового мира» за 1983 год. Главного героя зовут Кириллов, он — выдумывать было некогда — журналист.

К началу 80-х Кампучия была разоренная, выскобленная, зачищенная рехнувшимся французским интеллектуалом Пол Потом страна, мягко оккупированная вьетнамской армией. До того здесь процветала цивилизация кхмеров, которая погибла от полпотовщины, в другом романе напомнившей Белосельцеву «наступление растений, штурм деревьев… поднявших восстание против заводов, университетов и железных дорог». Коммунистический Вьетнам только что выиграл войну с США. У Хо Ши Мина был план по созданию объединенной Юго-Восточной Азии под протекторатом Вьетнама. Вьетнамцы, подмявшие под себя Лаос, выпершие из Кампучии Пол Пота, добивают остатки красных кхмеров и, по непроверенным данным, готовятся к агрессии против Таиланда. Если они в самом деле решатся на это, Штаты угрожают Ханою ядерным ударом. Проверить, в самом ли деле вьетнамцы, союзники СССР, готовятся к войне, послан Белосельцев. «Мы не хотим быть вовлеченными в новый виток мировой конфронтации и сделаем все, чтобы вьетнамцы умерили свои аппетиты», инструктирует Белосельцева начальство: после ядерной бомбардировки Вьетнама СССР пришлось бы вмешаться в конфликт и началась бы Третья мировая.

Страна была винегретом из разных культур, векторов влияния, что чувствовалось повсеместно. Его возили по кампучийским джунглям на американском бронетранспортере, в котором он вместе с солдатами вьетнамской армии прорывался в направлении Таиланда. Советский репортер, он все пытался найти здесь признаки мирной жизни и светлого будущего — встречался с крестьянами, организовавшими кооператив, с художниками, беседовал с вьетнамскими коммандос, победившими США, полпотовцами, попавшими в плен. «Они расстались с Тхом Боретом, отправились к художнику Нанг Рапуту»; «А где же Тын Чантхи? — спросил Белосельцев у Тхом Борета» — примерно в этом духе.

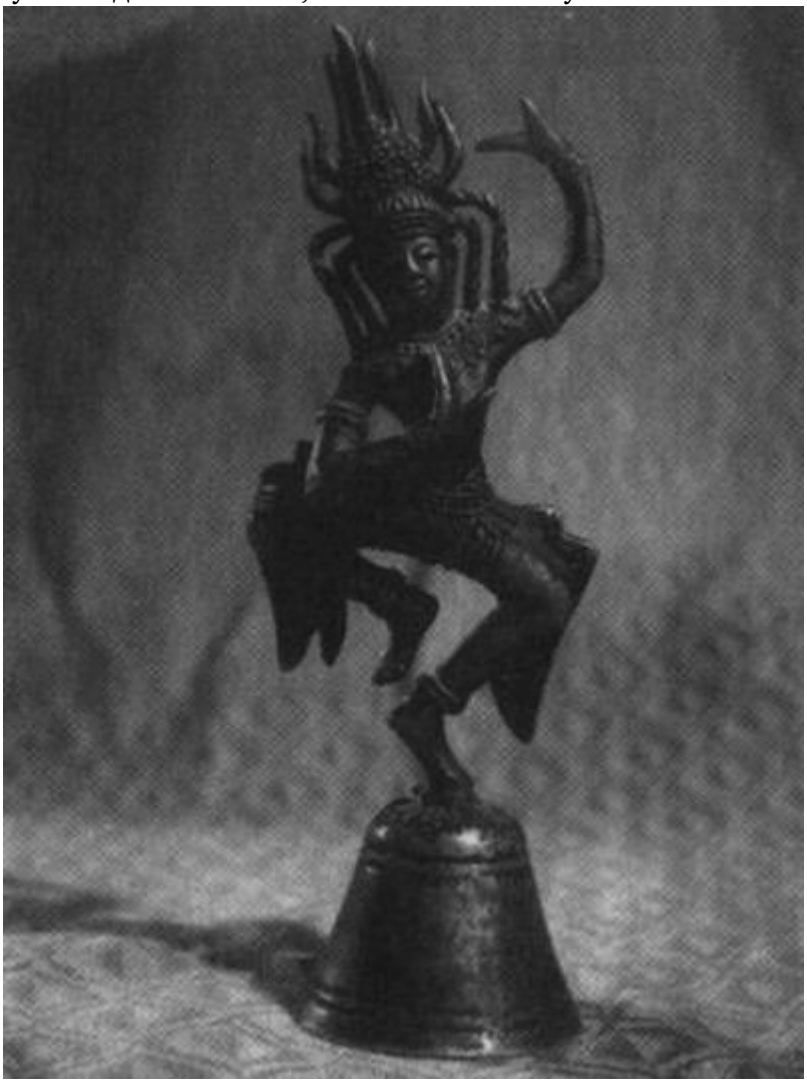


Кампучийский сатир.

Разумеется, экзотика не сводилась исключительно к фонетике: были и волнистые пагоды, и гигантские статуи («Будда, словно в золоченом скафандре, вел громадный корабль»), и джунгли, и храм Ангкор — одно из крупнейших буддистских культовых сооружений. Здесь, насмотревшись диковинок, он приобрел издающий серебристый звон колокольчик с танцующим божком: на ногах у него крылышки.

Любопытный момент — и тут мы снова возвращаемся к «графомании» и «обморокам» — в ответ на мой вопрос о том, зачем он так многословен, зачем один и тот же предмет описывать через десяток метафор, к чему эти бесконечные повторы, за которые его шпыняют уже тридцать лет, Проханов сошлется как раз на кампучийский Ангкор. Этот храм, вырубленный из черного базальта, весь, говорит он, от

фундамента до высоких, едва различимых, этажей покрыт барельефами, где фигуры воюют, казнят друг друга, отрывают головы, совокупляются. «Это не обязательно различать, рассматривать. Ты погружаешься в это множество и возникает странное внутреннее свечение, иногда мучительное, иногда сладостное. Ты как бы погружаешься в страницу рукописной книги, исписанной невнятным, непонятным тебе языком, и извлекаешь из этого поразительное графическое ощущение, которое тем не менее кодировано смыслом». «Задача была заполнить все пространство бесконечным количеством сведений. Гигантская сакральная сила, как ковчег знаний человеческих». То же и у него: доставить все, захватить максимум.



Колокольчик из Кампучии.

Затем он произносит еще два важных слова: «избыточность» и «барокко». «Я вот так же своих бабочек собираю и наклеиваю. Один и тот же вид бабочки возникает и повторяется двенадцать раз. Возникает серия. Серия, один и тот же вид, задает морфологию удивительную. То же в магазине — раскадрированные вещи в миллиардах вариантов».

Вторая аналогия для его прозы — из мира консервных банок, из которых Проханов делает свои светильники. «Любое явление — скажем, цилиндр консервной банки, — можно раскрыть, завязать под разными углами, стенки, крышки, бесконечное количество фигур. Одно и то же явление подвержено бесконечному числу интерпретаций». Дальше он напоминает мне об устройстве первой сцены «Политолога» — коммунистической демонстрации, которая описывается сначала как погребальное шествие, затем карнавал, затем крестный ход, затем как рать, толкающая к Кремлю глинобитную машину. «И одно и то же явление, по мере того как оно протискивается и проталкивается через сюжет, обретает новое качество и дает художнику новые возможности для его интерпретации. В этом тоже есть интерес, игра». Утомительная нередко, замечаю я. «Да, эта игра может быть утомительна для читателя».

Однажды мы заговорили об отношениях художника с внеязыковой действительностью, и особенно о «злободневности». Я заметил, что поэт-форвард, всегда оказывающийся в нужное время в нужном месте и забивающий, вроде бы, массу голов, не всегда получает от потомства «золотую бутсу», — и вспомнил о Евтушенко и Бродском: первый всегда пытался успеть, схватить, выкрикнуть, тогда как второй, с его камерностью… Проханов перебивает меня — а что Бродский?! «Был ли Бродский включен в события? Он был включен на самом деле лишь однажды, когда его взяли за шиворот и посадили в тюрьму. Это на него надвинулось. И как поэт он это не зафиксировал. А Ахматова, я вчера слушал „Реквием“ по телевизору, она это зафиксировала — и эти очереди, и казематы, и расстрелы, и потери близких». На чьей он стороне, сомневаться не приходится.

> «Литературный процесс — это ведь универсальный процесс. Я думаю, что в литературном процессе исходным является самообъяснение, самовыражение, самовопроизведение через литературный текст. Например, если бы я сидел в тюрьме всю жизнь, этим самовыражением и самообъяснением было бы это состояние, протекающее в четырех стенах, — паук там

> прополз, или галлюцинации, или поллюция какая-то… об этом бы я писал, как Лимонов в свои тюремных записках. А поскольку моя жизнь протекает постоянно на ландшафтах, социальных коллизиях, то мое самовыражение связано с трансляцией и описанием этих коллизий».

Описывая природу импульса, заставляющего его заниматься литературным трудом, Проханов часто прибегает к метафоре «писатель — помпа, через которую Бог прокачивает дух, информацию, эмоцию». Помимо чисто технического ощущения функциональности своего устройства у него есть ощущение долга: «я должен записать эпоху, написать свою повесть временных лет, огромный репортаж о событиях, свидетелем которых я являюсь».

> «Нужно быть очень странным человеком, чтобы, являясь участником тектонических процессов, их не замечать. Поэтому я до сих пор не могу понять, почему советская живопись 70–80-х годов, масса прекрасных художников-реалистов, писала прекрасные букеты хризантем, ландшафты, березняки, поразительную природу… но там абсолютно отсутствует социум. Почему студия Грекова, которая была создана для того, чтобы быть на полях сражений и рисовать, как горят танки, — они страшно все это не любили, а ездили в Венецию рисовать Гран-канал. Вот это мне непонятно. Мне очень понятен Маяковский, его актуалистика. Мне понятен Мейерхольд, эта страсть и жадность к актуальной новизне».

«Для художника важна кромка, место, где все искрит». Этой «кромкой» является прежде всего передний край собственно жизни — те места, где разворачивается актуальная история, общественные процессы, конфликты.

Создание нового стиля, оригинального поэтического языка, по мнению Проханова, не входит в список приоритетных задач художника. Стиль — всего лишь один из фронтов, где происходит война, которую ведет художник-пассионарий. Столкновение с предшествующей, представляющейся архаичной, литературной традицией для художника менее важно, чем конфликт с реальностью.

Менее важно, но и стилистика — тоже «твоя собственная сверкающая кромка», там тоже идет война. «Что такое стиль? Мне так кажется, что стиль — это результат великих неудач

художника. Стиль — это результат атак, которые художник совершает на неведомое, на невыразимое, на неисследованное. И вот при столкновении с этим неведомым, с неисследованным, у него начинает ломаться язык, у него начинает ломаться его традиционная стилистика, он изобретает все новые и новые буры, отвертки, механизмы, сварочные аппараты. И в результате этого контакта, этой агонии, этой встречи с неведомым и невыразимым возникает стиль».

Его маршрут был достаточно беспорядочным: в течение недели его возили по шоссе номер пять, вдоль юго-западной кромки озера Тонлесап, до Баттабанга и Сиемреапа. В романе Белосельцев колесит по оккупированной вьетнамскими войсками Кампучии не просто так. Его цель — выяснить, строят ли вьетнамцы железную дорогу к границам Таиланда и, соответственно, готовится ли вторжение. Разведку следовало вести осторожно: вьетнамцы были достаточно независимы от СССР. Белосельцева возит вьетнамский советник, для отвода глаз он встречается с председателями кооперативов, художником, военнопленным и прочими, — но все время их расспрашивает про железную дорогу (хотя все понятно уже с первого разговора).

В самом начале путешествия Белосельцев закручивает роман с роскошной итальянкой из миссии ООН, которая тоже, по-видимому, разведчица, интересующаяся строительством железной дороги; джеймс-бондовская, слишком джеймс-бондовская — «Шпион, который меня любил» — история. Диалоги Белосельцева («то ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-то соблазнит» — ну да, это про него) с итальянкой выглядят почти анекдотическими, в духе «скажите мне, как разведчик разведчику».

Что с этой шпионкой делать дальше, автор явно не имеет представления, — и поэтому с ней не церемонятся, как с советским «журналистом»: она мертва уже в середине романа.

Потихоньку Белосельцев добирается до границы с Таиландом, а потом даже участвует в операцию по штурму полпотовской базы (очень сильная, кстати, батальная сцена, особенно освежающая после вялого описания путешествия: «От края поляны бежал вьетнамец… Граната ударила ему в панаму, гулко лопнула, отломала ему голову, превращаясь в красный глазированный взрыв. Секунду он продолжал бежать, неся на плечах огненное яйцо, рукой зазывая солдат. Упал, и безголовая шея дергала красными жилами»). Затем, отпраздновав южноазиатский Новый год, Белосельцев возвращается в столицу на вертолете, но машину сбивают, пилоту приходится сесть на

поляну в джунглях, где к ним сразу же бегут какие-то люди с автоматами; зная невезучесть Белосельцева, можно с почти стопроцентной уверенностью предположить, что особо миндальничать с ним автоматчики не станут.

Что, собственно, означает название «В островах охотник»? Так называется старинная народная русская песня — про охотника, напоровшегося на спящую в кустах девицу. Какое все это имеет отношение к генералу Белосельцеву? С одной стороны, «он был „охотник в островах“, бегущий с сачком по зеленым лесам, с автоматом — по воюющим континентам»; с другой — это название отсылает к эротическому сюжету.

За одну-две поездки не так просто набрать материал для целого романа, и, по правде сказать, лучше бы «Охотник» был миниатюрой. Как и везде в «Горящих садах», мы обнаруживаем здесь огромное количество повторений, дублей, реприз, прожевывания одних и тех же мыслей. Более доброжелательно настроенные к автору критики могли бы, впрочем, заметить, что «Сады» — произведение монументальное, что в эпосе — а это ведь эпос, «урны с прахом империи» — повторы имеют не только смысловую, но ритмическую функцию, как в былинах или гомеровских песнях, архаичной, проще говоря, словесности. Пожалуй, это разумный ход стороны защиты, но для автора — не самый эффективный способ привлечь читателя.

В начале 2000-х Проханов предпринимает попытку гальванизировать старую структуру «Охотника» ударом электричества. Так появляется современная линия. Стареющий генерал Белосельцев, отдыхающий от своих крестовых походов, фланирует по Пушкинской площади — уже с «Макдоналдсом» и прочими атрибутами новой эпохи. Случайно он знакомится здесь с девушкой Дашей, которую отбивает в драке у шпаны. Он ведет ее к себе, влюбляется в нее, они начинают встречаться, заходят посмотреть «Черный квадрат» в ЦДХ, гуляют по ЦПКиО, ужинают в грузинском кабачке («Такое количество грузинских слов на такой хорошей бумаге я видел только в юбилейном издании „Витязя в тигровой шкуре“», — острит генерал), едут на Оку, где и «происходит близость». Белосельцев настолько растроган Дашиными чувствами, что собирается заказать ее портрет, возможно, у Шилова, и носить миниатюру на груди в золотом медальоне. Однажды любовники приходят на Поклонную смотреть солнечное затмение («В окружность Солнца, словно во Вселенной доказывается геометрическая теорема, вписывается черный квадрат… „Черный квадрат“ Малевича нарисован в

середине неба») — и тут у Даши случается помутнение рассудка, которое только усугубляется, когда, уже у Белосельцева дома, они разглядывают альбом Босха, — у Даши приключается настоящий припадок: в истерике она глумится над своим немолодым любовником. Потом они встречаются на вернисаже, откуда ее увозит «еврейский художник» Натан (эпизод, который Белосельцев воспринимает как «похищение Европы»). Затаившись у подъезда, Белосельцев подкарауливает изменившую ему девушку, когда та признается в содеянном, он в сердцах бьет ее и начинает метаться по Москве (в том числе он заходит на Красную площадь, где, как и следовало ожидать, у него случается приступ галлюциноза). Одумавшись, генерал звонит, чтобы извиниться, однако Даша уже в Склифе: попытка самоубийства. В больнице Белосельцев наблюдает, как ей промывают желудок («Желудок-то мы ей промыли, — вздыхает врач, — а вот кто ей душу промоет»), затем выхаживает ее, готовится подарить ей коллекцию бабочек из своих запасников, но в последний день ее увозят в неизвестном направлении, с концами. Лишившись своей Ребекки, стареющий Бриан де Буагильбер копается себе в огородике на даче, перетряхивает коврик, подаренный Наджибуллой, и предается восхитительным воспоминаниям — благородный рыцарь, романтик империи и немного графоман.

Выстроенные в ряд слова «империалист», «романтик» и «графоман» неизбежно приводят нас к предыдущей аватаре Проханова в мировой культуре — Редьярду Киплингу. Несомненно, этим двоим было бы что обсудить друг с другом. Нам любопытно не то, насколько они «похожи» на самом деле (по-видимому, скорее как типажи-пассионарии, чем как идеологи экспансионистского сознания), но насколько одинаковую реакцию у «здравомыслящих» людей они вызывают.

Киплинг умер за два года до рождения Проханова и прожил бурную, по меркам своего времени, жизнь. Он так же много лет проездил по тогдашним горячим точкам — Африка, Индия. Его Афганистаном была англо-бурская война, куда он попал спецкором при штабе английской армии. Он так же был предан остракизму интеллигенцией за империалистские и патриотические убеждения. Он писал антисемитские стихи, от которых отказывались даже газеты правого толка, но при этом ненавидел фашистов и после прихода к власти Гитлера потребовал убрать с иллюстраций своих книг индийские узоры в форме свастики.

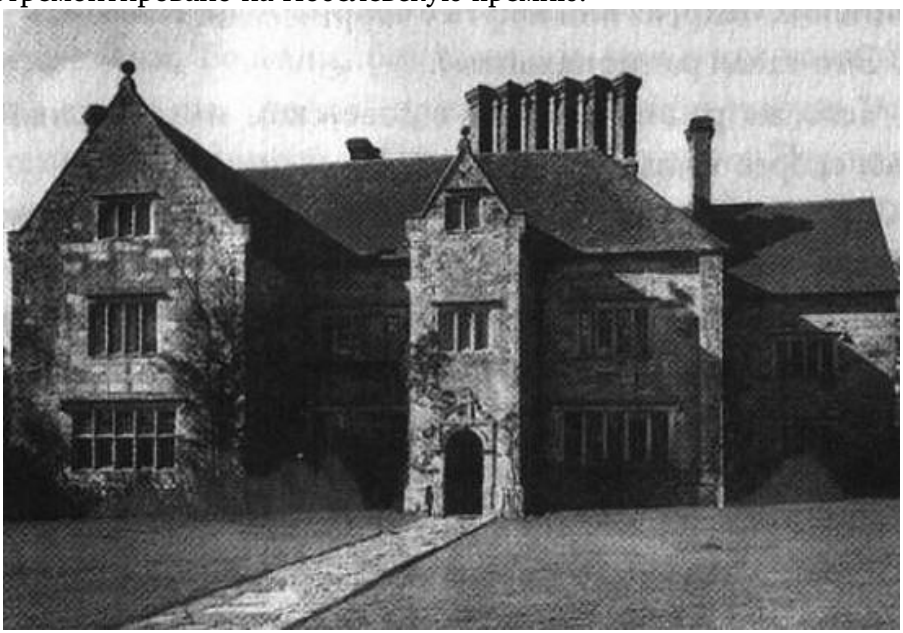
В литературной среде он был, по выражению одного из биографов, «кузнецом среди ювелиров». Даже после Нобелевской

премии (1907) он считался писателем либо для детей, либо для солдат. Про его тексты говорили, что это «самая пошлая и скотская писанина нашего времени». Вирджиния Вульф называла киплинговский энтузиазм по поводу империи «озабоченностью шумного ребенка» и недвусмысленно давала понять, что сомневается в его ходульных имперских типах, да и в империи вообще, — существует ли все это за пределами его произведений? «Действительно ли взрослые люди играют в эту игру или, как мы подозреваем, мистер Киплинг выдумывает всю эту Британскую Империю, чтобы скрасить одиночество у себя в детской, результат в любом случае выходит неплодотворный и угнетающий». Его экзальтированные гимны империи выглядели анекдотическими. У Бирбома была любопытная карикатура: толстый мужчина джон-булловской наружности пялится на маленькую, одинокую буддоподобную фигурку Киплинга, сидящую на корточках на высокой полке как украшение. Элиот сообщает, что в серьезных литературных кругах он был даже не анафема, он просто не обсуждался. Элиот же говорил о его произведениях как о «поэзии красноречия», убеждающей не доводами рассудка, но экспрессией. Не вытереть о него ноги считалось едва ли не дурным тоном. «Киплинг, — писал Роберт Грейвз, — великий человек в самом традиционном смысле… — он заурядный, традиционный, предмет массового восхищения, и спор о нем не более продуктивен, чем о дизайне почтовой марки. Великолепные критики прошлого выяснили это уже давно. Нет смысла пародировать его; все равно его самого не превзойдешь. Нет смысла предполагать, что он не настоящий поэт; это стало популярным общим местом с 1886 года. Нет смысла предполагать, что он не может писать прозу: он может, не хуже любого француза. Абсолютно неверно говорить, что читать его невозможно; собрание сочинений Киплинга имеет определенное зловещее очарование для читателя, особенно читателя, поправляющегося после гриппа. Это как подшивка „Панча“: перечитываешь и перечитываешь. И, наконец, он — литературный аспект Британской Империи, единственный возможный литературный аспект этой непростой организации, к которой даже самые великолепные критики неизбежно принадлежат». Наконец, Эдмунд Уилсон припечатал его в 1940-х следующим образом — «The Kipling That Nobody Read»; ну да, все то же самое, «я, честно говоря, ни одного произведения Александра Андреевича не читал».

На самом деле, их гимны империи — и представления о бремени солдата империи — совпадают в лучшем случае в

мелодии, но не в содержании. Для Киплинга белый человек несет миру цивилизацию: железную дорогу, канализацию и телеграф, — для Проханова красный человек, осуществляя колонизацию территорий, несет скорее «семена красного смысла», чем блага цивилизации, и, что важнее, тренируется перед будущими бросками сам — нацеливаясь на освоение Луны, ближайших планет Солнечной системы, времени, пространства и, в конечном счете, на качественное изменение собственной природы: экспансия — способ достигнуть бессмертия. Экспансионистский масштаб Киплинга гораздо скромнее прохановского: Киплинг говорит всего лишь об империи, над которой никогда не заходит солнце — а Проханов об империи, где никакого солнца нет, а есть только человек, человек, человек.

Оказавшись в Сассексе, я не смог не завернуть в киплинговское поместье «Бейтмен» — раз уж я уже был в прохановском Афанасове — любопытно было сравнить материальные эквиваленты компенсации за «бремя». Я увидел трехэтажный дом XVII века, с шестью высокими, как у «Авроры», трубами на крыше — идеальное гнездо для привидений, которые, возникни у них такое желание, могли бы также побродить по большому, с искусственными водоемами, парку или спрятаться на мельнице; все это было куплено на военное жалованье и отремонтировано на Нобелевскую премию.



Дом Киплинга в Бейтмене.

Можно сколько угодно говорить о том, что все империи по сути одинаковы и выстраиваются благодаря импульсам,

имеющим схожую природу, но тут очень наглядно видно, насколько разные культуры представляют эти пассионарии. Если в Британии активное участие в экспансионистском проекте империи позволяло тебе приобрести некое количество красоты, то в России, напротив, в качестве компенсации тебе позволялось некоторое количество красоты испортить — вырубить сколько-то сосняка, чтобы построить на его месте несколько кирпичных коттеджей, покрытых шифером и обнесенных забором из сетки-рабицы. Соответственно, и «империи» Киплинга и Проханова, по сути, совершенно разные: одна с четким центром, ориентированная на земную жизнь, другая — разлитая в пространстве, ориентированная на будущее бессмертие.

Однажды, после того как мы обсудили его кампучийские приключения и разговор наш принял характер более отвлеченный, я спросил у Проханова, что, собственно, такое империализм.

— Империализм значит, что ты можешь черпать алмазы из намибийских недр, качать нефть с территории, вывозить невольников. Это такая рациональная…

— Чего же рационального в советском империализме? Он ведь был скорее трата, чем прибыль.

— Советский империализм был некоммерческий империализм. Нельзя сказать, что мы вычерпали, а что вложили. Смысл советской империи — это не только геополитика, но и идеология. А идеология — сколько она стоит? Стоит ли чего-нибудь? Или: сначала дорого, а потом обесценивается. А создание такой глобальной советской идеологической империи, мне кажется, это колоссальный политический опыт, он будет освоен в дальнейшем. Как там происходило, все закрашивалось в красный цвет, и что это за экспансия… Китай — красный цвет. Вся Африка была наполовину красной. Красный цвет плескался в Европе и в Америке. Что это за явление? Была ли это конструкция Сталина, или эпидемия красного вируса, или так распространялись вообще идеи в мире, как христианство, как внутри католичества — лютеранство? Или это такое движение народов? Кто двигается — народы протаскивают идеологии или идеологии сначала — а потом войска, и переселяются народы? Это все очень интересно.

Конечно, в красной империи было очень много сермяжного, глупого, чиновничьего и неинтересного. Эту империю строили не гении, а такие же чиновники от партии, от МИДа, от разведки… Посредственные или дурные люди. Но, тем не менее, происходило что-то таинственное, загадочное, когда эта волна начиналась, какое-то возбуждение колоссальное.

— Почему у вас вызывает такой восторг только советское — КАМАЗы в нигерийских джунглях, десант русских морпехов в Анголе, а не колоссальные рекламы, например, кока-колы? Тоже в своем роде красный смысл, та же экспансия.

— Если бы я родился, допустим, в Германии в десятом году, и вместе с фашистами, с группой «Центр», дошел бы до Кавказа и до Волги, может быть, восторгался бы этим. Или, может быть, если бы я был пиар-проектировщиком компании «Кока-кола»… Да, ты едешь по Африке, джунгли, нищая деревня с полудохлыми обитателями, болезни, без воды, но при этом какая-нибудь лавчонка стоит, там «пепси» продается, и какой-нибудь негр там голый стоит, обоссанный, и бутылку у рта держит. Это ведь тоже восхитительно — приобщение к величию американской цивилизации просто через глоток «колы»… И он делает это осознанно, он, может, копит все свои деньги, чтобы встать в позу плантатора и прополоскать себе горло, а потом еще, может быть, сплюнуть, хотя хочется проглотить сладкий этот напиток. Может быть… Все мегапроцессы не могут не вызывать восторг людей. Но судьба меня забросила именно в этот мир. Я был встроен в другие процессы. Я сам был участником этих процессов, во многом их придумывая, окрашивая, давая этим безымянным анонимным процессам имена.

— Как вам было не совестно охмурять ваших соотечественников, чтобы те погибали бог весть где, в какой-то чертовой пустыне, черт знает за что? Подкармливая советскую идеологическую машину, как вы решали для себя этот вопрос?

— Так же, как русские люди, которые погибали на присоединении Туркестана, Кавказа, Польши, вообще в имперских войнах — внутренних или внешних. Это ведь такая фигня, которая возникает именно в перестроечную пору — черт знает за что… А за что вообще можно погибнуть? Вот сейчас русские люди в Чечне за что гибнут? Это все бодяга. Русские или нерусские люди на войнах гибнут. А за что гибли, скажем, американские советники, которые приходили туда? А за что гибнут сейчас американцы в Ираке? Это национальные интересы страны, понимаемые адекватно той обстановке — социальной, геополитической, идеологической. Тем более, если бы я их посылал, а сам оставался здесь, в московских барах… Я всегда лежал рядом с ними, так же, как они, мог с ними погибнуть… Так что все это про то, что я мальчиков посылал, это такая омерзительная демагогия, что мы столько положили людей во Второй мировой, оказывается, не так надо было воевать. Что, царь положил меньше людей? Как еще нужно было добывать победу? Каким способом? Какая-то другая тактика, что не нужно было

штрафников, штрафбатов, реально, каким образом? Ну нет, это Сталин виноват в развязывании войны. Не было бы Сталина, не было бы Гитлера и т. д. Вечная дешевка. Но когда они сами становятся хозяевами Кремля, они этих мальчиков посылают на бой с той же легкостью, с какой посылал Брежнев. Так же Ельцин посылал в бой необученное нищее дырявое войско. Так что у меня, наверно, не было моральных сомнений — в этом смысле, я был черствый жестокий человек.

В Никарагуа происходит единственный, кажется, во всем прохановском творчестве гэг: фотограф Горлов, герой названного по строчке Заболоцкого романа «И вот приходит ветер…» (он же — «Бой на Рио-Коко»), поскользнувшись, шлепается в яму-ловушку для «контрас», скрытую деревянным макетом ракетной установки «Град»: «— Вы целы, Виктор? — Я первый, кто попался на вашу хитрость… Никогда не думал, что система „Град“ обладает такой разрушительной силой. <…> Эти волчьи ямы — гениальное изобретение вашего Генштаба, — пробовал шутить Горлов. — Каждый вечер нужно их обходить и вытаскивать застрявших морских пехотинцев. В конце концов, у американцев иссякнут людские ресурсы».

В Никарагуа было как везде: только что, в конце 70-х, одновременно с Афганистаном, здесь произошла революция. Только на этот раз — у южного подбрюшья США. Разумеется, к ней тотчас же проявили интерес американцы (устроившие экономическую блокаду) и СССР (помогающий коллегам оружием и советниками). Просоветской силой здесь были сандинисты, которые воевали против финансируемой американцами оппозиции — «контрас», которые базировались в соседних Гондурасе и Сальвадоре.

Этот самый Рио-Коко находится в Сальвадоре. Там действует Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти. И поскольку (эта причинно-следственная связь — версия Проханова) никарагуанская революция молода и в ней много энергии, то никарагуанцы лезут помогать Сальвадору, передают туда оружие, которое идет по советским поставкам в Никарагуа. Если американцы докажут, что мы снабжаем оружием один из их плацдармов в регионе, они введут в Никарагуа войска, и тогда СССР придется перебрасывать сюда полк ВДВ с Кубы, чтобы вступить в прямое столкновение, читай — Третью мировую. В свою очередь, никарагуанцев подначивали кубинцы, как Вьетнам Кампучию. СССР пытался сдерживать кубинскую экспансию, требовавшую все больше ресурсов.

Проханов был в Никарагуа трижды и вспоминает эту страну так, как обычные люди перебирают в памяти удачные поездки на Коста-дель-Соль.

Он увидел здесь настоящую молодую революцию — романтическую, такую, как на Кубе, но Кубу он не застал, «там уже все окуклилось». Он утверждает, что лица никарагуанцев были наполнены странным свечением: «Такое свечение бывает у влюбленных людей, а также у молодых матерей, когда они подносят к груди младенцев. Это свечение фиксирует фотопленка, и оно присутствует на русских фотографиях 20-х годов, изображавших солдат и рабочих, студентов рабфака. Природа этого света остается невыясненной, но, возможно, он связан с особым состоянием души, окрыленной Революцией».

Он не только гуляет по Манагуа, но отправляется в поход по болотам на территорию Гондураса, чтобы передать оружие в Сальвадор, к огромному вулкану — все это нелегально, пользуясь поддержкой местных полевых командиров, «команданте». Наблюдал картины морских столкновений никарагуанской береговой охраны с гондурасскими боевиками в заливе Фонсека. Там он участвовал в пресловутом бою на Рио-Коко — на атлантическом побережье, в болотах у индейцев-мискито, столкновении с контрас и гондурасцами.

Именно в Никарагуа — «Атлантик-кост, атлантическое побережье, то место, где живут уже не испанцы, а индейцы, их называют мискитос» — была сделана фотография, поразившая воображение культуролога Б. Парамонова: «Очень странная фотография: он снялся голым, в одних трусах. Проханов демонстрирует свое телосложение, надо сказать, неплохое. Это опять же вопль о недостающей любви». Может быть, — сам он комментирует свою наготу жарой: он только что вернулся из похода на Рио-Коко и теперь блаженствует на веранде, в трусах.

Не то чтобы он разгуливал в них за пределами своей гасиенды. Напротив, никарагуанцы подарили ему военную форму, в которой он и передвигался на машинах по стране. Ему запомнился этот камуфляж — «не наш суровый, а особый, латиноамериканский, кубинский, благородный, изящный. И я, помню, однажды появился в этом камуфляже в журнале „Октябрь“, где я был уже членом редколлегии, и произвел фурор, дал им всем понять, что я не такой уж простой парень, не стоит рассматривать мое появление в камуфляже как маленькую оплошность, что это серьезное дело».

Его возит Сесар Кортес — поэт и офицер сандинисткой армии. Днем они колесят по стране, а вечерами сибаритствуют,

попивая «флор-де-канья» — замечательный никарагуанский ром, который работающие здесь по контракту русские острословы переименовали в «хлор с Диканьки». Его статус фронтового журналиста и возможность задавать вроде бы наивные вопросы использовали посольские: давали ему с собой в качестве переводчиков профессиональных разведчиков. Он охотно помогал им. О том, что их интересовало, можно понять по заданию Белосельцева — оценить ситуацию, стоит ли СССР влезать туда с дополнительными поставками оружия и персонала. По его мнению, однозначно нет, потому что это значит втянуться в настоящую большую войну в Центральной Америке.

Соловей Генштаба в Никарагуа.

Одной из проблем Никарагуа было то, что страна этнически делилась на две части — испаноязычную и индейцев мискито, которые поддерживали «контрас». Бороться с ними можно было единственным — классическим — способом: интернировать.

Точно так же, Проханов видел это, в Кампучии вьетнамцы выселяли крестьян, которые могли стать базой для кхмер-руж, точно так же в Эфиопии правительственные войска вывозили

население из Эритреи, чтобы там не рекрутировались повстанцы, вот и в Никарагуа сандинисты вывозили индейцев, оставляя пустые города, что, впрочем, не относилось к Пуэто-Кабесас — центру индейской области, город на берегу Атлантики был наполнен краснокожими людьми.

В Пуэрто-Кабесас они приехали, чтобы продвинуться дальше, к Рио-Коко, где шли операции. Из Пуэрто-Кабесас группа, с Сесаром Кортесом во главе, выехала на трех новеньких «тойотах» — желтой, синей и зеленой. Предварительно они заглянули в арсенал — гигантский ангар, в стеллажах было складировано оружие. Каждый мог взять то, что ему по душе — как в Pulp Fiction, перепробовав множество вариантов, Проханов выбрал «галиль», израильский длинноствольный автомат, и гранаты. Усевшись в машину, он опрометчиво положил гранаты себе на колени. Сесар Кортес не одобрил этого способа перевозки и полушутя предупредил своего советского приятеля: «Алехандро, оторвет тебе яйца».

Сандинистская молодежь.

(В скобках заметим, что тетралогия, по крайней мере, в модернизированной версии, изобилует садистскими сценами: в «Сне о Кабуле» одного из персонажей долго пытают током, в «Охотнике» — сажают какой-то женщине на оторванный клещами сосок стаю сороконожек, в «Африканисте» мы присутствуем при

групповом изнасиловании пленного англичанина, в «Рио-Коко» наблюдаем за тем, как кому-то заживо отрезают ухо.)

Они ехали по холмам, покрытым соснами. Над ними пролетел старинный рамный самолет, показавшийся «Алехандро» «фоккервульфом». Это было прикрытие, но сандинистские авиалинии функционировали недолго, ближе к границе летать было уже опасно. В этот момент, рассказывает Проханов, он на секунду отвлекся и посмотрел на происходящее со стороны. Ему что-то это напоминало. Он на секунду закрыл глаза — зеленая, желтая, синяя — и тут же поймал аналогию. Потом он не раз декламировал своим знакомым:

Тойоты шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

То, что последовало далее, описано в романе «Бой на Рио-Коко».

В центре столицы — Манагуа — он нашел католический собор, который захватили в свое время сандинисты, взяли там в качестве заложников всю парламентскую сессию. Потом было знаменитое землетрясение в Манагуа, и собор был разрушен. По всему полю валялись разноцветные осколки витражей; он набрал стеклышек и привез в Москву, чтобы, как обычно, вставить потом в свои самодельные светильники из консервных банок. Еще сувениры из Никарагуа — два чучела маленьких крокодильчиков и индейская свистулька, издающая жалобные, отчетливо латиноамериканские звуки, очень маркесовский предмет.

(Вообще, Белосельцев — очень латиноамериканский, из тамошней, как будто, литературы герой: армейский человек, генерал или полковник, испытывающий после свержения диктатуры психологический слом, чувствующий себя, как рыба на суше, и раньше прочих ощущающий оборотную сторону свободы, ее последствия, когда из-под цивилизации начинает переть древний хтонический фольклорный ужас.)

Горлов (Белосельцев) не просто так сваливается в яму, ушибив себе конечности, он попадает в госпиталь, где влюбляется в русскую медсестру Валентину. Та недолго строит из себя недотрогу и уже ночью приходит к нему в гамак. «В романе, — оттаптывался на своем любимом писателе все тот же язвительный критик Матулявичус, — изобилуют примитивные описания интимных отношений главного героя, фотохудожника Горлова, с

работающей в Никарагуа советской медсестрой Валей, ничего общего не имеющих с главной темой произведения, но претендующие на осмысление роли художника в современном мире… Откровенный цинизм и эгоизм героя, нравственная нечистоплотность оправдываются его преданностью делу. А чтобы читатель не воспринял все эти как бы заурядные любовные приключения, автор то и дело привносит в интимные отношения изрядную дозу местной политической экзотики: „…Она появилась так внезапно и тихо, что ему показалось: она вошла сквозь закрытую дверь.

— Наконец-то! Так тебя ждал!..

— Раньше никак не могла. Собираюсь в Манагуа, сопровождаю субкомандante Мануэля.

— Вместе едем. А когда на Атлантик-кост? В Пуэрто-Кабесас когда?“

Стиль часто становился темой наших разговоров. Несколько раз я нетактично и даже безжалостно говорил ему: ну что ж вы такое писали, смотрите, что тут у вас — рассказ „Проводы“: „Стареют бойцы-ветераны. Уходят на покой командиры. Меняются виды оружия. Но армия — всегда молодая. Вам доводилось гулять на солдатских проводах в среднерусском селе?“. Чистый ведь Сорокин; а все эти ваши парторги и директора заводов, обменивающиеся монологами о необходимости поднятия целины, долге перед будущими поколениями, воспоминаниями о прелести отечественной природы и нежных руках бабушки? Почему он, будучи, мы видим это иногда, в состоянии воспроизводить самые разные типы письма, остановился на том, который чаще всего кажется „типично советским“?

Проханов ни разу не смутился и каждый раз отвечал примерно одно и то же: в тот момент такого рода куски вовсе не выглядели стилистически скомпрометированными, вы переносите свои более поздние представления на мои тексты тех лет.

В самом деле, что значит „советское“ литературное произведение? Реалистическое по форме и соответствующее официальной идеологии по содержанию? Да, в таком случае Проханов — „совпис“, но это определение явно слишком широко, пропадают нюансы, такие важные в прохановском случае. Да, его тексты можно было использовать в пропаганде советских ценностей, и их лояльность существующему строю была несомненна — но Проханов, в идеологическом смысле, всегда скорее играл на опережение, чем озвучивал официальные идеологемы.

То, что мы понимаем под определением „стилистически

советский“, сейчас — скорее синоним слова „сорокинский“ — в том смысле, что — тот, который знаком широкой публике уже не столько по подлиннику — Бабаевскому, Чаковскому и Шевцову, сколько по сорокинской „Норме“ и „Первому субботнику“: старательно составленная, исполненная мажорного пафоса агитка с претензией на психологизм, очень наивный, чаще всего патриотической или производственной тематики: картонные персонажи, ходульная интрига, облеченная в неправдоподобные монологи и диалоги идеология.

Да, по некоторым признакам прохановские тексты совпадают с советским каноном — и, в принципе, укладываются в него, но по сути у них другой генезис. Прохановский „советский“ стиль, если к нему приглядеться, окажется не продуктом мутировавшего „советского“, а синтезом из совсем других литературных практик, несколько подогнанных под советский норматив.

Однажды я спросил его, как он искал свой стиль. „Я изживал из себя чужие стили. Это была пора, когда были два поветрия, две заразы: сначала тотальная хэмингуэевская, а потом вслед за ней пришла платоновская. И все писатели, молодые особенно, писали: „Да“, — сказал старик; „Нет“, — сказал старик; „Да“, — сказал Сэм; „Нет“, — сказал Сэм“. Так же и журналисты, и во всех кабинетах висел портрет с бородой. А потом пришло таинственное платоновское косноязычье, которому тоже стали все подражать. У меня был знакомый, старше меня, писатель Радик Погодин, ленинградский писатель, он был подмят Платоновым. И, естественно, я, как молодой человек, нес две эти проказы. Я прекрасно понимал, что это заразы, и изживал их из себя, выдавливал — сначала Чеховым и Буниным. Потом, когда ко мне, очень рано, попал Набоков, я поддался и прельстился — и, излечиваясь от Хэмингуэя и Платонова, заразился Набоковым».

> «С Набоковым я расправился еще более жестоко, чем с Платоновым, — фольклором. Это была пора, когда я страстно увлекался фольклором: собирал песни, изучал тексты, старые тексты — Даниил Заточник, „Слово о полку“, „Задонщина“. И вот эта вся мистика, не только языка, а мистика пластики, прялки, игрушки, вся эта стихия, где метафора создавалась через энергию, через экспрессию поведения художественного, — это меня излечило от Набокова. Мне кажется, вкус к метафорам родился из борьбы Набокова с русскими народными песнями, хлыстовскими стихами».

Как видим, сам он вовсе не чувствует себя «советским» в стилистическом отношении. Основные образы — деревья, хлеба,

красные птицы — Проханов берет не из монументальной советской пропаганды, а напрямую импортирует из фольклора.

Таким образом, его «советские» романы были, до известной степени, авангардными произведениями, с набоковскими метафорами, с фольклорной системой образов, насыщенными лефовским техницизмом. С официозом своего времени Проханов соотносился, как «лефовцы» — с большевиками 20-х годов. Для 70–80-х инакомыслие слева — нехарактерная культурная коллизия, однако в случае с Прохановым она была реализована. Для нормативной советской литературы Проханов был то же, что Куба, Вьетнам и Никарагуа для СССР: ходячее — пускай и невысказанное — обвинение в ревизионизме.

Безусловно, прохановские «яркость» и «энергетика» связаны с некоторыми стилистическими издержками в сфере «художественности», его можно упрекнуть в однообразии композиции, недоработанности некоторых образов, избыточности, повторах, немотивированном повышении тона до патетичного, злоупотреблении экзотизмами, неестественных или по сути состоящих из обмена монологами диалогах. Но это — издержки генезиса: журналистики, а не идеологии. «Советскими» кажутся прежде всего журналистские куски — быстро писанные, сделанные в среднестатистическом формате и стилистике периодики того времени, и, да, у Проханова, в очерке, правда, не в романе, можно найти и пассаж про «закваску», которую «получит сегодня ученик средней школы» и от которой «зависит его дальнейшая способность получать образование».

Возможно, эффект советскости — это вообще всего лишь стилистический шлак, побочный продукт, образующийся при плавке фольклора с Набоковым. Это особенно хорошо видно по названиям его первых книг — «Иду в путь мой», «Желтеет трава», «И вот приходит ветер», «Время полдень». Сейчас на всех этих словосочетаниях чудовищный отпечаток советскости, а на самом деле это цитаты из совсем других культур.

Мир советской литературы строится на системе внутренних табу; мир прохановских производственных романов — внешне похожий на нормативный советский — скорее, на нарушении традиций. Соответственно, у них разная реакция на провокацию сорокинского типа. Действительно ли взорвется мир прохановских героев, например, в «Месте действия» или «Африканисте», если здесь случится некая «сорокинщина» — акт людоедства, копрофагии или копролалии? Не факт, у этих романов достаточно высок запас прочности, чтобы выдержать подобного рода землетрясения. В конце концов, все эти футурологи, художники, журналисты и фотографы и так ведут

себя достаточно странно.

Это может кому-то не нравиться, но так или иначе Проханов — наследник авангарда 20-х годов, последняя волна взрыва, произошедшего в начале века. Это писатель, всегда выполнявший литзадачу модерниста — распашку целинных ресурсов литературы, представитель своего рода литературного казачества — если считать делом казачества освоение и охрану дальних рубежей.

Да, он часто слишком спешил, по-журналистски, и выполнял свою работу не вполне аккуратно, экстенсивно. Еще чаще он оставлял куски нормативной советской стилистики, репортажного, не режущего по тем временам слух, чтобы они обрамляли «пассионарно-прорывное». Это нормативное, инерционное — фон, усредненный очеркистский стиль эпохи, которым он позволял себе пользоваться в спешке, но не более того. Однако со временем то, что было футуристическим, выцвело, а нормативное стало выглядеть чудовищно — оно и бросается теперь в глаза, и теперь считается, что сама тема «стиль Проханова» едва ли не анекдотическая: даже если предположить, что он не графоман, то уж во всяком случае — «типичный номенклатурный совпис». Это неправда.

На самом деле, он и до сих пор ищет стиль, который может его выразить; и он так и не нашел этот стиль. Это не идеальный результат для писателя, которому под семьдесят, но и не повод дисквалифицировать его как «вечного совка».

Да, высокопарность, энтузиазм, часто экзальтация и несдержанная энергетика; будьте уверены, если его тяпнет за ногу собака, то называться это будет не иначе как «мой страшный контакт с биосферой»; ну так overstatement — не грех для русского писателя, поскольку российская литература по своему традиционному психотипу именно истеричная, надрывная и пафосная, и не следует ждать от Проханова, что он будет писать как Чехов или Барнс, — вполне достаточно того, что он владеет искусством understatement в его устном варианте.

Любопытную сцену находим в романе «Крейсерова соната»: персонажи оказываются в ресторанчике «Рюмка водки». «Среди посетителей выделялся писатель Сорокин, автор нашумевшего текста „Мерзлая вода“. Тут же восседал грузный Проханов, весь увешанный мешочками, на которых химическим карандашом было выведено, где сахар, а где гексоген. Сорокину подавали на тарелке заказанное им блюдо, напоминавшее баварские колбаски, политые томатным соусом. Однако пахли они далеко не копченостями». Странная сцена, отражающая изумление

Проханова от того литературного контекста, в котором ему пришлось оказаться.

Контакт кажется удивительным, встречей антиподов, однако эти двое вот уже много лет стремились к точке сближения. Пока в 1979-м Проханов издает «Место действия», Сорокин уже читает Монастырскому «Норму». Если в 70–90-е Сорокин казался могильщиком Проханова и всей литературной традиции, якобы с ним связанной (трудно после «Нормы» без смеха читать «Место действия»), то в нулевые выяснилось, что оба совершенно не желают оставаться исключительно фронтменами литературных направлений, которые к ним пристегивают, и оба продолжают ходить по кромкам с неодинаковым успехом (и трудно читать после «Надписи» претенциозно-многозначительные «23000» без слез). Похоже, на длинной дистанции Проханов если не обошел Сорокина, то, во всяком случае, вырвался из-под этой зловещей тени, преодолел гравитацию этой колоссальной черной дыры. Наоборот, энергетика пробилась через свинцовый кожух сорокинского скепсиса. Разумеется, речь идет о восприятии со стороны: сам Проханов едва ли ощущал себя когда-нибудь участником этого единоборства.

Вернемся в Никарагуа, где фотохудожник Горлов к середине романа уже готов бросить разведку и уехать со своей Валентиной не то что в Пуэрто-Кабесас, а в деревню, в Карелию. Однако, явившись в посольство, чтобы сообщить о принятом решении, он получает приказ ехать на Рио-Коко, там, на Атлантик-кост в болотах у индейцев-мискитос, происходит столкновение с «контрас» и гондурасцами. Вместе с Горловым мы штурмуем базу «контрас» и уже радуемся было разгрому американских наймитов, но тут оказывается, что к нему выехала Валентина и ее убили по дороге.

В конце 85-го Проханов заражается на берегах Рио-Коко тропической малярией и невыносимо тяжело, с температурой и бредами, болеет аж до апреля, до самого Чернобыля.

> «Сан-Педро дель Норте — городок на самой границе. Это поразительной красоты маленький, крохотный городок, сложенный из камней на огромных тектонических плитах. С кампаниллой, католической церквушкой. И когда я оттуда уезжал, ручей, а через ручей эти большие, огромные синие горы, лысые сверху, и по кромке редкие деревья. Мне нужно было уезжать, и я положил на счастье в расщелину одного гигантского

> камня монетку, не то советскую, не то никарагуанскую, и думал, что я уже никогда не увижу ни этих желтых цветов, ни этих синих гор, ни тропинок, ни этих деревьев. И через полтора года я опять сидел у этих камней и вытащил свою монетку. Было так странно, что среди этой огромной планеты, гигантского, космического, летящего мироздания, можно было пролететь полконтинента и опять найти эту крохотную точку, эту крохотную монетку. Это меня поражало — можно не промахнуться и, поднимая монетку, опять увидеть тот же контур горы, тот же вид этих лысых деревьев, ту же песчинку. Странная жизнь».

Феномен «Горящих садов» определенно феномен того же рода, что «Бондиана», — цикл произведений, появившихся на закате Британской империи. Все четыре романа о Белосельцеве имеют отчетливое сходство с флеминговскими историями про спец-агента Бонда. Сконструированные внутри другой, разумеется, беллетристической традиции, они тоже, по сути, построены на формуле, включающей в себя неподкупного героя-гедониста, сцену инструктажа вначале, встречу со злодеем (Маквиллен, Дженсон Ли), экзотической красавицей, поездку-задание и миссию спасти мир от мировой войны. Белосельцев — такой же продукт газетных заголовков своего времени, как и Бонд. Существенное отличие «Горящих садов» от «Бондианы» состоит не в более скромном бюджете сериала (ну да, Бонд выезжал из моря на «Лотусе», Белосельцев — на боевой машине десанта), а в сути. Белосельцев отправлен в поход не столько разведкой, сколько Богом. Вместо арсенала, предоставленного Q, главное оружие русского шпиона Белосельцева — ресурсы его души, способность галлюцинировать, плюс, не смейтесь, набор сувениров — значки, ручки, водка, открытки с видами Москвы. И если герой Флеминга за столом рассуждает о достоинствах шампанского и белужьей икры, то Белосельцев произносить пламенные монологи о любви к государству, с распадом которого, собственно, востребованность этих «Садов» резко пошла на убыль.

Едва ли можно прогнозировать, что Проханова, даже при его нынешней рейтинговости, ждет такая же мировая слава, как Киплинга, — но и вряд ли от «Горящих садов» ничего не останется. Этот пепел имеет свою цену, в том числе очень практическую: эти тексты — идеальный материал для сценария сериала про советского Индиану Джонса, советского Киплинга, советские «длинные» 70-е, про еще одну «великую эпоху», каких в

истории России было слишком немного, чтобы запросто отказываться от них.

Глава 14

СССР после Брежнева. Ужины с «московскими великанами». Мечты о генетическо-бактериологическом оружии.

Чернобыльский взрыв. Воцарение радиоактивного пророка непосредственно в доме у Проханова.

Будни ликвидаторов. «600 лет после битвы». Бунт прототипов

Однажды, в начале 80-х, в программе «Время» показали репортаж из Кремлевского дворца съездов. К декорированному красным кумачом заднику приколот бумажный профиль Ленина; камера надолго задерживается на геронтократах в президиуме (это был очередной юбилей Союза писателей), наезжает на секунду на стакан воды докладчика в тот момент, когда тот цитирует генсека. Ближе к концу репортажа, когда идеологическая компонента уже отработана, а ордена вручены, оператор панорамирует зал, и несколько мгновений зритель может наблюдать целый ряд, состоящий из хохочущих мужчин, резко контрастирующих со своими соседями: демонстрирующий мелкие зубы кореец, крупный зуброобразный славянин, бородач с ясно-бездонными глазами. Рядом с корейцем можно увидеть необычно загорелого мужчину, с черными волосами почти до плеч: он улыбается только глазами. Это Проханов, он только что прилетел с берегов Лимпопо и сразу из Шереметьева рванул сюда, сильно опаздывая. А смеются они потому, что, плюхнувшись рядом с Кимом, он тотчас же спрашивает, знает ли тот, где у женщины находится аппендикс? «Где?» — спрашивает простодушный Ким. Маканин, Орлов, Крупин и другие «сорокалетние» уже прислушиваются к разговору. «Как войдешь, так слева…»[9]

«Это был такой диссонанс официозу», — комментирует казарменную остроту своего приятеля Ким, мемуарист. Официальные органы, надо сказать, пропускали такого рода диссонирующие ноты мимо ушей. К лету 1981-го Проханов уже член правления Союза писателей СССР, он выступает на 7-м съезде, и стенограмма публикуется в «ЛГ» с фотографией автора. У него великолепный доступ к публикациям — «ЛГ», «Правда»,

«ЛитРоссия», «Октябрь», «Знамя», «Сельская молодежь», «Юность», «Молодая гвардия». Он сближается с главредом «Знамени» Вадимом Кожевниковым. Они много времени проводят вместе, и тот прочит его чуть ли не в преемники. Не только он. Однажды ему присылает личное приглашение к себе на юбилей сам Шолохов — «к удивлению всего секретариата, всей партийной элиты, номенклатуры, которые все чаяли туда попасть». Шолохов, бывший для советской литературы тем же, что Толстой для русской интеллигенции, — кумиром, живым воплощением литературоцентризма, моделью писательского успеха, популярности и влиятельности, — давно его интересовал. Он видел его однажды на приеме в Кремле, среди обожателей, и остро почувствовал магнетизм этого «невысокого изящного человека с веселыми голубыми глазами». Писатель был единственно возможным в советской империи вторым центром, и вместе с генсеком они, «как электроды, опущенные в раствор, управляли пространством, соперничали между собой, перетягивали друг к другу заряженные частицы» («Надпись»).

И вот этот человек пригласил его на свой юбилей, прислал в Союз писателей письмо, где отдельной строкой был упомянут Проханов, которого он хотел бы видеть. Для читателя с хорошим воображением это выглядело так, будто умирающий вожак стаи выбрал наследника. Не понимая, как такое может быть, Проханову позвонили из аппарата СП, сообщили ему о требовании Шолохова, и они поехали в Вешенскую. В купе были писатель Михаил Алексеев, главный редактор журнала «Москва», и Егор Исаев, поэт, лауреат Ленинской премии. Они делали вид, что ничего особенного не произошло, и мирно пили с ним водку, но иногда посматривали на него «как-то диковато», поскольку тот нарушил табель о рангах. Что он там делал? «Я, например, видел, как скворец перелетел через ограду шолоховского дома. Я шел по берегу Дона…» Ok, а Шолохов-то? «Когда я оказался на юбилее, я увидел маленького человечка, ослабевшего, ничем не напоминавшего рубаху-парня, с таким сахарным запястьем, которое вот-вот должно было обломиться, он молчал, а вокруг него бушевали гигантские мужики: секретари обкомов, генералы, налитые коньяком, гемоглобином, директора атомных заводов, начальники округов, все мечтали с ним чокнуться. У него уже были кризы гипертонические, он уже умирал, и он просто молчал и так держал рюмочку. Как такой Будда. Они все теснились, я все боялся, что они его затопчут, слоны. Я издалека смотрел. Просто стоял и пил коньяк. Вдруг ко мне подбежал Верченко (секретарь СП по организационно-творческим вопросам. — *Л. Д.*): ты чего не идешь? Я последним подошел и чокнулся. Видел его глаза,

наполненные слезами. Больше ничего, ни слова. Но тем не менее это был знак».

В самом начале 80-х Союз писателей предоставляет Проханову — «за мои военные подвиги» (улыбка) — жилплощадь на Тверской, где раньше квартировал Ираклий Андроников, а до него Исаковский; в начале нулевых ее посетит писательница Козлова и при осмотре найдет еще несколько поводов вытереть о Проханова ноги в своем романе «Открытие удочки». В тот момент самым наглядным образом происходила ротация писательских элит: Союз писателей СССР построил несколько домов для писателей в районе проспекта Мира, и недавно обласканных государством литераторов селили туда, в стометровые квартиры. Сталинские территории — дом на Тверской и в Лаврушинском, наоборот, освобождались. Их предоставляли писателям, которые были с точки зрения тогдашнего Союза самыми перспективными.

С балкона этой квартиры в день похорон Брежнева они наблюдали траурное шествие. Андрей, младший сын, которому тогда было лет десять, стоял рядом с отцом и, по его словам, поинтересовался, хорошим ли человеком был Брежнев, на что Проханов якобы ответил: «Он был плохой менеджер» (слова «менеджер» Андрей не знал, и ему показалось, что отец произнес «рэйнджер», поэтому долгое время крушение империи в его сознании связывалось с недостаточной компетентностью Брежнева в качестве рэйнджера).

С чем связана была для него смерть Брежнева? «Ничего такого из того, о чем теперь говорится. Было некое возбуждение, любопытство: меняется строй, люди новой формации. Я до сих пор помню репортаж о его погребении с Красной площади: последнее, что показали, — камера ушла от могил, она взяла башни кремлевские и множество ворон, черных, страшных, и некоторые летели очень близко от объектива — и вот эта метафора мне запомнилось, такие знамения — древние, библейские, как затмение Солнца. Но мы же тогда все были достаточно ироничны, никакой апологетики Брежнева не было, все устали от этого».

Да, он рассказывал анекдоты про Брежнева, другие хохмачи пародировали генсека, «чувствовалось, конечно, что идеология — точнее, агитпроп, который транслировал эту идеологию мертвым малоинтересным языком, — стух, он не понимал, в чем красота государства советского, не мог ничего предложить. Я думаю, если б он заговорил языком Хлебникова, если б он вернул такие термины, как „будетляне“, если б возник авангардный подход, стимуляция в человеке грядущего, а не настоящего, то это был бы выход для определенной части интеллигенции. Я даже думаю, что

их диссидентство — скажем, Евтушенко, Вознесенского, — заключалось в том, что они хотели очеловеченного социализма, одухотворенного коммунизма, с человеческим лицом. И если бы агитпроп предложил им эту коммуникацию — не им даже, а стране в целом, — то они бы из диссидентствующих превратились в социалистических лидеров. Так что смерть Брежнева не была, для меня во всяком случае, ударом».

Примерно в это же время, 81–82-е годы, ему предлагают вести в Литинституте творческий семинар для молодых писателей. Он соглашается, ему лестно, особенно потому, что он вернулся «в те же помещения, где молодым робким человеком разливал чай из самовара профессорам — теперь уже как кумир, как мэтр». Он посвящает этому полтора года. «Один выпуск у меня был целиком, второй наполовину, Киму передал. Я был входящим в силу, в моду писателем, меня пригласили вести этот курс. И для меня это был интересный опыт: молодая аудитория, я любил витийствовать, я любил их очаровывать».

— В каком жанре проходили семинары?

— Их было пятнадцать-семнадцать человек, они приносили свои творения, рукописи. Я их брал домой, говорил: такого-то числа мы слушаем такого-то. Все говорили, и потом я делал резюме. Я был авангардным человеком, старался в их упаднический, минорный дух втолкнуть авангард, государство, строительство, волю, сопротивление, технократизм. А у них все тексты были абсолютно декадентские.

Можно только предполагать, какие чувства он вызывал у этой публики. Это самые горячие для него годы, он не вылезает из боевых походов — Афганистан, Никарагуа, Ангола, Кампучия (впрочем, он и сейчас, посиживая на печи, очаровывает всех, кто может пользоваться его обществом). Может ли он оценить степень своей популярности? «Потом эти семинаристы встречались со мной, говорили, что были благодарны мне не за методику, а за энергетику; эта энергия, экспрессивность была им очень важна». Очень похоже на правду. «Еще что? Там были обожанье, студентки, молодые барышни, все такое. Святая тайна. Мне этот период нравился. Мне нравилось щеголять, властвовать умами, царствовать… Потом я проговаривал какие-то вещи… речь шла о стилистике, о методике, как сочетать сказуемое с подлежащим, что такое образ, как создать метафору, тогда у меня были определения на все это, это было необходимо. Я импровизировал, я создал свою сиюминутную теорию изящной словесности. Все было пропитано обожанием, восторгом, эти вещи говорились не всему семинару, а кому-то одному из них. Эти обсуждения побуждали меня рассказывать о психологии моего собственного

творчества. Я рассказывал, как пишется роман, что в романе есть несколько биофизиологических фаз, которые испытывает на протяжении всего писания художник».

«К этим семинарам я не готовился — импровизировал. Меня провоцировала среда, люди. Это всегда было интересно. Там много было бреда, открытия не абсолютные, а сиюминутные, они не пригодились, но хороши были тем, что это была кухня отдельно взятого художника, абсолютно несъедобная для моих слушателей. Никто ею не воспользовался. Я же был белой вороной». — То есть учеников так и не возникло? — «Ни у кого нет учеников. Случайное соприкосновение преподавателя с аудиторией. Учителями становятся через несколько поколений, возникает ощущение школы». — Я полагаю, у Битова есть ученики. — «У Битова? Кто — назови. Битова можно воспроизводить только на уровне дохи».

Может ли он вспомнить что-нибудь о литинститутском образе жизни? «Очень часто мои ученики попадали в какие-то истории, какие-то пьянки, их выгоняли, я ходил к ректору, хлопотал за них. У меня было ощущение гнездовья, куда я отложил много яиц, из которых вылупилось много птенцов. У меня были сердечные отношения, молодая аудитория. К сожалению, как ни странно, эти люди не состоялись. Из моих семинаристов пробилась только одна Света Василенко. Как всегда с зернами — одно падает на камень, другое склевывает птица. Видимо, очень большой в природе отбор среди художников. Много званых, но мало избранных. Быть художником — это марафон. Вбрасывается огромное количество людей, и на разных этапах происходит непрерывный отсев. В моем поколении мало людей бегут со мной рядом. Хотя, может быть, я лежу на канапе, а дорожка бежит. Представляете? Четырехногое канапе! Иноходью. А я, как Артем Троицкий, лежу и курю кальян».

— В поздних романах вы утверждаете, что приход Андропова был победой кагэбистского клана над партийным. Вы уже тогда понимали подоплеку этой борьбы внутри советских элит?

— Я не мог ее не понимать, потому что находился в кругу политиков, военных, ЦК, разведчиков. Я понимал, что приход Андропова в Кремль — это огромная победа разведчиков, КГБ. Уже тогда складывался миф об Андропове. Говорили, что все эти годы, проведенные на посту КГБ, он очень много читал, много времени посвятил изучению истории, и его приход должен привнести в этот застойный, тухлый, мистически неоформленный организм динамику, все ждали открытия. Но вместо открытия начались эти дисциплинарные штучки — отлов пьяниц,

тунеядцев, дурь такая, — и потом очень быстрая смерть. Геронтократическая репутация Кремля только усилилась. А при назначении Черненко все поняли, что речь идет о каком-то глубинном маразме. И приход Горбачева все восприняли с огромным энтузиазмом, пока мы все, и я в том числе, не почувствовали обвальные тенденции. Они были в основном связаны с тем, что потом называлось потерей управляемости.

— Когда вы почувствовали, что страна захлебывается?

— Окончательно — когда войска стали выводить из Афганистана, году в восемьдесят шестом. До этого тоже были симптомы. Чернобыль и Афган — два крупных поражения — были началом конца, но ни они, ни травля, которая вокруг меня развернулась, не вызвали у меня ощущение катастрофы. Я почувствовал катастрофу, когда возник Карабах, когда начался демонтаж политических структур, когда открыто зашла речь о трансформации системы. Государство настолько одряхлело и настолько наполнилось суицидальными тенденциями, что оно само стало отгладывать от себя куски — то лодыжку, то ягодицу — и выплевывать, выхаркивать в народ, и народ доедал эти жеваные куски.

Когда им впервые был употреблен термин «застой»? — Им — никогда. — То есть «застоя» не было? — Был, но он не оперировал этим термином. «Застой был временем, с одной стороны, накопления огромных ресурсов, которые не знали, как реализовать. Бывает так, жиреет человек, тучнеет, а куда направить эти жиры, калории — не знает, нет работы настоящей. Скажем, если б была задача переселения Советского Союза на Луну или на Марс — все было бы понятно. По существу, эти накопившиеся богатства в первые три года после 91-го вывозили непрерывно, эшелонами, выкачивали, вся Европа жила на этих богатствах, на мозгах, на школах, на медицинских дарованиях, на музыкантах, на полиметаллах, на уране, на красной ртути. Богатства были накоплены, и их не знали, как реализовать, какой следующий суперплан. Целина уже была, хотели реки поворачивать, но… А социализм — это непрерывное улучшение социальности. Каждое поколение станков на заводе должно улучшать человеческие отношения, усложнять, дифференцировать. Вслед за модернизацией техники должна постоянно модернизироваться социальная среда, которая в этой технике работает, — и вот этого не стало, не было суперпроекта. С другой стороны, скопились противоречия. По существу, Советский Союз был заминирован двумя минами: первая — ожирение, которое не расходовалось, и вторая — шлаки, тромбы, болезни, которые тоже закупоривали жилы страны. Союз

взорвался, потому что одно детонировало от другого. Но я не оперировал термином „застой“. В ту пору я занимался больше накоплениями, чем противоречиями. Противоречия я оставил в мамлеевском времени, а потом переключился в миры, где создавались колоссальные машины, научные школы, возникали наукограды, такие, как Новосибирский академгородок, или Протвино, или серпуховские поселения вокруг циклотронов — вот что меня увлекало. И я все ждал великого социального проекта, который продолжил бы большой советский проект. Потому что коллективизация была проектом, индустриализация была проектом, война 45 года — тоже проект, Гражданская война и революция — проект, космос и атом — проект, экспансия советской империи на все континенты — проект, а дальше что? Следующего проекта не было — и страна остановилась».

— Сейчас это главная ваша претензия к Путину — отсутствие сверхзадачи?

— Да. Но я понимаю, чтобы эту задачу реализовать, необходимы огромные накопления — а все вывезено, квартира пуста, даже обои оборваны. Но сама задача должна быть сформулирована, и под эту задачу квартира должна быть наполняема мебелью, газ нужно подключить, водопровод, жизнь должна в ней быть. Так что я вовсе не смотрел на Советский Союз как на нечто обреченное. Более того, мне было неинтересно общаться с теми, кто спрашивал, доживет ли Союз до тысяча какого-то года. Я их избегал, они мне были неинтересны. И, поскольку я занимался апологетикой, я для них тоже был таким чудовищем, карьеристом, который продаст мать родную, для того чтоб получить очередной орден.

— А что это, кстати, за орден у вас вчера был в телевизоре, у Познера?

— Это меня наградил генерал Трошев крестом, черным золотым крестом за Чечню, который является точной копией царской награды времен кавказской войны.

Еще он мог бы приколоть к пиджаку Знак почета, орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, генеральскую звезду за службу в вооруженных силах, орден Сталина (изобретение Сажи Умалатовой), орден за защиту Приднестровья. Надевает ли он их куда-нибудь? «Надевал, когда на демонстрации ходил в День Победы». Планки или сами ордена? «Нет, чтоб все звенело, сверкало. Ну и в последнее время несколько раз надевал трошевский крест во время телевизионных программ, чтобы там Жириновский особенно не залупался, чтоб знал, с кем имеет дело…»

— А как вы в восьмидесятые предоставляли себе будущее, лет через двадцать?

— Мне казалось, что централизм должен сохраняться, но он должен был быть более и более просвещенным. Я был таким советистом. Мне казалось, что техносфера должна пропитываться суперзнаниями. Трагедия системы в том, что она перестала быть проектной, я это понимал. Мне казалось, что должны были быть созданы проектные институты. Скажем, тот же Фролов, Институт человека, должен изучать человека как космический объект. Дефектность централизма была в том, что явления, не подпадавшие под его понимание, он уничтожал. Скажем, что такое сталинизм? Сталинизм — это истребление тех явлений в обществе, которые не поддавались регулированию и управлению и как таковые мешали, не укладывались в рациональную схему. В дальнейшем, когда сталинизм уступил место хрущевизму, брежневизму, явления, которые не поддавались пониманию и управлению, не замечались. Не истреблялись, а просто не замечались. Это была пора накопления противоречий, неопознанных явлений в политике, в культуре. К этим явлениям у власти не было ключа, и они не подвергались осмыслению. А Горбачев просто всем этим закупоренным противоречиям дал выплеснуться на поверхность, возникла игра свободных сил, и она разнесла реторту, в которой они существовали. Я полагал, что будущее советского строя состоит в усложнении…

Каким бы проницательным он ни был, даже он не избежал иллюзий, связанных с перестройкой. Ему кажется, что «идеи, взгляды, открытия, замурованные в конформистском советском обществе, вырвутся на свободу и получат свое развитие, энергетический всплеск», произойдет «колоссальный взрыв наук, знаний, личности, общества». Это не означает диссидентства — скорее, он был настроен, как и его «Литературная газета», которая была газетой критики, но полагала себя газетой, помогавшей социализму эволюционировать, переходить из окостенелых, консервативных фаз в фазу движения, развития. «Я был человеком, который любил развитие, мне эта идея была близка, импонировала. И все в советском строе говорило о возможности развития, потому что сам строй был сформулирован как развитие».

Развитие не в смысле конвергенции с Западом, вы не найдете у Проханова гимнов Саманте Смит и Кате Лычевой. Он коллекционирует фантастические идеи вроде того, каким образом можно выводить в космос земную материю: поставить вокруг Земли по экватору огромные платформы-ускорители, соленоиды (проволочные спирали, по которым идет ток и

которые создают постоянное магнитное поле), которые, гоняя по огромной электрической спирали тело, придадут ему ускорение и выкинут в космос. Он публикует статьи, где призывает носителей накопленных, но не реализованных идей объявиться. Таким образом, например, он знакомится с ученым Лазарем Меклером, считавшим, что открыл тайну гена. Меклер пытался через прохановские связи в армии, Генштабе внедрить свои открытия на государственном уровне. Несколько раз они бывали в гостях друг у друга и за ужином мечтали о том, как армия, овладевшая тайной гена, получит в свое распоряжение генетическо-бактериологическое оружие.

В разговорах с друзьями-писателями он рисует грандиозные картины метафизического возрождения России. «Я проповедовал вторжение духа, мистического, светоносного, в государственную мегамашину. Мне казалось, что в государстве должно быть разрешено свободное вероисповедание и мистический русский космос сольется с механическим космосом Гагарина. Тогда уже я начал увлекаться федоровскими идеями. Я догадывался, что советский красный проект был на самом деле богоискательским, что это была религия, что он связан с теологией, что ущербно толковать советский строй как рационализацию труда, социума, достижение благосостояния… Нет, это была гигантская метафизика».

Ученый С. В. Солнцев, один из прототипов его романа «Ангел пролетел», вспоминает, как в сентябре 1984-го беседовал со своим коллегой (и тоже будущим прототипом) Спартаком Петровичем Никаноровым, и тот «сделал решительное заявление о том, что „нам необходимы свои писатели и поэты“». Через пару лет они наткнулись на статью Проханова в «ЛГ» ко дню Советской армии, 23 февраля 1987 года. «Яркий, напряженный голос этой статьи, ярко выраженная проимперская позиция были совершенно необычны на фоне серых, безликих статей этой газеты, да и других газет».

Это правда: в начале перестройки он разражается рядом публикаций, в которых писал, что нужны новые идеи и что они есть и нужно просто вытащить их на публику. Ученые-концептуалисты, в свою очередь, мечтали найти гуманитария, который дал бы выход их идеям, их энергии, выход не просто в специальную литературу, но и в широкую прессу. «Сразу же, — продолжает Солнцев, — возникло представление: „Это наш писатель!“» Позже Проханов говорил мне, что эта статья была «неводом» для ловли таких, как мы. Но «поймалось» мало, мы были главным уловом.

Как в свое время Лев Лебедев и Эйдельман, они сами вышли

на контакт и предложили встретиться. «Раздался звонок в моей квартире, они представились, сказали, что прочитали статью и хотели бы повидаться, и чуть-чуть себя аттестовали. Я же был очень любопытным, был и остаюсь. Это сулило мне встречу с новой областью знаний, с новым коллективом, и я не ошибся, потому что две книжки: „Ангел пролетел“ и „600 лет после битвы“ — это результат общения с ними».

«5 апреля 1987 года, — вспоминает дотошный Солнцев, — я впервые поговорил с Прохановым по телефону. В конце апреля он пригласил меня пообедать в ЦДЛ. За обедом я ему сказал, что фундаментальное открытие, позволяющее создать непобедимую империю, имеется. Оно состоит в поаспектном исследовании ее формы с последующим синтезом конструктивной теории, позволяющей спроектировать структуры и деятельность госаппарата, государственных организаций в соответствии с имперскими целями. Проханов что-то почувствовал, начались контакты».

Откуда они взялись, эти «концептуалисты», про которых он в конце 80-х напишет два романа? «Это выглядело так. Были лаборатории, группы. Одни люди работали на кафедре физтеха, читали там какие-то курсы, другие были внедрены, скажем, в какие-то энергетические НИИ, занимали кафедры по исследованию телеуправления. Тогда же управлением занимались самые разные институты и ведомства. Было управление чисто техническое, было управление производственными процессами, была теория управления элементами общества. И они там находились, получали в разных местах деньги. А потом объединились в такую группу, которая встречалась, мозговые атаки, штурмы и т. д. Все эти люди говорили на языке футурологического коммунизма. Я был включен во все эти катакомбные кружки футурологические, в разговоры».

Солнцев вспоминает, что много раз беседовал с Прохановым: «он был на моем 40-летии в Фонде Сороса, приглашал меня в только что созданный журнал „Советская литература“, отправил меня в качестве корреспондента „Советской литературы“ на съезд народных депутатов в 1989 году, выступал в нашем коллективе в ЦНИИ проекте, где тогда развивалось концептуальное направление. Проханов был не только искренне заинтересован в контакте с нами, но и стремился помочь развитию направления. Весной 1991 года он пригласил С. П. Никанорова и меня к Олегу Дмитриевичу Бакланову, который в то время был секретарем ЦК КПСС и заведующим оборонным отделом. Мы рассказали ему, чем мы занимаемся, и он тут же просил министра

радиопромышленности Шимко о поддержке нашей работы. Принял участие заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Совета министров СССР, председатель НТС ВПК Кулаков. Итогом было возникновение у Проханова представления о концептуальных методах и их возможностях. Проханов побывал и на строительстве атомной электростанции».

Сам Проханов называет всех этих людей, занимавшихся теорией управления обществом, «никаноровцами», «концептуалистами» и — в романе — «московскими великанами». «Они были великие проектанты, брали на себя функцию природы и Господа Бога, они объяснили мне Советский Союз как суперпроект, они объяснили мне причины деградации этого суперпроекта: он перестал допроектироваться, перестал достраиваться, исчезли конструкторские бюро социальные».

Позже он собирался внедрить их к Олегу Бакланову, устроил им встречу, они показались тому интересными, и он даже начал финансировать их.

Проблемы менеджмента на первый взгляд не должны были входить в сферу интересов «соловья Генштаба». На самом деле они еще с пчельниковских времен вызывали в нем любопытство, и о них часто заходит речь во «Временя полдень» и в «Месте действия». Вторая половина 80-х — время бесед о системном кризисе в стране, связанном не только с войной в Афганистане и содержанием развивающихся стран соцориентации. Говорили об эффективности организации труда, сравнивали: в Советском Союзе в капитальном строительстве на равноценный объект требовалось в 2–3–4 и более раз больше рабочих, чем в развитых странах; при этом квалификация рабочих, их производственная и трудовая дисциплина, используемая техника и инструмент были такими же, что и за рубежом (Никаноров).

Ощущение потери управляемости было чрезвычайно важной темой, которой он не просто так посвятил два чуть ли не лучших своих романа. По выражению чрезвычайно уважаемого Прохановым С. Кургиняна, «перестройка началась с воплей по поводу научно-технического прогресса, советского отставания, потери управляемости и эффективности… Рядом… были вброшены мифы об административно-командной системе, царстве Оруэлла, о „совке“ и шариковщине, то есть была осуществлена работа на взрыв и снос советской цивилизации. Эту цивилизацию буквально бомбардировали сверху подобными ядерными лингвистическими бомбами».

Среди тех, кто оказался под этими бомбами, были популярны различные «теории спасения». В сущности, такой теорией была

горбачевско-яковлевская перестройка; но существовали и другие, в частности система управления «Компас», изобретенная неким В. Г. Водяновым. С этим человеком Проханова в 1988 году познакомили «никаноровцы», и именно он стал героем сразу двух романов Александра Андреевича — Николаем Фотиевым. Однажды Солнцев привел Проханова в гости к Водянову, «который тогда жил в общежитии Оргэнергостроя, известном своей антисанитарией». Разговор продолжался полтора часа и произвел на Проханова большое впечатление. Уходя, Проханов сказал: «Это — человек-роман, тор вращающегося сюжета».

По просьбе Проханова Водянов не раз возил его в Удомлю, на строительство Калининской АЭС, и познакомил его с другими идеологами, например с П. Григорьевым. Проханова потрясает масштаб строительства, а главное, точность его организации системой «Компас». Эта панацея страшно его заинтересовала. Смыслом системы — так, по крайней мере, он понял, особенно входить в подробности ему было некогда — была демократизация управления: не сверху вниз, а наоборот, весь персонал участвует в менеджменте, превращение предприятия в фаланстер. Скользкий момент состоял в том, что артель оставалась неакционированной, государственной, у работников не было ни акций, ни личной заинтересованности в успешности предприятия. «Светлое будущее как результат твоего поступка, — объяснял ему свою теорию Водянов, — наступает не когда-нибудь, а немедленно вслед за поступком. Поскольку это происходит с каждым членом организации и каждый видит, что это происходит со всеми, возникает непередаваемое ощущение мощи нас всех, которое нельзя заменить никакими зарплатами и никакими талантами отдельных лиц. Технически эта идея осуществляется с помощью одной формы личного документа на одной странице — „организационного паспорта“ и „экрана“ — листка чертежной бумаги, отображающей состояние отношений нас всех».

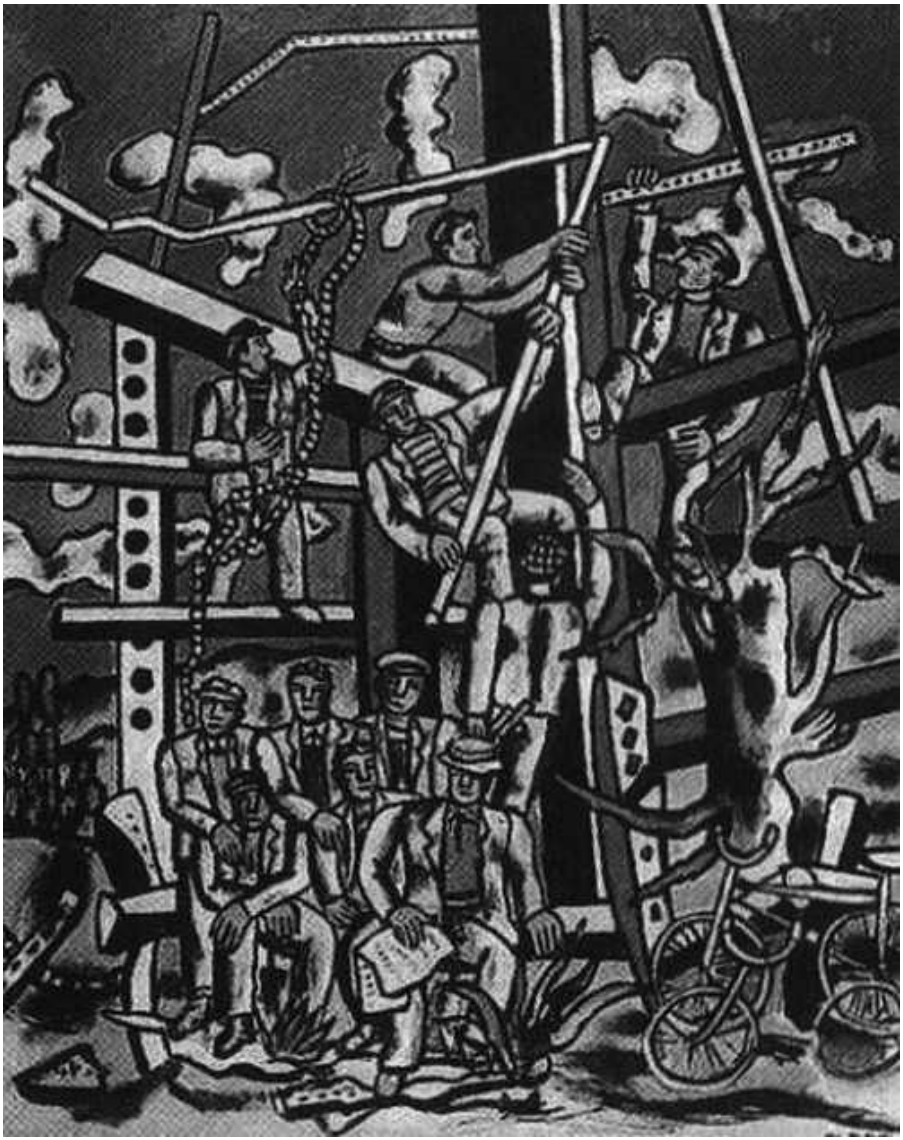
> «Я страшно увлекся его представлениями и еще тем, что эти представления он отрабатывал на строительствах атомных станций. Возник замысел этого романа, я был на сносях, кончил одну работу и искал другую, у меня было огромное пустое пространство. И он мне подсказал эту идею — идею управленческого ренессанса, и объект — атомную станцию. Именно с его подачи я отчасти и уехал, но не в Чернобыль, это слишком далеко было, а в Удомлю, и там работал».

Калининская АЭС, которую в апокалипсических сценариях последних лет то и дело захватывают чеченские террористы и

угрожают оттуда пустить радиоактивное облако на Москву, была советским долгостроем, который вымучивали много лет, всю середину 80-х. Здесь было все, что могло вызвать приступ неконтролируемого ужаса у художника с глазом Балабанова — и бурного восторга у певца техносферы: бездонные котлованы, шлакобетонные общежития, исполинские роторы и ржавые краны. А еще здесь была новая важная тема — энергетика, которая выглядела в тот момент страшно перспективной: разрушающаяся страна нуждалась в инъекциях энергии, реальной и метафорической. Отсюда его размышления о романе про энергетику, о том, что Вавилонская башня была не столько религиозным, сколько энергетическим проектом («это была гигантская энергетическая установка»).

> «Я попробовал написать роман, где была заложена идея государства. Метафорически она должна была быть выражена в таком авангардном проекте, как атомная станция. С одной стороны, я выстраивал этот роман как сотворение сверкающей, огнедышащей башни, с другой стороны, мой опыт общения с историей, с церковниками говорил мне, что это именно Вавилонская башня».

(«Вавилонская башня — это мегамашина, которая пытается вытеснить из мироздания не-машину, то есть Бога. Это посягновение на Бога через превращение его в инструмент человека».)



Ф. Леже. Конструкторы.

«600 лет», по мнению автора, «это вершина индустриального романа» (индустриальным романом он называет и «Кочующую розу», и «Время полдень», и «Место действия», и «Вечный город»). «Я затевал его не как роман-утопию или антиутопию, а как реалистический роман; но мне хотелось символически изобразить мощный гигантский порыв государства — к накоплению, к одолению, к свершению. И я стал строить эту башню».

Чаще, чем в ЦДЛ, его можно увидеть на стройке, несколько раз он даже подолгу живет в тамошнем общежитии. Он присутствует на планерках, смотрит, как собирают огромные

черные массивы металла, фермы, котлы, «как все это продувается ветром, журчит, скрежещет, скрипит, искрит», в очередной раз чувствуя себя наследником Леже, рисовавшего большие картины созидания машин, мостов, супербашен, где «крохотные люди смотрелись в этом всем, как атомы в гигантской матрице». Он наблюдает, как «в грубую жесткую материю внедрялись более тонкие изящные сплавы, как носился сверкающий реактор, драгоценные турбины, которые по своей красоте и величию мне казались античными творениями Праксителя или Поликлета, они были столь же великолепны». «Это была античность XX века, я обожествлял эти механизмы… Потом, когда все это собиралось вместе и загорались урановые стержни, вспыхивали электрические глаза и испанские очи, все это мчалось из гигантского короба по электрическим проводам в бесконечность, а в Сибири зажигались целые города и пространства — вот это меня вдохновляло. Но я чувствовал — конечно же, станция созидалась не на пустом месте, она лежала на капищах, на ушедших под воду деревнях; в это время уже был Распутин со своей Матерой».

> «Я учитывал эти (деревенщицкие) настроения и был не чужд им, я сам был лубяным человеком, ходил по этим гатям и понимал, что при всем технократизме странно, если я не замечу другого, противоположного космоса, который никогда не покидал. Так во мне возникла щемящая интонация обреченности этого строительства, и я, после того как начал роман, задумал аварию на станции. Она должна была удлинить роман, усложнить его, но она была необходима, потому что от метафоры Вавилонской башни некуда было уйти, и не зря всю советскую техносферу церковники всегда называли сотворением Вавилона. И едва я задумал эту аварию, еще даже не приступил к реализации, как узнал о том, что случилось в Чернобыле».

26 апреля на Чернобыльской АЭС происходит выброс радиоактивных элементов — в 90 раз больше, чем в Хиросиме. Об аварии сообщили только 28 апреля, эвакуация населения началась 2 мая.

— Сначала ведь не говорили никому ничего, скрывали?

— Была весна. На станции я узнал сразу, там у них своя связь по всем атомным станциям. Что-то невнятное говорили. Не было особо большой тревоги, но было какое-то напряжение от того, что там произошло: на нашей стройке был реактор того же типа. Я помню, мчался по этим тающим пространствам, приехал домой,

свалился с ангиной очередной, как в бреду слышал об этой аварии, все эти гулы случившейся катастрофы. У меня часто так бывало, что во время болезни возникал сюжет — синтез из эмпирики — и когда я выздоровел, уже вовсю говорили о Чернобыле.

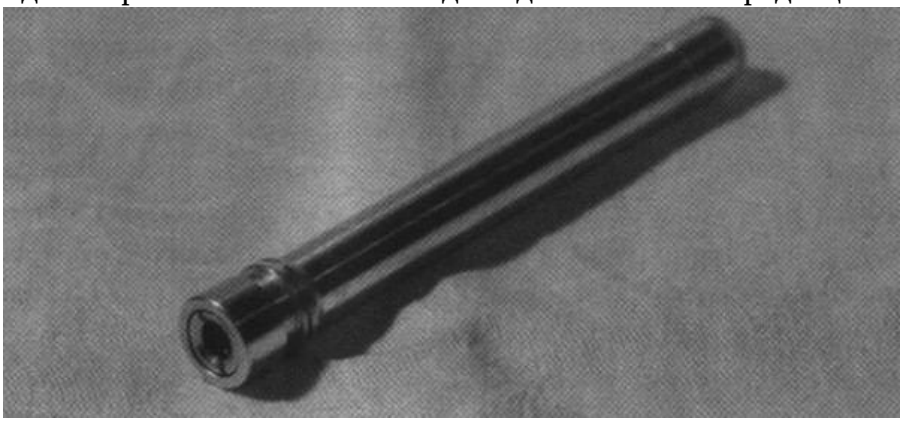
В. Г. Водянов сообщает, что «в майские праздники 1986 года Александр Андреевич Проханов, услышав, что я с семьей выехал из района чернобыльского взрыва и нахожусь на Белорусском вокзале, не раздумывая, прокричал мне в трубку: „Стойте на месте, через минуты я буду!“ Примчался на своей машине, игнорируя наше сопротивление, забрал нас, радиоактивных, и привез к себе домой. Семья — жена Люда, бабуля, дети — понимали небезопасность гостей. Но приняли! Да еще с улыбками, с искренним пониманием и быстрым хлебосольством. Женская половина Прохановых, по-матерински нежничая с нами, тихонько сообщила нам, что им ранее выпало пройти челябинский Чернобыль, и поэтому они нас понимают. Прохановы — прекрасные люди!»

> «Как всегда у Белосельцева, у меня раздался звонок. Он сказал, что приехал из опаленного Чернобыля, из Припяти, его выселили, ему даже негде остановиться. И он сказал, что понимает, что все радиоактивные, а уже был психоз в Москве, но, может, вы позволите хотя бы вещи оставить. Я: „Конечно, ради Бога, приходи“».

Прожив с Водяновым несколько дней, насмотревшись на его радиоактивный чемодан, его радиоактивное пальто и пиджак, которые висели у него в шкафу, он понимает, что ему надо оказаться там, в Чернобыле. Тут же он сам берет командировку от «Правды» и летит в Чернобыль, уже зная, что едет за материалом для романа о Водянове, строительстве и взрыве.

«Вот смотрите, — показывает он мне металлическую трубочку, — мой дозиметр, счетчик Гейгера. Там должны быть страшные показания». Предсказание не сбывается, никаких показаний не видно, но трубка — красноречивый сувенир. Об ужасе того, что он там увидел, можно судить по приступу не характерного для него косноязычия, который вызывает у него воспоминание об аварии: «…поразительно… что-то космическое…». На фотографиях мало что понятно — вот он стоит в белой робе, как сотрудник какой-то фантомасовской лаборатории. Сзади — вертолет, с баками, наполненными дезактиваторами. На этом вертолете он зависал над развороченным блоком, когда, по проекту академика Велихова, сверху в кратер реактора вбрасывались дымовые шашки и по ним

диагностировали, куда разносится яд, дым показывал розу ветров. «И вот вертолет завис, я сел в него… летчик был окружен свинцовой оболочкой… я думал — всего две-три минуты, но дым не появлялся, и мы провисели там тридцать минут — и мой радиометр был зашкален. Я там дозы две хватил этой радиации».



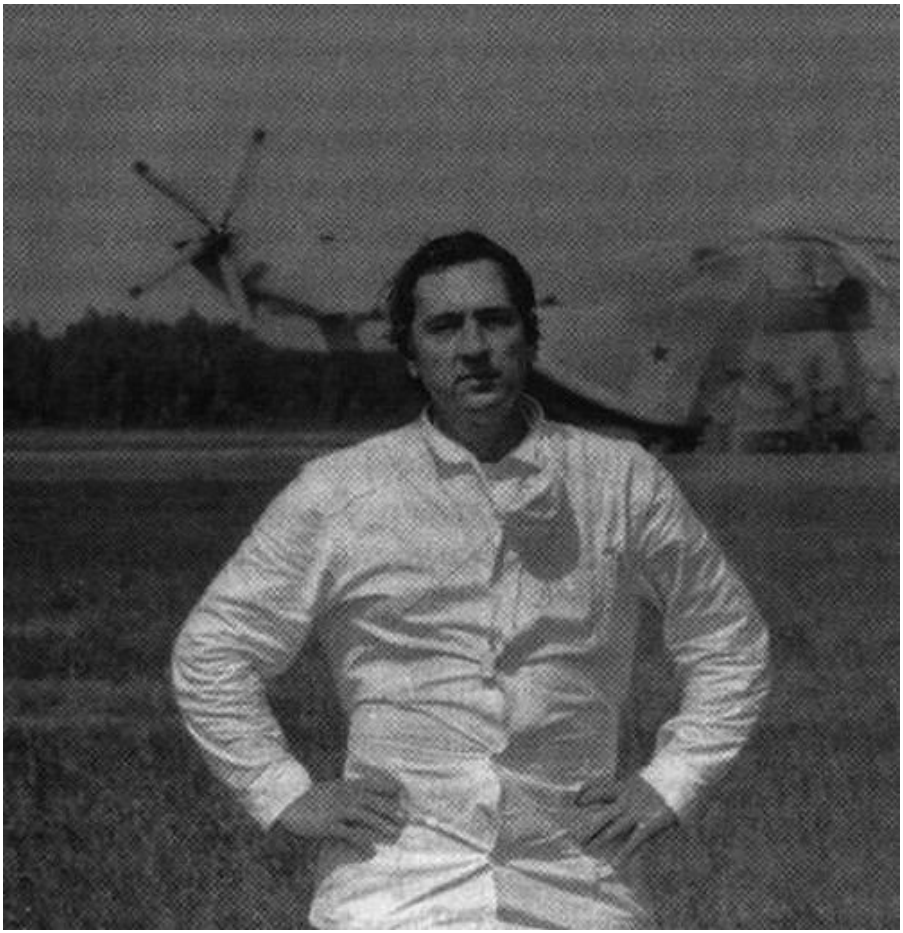
Счетчик Гейгера из домашней коллекции Проханова.

Он летал на вертолете, который сбрасывал в жерло реактора связки свинца и глины. Он видел, как подбираются к реактору бэтээры в свинцовых попонах. Он залезал под реактор, который — «чадная, раскаленная головня» — прожигал сталь и бетон, проедал опоры, оседал, погружался, почти доставая грунтовые воды, которые сообщались с Днепром, — «и все ожидали, что он коснется грунтовых вод, они вскипят, и произойдет гигантский гидравлический взрыв и огромное атомное облако пара полетит по всей Среднерусской возвышенности. Нужно было вбить столбы, забетонировать дно, заморозить ядовитые пары, создать резервный фундамент». Он запомнил, как в респираторе, в белых робах шахтеры долбят туннель и потом исчезают в «тесной, уходящей под землю норе». «Полутьма. Замызганный, косо висящий фонарь. Рельсы узкоколейки. Вагонетка». «Я помню, я стоял и держал, как атлант, этот четвертый блок — и касался подушки бетонной».

Он сам участвовал в расчистке, вместе с войсками химзащиты метлой и совком убирая куски радиоактивного графита. Как в «600 лет после битвы» — десять секунд? «Да. Десять секунд. Солнце, дыры в крыше, лучи, как лазерные удары, метлы, и все кипело, одежда была полна потом, то ли пот, то ли моча — не знаю, в общем, это был ужас какой-то, такое было огромное напряжение. В общем, я прошел все эти три стадии». Знал ли он об опасности лучевой болезни, когда отправлялся в эту командировку? «Я не был сильно облучен, не входил и не вхожу в общество чернобыльцев, но после этого у меня кровь стала

портиться, и я показывался врачу, гематогеном кормили, повысились лейкоциты, в общем, я чувствовал себя плохо — лейкемии не случилось, рака крови, пока что, во всяком случае. Я не знал, на что я иду, так же как я не знал, на что я иду, когда, например, ездил в Афганистан и в Никарагуа. Была страсть, был азарт, потом, это же была страсть человека, который пишет роман, — и необходимо было добывать дополнительные материалы для романа. Я ехал туда как художник, как добытчик, увидеть эту катастрофу, а не как спасатель или ликвидатор чернобыльский. Я делал очередную работу».

Я не могу удержаться от того, чтоб не спросить компетентного конспиролога и очевидца, что там произошло на самом деле. «Говорят, там проводился эксперимент по управлению твеллами, этими стержнями, испытывались возможности повышения режимов — шла, одним словом, экспериментальная работа. Причем, как говорят физики, случилось то, что практически не могло случиться, вероятность — одна миллионная доля процента. Я не могу сказать, что это было, — одна аварийная система отключилась, вторая была обесточена, третья, там, не знаю, была введена не в тот режим — словом, сошлись пять или семь факторов, которые привели к тому, что реакция этих стержней оказалась неуправляемой, их не могли вывести из работы, они стали усиливать ядерное горение, котел стал накаляться, и огромная температура, которая там поднялась, сожгла этот котел, произошел микровзрыв, — и выброс: вода, натрий, не знаю. Крыша взорвалась к чертовой матери — и оттуда вылетел этот демон огромный, горячий, прозрачный, туманный демон — и понесся по розе ветров».



В костюме химзащиты. Чернобль.

Так что это было — халатность или рок? «Близкие мне конспирологи говорят, что это была чуть ли не диверсия. До сих пор ходят разговоры о том, что за две недели про этот блок была где-то публикация, какое-то число, знаете, как на папертях говорят, такая прицерковная молва — что все это было заложено, что это козни, злые силы. Я все же склонен думать, что это небрежность, какие бывают на атомных лодках. Для литератора, конечно, интереснее увидеть в этом умысел или промысел, но техника имеет множество собственных тайн, она выходит из подчинения, в ней есть иррациональность, во всякой машине».

Он чувствовал, что все это: Калининская АЭС, Чернобыль, системный кризис в стране, встречи с никаноровцами — имело некий общий знаменатель, и он прессует эти сведения в роман о строительстве АЭС. «Атом» был темой если не модной, то носившейся в воздухе. Ее хватило на два романа — «600 лет после битвы» и «Ангел пролетел» — о Фотиеве-Водянове.

Едва ли существуют более масштабные литературные памятники последнему периоду СССР, чем «чернобыльская дилогия», две трагедии об агонизирующем государстве, первая скорее оптимистическая, а вторая — скорее социальный триллер; «600 лет» — еще про последний рывок в будущее, «Ангел» — уже фото-финиш катастрофы. Это прекрасный материал для ламентаций об СССР-который-мы-потеряли, но также и для какого-нибудь производственного сериала о профессиональном коллективе: героев так много и связанные с ними драматические коллизии так напряженны, что остается только удивляться, почему ими до сих пор не заинтересовались продюсеры ситкомов.

Место действия — деревня Броды, где сейчас идет строительство АЭС, а 600 лет назад состоялась битва бродичей с неизвестной ордой, на что и намекают иконы, летописи и фрески. Дела на стройке идут не слишком успешно — возникают трудности, связанные с плохим снабжением, недофинансированием, дефицитом рабочей силы и слухами о причинах недавно случившейся катастрофы на Чернобыльской АЭС — так что странный христоподобный человек Николай Фотиев (греч. *photos* — свет), предлагающий руководству внедрить изобретенную им систему «Вектор» («Века торжество»), оказывается здесь ко двору. «Вектор» есть советское оргоружие, это «социальный двигатель», порождающий «цепную реакцию творчества… он избавляет нас от социального страха, от социальной ненависти и агрессии… стремится соединить людей так, чтобы увеличить их доброту». Между тем применять «Вектор» придется в непростой среде. Внутри руководства борются «технократ и экологист, сторонник либеральных реформ и приверженец твердого стиля, западник и славянофил, сталинист и певец демократии». Дело осложняется тем, что Фотиев настраивает против себя главного инженера Горностаева: в лучших традициях прозы Александра Проханова он чуть ли не на первой странице уводит у начальника девушку. Нечего удивляться, что этот Горностаев, поначалу рьяный сторонник «Вектора», принимается ставить Фотиеву палки в колеса. Разумеется, дело в ревности, но Горностаев настаивает на том, что слишком демократичный «Вектор» подорвет его менеджерский авторитет.

Современность между тем то и дело проваливается в архаику, как бульдозер из пелевинской «Зомбификации»: Горностаев находит в брошенной избе загадочную икону, где над битвой бродичей с ордой изображен храм, испускающий лучи, похожий на медузу, а еще больше — на строящуюся АЭС: якобы это бой с космическими пришельцами. Экскаваторщик эксгумирует сбитый

советский самолет времен войны. Это не последняя находка — оказывается, в том же котловане уже обнаруживали какую-то древнюю ладью. Античная техника, таким образом, прорастает новой и новейшей, футуристическая техносфера вылупляется из античной.

Проханов по-прежнему эксплуатирует собственные штампы, связанные с описаниями техники: «стройка глотает грузы, чавкает, лязгает, ворочается в ледяных котлованах» все как в «Месте действия» и «Вечном городе», ему некогда изобретать новый язык: ситуация не позволяет. В стране явно что-то происходит, и в романе есть ощущение, что строители могут не просто провалить сроки, но вообще плюнуть на все и разойтись по домам. Над СССР нависает катастрофа, из диалогов персонажей понятно, что за технической инженерией стоит социальная проблема. Это производственный роман, но с зачатками классового конфликта: рабочие в какой-то момент готовы громить заводское начальство. То нервничает: «Мы должны догнать этот поезд, от которого отстали, засидевшись на юбилейных торжествах и банкетах. Мы не можем оказаться в хвосте у Америки… Нас просто сотрут, сгонят с мировой арены». Люди, уставшие от вечного строительства, остро переживают некомфортность и неэстетичность советской жизни, восхищаясь западными товарами. Никто не чувствует государство своим. «Чернобыль наплодил не только мутантов, но и пораженцев». В романе взрывается не та АЭС, которая строится, но строители все время вспоминают о неудачном близнеце своей станции: чернобыльские сцены имплантированы в роман в виде воспоминаний ликвидаторов. «Социальные уроды Чернобыля», герои «600 лет» слишком много думают о том, что, похоже, они строят Вавилонскую башню. И тогда — не является ли миф о Вавилонской башне, Чернобыле древнего мира, предостережением им, всем будущим строителям новых Чернобылей?

Интересно, что «600 лет» есть стопроцентно конформистский для своего времени, поддерживающий идею перестройки роман; в узком смысле, «Вектор» — перестроечная менеджерская утопия. В тот момент, когда «Вектор» внедряется в коллектив, постороннему журналисту начинает казаться, что «эта станция есть модель государства и общества, в которых начала действовать перестройка». (Посторонний — журналист Тумаков, двойник прибедняющегося автора: «немолод, не слишком удачлив. Его расцвет и известность пришлись на другое время, когда в публикациях ценились пафос, энергия, умение выразить размах созидания…». Теперь ему нужно написать критический

материал, напомнить об уроках Чернобыля. Поскольку ему это неприятно, он жадно набрасывается на позитив. «Вектор» — источающий «социальный оптимизм» — «был для Тумакова синонимом перестройки».) Но перестройка для Проханова — не синоним словосочетания «горбачевские реформы под американскими слоганами», а попытка нащупать вектор победы в Третьей мировой, удержать баланс, выйти из тупика, в который СССР загоняет мировая закулиса. Прохановские герои руками и ногами цепляются не за «совок», а за советский вариант будущего. Эта стройка — последняя битва за СССР, задокументированный последний шанс остаться в истории. Герои ощущают себя крайними, если не они — «все разобьется. Все, что собирали до нас по камушку, по кустику, по цветку, по горке, за что проливали то слезы, то кровь, лепили, строили, возводили до неба, до трех океанов, стремление к мощи и правде, к добру и познанию — все это упадет и рассыплется».

В последней главе Проханов пробует свои силы в исторической стилизации, мобилизовав весь свой писательский дар на описание этой самой случившейся 600 лет назад битвы. Это ретрофантастическая сцена, в которой русские воины сражаются против некоего техногенного сияющего града, поражающего туземцев лучевым оружием. Едва ли ее стоит включать в антологию прохановского «The Best», но и не заметить ее вовсе было бы неправильно. «За ним инок Алепий, что от Троицы, наехал конем на луч. Пробило его огненным древком. Схватил его Алепий руками, хотел из себя выбрать, а руки его загорелись, яко две бересты, и кричал он страшно, и руки его сгорели по самые плечи, а потом и сам он в искры рассыпался».

В целом, если оценивать прохановские романы по десятибалльной шкале, то «600 лет» получит твердую девятку — если не за исполнение и злободневность, то за композицию, сюжет и выбор героя: схвачено и скручено безупречно точно.

— В «600 лет после битвы» кто-то из персонажей произносит типично ваш страстный монолог про то, что «перехватчики, слава богу, с тройной скоростью звука летают», на что другой предлагает обсудить ему эту тему с «немчиком на Красной площади». Помните историю с Рустом? Как вы ее объясняете, при всей мегамашине?

— Мне свойственно конспирологическое сознание. Когда сел Руст, все говорили, что это было сделано для того, чтобы срезать консервативный маршальский военный слой, убрать начальника генштаба Агаркова, снять министра обороны.

— То есть это советская провокация?

— Да, поскольку была конвергенция, Горбачев ездил к Колю,

наши и их спецслужбы, все смыкалось, но перестройке, конечно, было большое противодействие. Самая большая угроза перестройке была не в КГБ, а со стороны армии, армии боялся Горбачев. А благодаря Русту был срезан весь слой военных консерваторов, сменен министр обороны Соколов, уничтожен Агарков, генералитет. Этого все и ожидали. Это был момент политической борьбы внутри страны.

— А могла ли мегамашина пропустить Руста случайно?

— Да, наверное, могла, так же как и взрыв на атомной станции. В чем там была история? Этот самолет был зафиксирован ПВО. Его вели два истребителя, чтобы контролировать и сбивать.

— А посадить?

— Они шли за ним следом. Если помните, там был момент, когда границы нашей территории нарушил за некоторое время до этого «Боинг», мы его сбили, он сел на лед озера, и второй «Боинг», его сбили под Сахалином. Это большие машины, их вели перехватчики, заставляли сесть, они отказывались, и тогда мы стреляли на поражение. То же самое здесь — маленький Руст. А ведь это направление — оно самое опасное для атак, оно было хорошо защищено радиолокационным полем, там были выставлены локаторы последнего поколения, низкочастотные доплеровские, которые могли фиксировать нижние цели, на высоких штангах. И этот самолет был зафиксирован, его вели, но команды на уничтожение и посадку им не дали — то есть пропустили. Штаб знал, что он здесь. Либо были напуганы международными скандалами, либо это был приказ политического руководства. Оно в лице Горбачева действовало так: предоставляло армии действовать самостоятельно, поощряя ее к силовым действиям, но в последний момент сам Горбачев отскакивал — так было в Карабахе, так было с телецентром в Вильнюсе, он никогда не брал на себя ответственности. Вот идет самолет, груженный микроядерным оружием, чтобы сбросить его на Кремль, об этом знает штаб ПВО, об этом знает генштаб и, наверное, генсек, иначе зачем ему чемоданчик правительственной связи? Нет, нельзя, не надо. Военные не решились, они к тому времени многократно были парализованы — и поплатились, их после этого уничтожили. Если бы сбили — тоже, может быть, уничтожили, это было бы истолковано как каннибализм, «милый мальчик» и так далее. Но в свои лучшие времена система должна была его сбить. Система была абсолютно разбалансирована, она не находила в себе силы действовать адекватно.

Второй роман дилогии — «Ангел пролетел» написан в 1989–

1990 годах. Над Россией летит не Руст, но синий ангел, хотя картины, разворачивающиеся внизу, не имеют ничего общего с райскими. «Тулово станции плотно, мощно утвердилось на холмах и озерах. Ее толстый корень, вьющийся чешуйчатый хвост погружался в толщу, прорастал в землю, пробивал граниты и глины, впивался цепким жгутом в расплавленную сердцевину Земли. Многолапое тело пружинило, катало огромные мускулы из железа и меди, из громадных колес и валов, из чугунных слитков и плит. От тулова в разные стороны, мерцая многоглазо, исходили головы, дышали красные пасти, выплевывали тягучие блестящие слюни. Опаляли окрестность, выталкивая из себя непрерывное пульсирующее зарево, растекавшееся по земле. Птицы, попадая в это зарево, умирали и падали комочками огня. Жуткое диво сидело среди русских озер и рек, среди разоренных храмов, нищих пустых деревень».

Это все та же АЭС, но совсем в другом свете, преображенная из символа лучезарных перспектив СССР в кошмар, похожий на живой треножник из спилберговской «Войны миров». Станция источает страх; дело доходит до того, что сама природа восстает против «атома» — в ночь, когда разгружают вагоны с урановыми стержнями, чтобы запустить станцию, рыбы начинают выбрасываться на берег и пытаются уползти в леса, а над городом кружат стаи воронья: странные хичхоковские сцены.

Князь Мышкин — Фотиев, изобретатель «Вектора», — продолжает внедрять свою систему. Его поддерживают простые рабочие, кое-кто из администрации, член профкома и любовница Антонина Ивановна Знаменская, а также «московские великаны», теоретики-идеологи, научении которых выстроена система. У «Вектора», впрочем, есть и противники — Горностаев. У того, во-первых, развивается паранойя — ему кажется, что «Вектор» преследует его, а во-вторых, он продолжает ревновать Антонину. Он настраивает против Фотиева нескольких инженеров, натравливает на него рабочих-отморозков. Над схваткой стоят отец Афанасий, санитар-доброволец в психиатрической больнице, «голосом которого говорит высшая мудрость и человечность», и полусумасшедший теперь уже журналист Тумаков, пациент этой больницы. Фотиев уезжает в Москву искать поддержку у «великанов» (в трех сценах бесед с экономистами, футурологами, социологами не столько обсуждается вектор развития страны, сколько удивительно точно схвачена атмосфера за несколько секунд до окончательного крушения советского проекта). Тем временем Горностаев пытается соблазнить Антонину, уже беременную.

Это опять сериал, но не сериал-столпотворение, а сериал-катастрофа, где главной темой становится уже не созидание, конструирование, взаимодействие и преодоление, но крушение, распад, разложение, паника — и попытки нескольких людей спасти ситуацию. «Мы все персонажи катастрофы. Наше обыденное мышление, наша каждодневная психология описываются катастрофой. Мы думаем катастрофой, чувствуем катастрофой, дышим катастрофой. Мы нанизаны на катастрофу, вращаемся вокруг нее, каждый со своей скоростью и задачей». Доходит дело и до совсем пораженческих разговоров — о внедрении из космоса двух «социальных сперматазоидов»: «у нас и у них». Здесь все — и «хорошие», и «плохие» — пытаются подложить башмак под катящийся под откос вагон, разглядеть будущее у мучающейся в агонии страны. Горностаев собирается создать «партию инженеров», которая лоббировала бы интересы технократов и смогла бы еще раз собрать последний ресурс страны, «поместить его в локальные точки — в АЭС, в электронику, космос — и там добиться успеха». Беспартийный Фотиев требует у парторга Кострова, чтобы партия не передавала властные полномочия непонятно кому, не бросала народ, поскольку в создавшейся ситуации это аморально. Тумаков — заместитель автора, полностью переставшего понимать, что происходит со страной, и оттого находящегося словно бы в постоянном бреду, — лечится в дурдоме. Его преследует одна и та же галлюцинация — небесный ковчег с космическими силами, оккупировавшими страну. Подвергнутый двумя существами в серебристых скафандрах «исследованию», он «лежал в корабельной рубке, похожей на операционную, распластанный на белом столе. На голую грудь светили зеркальные лампы, контакты и клеммы, резиновые присоски, прилипшие к соскам, прижатые к запястьям и щиколоткам». Любопытно развивается фантастическая тема битвы бродичей с обладающими лучевым оружием пришельцами. По мнению Тумакова, страна оккупирована инопланетянами, которые подчинили ее и теперь ставят над населением жестокие эксперименты, иначе объяснить это всеобщее помрачение невозможно. Битва, таким образом, произошла не 600 лет назад, а идет здесь и сейчас. Среди пронзительных бредов Тумакова встречаются наброски будущих передовиц Проханова в «Завтра»: ему принадлежит теория двух мафий — совпартмафии и либермафии — и конспирологическая теория захвата АЭС — «станция на водоразделе рек!.. Сбросы в четыре акватории! В Ледовитый, в Балтику, в Черное море и Каспий! В заложниках — центр России, территория от Урала до Бреста!». Через пятнадцать лет именно эти сценарии будет вовсю

обкатывать младшее поколение писателей — Юлия Латынина, Доренко, Быков.

В «Ангеле» уже не встретишь словосочетания «социальный оптимизм»; здесь все заканчивается очевидной, реальной катастрофой, черным квадратом — бунт в городе, введение войск, столкновение с рабочими, расстрел и избиение толпы (сильная сцена, замечательным образом написанная раньше, чем подтвердившие ее реалистичность события в Карабахе и Грузии). Жену рабочего Вагапова насилуют, беременную Антонину убивают. На похороны обеих возвращается Фотиев из Москвы, и Горностаев, ставший начальником АЭС, предлагает ему остаться, но тому уже и не надо ничего. «Казалось бы, — комментирует автор свой текст, — вот приходит этот концептуалист, наивный светоносный пророк, который хочет улучшить мир, но именно его усилиями разрушается Вавилонская башня: вместо гармонии, вместо города солнца возникает пустыня, катастрофа. Такими были для меня восьмидесятые годы, так я стал втягиваться в горбачевскую антиутопию». В финале над землей летят четыре ангела, синий — над Россией.

Проханов предполагает (и небезосновательно), что, если бы не произошла катастрофа 91-го года и все развивалось своим чередом, при сохранении строя, социума и государства, «эти две книги были бы базовыми для идеологии и для литературы. Ибо в этих книгах была линия, связанная, грубо говоря, не с деревней, а с заводами, суперурбанистическая тема. Там, на этих заводах, отрабатывались модели существующих идеологий и политических тенденций, и к тому же это было чрезвычайно актуально. Ничего более важного для страны в ту пору, чем чернобыльская авария, не было».

Первая книга всплыла в журнале «Октябрь» на последней волне советского толстожурнального бума — и тут же беззвучно погрузилась в пучину, не получив, кажется, ни единого критического отклика. Говоря о второй, можно обойтись и без ограничительного «кажется»: «Ангел», изданный с запозданием, когда катастрофа была уже совсем в другой стадии, «пролетел», в самом вульгарном смысле этого слова. Неожиданным образом на роман отреагировали в 2003 году — группа прототипов. В «Экономической газете» появилась огромная статья Спартака Никанорова, в которой он и еще несколько его коллег, экономистов, чуть ли не с микроскопом анализируют прохановскую дилогию. Проханова мало кто читает, поэтому такие подробные оценки воспринимаются как откровение.

Всем «великанам» было лестно, что их тема заинтересовала писателя, но больше всего это было похоже на историю про то,

как Незнайка нарисовал портреты своих соседей: про других было очень смешно, но лишь пока они не обнаруживали в романе себя: э, нет, вот тут совсем не похоже, эту картину, ты, братец, сними. То есть, высоко оценив выбор темы, они все же далеко не в восторге от романа. Самым слабым пунктом дилогии оказалась экономическая компетентность автора, не позволившая раскрыть эту важную тему на все сто процентов. Любопытно наблюдать за «великанами», которые, такое ощущение, пишут отзыв не на роман, а на диссертацию по экономике в диалогах, беллетризованное исследование «о драматической борьбе, сопровождавшей попытку использования на строительстве атомной электростанции системы организационного управления, которая была способна, образно говоря, превратить организацию, ведущую строительство, из обезьяны в человека». Уже само «возникновение этой книги представляется совершенно загадочным. Трудно вообразить, каким образом писатель, автор нескольких книг по военным событиям, имевший репутацию человека „с громким голосом“, абсолютно чуждый организационной проблематике, вдруг, ни с того ни с сего, занялся этой областью и освоил ее с несомненным успехом». С. В. Солнцев называет роман «беспрецедентным явлением в отечественной, а возможно, и в мировой литературе. Ни в одной из книг в центре личностного или социального конфликта в организации, представляющего идейный фокус драмы, не находится преобразования форм деятельности организации. Проханов, видимо, первый, кто попытался это сделать». «Совершенно очевидно, что этим романом художественная литература впервые вошла в область, которая никогда не была в кругу ее интересов. Его книга настолько одинока, настолько исключительна, что трудно представить, кто, когда и как сможет продолжить эту линию».

Дальше, однако ж, начинаются претензии. Водянову не нравится, что слепок с него — Фотиев — «безродный, худородный, неграмотный, самоучка, беспомощный, нищий, недокормыш», с жалким «желтым портфелем», приютившийся у случайной «профсоюзницы» и т. п.: зачем?! «Неужели автор не видит, что он не создает у читателя сопереживания к главному герою романа, а провоцирует антипатию? Или он это делает сознательно? Зачем автор выдумал (подстрекательски, что ли?) забастовку на атомной стройке, демонстрацию недовольных рабочих и ее разгон военнослужащими и омоновцами? Конечно, освоение системы может иметь драматические мотивы, но разве в этом дело? Тема-то романа — мировые проблемы теории и практики управления, разрешаемые российским изобретателем.

Социальная суть системы „Компас“ и ее инженерные решения писателем не поняты и, соответственно, не раскрыты. Может быть, автор не понял задачи или не справился с ней? То, что мы видим в романе, в лучшем случае душещипательный „винегрет“ для домохозяек. Это не про нас. Уверен, что ни один из прототипов героев романа не даст ему положительной оценки». И дальше припечатывает сапогом: «Ущерба от романа больше, чем пользы».

З. А. Кучкаров считает, что «Проханов не осознал значения проблемы, эмоционально и психологически не вжился в нее и ее выразителем не стал. В основе отчасти лежит недостаточное личное знакомство с этой областью, отсутствие опыта участия, личного видения всего этого. Впечатления, полученные Прохановым от рассказов реальных участников, в чем-то принципиально ущербны. И что же должен думать читатель о „Векторе“? Проханов, я думаю, просто не в состоянии этого понять. Весь его опыт организационного управления — это руководство газетой. Блестящие метафоры не заменяют точного знания области. Огромные слои людей не представляют себе устройства диктофона, телевизора, самолета, что уж говорить об организациях, которые их создают».

Этот «Компас», судя по их высказываниям, был вполне научно обоснованным управленческим механизмом для рыночной среды. Соответственно, «великанам» не нравится, что Фотиев, который на самом деле вполне профессиональный ученый, в романе — дурачок из народа, изобретатель с желтым портфелем.

> «Если бы за роман о Джордано Бруно взялся Проханов, то не получилось бы из Джордано Бруно Фотиева? Даже на уровне полубытового стереотипа Бруно — человек другой породы. А у Проханова он выглядел бы как представитель массы. Фотиев у него предстает как изобретатель, а не как творец новых форм. Фотиев несколько раз повторяет, что он неграмотен, что это может сделать кухарка. Но это, по-видимому, принципиальное заблуждение автора».
>
> «У Проханова полностью отсутствует чувство исторического момента. Защита „Красной империи“ не заменяет этого чувства».
>
> «Фотиев по своей собирательной силе не стал Дон Кихотом. Напряженные противостояния романа не стали этической коллизией „Медного всадника“, хотя они такими и являются. А могли бы, и дело вовсе не в недостатке таланта или работоспособности автора.

> Причиной являются установки видения, мешающие за непроницаемой повседневностью увидеть „вершащееся“, поразиться его формам. Водянов и „Компас“ оказались только „материалом для романа“. Но как необходим сейчас в этой области бессмертный образ!»

Горечь от этого недоумения несколько подслащена забавной репликой главного редактора «Экономической газеты», напечатанной под материалом: «Что ж это за управленческая система такая, если даже сам Проханов ее не раскусил? А была ли система („мальчик“), ребята?»

Что бы ни говорили никаноровцы и как бы показательны ни были их оценки профессиональной компетентности автора, чернобыльская дилогия — безусловно, исключительно удачные тексты Проханова. Он первый ввел в литературу мотив ахиллесовой пяты России — АЭС. У него хорошо получаются портреты катастроф, у него включается воображение, он знает, как должны себя вести в экстремальных обстоятельствах характеры. Можно только надеяться, что он успеет воспользоваться ими как подмалевками. В смысле актуальности у дилогии большие перспективы, ресурс эсхатологических настроений отнюдь не был исчерпан в конце 80-х.

Брежнев был плохой менеджер, но его наследники, как оказалось, справлялись еще менее впечатляюще. Страну выталкивали из того будущего, в которое она имела некоторый шанс попасть, но, определенно, никто не собирался цепляться в это будущее руками и ногами. Медленно он оставался практически в одиночестве, последним хорошим рейнджером.

Глава 15

Мутации комаров в перестроечном СССР. Краткая история «СоЛи». Автор отправляется в салон плитки.

Ельцин издевается над стилистикой Проханова. Рассуждения о метафорах.

Путч 1991-го года и его печальные последствия

«Да, здесь, точно помню. Надо же, ничего не изменилось — запахи те же, кафель, зеркала, умывальники, — по просьбе Проханова, демонстрирующего мне ЦДЛ, мы спустились в туалет. — Вот тут у нас произошла драка». Оказывается, «был такой человек — вылетело имя — в президентском совете, специалист по Достоевскому…» — Карякин, что ли? — «Именно». А уже началась перестройка, расслоение писателей на консерваторов и либералов, и он меня очень быстро возненавидел. И когда мы с ним сидели в Пестром зале за столом, он ни с того ни с сего начал меня оскорблять, отвратительные вещи начал мне говорить, когда ему сказали, с кем он оказался. А я уже был на взводе — в общем, мы договорились до того, что я его пригласил выйти, чтобы драться. По-нормальному, здесь, в ЦДЛ, люди прямо на месте в морду бьют: шарахнул, упал в тарелку… А я-то читал «Три мушкетера», и я вызвал его на дуэль и пошел его бить. А где бить? Мы спустились в туалет. Как сейчас помню — кафель блестит, течет вода, и мы с Карякиным стоим пьяные, готовые начать бой, ничто не мешало. Можно себе представить: кафельный колизей, двое пятидесятилетних мужчин ходят кругами, примериваясь, как сподручнее нанести первый удар. И? «Кончилось тем, что он сказал: нет, это унизительно — драться в туалете, я пошел. И он вернулся за стол. Уже потом, после „великой революции 91-го года“, я однажды увидел его в Переделкино, в каком-то „Мерседесе“, и порадовался за него: он получил все, о чем адепт Достоевского, не убий — мечтал: лимузин, ельцинский президентский совет».

«Россия, ты одурела!» — верно заметил прохановский оппонент; наступали новые времена, и почувствовать их Проханову пришлось много раньше, чем советскому плебсу.

Курьезное, но немаловажное для его карьеры происшествие случается в Кремле, на последнем в истории съезде писателей СССР, в июне 1986-го. Чернобыльского ликвидатора и афганского военкора, его усаживают не в зале, а на сцене, в президиуме, вместе с Горбачевым, Яковлевым, Распутиным, Карповым и прочими сикофантами из ЦК и СП: таким образом ему и всем прочим дают понять, что он вот-вот перейдет в новый статус. Одним из тех, кто собирался ввести Проханова в писательское политбюро, был Георгий Марков. «Высокая партийная требовательность, — бубнил Марков, успевший в 50-е вцепиться в загривок умирающему Пастернаку, а затем, в 1985-м, сдать в печать роман „Синегорье“ о молодом секретаре обкома, похожем на Горбачева, и, неудивительно, в 80-е стать главой СП СССР, — важнейшая движущая сила многонациональной советской литературы. Счастлив художник слова, которому… счастлив художник слова, которому… которому… счастлив художник слова, которому…». Неожиданно прямо на трибуне с этим номенклатурным долгожителем начинает происходить нечто странное: он надолго замолкает, повторяется, наконец, его ведет, он глухо стонет и заваливается на бок. «Чернобыль, который взорвался на съезде», — охарактеризовал Проханов инсульт первого секретаря. Начинается паника, вызывают «неотложку», с Маркова снимают туфли, его выносят. Съезд тем не менее должен был продолжаться. «Счастлив художник слова, — дочитывал доклад уже писатель Карпов, по личному указанию Горбачева, — которому будет дано выразить наше время, время крутого, переломного этапа истории». Сразу, собственно, стало понятно, какой художник слова теперь будет выражать время — и хозяйничать в Союзе писателей: за те полтора часа, пока зачитывался злополучный доклад, произошел переворот. Паузой, однако ж, успевает воспользоваться «хитрый» Александр Яковлев, который мгновенно произвел рокировку, касавшуюся Проханова. Последнего вычеркивают из списка кандидатов как мракобеса и антиперестроечника и насыщают его литераторами прогрессивно мыслящими, такими, как Генрих Боровик и Андрей Дементьев. Этот эпизод вполне тянет на отдельную конспирологическую теорию, и Проханов даже бормочет что-то насчет того, что, «может, это Яковлев распорядился подсыпать Маркову в стакан воды какую-нибудь специю».

К 1987-му уже напечатаны «Дети Арбата», к 1988-му — «Живаго», вовсю публикуют Платонова, Набокова и Булгакова. Тотальная либерализация общества — «сахаровские делишки», по выражению Проханова, — уже действовала как центрифуга, но на фотографиях с 50-летия — ресторан «Москва», февраль 1988-го —

мы еще видим, в последний раз, весь его литературный рой — Маканина, Кима, А. Гангнуса, О. Попцова, ту самую редакторшу из «Их дерева»… — в одном улье. Через год-два многие участники вечеринки — около двухсот человек — перестанут раскланиваться друг с другом, но пока что они гудят с Прохановым за одним столом и произносят ему здравицы. Он еще не выглядит испепеленным, как в начале 90-х, — весел, жизнерадостен, подтянут; даже за столом видно, что фигура у него, 50-летнего, по-прежнему могла бы впечатлить даже такого изысканного ценителя мужского атлетизма, как Б. Парамонов.

Ровно в тот момент, когда у окраинных ДК неформалы выклянчивают лишние билетики на премьерные показы «Ассы», а на окраинах Степанакерта азербайджанцы гоняются с ножами за своими армянскими соседями, Останкино транслирует на весь СССР «творческий вечер» А. А. Проханова, который рассказывает о своих замыслах, вспоминает об Афганистане, зачитывает отрывки из новых рассказов и отвечает на вопросы зала. Кто-то из зрителей, мужчина в полковничьей форме, спрашивает, не ранит ли его присвоенная ему демократами кличка «соловей Генерального штаба» — на что юбиляр отвечает: «Но ведь это Генеральный штаб Советского Союза, а не Соединенных Штатов Америки». В финале растроганный офицер подходит к нему и едва ли не со слезами на глазах рапортует: «Честь имею».

«Соловья» меж тем демонстрируют по телевизору не только по случаю юбилея, но и каждое воскресенье в 10 утра, он ведет милитаристскую программу «Служу Советскому Союзу!», которую к тому времени немного находилось охотников делать. Там он работает целый год, посвящая этому много времени, — даже на «Ассу» некогда сходить, — и тщетно, потому что от всего этого проекта мало что сохранилось в чьей-либо памяти. Разве что Андрей Проханов вспоминает, как отец возил его на учения на Кольском полуострове, где они снимали репортаж про морпеха, который до армии был типичным мажором, сыном чуть ли не ректора МГИМО, а затем все бросил и пошел в армию. В частности, там был эпизод «морпех снаряжающийся», удивительно напоминающий известную сцену в фильме «Коммандос», где Шварценеггер в течение десяти минут наводит марафет и обвешивается базуками; любопытное совпадение. Картину с участием будущего губернатора Калифорнии Проханов мог увидеть ни много ни мало в местах ее съемок, потому что в конце 1988 года, зампредседателя Комитета защиты мира, он отбывает в турне по Америке, которое не смогли испортить даже певуны Никитины, оказавшиеся с ним в одной делегации. Квартирует он в семьях — в Техасе, Калифорнии, Флориде и

Вашингтоне. В столице он читает лекцию про афганскую войну, на мысе Канаверал наблюдает запуск «Атлантиса»; в Техасе инспектирует тюрьму и реабилитационный центр, во Флориде бродит по аттракциону «Город будущего», но в отчете, напечатанном в «ЛГ», с непонятной окружающим твердолобостью долдонит: «Я не верю в слащавую парфюмерную дружбу двух гигантов, распростертых на разных половинах Земли».

Этот текст «Кто ты, middle American?», датированный маем 1989 года, — последний его текст в «Литературке», где именно в это время происходит его стремительная маргинализация. В коридорах уже можно встретить людей девяностых — молодых Ю. Гладильщикова, Б. Кузьминского, С. Николаевича, которые воспринимают нашего героя в лучшем случае как призрак замка Моррисвиль; у него крайне низкий рейтинг цитируемости, на роман «Ангел пролетел» анонсируют рецензии, но их так и не публикуют, его затирают в прессе, и даже друзья считают его последние романы «слишком скороспелыми». Именно от «Литературки», еще в 1986 году, когда его «И вот приходит ветер» вместе с «Прологом» Генриха Боровика участвовал в конкурсе на Госпремию СССР, он получил первый удар: газета помещает на одной полосе две рецензии, из которых становится понятно, что книга очерков «Пролог» — глубокое и выдающееся произведение, а «Горящие сады» сиюминутны и поверхностны. Это покоробило его чудовищно. «И вдруг такая дешевая распродажа», — сокрушается коллега Бондаренко. «Предательство — очень интересное состояние, человек должен пережить вероломство близких друзей, испытать ревность как огромную форму страдания. Газета, которой я служил верой и правдой, которую считал своей родной корпорацией, в которую я был встроен, тайны которой я знал, она в период горячей перестройки вдруг обрушилась на меня с жуткой критикой за то, что я ездил в горячие точки, был символом милитаризма. Я от этой сучьей газеты ездил туда, они оплачивали мне командировки, чествовали меня, публиковали меня полосами, я благодаря этой газете получил репутацию советского Киплинга — и она же ударила меня в спину. Я был ошеломлен. Я перестал ходить туда».

Критика посвящает ему не столько разгромные, сколько ироничные статьи, выставляющие его комическим графоманом-самоделкиным. Самый характерный текст принадлежит В. Матулявичусу; он опубликован под заголовком «Романы на конвейере» в журнале «Нева» (1987). Подобрав несколько анекдотичных цитат (типа: «Женщины, легчайшим шлейфом летевшие за его самолетом, были как бы ассистенты, помощницы,

свидетельницы его мастерства»), автор сопровождает их комментариями в том духе, что «это не пародия, а реальный текст». Проханова журят за «упрощенный подход к литературному произведению, когда при его оценке предпочтение отдается конъюнктурно понимаемой актуальности», и ставят ему на вид «снижение художественных критериев», «конвейерный способ производства», тогда как, — справедливо замечает критик, — «писательский труд — это штучная работа».

Судя по годовым обзорам отечественной литературы тех лет, остросовременные вещи в тот момент мало кого волновали — в словесность хлынули Платонов, Булгаков, Пастернак, и на полном серьезе критика рецензирует романы пятидесятилетней давности. В лучшем случае место уделялось Полякову и Каледину, но где уж «600 лет после битвы» было конкурировать с «потаенной литературой»…

Так и не научившийся скрывать свои симпатии к советскому, он становится неудобным, гротескным персонажем, и его начинают вытеснять из разных медиа — из редколлегии «Октября» (главный редактор которого, Ананьев, «очень быстро стал демократом»), из «Служу Советскому Союзу!» — где все материалы, кроме его собственных, фактически становятся антиармейскими. «Это тоже показалось мне формой предательства, потому что те режиссеры, это прежде всего женщины, которые меня пригласили, обожествляли меня, потом стали работать прямо в противоположном направлении. Как так может быть? Неужели вся эта риторика — армия, Родина — была не больше чем риторика, а сейчас появились хозяева, стали платить им деньги, и они стали делать другие вещи?».

В какой-то момент может показаться, что отдельные карьерные неудачи компенсируются респектабельными знакомствами и широкими перспективами. Еще в первой половине 80-х у него, обласканного прессой автора десятка романов, складываются прочные связи с аксакалами СП СССР — Чаковским, Марковым, Верченко. Последние двое готовят его в секретари Союза писателей СССР, это действительно очень высокий ранг, место в ареопаге верховных жрецов. У него завязываются очень хорошие — «неформальные» — отношения с партийным руководством, в частности с очень влиятельным идеологом Севруком, который в Афганистане руководил всей пропагандистской кампанией.

В придачу к статусной роли было бы нехудо обзавестись собственной деревенькой — занять пост главреда какого-нибудь журнала. Еще в 1984-м, после смерти патронировавшего его главного редактора «Знамени» Вадима-«Щит и меч»-Кожевникова,

он обозначил свои претензии на это козырное место, но, не в последнюю очередь благодаря усилиям завотдела прозы Н. Ивановой, получил от ворот поворот. Говорят, вы заблокировали главредство Проханова в «Знамени», это правда? «Я не знаю, насколько он мог стать, но слухи такие ходили. Я предприняла со своей стороны все, что могла, чтобы это не случилось. А что я предприняла, я рассказывать не буду. В результате он не стал главным редактором „Знамени“. А он считает, что это я заблокировала? Хорошо!».

В августе 1989 приказал долго жить Савва Дангулов, главный редактор журнала «Советская литература». Этот толстый ежемесячник был «динозавром, который уже в советское время пережил самого себя», он выходил на восьми языках — английском, венгерском, испанском, немецком, польском, французском, чешском и словацком; русская версия почему-то отсутствовала. Это агитационное издание должно было питать социалистически ориентированную культуру и литературу всего мира. Оно набивалось произведениями советских писателей соцреалистической ориентации, туда вкладывались цветные иллюстрации художников-соцреалистов, и все это распространялось бесплатно, субсидируемое государством и Союзом писателей. СП предлагает Проханову занять вакансию, его кандидатуру одобряет ЦК.

Явившись в редакцию, он словно проваливается в болото; сотрудницы «никогда не являлись на работу, что-то плели про какие-то рефераты». При Дангулове журнал считался синекурой для жен и дочерей мидовских и цэковских бонз, соблюдение офисных часов считалось необязательным, чаще всего сотрудники находились в загранкомандировках, осваивая имевшийся в распоряжении «Советской литературы» специальный валютный фонд. Проханов тут же устроил чистку, руководствуясь в своих решениях об увольнении не только компетентностью сотрудников, но и их убеждениями. В частности, он выпер оттуда жену могущественного академика Арбатова, демократа и друга Горбачева (мстя за это увольнение, Арбатов, на встрече Горбачева с главными редакторами в Кремле, процитировал собравшимся самые радикальные пассажи из очередной антиперестроечной статьи Проханова. По мнению последнего, это был прямой донос, но ответить ему в тот момент не позволили).

Первое, чем он занимается, — созданием русской версии: «на фиг мне заниматься этими тухлыми делами?» Разогнав «бабье царство», он комплектует редколлегию из старой гвардии: Афанасьев, Гусев, Ким, Личутин, Курчаткин. Журнал он требует называть «СоЛи», с ударением на втором слоге — «из

неповоротливого „Советская литература“ что-то такое французское», и даже меняет дизайн логотипа, особенно выделив первые слоги обоих слов. Имея возможность поехать куда угодно, он прочно окапывается в Москве, раздавая, впрочем, новым членам редколлегии элитные командировки в капстраны.

Первый прохановский номер выходит в январе 1990-го и открывается пламенным воззванием, по которому можно судить не только об авторской стилистике, но и об интеллектуальной атмосфере конца 80-х: «Журнал рождается в смутные дни… Культура предчувствует катастрофу… будем пристально исследовать контуры драмы… гибнут централистские структуры… сколько обломков — столько культур… остается идея Человека, Космоса, Абсолюта… будем фиксировать борьбу идей… армия рассекается… „дуга нестабильности“… будущее — какое оно?.. Кто сформулирует „компенсирующую идею“? Только культура… Истина, скорее всего, не на площади, не во дворце, не в научном центре, а в какой-нибудь закопченной баньке. Сидит, свесив кривые ножки, сосет палец».

В первом же номере предсказуемо реставрируется «Жизнь слепых» — с кооперативными очками евродизайна: протоиерей Лев Лебедев сосет палец, размышляя об иконах, коротающий последние свои парижские денечки Мамлеев окунается в Нигредо («Управдом перед смертью»); на что действительно трудно не обратить внимание, так это на странное интервью В. Огрызко с Л. Гумилевым. Последний, рассуждая об облучении Земли потоками космической энергии, обращается к теме мутаций и неожиданно осведомляется у своего собеседника: «Вы на каком этаже живете?» — «На втором». — «Комары беспокоят?» — «Пока нет». — «А нас уже беспокоят. Причем появились совершенно новые комары, которые летят и не жужжат, но очень больно кусаются. И я слышал доклад профессора Яблокова, который сказал, что в Ленинграде появились мутации комаров!». Как видите, нормы перестроечной журналистики расширились настолько, что допускают появление в печати ранее немыслимых неформальных элементов.

Экзотические инсекты были не единственной мутацией конца 80-х. Если Л. Н. Гумилева донимали бесшумные комары, то А. А. Проханов, наоборот, страдал от бесконечного жужжания, доносившегося из-под его окон. Там кафе «Лира» непостижимым образом трансформировалась в «Макдоналдс», куда слетались колоссальные орды истерзанных коммунистическим режимом граждан СССР. Спустился ли он со своего Олимпа, чтобы заказать полдюжины макнаггетсов? Ни боже мой, и даже наоборот: вместе

с «единомышленниками» организовал и возглавил первую в СССР антиглобалистскую демонстрацию: с плакатом «Долой гамбургеры!» домаршировал от памятника Пушкину до собственного подъезда. Что конкретно его не устраивало в «Макдоналдсе»? «Это был символ либеральной демократической экспансии, а я был по другую сторону». «Война символов», «очень смешно» и «контркультура», уточняет он смысл своей акции. Пушкинская площадь еще и до всякого «Макдоналдса» стала советским Гайд-парком, где чуть не 24 часа в сутки бурлили непрерывные митинги. Там, где сейчас фонтан, все кипело людьми. «Товарищи евреи! — кричал в мегафон национал-патриот Осташвили. — Убедительно прошу вас, уезжайте из России». Ему, со своего ящика из-под мыла, отвечала Новодворская: «Вы — фашисты. Вас нужно судить Нюрнбергским трибуналом!».

Этот Осташвили околачивался не только перед прохановскими окнами. 18 января 1990 года вместе с экстремистами из общества «Память» он врывается в ЦДЛ на вечер писательского объединения «Апрель». Тот рейд был одним из самых громких скандалов перестроечной эпохи: писатели в тот момент были авангардом общества, и все с ними происходившее вызывало большой резонанс. По мнению Проханова, группа «Памяти» «просто вошла в зал» с целью сорвать вечер «Апреля» «не то в защиту евреев, не то антифашизма» — «без драк и факельных шествий», «просто пришли базарить, как лимоновцы». Знаменитый инцидент с демократически ориентированным литератором Курчаткиным, коллегой Проханова по клубу «40-летних», в его версии выглядит следующим образом: «он был в очках, и то ли ему по шее двинули эти „памятники“, эти очки упали, и по ним прошлись, их раздавили». Надо сказать, эти события известны и в другой версии. «Это был настоящий черносотенный погром… Осташвили кричал в рупор: „Жиды, убирайтесь в свой Израиль! Вы не писатели — писатели Распутин, Астафьев, Белов. Мы в своей стране, а вы — пришельцы… Сегодня мы пришли с мегафоном, а в следующий раз — с автоматом“. Молодчики из общества „Память“ выламывали руки пожилым женщинам, били по лицу мужчин» (Матусевич, «Записки советского редактора»).

Осташвили был арестован, чтобы — в первый и последний раз в России — предстать перед судом на процессе об антисемитизме. Общественным обвинителем был Черниченко, курчаткинские очки демонстрировались на этом Нюрнберге как улика, свидетельствующая о наступлении русского фашизма. Осташвили получил срок; в апреле 1991-го его нашли в удавке в

нужнике — «по заказу», считает Проханов. Это сомнительное самоубийство произвело на него «ужасное впечатление». В высшей степени сочувственное отношение к Осташвили, имя которого всеми известными лично мне людьми в тот момент употреблялось как абсолютный синоним слова «Гитлер», дает представление о стремительно меняющемся круге его общения тех лет. Неудивительно, что злосчастного Курчаткина выставляют из редколлегии «СоЛи», в то время как уцелевшие всячески демонизируют своего экс-коллегу на каждой планерке как «человека, из-за очков которого повесили Осташвили».

В чем вообще состояла редакционная политика «СоЛи»? «Я должен был печатать то, что появлялось в ту пору в литературе, то есть работы скорее перестроечные, других просто не было. Тут же пошли гневные отклики из-за границы от старых коммунистов, которые восприняли перестройку как крушение их идеалов. Но поскольку это было брюзжание людей, получавших журналы бесплатно, я продолжал гнуть свою линию; были отказы от печатания в журнале».

Интересно свидетельство Дугина о тех годах. «Своим знакомством с Александром Прохановым я обязан Юрию Мамлееву… Вернувшись из глупой эмиграции в перестройку, крестясь на фонарные столбы и облизываясь на любимые русские московские лица, как на пасхальные яйца, Мамлеев своим классическим полушепотом сообщил мне в конце 80-х: „А вы знаете, Саша, что Проханов „наш“…“ „Как „наш“?“ — удивился я. Мне казалось, что он по ту сторону баррикад, кадровый, человек, покорно и безропотно обслуживающий догнивавшую Систему. „Проханов же — просоветский писатель, а эти писатели должны быть повешены на фонарях, они погубили великую Россию“, — я был антикоммунистом тогда. „Нет-нет, вы ошибаетесь, — продолжал уверять меня Мамлеев, — он все-таки „наш“, „потаенный“, „обособленный“… „Проханов любит Россию, он хороший, давайте познакомимся“. Я поверил Юрию Витальевичу и пошел в журнал „Советская литература“ к Проханову“. Там сидел Александр Андреевич, и знакомились мы с ним странно, с легким наездом. Он был такой советский начальник, а я — молодой человек, ничего не опубликовавший в российской прессе. Он говорит: „Я главный редактор“. — „А я Дугин“, — и думаю, что б еще сказать. И говорю: „Я друг Мамлеева“. Тут Проханов как-то подумал и говорит: „И я друг Мамлеева“. И это нас уравняло: мы — друзья Мамлеева. Он, будучи всем, а я никем, быстро стали на равных. Мне было весело, и ему, по-моему, тоже».

«Я помню, у него на пальце был исламский, суфийский перстень, который он снял с какого-то заколотого или повешенного моджахеда в Афганистане. Я на него обратил внимание и спросил: „Вы же воевали на стороне безбожной атеистической советской государственности… интернациональный долг… что вы носите, так сказать, регалии совсем другой линии, традиционного общества, которое воевало с вами?“. На что он, как-то так присвистнув, сказал: „Мне и те и те нравятся“. Это меня очень поразило, он уже тогда мыслил в категориях не белых и не красных, над врагами и друзьями».

«После нашей встречи я смутно почувствовал, что Мамлеев был прав».

Второй номер был почти целиком «афганским», гарнирующим повесть главного редактора «Знак девы». С третьего Проханов затевает раздел «Атлас идеологий» — жанр, который через десять лет в глянцевых журналах будет называться «гид»: «очертить ландшафт нашего бурного полифонического общества… молодая поросль, под которой — особая экология». Он хочет продемонстрировать, что под советским куполом находилось множество воззрений — «неосоциализм, русская идея, еврейская версия, централисты, технократы, утописты, шаманы, экологисты» и другие — сформулировать эти идеологии, показать, как они выглядят в позднесоветском контексте, привлечь для интерпретаций этих идеологий их носителей. Одна из «идеологий» называлась «Оборонное сознание», для ее объяснения печатался диалог главного редактора с О. Баклановым — о конверсии, разоружении, военных проектах позднего СССР. Еще здесь есть интервью Проханова с Варенниковым, интервью с «концептуалистом» О. Трезом — «исследование социальных проблем, взгляд на текущий в СССР процесс чрезвычайно жесткий, я бы сказал, катастрофический». Дугину Проханов предложил напечатать статью «Конец пролетарской эры», где тот излагал «традиционалистские» соображения относительно сроков окончания советского периода. Дугин уверяет, что в 1989 году эта статья не могла пройти нигде ни при каких условиях. Александр Андреевич, опубликовавший ее, поразил молодого эзотерика: «это был жест по тем временам немыслимой дерзости». Позднее в «СоЛи» была напечатана статья Дугина «Континент Россия».

Рассматривая журнал — по дизайну, кстати, нагло содранный с «Иностранки» — 15 лет спустя, можно сказать, что Проханову

удалось сделать очень приличное издание: тут были важные романы («Раскол» Личутина), эффектно спроектированный раздел «Атлас идеологий», адекватные ситуации антологии современного рассказа, яркая критика. Очевидно, что «СоЛи» была не чем иным, как первой версией газеты «Завтра»; тем интереснее обнаруживать здесь имена людей, не вполне ассоциирующихся с красно-коричневым дискурсом. В № 4 видим статью Дины Годер об альтернативном театре, в № 7 — заметку Михаила Трофименкова про параллельное кино (где, в частности, привет Пелевину, заканчивающему в тот момент Литинститут, упоминается группа «Чепаев», гибрид Че и Чапаева. «Приняв фильм братьев Васильевых „Чапаев“ за каталог фантомов советского коллективного бессознательного, они стараются найти адекватное воплощение мифам тоталитарной эпохи»), тут же — размышления будущего главреда «Нового мира» А. Василевского, в № 12 — главреда «Знамени» С. Чупринина. «СоЛи» производит впечатление, в смысле формы и интонации, не столько перестроечного, сколько авангардного журнала, в нем не чувствуется либерального угара, не зря Проханов где-то уже тогда замечает: «впору создавать „Атлас ошибок перестройки“».

В какой-то момент, однако ж, он охладевает к «СоЛи» — мутировавшие комары профессора Яблокова к тому времени обнаглели окончательно, и бить их проще было гибкой газетой, а не литературным толстяком с трехмесячным издательским циклом. К тому же тормозилось финансирование, разваливались распространительские структуры для иностранных изданий; неудивительно, что в 1991-м, года через полтора после призвания туда Проханова, «СоЛи» благополучно загнулась.

Затея возглавить писательскую организацию не оставляла его: ему было интересно поиграть и в эти игры тоже, иметь в своем резюме, среди прочих, еще и пункт «советский вельможа». Вошедший в 1985-м в состав правления СП РСФСР и уже весной 1987-го подумывавший о том, чтобы стать первым секретарем московской писательской организации, он в конце

1990 года пробует выдвинуть свою кандидатуру на пост первого секретаря «бондаревского» — его возглавлял Юрий Бондарев — СП РСФСР. Но и тут его переиграли. Сам он рассказывает о том, как «завяз в чужой интриге», крайне неохотно, расплывчато, по-чичиковски — «пострадал на службе за правду»: «меня окружили вниманием… потом возникли силы… раскол… Распутин меня обманул; Распутин был секретарем Союза, сначала он оказывал мне поддержку: „да, да“, а потом в последний момент переговоры… „нет, нет“». «Мы сидели день, ночь, уговаривали, предложили мне, обещали поддержку мне…

Такое вероломство… Утром я пришел на съезд, думая, что все решено, а на самом деле вклинилась другая интрига… меня провалили там… Если бы я шел один, собрал бы все необходимые голоса. А тут вбросили другого человека, который расколол мой фланг, оттянул на себя часть голосов…» Словом, замом Бондарева стал прозаик Б. Романов, а Проханов остался на бобах. Более того, перед ним была поставлена альтернатива — делать новую газету или оставаться главредом «СоЛи». Проханов сдает журнал.

В 1989-м он сближается с цэковским ястребом Олегом Бакланов: тот занимал пост секретаря ЦК, зампредседателя совета обороны, отвечал за ракетные пуски, курировал проект «Буран», был технарь и «государственник до мозга костей». Любой из этих должностей было достаточно, чтобы привлечь к нему внимание Проханова, так что в какой-то момент он принялся набиваться к нему на интервью. В брежневские времена это было, пожалуй, утопией, но в перестройку даже самые консервативные политики искали паблисити, так что тот, через помощника, откликнулся. Бакланову понравилась компетентность Александра Андреевича и его «пламенные гуманитарные спичи» — они не то что подружились, но сблизились, до такой степени, что министр стал включать журналиста в состав официальных делегаций. Так вместе с Баклановым они совершают финальный grand tour по отдаленным провинциям империи: в Берлине инспектируют вывод Западной группы войск, на Новой Земле присутствуют на испытании ядерной бомбы, в Томске заезжают на секретное уранообогатительное предприятие, в Афганистане встречаются с Наджибуллой, на Байконуре смотрит на запуск «Бурана». Он наблюдает распад воочию. Афганцы умоляют возобновить поставки масел, томские ядерщики жалуются на дефицит финансирования, у Бранденбургских ворот их хватают за руки преданные агенты «Штази», и где-то поблизости бродит Анна Серафимова, несколько месяцев назад явившаяся в военкомат с просьбой отправить ее преподавать русский язык в Западную группу войск.

Тогда Проханов не заметил будущую сотрудницу газеты «Завтра»: у него и так слишком много новых знакомств. Бакланов, сам того не осознавая, вводит его в среду будущего ГКЧП — по прилете из Сибири они знакомятся на аэродроме с Пуго, Бакланов переговаривается в его присутствии с Болдыревым, Крючковым. Он чувствует: что-то завязывается. «Бакланов доверял мне свои печали, свои предчувствия конца, в самолете он очень часто переводил разговор из политической сферы в космогоническую; он для меня был неожиданен тем, что он

чувствовал какую-то мистику бытия, тяготился невозможностью понять, что присутствует что-то иррациональное в мире, впадал в какой-то странный, несвойственный коммунисту той поры мистицизм».

Кургинян вспоминает, как «осенью 1990-го… по столице на „Москвиче“ колесил несильно мне знакомый Проханов, совершенно не замшелый и не погромный (как его хотят представить) журналист и политик, близкий ВПК и армии и мыслящий не реставрационными образами, а идеями мобилизационного почвенно-технократического развития. Он дружил с Баклановым и начал убеждать его встретиться с Прокофьевым и Шениным, которым Бакланов не особо верил».

С Баклановым я разговаривал в январе 2005 года; до киевской оранжевой революции оставалось около месяца, и я знал, что у «космического пессимиста» были какие-то отношения с Януковичем. Бывший член ГКЧП похож на генерала Гоголя из «Бондианы»: мумия из отделения гериатрии кремлевской больницы. Он долго мурыжил меня по телефону («Так, записываю ваш телефон рядом с Прохановым: гордитесь»), назначил мне свидание в каком-то странном учреждении: внизу торгуют плиткой, а сверху — явно какой-то секретный военный институт: пропуска, женщины в офицерской униформе чуть ли не космических войск. Во время разговора к Бакланову то и дело заглядывали какие-то молодцеватые делопроизводители, а он подмахивал им бумаги и выглядел скорее как человек, отдающий распоряжение о запуске челнока «Буран», чем о поставке партии испанской плитки. После долгих расспросов о степени моей лояльности Проханову он, в режиме монолога, с брежневскими интонациями и паузами, зачитал по бумажке трогательно подготовленный заблаговременно текст. Главной его мыслью было то, что Проханов — Данко. «Про Данко сказал… про фантаста сказал… про технику сказал»… — бормотал он, восстанавливая дыхание между пунктами. Бакланов оказался вовсе не монстром, и я благодарен ему за то, что он уделил мне двадцать минут, но, глядя на него, испытываешь известное удовлетворение от того, что ГКЧП теперь не в Кремле, а над салоном керамической плитки.

Во всех тех командировках Проханов не только пел величальные песни СССР, но и «тюкал» (объем словаря Александра Андреевича решительно стремится к бесконечности) своего высокопоставленного патрона за нерешительность: страна неуправляема, все идет к катастрофе — и наконец, в декабре 1990 года, дотюкал до того, что тот поручил ему сочинить текст обращения к Горбачеву с требованием ввести чрезвычайное

положение; это было так называемое Письмо Пятидесяти Трех, подписанное крупнейшими управленцами, военными, политиками, директорами оборонных заводов. Письмо, однако ж, не прозвучало так, как спустя полгода «Слово к народу», потому что, объясняет Проханов, возникло внутри элиты и обращалось к Горбачеву как гаранту сохранения страны, способному спасти положение.

Советская империя тлеет со всех сторон. И ладно бы только Чехословакия и ГДР: короткие замыкания возникают теперь и внутри границ СССР — в Закавказье, Прибалтике, Средней Азии. 2 апреля 1989 года генерал Родионов, знакомый Проханова по Афганистану, отдает в Тбилиси приказ своим солдатам стрелять в агрессивно настроенную толпу, собравшуюся на «демократический митинг» (о чем незамедлительно отчитывается в «СоЛи»); летом в Фергане узбеки громят месхетинцев, на этот раз при бездействии армии. Генералы пытаются удержать трещащую по швам страну — но еще не знают, как лучше — силой или неучастием в локальных конфликтах.

Несколько раз Проханов приезжает на Кавказ — впервые весной 1988-го как корреспондент «Литературки», сразу после первых погромов в Горисе (Армения), Сумгаите (Азербайджан) и Степанакерте (Нагорный Карабах), его материал называется «Я был в Степанакерте». Что там все-таки происходило? Все это были места, где компактно проживали представители армян и азербайджанцев. Так, Степанакерт был армянским городом, но в 10 км, выше, в горах, находился поселок Шуша, где традиционно селились азербайджанцы. Стоило только начать — и тут же бурлило все, выталкивались волны беженцев, которые не всегда могли отомстить дома, но были менее скованны на новом месте, так, азербайджанцы, согнанные армянами из Гориса, приезжали в Сумгаит и громили там армян; верно и обратное. В понятие «громить» входило не только причинение вреда имуществу, но и убийства и изнасилования. Когда федеральные войска вмешивались, их обвиняли в том, что они помогают какой-то стороне; когда не вмешивались — в преступном попустительстве. Вменяемый корреспондент столичной газеты, который был в состоянии описать происходящее, был здесь очень кстати, и поэтому ничего удивительного, что за пару лет Проханов оказывается в этих местах трижды.

В декабре 1988-го он, уже по армейской линии, прилетает в Ереван, где наблюдает первые столкновения на национальной почве и, среди прочего, знакомится — посредством звонка в Тбилиси, маршалу Родионову, — со своим будущим другом Альбертом Макашовым, который в тот момент был военным

комендантом Еревана и, по приказу Горбачена, пытаясь препятствовать эскалации конфликта, швырнул в Бутырку семерых из одиннадцати членов Комитета независимого Карабаха. Чтобы проехать в Карабах — зону конфликта, Макашов предоставил Проханову автомобиль и конвой и — они уже тогда понравились друг другу — даже вышел проводить его в опасный путь. В окрестностях Степанакерта Проханов нелегально — «по агентурной линии» — является на рандеву с Робертом Кочаряном, сегодняшним президентом Армении, а на тот момент оппозиционером, за которым охотились советские спецслужбы и сам Макашов. На убитых «жигулях» Кочаряна, скрываясь от прохановских друзей, они носятся по горам, заезжают в тихие харчевни «с тихими загадочными армянами: я думаю, что в подполье было оружие». Там они пьют вино и беседуют; «помню, что Робику, которым был очарован, сказал: „Сулю вам большое будущее, вы будете президентом Армении“. И это мое предсказание сбылось». Кочарян, впрочем, вызвал у него и известное раздражение — своей репликой о том, что русские не способны на тонкую работу, только сталь варить и нефть добывать. Проханов был не тот собеседник, который мог проглотить такого рода замечания, не поморщившись.

После 1 декабря 1989 года между Арменией и Азербайджаном начинается полномасштабная война, и Проханов летит в Баку, где наслаждается обществом своего давнего приятеля и бывшего хозяина Кармаля и Наджибуллы В. Поляничко, который в тот момент был серым кардиналом (вторым секретарем компартии) Азербайджана. Там же он сначала принимает участие в операции по вызволению осажденного в Степанакерте пехотного полка, в том числе офицерских жен и детей, а затем перемещается в Баку, на прием к Алиеву, который, страдая от отсутствия собственных внутренних войск, собирался, по слухам, создать корпус из русских наемников, ландскнехтов, целью которых было добить армян в Карабахе. 14 января 1990 года по Баку прокатываются армянские погромы, а 20-го Язов вводит туда советские войска, оставляющие после зачистки 130 трупов.

Проханов еще раз встречается с Поляничко, который вел там реальную войну и «смотрел на него умоляющими глазами, прося поддержки, потому что его уже начали мочить здесь». «И я оказал ему информационную поддержку. И потом таким образом наша дружба с ним завязалась и продолжалась вплоть до его убийства под Владикавказом в 92-м году».

В тех местах было на что взглянуть, и Проханов привозит туда, в Карабах, в Шушу, в Гянджу, группу писателей: показать им

конец советской эпохи на окраинах империи. Помимо собственно армяно-азербайджанской бойни, здесь творится нечто невообразимое с колониальным корпусом: туземцы нападают на армейские гарнизоны, в массовом порядке расхищают имущество, минируют дороги, насилуют офицерских жен, а милиционеров и летчиков линчуют зверским способом: закатывают в баллоны от тракторов или «КАМАЗов» и сжигают заживо.

Именно тогда они заехали в «родовое гнездо» Прохановых — Русские Борисы. Любопытно, что туда их закинули на вертолете, а обратно им пришлось выбираться на автомобиле — непростая задача, поскольку после русской деревни начался этнический слоеный пирог, армянские населенные пункты чередовались с азербайджанскими. Это были враждующие станы, и потому каждое село ощетинилось блокпостом из добровольцев. Чудом они выбрались оттуда невредимыми и оказались в Гяндже, откуда тоже было не так просто уехать. Там была расквартирована дивизия ВДВ, которой командовал генерал Сорокин — поразивший Проханова своими гигантскими «десантными» кулачищами, особенно колоритный в тот момент, когда кто-то из литераторов робко преподнес ему свою книжечку стихов.

Выяснилось, здесь же находился и генерал Варенников, тоже старый афганский знакомый Проханова. Тот прорвался к нему, они обнялись. Между тем оказалось, что где-то в тех же краях из Баку в Москву пролетал самолет с десантниками, усмирявшими бакинские события, они ехали на побывку; и почему бы им, спросил Проханов, не помочь «цвету русской литературы», который «загибается» и который «во что бы то ни стало надо вытаскивать». По личному указанию генерала самолет изменил курс, чтобы взять писателей. Поднявшись на борт, сочинители обнаружили несколько десятков пятнистых людей, крайне недовольных тем, что из-за неведомо кого машина изменила курс и, подвергаясь опасности, вынуждена была приземлиться. На этом борту Александр Андреевич впервые встретил людей, которые позже сыграют в его жизни определенные роли. Во-первых, его соседом оказался офицер по фамилии Лебедь, поразивший писателя «своей странной антропологией» (имеется в виду, по-видимому, физиономия будущего секретаря Совета безопасности) и культурным потенциалом — он читал в дороге книгу мемуаров Деникина, неочевидный по тем временам выбор для офицера Советской армии. Разговаривали ли они о чем-нибудь? «Мы обменялись незначительными фразами», — говорит Проханов с интонацией человека, который уже тогда знал, что его сосед подпишет «позорные» Хасавюртовские соглашения.

Другим попутчиком оказался майор Павел Яковлевич

Поповских, тот самый, который позже будет обвинен в убийстве Холодова; на этот раз они не познакомились, но офицер запомнил литератора.

До сих пор, встречаясь с писателями, сопровождавшими его в той поездке, они вспоминают курьезный случай: на взлете их стали обстреливать красными трассерами. Какой-то военный писатель наивно спросил: «Что это за красные такие звездочки?» На что Проханов ответил: «А это пилот курил сигарету и выбросил — красный свет». «Мне хотелось включить писателей в военное боевое противостояние». Ему это удалось, но сил донести свои впечатления до читателей у этих литераторов не было, потому что печатались они в журналах вроде «Молодой гвардии», которые выписывали проститутки из ранних пелевинских рассказов, чтобы хранить там валюту, зная, что уж в них-то точно никто никогда не заглянет.

Неудивительно, что по мотивам увиденного апокалипсиса он пишет статьи типа «Трагедия централизма» («ЛитРоссия», январь, 1990) — где возникает образ СССР как Луны, вырванной из Земли, которую теперь пытаются вернуть обратно, прикрепить к уже другой, по сути, планете. Надо сказать, сейчас все шесть параграфов статьи, посвященные анализу «оргоружия», либеральных мифов (свободная экономика, Европа — наш общий дом и проч.), и прогноз о том, что произойдет с Россией вследствие ослабления, производят жуткое впечатление — непонятно, каким образом он мог знать все это еще тогда: сбылось все, по пунктам.

«1990 год был годом великого замеса». На пространстве страны разворачивался гигантский социальный эксперимент. Рекордный урожай пшеницы и овощей оставлен гнить на полях. То, что было собрано, накапливается в закрытых распределителях в ожидании введения рыночных цен, где благополучно и сгнивает, вызывая искусственный товарный, и в особенности табачный, дефицит. С другой стороны, КПСС и КГБ, используя свой организационный опыт, лихорадочно формируют движения и партии. Из распадающейся туши СССР искусственно выделяются разного рода организмы, через которые, предполагалось, можно будет управлять обществом в новых условиях: либеральные, русско-патриотические, консервативно-советские. Проханов рассказывает о том, как Крючков сформировал в 1990-м ЛДПР. Национально-патриотическим блоком занималась партия. В здании ЦК были собраны лидеры патриотических организаций и, разумеется, Проханов, перспективность которого становилась очевиднее с каждым днем: не член КПСС, с безупречной репутацией, абсолютно лояльный

советским ценностям. Чуть позже партийные функционеры обращаются к нему с просьбой создать координационный комитет патриотических сих России и провести учредительную конференцию в Октябрьском зале Дома советов.

На одном из последних советских митингов, организованном будущими гекачепистами в пику демократическим манифестациям, он знакомится с председателем КГБ Крючковым. На затянутую осенним туманом Манежную площадь были выведены переодетые в штатское офицеры из академии, приветствовавшие ораторов рукоплесканиями. У гостиницы «Москва» сколотили трибуну, под которой находился закрытый накопитель, где мариновались дожидающиеся своей очереди выступать. Среди них был и Александр Андреевич, которому предложили произнести речь; его представили организатору мероприятия — Владимиру Александровичу Крючкову. Тот успел сказать ему несколько слов.

В 1990-м умирает Воронов, главред «ЛГ», сменивший в свое время Чаковского. Уже при нем автора «Дерева в центе Кабула» начинают поливать грязью, но до открытых оскорблений все же не доходило, и он мог еще триумфально вернуться в родное издание. И вот он — при его-то обаянии, опыте публичных выступлений и биографии, при том, что на его кандидатуре настаивал совет старейшин СП — умудряется проиграть выборы главреда «Литературки». Секретариат — около шести десятков выборщиков — с небольшим перевесом отдал голоса Ф. Бурлацкому. Почему? «Ко мне относились с подозрением даже мои коллеги, Бондарев и другие». Демонизация Проханова «демократами» достигла такой степени, что, по свидетельству журналиста А. Иванова, «например, даже простого участия Александра Ципко в одной телепередаче с ним, в которой оба собеседника вполне корректно спорили, было достаточным, чтобы Ципко был вычеркнут из „демсписков“ на выборах в Верховный Совет РСФСР». Примерно в это же время происходит скандал вокруг публикации книги Светланы Алексиевич про Афганистан «Цинковые мальчики», и везде, по смежности, возникает и его имя (и даже до сих пор, в предисловиях говорится о том, что книга якобы вышла, «несмотря на противодействие „соловья Генштаба“», хотя он вообще не имел к этому отношения): пока Алексиевич и с ней весь народ рыдает над гробами, он ездит в Афганистан любоваться на эти самые гробы, наслаждаться кровью «наших мальчиков».

Объект травли демократической прессы, проигравший четверо выборов подряд — в секретариат СП СССР, СП России, в главреды «Знамени» и «ЛГ» — он, не исключено, испытывает

комплекс неудачника, хотя сейчас вспоминает об этом всего лишь как о «некоторых замедлениях в продвижении по писательской линии». «Это небольшие поражения, не крушения».

Одним из тех, кто поддерживал его на выборах в «ЛГ», был ставший после марковского инсульта главой Союза писателей СССР Владимир Васильевич Карпов, в высшей степени боевой человек и автор макулатурных, склеенных из недопереваренной документалистики романов про маршалов и полководцев. Сначала он был очарован Горбачевым, но, довольно быстро поняв, к чему это ведет, изменил свою точку зрения на генсека, и на пленумах ЦК (он стал членом ЦК) стал выступать с критикой горбачевской политики, с очень тревожными вещами, и впал в немилость в последние годы. Естественным образом Карпов стал сочувствовать консервативным тенденциям в литературе. Он не смог протащить Проханова ни в секретари, ни в главреды «Литературки», но ему требовался доступ к аудитории, инструмент общественного давления, которым «ЛГ» теперь, при Бурлацком, не могла быть: некогда полицентричная, она «взбесилась, вышвырнула из своего актива всех „почвеннических“ и „советских“ писателей, стала едкой, одномерной газетой либерального направления».

Карпов решил исправить эту несправедливость, учредив другую газету, нелиберального направления. На должность главреда он пригласил Проханова. Его утвердили на этот пост съездом Союза писателей, утверждение ЦК к тому времени уже не требовалось. Назвать ее решили «День», может быть, потому, что так называлась газета славянофила Ивана Аксакова. Газету пришлось делать с нуля — не было ни отдельного бюджета, ни даже офиса — на производственной базе «Литературки». В комплексе на Цветном бульваре ему дали комнату и выделили минимальные средства.

Пилотный номер вышел в декабре 90-го года, а настоящий первый — в январе 91-го. «День» производит впечатление откровенно сумасшедшей газеты с ужасным таблоидным, с зигзагообразной версткой, дизайном, внутри которого вдруг возникали странные массивы — какие-нибудь гигантские интервью, иллюстрированные плохими фотографиями каких-то пыльных упырей за номенклатурным столом и пикассианскими черно-белыми рисунками В. Александрова. Передовиц здесь не было, а самым популярным жанром были эсхатологические статьи, над которыми тогда, надо полагать, «вменяемые люди» крутили пальцем у виска; теперь, конечно, озадачивает то, насколько много прогнозов оправдалось, в том числе и про то, кто каким останется в народной памяти.

Официально «День» финансировался издательством «Литературная газета», которое, в свою очередь, состояло на балансе Союза писателей. Ровно в этот момент улицы стали прорастать коммерческими ларьками, и Союз писателей оторвался от издательства. «Некоторое время я был в долгах перед „ЛГ“, там был очень сложный хозрасчет, у меня не было возможности развиваться, я наскребал деньги со стороны, чтобы покрывать свои долги перед издательством». Что значит «наскребал денег со стороны»? «Нам помогала армия». Вспомнив о своих хороших отношениях с Язовым, он, на правах главреда газеты, занимавшейся актуальной политикой, явился к нему на прием, обрисовал картину катастрофы, намекнул, что отчаянно нуждается в средствах — и тот «подарил нам два или три КАМАЗа, которые потом были проданы». Деньги пошли на редакцию, и еще на них было основано раскольничье издательство «Палея», до сих пор, кстати, цепляющееся за жизнь. Минуточку, а как это — «проданы КАМАЗы»? «Армия тогда освобождалась от имущества, шла конверсия, разоружение, распродажа, и под видом списанных, а может, они и были списаны, он их нам подарил».

Летом 1991-го, тоже после разговора с Язовым, его приглашает к себе в кабинет — тот самый, где сидел когда-то Троцкий и который потом будет описан в «Господине Гексогене», — главный финансист армии Бабичев. Надо полагать, Проханов убалтывает его, и тот подписывает платежку о передаче «Дню» «очень круглой суммы». За помещением Проханов пошел к генералу армии Варенникову в штаб сухопутных войск, на Фрунзенской, того не пришлось долго уламывать, и он подарил модуль, длинное солдатское помещение на Крутицком подворье, рядом с Московской гарнизонной гауптвахтой, значившееся на балансе Министерства обороны. Солдаты в течение недели сделали там ремонт, была закуплена новая мебель, двери кабинетов украсили медными табличками, в этом новом офисе даже прошло несколько редколлегий. Местоположение редакции тщательно скрывалось от посторонних и только в сентябре 1991-го, после путча, было обнаружено корреспондентом конкурирующей «Литературки». «Тайна, связанная с действительным адресом редакции „Дня“, хранилась столь строго, словно речь шла по крайней мере о военном сверхзасекречнном объекте, имеющем стратегическое значение», — иронизирует автор и дальше решает сообщить — ну и ну! — какие-то совсем уж неправдоподобные слухи: «Поговаривали, что ВПК снабдил редакцию мощным компьютером».

Взамен весь 91-й год газета предоставляет политическое убежище консервативным силовикам. Словно нарочно педалируя свою репутацию «соловья», он регулярно посещает соответствующее учреждение, где беседует с Язовым, Варенниковым, Баклановым, Родионовым, Чернавиным, открывая газетные отчеты о встречах с людьми, которые могли похвастаться репутацией вешателей, торжественными реляциями: «Мы собрались сегодня в вашем великолепном кабинете под хрустальными люстрами». Командующие округами, генералы Министерства обороны, Главком сухопутных войск признаются ему в самых теплых чувствах. «Это была очень тяжеловесно-советская компонента газеты, но было там и много игры, много такой уже начинавшейся фантасмагории».

Все эти «вешатели» — генералы и министры — были на самом деле всего лишь неповоротливыми, по прохановским меркам, истуканами, но в качестве исходного материала годились и они, так что он лишь додумывал за них то, чего они не могли сказать. Он представляет их как немых египетских исполинов, «жрецов советской цивилизации», разрабатывающих проекты новой континентально-космической цивилизации, основанной на сочетании духовных, почвенных и метафизических традиций Евразии с ультрасовременной техникой, космической стилистикой и с глобальной системой «новых коммуникаций». Вместе с Дугиным они изобретают за этих «жрецов» стратегию и идеологию метафизических «звездных войн». Якобы футуристы-почвенники из Генштаба, зная об американской модели Космоса и «звездных войн» (имеется в виду будущая космическая эра как торжество англосаксонской идеи во всей Вселенной), собирались противопоставить ей евразийскую — образ Русского Рая, спроецированный на всю Галактику.

Летом 1991-го газеты «День» и «Советская Россия» дают совместный залп по либеральной камарилье, публикуя документ «Слово к народу». Эта «вдохновенная проповедь», обращающаяся ко всем советским сословиям с требованием одуматься, прекратить развал страны и организовать движение сопротивления, подписана множеством имен: Бондарев, Распутин, Варенников, Зюганов, Стародубцев, Зыкина, Клыков; подлинным автором ее был Проханов. То был не первый его опыт создания подобных текстов: незадолго до «Слова» он был приглашен на закрытое партийное совещание, которое вел Медведев, идеолог Горбачева, а в президиуме сидел Яковлев. Когда пришла его очередь выступать, он, еле сдерживая истеричные нотки, сообщил коммунистам, что те ведут страну к катастрофе, грядут страшные времена, и ответственность за это будет лежать на них. Зал

настороженно помалкивал, но в кулуарах к нему подходили партийные бонзы и пожимали ему руку.

Ельцин презрительно дезавуировал «Слово» как «плач Ярославны», и, боюсь, трудно было выразиться о нем точнее и остроумнее. «Слово» — образчик плохой риторики: сплав речей Сталина («братья и сестры»), какой-то зощенковской лингвистической архаики («государство, без которого нет нам бытия под солнцем», «все кто ни есть», «из коих»; чувствуется золотое перо главкома Варенникова) и фразеологических («становой хребет», «цепная реакция», «вбиваюттромбы»), эмоциональных («Россия — единственная, ненаглядная») и образных («дом наш уже горит с четырех углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью») прохановизмов. «Его правили, какие-то там куски вымарывали, каждый подписант вносил туда свою лепту, портил музыку текста, но тем не менее основной дух сохранился».

Болдин, бывший сотрудник «Правды» и будущий гэкачепист, дал автору понять, что одобрил это письмо и сделает все, чтобы оно прокатилось по парторганизациям страны. Вообще-то это было небывалым нарушением субординации — обратиться к народу через голову Генсека, но к тому моменту в партии уже было несколько центров власти — Горбачев, Ельцин, Лигачев, Яковлев — и активно разрабатывалась стратегия политического плюрализма. Кроме того, «Слово» не могло быть расценено как призыв к расколу, потому что инициатива исходила от самой партии, представленной Зюгановым, в тот момент сотрудником идеологического отдела ЦК, который и явился к Проханову с просьбой дать манифест.

В первые недели после публикации казалось, что единственным эффектом «Слова» было то, что все подписавшие документ добровольно украсили себя несмываемым клеймом мракобеса. Предполагал ли он, что «Слово» сдетонирует военным путчем? «Конечно. Я желал этого. Я полагал, это было неизбежно. Единственное спасение». Как именно текст спровоцировал танки войти в Москву? «Он, по-видимому, совпал с моментом, когда военно-политическая компонента будущего ГКЧП уже складывалась в мозгах у заговорщиков. Танки ведь не просто, сами по себе, вдруг входят. Это ответ на приглашение народа ввести их в страну, как это было в Чехии, Венгрии или Прибалтике, где прогрессивная часть венгерской или чешской общественности пригласила советские танки к себе в гости. Это было такое приглашение к танцу, идеологическое обоснование этих постулатов. Так всегда войны начинаются». Был ли он скорее

рупором или инициатором путча? «Я думаю, что и то и другое. Энергия консервативного сопротивления переменам вскоре переместилась из кабинетов ЦК в публику, в патриотическую публику, в прессу, в которой я занимал не последнее место».

— Значит ли это, что восемнадцатого августа вы знали, что на следующий день в Москву войдут танки?

— Нет. Я не знал этого.

В понедельник, 19 августа, его разбудил стук в окно. Это был сосед, решившийся нанести неприлично ранний визит под тем предлогом, что ему нужно было подтвердить или опровергнуть самые радужные свои предположения: «Ну что, Андреич, наша взяла?» «Андреич», меж тем, знать не знал, о чем идет речь, и только покрутив ручку настройки радио, по которому с утра пораньше гоняли обращение ГКЧП к трудящимся, понял: началось. Жене и детям он наказал оставаться на даче, а сам, облачившись в белый, парадный костюм, плюхнулся в «Жигули» и, безбожно нарушая скоростной режим, покатил в Москву. Наконец-то дела налаживались; слово к народу оборачивалось делом; «я был наполнен этой энергией реванша, это были мои дни, это были мои танки, это был мой реванш».

На пару минут он заглядывает домой, на Тверскую, где вынужден отражать телефонную атаку, причем звонили «высшие чины государства», такие как генерал армии Шлягов, начальник Главпура, предполагавший, что он обладает информацией о том, что происходит. Дав понять генералитету, что по не зависящим от него причинам он не может распространяться о деталях происходящего, он дует в редакцию, куда люди уже валят толпами, принимая его не то за нового министра культуры, не то за главу одного из департаментов ГКЧП. Все они справляются, насколько серьезен переворот, будет ли срезан слой управленцев, хотят участвовать, и поначалу он объяснял им подлинное положение дел, а потом махнул рукой и принялся раздавать задания: возглавьте танковую дивизию и направляйтесь на Минск; вам поручено взять Соловки, а вам — обеспечить прорыв в пиренейском направлении. Странные фарсовые нотки чувствовались во всей этой чрезвычайщине с самого начала. Уже в первый день его удивляет, что после трансляции манифеста ГКЧП дикторы как ни в чем не бывало предоставляют слово Ельцину, который называет введение чрезвычайного положения и отстранение Горбачева антиконституционным; опять же, при объявленном военном положении, связь не отключена, можно общаться с заграницей. Разумеется, по неопытности он еще не понимает, до какой степени половинчатыми были меры ГКЧП.

После обеда, перемещаясь с Цветного на Герцена, в Дом

Ростовых, он успевает подумать о возможностях, которые сулит ему победа ГКЧП, сплошь состоящее из его хороших знакомых. Пост министра его не привлекает — он знает, что прямая административная деятельность бистро ему наскучит. А вот «День» — а он любил свою молодую газету — можно было сделать центральной политической газетой страны и загасить через нее либеральный пожар.

Проханов с членами ГКЧП.

Чрезвычайное заседание секретариата Союза писателей, посвященное обсуждению создавшейся политической обстановки, вел Сергей Михалков. «Вечный конформист», он выступает с предложением поддержать ГКЧП. Проханов тотчас же выбегает из зала — позвонить в редакцию «Дня» о михалковском решении, успеть вставить в гранки номера. Вернувшись, он застает на трибуне осторожного Феликса Кузнецова, который предлагал осмотреться и не принимать категорических скоропалительных решений, «дать процессам развиться». Затем слово предоставляют самому Проханову — и тот, вместо того чтобы спеть гимн ГКЧП, неожиданно заявляет, что, по его мнению, роль Союза писателей заключается в том, чтобы в этот жестокий период истории, когда идет реставрация централизма, уберечь от репрессивных ударов демократическую часть культуры, над которой нависает опасность. «Я решил сыграть роль такого Горького, который спасал интеллигенцию. Я все-таки был не вульгарный политик, я понимал, что возможные репрессии консервативного режима могут коснуться той оголтелой, распоясавшейся либерально-демократической литературы, которая вся была политизирована. Если заниматься чисткой политической и идеологической, то, конечно, надо было чистить не только партию Горбачева и

Яковлева, выскабливая из нее метастазы либерализма, но и, конечно, газеты, культуру, театры, все. Но тогда я проявил толерантность — может, заигрался». Озадаченный услышанным, секретариат разошелся, так и не приняв никакого решения. (На секретариате меж тем присутствовал некто Владимир Савельев, референт, который тут же отбил в «Комсомолку» сообщение о том, что секретариат Союза писателей СССР принял решение поддержать ГКЧП, читай: консервативный СП — гнездо путчистов. По мнению Проханова, это была провокация, поставившая после 21 августа СП под удар и сделавшая его легкой добычей Евтушенко, Г. Бакланова и Тимура Гайдара. «Удивительно, никто из секретарей не пришел защищать Союз писателей СССР. Все сдрейфили, ушли».)

20 августа по телевизору показывают пресс-конференцию — дрожащие руки Янаева крупным планом, а затем гоняют «Лебединое озеро». Я напоминаю ему о довольно убогом виде его друзей и их скудном идеологическом репертуаре. «Да, я все помню. Ну, видите ли, руки тряслись у всех. У Брежнева, и у Черненко, и у Андропова. Я думаю, этот тремор — знак принадлежности к аристократической, партийной касте. А „Лебединое озеро“, ну что вы — это все равно что „Нибелунги“ для Третьего рейха». В «Последнем солдате империи» провал пресс-конференции и трясущиеся руки участников объясняются тем, что в зале находился «главный маг Солнечной системы, полковник Джон Лесли из Балтимора». Именно он, «расправив над рядами черный перепончатый купол крыльев», навел на сцену холод и, как Хоттабыч на экзамене по географии, замутил сознание гэкачепистов и заставил их нести чушь. Тремор? «Люди за столом замерзали. Над ними висели огромные тяжелые сосульки. Их окружили сугробы, над которыми неслась поземка, туманила их окоченелые тела».

Верил ли он в победу ГКЧП? «Конечно, с самого начала». Что, по его мнению, должны были сделать путчисты? Им надо было заполнить телевизор компроматом на Ельцина (которого «много было»), быстро устроить над ним показательный процесс. «Интернирование одного Ельцина сняло бы вообще всю проблему ГКЧП». Пытался ли он включиться в процесс? Звонил им? Да, но к тому моменту все они были для него практически недоступны. У него не было ни прямой линии, ни даже «вертушки» — а те все время заседали и мотались между Москвой и Форосом, ведя переговоры с Горбачевым. За все эти три дня ему удалось переговорить только с Варенниковым и несколько раз с помощником Бакланова. «На самом деле я ГКЧП не управлял: какое отношение я, писатель, журналист, мог иметь к

блокированию связи, к распределению дивизий, к депортациям, к арестам? Я же не был включен в структуры партии. Мои отношения с этими людьми были внеструктурные, товарищеские, советнические».

Наверное, он чувствовал некоторую обиду — понимая, что его обделяют; может быть, те же ощущения испытывал Пушкин, не допущенный к декабристскому восстанию. «У меня было некоторое сожаление на этот счет… Даже теперь оно остается. Я, конечно, мог быть таким Геббельсом ГКЧП, я бы смог создать, как мне казалось тогда, информационное обеспечение. Я точно был бы разнообразнее в выборе балетов и, кроме „Лебединого озера“, мог поставить еще „Щелкунчик“ или „Жизель“, и даже „Красный мак“… Но, с другой стороны, я не убежден, что справился бы с той ролью, на которую претендовал. Я что-то знал о телевидении, вел программу „Служу Советскому Союзу“, но практически не понимал значения телевизионных технологий. Это ведь целая культура. В прессе — да, закрыть либеральные газеты я бы мог». Между прочим, самое любопытное из того, что мне удалось выцыганить из Бакланова, — ответ на вопрос, почему Проханова не взяли в ГКЧП: во-первых, у того не было административного ресурса, во-вторых, он был его друг и он не имел права им рисковать. То есть все-таки как декабристы с Пушкиным. Ну а сейчас, спрашиваю я, как думаете, вы правильно поступили, не сделав Проханова своим Геббельсом? «Возможно, это было ошибкой».

Что было бы, если б Проханов был наделен неким административным ресурсом и напрямую участвовал в заговоре? Можно предположить, что очень быстро все закрытые СМИ по его инициативе снова бы пооткрывались и вовсю молотили бы ГКЧП, а он, говорящая голова путча, 24 часа в день в прямом эфире отбивал бы гэкачепистов — шутками, гневными филиппиками, пафосными бредами, высокомерием, до изнеможения, один против всех. Наверное, по сумме очков он проиграл бы, но это было бы красивое поражение, и запомнились бы от этого путча не только дрожащие руки Янаева.

В ночь на 21 августа в туннеле под Новым Арбатом танки раздавливают троих юношей. «Я на это смотрел спокойно, потому что до этого прокатились бесконечные микровойны». Но ведь одно дело где-то на окраине, и совсем другое в столице. «Это не так. Убитые саперными лопатками на площади в Грузии. Убитые у телецентра в Вильнюсе. Это были трупы в столицах. И я понимал, что эти трупы, жертвы запятнали кровью ГКЧП; это проверенная методика диффамирования, подавления психики через кровь. Мне не было жалко этих людей, естественно, потому

что это была война за страну, за государство. И я понял, что гэкачеписты не смогли уберечь себя от пролития крови. Им этих мальцов затолкали под гусеницы танков, эти жертвы были нужны Белому дому».

Ходил ли он во время ГКЧП к Белому дому? «Ну, один раз, просто было любопытно-интересно… и то — женщина меня повела, жила недалеко… Я прошел как частное абсолютно лицо к этим танкам-предателям, поговорил с танкистами, посмотрел на толпу». О чем он разговаривал с танкистами? «Как-то незначительно. Я просто скорее как художник хотел атмосферу понюхать, на баррикаду смехотворную посмотреть. Внутрь, конечно, не совался — штаб врага… И как я мог пойти туда, где Руцкой руководил обороной? Я там был чужой. Я бы штурмовал его, если бы была необходимость». «Там были люди, — делится Проханов своими впечатлениями от баррикад в послепутчевом интервью, — которым грозило социальное истребление: владельцы первых СП (совместных предприятий), кооператоры и т. п. Я с удовольствием на этих баррикадах выпил банку баварского пива, кто-то угостил меня сигаретами „Кэмел“… Конечно же, там было большое количество женщин, девушек: эта поразительная московская женственность! Как ни странно, даже близкие мне женщины, зная мои жесткие взгляды, — бежали на баррикады и тащили солдатикам харч. Это было женское движение, которое было в ужасе». Сравнивая через полтора десятка лет август 1991-го с октябрем 1993-го, он называет первый «опереточным», а баррикады — «смешными». Будущий аналитик газеты «День» С. Кургинян афористично сформулирует суть «милитаристского путча» следующим образом: «В танках сидели люди, читающие журнал „Огонек“».

21 августа, глазам своим не веря, он смотрит по телевизору медведевские «суперкадры»: взгромоздившийся на танк Ельцин, пародируя Ленина на броневике, произносит антигэкачепистский манифест. Он понимает, что дело пахнет керосином: не контролирующий ситуацию ГКЧП деморализован, его члены мчатся в Форос налаживать отношения с Горбачевым, просят того вмешаться; «для меня это был обвал, ужасный симптом поражения». 21-го же, под вечер, когда войска уже уходят из города, к нему в кабинет приезжает телегруппа Герасимова. На вопрос об отношении к кровопролитию он отвечает «я не против», «если эта малая кровь предохранит страну от пролития океана крови».

В 1991-м было очевидно, что путч провалился из-за того, что советская система прогнила окончательно и у нее просто не

нашлось кадров, способных удержать власть. Что он об этом думает? Сначала ему казалось, что дело в том, что гэкачеписты абсолютно не были политиками, они не придавали значение политическим и информационным технологиям. Но дальше — после нескольких лет сбора информации, разговоров — в его сознании созревает конспирологическая версия. Почему КГБ, имеющий опыт ввода чрезвычайного положения, например, в Польше в 1981-м, на своем поле прошляпил все что можно? Почему Крючков так и не отдал сидевшей в кустах «Альфе» приказ задержать кортеж Ельцина, следовавший с аэродрома на дачу? «Сейчас он говорит, что это результат слабой воли, что он боялся жертв. Каких жертв? Китай в 1989-м расстрелял свой мятеж на площади Тяньаньмынь, избавившись от зачинщиков разрушения державы, которые привели бы ее к распаду и гражданским войнам. В результате сегодня Китай на наших глазах становится величайшей в мире державой XXI века». Все эти соображения, однако, не помешали ему принять в 1998-м, на 60-летие, от Крючкова китайскую вазу с журавлями.

Баррикады у Белого дома, 1991 г.

Вообще, ГКЧП — темная история, вызывающая множество толкований, вплоть до оккультного: предполагал ведь Пелевин, что смена строя была связана с заменой одного устаревшего тетраграмматона (СССР) другим (ГКЧП), в момент иссякания силы первого. Прохановская версия событий 19–21 августа скорее лежит в сфере конспирологии. «Путч был операцией КГБ по окончательной передаче власти одного центра другому», «Язов и Крючков, по существу, были предателями». «Крючков встречался

во время ГКЧП с Ельциным». «КГБ вовсе не желал успеха ГКЧП». «У КГБ были досье, свои законсервированные радио- и телестанции, свой штат журналистов. КГБ мог бы взять работы по информационному обеспечению госбезопасности. Но комитет не хотел этим заниматься. Это был фальстарт, способ срезать консервативный — советский, партийный — слой, как в случае с рустовской историей. И я думаю, что КГБ не мог не понимать, что передача власти Ельцину от Горбачева означает крах Советского Союза. Разрушение Советского Союза — дело рук госбезопасности. В то время существовала концепция у демократов, что целиком весь этот огромный монолит не может войти в Европу, в рынок и в новую цивилизацию. Его нужно раздробить и вводить по кусочкам, его выгодно распылить территориально. И эта концепция, мне кажется, исповедовалась и КГБ». «Роль КГБ в трансформации строя была огромной. А иначе быть не могло. Эта суперструктура была сильнее и умнее партии, а в лице Андропова одно с другим слилось абсолютно, и КГБ осуществлял все самые сложные виды реформ и реконструкции внутри социума». Позднее он узнает, что КГБ участвовал и в создании народных фронтов в Прибалтике и на Кавказе, и в создании новой экономики через конструирование совместных предприятий. «Проект объединении Германий и сдачу „Штази“, правительства, великолепной, одной из самых сильных в Европе, армии могли осуществить только спецслужбы. Бархатные революции в Европе не могли происходить без КГБ».

Он вспоминает свой июньский разговор в редакции «Дня» с главой Рэнд Корпорейшн Джереми Израэлем, который рассказал ему о плане передачи власти от Первого центра ко Второму. Он вспоминает последние слова Бакланова, сказанные за несколько часов до ареста, когда ему, наконец, удалось добраться до него и спросить: что произошло, почему провалились так бездарно? Тот сказал: дрогнули Язов и Крючков. И еще: если тот сочтет это необходимым, то он может лечь на дно. «Но вместо того, чтобы лечь на дно, я всплыл на самую поверхность и начал истошно орать».

Одним из таких воплей, мало, правда, чье спокойствие потревожившим, стал «Последний солдат империи», роман про путч 1991 года, где реальные события подверглись сознательному художественному искажению. Главный герой, генерал Белосельцев, только что опубликовавший статью, подозрительно напоминающую прохановскую «Трагедию централизма», наблюдает, как, под воздействием оргоружия и в результате заговора империя, создававшаяся десятилетиями, терпит

катастрофу в три дня. Когда все кончено, Белосельцеву не остается ничего иного, как нарядиться в свои боевые ордена и в одиночестве, раз уж он последний солдат империи, парадом пройти по брусчатке Красной площади. Этот психоделический политический триллер обладает всеми характерными достоинствами и недостатками поздних — «галлюцинаторных» — произведений Проханова, и мы не станем специально останавливаться на его сюжете. «Последний солдат империи» удобен как повод поговорить о некоторых особенностях поэтики Проханова — в частности, о метафоре в его творчестве. Не надо быть профессиональным литературоведом, чтобы заметить, что Проханов хорошо знает цену метафоре и умеет ею пользоваться; что метафоры у него могут быть сиюминутными, одноразовыми, а могут быть — сквозными, сцено- и даже романообразующими.

Как и во всем цикле этих самых «галлюцинаторных» романов — «Господине Гексогене», «Крейсеровой», «Политологе», «Теплоходе», основная событийная единица здесь — метаморфоза, превращение. Все меняется ежеминутно. Поэтессы оборачиваются стальными механизмами, трупы в древних могильниках — живыми воинами, Андропов и тот оказывается белкой. Главный языковой способ представления физической метаморфозы — метафора. Понимание, как работает метафора, — один из ключей не столько к прозе Проханова, сколько, как мы увидим позже, к феномену его личности.

Для наглядности рассмотрим две, на первый взгляд, похожие метафоры. Одна принадлежит критику А. Латыниной: «Проханов — соловей Генштаба». Вторую возьмем из «Солдата»: «Алла Латынина — гарпия» (в романе есть целая сцена в ЦДЛ, в которой описывается, как гарпии обгаживают патриотических литераторов). Называя Проханова соловьем, Латынина приписывает объекту такие свойства, как заливистый голос, способность услаждать слух трелями, невзрачная внешность, связь с фольклорной традицией. Чтобы продемонстрировать эти признаки более наглядно, Латынина вырывает Проханова из класса людей, но всего лишь на мгновение, разумеется, она не сомневается, что А. А. Проханов — человек, а не комок перьев.

Не то у Проханова. Когда он говорит: «Алла Латынина — гарпия», он не только утверждает, что Латынина похожа на монструозных птиц из греческой мифологии. Проханов, судя по сцене в ЦДЛ, действительно уверен, что теперь класс женщин-критикесс сузился, а класс гарпий — расширился, и все за счет изъятия из одного и появления в другом все той же А. Латыниной. Точно так же когда Проханов утверждает, что Андропов — белка, то подчеркивает: «Ее умная, сосредоточенная

мордочка, чуткие ушки, тонкие цепкие лапки, в которых та держала еловую шишку, не оставляли сомнения — это и был сам Юрий Владимирович Андропов, у которого враги отключили искусственную почку, но который успел передать свой план в руки верных преемников и, в обличии лесного зверька, продолжал курировать осуществление замысла».

Известно, что метафора — способ на долю секунды отвергнуть принадлежность объекта к тому классу, в который он на самом деле входит, и включить его в другой класс объектов, в который он не может быть отнесен на рациональном основании. Обычно объект попадает в не свойственный ему класс только виртуально: когда Гоголь говорит, что Собакевич — медведь, он не стремится создать новую картину мира, где помещиком может быть дикий зверь. Его вызов природе — фиктивный, он сознательно ошибается. Проханов своими метафорами предлагает новое распределение предметов по категориям, новую таксономию мира. В «галлюцинаторных» романах он пользуется метафорой не здесь и сейчас, а надолго, навсегда. Он расширяет одни классы предметов и существ за счет сокращения других. Метафора — прохановский вызов природе, его способ подрыва устоявшихся классификаций и преобразования мира.

Мир нарушенных таксономий, где Андропов в самом деле принадлежит к классу белок, а Латынина — к гарпиям, мы и называем галлюцинозом, поскольку, несмотря на все уверения автора, мы, конечно, не верим, что такой мир может существовать где-либо, кроме сознания А. А. Проханова. Вопрос в том, отличается ли прохановский галлюциноз от других.

Обычный художественный галлюциноз (возьмем «Мифогенную любовь каст», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») — это всего лишь индивидуальное или коллективное бессознательное, проявившееся в тексте. Автор транслирует галлюциноз, чтобы косвенным образом сообщить о внутренних психических противоречиях визионеров. Прохановский галлюциноз не дает информации о диагнозе визионера — главного героя, он направлен не на него, а на реальность. Этот галлюциноз имеет целью преобразовать реальность за счет разрушения обычных, рациональных таксономий, и введения новых. Герой — живой духовидческий аппарат, излучающий галлюциноз направленного действия, техническое устройство, которым можно управлять и с помощью которого — преобразовывать реальность. Вот как описывается в «Последнем солдате империи» одна из советских военных машин. «Упрятанная в военный камуфляж, облаченная в уродливые формы ромбов и параллелепипедов, она была готова к чуду

преображения, к дивной красоте, божественному промыслу, замыслившему земную жизнь как неуклонное приближение к Раю». «Мегамашина чавкала огромными стальными зубами, изжевывала границы, надкусывала страны, прогрызала в континентах коридоры и дыры, запуская в них огненного змея войны. Она владела миром, смещала его утомленные оси, сшибала армии, сталкивала небесные армады, наполняла лазареты тысячами истерзанных и обгорелых людей. Мир был огромной грязной простыней в ее стальных кулаках. Скручивался в жгут, выжимался, отекал расплавленной сталью и красной горячей жижей».

Инстинктивный интерес Проханова к метафоре связан с тем, что метафора — это ведь и есть в своем роде преодоление реальности, нарушение одних таксономий за счет других, мгновенное преобразование мира, объективной реальности, преодоление текущего состояния мира — собственно, прохановские метафоры позволяют не столько больше понять об объекте, сколько — изменить мир. Ну или, по крайней мере, расшатать его.

«Галлюциноз» — нагромождения реализованных метафор — объясняется, тем, что он не знал, как еще можно было изменить восприятие путча в массовом сознании, и прибегнул к собственному «оргоружию» — метафоре. Прохановские «галлюцинаторные романы» — это и есть практика преобразования природы. Каждый роман — машина, вырабатывающая новые таксономии, указывающая объектам их новые места в мире, преобразующая историю, время, пространство, преодолевающая наличное состояние реальности.

Один из финалов «Последнего солдата империи» — травестированный: из города, по приказу памятника Сталину, эвакуируются, уходят советские каменные командоры — Маркс с Энгельсом, Ленины, Рабочий и Колхозница. Так, комически-наглядно, заканчивается эпоха.

Мне 22 августа припоминается по концерту у Белого дома, где прекрасное ощущение переломившейся эпохи не мог обезобразить даже козлом скакавший Газманов, но, по мнению моего собеседника, «ситуация после ухода танков из Москвы 22-го числа была ужасная. Был нанесен метафизический удар по всем консервативным силам». «У меня было полное ощущение того, что в Москву влетело огромное количество злых духов, которые носились над площадями, усаживались на фонарные столбы, били перепончатыми крыльями в окна домов, выклевывали глаза. Было ощущение, что открылась преисподняя,

и весь ад оттуда вышел, и этот ад победил танки Язова, спецназ, сломал волю грозных партийцев. Я лично пережил гигантский, может быть, самый сильный в своей жизни психологический удар; моя психика, моя этика, моя физиология приняли страшное давление, я думаю, примерно то же самое, наверное, могли чувствовать люди 37-го года, когда машина власти была направлена против них, они чувствовали себя обреченными, беспомощными, им не на кого было опереться. Во мне воскрес этот социальный страх, я был абсолютно диффамирован, я ждал ареста, прессинга. Бесы гнались за мной, они требовали моей казни. Я не забуду эти голоса мегафонные, которые были на площадях, там кричали: „Повесить Проханова…“. Это был страх ада».

22 августа он проводит в четырех стенах в состоянии полнейшей депрессии. Власть окончательно перешла к Ельцину, по телевизору транслируется съезд народных депутатов, появляется информация о застрелившемся Пуго и повесившемся маршале Ахромееве. За «парапсихологическим ударом» по ГКЧП, как он понимает, стоит А. Яковлев, «талантливый пропагандист, оснащенный новыми технологиями, которым он научился в Колумбийском университете». Когда информационные сообщения заканчиваются, по всем каналам непременно показывали самого Проханова: «Я сидел в белом костюме и славил, радовался пролитию крови этих младенцев. Представляете, как мне весело было смотреть этот сюжет — меня там представляли палачом, Кальтенбруннером, радующимся гибели этих троих героев». Ему приходит в голову, что надо избавиться от документов, которые могут скомпрометировать его или знакомых в случае обыска. Сложив в унитаз кипу бумаг, он поджигает их. Листы тут же вспыхивают, он входит во вкус, температура зашкаливает далеко за 451 по Фаренгейту, раковина раскаляется и лопается. Несгоревшие бумаги размокают, частицы пепла выливаются вместе с водой наружу, квартиру начинает заливать, все это также не улучшает его настроение. В этот момент раздается звонок телефона — это был корреспондент «Комсомольской правды» — и пока жилец квартиры 78, по адресу: ул. Горького, 19, чертыхаясь, шлепает по лужам к аппарату, скажем, что коммунальная катастрофа ничему его не научила: в октябре 1993-го он опять будет жечь бумаги все в том же мангале, и опять этот чертов унитаз расколется.

Интервью, опубликованное в «КП» 3 сентября 1991 года, называется «Пропади она пропадом, эта свобода!» «Александр Проханов, один из авторов „Слова к народу“, готов снова подписаться под этим обращением». Проиллюстрировано

интервью почему-то не портретом автора, а фотографией истеричной бабы, как иконой загораживающейся, вот уж совсем странно, газетой «Советская Россия».

«Видимо, — вспоминает Проханов журналиста, — он был послан своей редакцией, чтобы отпраздновать победу надо мной, показать посаженного на игольную булавку жука — черного, сдавшегося, раскаявшегося. Вместо этого я пошел ва-банк, дал ужасное интервью, сказал, что я их всех ненавижу, что это губители страны, что я до сих пор с ГКЧП, что да, я отстаиваю свои идеалы». Ничего такого уж чудовищного в интервью на самом деле нет. Он рассказывает о своих впечатлениях от баррикад, сообщает, что только что закончил роман про то, как спецназ штурмовал дворец Амина… «Прошел слух, будто в режиме ГКЧП вы должны были войти в цензурный комитет?» — «Я думаю, что те, кто читал мои работы, будут кататься со смеху от этого злокозненного слуха. Я всегда отказывался от всех постов и никогда не вступал в партию, неужели я согласился бы быть цензурным палачом печати?». Однако — при таком названии и в отсутствие других оппонентов новой власти — оно произвело-таки впечатление. Об эффекте этих интервью хорошо сказано Дугиным: «И когда уже стало ясно, что все кончено, что вот-вот вернут из Фороса могильщика последней империи, на тухнущем экране появляется знакомое лицо Проханова. Под свинцовой плитой вздыбившихся сил распада и смерти, празднующих мстительную победу, Проханов отчетливо и мужественно произносит слова спокойного самоприговора. Он полностью оправдывает ГКЧП, во всеуслышание обреченно и собранно произносит роковые слова. На нем сходится пульс исторического достоинства. В этот момент он совершает редчайшее действие, на которое мало кто способен. Он продолжает сохранять верность тому, что со всей очевидностью и фатальностью проиграло. Он утверждает на практике высшее качество человека — идти против всех, когда ясно, что этот путь обречен. Такого жеста я в своей жизни не видел. Он встал лицом к лицу с историей, с ее страшной, свинцовой мощью, и спокойно сказал, что не согласен с общеочевидным ходом вещей. Так можно поступить только находясь в духе. Он остался последним на последнем рубеже. Позади зияла пропасть. <…> Проханов, певец Системы, остался верен Системе даже тогда, когда она рухнула. На это не способен ни один конформист, это противоречит самой логике Системы, основанной на абсолютизации сиюминутного, на полной покорности социальному року, на шкурности и имитации, которую мы имели случай созерцать последние годы в небывалом объеме. Но тем фактом, что нашелся кто-то один, кто сказал

„нет“, было доказано, что в защищаемом уходящем строе было иное содержание и иной смысл, нежели банальности бесхребетной массы жадных аппаратчиков, готовых служить кому угодно. Поступок Проханова в августе имел важнейшее историософское содержание, поскольку его отсутствие или наличие имеет прямое отношение к постижению логики идеологической истории».

> «Это чувство победы над животным в себе, над слабостью я буду до конца дней своих помнить как огромную интеллектуальную и духовную победу. Потому что в атмосфере подавленности, в ожидании смерти и казни, найти в себе силы трансформировать себя, более того, инсценировать в себе такой ответный, может, даже истерический протест — это была очень сильная внутренняя контригра. Я не могу понять, откуда я взял силы такого рода, они вообще не присутствовали во мне. Я был человеком достаточно мягким, бонвиваном, и хотя участвовал в публицистических битвах и сражениях, но такого истеризма — „Всех не перевешаете!“, как Зоя Космодемьянская из петли кричала, — я не ожидал от себя. А он был и, кстати, сослужил прекрасную услугу. Сразу же ко мне на улицах стали подходить переодетые разведчики, военные, жали руку, благодарили. И мне было так странно: ведь это они должны были проклясть эту свободу с помощью танков и гранатометов».

После горбачевского заявления о грядущем выяснении «кто есть ху» на страницы прессы выплескиваются потоки «доносов». Оказалось, он был связан с Баклановым, с ГКЧП, а газета «День» была не просто «оплотом заединщиков», но лабораторией и штабом путча. Яковлев, предложивший на одном из митингов — «Проханова надо вздернуть на фонарь», срывает овацию. Эталонной психической атакой стало опубликованное в «Столице» «Открытое письмо соловью Генштаба» поэта Евгения Храмова, инспирированное прохановским интервью «Комсомольской правде», где автор, обращаясь к нему «Саша», на «ты», обвиняет своего экс-приятеля в том, что тот графоман, состоит на содержании у военных и связан с КГБ. Проханов тоже помнит Храмова, в частности, как тот однажды преподнес ему стихотворение, а через некоторое время оно обнаружилось в сборнике, посвященное еще кому-то: «я долго не мог понять — как это, это все равно что венок с одной могилы переносить на другую».

С мемуарами о Проханове-монстре выступил и Сырокомский,

его бывший патрон в «ЛГ». По горячим следам выходит роман Евтушенко «Не умирай прежде смерти. Русская сказка», в котором есть целая глава про хорошо узнаваемого «Романтика Путча». «У него была сосредоточенная бледность земляного червя, неуверенная самоуверенность соловья генерального штаба и гордая жертвенная нервность скаковой лошади, которая сама себя впрягла в колесницу истории, то бишь в танки. Лицо его было истощено истерической любовью к военно-промышленному комплексу, танкам, подводным лодкам, реактивным истребителям, атомным бомбам, химическому и бактериологическому оружию и особенно к боевым ракетам, которые в своих социалистически колониальных романах он воспевал с военизированной эротикой… Он решил въехать в бессмертие на бронетранспортере… так настойчиво стал тереться о генеральские погоны, что на его доверительно прижимающемся к ним плече оставались предательски поблескивающие золотые ниточки. Он нашептывал генералам апокалиптические предсказания… Армия стала его Дульсинеей в хаки. С детства он смертельно боялся летать, а теперь чуть ли не со слезами выклянчивал, чтобы его взяли на борт вертолетов, полосующих пулеметными очередями афганские деревни… У него была идиосинкразия к алкоголю, но он, превозмогая отвращение, героически заставлял себя пить водку с генералами в саунах, да еще с притворным удовольствием крякая, как они, ибо это входило, по его представлениям, в понятие мужественности… Он был настолько вымотан своим любовным романом с Армией, что у него не оставалось сил на просто женщин, и, для того, чтобы у него с ними получалось, он ставил в интимные мгновения кассеты военных маршей, лихорадочно вызывая в памяти военные парады на Красной площади…». По сюжету, Романтик Путча является к Кристальному Коммунисту с просьбой вооружить его, но тот обращается с ним как с маньяком и истериком.

Вместо того чтобы сдаться и каяться, он, напротив, преувеличивал степень своей близости с ГКЧП. В ответ на доносы «Литературки» насчет связей с Баклановым он вытащил целую серию снимков, где они запечатлены вдвоем, и опубликовал их — нате, подавитесь, и написал, что считает его замечательным человеком, а вы ему и в подметки не годитесь. Сейчас, пожалуй, не очень понятно, что такого особенного в этих фотографиях: сидят два хрыча в костюмах за казенным столом и о чем-то беседуют — невыразительно. Это сейчас; тогда, увидев эту публикацию, новый главком, ельцинист, моментально вышвыривает редакцию с Крутицкого подворья. Все приходится начинать с нуля.

Глава 16

Погружение в котел недифференцированных явлений. Чучело Евтушенко, технологии его создания и уничтожения. Повседневная жизнь красно-коричневых.

Девяносто третий год. Проханов отводит автора к Белому дому и открывает тайну принявшего мученическую смерть батюшки.

Меню и истинные размеры личутинской свиньи

Если бы году в девяносто втором некто взял на себя труд доехать до здания по адресу: Цветной бульвар, 30 — и подняться на 6-й этаж, в комнату номер 621, то ему довелось бы оказаться в одном из самых странных мест Москвы того времени. Прежде всего визитер обратил бы внимание на стройного мужчину средних лет, похожего на загримированного под Оскара Уайльда актера: в руке у него была бутылка «Хайнекена», которой он дирижировал оркестром из существ в офицерских мундирах, казачьих бурках, номенклатурных костюмах, хасидских лапсердаках и малиновых пиджаках. Здесь пахло йодом, едой, формалином и порохом, «отчего кабинет производил впечатление штабной палатки, лазарета и пивной одновременно». В углу окопался коренастый молодчик с хрупкими запястьями, модерирующий беседу между иностранцем со значком-свастикой и членом Политбюро ЦК КПСС, который явно не понимал, с кем он общается. На табурете, втянув голову в плечи, ютился человек, похожий на школьного учителя математики, из его портфельчика торчала засаленная рукопись. На столе развалился жилистый тип лет пятидесяти, в квадратных очках; ему что-то нашептывала высокая, ярко накрашенная женщина, щурившаяся от дневного света. Тот, который с бутылкой, разглагольствовал об амальгамировании идеологий, но в этом гуле было трудно различить, что именно он имеет в виду.

Несмотря на то что Яковлев сулил Проханову не то петлю, не то фонарь, а Руцкой — 12 лет в казенном доме за «Слово к народу», никаких конкретных репрессий после ГКЧП и «Пропади она пропадом, ваша свобода!» не последовало. Редакцию «Дня», правда, вытурили из хором на Крутицком подворье, но до отъема

кабинета в «Литературке» на Цветном руки у новой власти — какой бы чудовищной она ни была — так и не дошли.

Здесь все «кипело, бурлило, шкворчало»; это был «идеологический цех, в котором ворочались тяжелые механизмы», «здесь все время сверкала шаровая молния», и присутствующие чувствовали, что не просто выпивают в хорошей компании, но принимают участие в сотворении истории. «Амальгамирование» было не пустым словом: где еще могли сойтись Дугин и Лимонов, Лигачев и бельгийский фашист, Медведева и Бабурин, Алкснис и Мамлеев; все вместе эти люди представляли собой «духовную оппозицию». В один и тот же день здесь мог пройти тайный съезд Компартии, учредительное собрание националистического движения, организован вербовочный пункт по отправке добровольцев в горячую точку, развернут полевой госпиталь. Это была сцена, на которой бесперебойно шел парад фриков — во время планерки вдруг могли открыться двери и войти Макашов, ввалиться пьяный казачий атаман, протопать Зюганов; и пока какой-нибудь мятежный батюшка в ветхой рясе благословлял коллектив, сидевший здесь же церковный иерарх делал вид, что не замечает конкурента, тогда как из-под стола доносилась матерная брань — там в это время ползал какой-нибудь бывший грушник, прохановский знакомый по Афганистану, разыскивая спрятанные агентами ФСК «жучки».

Рано или поздно в дверь салона на Цветном стучали все тогдашние эксцентрики и аутсайдеры — те, кто либо побрезговал делить СССР, либо был оттеснен от кормушки, либо не успел к ней. Каждый день со здешними обитателями происходили курьезы, байки о которых потом расползались по Москве — как, например, про Дугина, который однажды, после долгих возлияний в редакции «Дня», вышел на улицу в компании Лимонова и зачем-то сильно пнул припаркованный «Мерседес». В ответ на изумление бандита, вылезшего из салона, Дугин якобы неожиданно заявил: «Я — Эдуард Лимонов!»; Лимонову это не понравилось, завязалась нелепая перепалка, кто из них на самом деле Дугин. Про то, что люди, бывавшие в том кабинете, фактически не позволили правительству передать Японии Южные Курилы, говорилось реже.

> «Под этим куполом, под колпаком советским накопилась масса всяких экзотических тенденций, микроидеологий, персонажей, интеллектуальных движений, форм. Одни из этих движений, штаммов очень быстро были реализованы демократическими газетами. А другие, которые тоже были в русской

истории, не могли развиться в той среде, и они все пришли ко мне. Ну, скажем, весь опыт славянофильства, весь опыт консервативно-революционных представлений начиная от Леонтьева, весь церковный модернизм а-ля Флоренский, Сергий Булгаков, Франк, весь красный модернизм, вся красная революционность начиная от Маркузе, от революции 68 года, от Че Гевары, весь огненный красный протестантизм, все было здесь».

«Эти годы действительно были лучшими. Не писательства моего, а газетной судьбы».

Это уже не тот «День», каким он был до путча, «правильный» дубль «Литературки», с упором на писательскую жизнь. Теперь это — жизнь прозревших слепых, газета-прокламация, разоблачающая злодеяния преступного режима, публикующая компрометирующие документы и проповедующая добро в океане космического зла. «Вся эта интенсивная, молодая, немного шизофреническая политическая и литературная культура вдруг выплеснулась и зажила бурной жизнью».

Изменился и статус самого Проханова. Если раньше он был бесстрастным вирусологом, изучавшим штаммы в научных целях, то теперь, когда вирусы разрослись до эпидемий, он превращается в чокнутого профессора: он жонглирует пробирками, экспериментирует с ингредиентами, создает бактериологические бомбы, сам себя заражает, готовый на все, лишь бы насолить ненавистной власти. Раз уж в его распоряжении оказалась палитра вирусов, почему бы не порисовать ими? Сюжет этих вдохновенных картин был, как правило, один и тот же: Страшный суд и Русский Рай. Праведниками в этом Раю иногда оказывались самые неожиданные персонажи вроде Лукьянова и Пуго — «герои ГКЧП»: «тогда необходимо было взвинченно проповедовать, создавать мифологию сопротивления». Фабрикация мифов никогда не стоила ему особенных усилий; было бы еще проще, если бы сами «красные мученики» не путались у него под ногами; так, он не без брезгливости вспоминает Язова, который «просил прощения у Раисы Максимовны за некорректное поведение…».

На «Дне» появилось клеймо «красно-коричневые», и не факт, что они не выдумали его сами. Журналистский контекст скорее был выгоден для «Дня». При полном торжестве либерализма «День» осталась единственной радикально оппозиционной газетой («Правда» совсем скукожилась, «Советская Россия» и «Наш современник» никогда не рассматривались как серьезные конкуренты).

— Как вы не испугались всей этой нечисти? У вас в «Адмирале», повести начала 80-х, молодой человек, оказываясь в такой среде, сгнивает заживо, и автор описывает эту утрату с презрением и брезгливой жалостью. Как же так получилось, что вы сами с наслаждением окунулись в эту эзотерическо-революционную среду?

— Тогда эта среда находилась в конфликте с броненосцами, в конфликте с советской техносферой. А теперь советская техносфера рухнула. И из-под советского норматива выпрыгнули вдруг поразительные эндемики. Среди этих эфемеров началась схватка. Либерально-демократические существа, которые еще вчера были такими чешуйчатокрылыми прозрачными, теперь влезли в Кремль и стали ящерами страшными. И они набросились на других эфемеров. А среди этих эфемеров были мои любимые — левые, красные.

По свидетельству Проханова, «День» притягивал к себе своего рода нимбом. К ним льнули и разгромленные коммунисты, и разгромленная армия, и разгромленные националисты, раскаявшиеся либералы, церковные иерархи, недовольные советские писатели, Бондарев, Распутин, бунтующее казачество («которое было наполовину бандитским, а наполовину военным», так что его представителей нередко приходилось выбрасывать прямо из редакции «в мясорубку гражданских войн» — в Приднестровье, Абхазию), «молодые, отважные и очаровательные депутаты». Кого он имеет в виду? Бабурин, Павлов, Михаил Астафьев, Константинов. Очаровательные? «Это все были свежие, яростные люди, которые только что прочитали — один Милюкова, другой Ильина. Были неофитами, наполненными свежими силами. Поэтому все это было очень ярко, идеи не выглядели потрепанными». Приток интеллектуальных инвестиций невозможно было прогнозировать. Так, например, после расстрела Белого дома в октябре 93-го в «День» вдруг явился Синявский, вместе с М. Розановой, и дал большую статью. «Мне было очень важно, что в мою газету, которую называли фашистской, красно-коричневой, из Парижа приехал либерал и, по существу, солидаризировался со мной в оценке этой катавасии сегодняшней». Еще раньше здесь появился Владимир Максимов. Патентованные либералы своим участием легитимировали маргинальную газету, которая в глазах обывателя была топливом сумасшедших бабушек. Для Проханова каждая уловленная либеральная душа была моментом триумфа.

Газета была не просто «огромным котлом недифференцированных явлений», но и аккумулировала в себе энергию всего антиельцинского резистанса. «Либералы, победив,

стали отодвигать своим бульдозером оба слоя: красный, самый опасный, и белый, националистический, в котором они, с одной стороны, видели своего союзника, желая его натравить, как Талькова, на красных, а с другой стороны, боялись социалистического реванша, фашизма». Естественным образом возникает идея тактического альянса маргинализированных слоев — белых и красных, коммунистов и монархистов. «Воспользовавшись наличием общего врага, мы соединяли, свинчивали эти энергии». «Я создавал фронт идей, выстраивал композиции, очень интересные, сложные и яркие». В сентябре 1992-го газета «День» создает Фронт национального спасения. 24 октября Проханов произносит зажигательную проповедь на Учредительном конгрессе; его избирают в Политсовет и делают сопредседателем Фронта. Тогда же, вместе с Зюгановым, Павловым, Астафьевым, Константиновым и Шафаревичем, Проханов входит в президиум блока «Российское единство» и тогда же создает движение «День» — объединение читателей газеты.

Конгресс русского народ был конгломератом красных и белых, фашистов и коммунистов; это был подиум, на котором дефилировали Макашов, Анпилов, Константинов, Зюганов, Стерлигов, Баркашов, Бабурин, Павлов, представители духовенства. «Весь костяк депутатов был очень активен на всех заседаниях парламентских. Они выскакивали, рвались, как безумцы, к микрофону, говорили, в изнеможении опадали, бежал кто-то другой. Они завладели общественным вниманием. А поскольку все они были членами редколлегии газеты „День“, то Фронт национального спасения постепенно завладел умами парламента, и, когда возник конфликт Хасбулатов — Ельцин, он превратился в окружение Хасбулатова». И в этом смысле газета «День» овладела парламентом, в том числе вовлекла в свою орбиту Руцкого и Хасбулатова, которые через несколько месяцев открыто выступят против Ельцина. Газета вбрасывала в эту топку идеи и инициативы. Проханов видел себя Иваном Калитой, собирающим энергию сопротивления в один кулак, чтобы направить ее против ненавистного режима. «Соединение красного и белого — идеологема, работавшая 10 лет, до Путина, когда все это девальвировалось».

Вокруг него сформировалась целая плеяда интеллектуальных полевых командиров, общение с которыми давало ему новые энергии, слои лексики, идеологии. Среди этих «пылающих интеллектов» особенно выделялись Александр Дугин («молодой, безбородый, супермен, сверходаренный, фонтанирующий человек, который сканировал по миру — от евразийства до

троцкизма, от „прыгунов“ и русских сектантов до африканских инициаций»), Сергей Кургинян («блиставший своей конспирологией, левыми представлениями, красно-коммунистическим космизмом»), Гейдар Джемаль («со своей метафизикой ислама, своим небывалым для той поры ваххабизмом, коммунистическим исламом»). «Все это пришло ко мне».

Дугин был эзотерик и фашист «в лучшем смысле этого слова», автор и исполнитель песен о вампирах, человек впечатляющей эрудиции и дионисического остроумия; из номера в номер он печатал в «Дне» свою «Конспирологию» и странные сообщения вроде «Эротика и патриотизм», к которым подверстывалась фотокартинка какой-то климтовской дамы в неглиже — черновики своих будущих роллинг-стоунзовских шлягеров про «непрерывный холизм Тани Булановой» и «интуицию Анжелики Варум». Кургинян, вступивший в КПСС в 1988-м («Мне казалось, я могу остановить распад СССР»), был изощренным аналитиком, теоретиком политической культуры, одновременно воплощением логики и здравого смысла и мастером парадоксального альянса. Проханов оценивает его как человека эмоционального; сам Кургинян, когда я позвонил ему с просьбой об интервью, отказался припомнить что-нибудь о своем коллеге, но, похоже, также не смог забыть годы в «идеологическом цеху»: в его голосе прозвучали несколько истероидные нотки. Джемаль открыл для Проханова «огненный ислам». Все эти интеллектуальные бароны сейчас абсолютно институционализированы. Дугин ввел в оборот российской политической элиты термин «геополитика», он возглавляет Евразийское движение, выполняет функцию серого кардинала Госдумы, проводит съезды неоопричников и ведет колонку в Rolling Stone. Джемаль — председатель российского исламского союза, лицензированный эксперт по всем вопросам, связанным с мусульманством. У Кургиняна собственный аналитический центр.

Все трое выдающихся джентльменов «претендовали на абсолют, абсолютное знание», в силу этого редко сталкиваясь впрямую, так как «друг друга все терпеть не могли, между ними было соперничество, но они появлялись в газете, создавали целые миры…». Как сказано в романе «Место действия» об отношениях похожего на Проханова менеджера со своими заместителями, «Пушкарев не мешал, извлекал энергию их умов, аргументов. Ему была важна их непрерывная, с первых дней возникшая распря… Он, Пушкарев, пожинал плоды, снимал урожай их столкновений, соединяя крайность их выводов».

Бывший инсайдер Дугин со свойственной ему

экспрессивностью так резюмирует деятельность Проханова в «Дне»: «Он стал моральным и психическим хребтом патриотической оппозиции после августа 1991-го. Газета „День“ под его руководством стала отражением его души, и та композиция, которую он создал из идей, личностей, тем, персонажей, взглядов, текстов, позиций, не имела никакого аналога. Каждый номер отвечал пульсу истинной истории. Каждая строчка ожидалась с жадностью теми, кто стал прозревать, пробуждаться, распрямляться вместе с ритмом этой газеты. Прохановский „День“ стал настоящим „кораблем“ в океане бесстыдства и гиперконформизма. Сделав все, что мог, для чести и верности, собрав, склепав народную оппозицию из разрозненных осколков, из не совсем покорных и не совсем безразличных сил, движений, людей, Проханов оказался мотором всего героического периода нашего сопротивления с 1991-го по 1993 год. Если внимательно проанализировать „День“ того времени и сравнить его с другими „патриотическими“ и „оппозиционными“ изданиями, то сразу заметна удивительная разница между живым и фиктивным, между новаторским и имитационным, между искренним и поддельным. Прохановский „День“ говорил все и до конца, круша предрассудки обывательских кадровых изданий, воспитывая и организуя массы, открывая обалдевшим от всего происходящего советским людям новые неожиданные идеологические и политологические горизонты, срывая мировоззренческие табу, бесстрашно бросаясь в неожиданные духовные эксперименты. Это было своего рода оплодотворением патриотизма. Будто в постно-скопческую, уныло и по-чиновничьему юдофобскую преснятину вкололи сыворотку пассионарности. Евразийство и геополитика, империя и третий путь, консервативная революция и национал-большевизм, континентализм и традиционализм, новые правые и новые левые, неосоциализм и неонационализм, православный нонконформизм и исламский фундаментализм, национал-анархизм и панк-коммунизм, конспирология и метаполитика стали постоянными темами „Дня“, разрывая дрему банальных клише ординарных „консерваторов“. Но, видимо, чтобы не пугать кадровых, Проханов добавлял в кипящий котел нонконформизма полотна угрюмых авторов из „старых правых“, бубнящих о своем в привычном для среднего патриота ключе. Эта шифровка Проханову была необходима, как разбавление лекарства, иначе, в более концентрированном виде, постсоветские люди (даже самые лучшие из них) новаторства переварить не смогли бы… Проханов уникален тем, что его темперамент, его тип, его природа наследуют в огромной мере молоканский, нонконформистский,

национал-радикалистский дух свободы и независимости, дух восстания, дух непокорности, дух обособленности. Поведение Проханова эпохи „Дня“ в контексте патриотической оппозиции было поведением мужчины в среде нарумяненных (или вялых) теток. Кшатрийский темперамент, стремление осуществить, воплотить задуманное и намеченное, причем здесь и сейчас. Проханов проецировал свой архетип на других, не просто влияя на читателей, но создавая читателей, вызывая читателей из небытия, формируя их, утверждая, что они должны быть, даже в том случае, если их нет. Не только газетная, но социальная, антропологическая верстка».

— Как вы управляли той своей редакцией? У вас были такие понятия, как «дедлайн», «планерка», «корректура»?

— Не я управлял, они мной управляли. Как можно управлять… ну, скажем, халдейскими жрецами? Представляете, приходят халдейские жрецы, причем приходят на птичьих лапах, и у них эти мокрые толстые трехпалые, как у страусов, ноги, и они, цокая, входят, оставляя следы, и садятся на диван — как можно ими управлять?

На самом деле вся оппозиция, и сам Проханов в первую очередь, очень страдали от отсутствия менеджерского опыта в рыночных условиях. В начале 93-го в «Дне» опубликован интересный диалог Проханова и Ю. Бондарева о неудачах патриотов в плане распоряжения оставшимися от советских времен средствами и создания полезных структур — издательства, литфонда. «Почему? — риторически вопрошает Проханов. — Думаю, это связано с тем, что все мы гуманитарии и не приспособлены к финансовому конструированию. И нас обводят вокруг пальца». Бондарев говорит, что не все сразу, вот и сам Проханов тоже должен был пройти через афганский опыт, чтобы открыть в себе новые возможности и стать главным редактором боевой газеты. И вот тут Александр Андреевич на секунду распахивается: «Просто этот организационный опыт, который я сейчас приобретаю, одному Богу известно, чего он мне стоит, каких ушибов, каких внутренних трансформаций, тоски, драмы… Как я добываю деньги? Что делаю, чтобы моя братия из 28 человек не разбежалась? Это только Богу известно».

Едкий и требовательный к человеческому материалу Дугин называет Проханова очень толковым руководителем и вспоминает о том, как весело с ним всегда было: «В его планерках постоянно присутствовали юмористические репризы. Даже когда он распекал подчиненных и говорил, какие они идиоты, то делал это артистично, смешно, очень обидно, но и с большим тактом. … Яркий человек, он презирает людей, может, меньше чем я, но

довольно сильно, поэтому, может быть, у тех создавалось впечатление, что он жестокий, — может быть потому, что большинство людей живут медленнее, глупее и заторможеннее, чем он. Отсюда возникает несколько диктаторский стиль». О «вождизме» и «зачатках авторитарной личности» говорит и друг Проханова Личутин.

В газете был ответсек — Шамиль Султанов, но это была «ватага», «артель». С одной стороны, редакция была коллективом, в котором полностью реализовался водяновско-фотиевский «Компас»-«Вектор», с другой — никаких формальных признаков менеджмента не наблюдалось. «У нас не было выговоров, не было финансовых поощрений, не было иерархии хороших и плохих материалов. Это был общий котел, банда».

«Все это приходило сюда на планерку, сидело, а когда кончалась планерка, на столе появлялось вино, водка, закуска, складывалось, какие-то нарезки. У нас была экономка Тамара Сащенко, веселая, сильная, энергичная женщина, такая богемная, но умевшая управлять. Все это превращалось в веселую пьянку: буза, корреспонденты, какие-то женщины, кутеж, дым коромыслом. А при этом ФСК, подслушивающие устройства, ощущение грядущей крови, суды, деньги…»; Дугин тоже упоминает о «постоянных застольях», впрочем, утверждает, что то были не столько «болезненные пьянки», сколько интеллектуальные ассамблеи — «напряженные, полные политики, энергии политической ненависти к врагам России и окрашенные злым прохановским юмором, очень приятным».

— А что это за очень красивая секретарша у Клокотова в «Красно-коричневом»?

— Там было несколько красивых женщин-секретарш в разное время, одна сменяла другую.

Материал для редакционного имбридинга часто давали корреспонденты различных СМИ, которые также толклись здесь во множестве, небезосновательно рассчитывая заполучить яркие сюжеты. «Какая-нибудь корреспондентка из либеральной газеты могла стать любовницей кого-нибудь из наших сотрудников в итоге этой пьянки. Это была политическая богема и буза. Это ничем не напоминало чопорность редакций газет советских времен. Можно было прийти подшофе. Я тогда еще пил пиво, и Тамара Александровна ставила каждое утро бутылку пива или две, иностранные бутылки, „Хайнекен“, во время планерки я мог наливать себе пиво и пить».

Проханов с удовольствием вспоминает те «буйные» времена: «маленький полукриминальный коллектив, где на пирушке решаются проблемы спонсирования газеты». Помню, в моем

кабинете, где только что бушевали и пьянствовали казаки или приходил Макашов, долго сидел в передней странный человечек, очень похожий на Акакия Акакиевича, в поношенном плаще; он терпеливо, несколько часов дожидался, когда мы кончим свое буйство, а потом я все-таки о нем вспоминал и приглашал его, а он выходил и на стол из какой-то сумы клетчатой высыпал гору денег.

— Что это за человек?

— А я не знаю, что это за человек. Какие-то странные люди в ту пору были, теневики. Гуляло огромное количество неучтенных денег самых странных. И среди этих людей были симпатизирующие моему направлению, которым нравилась газета. Они приходили, и я помню чудо спасения — день, когда с их помощью смог залатать все дыры.

Газета хорошо шла в розницу, и живые деньги, «замусоленные, шли в огромном количестве, питали наши столы».

Текущие события освещались здесь крайне затейливо — едва ли не каждый номер выглядел «спецвыпуском». Здесь могли быть игры, астрологические гадания, стихи, религиозные лубки; «это было интересно, творчески, коллектив любил все это, мозговые атаки непрерывные».

Атаки были не только мозговыми. Еще даже не было официально подписано в Беловежской Пуще соглашение о распаде СССР, а патриоты уже проводили свои экстремистские акции. 15 ноября 1991 года они сжигают во дворе Дома Ростовых чучело Е. Евтушенко. Удивительно корявое описание этих событий самим пострадавшим похоже на объяснительную в милиции: «В 1991 году я, сожженный на родине черносотенцами в образе чучела, облитого перед статуей Льва Толстого бензином из флакончика Романтика Путча, а потом вышвырнутый вихрем событий в пространстве, как собственный пепел, в каковой, чтоб он не дымился, не преминули коллективно плюнуть штук пятнадцать профессиональных гуманистов…» («Волчий Паспорт»).

Зачем он жег чучело Евтушенко? «Во-первых, оно было сделано из горючих материалов. Его невозможно было не сжечь. Слишком много серы, трав…» Кто его делал? «Моя жена. Это была такая протестная акция, ритуальное сожжение чучела — как сжигали Кострому на Масленицу, после чего должна была кончиться зима и прийти лето; мы полагали, как только мы сожжем этот ненавистный образ, нам сразу вернут наш Союз после этого». Советский Союз или недвижимость? «Территорию, недвижимость, Дом литераторов. Нас же выгнали, никуда не

приглашали, не пускали, все было захвачено „Апрелем“, превратилось в гнездовье демократизма и либерализма. Надо было показать, что захват Союза писателей СССР Евтушенко и компанией — вещь неправовая, и мы, вытесненные после ГКЧП за пределы этого Союза и живущие на Комсомольском, не смирились. Мы совершили первую вылазку, созвали на митинг патриотических писателей. Заранее было сделано великолепное чучело». Расскажите, как. «Как шьют платья, саваны, одеяния? Была сделана голова из папье-маше, мокрых жеваных газет». Как можно было понять, что это именно Евтушенко? «А портрет. У меня же был опыт делания масок, эти маски делались у меня дома, делали их мои друзья-художники и мы с женой. Это очень просто. Сворачивается цилиндр из картона, а потом на него наклеивается масса мокрой, раскисшей газетной бумаги. Вылепливается очень характерный евтушенковский нос, его губы, тощая шея, он же поддается пародированию, Евтушенко. После просушки все это красится в телесный цвет, на голову надевается рыжая сетка, которой чистят посуду, делается какой-то балахон из старой рубахи, все это насаживается на палку от щетки и несется торжественно через весь Союз писателей на двор. Был снежный полдень, писатели говорили в микрофон, к окнам прильнули аппаратчицы Союза писателей СССР, которые обслуживали всю эту новую когорту — Евтушенко, Черниченко, радикальную, „апрелевскую“ часть. Мы произнесли несколько грозных слов. Мой младший сотрудник держал это чучело, и в какой-то момент я запалил его зажигалкой, и оно вспыхнуло, как смола… еще бензином, конечно, поливали… и все это горело, дымилось, фотографировалось».

> «Конечно, зима не прошла: к сожалению, никто ничего нам не вернул. Но курьез-то в чем? В 2003-м, на Франкфуртской ярмарке, я издалека увидел странное долговязое существо, облаченное в какие-то разноцветные хламиды, напоминавшее то ли какого-то тибетского бонзу, то ли странного арлекина. Оно расхаживало по павильонам, и я в этом изможденном дервише узнал Евтушенко. И затем я его заметил в аэропорту. Сначала я задичился, но когда мы встретились у чек-пойнта, он открыл объятия, и мы обнялись. Это было странно, и произошло, видимо, непроизвольно, и с его, и с моей стороны. Когда встречаются два соотечественника за границей, они первое, что делают, — обнимаются и целуются, и только потом признают друг в друге былых врагов. Ну вот,

после этих объятий мы благополучно прошли на борт самолета и оказались в разных углах, а потом он подошел и предложил сесть вместе. Мы всю дорогу сидели и пили очень вкусное вино, вспоминали прошлое. Я, конечно, как всегда помалкивал, как Белосельцев. Он читал стихи, рассказывал о своих поэтических антологиях, литературном мессианстве. Я не испытывал к нему никакой враждебности. И он спросил меня: „Но ведь ты же сжег мое чучело“. А я сказал ему: „Но ты же цел, на тебе ведь нет ни одного ожога, кроме тех, которые ты получил в борьбе с историческими процессами“. И мы согласились с тем, что мы встретились как два ветерана великой минувшей войны, как советские ветераны и ветераны вермахта. Он кем был? Конечно, вермахт. И нет ни недоумения, ни сожаления по поводу пролитой крови, потому что нет ни Третьего рейха, ни Советского Союза, ни Союза писателей, и, по существу, мы оказались обломками разгромленного корабля, испытывающими странное друг к другу влечение. Он сообщил мне, что его жена жадно читает каждый номер газеты „Завтра“, передовицы. У меня даже было желание подарить ему „Последний солдат империи“, где он фигурирует на сходке в Останкинском дворце».

Проханов относится к Евтушенко с «печальной симпатией, как немцы к Калининграду». Его имя несколько раз всплывало в наших разговорах, один раз после того, как поэт Нефедов спародировал Евтушенко в «Завтра», когда тот заявил, что в бесланских событиях виноват Сталин. «Он уже не может по-другому, он же заряжен антисталинизмом. Даже эпитафию можно сочинить. При жизни выглядел как глист, но и под камнем — сталинист».

В январе 2005 года я должен был оказаться на вручении некой литературной премии, которую среди прочих получал и Евтушенко. Проханов попросил передать ему сувенир — только не «Последнего солдата», а «Крейсерову». На сцене Евтушенко декламировал «Между городом Нет и городом Да», как Мик Джаггер, но за кулисами выглядел обрюзгшим стариком, и ничего внятного про Проханова я из него вытянуть не смог. Зато успел скопировать надпись, сделанную Прохановым на форзаце книги:

Любезный Женя,
Я помню чучела сожжение,
Но не без тени сожаления.

Теперь живу в блаженной лени я,
В надежде на загробное сближение.

В сущности, акция с сожжением чучела была чистым вызовом; вряд ли к тому времени ему по-прежнему был нужен Дом Ростовых, офис Союза писателей — все было здесь, в собственном кабинете: «всего было много, все пузырилось, сталкивалось, узнавало друг друга». Однако ж храм оставленный — все храм.

В 1992 году произошла так называемая «Битва с „Независимой газетой“», о которой Проханов до сих пор рассказывает с необычайной гордостью и воодушевлением. «Независимая газета» с Третьяковым провозгласила себя центром исканий, лидером русских интеллектуалов. А тут появились мы, и началось соперничество двух интеллектуальных центров — либерального и патриотического. Однажды две газеты пригласили на телевидение, где состоялся интеллектуальный турнир. С той стороны был сам Третьяков, с этой — ваш покорный слуга. Пархоменко там работал у них, еще Леонтьев, очень яркая плеяда. И с нашей стороны тоже были пушки тяжелого калибра — Кургинян, Шамиль Султаноа… Это была такая игра, они вопросы вбрасывали нам, мы им, по каким-то текущим темам. Одним словом, мы их разбили наголову. Кургинян своей экспрессией, своим безумным лексиконом, конечно, своим суперинтеллектуализмом их всех перемолол. И Султанов, в борьбе с кем-то, чуть ли не с Пархоменко, воскликнул: «Да, я исламский фундаменталист!». Одним словом, это была интеллектуальная победа, которой мы были страшно горды.

Помимо ритуальных акций были и те, где рисковать приходилось нешуточно. Однажды, летом 92-го, он потащил группу патриотических писателей на фронт, в Приднестровье, которое отделилось от Молдавии и фактически стало государством («мятежным анклавом») русских боевиков, изгнанных из стремительно отдаляющихся от России бывших республик СССР.

— Какой необычный жанр — коллективный выезд на фронт. Что вы там, собственно, делали?

— Поддержка. Приднестровцы просили, чтобы приехали русские писатели, поддержали сопротивление. «День» был перевалочным пунктом добровольцев, «казаков», мы поддерживали восстание. Макашов там тоже был, я все мечтал, чтоб он возглавил оборону Приднестровья, работал с ним около

месяца, оборону помогал выстраивать. Вольница была казачья, гульба, молодое было государство.

На фотографии — надменный Проханов в обществе академика Шафаревича, писателя Балашова, капитана Шурыгина и десятка боевиков с автоматами позирует на фоне странного самодельного броневика — КАМАЗа, обшитого железными листами, уставленного пулеметами и разрисованного советской символикой. Оказавшись у Дубоссарской электростанции, Проханов с Шафаревичем отправляются на прогулку по дамбе через Днестр, не кланяясь пулям засевших на противоположной стороне румынских стрелков: «Я, идиот, водил его туда, под снайперов, кокнуть могли — и было бы: Проханов, убийство Шафаревича!». Еще одно фото: чудно наряженный дедушка, будто из иллюстрации к «Репке», высовывается из окопа и целится из винтовки. Это писатель Дмитрий Балашов «целился в какого-то румына на той стороне». Балашов поразил Проханова экстравагантным поведением: вечером им привезли канистры вина, они сидели за чарочкой, а он стоял — «сияющие голубые глаза, косовороточка, молча — и вдруг (быстро хлопает себя по рукам-ногам) отбил чечеточку».

С этой поездкой был связан небольшой скандал: Артем Боровик выступил по телевидению с сообщением о том, что из Приднестровья Проханов нелегально вывез наградной револьвер, и даже привел его табельный номер. «Артем, которого я когда-то снаряжал на корабль, консультировал по просьбе Генриха Боровика, бывшего тогда главным обличителем Соединенных Штатов, всегда вел репортажи из Нью-Йорка на фоне помоек, а сейчас стал прогрессистом, гуманистом, проамериканистом — по существу, доносил на меня, желая, чтобы меня арестовали. Зачем ему понадобилось совершать такой акт вероломства, печатать этот донос?!» — «Ну а пистолет-то был?» — «Если он и существовал, то сгорел во время пожара на истринской даче».

В том же духе была выдержана и поездка в Сербию; вместе с Дугиным они оказываются там как представители националистической элиты России, символически поддерживающие режим Милошевича. В 1992 году этнические чистки на территории бывшей Югославии были в самом разгаре: сербы вырезали хорватов, хорваты сербов, все это тысячами, с дикой жестокостью, «и мы крутились во всей этой каше». Из Белграда они на автобусах отправились в зону боев, в Крайну, в Боснию, где встречались с Караджичем и Младичем, выступали на митингах в войсках и стреляли по Сараеву из пушки. «Я как сейчас помню: в расселине горы, в глубине дым, закопченный туманный город Сараево с большими домами. Стоит гаубица

времен Второй мировой войны, веселый сербский обслуживающий подносит артиллерийский наряд. И они позволили сделать выстрел, и наши снаряды ушли в Сараево, какое-то строение там разнесли».

Дугин, тоже там присутствовавший, утверждает, что выстрелить им не дали, а только зарядить. Судя по его рассказам, в поездке не все было гладко. «Были русские патриоты, которые говорили, что мы не должны ввязываться в спор славян, на что Проханов очень спокойно заметил, что на самом деле есть только две стороны — либо они, либо мы, даже если мы ошибаемся, все равно надо быть на одной стороне, — чем озвучил близкие мне позиции». На автобусе они въехали на территорию Боснии-Герцеговины — Бацанский брод, «наше», то есть сербское, место, которое оказалось между хорватами, с одной стороны, и мусульманами, с другой. Стреляли там отовсюду, но пока некоторые писатели, по свидетельству Дугина, забились под сиденье и боялись вздрогнуть, «Проханов вел себя крайне стоически, ходил спокойно, кивал четникам, которые обороняли дорогу и говорили „Пригнитесь!“ — и даже выискивал детали для своего „жигуленка“. Он сказал очень смешно: „В каждом из нас есть что-то от мародера“, — и показал какую-то шестеренку или прокладку. А там все разбитое, разваленное, машины в воздух взлетают. Близкие автоматные очереди, свистящие пули. Проханов вел себя очень иронично, так, наверное, вел бы себя Эрнст Юнгер под бомбежками. Приятное и освежающее поведение». Однажды они ночевали в каком-то общежитии и уже собирались ложиться после очередного освежающего разговора, но тут под окнами разразилась настоящая пальба. Им удалось выехать оттуда, вскоре выяснилось, что через пять минут после отъезда гостиница была разрушена прямым попаданием снаряда. «Все это вызывало у него жизнерадостность, веселье».

Проханов получает благословение иеромонаха Филадельфа на создание Фронта национального спасения.

Сам Проханов рассказывает об этом без улыбки. Самое сильное впечатление на него произвел Вуковар. «Мы въехали в город — конец XX века, средней величины европейский город — там не было ни одного целого дома. Этот город был, как Ковентри или как Дрезден, весь разгромлен. Деревья стоят страшные, расщепленные снарядами. Церкви разрушенные. Ангелы со следами ран ужасных. Город был уничтожен военными арсеналами, предназначенными для Третьей мировой войны. Вот что такое этническая гражданская война в условиях Третьей мировой. Тотальная война». Эти явно болезненные впечатления не помешали ему в июне 1995 года, после начала бомбардировок самолетами НАТО позиций боснийских сербов, отбить Радовану Караджичу телеграмму следующего содержания: «Сербы, сбивайте их самолеты!».

Между тем Сербией — ну если не интервенцией, то гражданской войной — пахло в самой России. К 1992-му к ней могли привести множество факторов: социальное расслоение — обнищание и обогащение, бандитский капитализм малиновых пиджаков, Ельцин с замашками самодура, сильный парламент, обладавший реальной возможностью смещать президента, накапливавшиеся противоречия среди про- и антиельцинских олигархических групп, честолюбие Хасбулатова, зависть Руцкого к Ельцину. Едва ли не каждый день в Москве бушуют митинги, причем уже не рутинно-однообразные, как в конце 80-х, а

торжественно-помпезные, каждый — как ноябрьский парад 1941 года.

23 февраля 1992 года патриотическая колонна спускается вниз по Тверской, к Вечному огню и Кремлю. Проханов в нахлобученной на лоб ушанке марширует в первом ряду, любезно поддерживая под руку вдову маршала Ахромеева. Справа от него печатают шаг Алкснис, Варенников, Зюганов. На митинге на Манежной на трибуну вырывается его тогдашний кумир Невзоров, размахивая последним флагом с крейсера «Аврора», который ему удалось уберечь от демократов и, чуть ли не обмотав вокруг пояса, доставить в Москву.

Что касается вдовы маршала Ахромеева, то он даже не сможет проводить ее до подъезда — в тот же день он должен гнать в Лефортово: его вызвало следственное управление Министерства безопасности РФ, чтобы вручить письмо с просьбой открыть следственным органам материалы, связанные с публикацией статьи «Преступник Ельцин должен уйти!», где, в частности, сообщалось о том, что 4 декабря во время 7-го («красно-коричневого») съезда депутатов должен произойти государственный переворот. С этого момента, кстати, начинается одна из громких судебных саг, отчеты о которой печатаются в каждом «Дне» на первой полосе, под шапкой «Проханов против Ельцина». Газета на грани разорения и закрытия — ей грозит ответственность по 6-миллионному иску. Несмотря на кровожадность Ельцина, о «басманном правосудии» тогда речи не было, и все кончилось благополучно, настолько, что уже через несколько недель патриотический таблоид вышел под шапкой «Проханов победил Ельцина!». Это был не последний (выигранный) судебный процесс.

1 мая демонстрация патриотов наталкивается на стальные щиты омоновцев. Ее разгоняют водометами. 9 мая, если верить не только «Дню», но и «Коммерсанту», на улицу выходят 300 000 патриотов. 22 июня в Москве одновременно проходило два митинга, посвященные началу войны. Один официальный, инспирированный мэрией, клокотал на Манежной площади. Среди прочих там выступал, например, Маресьев — в школьные времена прохановский кумир, эталон героя, а с недавних пор еще и сосед, живший двумя этажами ниже. Оппозиция же собрала «своих» ветеранов в районе Останкино; там же разместился Анпилов с «Трудовой Россией» и развернул палаточный городок с пикетами. Это уже было несанкционированно, и ОМОН сначала отдал приказ «всем сесть на асфальт!», а затем прошел сквозь ряды митингующих с резиновыми дубинками, громя всех, в том числе писателей, Юрия Бондарева, налево и направо. Проханов,

естественно, явившийся в Останкино, обалдев от того, что войска избивают ветеранов, «вырвался из бойни», сел в свою машину и помчался на митинг на Манежную — чтобы открыть лояльной властям толпе правду о том, что в это время таких же ветеранов лупит дубинами ОМОН. Там он увидел своего соседа, его долго не пускали на грузовик, наконец, ему удалось вскарабкаться, и он начал орать в толпу: «Наших бьют!». Микрофон мгновенно отключили, и он начал орать так, срывая горло. Кончилось тем, что грузовик двинулся — «и вот толпа, я кричу что-то безумное, а он меня увозит». Не поверив в добрые намерения водителя и предположив, что может оказаться не то в Кремле, не то на Лубянке, он спрыгнул с грузовика, разорвав себе брюки и повредив ногу.

Первая его схватка с ОМОНом состоялась в ходе митинга подполковника Терехова на Тверской, рядом со строящимся «Мариоттом». Чтобы докричаться до задних рядов, лидеры оппозиции карабкались по строительным лесам и орали в «красную» толпу крамольные речи, призывая идти вниз, на Кремль.

— Как высоко вам удалось залезть? На какой этаж?

— Ну не знаю, на третий, наверно. На тот, где были настилы и откуда была видна толпа. Нам уже стало известно, что в районе Маяковки Тверскую перегородили, стояли грузовики, а перед ними омоновцы со щитами. Терехов позвал народ в поход, и мы спустились, выстроились в цепь, взялись под локоть, справа от меня стоял Алкснис, мы шли в первой шеренге, потому что вожди должны идти впереди. И мы двинулись.

Действительно, рядом с рестораном «София», нынешним «Ростиксом», они увидели стену омоновцев. Те подпустили их поближе и принялись колотить в стеклопластиковые щиты резиновыми дубинами. Это произвело на демонстрантов известный эффект — «по-видимому, что-то такое чувствовали расчеты противотанковых ружей, когда танки на них надвигались», но они продолжали сближаться. Когда идти больше было некуда, Проханов покрепче схватился за Алксниса и, удвоив свой вес, врезал ногой в щит. Дальше началась мясорубка, но атакующим все-таки удалось как-то протиснуться сквозь ОМОН и перегородившие Тверскую грузовики. До Кремля они так и не дошли, основной массив был удержан, но, в любом случае, ему было по пути — жил-то он на Пушкинской.

— Надо же — я-то вас застал уже таким вальяжным, с патрицианской пластикой. Трудно даже представить вас карабкающимся по мариоттским лесам.

— В 91–93 годах я был еще худым человеком. Сейчас это

связано с тучностью, а я-то был ходок… Просто оппозиция стала чаще собираться на свои вечера… появились спонсоры… и в ресторанах, за столом… непомерные калории, они, конечно, деформировали мою фигуру, и я приобрел уже не вполне спортивный вид.

— А вы в самом деле бегали с баркашовцами кросс, как Белосельцев в «Красно-коричневом»?

— Нет, я с Баркашовым не бегал, там была задача показать весь атлас партий, в том числе и баркашовского РНЕ; это было таким приемом, который я придумал.

— Как получилось, что вы сами не стали полномочным лидером оппозиции?

— Мне постоянно об этом говорили. Я специально отступал на вторые роли. Кстати, может, это даже был инстинкт самосохранения, я сейчас думаю. Потому что очень много людей, выступая на первый редут, на первые роли, очень быстро сгорали и расходовались. Они помещали себя на эту расплавленную кромку и, созданные из такого папье-маше, очень быстро там сгорали.

Митинг на Тверской, 1993 г.

Еще до сентябрьского ельцинского указа № 1400 о разгоне парламента Проханов стремительно сближается с Хасбулатовым, который к тому времени люто ненавидит своего бывшего союзника Ельцина. В «Дне» появляется их очень обстоятельная беседа — уважаемый Руслан Имранович, любезный Александр

Андреевич. Он мог позвонить его пресс-секретарю, тот немедленно соединял их, они обсуждали различные сценарии, обменивались союзниками. «Кое-какая информация доставлялась интересная». Что за интересная информация? «Ну, например, мне стало известно, кто и как убил Поляничко. И я счел необходимостью рассказать об этом, потому что информация частично касалась и самого Хасбулатова». (Поляничко, профессиональный переговорщик, был другом-партнером Проханова с Афганистана. В последнее время он занимался карабахскими делами, и его смерть, судя по некрологу-мемуару, глубоко поразила Проханова.)

Они понимали, чем кончится противостояние, и лихорадочно ждали ельцинского указа о роспуске парламента, надеясь после него перевести нарыв в открытую фазу и спровоцировать столкновение и переворот. Каждый день Проханов является в Белый дом и ведет бесконечные переговоры. Там многие депутатские кабинеты были уже опечатаны, но у тех парламентариев, кто остался, наоборот, толклись люди, шли постоянные пресс-конференции. «Дом был набит, кишел, полно защитников. Наверху была радиостанция, внизу — арсеналы». «Главный арсенал Хасбулатов, идиот, вывез, остались только короткоствольные автоматы. Но наши-то протащили сюда снайперские винтовки; у приднестровцев, я видел, был ручной пулемет».

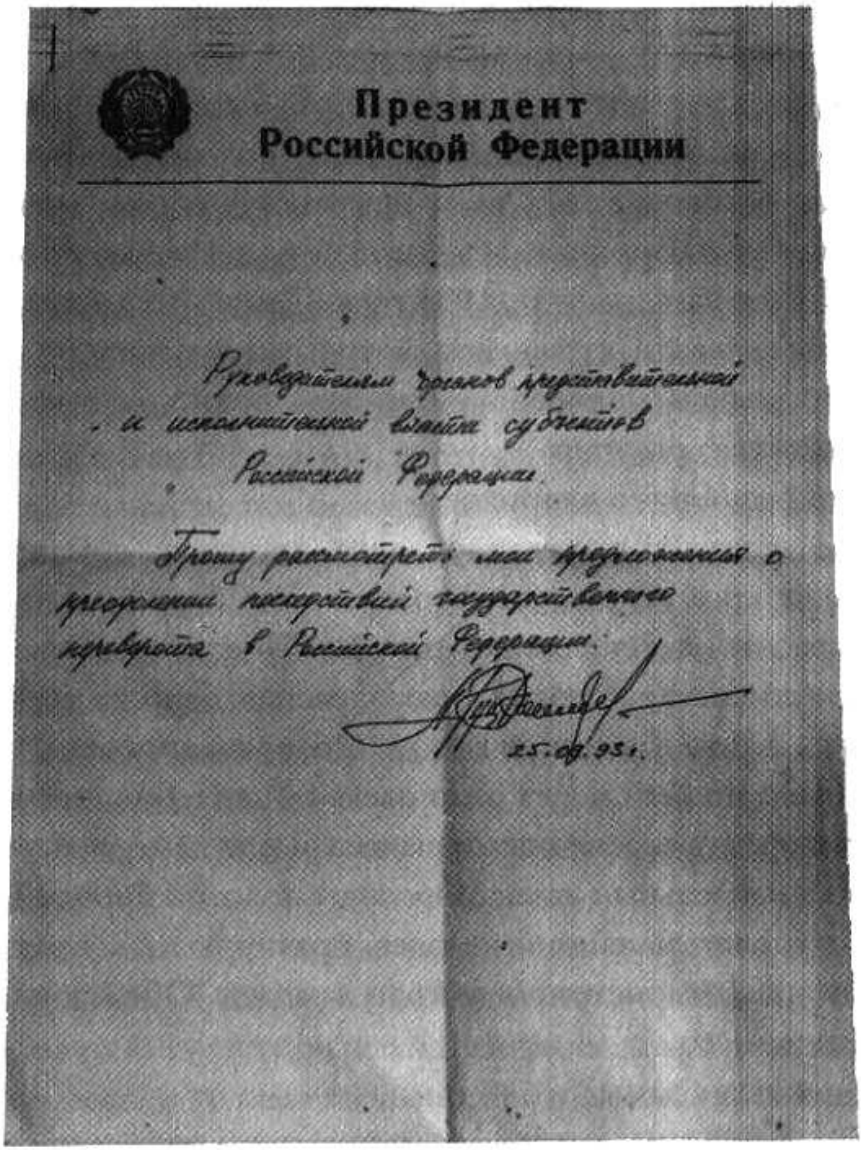
Он так много рассказывал мне про 93-й год, а тут я еще прочел «Красно-коричневого», что я попросил его, чтобы он повел меня на экскурсию по своим местам боевой славы. К Белому дому мы приближаемся со стороны «Баррикадной» (где, как уверяет Николай Николаевич из «Господина Гексогена», до сих пор ходят под землей мертвые защитники Белого дома): справа остается Киноцентр, слева — стадион «Асмарал».

— Вон до сих пор висят эмблемы: иракский человек его купил, потом он спонсировал мою поездку в Нью-Йорк, в ООН, попросил, чтобы я выступил на слушаниях об отмене эмбарго. А в детстве я сюда ходил смотреть футбол. В 1993-м не было этой железной ограды, были бетонные плиты, и на них были поразительные граффити сопротивления. Вот к этой стене выводили пленных, здесь их пытали и расстреливали. Довольно большое количество, до 90 человек. Экзекуциями и расстрелом руководил генерал Романов, он был замминистра внутренних дел, Ерина. Тот самый Романов, которого потом в Грозном на площади Минутка рванули, и он остался дебилом, его возят на каталке. Мы о нем несколько раз писали: усматривали в этом промысел божий, возмездие за истязания наших товарищей… Вот

это одно из направлений, которые вели к осажденному Дому советов, прямо перед нами. Сейчас там ограда, через которую не пройдешь, а раньше ее не было. А вот двадцатый и двенадцатый подъезды, через которые проходили от метро. Тут была так называемая казачья застава, стоял грузовик, они сделали чучела пулеметов, которые держали всегда накрытыми чехлами; создавалась иллюзия, что это пулеметная точка. И вокруг все время, когда еще не было блокады, — народ, песни, баррикады, здесь, там, крестные ходы, гитары. Вот там был такой балкон, на который с микрофоном выходили все — артисты, писатели, политики — нон-стоп вещали толпе, та восхищалась, ревела, аплодировала. А потом, когда все стало закрытым, войска, ОМОН, колючая проволока — они остались в блокаде. Вот здесь собиралась толпа, пыталась прорваться внутрь, показать, что защитники не одиноки.

— А чего вы там делали целыми днями, в этом осажденном Белом доме?

— Возникла гравитация, там был центр конфликта, собралась масса людей, в том числе писателей. На втором этаже стояли трибуны, с которых мы выступали, бесконечная ротация, я тоже, по несколько раз за день. Белый дом был очень живым местом, туда было просто интересно приходить. В городе он воспринимался как какой-то новый форум. Странные бумаги постоянно издавались. (Одну из них я видел в Торговцеве, пришпиленную к стене в бане: это напечатанное на бланке «Президент РФ» письмо Руцкого от 25.9.93.).


Президент
Российской Федерации

Руководителям органов представительной
и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Прошу рассмотреть мои предложения о
проведении референдумов государственного
переворота в Российской Федерации.

25.09.93 г.

Банный лист.

Мы оказываемся в маленькой рощице, заваленной не то хламом, не то памятными инсталляциями. Между деревьями полощется флаг, сшитый из красного, черно-желто-белого и еще какого-то.

— Здесь, где мы стоим — важное, мистическое место. Это поминальный мемориал. Мы считали, что на баррикадах Дома советов соединилось несоединимое, красная и белая идеологии. Вот это дерево, я его называю языческим деревом, берегиня, в дни поминаний увешивается ленточками. Это язычество — вот ленты,

вон еще, вон — символизирующие партию зеленых, черных венедов: в патриотическом движении было сильное антихристианское направление. Рядом с этим языческим деревом — поминальная часовня, крест, всем невинноубиенным мученикам. А вот там макет баррикады, сделанный из тех же материалов, из которых были сделаны и те, 1993 года. Плиты, из асфальта выламывали, складывали, турникеты, которыми митинги огораживали, много колючей проволоки, спираль Бруно, сейчас меньше, кто-то на сувениры упер.

— Спираль Бруно что такое?

— Это такая колючая проволока жестокая, с маленькими ножами, не пройти, рвет все страшно. Эта баррикада символизирует красный аспект сопротивления. То есть языческое древо плюс христианская часовня плюс красная баррикада. Единый комплекс… Дом был осажден и забаррикадирован. Сначала нужно было пройти через омоновское оцепление, потом через казачью заставу с деревянными шашками и пулеметами, ею руководил восхитительный казак Морозов, с золотой бородой, усами, лихой, очаровательнейший человек, бравирующий, нравившийся женщинам, демонстрировал свои лампасы. Обожающие дамы смотрели на него.

— Какие еще дамы?

— Ну женщины, патриотки приходили сюда, это же была революция, связанная и с женщинами.

— Это бабушки, что ли, которые у метро торгуют «Завтра»?

— Вы помните картину Делакруа? Теперь многие патриотки из тех состарились, но они были такие… Там были молодые актрисы, там был центр, который волновал людей, волновал Москву.

— Да что вы мне рассказываете. Я прекрасно все помню.

— А вы там были?

— Полагаю, у меня были другие заботы.

— Почему вы туда не приходили? Вот вы сейчас с огромным опозданием спрашиваете об этом. А если бы вы пришли, вас бы вовлекло это. А рокеры? А диггеры наши патриотические? А молодые девки-баркашовки, которые обожали своих молодых нацистов и фашистов, в форме, камуфляжах? Все эти политические движения были наполнены женственностью, там была своя эротика революционная. Конечно, там были и дедушки, и бабушки, там были молодые священники, до сих пор у моего Андрюшки в знакомцах отец Никон, который пережил все это, раньше играл на саксофоне, а потом ушел в монахи. Там были мои сыновья, молодые пацаны, ваши ровесники. А с ними ходили подруги. Там было все. Там было вино, эротика, там был флирт,

был театр, там была ненависть, там были заговорщики, там было ожидание этого боя, там были тайные автоматы, гудели микрофоны. Все это клокотало. То снег, то солнце, то вино, то водка, то гусь, то черный хлеб. Тащили из домов какую-то снедь, яства.

— А вы что носили?

— А я носил свежие номера газеты, поддержать осажденных. Что я мог еще носить-то?

— Не знаю, нарезку… что там у вас в редакции подавали обычно.

— Зачем? Там мне подавали, чего это я буду носить, я был званый человек. Я выступал непрерывно с трибуны, устраивал сходки, выпускал газету, газета вдохновляла. Была ведь информационная блокада: толпы телевизионщиков все время выплескивали в эфир диффамирующие материалы.

— Да, я упивался этими репортажами.

— А мы были одной из немногих газет, которые давали другой образ всего происходящего: образ восстания, образ революции. Это было действительно революционное состояние. Я думаю, в 1905 году так клокотало. Офицерство, казачество — такой революционный театр, с музыкой, с гитарами, но и с заговорами, самокатчиками, которые уходили в гарнизоны депешами…

Последние десять дней Белый дом был полностью блокирован ОМОНом, и сочувствующим приходилось пробираться по подземельям. Они загружались где-то в районе Белорусского: «какой-то красный уголок ветеранов, там в доме сбор был. Всем раздавали фонарики, были поводыри — диггеры; изломанный какой-то человек повел нас к какому-то другому люку, смотрели, чтобы у него не было охраны, и долго шли. Вышли в вентиляционную шахту, с той стороны». Туда же во время штурма убегали люди — одни к «Белорусской», а другие — к Новодевичьему, вдоль набережной, по канализационным трубам, иногда, кстати, им приходилось идти через кипяток.

Так они прожили дней десять.

Несколько раз ему приходилось ночевать там, прямо на стульях в чьем-нибудь кабинете. «Складываешься, спишь. Была холодрыга, ведь отключили там все. Приходилось кутаться. В ковры закутывались. А позже просыпались, встречались, беседовали при лампаде. Катакомбное впечатление, темный коридор в ночи, как пещера в Псково-Печерском монастыре. Там светильник, там свечечка, над свечечкой склонился монах-мыслитель — подходишь, а это Ачалов, оказывается. Ха-ха».

Нельзя сказать, что он сидел там безвылазно. Он бывал дома,

в редакции, посещал митинги, дни рождения и рестораны, он знал, что если хочешь написать роман, нельзя ждать, что роман придет к тебе просто так, — надо жить соответствующим образом. «Я по-прежнему ощущал, что складывается романная ткань. Я всю жизнь знал, что все эти эпизоды, все эти переживания так или иначе лягут в тексты, станут плотью романа. Я видел, что опять возникает историческая конвульсия жизненная, такое сжатие, сюжет, и я предвидел, как он будет разрешаться. Кроме политических, была еще задача художественная: все это увидеть, пережить, поставить себя на место всего этого, и я был на заседании штаба, наблюдал процедуры, фиксировал поведение всех и вся — на демонстрациях, под землей, в столкновениях с ОМОНом».

2 октября 1993 года ему в редакцию позвонил будущий путинский идеолог Владислав Сурков, в тот момент один из руководителей МЕНАТЕП. Им уже приходилось до этого однажды встречаться, поэтому Проханов без особого удивления принял его приглашение отобедать в «Балчуге». Ельцинист, разумеется, тот интересовался ситуацией, прогнозами, диспозицией, тенденциями — «играл роль такого разведчика». Зачем? «Они волновались; не зря к Белому дому буржуа приходили с цепями — бить защитников, и когда их выводили, толпа буржуазно-либеральная их освистывала». Проханов рассказывал о том, что задача оппозиции была дотянуть ситуацию до 4 октября, когда в Москву должны были съехаться представители регионов, и реализовать так называемый «нулевой вариант», при котором неконституционными объявлялись действия и Ельцина, и оппозиции, ельцинский указ дезавуировался, конфликт рассасывался, назначались новые выборы парламента и президента. «Мне казалось, что мы дотягиваем до 4-го числа, и важность нашей политики состоит в том, чтобы дотянуть, выстоять, не сдаться, не замерзнуть. А у Суркова были более скептические представления, он сказал, что до 4-го мы не дотянем». На что Проханов окрысился и заявил ему: «Дело ваше хана». На том они и разошлись.

Они действительно не дотянули. Уже 2-го произошла генеральная репетиция большой бойни — на митинге. Именно там он успел выкрикнуть в микрофон, пока омоновцы стаскивали его с трибуны, «Держись, народ!» (а я не попал из-за этого инцидента в Музей кино).

— Что еще интересно: вон, напротив дерева, стоит крестик, поминальная часовенка такая. «Вечная память священнику отцу Виктору, мученику за народ. 1993 год». Это был один из священников, тут много было духовенства, в Белом доме,

батюшки всевозможные, и некто Виктор Станев, поп без прихода, блуждающий, кочующий. Он во время штурма взял икону и пошел на пулеметы, на бэтээр, образумить их — и исчез. Сохранилась легенда, что его убили на том бэтээре. А потом, через полтора года, он ко мне в редакцию пришел.

— То есть в каком плане пришел? Живой?

— Да. И дал интервью, рассказал, как он выжил, прошел через бэтээры, солдаты увидели — поп — и не стали в него стрелять. Он все время хочет, чтобы сняли это, а народ — нет: убит, мученик. И он ничего не может сделать, так что стоит тут такой вот памятник. Он потом уехал куда-то в Якутию, с Макашовым до сих пор дружит, иногда появляется.

— Хороший сюжет.

— Тут много разных. Еще есть наша мифология, что раз в году в кабинете Черномырдина, а это был кабинет Хасбулатова, появляется страшное жуткое пятно крови, до сих пор у Фрадкова оно возникает. А вот колумбарий — фотографии убиенных, кто был опознан. Родители приходили ко мне, в газете писали обо всех.

— А в том углу?

— Венки. Сюда люди приходят, водку пьют, поминают. Целое творение такое народное. Много крестов появилось… Еще была группа «Центр», с Днестра приехали какие-то ребята с пулеметами. А тут были русские предприниматели-бандиты, которые держали оборону, Союз офицеров, добровольческий полк, состоявший из отставников-ветеранов. Весь дом был поделен на рубежи обороны, и каждый свой участок занимал.

Но настоящая бойня началась 3-го, когда ОМОН пошел на штурм, а Руцкой пытался вызвать на Москву боевую авиацию.

Утром Проханов поехал в редакцию, где читал материалы и раздавал указания корреспондентам. Во второй половине дня он отправляется на день рождения одного бизнесмена, который не следовало пропускать даже в такой напряженной ситуации. То был человек, для которого обязательно нужно зарезервировать место в энциклопедии эксцентриков своего времени, — азербайджанец, русофил, сталинист, зоологический антисемит, в советское время мафиози-теневик, отсидевший и при этом считавший коммунизм самой совершенной системой. Факт тот, что он спонсировал оппозицию: платил зарплаты сотрудникам «Дня», покупал костюм Зюганову, а впрочем, для отвода глаз, спонсировал и газету демократа Борового. Разумеется, он часто встречался с Прохановым, расспрашивал его о новостях патриотического движения и приглашал на дни рождения. День рождения этого удивительного человека праздновался в

ресторане. Друзья подарили ему малахитовую вазу, наполненную виноградом, произносились тосты. По счастью, там оказался телевизор, по которому вдруг сообщили, что у Белого дома идет стрельба. Проханов тотчас же откланивается, мчится туда и поспевает ровно к штурму мэрии, бывшего здания СЭВ. Только что прорвали оцепление, вокруг валяются мотки спирали Бруно, толпа неистовствует, баркашовцы гвоздят из автоматов по окнам-витринам. Ворвавшись на первый этаж, он увидел, как баркашовцы выводят пленных милиционеров и солдат. За несколько минут до его приезда здесь подстрелили Владислава Шурыгина, корреспондента газеты «День». Ему очень сильно разворотило ногу, и его разверстую рану спустя много лет жадно опишет Лимонов, в тот момент оказавшийся с ним рядом. Когда весной 2005 года мы ехали в прохановской «Волге» отмечать выход книги Шурыгина «Письма мертвого капитана», тот показал нам фонарь, у которого он лежал, — «вон, где тетка с сумкой пошла»; «было просто такое ощущение, что, как в детстве, со всей силы по ноге палкой ударили». Шурыгин истек кровью, потом много времени провел в больнице, и коллеги тайно навещали его, опасаясь репрессий.

— Пойдемте сходим туда, к мэрии? — показываю я на протоптанную в сугробах дорожку.

— Да далеко, замерзнем, там, может, до сих пор стреляют.

В октябре 1993 года его это не остановило, побывав в мэрии, он тут же принялся прорываться в Белый дом, где только-только начинали осознавать, что началась настоящая гражданская война: здесь бродили «белый как мел Бабурин», «Ачалов, который хромал, он упал, поскользнулся, у него была температура 38°». Остатки дня он проводит в лихорадочном общении, «колоссальном безумии, коловращении», собирая материал для газеты, интервьюируя участников и пытаясь выяснить, что будет дальше, есть ли стратегия. Газета, кстати, к тому времени уже была запрещена, и даже типография отказывалась печатать «День». (Любопытен финальный номер этого исторического издания — за конец сентября 93-го. Первые семь полос выполнены в стандартном режиме: банду Ельцина под суд, портрет Ельцина, напечатанный вверх ногами, и проч. Выбивается из формата последняя полоса, занятая полосной рекламой популярного ваучерного фонда: «Ставка на лидера. МММ.». Это последнее, что было напечатано в этой газете.) Чтобы продолжать работу, они зарегистрировали дубль, называвшийся «Газета духовной оппозиции», с подзаголовком «выходит вместо запрещенной газеты „День“».

Затем начался отчаянный баркашовско-анпиловский рейд на

Останкино, и, разумеется, без него они бы не управились; проблема состояла в том, как добраться: свою машину он отдал сыну. Тут он неожиданно увидел у Белого дома одного своего знакомого, мелкого бизнесмена, занимавшегося дорожным строительством. На баррикады тот прорвался прямо на своем самосвале. Проханов окликнул его и предложил рвануть в Останкино, вслед за Макашовым и казаками. После тренировок на мариоттских лесах забраться в высокую кабину КАМАЗа труда не составило, и они помчались сквозь пустую, затаившуюся Москву.

На улице Академика Королева они нарисовались ровно в тот момент, когда макашовцы начинали штурм главного здания. Забаррикадированные двери пытался протаранить грузовик, у него не получалось, он отъезжал, разгонялся снова, долбил и долбил. Из телецентра при этом раздавался голос в мегафон: «Товарищи, просьба разойтись…». Это вещал, как потом выяснилось, Мисюк, глава спецподразделения внутренних войск «Русь», а внутри стояли бэтээры. Товарищи, однако ж, не особенно прислушивались к этому голосу и продолжали долбить портал и рваться в вестибюль. Кто-то выстрелил внутрь из подствольного гранатомета, оттуда полетели искры, стали тлеть ковры — и в этот момент сразу в нескольких местах зажглись слепящие прожекторы и прямо из здания выползли бэтээры, постреливая в толпу крупнокалиберными. «Это было странное ощущение: ты стоишь в толпе, а мимо тебя несутся эти трассеры, пробивают, отрывают какие-то куски от людей, все валится. Ужас такой был». Толпа кинулась врассыпную, он тоже — в парк через дорогу, где сейчас находится ресторан «Твин Пигз». «Страха не было, а было желание это видеть. Первый шок кончился, и я опять вместе с людьми вылез из этих деревьев, из этого парка — на улицу Королева».

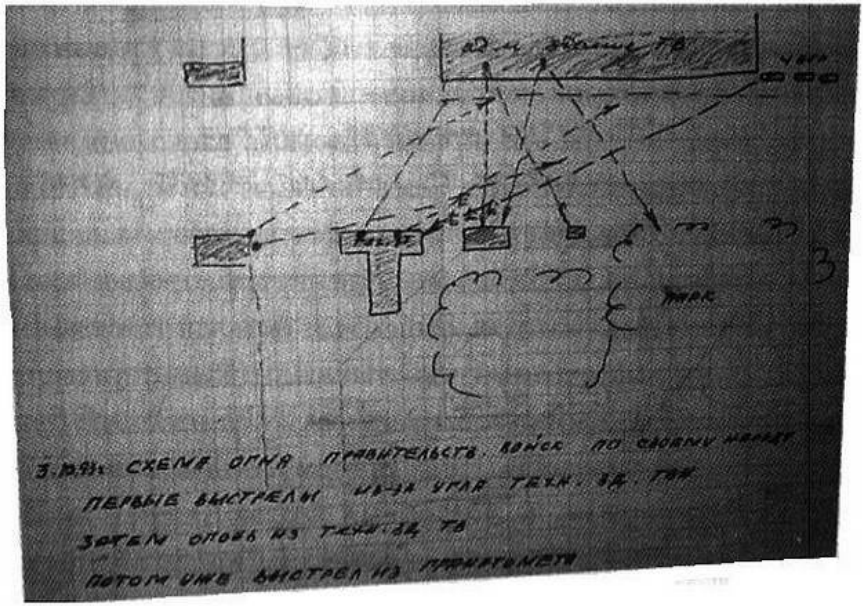

3.10.93г. СХЕМА ОГНЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ. КОЛОН ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ
ПЕРВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ ИЗ-ЗА УГЛА ТЕХН. ЗД. ГАИ
ЗАТЕМ ОГОНЬ ИЗ ТЕХН. ЗД. ТВ
ПОТОМ УЖЕ ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРИТЯГИВАЕМЫХ

Схема боя 3 октября 1993 г., начерченная генералом Макашовым в тюрьме.

— На обложке амфоровского «Красно-коричневого» написано, что вы сами кинули бутылку с горючей смесью в бэтээр.

— Это тоже было зрелище: по этой улице носились сумасшедшие бэтээры, видимо, стрельба по толпе тоже произвела на механиков впечатление. Они делали крутые виражи, заваливаясь на эти скаты свои, и двигались, разгонялись и стреляли вдоль толпы; крики раненых, вопли; а молодые парни отвинтили крышку у бака «Жигулей» и сливали бензин в пивные бутылки. Наполнив их, они приделали к ним нечто вроде запала. И молодой, лет восемнадцати, парень, красивый, румяный, ставил эти бутылки. Я взял одну, и когда бэтээр прошел, я в него ее швырнул, в корму. Промахнулся. В романе двойник Проханова, редактор оппозиционной газеты Клокотов, погибает у Останкина.

Останкинская бойня продолжалась еще долго. Он успел встретить Анпилова, потерянного, одинокого, обескураженного. Приведя с собой толпу пешком, тот отстал от первой группы, приехавшей на машинах, на два часа, которые оказались роковыми. Проханов разыскал свой самосвал и попросил отвезти его домой. Были уже сумерки, он был абсолютно опустошен увиденным. На Тверской ему встретились толпы, выглядевшие не так, как его союзники: это были добровольцы, подтягивавшиеся к мэрии после телеобращения Гайдара. «Я пришел домой, там жена, детей нет, все уже знают об этой бойне в Останкине, и что

будет? И я думал: или мне уйти к Дому советов, или готовить материалы для выпуска газеты, которая должна была выйти наутро, про все эти впечатления от Останкина. Сил не было, и я остался писать, писал до трех ночи, а мимо моего дома шли эти люди. Рано утром, проснувшись, включаю телевизор и вижу кадры CNN: идут эти бэтээры, и десантный Нарофоминский полк штурмует Дом советов.

Там, на баррикадах, в это время были Андрей и Василий, сыновья. Там же они потеряли отцовский „жигуль“, предоставив его в распоряжение подольских боевиков, которые „уехали на нем прорываться“. Через некоторое время пришлось тащиться в милицию и заявлять об угоне, автомобиль был найден через два года — разбитый, с обглоданными внутренностями.

— Прокомментируйте, пожалуйста, странную линию в „Красно-коричневом“, выбивающуюся из общего сюжета и оттого производящую впечатление откровенно антисемитской: про выписанного ельцинской кликой из Израиля молодого снайпера, который должен будет выстрелить в бойца „Альфы“, чтобы спровоцировать спецподразделение пойти на штурм.

— Это не мною придумано. До сих пор считают, что сидели снайперы, они должны были провоцировать конфликт. Ельцину надо было не дотянуть до четвертого октября. Четвертого должна была состояться стычка. Стычку надо было спровоцировать.

Тогда была целая система этих провокаций, это мне говорили десантники, друзья, разведка, которые участвовали в этой каше. Поповских, которого позже обвиняли в убийстве Холодова, он свой полк спецназа ВДВ так и не вывел из казармы, не бросил на Белый дом, но все равно, так или иначе, участвовал и знал, что там были снайперы, не из МВД, армии или ФСБ, а абсолютно чужие, которых надо было немедленно потом убрать. Он и его друзья говорили, что существовала группа из израильского подразделения „Иерихон“, которая получила въездные визы из Израиля в Россию и потом, транзитом, уехала куда-то в Чехию. Их версия состоит в том, что начало сделали израильтяне, потому что это была наиболее тонкая диверсионная законспирированная структура, которую могли завербовать ельцинисты. Эпизод со снайпером не совсем антисемитского свойства, мне это нужно было, чтобы мой герой там оказался, он хотел совершить теракт против Ельцина, в месте дислокации снайпера находится его ружье. Этот эпизод и не мог получить там никакого серьезного продолжения, в контексте романа это пролетная такая птица».

Четвертого октября, когда понятно, что дело швах, он решает, что уж на этот-то раз его арестуют точно. Прокравшись в

отдаленную телефонную будку — домашний телефон наверняка прослушивался — он обзванивает друзей — Бондаренко, Нефедова, Шамиля Султанова — и предлагает им бежать из Москвы. Те в восторге, кроме Султанова («у него были собственные пути отхода», что бы это ни значило). Они просят еще одного знакомого («благодетеля», бизнесмена Виктора Калугина) довезти их до МКАДа (дальше нельзя — «нас наверняка бы взяли на одном из пикетов»; на поезде тоже нельзя, «вокзалы перекрыты, всех отлавливали», «мы хитрее решили сделать»), и выезжают из Москвы по Волгоградскому проспекту. Их цель — «рязанские леса», глухоманная деревня Личутина — Часлово. Поскольку посты ГАИ в те дни были укреплены бэтээрами, они обходят их за три километра, перелесками, выпачкавшись по уши в грязи, они выбираются к МКАДу (к счастью, еще не реконструированному и потому довольно узкому), ловят частника до Люберец, там садятся на электричку, одну, другую, третью (чтоб не светиться), доезжают до Рязани, ночуют прямо на вокзале и в зале ожидания по телевизору слышат о повальных арестах боевиков из Белого дома в Москве. Затем, еще несколько раз поменяв попутки, больше похожие на хоббитов, чем на боевиков (из-за неблагоприятных климатических условий им приходится распить по дороге пару бутылок), преодолев более 400 км, они пешком вступают в заповедную личутинскую глухомань — деревню Часлово.

«Скоро Покров. Обычно в предзимье все в природе цепенеет, закаты багровы, лужи латунны, леса лиловы, небо к ночи искристо, звезды наливные, плутовато подмигивают, и Большая Медведица, как дворовая собачонка, дежурит над коньком моей крыши». Через пять лет после тех событий Личутин опубликовал в газете «День литературы» текст, где, в числе прочих, были следующие воспоминания; было бы преступлением не привести их в этой книге. «Вот со дня на день полыхнет ветер-листобой, разденет березы, сдерет с них последнюю сорочку — и здравствуй, обжорная зима! А нынче и не пахнет снегами, леса в золоте, у крыльца сколькой день вьется бабочка-траурница, колдовски поглядывая за мной черными глазами. Кыш, вещунья, уноси с собою дурные вести!»

Соседка (старушка Зина, уточнит Личутин в разговоре со мной; они вместе — сквозь слезы — смотрели телевизор, где транслировали кадры CNN с горящим Белым домом; больше в деревне делать было нечего — «голодно было, тяжело, были копейки — украли все»)… надернула галоши, зашаркала через двор. И вдруг кричит от калитки: «Володя, иди-ко сюда! К тебе гости!» Она приставила ладонь козырьком ко лбу, подслеповато

вглядывается в верхний конец деревни. Нелепо улыбаясь, я вышел на заулок. «Откуда гости? От какой сырости?» — говорю соседке. «Да посмотри… Это к тебе. Из Белого дома бегут».

Я всмотрелся в широкий распах улицы, пронзительно желтый от солнца и увядшей от засухи травы, сквозь которую пробивались песчаные плешины. И верно… По взгорку вдоль пустыря, как бы чуть припорошенные небесным голубым сиянием, медленно шли трое незнакомцев. В середине высокий мужик в плаще, с папкой письмоводителя под мышкой; одесную весь круглый приземистый человек будто катился по тропинке, третий, в ярко-красном свитере, косолапил, загребая песок, и гоготал, радостно вздымая над головой руки. Я поспешил, уже признавая родных людей и не веря встрече. Только что смотрел клубы дыма, ужасный вид притихшей обворованной Москвы, и вот друзья, как бы в особой машине времени преодолев пространства, вдруг выткались в лесном бездорожном углу.

Нет, это не ошибка, не мара, не чудеса. О гостях думал, и вот они на пороге. Но какова соседка моя, а? Через добрую сотню метров увидала незнакомцев, кои здесь никогда не бывали, и особым народным чутьем и знанием поняла сразу, что несчастные бегут из Москвы. И бегут именно ко мне. То были Проханов, Бондаренко и Нефедов. Уставшие, не спавшие сутки, какие-то мятые, пыльные, припорошенные несчастием, но и вместе с тем оживленные, совсем не прибитые поражением, готовые к действию. Пешком и на попутных, минуя все посты и заставы, ловившие патриотов, по какому-то наитию понимая, что так важно избежать ареста в первые дни, когда победители ошалели от крови и сводят счеты, друзья вспомнили обо мне и кинулись в глухой русский угол. Верили, что пространна русская земля и даст приюта.

…Эх, восславим же гостей, в эти минуты роковые посетивших писателя в глухом куту. Все, что есть в печи, на стол мечи. Бутылочка русской возглавила тарелки со снедью, повела в поход; без чоканья причастились, помянули погибших, чьи имена будут занесены в синодик новомучеников за русскую веру, за стояние против идолища поганого. Водка ожгла, что-то нервное проявилось в моих товарищах; все пережитое нахлынуло вдруг, им почудилась странной эта деревенская обитель, отодвинутая от схватки в оцепенелый угол, ждущий чуда.

Рассказываю друзьям, о чем толкует народ. «Где твой народ? С места не сдвинулся. Да и есть ли он?» — в голосе Проханова обида. Он зол, черен, скулья играют, обугленное лицо вроде бы потрескалось. Лишь на миг, при встрече что-то прояснилось в нем, и вновь взгляд угрюм, непрогляден. Проханов пьет, и водка

не забирает его. Уходит к телевизору, и, сжавшись в груд, уж в который раз смотрит на своих сподвижников, как выводят их из «Белого дома» в автобус и отвозят в тюрьму.

…Сейчас замкнувшийся в себе Проханов видел на экране друзей, увозимых в неведомое, генерала Макашова, не изменившего присяге, настоящего русского витязя, сгорающих в огне сподвижников, патриотов и близких знакомцев, покидающих поверженную цитадель по московским катакомбам.

Похохатывал на кухне Бондаренко, блестя очками. Его распирало от счастия, что их не догнали, не обратали вязками, не оковали браслетами. Постоянно вздыхал Нефедов, болезненно морщился: «Где-то в Москве жена. Что с ней? Она же ничего не знает про меня». Сейчас он видел лишь семью, и все пережитое отступало, тускнело. Сообщили по телевизору: «Арестован Проханов».

«Го-го-го, — смеялся Бондаренко. — Слышь, Проханчик, они тебя сцапали, а ты тут водку жрешь».

«Тут моя тень…»

«Может, и тень, но она ест и пьет, — смеялся Бондаренко. — Нет, я им не дамся. Я не свинья, чтоб самому на убой…»

«Каждый русский хоть однажды бывает в бегах, — сказал Проханов и просветлел. Он не мог глядеть без улыбки на своего безунывного друга. — Кто в душе, кто в мыслях, кто наяву. В бегах созданы все мифы и лучшие идеи, выковалась душа народа».

«Вот и побежим в лес, выроем землянку, станем жить. Слышь, Личутка, давай за грибами, а?».

Бондаренке не сиделось.

«Какие сейчас грибы? Октябрь на дворе, — пытался я остановить. — С дороги, устали. И что за грибы? Одни шляпы?».

«Вот шляп и нажарим с картошкой. Да под водочку. Куда лучше, а? Прохан, ты-то как?».

Бондаренко расталкивал друга, тормошил его, не давал устояться и закаменеть в груди той каше из сомнений и тревог, что не отпускали Проханова. Сейчас нужно было пить, петь, буянить и шляться по лесу. Хотя Володе, с его-то больным сердцем, и было всех труднее пересиливать тягости; но он не давал себе послабки, чтобы не стать обузой.

Беглецы.

И потащились мы в боры, на рассыпчатые, хрустящие под ногами белесо-розовые мхи, где давно ли толпились многие стада маслят и козлят, белых и сыроежек, а сейчас лишь тонкой прохладой сквозило из-под обвисших колючих подолов, и никто оттуда не скакал в коробейку. Только мухоморные зазывистые свечи, слегка пожухлые от утренников, светились на каждой лесной кулижке.

Но ведь на охотника и зверь. Бондаренко прямо из-под земли выцарапал грибов на жаровню: и верно, что наскребли корзину огромных маслят-перестарков, уже обвисших, сомлевших, полных воды. Так, одно название, что гриб. Воистину, лешачья еда. Да и что тужить? Гриб да огурец в брюхе не жилец. Лишь бы охотку сбить.

Любопытно было смотреть на этих лесовиков, прибежавших из зачумленной столицы. Задыхающийся от астмы поэт, с разбитым сердцем критик и прошедший Афганистан и Чернобыль прозаик, натянув обтерханные фуфайки и резиновые сапожонки, сразу опростались, потеряли городскую выправку, превратились в деревенщину, в простых русских мужиков. Так что же заставило их быть в самой гуще противостояния? — да лишь любовь к Отечеству. Они не добивались ни почестей, ни славы, ни наград, но лишь из поклонения национальному древу хотели помочь русским избежать нового тугого ярма, которое по своей гнусности могло стать куда хлеще первого…

Вернулись в избу. По лицу Проханова мазнуло розовым, что-то поотмякло внутри, он стал слышать нас, часто улыбаться. Бондаренко поставил на костер ведерный чугун, почистив, загрузил грибы, настрогал картошки. Получилось этого непритязательного солдатского кулеша на целую роту. Воистину

непритязательная, самая походная лешева еда, о которой в городах не слыхать.

«Не съедим ведь», — засомневался я, собирая на стол.

«Съедим!» — самоуверенно возразил Бондаренко.

Я вытащил из запечка флягу с молодым ягодным вином. Зачерпывали из бидона кружками, каждый сам себе целовальник. Веселились, как в последний день на земле. Проханов сдался первым, в валенках полез на русскую печь, недолго гомозился там и уснул как убитый. Длинные ноги, не умостившись, торчали, будто деревянные.

Утром, проснувшись, увидали липкие лужи вина на полу, остывшие, серые, как резина, остатки грибов в чугуне. Эх, не одолели! Но уже не пилось — не елось. Сидели у телевизора, напряженно ждали вестей. Из Москвы плели несуразное, болванили Русь, заливали помоями. Сообщили, что поймали Анпилова. <…>

И я тут почувствовал, как мысли Проханова обрели былую ясность и стройность. Он отоспался, выглядел человеком. «В город надо…» <…>

«Ты что, Саша?» — пытался я возразить.

«В Москву надо. Там все брошены, унылы, подавлены. Газету будем делать, и немедленно. Хоть кровь из носу, нужна газета. Пусть все знают, что мы живем, не раздавлены, не пускаем нюни».

По мнению Личутина, отказ Проханова от дальнейшего сидения «свидетельствует о силе, бесшабашности и мужестве характера — он не струсил, а снова ушел в пекло».

«Мы прожили там в великой печали, скорбя три дня, потом я сказал: все, пора возвращаться». Не думал ли он про эмиграцию? Нет. «Я хотел отсидеться в землянке». Итак, они вернулись в Москву, где по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, на улицах «зверствует ОМОН», а в больнице мучается тяжело раненный капитан Шурыгин. На конспиративной квартире (на Серпуховской, у своей дочери Анастасии и ее мужа) Проханов собирает редакцию и объявляет, что газета «День» запрещена, всем, кто с ней связан, грозят политические неприятности и, скорее всего, аресты. Соответственно — все свободны, он никого не неволит и не упрекнет: безопасность семей выше политических процедур. Но, в принципе, у них есть выбор: создать новую газету и «в условиях тотальной несвободы донести до людей правду о том, что случилось». На самом деле все колеблющиеся разбежались еще в конце сентября — начале октября, сейчас ни один человек не ушел.

Статью о русских великомучениках из Белого дома, опубликованную сразу после путча, не склонный к

преувеличениям Личутин называет «подвигом». Они обошли всех знакомых репортеров, собрали снимки, поговорили с очевидцами. Там был разворот с фотографиями бойни, убийств, тел, пожаров, стреляющих снайперов — все это называлось «Народное восстание». Видно, что энтузиазм людей, которые это делали, был даже больше, чем после ГКЧП.

Каким образом они выпустили газету, если она была запрещена? «Мы пошли на хитрость». Они достали в Союзе писателей старую лицензию на газету «Мы и время», которая вышла один раз, а потом ее забросили. Печатать обновленное «Мы и время» поехали в Минск, где им помогли белорусские коммунисты. Крупными буквами на шапке было написано «ГАЗЕТА ПРОХАНОВА», члены редколлегии вручную привезли тираж через границу в Москву и распространили его. Особых трудностей с распространением не было: в тот момент все еще действовало положение о чрезвычайном положении, не выходила ни одна оппозиционная газета, и пресловутые «бабушки» стояли с ней в каждой подворотне, передавая ее из рук в руки, как ленинскую «Искру».

«Мы и время», разумеется, тут же запретили, но на самом деле власть не стала предъявлять Проханову никаких претензий. Его не то что не посадили, но даже не обыскали квартиру, впрочем, в ночь, когда Гайдар раздавал оружие, в редакцию «Дня» явились человек пятнадцать его сторонников, ополченцев, защищавших либеральные завоевания, и разгромили ее. «Они оккупировали кабинет, устроили засаду, ждали, что я туда приду и сотрудники придут. Туда звонили мои люди, а они отвечали: „Нет, Александра Андреевича пока еще нет“».

«Еще один курьез заключался в том, что туда пришел Молчанов, ведущий „До и после полуночи“ (тут Проханов начинает паясничать: „Ваше сиятельство, — говорил он какому-то эмигранту, — а не кажется ли вам, что бриллианты в сорок карат выглядят при утреннем освещении интенсивнее, чем изумруды на заре на фоне осеннего леса?“). И вот этот Молчанов, „аристократ, фрак изысканный“, в те дни нарядился в камуфляж, в американские бутсы, и в таком виде с камерой явился в мой кабинет, рылся в нем, чуть ли не повесил там в красный угол, к иконам, портрет Гитлера, сделал съемки, чтобы люди увидели все это разгромленное фашистское логово».

С этого момента без эпитета «красно-коричневый» не обходится ни единое упоминание его в СМИ победителей. Неудивительно, что свой написанный по горячим следам отчет об октябре 1993-го он так и называет: «Красно-коричневый». Главного героя там сначала звали Хлопьянов, но когда эпизод

был интегрирован в «Семикнижие» (так Проханов называет свой поздний цикл романов, о чем дальше), он был переименован в Белосельцева.

Панорамный роман о девяносто третьем годе начинается со знаменитой двадцатистраничной (всего их 830) экспозиции: Белосельцев, «в целях исследования», бродит по Пушкинской площади и наблюдает босхианский парад монстров, официально сертифицированный как первый «галлюциноз» в творчестве Проханова. Сначала он видит то же, что и все: проституток, кришнаитов вокруг «Макдоналдса», но затем поднимает глаза к небу над площадью: «в этом живом оплодотворенном Космосе, как в таинственном нерестилище, разливались струи молоки, взбухали гроздья икры, копошились странные мальки и личинки». В пузырьках и волдырях жидкой крови над Белосельцевым проплывают Горбачев, Полторанин, Гайдар, Шахрай и прочие чудища. Ничего хорошего этот парад планет не предвещает.

Дальше отставной генерал, как всегда, отправляется в своего рода идеологическое турне, на этот раз по лидерам оппозиции. Он знакомится с Красным Генералом (Макашовым), Белым Генералом (Стерлиговым), Трибуном (Анпиловым), Баркашовым, Лимоновым («А, это ты, Фрэдичка!» — будущий лидер НБП описан не без иронии; Проханов вспоминает, как они с Медведевой приходили к нему в «День», и Медведева напоминала ему шахтную лошадь, такая же изможденная, ночная, не видевшая света), редактором Клокотовым (это сам Проханов, вынужденный постоянно судиться с властями, пытающимися закрыть оппозиционную газету как «фашистскую»; в частности, мы побываем на суде, где Клокотов противостоит адвокату Дрезднику). «В романе, — по точному замечанию Г. А. Зюганова, — представлена как бы вся таблица патриотических элементов, дана мозаика, пестрая и неоднозначная, всех оппозиционных движений».

Параллельно Белосельцев встраивается в конспирологическую интригу: его соблазняет играющий с властью генерал КГБ Каретный. Каретный называет это операцией «Инверсия», согласно его плану снующий, как челнок, между заговорщиками из органов и оппозицией Белосельцев невольно выполняет задания первых, разом провоцируя и предупреждая тех, кого воспринимает как своих.

Политическая обстановка накаляется, учащаются столкновения с ОМОНом, перед Белым домом громоздятся баррикады, бесноватый Гайдар в небе над Москвой распоясался окончательно. Атмосфера близящегося столкновения воздействует на психику главного героя самым удручающим

образом: ему то и дело что-то мерещится. Так, в ресторане, он вдруг видит Сталина, который предлагает выпить за великий русский народ. Не вполне адекватным становится и его поведение. Каждая его речь — истерика, афатический поток междометий. В одном из ночных клубов он выдает себя за Альберта Макашова. В какой-то момент подробнейшая хроника противостояния вдруг прерывается под предлогом того, что Белосельцев вместе с подругой Катей укатывает «на север, на Белое море, в Карелию», и начинается длинная контрапунктная третья часть про деревенскую жизнь, баню, рыбалку, нерест, ремонт баркаса, пение «Как во наших во полях» и разговоры с хозяином, который недавно вернулся из Чечни, куда ездил выручать свою жену из чеченского рабства. Ни в коем случае не следует приниматься за главы 27–30, если вы не прикипели к Проханову всей душой, без всякого ущерба их можно пропустить, но если вы научились воспринимать этого автора не как клоуна, то и эти главы уже не покажутся самопародией, наоборот, видно, что это святая святых романа, которую обживаешь и обихаживаешь с самыми светлыми чувствами.

Белосельцев — свой человек среди осажденных, делом заслуживший право говорить правду, что позволяет автору вычертить не только трагическую, но и фарсовую линию романа. Белый дом кишит эксцентриками. Менее других склонен сдерживаться нервный Руцкой: он боится окон, поскольку уверен, что его облучают из американского посольства. Замерев на грани помешательства, Руцкой передает Белосельцеву чемоданчик со страшным компроматом (аллюзия на знаменитую угрозу вице-премьера обнародовать «одиннадцать чемоданов компромата» на Ельцина). Белосельцев прячет это сокровище в Белом доме, уже после штурма возвращается, чтобы вынести его, однако не может пройти мимо, наткнувшись на омоновцев, насилующих подругу погибшего защитника. Заступничество кончается тем, что его избивают и доставляют к окончательно превратившемуся в опереточного злодея Каретному, тот и не сомневался, что Руцкой доверит Белосельцеву свой заветный чемоданчик («Ты не представляешь себе, какая в этом чемоданчике концентрация власти! Ее можно черпать по чайной ложечке, растворять в океане, и все равно ее будет достаточно, чтобы управлять континентом!»), в котором, однако ж, оказываются только дырявые носки Руцкого. («Это было ужасно. Это было загадочно. Ему открылось истинное устройство мира, в центре которого находилось не Солнце, не Божество, не Вселенская Любовь, не милая Родина, а драные носки Руцкого».) Каретный не верит, что чемоданчик — настоящий, Белосельцева пытают и забивают

насмерть.

Когда-нибудь мы прочтем, конечно, книгу, в которой будет подробно описана повседневная жизнь Белого дома осенью 1993-го и, несомненно, автор этого исследования не сможет пройти мимо такого яркого источника, как роман Проханова. Бесценный документ и захватывающий нон-фикшн, «Красно-коричневый» однако ж, никоим образом не относится к числу лучших произведений Александра Андреевича. В нем, как в непротопленной печи, ворочаются громадные непропеченные ошметки фактологического мяса, нанизанные на живую нитку. Не исключено, что, вдвое сократив, текст можно было бы довести до ума. Этот неуклюжий левиафан, попирающий собой элементарные законы композиции, дал основание критику М. Ремизовой (в статье «Уроки восстания») написать: «Рассматривать с точки зрения художественной ценности невозможно. Александр Проханов лишен дара художественного письма. Слог его убог, образы плоски, мотивировки нелепы, сюжетные ходы банальны до штампов». «Партийная литература, для партийных же целей предназначенная». «Чувство меры и такт утрачены уже в первых строках романа. Весь роман есть свидетельство глубокого нарушения этического чутья. Документ нравственной патологии». «Несмотря на отвращение, привожу цитату». «В психологии такой феномен носит название „компенсация“. Травмирующая ситуация, когда сознание не имеет сил примириться с реальностью, противоречащей представлениям личности о себе и своей значимости, вынуждает эту личность трансформировать реальность таким образом, чтобы вся ответственность ложилась на стечение неблагоприятных обстоятельств. Это типичное поведение невротика».

Ремизовскую статью следует отметить не только как эталон либеральной критики 90-х, но и как своего рода поступок. Она была едва ли не единственной. Роман не то что не прочли, на него даже не стали лепить ярлык «Осторожно, окрашено», потому что понятно, что никому и в голову не приходило присаживаться на эту скамейку. Наступали глухие времена залоговых аукционов, предприимчивого НТВ и «да-да-нет-да»; возникает ощущение, что эмоциональный пик пройден. На быстрый реванш никто больше не надеется.

Газета начинает гаснуть. В первых номерах еще чувствуется послештормовое напряжение, особенно на полосах «Россия, кровью умытая», где публикуются фотографии жертв и палачей, свидетельства тех, кто пережил бойню на ул. Королева. Любопытство вызывает информация об участии в октябрьских событиях подразделения израильской разведки «Бейтар», в

которой, впрочем, больше сенсационности, чем убедительности. А затем в каждом номере плещутся водянистые, не меньше полосы с лишним каждое, интервью Проханова с белодомовскими вождями; везде Проханов выкрикивает страстные монологи о мучениках октября, а Руцкой, Хасбулатов, Баркашов, Анпилов, Варенников, Ачалов вяло бубнят про банду-ельцина-под-суд. Тем временем был избран новый парламент, с полномочиями существенно ниже, чем до октября 1993-го; принята новая — ельцинская — конституция. Политическая, да и культурная, энергия перетекает в медиа Гусинского. Занятно, что практически сразу после разгрома Дома советов, 10 октября 1993 года, впервые выходит в эфир телекомпания НТВ (частота, «в порядке эксперимента», была предоставлена Ельциным бесплатно). В 1993-м начинается вертикальный взлет газеты «Сегодня», многим представлявшейся исчерпывающим источником актуальных сведений. «Завтра» реагирует на НТВ крайне болезненно, аналитики газеты утверждают, что 4-й канал был отдан Гусинскому за оказанную им помощь в событиях 3–4 октября: тогда боевики «Моста» (во главе с экс-генералом КГБ Ф. Бобковым, прототипом, по-видимому, прохановского Каретного) штурмовали Белый дом.

Под Новый, 1994-й, год, ностальгируя, можно предположить, по трехдневному октябрьскому сидению («наблюдали странную картину личутинского жития»), он снова приезжает к Личутину. На этот раз уже без коллег, с женой, на новой машине. Там происходит курьезная, совершенно рождественская история про дружбу двух мужчин, которым пришлось жить в эпоху перемен.

Еще в начале 93-го года Личутин, «хлебнувший всю бедность, всю нищету обвалившегося писательского сообщества, исчезновение гонораров, печатания», попросил Проханова (по словам последнего, «попросил нас»), «чтобы мы, редакция, дали ему денег и он купил бы поросенка, вырастил его, а расплатился бы с нами свининой. И мы пошли на это, исходя, конечно, не из коммерческих, а из товарищеских соображений, помогли ему».

Сам Личутин подробно рассказывает об этом эпизоде в знаменитой колонке, начинавшейся с фразы «У русских странное отношение к свинье…»: «Помню, на дворе стоял девяносто третий год. Ельцин безумно растрясал Россию, отдан страну на разграбление своим слугам (чужого-то не жалко), а в это время народ выживал, как мог. Вот и я вдруг решил завести порося. Чем кормить? — не думал тогда. Поступил по пословице: „Бог не выдаст, свинья не съест“. Друг Проханов отслоил деньжонок, и вот мы с соседом Сергунькой в середине июня поехали из деревни на станцию и купили двух сосунцов».

Дальше вновь предоставим слово бенефактору: «Он купил поросенка и его растил. И поскольку Личутин не является деревенским человеком, он все-таки рос в северном городке Мезень, и вся его деревенская сноровка скорее академическая, историческая, живет как пишет скорее Балашов, а Личутин, он все-таки не воспроизводил в своем укладе и быте XVIII век, просто он любил деревню… там был огород… он этого поросенка, во-первых, держал на улице, а не в тепле, а свиньи любят все-таки тепло, а потом из-за экономии он кормил его грибами, которые отыскивал в лесу. И в результате этот поросенок не прибавлял в весе, он оставался таким же маленьким, тощим, и покрылся дикой, свирепой шерстью. Он настолько одичал и озверел от голода и холода, что у него возник такой страшный и хрипящий, воющий такой звук. Он не хрюкал, как все свинки — „хрю-хрю“, а выл страшно, таким заповедным криком, ночами. И было ощущение, что на этот вой со всего леса сбегались волки и тоже отвечали ему с околицы, и вся деревня немела, слушая эти странные жуткие крики. Да, душа неизъяснимая и крики непередаваемые этого зверя, мы забавлялись этим обстоятельством. И когда настала пора его все-таки заколоть, он дал нам кости, какие-то копыта от поросенка».

Итак, если верить свидетельству Проханова, получается, что редакция «Завтра» выдала Личутину кредит на приобретение скотины, а тот, не обладая должными фермерскими навыками, расплатился продуктом, ценность которого не соответствовала обещанной, в чем и убедился коллектив.

Версия Личутина коренным образом отличается от прохановской. По его словам, тот дал ему денег на приобретение подсвинка. Кормили его, да, грибами, но «варили два ведерных чугуна в день. Кушанье беззатейное, но столько микроэлементов, витаминов в нем…» Уговор был таков: «четвертина свиньи ему». Действительно, негусто — 25 % от тощего зверька. Личутин, однако ж, описывает размеры своего питомца совсем в других терминах: «А большая свинка выросла — 85 кг». Так он не был худым? «Худой?! Сначала был худой, потому что Проханов не давал денег на комбикорм, а потом — ого-го! Одного сала был целый ушат». Минуточку, так а четвертину он должен был отдать ему, Проханову, или редакции? «Ему, конечно, какой еще редакции. Редакция отношения не имела. Имели отношение трое — я, Проханов и моя жена, которая кормила поросенка».

«Боровок» стал главным украшением новогоднего стола, «мы его благополучно съели», но, как и было уговорено, дорогому гостю была зарезервирована ляжка поросенка — килограммов 10–15, по уверению Личутина.

Дальше произошло следующее. Проханов положил ляжку в багажник, но не проверил герметичность канистры с бензином, стоявшей бок о бок с мясным деликатесом. В дороге канистра упала, и ляжка облилась бензином, «Люся (жена Проханова) очень переживала», особенно настаивает Личутин.

На мою просьбу прокомментировать личутинскую версию инцидента, «ногу-то загубили!», Проханов отделывается общими словами:

— Сколько свидетелей Троянской войны, столько и Илиад. Я думаю, правда не в правде, а в вымысле. Что, Личутин признался бы, что он из добротной элитной свиньи вырастил какого-то кобеля?

— Это скорее вы бы не признались, что полили ее бензином.

— Да ее нельзя было есть, не полив бензином. Это было единственным способом придать ему хоть какой-то вкус мяса.

— Еще он говорит, что худым этот поросенок был потому, что это вы не давали ему денег на комбикорм.

— Конечно, я должен был давать ему денег на свинью, на комбикорм и на то, чтобы он от несварения желудка лечился!

На протяжении всех наших бесед я пытался подловить Проханова на какой-либо неточности и, пожалуй, единственный раз, когда мне это безусловно удалось, — это в эпизоде с личутинской свиньей. Впрочем, даже и сам хозяин животного, рассказывая мне о случившемся, охарактеризовал ситуацию как «наполненную особым смыслом и мистикой».

Глава 17

Новогодняя бойня в Грозном. «Чеченский блюз». Описание визита к Тринадцати Банкирам, и особенно хохота Гусинского.

Сорванная попытка затопить Москву фекалиями. Шабаш на «Соколе»: Зюганов хрипит, а Крючков присылает золотую вазу.

Непотопляемая экономическая база газеты «Завтра». Разговор о том, будет ли повешен автор этой книги

Наступающий 1995 год Проханов встречает в кругу семьи, в квартире на Тверской. В елочных шарах отражается стол с нарезками и расплющенные лица телеаналитиков, которые наперебой подводят итоги года и особенно радуются тому, что коммунисты, наконец, цивилизовались и стали более или менее «системной оппозицией». По одному из федеральных каналов показывают Новый год в ЦДЛ: там, по уверению Проханова, собрался весь литературно-политический бомонд, в его терминологии, «мелкая гнусь», которая шокировала пристрастного зрителя тем, что «ходила от стола к столу, пила, веселилась, непрерывно рассказывала пошлые еврейские анекдоты — что-то непристойное, связанное с совокуплением».

Ровно в этот момент 81-й Самарский полк и Моздокская танковая бригада входят в столицу Чеченской Республики, город Грозный, и, закупоренные в районе площади Минутка, попадают под шквальный огонь гранатометчиков Масхадова. Это было начало первой чеченской войны.

Проханов относился к тем немногим, которые были неплохо осведомлены о том, что происходило в Чечне после распада СССР. Телескопы «Дня», — который после октября 1993-го назывался «Завтра», — непрерывно наблюдали за республикой, к середине 90-х уже практически другой планетой, и у главного редактора было предчувствие, что там все может кончиться хуже, чем в других конфликтных областях бывшего СССР: может быть, оно возникло по литературным мотивам, в связи с давним приставкинским романом «Ночевала тучка золотая», подозрительным тем, что стране косвенным образом вменялся

некий долг, который вроде как должен был быть оплачен. В газете выступали Хасбулатов, Автурханов, представители антидудаевской оппозиции, сам Дудаев — но то не было сенсационным «интервью с бин Ладеном»: Дудаева, в пилотке, и даже жегловской кожаной шляпе, печатала «Литературка» и показывало НТВ.

Сложную подоплеку войны объяснил Проханову Хасбулатов: в начале 90-х всем в Чечне распоряжался пришедший из советской эры клан Доку Завгаева, тот был главой Верховного совета, владел нефтью и собственностью. В ельцинскую эру — и не без участия самого Хасбулатова — завгаевский клан был свергнут, а на его место был трансплантирован из Таллина генерал Дудаев. При нем Чечня обобрала Россию на афере с фальшивыми авизо (когда по украденным в Центробанке бланкам были получены миллиарды рублей) и заявила о своих сепаратистских претензиях. В 1992–1994 годах на Грозненский НПЗ, с ведома гайдаровского и черномырдинского правительства, и, по-видимому, не задаром, рекой течет российская нефть, но назад, в Москву, не возвращается ни копейки, то есть возвращается, но не в федеральный бюджет, а крутится в «Мосте», в то время как НТВ, принадлежащее тому же Гусинскому, обеспечивает информационное прикрытие сепаратистского проекта. На деньги от нефти и авизо Чечня вооружалась; раздраженный Ельцин попытался пустить в ход антидудаевскую оппозицию. Дальше начался конфликт слабого федерального центра и националистов. Однако, по сведениям Проханова, Ельцин договорился с Клинтоном о том, что труба из Апшерона должна была пройти через Чечню, — а для этого нужно было восстановить контроль над мятежной территорией, и приходилось спешить: иначе пришлось бы делиться с Дудаевым, чьи интересы представляли в Москве олигархи.

О грозненской бойне он узнает уже 1-го, не столько из «Новостей» («части вступили в Грозный»), сколько из своих источников в Генштабе. Еще не зная всех страшных цифр потерь и подробностей, он понимает, что там происходит какая-то катастрофа, о которой никто, в сущности, не имеет представления, потому что по телевизору идут сплошные «голубые огоньки». Первой его реакцией было, как ни странно, антивоенное заявление. «Я ужаснулся началу этой бойни». Врагами России он называет не чеченцев, а Кремль. Его друзья-мусульмане звонят ему с благодарностями, одновременно озадаченные тем, что милитарист-государственник вдруг сделал такое пацифистское заявление. В самом деле, Проханова сложно представить в голубой каске миротворца. «Я даже не знаю. Это

как в момент ГКЧП — во мне что-то дрогнуло, и, вместо того чтобы кинуться поддерживать своих друзей, я сразу предостерег их от возможности кровопролития. Я же не певец крови, я люблю, когда гемоглобин находится в щеках, а не на асфальте». На первой полосе «Завтра» он обменивается открытыми письмами с Невзоровым, который, надо сказать, быстрее сообразил, что эта война — ключевая для российской государственности, и категорично заявил: «Война в Чечне — моя война», на что Проханов зачем-то принялся публично над ним глумиться: «Право, это комично. „Война Невзорова“ звучит так же, как „лошадь Пржевальского“», и впоследствии, в «Чеченском блюзе», даже засветит «известного телеведущего» на банкете в ЦДЛ, где тот будет клянчить у Бернера-Березовского денег на фильм. С тех пор они перестали раскланиваться[10].

Очень скоро выясняется, что в Грозном, на цементном заводе, убит его друг — помощник начразведки ВДВ подполковник Владимир Селиванов, который приехал в расположение штаба десантных войск и в ночь на 1 января был застрелен снайпером. Они дружили еще с Афганистана, втроем с Поповских, начальником погибшего. Он еще с советских времен приятельствовал с десантниками из окружения Язова, ездил с ними в Азербайджан к Алиеву.

На похоронах Селиванова, бредя за гробом, он вдруг вспомнил об этом совпадении — новогодний шабаш в ЦДЛ и бойня в Грозном; это была классическая «романная ситуация», сулившая удачную охоту на «метафору современности». Он еще раз обдумал заявление Невзорова и подумал, что, пожалуй, все-таки тот был прав: там, в Чечне, складывается ключевой конфликт современности. Он понимает, что надо ехать туда: смотреть. Для этого приходится запрашивать разрешение у Грачева. А надо сказать, Проханов был не тот человек, который был с министром обороны на короткой ноге: в каждом номере «Завтра» разоблачались махинации, совершенные при выводе Западной группы войск, не говоря уже о том, что именно прохановская газета, а не «МК», впервые назвала министра «Пашей-мерседесом». Грачев даже вызывал Александра Андреевича к себе в кабинет и просил прекратить критику.

Как бы то ни было, он составил письмо на имя начальника Генштаба с просьбой направить его — писателя, знатока войны — в действующую армию. Через знакомого письмо было передано Грачеву, и тот не стал возражать: «Это поступок был», — комментирует Проханов. Это ведь он, кстати, Грачев, в «Чеченском блюзе» лупит Бернера-Березовского в бане? «Да». Почему он согласился отправить туда Проханова? По-видимому,

был уверен, что Проханов не включится в травлю армии, чем вовсю занималась либеральная пресса, и особенно НТВ, занявшее открыто прочеченскую позицию.

Из-за всяких проволочек попасть в Чечню ему удалось уже в самом конце февраля. В Моздоке он приземлился на Чкаловском аэродроме; лидера духовной оппозиции и певца афганской войны встречают представители ВДВ. Передавая писателя по этапу, они доставляют его в Грозный, который весь усеян трупами, за Сунжей по-прежнему идут бои. Он знакомится с выжившими десантниками Моздокской бригады, которые сумели продержаться на Вокзальной площади, пока к ним прорывались морпехи Рохлина и Бабичева (эти два генерала сжимали кольцо вокруг Грозного и добивали там дудаевцев, которые, впрочем, все равно просочились и ушли).

Попав на фронт, он пытается найти ответ на очевидный вопрос, каким образом командование могло подставить танки под удар чеченских гранатометчиков. Из разговоров с офицерами он выясняет, что странная новогодняя операция объяснялась тем, что Ельцин требовал блицкрига, а Грачев, как будто нарочно решив во что бы то ни стало попасть в роман Проханова, решил грозненской победой отпраздновать свой день рождения, заявив, что для усмирения мятежной республики ему будет достаточно одного десантного полка. Именно благодаря ему, по мнению Проханова, была заживо сожжена Моздокская бригада. Тем не менее некоторых чисто военных просчетов, связанных с незнанием специфики городских боев — вроде отсутствия прикрытия, он так и не смог понять: «это было какое-то уже такое постсоветское умопомрачение». С другой стороны, позже стало понятно, что именно Грачеву хватило мужества взять на себя ответственность за события новогодней ночи и срочно перебросить в Грозный десантников Рохлина и Бабичева, которые без лишних сантиментов разбомбили город к чертовой матери.

Ему важно было оказаться на натуре, чтобы насытить придуманную романную модель деталями, мясом. Грозненская часть его экскурсии длится два дня. Десантники возили его на своих боевых машинах, показывали площадь Минутка, сожженную бронетехнику, стены, у которых расстреливали пленных танкистов. Спешившись, он рассматривает остатки окровавленных камуфляжей, только-только остывшие гильзы, воронки на мостовых, раскатанные траками головы, на которые никто не обращает внимания. При перемещениях впереди всегда шел снайпер. Его поразило, что каждый дом в Грозном разрушен по-своему: один сплюснут, другой рассыпан по камушку в диаметре сотни метров. Особенно чудовищным кажется

дудаевский дворец — очередной дворец, преследующий его архитектурный тип — «огромный саркофаг, такой страшный, исстрелянный, пантеон смерти». Жуть выплескивается даже с фотографии — Проханов в бушлате, с короткоствольным автоматом за плечом, позирует на фоне выжженного мертвого здания. Облазав весь город, с чердаков до подвалов, он обнаружил, что в Грозном не осталось ни одного целого дома — «он весь напоминал такую раковину, на которую наступила нога, весь состоял из черепков огромных. Но внутри черепков еще жил моллюск». В катакомбах ползали люди, пережившие ад; в сознании Проханова тут же начали возникать первые герои задуманного романа, ему оставалось только зафиксировать их. Так, в числе прочих, он знакомится с 35-летним чеченским художником, который бродил по развалинам и рассказывал ему о мистическом восприятии происходящего — «это была такая астральная чеченская йога», не ислам; этому существу будет отведено отдельное место во втором чеченском романе, «Идущие в ночи», где персонаж по имени Зия произнесет несколько монологов о чеченцах; как всегда, художник станет медиатором между враждующими сторонами, естественная его функция.

Грозный. Дворец Дудаева.

Наконец, однажды Проханову рассказывают о грозненском аналоге сталинградского дома Павлова — очаге сопротивления на Вокзальной площади, продержавшемся несколько дней в плотном кольце боевиков. Увидев это трехэтажное кирпичное строение, он сразу понимает, что нашел лаз в свой роман — вот он, сюжет, через который можно транслировать «романную

ситуацию». Таким образом, эффектный сюжет «Чеченского блюза» — не выдумка, и Проханов в самом деле был знаком с выжившими солдатами, которые обороняли этот дом. Дальше началась стандартная работа писателя — подбор антуража, ландшафтов, деталей. Из Грозного — уже наступил март — они отбыли под Аргун, в расположение сводного полка 404-й дивизии, которая вела бои за город. «Река Аргун, на той стороне город, а передовые части вышли по эту сторону на поле, оно называется „пластилиновое поле“, потому что весной превращалось в жижу, в которой медленно утопаешь по колено». В окрестностях он видит странную картину, «цветение смерти»: рядом с обрубком взорванного газопровода, который горит вот уже несколько месяцев, распустилась вишня; образ, который он перенесет в роман. На передовой, беседуя со снайперами, артиллеристами, вертолетчиками, он начинает замечать другие несообразности этой войны: десантники, которые должны использоваться как штурмовики, захватывать с воздуха укрепплацдармы противника и идти дальше, оставляя территорию пехоте, неделями сидят в окопе, для чего они не приспособлены. В марте Черномырдин объявляет перемирие и, к изумлению всей армии (которая пока еще не свыклась с тем, что термин «предательство» станет одним из самых распространенных применительно к этой войне), останавливает победоносное наступление войск. Каждый день перемирия давал чеченцам колоссальные преимущества: они лихорадочно строят укрепрайоны, и впоследствии войскам придется увязать на недели там, где они могли проскочить за часы.

Для самого Проханова это тоже была не самая комфортная поездка в его жизни. Был конец зимы, пронизывающий холод; ночевать приходилось в расположении десантников: и в казарме, и в броне, на грязных бушлатах и волглых трофейных матрасах, и в палатках — либо прямо на снегу, либо на железных койках. Часто ему выделяют место рядом с печкой, куда дневальный всю ночь обязан подкладывать чурки. Офицеры воспринимают его скорее как ветерана-афганца, чем как журналиста: «они же видят, что я приехал сюда не просто так, я делю с ними и опасность, и хлеб, и водку, и я компетентен в войне, разговариваю, рассказываю об Афганистане, многие помнят командиров своих по Афганистану, по моим рассказам». На «пластилиновом поле» он сталкивается с одним из прототипов «Дворца», генерал-лейтенантом Вострotиным, который летом 1979 года прилетел в Баграм со своей ротой, обеспечивая десантирование «мусульманского батальона». Проханов, умеющий занять собой, сострить, пить казенную водку или трофейное «ркацители»

(рядом был обнаружен винный склад), по обыкновению, быстро сделался местной знаменитостью и душой общества.

Что, впрочем, не значит, что ему было позволено все. В репортажном тексте из Аргуна он упомянул о том, что здесь присутствуют десантники Нарофоминского полка, в 93-м «изменившие присяге» и стрелявшие в народ, так что в Чечне им как бы приходится избывать свою вину. После этой статьи ему пришлось встретиться с представителями полка: «Они на меня орали, чуть не пристрелили — я посмел задеть честь десантников. Они все были наэлектризованы».

Напившись свежих впечатлений, он уезжает писать роман. «Армию я знал», так что слишком долго ему там делать было нечего.

«Чеченский блюз» — роман про новогоднюю ночь и еще пару дней после нее. Генералы получают приказ командования наличными силами, без подготовки, штурмовать Грозный. Капитан Кудрявцев сомневается в разумности такого решения, но не собирается отказываться от выполнения своего долга. Чеченцы встречают русских хлебом-солью, но быстро выясняется, что это ловушка. Армейская сюжетная линия в романе чередуется с московской; мы видим тех, кто задействовал тайные пружины войны: как банкир Бернер (гибрид Березовского с Гусинским) развлекается на вечере в ампирном особняке, как смеется анекдотам юмористов, беседует со своими протеже Генералом (Лебедем) и Телеведущим (Невзоровым), совокупляется с журналисткой и проч. Тем временем дела в Грозном идут своим чередом. В город мы попадаем вместе с капитаном Кудрявцевым, который сразу теряет всю свою роту, но, выжив, принимает командование над группой солдат из разгромленной бригады. Шестеро — Чиж, Таракан, Ноздря, Крутой, Филя и капитан — несколько дней обороняют дом на краю площади от чеченцев, которые наседают, прикрываясь то женщинами, то взятым в плен офицером, то представителем по правам человека, похожим на С. А. Ковалева.

Из разговоров Бернера с американским послом, чеченскими воротилами и министром обороны мы узнаем подоплеку войны — спор за нефтепровод, проходящий через территорию Чечни. «Блюз» позволяет реконструировать состав и иерархию российского общества середины ельцинского периода: вороватый генералитет, пожирающие друг друга олигархи, продажные деятели культуры, честные младшие офицеры, нищий, но сохранивший внутреннее достоинство народ, поставляющий политикам пушечное мясо.

Основной конфликт романа — не русские против чеченцев, а

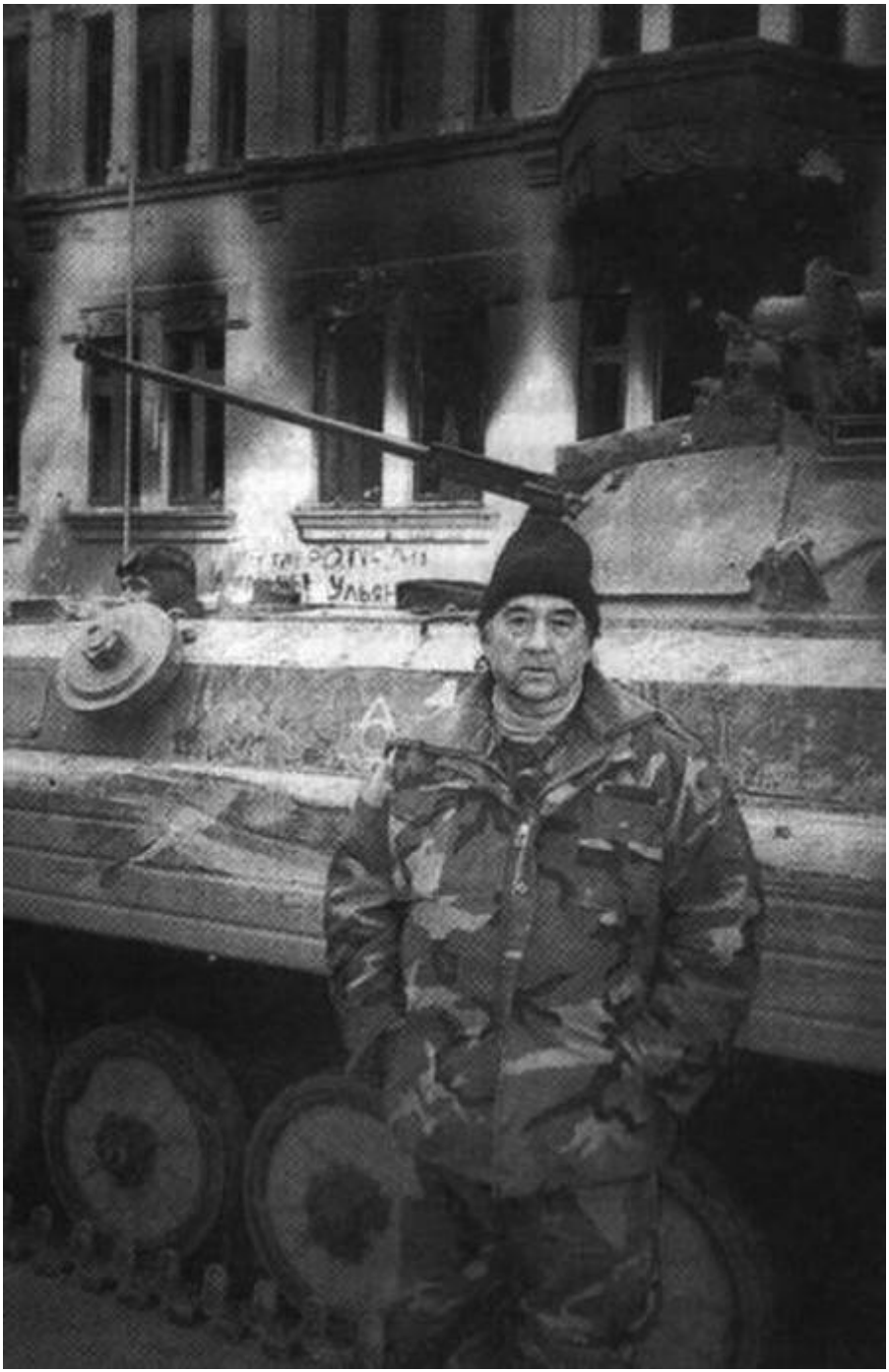
честный офицер против злокозненного master of war, который живет тем, что стравливает народы; в «Блюзе» выписан и враг-чеченец, боевик Исмаил, но именно бернеровская, а не чеченская линия — контрапункт романа. Гуманист до мозга костей, Проханов упрямо гнет свою миротворческую линию, начатую в январском тексте в «Завтра» 1995 года (чем текст принципиально отличается, например, от невзоровского фильма «Чистилище», посвященного тем же событиям). «Чеченский блюз» (какое замечательное, кстати, до сих пор бьющее по ушам название: фактически оксюморон, фонетический полароид этой предательской войны) вообще не похож на агитку, здесь все персонажи если не с двойным дном, то, по крайней мере, объемные, не ходульные. Продажный генерал, откровенный мерзавец, вдруг едва не забивает в бане до смерти своего бизнес-партнера за то, что тот по своему телевидению шельмует русских солдат. Иуда и супермен Бернер размышляет о философии предательства и — странный даже по прохановским меркам сюрреалистический эпизод — выйдя из морга, срыгивает на снег голую белку, которая убегает в лес.

«Блюз» — сжатый, конспективный, бьющий короткими очередями роман, одной только своей динамичностью выламывается из прохановского стандарта. С другой стороны, когда энергия, выделяющаяся при столкновении с новым материалом (чеченская война) иссякает, в романе становятся видны погрешности: параллельные линии Бернера и Кудрявцева так и не сойдутся; история про заказное убийство Бернером банкира-конкурента так и не отыграется в сюжете. Тем не менее едва ли случайно Ю. Бондарев назвал «Блюз» «большой удачей Проханова», «реалистическим и умным романом».

Поездки в Чечню были в высшей степени экстремальным туризмом, но на протяжении двух войн он летал туда раз пять; бывал там и по неделе, и по три. Он перемещался на вертолете, ездил в бэтээре, присутствовал на допросах пленных — хотя и не в таком количестве, как в Афганистане: «не обязательно присутствовать на допросе, иногда важно выпить водку с теми, кто допрашивал».

Из «Чеченского блюза», при всех его достоинствах, нельзя, однако ж, понять, чем может закончиться эта война. Трудно предположить, что всего через несколько месяцев Басаев захватит больницу в Буденновске, а Радуев будет требовать «коридор до Самашек». Пол Хлебников напишет в своей книге: «Для России 1995-й был годом кровопролития и упадка. Каждый вечер россиянам показывали по телевизору ужасы чеченской войны. Деловые круги, не успев оправиться от потерь, понесенных во

время великой бандитской войны, были потрясены убийством нескольких высших руководителей нефтяной и алюминиевой промышленности. Страна переживала быстрый экономический спад. На международной арене Россия никогда еще не испытывала подобного унижения. НАТО продолжало расширяться на восток, поглотив Польшу, Чехию и Венгрию. Самая мощная военная организация в мире, таким образом, продвинулась на 400 км ближе к границам России. Когда в то лето военные самолеты НАТО бомбили сербские позиции в Боснии, Россия выразила протест от имени своего традиционного союзника, но сделать ничего не смогла». Что еще? Бестселлер года — «Занимательная Греция» М. Гаспарова. В «Рэдиссон-Славянской» чашечка кофе стоит 14 000 рублей. В салоне «Ад Маргинем» Д. Бавильский играет на валторне.



В Грозном.

В 1995–1996 годах «Завтра» сближается с властью — именно в связи с чеченской войной: «Либералы мочили федеральную армию, а мы встали на ее защиту и вели так называемые

информационные войны». Кстати, после октября 93-го под шапкой «Завтра» написано «Газета государства Российского». А как же «Газета духовной оппозиции»? «Мы сказали, что нам претит быть оппозицией, наоборот, мы являемся центром государственного сознания — не в плане институтов, а в плане идеологии: мы выносим эту идеологию государства Российского, в карамзинском смысле».

Все знают, что у Проханова в начале нулевых были тесные контакты с Березовским и Ходорковским, но мало кому известно, что его двусмысленный — или, точнее, немыслимый — роман с олигархами начался еще в середине 90-х. С одной стороны, они были непримиримыми врагами, с другой, между ними возникали конвергентные отношения. Сцены в «Господине Гексогене» с Зарецким и Астросом не выдуманы — Проханова в самом деле хотели использовать, точно так же, как его альтер эго, Белосельцева.

В роли посредников выступали Кургинян, в середине 90-х работавший, по словам Проханова, «референтом Березы», и Невзоров.

Еще в 1994 году Березовский пожелал познакомиться с Александром Андреевичем поближе и пригласил его вместе с Невзоровым к себе на обед в здание ЛОГОВАЗа на Новокузнецкой. «И как сейчас помню: стол, прекрасный обед, на очень хорошем фарфоре, вошел грум, в перчатках, затем сам Береза, и мы беседовали. Береза, бывший на пике своей славы, изъявлял мне свои представления о жизни, говорил, что, во-первых, богатый никогда не поделится своим состоянием с бедным, что богатые — это лучшие люди страны, что они доказали свою способность сделаться богатыми, что Россия в руках богатых и она будет выкроена по их лекалам. Такая вот фанаберическая была речь, исполненная гордыни, и я что-то там, поедая какой-то вкусный сырный суп, несколько раз тонко съязвил. Не помню, что именно, но я понял, что, когда он произносил свои такие речи, ему нечасто возражали. Я тоже особенно не возражал». Знакомство с Березовским сыграет Проханову на руку уже через год, когда он примется за «Чеченский блюз», где ему нужен был материал для образа банкира Бернера — в общем, ему страшно интересно было видеть его живым, наблюдать рефлексы и «слышать манифест супермена».

В том же здании ЛОГОВАЗа он через некоторое время познакомился и с другими олигархами, в том числе с Гусинским. Дело было в самом начале 96-го, когда конкурировавшие между собой олигархи объединялись в консорциум, чтобы протолкнуть на президентских выборах Ельцина на второй срок — с тем чтобы

защитить собственность и обеспечить себе посредством афер с залоговыми аукционами новые приобретения.

Собственно предвыборной ситуации предшествовали и другие события: очередной парламентский кризис, чреватый импичментом и еще одним разгоном Думы, профетическая острота Лебедя: «генерал-демократ — это все равно что еврей-оленевод», — Куликов, наотрез отказавшийся устанавливать в Москве военное положение, Ельцин, страшно раздраженный тем, что камарилья уговорила его не вводить в городе чрезвычайное положение, потому что страна не выдержит второго октября 93-го.

Одним словом, у олигархов было о чем поговорить с Прохановым. «Коноводил там Береза. Это был его замысел: встроить нас, радикалов, меня и Чикина, редактора „Советской России“, в их проект». Встреча была устроена усилиями Березовского и Кургиняна, опять в доме приемов ЛОГОВАЗа. Там он увидел банкира Александра — СБС-Агро — Смоленского, который из всей компании показался ему наиболее физиогномически ярким, бонвиваном; тот расположил его к себе тем, что сказал: первое, что он делает, приходя в банк, — требует газету «Завтра» и читает передовицы, где бранят евреев и либералов, жадно и с восхищением. Проханова это поразило: «я полагал, что мои передовицы должны вызывать ненависть, а они, наоборот, щекотали им нервы, и он, искренне хохоча, смотря своими голубыми глазами, сказал, что он с восхищением читает эти вещи». Рядом с ним сидел «щекастый, надутый, как воробей, очень сдержанный» Гусинский, смотревший на него как на врага (не мудрено: как раз в тот момент лучшие силы «Завтра» были брошены на антиеврейский проект «Новая Хазария». Аналитики газеты, почитывавшие израильскую прессу, тексты философов и культурологов, узнали, что в Израиле прошел многосерийный фильм о Хазарии, где, в частности, высказывалась идея возрождения Хазарии на прежней территории. Обрадовавшись такому жирному куску, который сам шел в рот, «Завтра» стала из всех орудий поливать огнем Гусинского, его Еврейский конгресс и его телевизионную экспансию, направленную, по их мнению, на имперские национальные, в том числе военные, ценности). Там же присутствовал и Потанин, не слишком его впечатливший («похожий на человека, посыпанного дустом», что бы это ни значило), и, конечно, Березовский — «как белка, ходил, зыркал глазками» (вот она откуда, бернеровская белка из «Чеченского блюза»).

Он тоже был напряжен, оказавшись в логове своих заклятых врагов. Их с Чикиным усадили «как-то странно» — за

интерьерную конструкцию, напоминавшую не то о столике в детском кафе, не то о президиуме, отдельно от банкиров, которые забаррикадировались от них массивным столом. Присутствующие обменялись мнениями по поводу ситуации в стране, войны, предстоящих выборов, в воздухе висело напряжение, пока Гусинский не обмолвился насчет того, что они, банкиры, практикуют сейчас быструю переброску кредитов через часовые пояса. Проханов, не удержавшись, брякнул: ага, так вы, значит, хотите, чтобы Россия затянула еще и часовые пояса? Это был не стопроцентный экспромт: еще во «Времени полдень» был пассаж про то, что «они, на Западе, обладали швейцарскими уникальной работы часами, а мы, не имея часов, владели часовыми поясами.

Учились их заводить, прикладывали к уху то Чукотку, то Белоруссию». Гусинский, однако, едва ли хорошо помнил текст романа и среагировал неожиданно: он вдруг расплылся от удовольствия и захохотал — «сделавшись благодушным и даже смешным; в этом было что-то такое наивное».

Проханов утверждает, что «смутно помнит» так называемое «Письмо 13-ти» — «какое-то общее заявление», опубликованное после множества консультаций со всеми участниками политического спектра, заявление крупнейших бизнесменов, декларирующих необходимость соблюдать правила fair-play («не допустить конфликта, взрыва, такая вот примиренческая интонация»). Письмо называлось «Выйти из тупика!». Проханов и Чикин, разумеется, не входили в консорциум, но нельзя сказать, что они не имели к этому письму никакого отношения: они поддержали его. Поддержал и Зюганов — предполагалось, что коммунисты займут в коалиционном правительстве ключевые позиции. Заканчивалось письмо довольно жестким намеком: «Отечественные предприниматели обладают необходимыми ресурсами и волей для воздействия на слишком беспринципных и на слишком бескомпромиссных политиков». Через полтора года Кургинян бросит в одной статье странную фразу: «Скольким друзьям Проханова это письмо спасло жизнь и от каких неприятностей уберегло тогда страну — вопрос отдельный».

Чтобы вытянуть Ельцина, рейтинг которого в начале года составлял 3–5 процентов, банкиры нанимают (за 3 миллиона долларов, подсказывает Проханов) Чубайса, который регулирует денежные потоки и становится менеджером избирательной кампании, о масштабах которой можно судить по знаменитому инциденту с «коробкой из-под ксерокса», когда Лисовского и Евстафьева задержали с 500 миллионами долларов наличными. Надо было срочно гальванизировать экономику — и в 96-м резко

возрастает выпуск ГКО. Надо было продемонстрировать, что чеченская война — всего лишь незначительный эпизод, и вот на сигнал мобильного телефона Дудаева наводят управляемый снаряд и разносят мятежного генерала в клочья; очень скоро с боевиками заключен договор о прекращении огня, который СМИ продавали как «конец войны». Олигархи начинают пасти генерала Лебедя, который, по их плану, должен был оттянуть протестные голоса и во втором туре, в обмен на высокий пост, передать их Ельцину. В СМИ начинается антикоммунистическая истерика, автору этих строк отчетливо припоминается коммерсантовский листок «Не дай бог!», к которому приложили руку многие его будущие знакомые.

Нельзя сказать, что первая попытка Березовского встроить оппозицию в свой план полностью провалилась. Одним из следствий саммита на Новокузнецкой была приватная беседа с Гусинским, который сказал Проханову, что они на НТВ затевают миротворческую программу и оппозиция больше не будет демонизироваться телевидением: наоборот, они хотят приглашать видных деятелей из другого лагеря в свои политические программы. И действительно, с этого момента его начал приглашать в программу вечерних новостей Кара-Мурза. Так, впервые после 91-го года, с него была снята информационная блокада и он стал появляться на ТВ. Он понимал, что ему дают своего рода взятку.

Что, впрочем, не помешало ему продолжить с прежней силой мочить как самого Гусинского, так и его Еврейский конгресс. Уже в ноябре 96-го эта история будет изложена следующим образом: «Созванные по инициативе Березовского 13 банкиров-апостолов задурили голову оппозиции фарисейской идеей компромисса».

Однажды поздней осенью 1996 года Проханову позвонил Кургинян и позвал встретиться с Гусинским. Это было не то предложение, от которого можно было отказываться, так что он поехал в Кургинян-центр. Гусинский больше не был расположен к шуткам — надменный, очень гордый, исполненный величия, он сел и сделал заявление: «Если вы не прекратите инсинуации, то — а я сейчас говорю с вами не просто как Владимир Гусинский, но как председатель российского Еврейского конгресса, — я буду добиваться вашего судебного преследования. Кроме того, у меня есть также и другие средства заставить вас замолчать». Это прозвучало угрожающе. Не зная, как правильно реагировать, Проханов на всякий случай сказал ему: «Я вас услышал, Владимир Александрович».

Кургинян — модератор — разлил вино, и они едва успели чокнуться, как в зал влетел «взволнованный, несколько

истерический» Березовский, с которым у них уже был хрупкий, тонкий контакт. «Он, по-видимому, планировал меня ангажировать дальше и втягивать меня в орбиту своих интриг, интегрировать оппозицию, вывести ее из радикального подполья и включить в конвергентную процедуру. Он пришел, чтобы инцидент не перерос в какие-то ужасные формы. Либо он боялся еврейских погромов с моей стороны, либо, наоборот, опасался, что Гусинский надавит на меня, и вся его, Березовского, тонкая архитектура пойдет насмарку и возникнет отчуждение». Появление Березовского было скорее кстати: «я почувствовал очень серьезный прессинг, когда Гусь, тоже бывший хозяином страны, стал угрожать мне судебным преследованием. А я помню судьбу Осташвили, повесившегося в нужнике, я к этому очень серьезно относился, и уже вовсю шли убийства политические. И я ушел подавленный с этой встречи. Не скажу, что раздавленный, но очень озабоченный».

Озабоченность вылилась в передовицу «Еврейские банкиры и чеченские гранатометы», ставшую классическим прохановским шлягером. «Говорят, в Иерусалиме недавно засох Маврикийский (sic! — *Л. Д.*) дуб… В России апокалипсис развивается в специфических чечено-еврейских формах… Двойной гражданин Березовский зажжет в кремлевской башне желтую звезду победы, и тысячи чеченских гранатометов, купленных на пенсионные деньги, отсалютуют в разных городах России этой новой власти… группка талантливых еврейских мытарей, обобравших русских вдов… Господа из Еврейского конгресса и Совета безопасности, русский апокалипсис, в который вы нас затащили, превратит вас в смрадный дым, и черти со свастиками, которые станут рыться в горячем пепле, распознают ваши скелеты по бриллиантовым запонками и золотым коронкам». Через десять лет через эту затейливую метафорику не так просто пробраться, но ясно, что автор дает понять: в банках российских олигархов крутятся чеченские деньги.

Он уверен, что это был лучший способ отреагировать на предупреждение Гусинского? «Происходили очередные трагедии в Чечне, подрывы наших военных колонн, показывались кадры, где чеченцы торжествующе машут окровавленной печенью нашего мотострелка, и я, чувствуя неприятный осадок от своей внутренней слабости, робости, сел за стол и написал эту передовицу». Через неделю после «Банкиров и гранатометов» около собственного подъезда, в подворотне, на него напали: фонарь не горел, но он успел увидеть, как из-за угла выскочил человек, чтобы ударить его сзади, в затылочную кость, кастетом. Он успевает повернуть голову, так что удар соскальзывает, что,

впрочем, не мешает ему на секунду потерять сознание. Жена, бывшая рядом, закричала, и нападавший убежал. «Это было, конечно, не ограбление. Это был удар на поражение, профессиональный. Несколько дней я переживал это сотрясение». По этому факту было возбуждено уголовное дело, но милиция отказывалась увидеть в инциденте политический оттенок, несмотря на то что пострадавший настаивал, что атаковавший даже не попытался взять у него бумажник; ему небезосновательно дали понять, что на кишащей городскими отбросами Пушкинской площади и не такое случается — да вы свой роман «Красно-коричневый» почитайте!

Война возобновилась буквально тотчас же после окончательных выборов. Ельцинские политтехнологи еще не успели отпраздновать победу, как — 6 августа — Басаев захватывает Грозный, где сразу же погибают 500 российских военнослужащих, а 3000 оказываются в осаде в грозненских бараках. Ельцин уже лежит с инфарктом, в Москве паника, Кремль не находит ничего лучшего, кроме как направить на Кавказ Лебедя, который 12 августа заключает с Чечней унизительный Хасавюртовский договор, согласно которому Россия выводит войска, Чечня получает независимость, по крайней мере фактическую (вопрос об официальном статусе «отложен» до 2001 года).

Проханов, по его словам, «ужасно переживал» Хасавюрт, «трагедию для России», ненавидел Лебедя, «патентованного предателя-лукавца».

На него происходит еще одно покушение. На этот раз он въезжал домой на машине, открыл ворота, и в тот момент, когда попытался закрыть дверь, на него напали двое, сбили с ног и начали дубасить ногами. Он орал, пытался отбиваться; когда рядом завопил какой-то прохожий, нападавшие скрылись.

«После» не значит «вследствие», и нет никаких доказательств, что оба инцидента как-то связаны с Гусинским; «но какая-то интуиция тайная связывает бокалы, полные красного вина, на той встрече с этим курьезом».

Осенью 96-го же начинается так называемая «война компроматов» — коржаковского круга с Березовским. Ельцин расплачивается по счетам: на залоговых аукционах происходит окончательный передел самой лакомой собственности, особенно нефтяной промышленности. Личное состояние премьера Черномырдина независимые источники на тот момент оценивают в 5 миллиардов долларов. За 1996–1998 годы чеченцы похищают около 1300 людей, захват заложников становится самостоятельным бизнесом. Премьер Б. Немцов пересаживает

чиновников на «волги». «Завтра», которая и без таких поводов могла объявить войну хоть черту, хоть дьяволу, постоянно пытаются закрыть: газета захлебывается в потоке судебных исков. «Мы научились быть осторожными, вырабатывали разные формы языка, например, вместо того чтобы говорить, скажем, „мэр Москвы, Лужков, является создателем самой криминальной экономической системы в России“, мы говорили „может ли мэр Москвы, Лужков, опровергнуть или подтвердить, что в Москве создан самый криминальный…“ и т. д. Поэтому мы избежали части исков».

Наступивший 1998-й открывается февральским юбилеем. Номер «Завтра», посвященный 60-летию главного редактора, наполнен рифмованными здравицами («Певец. Плясун. Затейник хитроглазый»; «Киплинг — Гумилев — Проханов / из породы тугоплавок / нибелунгова кольца / воина-конквистадора / охранителя порога / у родимого крыльца»), подборкой комплиментарных цитат («Он говорит с невозмутимостью французского интеллектуала. У него свободно спадающие, седоватые волосы. Одежда сидит на нем элегантно» — из New York Times); венчает эту коллекцию эффектный ассамбляж Е. Нефедова «классики о Проханове»: «Кто так чувствителен, и весел, и остер, как Александр Андреич!» — и проч. В маленьком ресторанчике на «Соколе» Проханов затевает празднование дня рождения, превращающееся в шабаш самых одиозных политиков страны: Язов, Варенников, Бакланов, Жириновский, Зюганов, Анпилов, Дугин, Джемаль, Доронина, Кургинян, Бабурин, Павлов, Хасбулатов, Руцкой, Зюганов. Крючков был болен и прислал золотую вазу. «Никто, кроме тебя, не смог бы собрать», — доверительно прохрипел ему Зюганов. «Это был такой пир оппозиции — или, скорее, прощание с объединенной лево-право-красно-коричневой оппозицией», потому что, в силу накопившихся разногласий, по отдельности они уже не могли общаться друг с другом.

К этому времени с «Завтра» уже не сотрудничают ни Дугин, ни Джемаль, ни Лимонов, через полгода уйдет и Кургинян. Происходило «расщепление интеллектуально-идеологического поля», и из скорлупы «Завтра» начинают вылупляться другие газеты и другие тенденции: «Лимонка» (название придумал Проханов), «Дуэль», «Я — русский», «Скупщины». Это, конечно, оттягивает от них часть читателей, и синтетическая роль газеты несколько уменьшается, что не помешало ее главному редактору в 1998-м едва не стать идеологом еще одного путча. Если когда-нибудь у вас в руках окажется бумажник Проханова, то в одном из многочисленных отделений вы сможете обнаружить

любопытную фотографию: один из его внуков скачет на странной шпаге, похожей на предмет из реквизита «Гамлета». Она была преподнесена Проханову генералом Рохлиным, с именем которого и связан этот Третий путч. Лев Рохлин был боевым генералом чеченской войны, и при этом демократом, но честным (как бы ни озадачивал этот двойной парадокс); неудивительно, что в конце концов он оказался вовлечен в орбиту газеты «Завтра», и лично ее главного редактора.

Последний не любит вспоминать о своем участии в рохлинском проекте и вообще делает вид, что не вполне представляет, как того зовут — «бедный этот вот, из головы даже покойники, ну, кого жена-то пристрелила у нас? Ах да, Рохлин!». «Трудно все это — конспирология, вспоминать, нужно документы смотреть». «Рохлин возник на этом горизонте, пропал, появился у меня в доме, был убит, вовлекал меня в свой сложный, закрытый, военно-политический проект».

Однако реконструировать ситуацию можно: в первую очередь, по газете, и особенно по роману «Сон о Кабуле» (ради которого ему пришлось — по удачному замечанию М. Ремизовой — «распилить на отдельные куски свое „Дерево в центре Кабула“»), выстроенному на параллели двух несостоявшихся путчей — Кабульского, 1980 года, и Московского, 1998 года. Современная линия сюжета состоит в том, что Белосельцеву звонит его афганский сослуживец генерал Чичагов с просьбой проконсультировать («стать советником по Востоку») его партнеров — Имбирцева, самарских капиталистов-бандитов (патриотов, «пассионариев», империалистов), которые, чтобы поддержать умирающие заводы и из ненависти к Израилю, продают военные технологии Ирану (который «рвался в цивилизацию, прокладывая в нее свой исламский путь, без наркотиков и проституток, с четками и сурами Корана»). Белосельцев с его знанием Востока должен помочь им избежать русского «ирангейта». Одновременно его вербует в консультанты генерал Ивлев (несомненно, написанный с Рохлина), собирающийся устроить военный путч, и еврей Кугель (пытающийся разыграть афгано-исламскую карту, чтобы стравить Россию с арабами и подтолкнуть Россию к Америке и Израилю), двигающий, в свою очередь, православного бизнесмена Вердыку (тот должен принести Ивлеву материал об Имбирцеве и «ирангейте», а сам содержит приюты для афганских инвалидов-нищих, которые сдают ему дневную выручку). Смысл в том, что диспетчер всех троих — чекист Чичагов: он конструирует их встречи, он хочет руками Ивлева придушить «ирангейт», а через Кугеля-Вердыку — задавить Ивлева, организатора путча.

Белосельцев в этой сложной политической многоходовке «задуман Чичаговым как взрыватель, сквозь сомкнутые клеммы которого пробежит моментальная искра, подымет в воздух косматую громаду взрыва».

Про Ивлева здесь сказано вот что: «„Афганец“ и „чеченец“, сделавший вдруг ослепительную карьеру политика… стал главной угрозой режиму. Мог увлечь войска за собой… Ивлева боялись в Кремле. Видели в нем возможного мятежника и путчиста».

Познакомиться с Рохлиным ему захотелось еще после первого же посещения Грозного в 1995-м. Тогда ему это не удалось, но впоследствии они все же встретились и даже сблизились. Проханов был вхож в его дом, пользовался его расположением, «я был у него на даче за несколько дней до его трагической кончины. На день рождения Макашова мы все собрались в ресторанчике, танцевали, я с этой дамой, его женой, Рохлин подарил мне эту шпагу».

«Он все мечтал, что, когда он победит, я стану идеологом этого проекта». «Мне нужно, Виктор Андреевич, — говорит генерал Ивлев, — чтобы в первый же час наши дикторы сидели на телевидении. Нужна стратегия пропаганды. Чтоб мы перед народом засветили все преступления режима, все воровские счета в банках. И еще нужны аналитики».

30 июля 1997 года в «Завтра» публикуется передовица с характерным названием «Винтовка рождает власть», в которой изложен примерный сценарий военного путча, в том же номере напечатано обращение Рохлина к Верховному Главкому РФ «Вы сдали свою армию!», где тот фактически угрожает правительству вооруженным выступлением. Романный Ивлев признается: «Я готовлю восстание. Военный переворот… Части готовы, командиры на связи, рассчитано все до мелочей… Все должно произойти очень быстро, без крови. Ну, может быть, десяток бандитов, которые окажут сопротивление, — тех прихлопнем. Под арест будет взята тысяча человек, больше не надо». «Военному перевороту должно предшествовать народное восстание. Массовые выступления народа… Миллионы должны выйти на улицы и обратиться к армии с просьбой защитить народ от произвола».

Путч — якобы — был назначен на 20 июля 1998 года. До этого Рохлин должен был выступить в Думе — о крупномасштабных хищениях сибирской нефти, на доходы от реализации которой азербайджанские и грузинские структуры закупали русское оружие и переправляли его в Чечню, при участии Кремля. Рохлин собирался обнародовать список

конкретных лиц, причастных к афере.

Отношения Проханова с Рохлиным косвенно подтверждены и третьими сторонами. Так, в «АиФ» промелькнуло сообщение, что Проханов предлагал Рохлину газету как информационную поддержку в обмен на финансирование, но тот якобы отказался. Известно не только то, что Рохлин планировал путч и встречался в лесу с Лукашенко, который якобы обещал в нужный момент ввести в Россию Витебскую десантную дивизию, но и то, что он был крайне неосторожен. Газета «Стрингер» сообщает, что он заказал теоретическую разработку управляемой катастрофы, острой кризисной ситуации, необходимой для введения армии в Москву. Предполагалось устроить блэкаут, в том числе отключить электронасосы, качающие фекалии в канализацию, и затопить город в экскрементах. У Рохлина была карта объектов, от которых зависит энергетическая безопасность регионов. Также предполагалось создать кризис со снабжением табачными изделиями — перехватывать на дорогах фуры с сигаретами.

3 июля 1998 года Рохлина убили — все-таки жена, во всяком случае, если верить приговору, вынесенному в ноябре 2005-го. Жена? Проханов вспоминает, как они разговаривали с Рохлиным в кабинете о путче — и тут ворвалась эта Тамара, стала читать какие-то свои стихи, а тот ее выгнал чуть ли не матом, то есть она была действительно безумная. Однако «были версии, что ее облучали каким-то психическим оружием, через гипноз заставили убить мужа, навели на нее помрачение».

Поскольку Проханов редко выдумывает какие-то конспирологические интриги совсем из головы, можно рассматривать «Сон о Кабуле» и как завуалированный документ. «Там ходила такая версия, что его пристрелили, потому что слишком много знал. Не сумасшедшая жена и не оппозиционер». О «путче» Проханов отзывается презрительно: что это за путч, про который говорила вся Москва, но бормочет о том, что должна была идти какая-то машина с оружием из Волгоградской области, двух офицеров сразу арестовали, «впрочем, все это совершенно неинтересно».

Как бы то ни было, декабристского восстания из этого не получилось. Любопытный факт: в одном из августо-сентябрьских номеров «Завтра» за 1998 год редакция обещает дать версии убийства в следующем номере — и затем умолкает, как ножом отрезало, по-видимому, на них надавили, и нешуточно; темная история явно дожидается своих исследователей.

Со «Сном о Кабуле», связана, между прочим, и еще одна тема — так называемая «братковизация» «Завтра». В октябре 1998-го «Завтра» выпустила номер, апологетический по отношению к так

называемой «русской преступности». На дворе «время сильных», «пассионариев». «Япончик — герой русского Сопротивления», «национальная буржуазия». Это чувствовалось: вспомнить хотя бы ноябрьский (1996) взрыв на Котляковском кладбище, когда одни инвалиды войны в Афганистане взорвали несколько десятков других, конкурирующих («Милиции пришлось снимать куски тел с деревьев», — сообщает Пол Хлебников).

«Газета защитила Таранцева, воспела все типы русских братков вплоть до киллеров, сама начала писать на себя подсудный и политически более чем подударный компромат», — возмущается С. Кургинян, который после этого номера отказывается сотрудничать с газетой. Похоже, в этот момент Проханов, вечно ищущий союзников, чем экстравагантнее, тем лучше, пытается сделать ставку на национальный средний класс, его не смущают криминальные связи. В «Сне о Кабуле» мы можем увидеть некоторых из этих криминальных элементов, с которыми общается Белосельцев, — Вердыка, Имбирцев. «В них были узнаваемые черты… из пьес Островского, Горького, Сухово-Кобылина. И эти черты были ненатуральны, заимствованы, взяты напрокат из старых сундуков, подсмотрены из архивных кинолент. Маскировали иную, небывалую прежде сущность, которая не желала проявляться в открытую, пряталась в глубине сейфов, на дне таинственных черных чемоданчиков, в сердцевине бегающих темных зрачков». Сам Проханов при мне несколько раз туманно, однако весьма благожелательно отзывался о «современных кудеярах», «благочестивых разбойниках», которые отмаливают грехи, жертвуя на церкви; в любом случае, они ему симпатичнее, чем американизированные менеджеры среднего звена.

Пострадал ли он от августовского кризиса 98-го года? «Экономически меня это никак не коснулось. Семья моя не держит деньги в банке. И газеты это не коснулось — у газеты тоже нет никаких сбережений в банке. Все, что к нам приходит, тут же реализуется в виде зарплаты и выплаты за следующий номер».

— Вы же в ресторане все время требуете долларовый счет и даже в церкви подаете валютой.

— У меня же нет кредитной карточки, я расплачиваюсь наличными, черным налом, как мафиози. Все свои небольшие сбережения я держу при себе, дома, это доллары, разные небольшие суммы, они у меня лежат в пеналах из-под виски, очень бессистемно. Я не знаю, сколько у меня сбережений.

А кстати, как он распорядился своим ваучером? «Никак. Это была пора, когда какие-то странные лица собирали эти ваучеры

на какие-то предприятия. Этот ваучер был у жены, она его кому-то отдала и забыла. Я не понимал, что такое ваучер, абсолютно этим не интересовался и все время от этого отбрыкивался. Я не знал, что на ваучере делают бизнес, аукционы залоговые. А вы-то как использовали свой?» — «Сдал в ларек за десятку». Он удивляется моей ушлости: «Да? А я его просто передал в цепкие руки каких-то безымянных друзей, и он исчез. Может быть, они стали сейчас нефтяными магнатами, а может, их убили. Словом, проблемы ваучера для меня не существовало. Это Чубайс таким образом легализовал свои приобретения. А для нас, неэкономистов, это фикция полная».

В какой момент он почувствовал иссякание советского благополучия? Ни в какой, — ссылается он на свои небольшие потребности. «Я был советским средним классом, у меня было все: открытый счет в сберкассе, на который всегда что-то капало, квартира на Тверской, изба в Торговцеве, небольшая писательская дачка под Истрой (которая, правда, в какой-то момент сгорела), автомобиль. За границу я ездил за чужой счет, одевался скромно… Да, обычный камуфляжный костюм, бутсы — почистишь их раз в месяц черной ваксой — и в Дубовый зал ЦДЛ. Или негром намажешься, краски тогда стоили дешево».

Потерял ли он что-нибудь в финансовой турбулентности начала девяностых? «Все абсолютно — накопленные литературные гонорары, все сгорело», — произносит он с неожиданно шпаковской интонацией: два магнитофона… Гонорары за опубликованные в «Роман-газете» «Дворец» и «Последний солдат империи» были весьма скромными. Квартира на Тверской тогда еще не была сдана (судя по роману Анны Козловой «Открытие удочки», где главная героиня встречается с сыном Проханова-Бамбаева, это произойдет где-то в конце 90-х, с предварительным евроремонтом). Это, разумеется, не значит, что он нищенствовал и подавал заявки на соросовские гранты: газета была довольно прибыльным предприятием, кроме того, многие «благодетели» оппозиции, особенно «белой» оппозиции, имели собственный бизнес и даже не то что помогали — «они, по существу, взяли на прокормление лидеров, людей, ушедших из ЦК, лишившихся крова, дотаций, — давали зарплату, финансировали поездки, иногда помогали купить приличную одежду».

На самом деле, середина 90-х, несмотря на все юридические препоны, была для оппозиционной прессы — во всяком случае, прохановской — временем больших, шальных «живых» денег. «Тогда налоги никто не платил, я покрывал этими деньгами расходы издательства, все деньги были у меня, это были мои

деньги. Я помню, собирались в комнатушке женщины из отдела, и эти трешки какие-то считали, складывали горы, стопы, кто-то крал эти деньги, всегда на эти деньги мы покупали водку, колбасу, пировали после каждого номера, распространители приходили. Мы не тратили эти деньги на покрытие расходов огромного издательства. Мы все ютились в маленькой комнатке».

Это заложило экономическую базу для газеты: они купили нескольким сотрудникам автомобили, несколько квартир, которые сейчас сдают и из аренды выплачивают жалованье и гонорары. «И если сейчас мы еще существуем здесь в этом офисе замечательном, это эхо тех бурных экономических времен. Тогда я проявил недюжинную экономическую сметку и вообще мог возглавить Министерство экономики. Я учился торговать, по-ленински, торговать и делать бизнес».

Впрочем, по большому счету все прохановские газеты были небогатыми, «скопческими», именно в силу экономических причин он так и не сделал свою «Литературку». У них никогда не было штата спецкоров — не то что за границей, но и по России (что не мешает печатать иногда в «Завтра» очень грамотно написанные травелоги, от которых не отказался бы и CondeNast Traveler: Ливия, Северная Корея, Боливия). Как он при этом умудряется разъезжать по всему миру, от Ирака до Штатов? Только по чьим-либо приглашениям: «я ездил туда, где можно было сорвать политический куш».

Чтобы закрыть эту тему — газете «Завтра», участвующей в большой политике, где естественным образом ходят внушительные деньги, перепадает кое-что от «благодетелей», все время меняющихся. Разумеется, это хороший повод для сенсационных «разоблачений»; самый неприятный, пожалуй, подкоп под репутацию газеты осуществили ичкерийские пропагандисты, которые в начале нулевых пытались запустить слух о том, что в октябре 1992-го и мае 1993-го Проханов якобы получал от Дудаева «помощь» в размере 50 и 300 тысяч долларов соответственно; слухи вызвали в редакции бурю возмущения и, насколько это возможно, были опровергнуты.

Сколько я понял из разговоров с ним, сейчас газета требует ежемесячных дотаций около трех тысяч долларов, что доставляет Проханову некоторые хлопоты. Газете принадлежат две квартиры на первых этажах во Фрунзенских переулках. В одной размещается редакция, во второй — верстка. Ходят слухи, что Проханов — владелец находящегося по соседству, в здании Российского союза писателей, ресторана «Пегас». Это неправда: он лишь посоветовал СП в свое время сдать в аренду это помещение.

Я прошу его, как эксперта по конспирологии, рассказать мне, что на самом деле стояло за кризисом 1998 года. Официальная версия, как известно, состоит в том, что 17 августа правительство и Центробанк объявили о повышении верхней границы курса рубля до 9 руб. 50 коп. за доллар и временном отказе государства выплачивать доходы по ГКО, краткосрочным облигациям, которых за несколько лет было выпущено на 70 млрд долларов. «Разумеется, для конспиролога дефолт явился не чем иным, как огромной кражей четырехмиллиардного транша МВФ, в результате чего эти деньги бесследно пропали. До сих пор об этом не говорят».

— Про вас можно сказать, что в экономическом смысле вы представитель среднего класса. У вас свой небезуспешный бизнес, вы владеете недвижимостью, у вас относительно комфортный образ жизни…

— Наверное, можно так сказать, но я сейчас в таком состоянии, и в смысле возраста, и в эволюции своих потребностей, что это дольче фар ниенте мне не интересно. Я не выезжаю на курорты в Анталию. Так сложилось, что я абсолютно не трачу деньги на себя. Люди, которые во мне заинтересованы, бизнесмены или политики, приглашают меня на встречу в рестораны или в заграничные поездки. Я в такого рода встречах не нуждаюсь. Я никогда не приглашал к себе на встречу крупных дельцов, они мне просто не нужны. Поэтому, да, являясь представителем сегодняшнего среднего класса, я тем не менее не изменил ни свой уклад, ни свои привычки. Скорее меня можно было бы назвать не человеком среднего класса, а патрицием, который предается интеллектуальному, а не плотскому гедонизму.

— Патрицианство, однако ж, предполагает наличие счета в банке.

— Необязательно. Несколько рабов преданных, несколько оливковых деревьев плодоносящих — и вид на любимую Адриатику..

— А чего вы тогда глумились над средним классом в передовицах? Я помню это ваше «курс доллара — семь-сорок».

— Я абсолютно не глумился над средним классом. Моим врагом был Ельцин, я не утомлялся его демонизировать, и вся свистопляска вокруг него — экономическая, политическая — питала наши перья, наши воспаленные от ненависти печени. Но газета не занималась экономикой, это не экономическая газета.

— Проханов — давали мне понять многие мои знакомые — «он-же-когда-придет-к-власти-будет-таких-как-ты-вешать-первым-номером».

— Я?! Я достаточно индифферентен к социальному экономическому строю. Я — империалист, и любая формация, которая обеспечивает целостность пространства и процветание популяции, меня вполне устраивает. Если нужно уничтожить территорию и уполовинить население для того, чтобы утвердить здесь экономический и политический либерализм, я — тотальный враг либерализма. Поэтому средний класс сам по себе для меня не является ни врагом, ни другом. Если энергия национальная перетекает из советского среднего класса, который был испепелен этими реформами, что было для меня, и вообще для популяции, огромной трагедией, если эта энергия перетекает в новый средний класс, я только рад этому обстоятельству. Я же реалист, я понимаю, что уже никогда не будут созданы эти великолепные сталинские экономические супершколы, это все кончено, эра завершена. И я радуюсь любой энергетике в стране, утонувшей, погруженной в мрак, в апатию, в безысходность. Я радуюсь любому цветению, в том числе и олигархическому. Странно: я побывал в империи Ходорковского, и у меня сложилось впечатление, что этот фрагмент советского он вытащил из небытия и спас, и он живет, правда, не на благо всей остальной померкшей стране, а на благо себя самого, но в любом случае при другом стечении обстоятельств этим потом можно будет воспользоваться как огромной сохраненной деталью механизма. Так что средний класс — это нормально. И у меня довольно много знакомых людей, многие дети моих сверстников особенно, превратились в людей среднего класса: те, кто не спился, те, кто имеет стимул учиться, те, кто аналитически смотрит на мир, кто эти калории, которые он получает от родителей или от советской эпохи, включает в другие, более эффективные модели.

— А что значит «при другом стечении обстоятельств»?

— Если все-таки возобладает идея выстраивания большого русского пространства, попытка новой интеграции. И в этом смысле мне и Чубайс импонирует с его либеральной империей, меня восхитила эта формулировка. Вот вчера он вылез, рассказывал о том, как наши энергосети оплетают и Киргизию, и Таджикистан, и даже Афганистан. И это правильно, эта экспансия: какая разница, через что воздействовать — через силовое присоединение или через утонченное управление, через систему влияния. Это ведь не самоцель — создание огромного купола, просто без целостной евразийской геостратегической конструкции не может существовать Вологодская область, она не может быть отдельно взятой. Это завершенное, выстраданное самой геологией и этногеологией образование, великое и прекрасное. И это образование пытались построить такие великие

люди, как Чингисхан, — создать огромную машину пространств. Такая задача выпала на долю русских великих князей, царей и вождей. Мне почему-то кажется, что эта задача не снята и в XXI веке.

Долго наблюдая Проханова со стороны, я много раз прикидывал, как могла бы сложиться альтернативная история России, если бы он сам возглавил оппозицию. Как он — страстный, уверенный в себе, телегеничный, владеющий риторическим аппаратом — выпестовал бы себе «дофина», который бы оппонировал Ельцину в 96-м, стал бы премьером в 98-м, президентом на выборах в 2000-м. Разумеется, эта мысль много кому приходила в голову, политолог Белковский прямо говорил о том, что к Проханову история еще предъявит счет, по которому ему нечем будет расплатиться.

> «Нет, вы — молодой человек, поэтому вам так кажется. Я к этому не предрасположен. Ведь это особая психика, особая гальваника. Я бы никогда не пошел на пролитие крови. Я никогда не был кровожадным. Я бы не стал Троцким. Я никогда не пошел бы на прямые репрессии. Я всегда оставался гуманистическим человеком. Во время заседания секретариата в августе 1991-го я совершенно искренне хотел предотвратить всякие формы подавления интеллигенции, культуры».

Между тем Проханов — обладатель репутации «певца биоагрессивности». Наталья Иванова писала о нем в книге «Ностальящее»: «Я просто проанализировала его поэтику, его отношение к крови, посмотрела, как он описывает свежевание туши коровы, с чем сравнивает ее позвонки, как работает со словом. Язык, метафорика, композиция — все это выдает в Проханове брутальность и инфантильность. Но это кровавый инфантилизм. Проханов не просто соловей Генштаба, он певец биоагрессивности как таковой. Поэтому в контексте всей русской литературы Проханов — явление глубоко чужеродное, при всех его клятвах в патриотизме и инвективах в адрес антипатриотов». Правда ли, спрашиваю я заместителя главного редактора журнала «Знамя», что Проханов и в жизни был биоагрессивен? «Нет, думаю, в жизни… Сейчас я его вижу только по телевизору, а раньше… раньше его биоагрессйвность никак не реализовывалась в его человеческом поведении. Я думаю, наверное, он все-таки это разделяет. Я не говорю, что он стал чудовищем. Он стал такой, какой он есть. Я же не говорю, что раз он чудовище, его надо сажать в клетку, подвергать каким-то преследованиям. Пусть он

пишет что хочет, а я имею право иметь свою точку зрения на то, что он пишет». Так а каким он все же был, Наталья Борисовна? «Он был очень пассионарным».

По знакомству практически со всем, что опубликовал за последние сорок лет Проханов, я бы не назвал его «певцом биоагрессивности». Напротив, удивительно, насколько быстро он перегорает, каким трезвомыслящим может быть. В этом смысле один из самых удивительных моментов в его творчестве — монолог Истукана в «Господине Гексогене». Ельцин, который «для меня, конечно, персональный враг, враг всех икон, которым я поклонялся», вдруг произносит здесь совершенно борис-годуновский монолог, да такой, что вызывает у Белосельцева не ненависть, а сострадание; в частности, речь идет о том, что именно он сумел отцепить от распадающегося СССР вагоны с азиатскими республиками, предотвратил в 93-м настоящую войну, не дал распасться России и не пустил на российские АЭС американских морпехов. Совсем необязательно было признавать все эти факты, которые запросто могли утонуть в потоке «биоагрессивности», однако ж нет.

Мы возвращаемся к альтернативной истории — что было бы, если бы Проханов сам занял некий официальный пост. «Ну, потом само администрирование — это особая процедура…» Позвольте, а газетный опыт. «Ну нет, газета — это скорее такой веселый клуб, игра… Я ужасно устаю от людей. Я терпеть не могу собраний, совещаний, заседаний. Во мне возникает мгновенно какая-то невропатическая слабость, и я убегаю из президиума. Я не могу сидеть. Вот выученные политики, скажем, Зюганов, он целыми днями сидит на всяких конгрессах, конференциях. Мне это страшно скучно. У меня сразу возникает чувство самоиронии. Я не пригоден для активной публичной политики».

Чувствует ли он ответственность за то, что не впрягся в это? «Ничего подобного. Есть власть, и есть влияние. Влияние — это роль не менее важная, чем власть. Всегда за любой властью существует такое поле, поле влияния. У любого властителя меньшего масштаба, чем Наполеон, всегда есть свои реферирующие группы и явные или полуявные авторитеты, которые на эту власть влияют. Скажем, видите ли вы, например, академика Сахарова в роли человека, который мог бы возглавить демократическое движение? Он был смехотворен в этой роли. У него была другая консистенция. Это был человек влияния. Или Солженицын. Он мог, что ли, возглавить? Он художник, писатель, идеолог, он в какой-то степени сибарит. Вот я примерно такого же склада». Но он же все равно был активно вовлечен в политический процесс. «Если бы я был вовлечен и был бы членом

партии, я бы использовал для себя эту блестящую возможность быстро продвинуться по этой коммуникации, использовать свой темперамент, свою энергию».

В 80-е быть человеком влияния значило всего лишь сделать хорошую карьеру, а в 90-е — воевать на переднем крае, напрямую участвовать в истории. «Нет, и то и другое предполагает тип личности. Вот Наполеон, например, это человек-властолюбец. Он понимал категорию власти как очень личное качество. Он понимал красоту личной власти. Я не властитель, я не стремился никогда к личной власти. Мне всегда нравилось наблюдать, созерцать, понимать, отстраненно описывать это все и испытывать власть на эстетику, создавать дизайн власти, что исключает прямое участие в ней. Власть — особый тип психоза, а у меня этого нет. Я никогда не мечтал о власти. Мне всегда нравилось власть рассматривать как объект».

Многие уверены, что если бы Проханов, а не Зюганов к середине 90-х стал лидером оппозиции, то история с высокой степенью вероятности могла пойти по другому пути. Он мог сделать карьеру Гитлера в Германии 20-х, будучи, если уж на то пошло, остроумнее, презентабельнее, непредсказуемее Гитлера.

— Может, страна была бы другой. Но, во-первых, мне казалось, что Зюганов абсолютно достаточен. У молодого Зюганова были качества, которые привлекали к нему огромное количество людей. Просто если бы в его личности было больше жесткости, если бы в Зюганове было больше Сталина или Гитлера… И уже задним числом, я уверен, что делал все правильно. Я не считаю себя ответственным за период российской истории с 1991-го года. Я этот период прожил очень страстно, очень энергично и, по существу, даже не на 100, а на 200 процентов выложился в этом контексте. И если я что-то скорректировал, то сделал это только за счет своего влияния. А окажись я на этом оползне, я бы сполз вместе с ним, он меня бы и накрыл, я бы из-под него и не выбрался.

Вообще я достаточно индивидуальный человек, не командный. Весь мой опыт — это опыт одинокого стояния. Я был в кружках друзей, но кружки друзей — это абсолютно особая общность. Там не было подчинения, там не было коллективной воли, там была непрерывная внутренняя полемика, и в этой дискуссии выстраивались личности и определялись категории, создавались новые понятия. Это были школы, лаборатории, а не батальоны. И я был воспитан как очень отдельно взятый персонаж.

— Вы, однако, мастер описывать коллективы, человеческие массы, глыбы.

— Только за счет того, что я в них не встроен.

— Полагаю, было бы небесполезно познакомиться с вами в тот момент, когда мне было лет шестнадцать.

— Вы тогда были опьянены новыми веяниями, вы пили из той чаши.

— Но никто мне не наливал другого вина.

— Ничего подобного. Вы пили из той чаши, которая казалась хрустальной, а другой сосуд был, но казался корытом.

Таким образом, оставляя вышеприведенный диалог в окончательном варианте книги, я не могу не вспомнить замечание британского мастера жизнеописаний Алена де Боттона: «Биография считается плохой именно в том случае, когда автор чересчур активно вторгается в жизнь своего героя, а читатель узнает о комплексах автора даже больше, чем о комплексах знаменитости, за книгу о которой он, собственно, и заплатил деньги».

Глава 18

«Господин Гексоген». Виновники взрывов домов. Интермедия: Эффект бабочки. Шокирующее признание писательницы Славниковой.

Огонь по своим. Генезис галлюцинаторной эстетики. Последствия инцидента на Красной площади

4 ноября 1998 года в 19.10 со стороны Ильинки к Красной площади подкатил красный «Москвич-2140» и, сбив металлические ограждения у угла ГУМа, на скорости понесся к Лобному месту. Рядом со Спасской башней, примерно там, где 11 годами раньше приземлился летчик Руст, машина затормозила. В этот момент заговорил установленный внутри мегафон: «Не приближайтесь, бомба! Ельцин, выходи!» К «Москвичу» уже бежали бойцы Кремлевского полка; едва они принялись выволакивать из салона водителя, которому успели-таки сломать ногу, прогремел мощный взрыв. Позже выяснилось, что за рулем сидел шестидесятипятилетний житель Подольска, преданный подписчик газеты «Завтра», Иван Васильевич Орлов. Оставив предсмертную записку, в которой говорилось, что все свое имущество он завещает подольскому горкому КПСС, и подарив по дороге случайно встреченным им таджикским беженцам огромную дыню, которая почему-то находилась у него в багажнике, Орлов отправляется на Красную площадь, где намеревается покончить жизнь самоубийством. В его «Москвиче» — 1976 года выпуска, пробег 160 000 км — было заложено самодельное взрывное устройство мощностью около 600 г. тротилового эквивалента. На стеклах автомобиля было написано: «Заминировано. Мы заложники. Не стрелять. Разбегайся. Ельцин освободи нас от себя». Директор ФСБ В. Путин назвал инцидент «проявлением общей напряженности, которая, к сожалению, сложилась в нашем обществе», и предположил, что «это прежде всего действие человека, который психически неуравновешен». Ивана Васильевича в самом деле не раз видели в редакции газеты «Завтра», однако, как утверждают сотрудники, впечатления человека, страдающего шизофренией, он не производил. Напротив, отличался веселым нравом, изрядным остроумием, бодростью духа. Имея свои счеты к нынешней власти, Орлов сопротивлялся ей как мог: распространял «Завтра» и даже издал

на личные средства два антирежимных памфлета — «В стране Ельцина» и «Стон России от вождей»: «На родной земле русские — рабы. Демократы разрушили прошлую жизнь социализмократии, более-менее относившейся к человеку добро и милосердно. Фарисеи народ обшкурили, обобрали, пропили, продали».

Этот эпизод, который с некоторой натяжкой можно назвать курьезным, стал первым звеном в цепи, которая постепенно сложилась в голове Проханова и на которую он посадит самую злую, самую крупную, самую породистую свою псину, он назовет ее «Господин Гексоген».

«Господин Гексоген» начинается с того, что — какой замечательный абзац, настоящее стихотворение в прозе, тургеневской прециозности — в осеннем московском воздухе капелькой йода расплывается странная горечь, знаменующая свертывание одной эпохи и близкий приход другой; весь роман буквально сочится этой горечью, разлитой по каждой странице; драматизм ситуации 1999 года ощущается удивительно пронзительно.

В марте прямо в грозненском аэропорту чеченцы похищают генерала Шпигуна и отрезают ему голову. Весной начинается цикл яростных передач Доренко, в том числе про Скуратова, накопавшего компромат на ельцинскую семью; его испепелили в два счета, как только была показана пленка с похожим на генпрокурора голым человеком в постели с двумя женщинами («Куда пошла? Я санкции не давал!»). В начале августа ни с того ни с сего — и подозрительно кстати, словно по заказу — группировка чеченских ваххабитов вторгается в дагестанские села Чабанмахи и Карамахи.

Помнит ли он свои странные стихи: «Насадил на штык я ваххабита..»? «Да-да-да. В тот момент (8 августа 1999 года) ведь еще и обстреляли из гранатомета особняк Березовского на Новокузнецкой, и я написал: „Жужжи, жужжи, прекрасная шалунья, пусть враг не доживет до новолунья…“. Это тоже поразительный момент, когда я вдруг стал извергать из себя все эти модернистские рифмы и стихи, которые прежде были мне не свойственны. Я писал стихи такого классического блоковско-пастернаковского разлива и вдруг поперла такая гексоген-тринитротолуольная схема. Этот, кстати, стих был предтечей „Гексогена“. Вот что значит попасть в эпицентр взрыва, политического или литературного».

«Гексоген» — странный роман уже хотя бы потому, что никакого Белосельцева в нем не должно было быть: в 1991-м, да и в 1993 году, в конце «Красно-коричневого», он недвусмысленно

погибает. На это обратил внимание еще В. Г. Бондаренко, который со свойственной ему эрудицией тут же опознал в персонаже «советского Терминатора». Как же так, Александр Андреевич? «Большинству может показаться, что он погибает, но в этой мертвой плоти оставалась одна молекула жизни, одна капелька крови, одна клеточка…». По сути, это было такое воскрешение Шерлока Холмса после битвы у Рейхенбахского водопада. Он уже тогда придумал написать семисерийный сериал про 90-е («Семикнижие»), и глупо было не включить в него финальную серию — про 1999 год, начало новой, путинской эры. А поскольку альтер-эго автора, с его убеждениями, бабушкой и афганско-псковскими воспоминаниями — все равно остался тем же, то странно было по-другому его называть. Наконец, «разведчикам свойственно менять имена».

— В сентябре 99-го, во время взрывов домов, вы где были?

— В одном из этих домов, естественно. То ли на Каширке, то ли на улице Гурьянова, в Печатниках. Может быть, одновременно в двух.

— «Первопечатники-свинчатники — печальники-тринитротолуольники…».

— Да, тринитротолуольники, это была моя первая реакция. Я в два присеста написал эту экстатическую поэму. А кончалась она: «Пусть певица Танечка Петрова мне поет до самого Покрова, а потом поет до Рождества, дуб зеленый, где твоя листва?» Это все обо мне — после всех этих взрывов, битв.

В романе один из злодеев говорит герою, прикованному к трубе в доме, предназначенном под взрыв: «Ты теперь не Виктор Андреевич Белосельцев, а Иоанн на Патмосе».

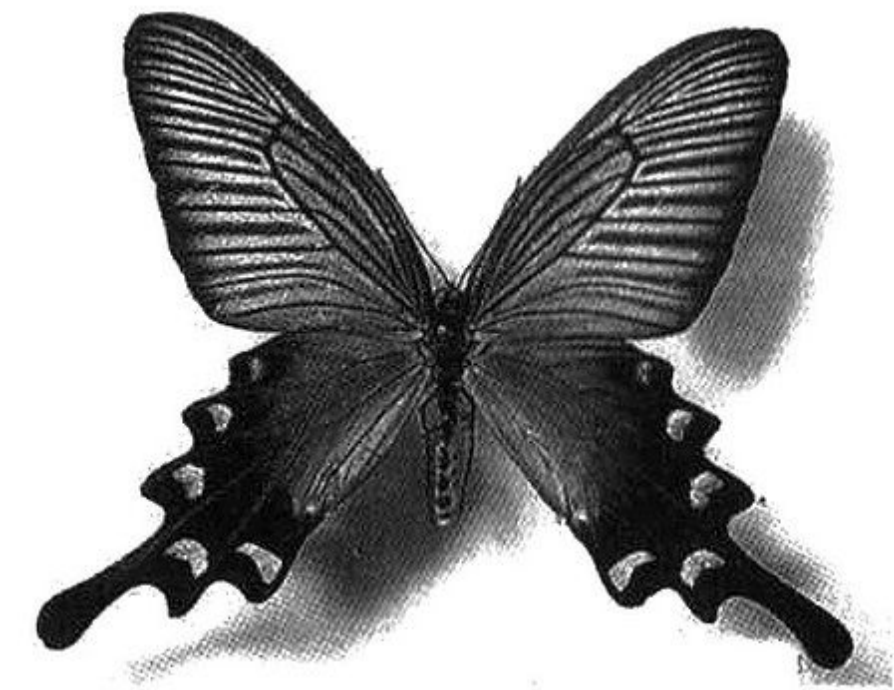
Именно как мистическое откровение и написан роман «Господин Гексоген». На похоронах генерала КГБ Авдеева, более известного как Суахили, отставной генерал Белосельцев узнает, что его бывшие коллеги — генералы Гречишников, Буравков и Копейко, работающие на враждующих олигархов Зарецкого и Астроса, — члены законспирированного Русского Ордена КГБ. Цель братства — реконструкция Красной империи, очистка России от инородного элемента и передача власти своему человеку — Избраннику (Путину). С радостью согласившись участвовать в их комплоте, Белосельцев выполняет деликатные поручения своих товарищей: подставляет Прокурора (сойдясь с ним на любви к бабочкам), Премьера-Степашина (составив ему неверную служебную записку о миролюбивости ваххабитов), устраняет олигархов Астроса и Зарецкого. С целью добычи информации ему приходится посещать самые разные места — чеченский банк, будуар Дочери Президента, церемонию вручении

телепремии «Созвездие России», дагестанские села. Чувствительный и неагрессивный по сути человек, он крайне страдает от того, что ради своего Избранника участники проекта «Суахили» начнут войну, уничтожат два цветущих села и взорвут дома в Москве. Немалая часть романа посвящена тихим истерикам главного героя. В конце концов, когда Белосельцев понимает, что дома взорваны из-за него, он больше не в силах выносить это и выходит из игры, поздно. Мир устроен так, что самые невинные наши поступки вызывают непредсказуемо катастрофические последствия; в силу вступает то, что называется «эффект бабочки».

ВТОРАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ

Прохановские романы так густо населены бабочками, что внимательный читатель и сам становится обладателем фантомной коллекции: африканская нимфалида, пакистанский парусник, кампучийский сатир, папильонида с атлантического побережья Никарагуа; каждая бабочка соответствует одному роману.



Нимфалида.

Существует душещипательная история о том, что однажды где-то на Енисее, охотясь на уток, Проханов случайно подстрелил журавля и, не в силах пережить это убийство, дал себе слово никогда больше не стрелять птиц, после чего охотился исключительно на бабочек. На самом деле увлечение бабочками началось гораздо раньше — еще в школе, не выезжая дальше Подмосковья, он собрал коллекцию капустниц, крапивниц и белянок — «тривиальную», которую затем подарил некой девушке. Та же участь постигла и вторую коллекцию.

Серьезным энтомологом, компетентно разбирающимся в анатомии и особенностях поведения махаонов и голубянок, Проханов стал после знакомства с Пчельниковым, который сам ловил бабочек и в Азии, и в Африке. Александр Андреевич подчеркивает, что тот был не просто дилетантом с сачком, но приобретал особенно ценные экземпляры «чуть ли не на вершинах деревьев, разрабатывая для этого специальные технологии установки ловушек». Он привозил их домой в коробках, чтобы затем встраивать в свои «конструктивистские, а-ля Корбюзье, макеты строений» и «машины», описанные в романе «Надпись». Во время путешествия по Оби они вместе охотились на бабочек тамошних пойм.

Охоты на бабочек продолжаются и в 80-е, во всех экзотических путешествиях — от Эфиопии до Никарагуа. «Это ведь очень идиотская ситуация: я, достаточно респектабельный советский журналист, появление которого, скажем, на Рио-Коко, в районе боев, оговаривается высшим командованием сандинистского фронта, — и вдруг эта персона грата, вместо того чтобы произносить речи, выхватывает сачок и гонится за каким-нибудь насекомым. Те столбенеют — как контрас, так и сандинисты. Нужны страсть и безумие, готовность потерять лицо». Экстравагантное хобби позволяло корреспонденту отклоняться от предписанного маршрута и, по ходу импровизации, наблюдать нечто не вполне предназначенное для глаз путешественника-иностранца. «Ты владеешь сачком, как пингпонгист владеет ракеткой, ты понимаешь законы траектории полета, упреждения, подлетного времени, мистику либо удачи, либо проигрыша. Бывает, бабочка сидит, она доступна, ты подводишь к ней сачок, но уже знаешь, что ты ее не поймаешь. Гонки за бабочками — через джунгли, окопы — эта страсть, которая не сравнима ни с чем. Это погоня за мистическим существом, за ангелом».

«Коллекция, которую мы сейчас наблюдаем — это хроника моих походов, моих военных одиссей. И каждая из бабочек — это

слайд, на котором я вижу то никарагуанцев, сандинистов, то намибийских партизан, которые уходят от бомбардировки юаровских „миражей“. Эта коллекция — и энтомологическая, и военный дневник».

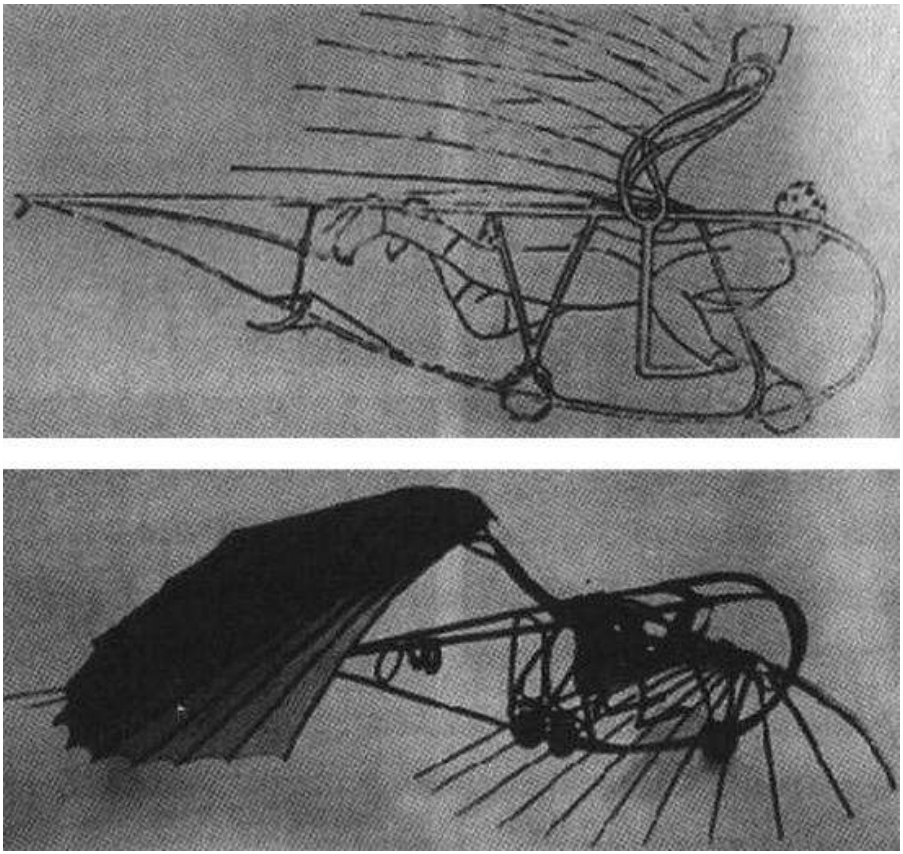
Декларированное увлечение бабочками — это некоторым образом еще и приветственный жест сачком в сторону Набокова, намек на претензию на наследство, знак принадлежности к клубу великих метафористов.

Еще более уместным кажется коллекционирование бабочек для писателя, повествующего о приключениях души. Совсем кстати — для писателя с репутацией последователя Киплинга, певца батальной экзотики, и Юнгера, кшатрия-меланхолика.

«Летатлин»

Пчельников дал своему другу Проханову «другой» взгляд на бабочку; для «футуролога» бабочка была не только натурфилософским объектом, воплощением идеи нерукотворной красоты, но и метафорой одухотворенной техники, божественной инженерии, живой машины, наглядное доказательство возможности творческого союза — а не конфликта — техники и природы.

Пчельников, тонко понимавший пластику природной красоты — и в силу этого сам умевший создавать «пластику строений» — объяснил ему, что татлиновский «Летатлин», похожий на птеродактиля безмоторный крылатый аппарат для полетов человека с помощью собственной мускульной силы, — в действительности воспроизводит контуры бабочки, «которая сама есть летательный аппарат, использующий для движения энергию солнца, сладкий цветочный сок, подъемную силу перепон, сконструированных из жилок хитина».



В. Татлин. Летатлин (1930–1931).

Это не вполне тривиальная точка зрения, принято считать, что «Летатлин» строился на принципе воспроизведения птичьего полета. Однако Татлин — который так и не придумал, каким образом его аппарат сможет взлететь, и на протяжении десятков лет выращивал в коробках бабочек, чтобы наблюдать, как они инстинктивно расправляют крылья, улавливая движение воздуха, — искал для скелета и обтяжки своей планерной конструкции именно «невесомые», эластичные материалы — в отличие от тех, что использовались в моторной авиации; таким образом, одно из главных произведений русского авангарда — скорее бабочка, чем птица.

Изначально Проханов был человек скорее «птичий», и в МАИ его учили строить «стальные птицы», самолеты — но Пчельников привил ему вкус к бабочке как к эталону летающей конструкции; и бабочка, в отличие от птицы, символизировала именно одухотворенную, гуманизированную технику; бабочка скорее воплощенная идея полета, чем действительно «летающая машина». (Кстати, к птицам, возможно, у него осталось

инстинктивное недоверие — и вряд ли случайно в «Гексогене» все злокозненные члены клана Суахили будут настойчиво ассоциироваться с разного рода птицами: витютень, сова, пеликан, скворец.)

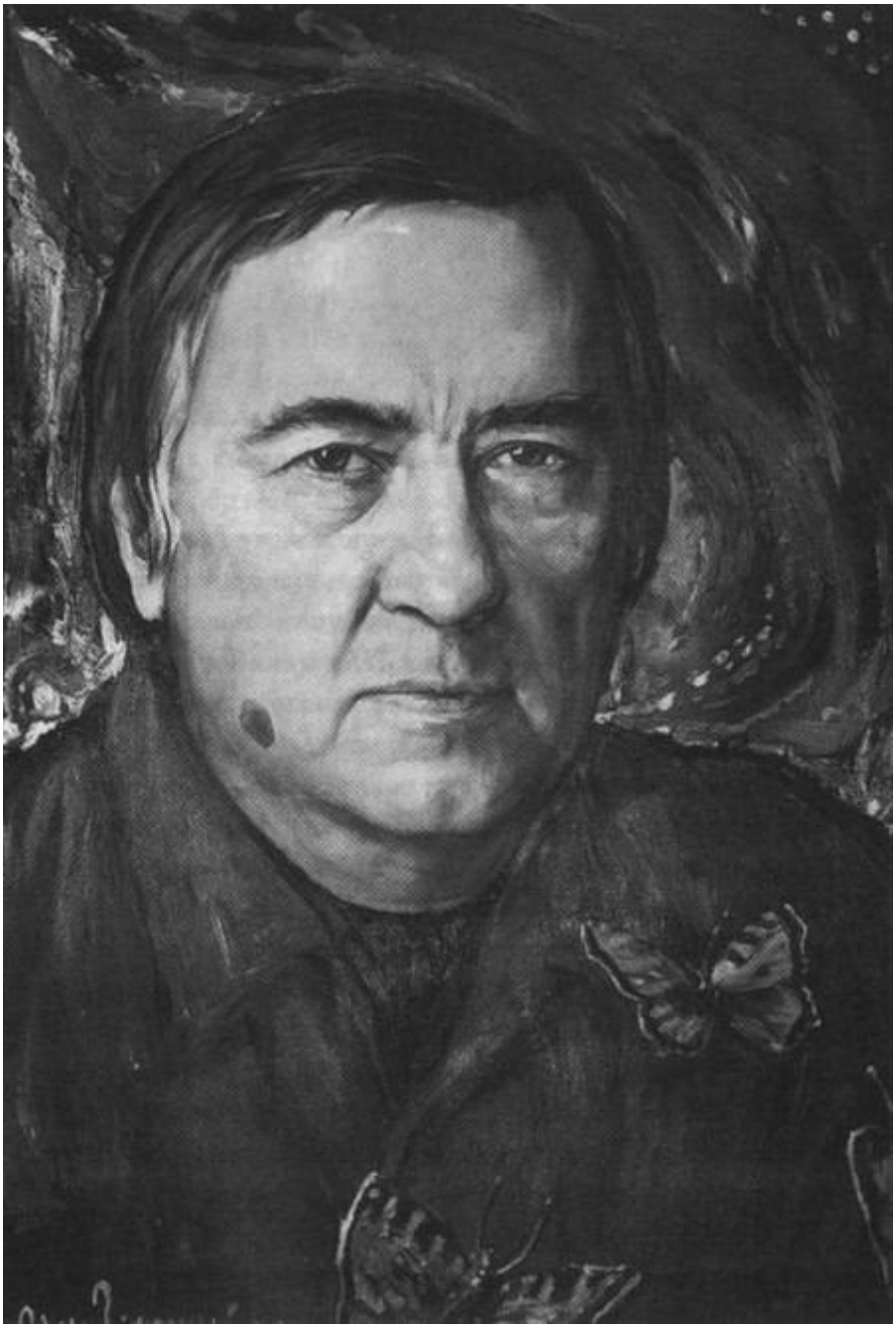
Таким образом, прохановское увлечение бабочками — это не только кивок в сторону Набокова, но еще и очередная нить, связывающая его именно с авангардной традицией. Однако как «Летатлин» никогда не летал и остался романтическим проектом, так и прохановские «авангардные» бабочки никогда не порхали; мало кто всерьез воспринимает этого писателя как подлинного наследника авангарда. Для нас, однако, важно обозначить вектор жизни: направлен он был не на внедрение в советскую номенклатуру, а — на приобщение к энергии 20-х годов, точнее, через 20-е — устремлен в будущее, в утопическое завтра.

Крапивница (фрагмент картины И. Глазунова).

Однажды, еще даже до «Гексагена», художник Илья Глазунов, один из основателей движения «Родина», ставшего затем базой для пресловутой «Памяти», и читатель «Завтра», подарил Проханову «роскошный сафьяновый фолиант» со своими картинами; внимание писателя привлекли не поздние «мистерии», а первые, ученические опыты Глазунова: «этюды русской природы, какие-то опушки, куски снега талого, деревца, мне это так напоминало мое Бужарово, состояние природы русской такой сиротливой и восхитительной, что я даже расплакался… очень тронуло меня». Возникший прилив симпатии к художнику позволил ему напечатать в «Завтра» большую беседу с В. Бондаренко «Империя Глазунова», где было сказано о том, как он понимает его жизнь, судьбу, мировоззрение,

служение; что Глазунов — трагическая фигура, страшно одинокий со своим мировоззрением, что он абсолютно не понят. Сразу после публикации раздался звонок: «он в Швейцарии был в это время и со слезами на глазах благодарил меня за эту работу, за проникновение в его суть, генезис…

Он меня тронул, и мы сидели, и рыдали оба, часа два, по мобильному телефону, он в Берне, а я здесь, в Москве». После этого Глазунов, «человек абсолютно добрый, открытый, истыканный, как святой Себастьян, стрелами», предложил Проханову написать его портрет; тот с благодарностью согласился и несколько раз приезжал позировать в усадьбу — «на задах мэрии, которую мы штурмовали тогда». Затем портрет — который кто-то мог бы охарактеризвать как «китчевый» — был преподнесен Александру Андреевичу в дар.



Илья Глазунов. Портрет А. Проханова.

Неудивительно, что мы застаем этих двоих в одной комнате; в конце концов, Проханов, — заметил однажды П. Алешковский, — «это Глазунов от литературы». Удивительно другое: вместо орденов на прохановской груди — бабочки. Как вышло, что

Глазунов посадил на него насекомых? «Он не знал о моей коллекции, он спросил: „Как ты хочешь, чтобы я тебя изобразил?“ Я ему говорю: „Что я буду тебе диктовать? Конечно, хорошо бы ты меня изобразил в рыцарских доспехах, на коне, или в каком-нибудь бархатном берете, как юноши у Леонардо…“. Словом, я пытался высказать свой антураж. Еще сказал, что люблю бабочек и мой тотемный зверь — бабочка. — „А какая бабочка?“ — „А вот такая — крапивница“. — „Я тоже знаю этих крапивниц, самые красивые русские бабочки, которые вылетают, как только сойдет снег, садятся на заборы, на тесы. Я тоже их люблю“. И вот решил нарисовать меня всего в бабочках.

За моей головой космогонию создал, какие-то галактики, романтика… Я подумал, что Серафима Саровского обычно рисовали с медведем, который приходил к нему из леса, а меня нарисовал с бабочками, которые прилетают, садятся, не боятся. Как на забор».

Бабочка может обозначать у Проханова ангела, душу, таинство метаморфозы (яйцо — гусеница — куколка — имаго); она может функционировать в качестве иконы, карты, шифрограммы, лазерного диска, где заархивированы воспоминания о некоей картине; он не устает изобретать метафоры. Бабочка — это метафора метафоры, знак (или даже символ) метафоры. И поскольку метафора есть способ преодолеть расстояние между двумя объектами и развить значение, бабочка — воплощение идеи развития и преодоления.

Иногда, говоря о бабочках, слетевшихся на прохановский забор, сталкиваешься с тем, что для них трудно подобрать предикат — «обозначает», «символизирует», скорее «является»: если мы видим бабочку, значит, автор деликатно пытается сообщить нам, что где-то рядом присутствует ангел, летает душа, дышит Дух, и именно в этом смысле следует понимать, к примеру, описание храма Василия Блаженного как «восхитительной клумбы, к которой из мироздания приближается волшебная бабочка» («В островах охотник»).

Панно с бабочками

Отставной генерал Белосельцев частенько заваливается на диван, подкладывает под голову любимую, шитую серебром, пакистанскую подушку и принимается разглядывать своих бабочек. «Постепенно в его воспаленный, измученный мозг начинали просачиваться разноцветные струйки дыма, пьянящие сладкие

капли, дурманящие цветные туманы». Бабочки как «наркотические галлюцинации света»: «эти зори, малиновые и желтые восходы и закаты, жемчужно-лунные тени, бело-красные сполохи вызывали ощущение счастья. Не было времени, не было материального мира, а одни волнистые переливы цветов».

Тексты Проханова свидетельствуют о том, что глаз их автора устроен таким образом, что воспринимает больше оттенков цвета, чем обычный человеческий, вырабатывающий, как правило, иммунитет против ярких цветов. У Проханова исключительная зрительная память, он гурман цвета. «Глаза его, — сказано про одного из героев „Крейсеровой“, — обрели небывалую зоркость. Он смотрел на корабельный огонь, и если прежде различал вокруг лишь розовые и голубые кольца, то теперь видел множество разных оттенков, бессчетное число переливов, от густой, словно ночь, синевы, до алого нежного пламени и золотого лучистого света. Там, где начинался пламенно-красный, он усматривал невидимые для обычных глаз инфракрасные кольца. А там, где огонь был окольцован фиолетовым светом, его зрачки улавливали пленительный ультрафиолет».

Саркофаг.

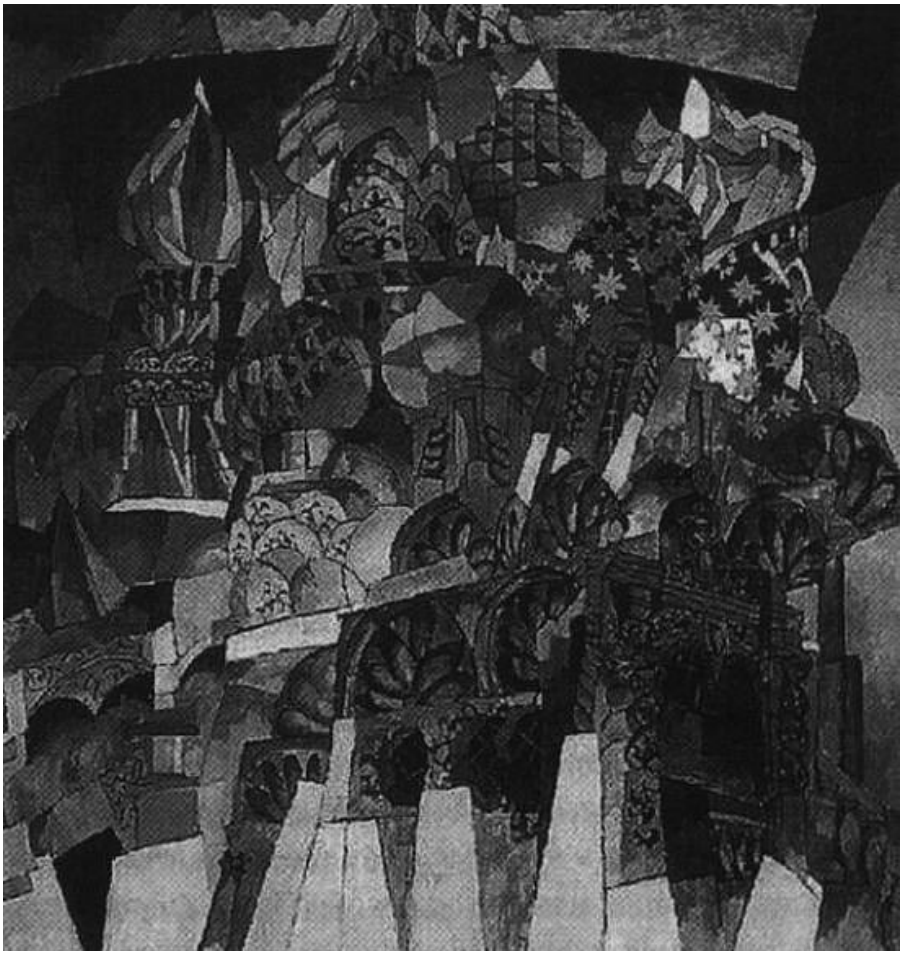
Для читателя эти весьма часто случающиеся в его текстах взрывы визуальности — не самые комфортные фрагменты: длинные, монотонные, избыточные, гиперболичные. Однако эти описания — витражи его романов-соборов, обладающие самостоятельной ценностью.

Источники игры цвета и света действуют на Проханова как психостимуляторы: в его мозге активизируется помпа, которая начинает гнать в текст поток красок, эпитетов, образов, метафор. Можно даже составить приблизительный список предметов и явлений, на которых он перестает себя контролировать и непременно «зависает»: икона, бабочка, морская волна, осеннее дерево, храм Василия Блаженного. Последний источник особенно любопытен — хотя бы потому, что почти в каждом его романе — наверняка всем памятен по крайней мере

«Господин Гексоген», где гнездо тайного Ордена не случайно располагалось ровно напротив собора — на описание этого храма и последующего галлюциноза зарезервировано несколько страниц. «Ему казалось, храм был не храм. А упали с неба два огромных цветных петуха…». «Не было храма. Вращалась в центре Москвы расписная дикая карусель, скрипя размалеванными оглоблями, звеня цепями, сшибая со звоном люльки…»

«Храм принимал обличья. Созданный на крови и слезах, на победах, молебнах и казнях, сотворенный из снов и другой, несуществующей жизни, столико пламенел и светился, возникал в превращеньях. Не было шатров, колоколен, а кипела и лязгала сеча». «Не храм, а семья азиатов. Расставили круглый шатер. Важно, ярко ходят по кругу пиалы…» «Шатры и главы собора как острые клинья ракет. Нацелены в черное небо» («Вечный город»). «Такое же впечатление производил Храм Василия Блаженного, казавшийся фантастической актинией моря. Колебался от подводных течений, поминутно менял цвет, выпускал и сжимал радужные щупальца и лепестки» («Надпись»).

Храм Василия Блаженного — прохановский Руанский собор, фасад которого, как известно, Моне писал двенадцать раз, каждый раз заставая его в новом освещении, пытаясь передать впечатление от него. И если импрессионизм Моне связан с представлением о несовершенстве глаза, то импрессионизм Проханова, тоже живописца цвета и света, — с его уверенностью в неиссякаемости источника энергии, заключенного в строении. Оно настолько совершенно в своем цветовом разнообразии, инаковости и символичности, что в состоянии бесконечно питать художника, снабжать его метафорами; храм — мощная метафорическая машина, генератор творческой энергии, фабрика галлюцинаций, источник сюрреалистических образов, изменяющий мир, сознание наблюдателя — и видоизменяющийся сам.



А. Лентулов. Василий Блаженный (1913).

— У вас любимые предметы описания — бабочка, икона, радуга, стоцветный кристалл. В ваших текстах очень часто воспроизводятся цветовые буйства. В вашем словаре прилагательные соответствующей семантической группы составляют очень мощный пласт. Охотнее, чем «красный», вы скажете что-нибудь вроде «пунцово-рдяный». Что такое у вас с цветом?

— Это интересный момент. Кто-то мне говорил, что человечество по мере своего развития научалось различать все большее и большее количество цветов. Вот, скажем у Гомера, говорят, в «Одиссее» вообще нет синего цвета.

Там бесконечные оттенки зеленого, черного, пурпурного, там вообще все цвета, только нет синего моря. Хотя когда я был на Средиземном море и плавал на флагманских кораблях, был такой эпизод: командир этой эскадры раз в день приглашал меня на свой

флагманский катер, белый, с начищенными медными поручнями, приборами, и на большой скорости мы выходили в открытое море, там плюхались за борт и купались. Как сейчас помню, я в центре Средиземного моря плыву под водой, с моих волос пузыри серебряные, мои раскоряченные пальцы и эти лопасти света, проникающие в толщу моря. Море синее, но такая лазурь, такая сила синего, что там был и зеленый, я больше никогда не встречал такого, только в Средиземном море. Сила вот этой лазури, голубого, синего цвета, она как голубец, которым Рублев писал свою Троицу. А Гомер этого не замечал, хотя он, может, был слепой, поэтому… но говорят, что древние не видели синий цвет.

Свет и цвет — внешние проявления Бога и, следовательно, идеи любви. Неудивительно, признается Проханов, «я стал видеть цвет, когда первый раз влюбился. Я отчетливо помню момент, когда девушка, которую я полюбил, внезапно… странная вещь: она стоит передо мной не любимая, а потом как будто бы совершается какое-то преображение, она попадает в странную волну нежности, света и чего-то еще, и она вся преображается, она становится любимой. Не то что желание ею обладать. Она становится настолько драгоценной, настолько желанной, милой и очаровательной, что неизвестно, она ли преобразилась или ты преобразился. Вот в этом преображении, когда я ее вдруг полюбил в одну секунду, для меня возникло бесконечное количество оттенков цвета. Трава стала другого цвета, вода, небо, камни, цветы, они все загорелись. И это было связано с прозрением, по существу, как будто я был слепой, у меня были зашиты глаза, а тут произошел какой-то толчок, когда мои зрачки, моя сетчатка, дно моих глазных яблок стали различать эти бесконечные цвета. И тогда, кстати, я стал рисовать лубки. Цвет для меня стал откровением, он был избыточным. Я понимал, что, конечно, цвета имеют свой мистический эквивалент, и лазурь, например, — это цвет ангела, небесный цвет, цвет Бога».

Рабочий кабинет Проханова в Афанасове — камера, украшенная киотами и контейнерами с чешуекрылыми — напоминает ортодоксальный храм и языческое капище одновременно. Источники света и светоотражатели — окна, золото окладов и мерцание пыльцы в золотистых рамках — перемешивают фотоны так причудливо, что непонятно, где заканчивается иконостас и где начинается коллекция. «Охотничьи комнаты, — замечает в своих дневниках Эрнст Юнгер, — это волшебные хранилища, где вместе с черепами, костями, шкурами животных хранятся жизненные силы, носителями которых были эти звери. Они помогают охотнику присваивать эти силы, причем

такие действия, как, например, поедание дичи, и в особенности сердца, укрепляют его физически. Настоящий охотник всегда держит при себе части убитых животных, он любит одеваться в шкуры и кожу своей добычи. Охотники принадлежат к одному из древних типов, у которых богато представлены архаические черты. К ним относится страсть к добыванию трофеев ради повышения своей магической силы».

Мертвая голова

В прохановской коллекции есть несколько русских бабочек, на чьих спинах отчетливо виден рисунок в виде черепа. Это так называемая «мертвая голова» — крупное ночное насекомое, в чьем дизайне сама природа зафиксировала связь бабочек и идеи смерти. Проханов иногда сетует на то, что русский фольклор и народные промыслы почему-то игнорируют бабочек; бабочек нет в орнаментах, в лубках, дети не играют игрушечными бабочками.

О причине этого таинственного табу можно судить по ворчанию прохановского друга, писателя — и адекватного носителя фольклорного сознания — В. Личутина, который «никогда не понимал этих его, которых он себе на стены развешивает». Коллекции? «Это же такие мертвые стеклянные саркофаги, сотни мертвых Лениных в гробу — а он восхищается этим. А жуки? Дьявольские, адские, подземные создания, из-под земли к нам вылезают, гнус, мертвечина!»

Бабочка «мертвая голова».

У нас уже был случай поговорить о «некрофилии» Проханова; но, разумеется, тема «Проханов и смерть» на этом не

исчерпывается. Не вполне даже фигурально выражаясь, черепа интересуют нашего героя не меньше, чем яйца; более того, по-видимому, два этих предмета до известной степени являются вариантами одного и того же; яйцо — выражаясь в стилистике романа «Надпись» — символизирует идею «Бог есть», череп — «ты умрешь»; череп — это как бы яйцо наоборот; Человек с Яйцом — одновременно и Человек с Черепом. Часто буквально; тема черепа возникает в прохановских сочинениях — да и в прохановской биографии, если уж на то пошло — с интригующим постоянством. Мы уже слышали, как наш герой признается в том, что играл в футбол черепом Федорова и затем долгое время использовал в качестве настольного сувенира череп, выкопанный им из псковского могильника; мы уже видели расколовший лагерь патриотов череп Ленина на обложке «Гексагена»; а еще мы помним, как Белосельцев, делая вид, что рассматривает череп — один из целой горы черепов уничтоженных Пол Потом крестьян в Кампучии — глядит через границу на вьетнамские коммуникации; помним сцену в «Иду в путь мой», где череп коня в стерне вдруг проржал нечто весьма существенное, помним «Трактат о хлебе», где работающие в поле комбайнеры обнаруживают в стерне простреленный конский череп, из которого, словно цветок из цветочницы, вырастает мир, видение: «Степь гонит в меня гул далекой атаки. Кони катятся, как медные литые шары», после чего мы даже собственными ушами слышим диалог зубоскалящих конников времен Гражданской войны. Помним, наконец, сцену с верблюжьим черепом в «Рисунках баталиста».

Она настолько длинная и настолько вопиюще лишена какой-либо драматичности, настолько не соответствует минимальным требованиям тесноты и экономности художественного текста, что уже поэтому было бы неправильно не процитировать ее целиком.

«Впереди на земле что-то забелело, похожее на округлый седой валун. Приблизился: голый верблюжий череп темнел глазницами, белел плотно вставленными эмалевыми зубами. Спокойный, незыблемый, был под стать этой жаркой сухой степи. В нем была незыблемость мира, нерасчлененность живого и мертвого, подвижного и застывшего. Он был создан из той степи, из окрестных гор, из их известняков и глины. Был как камень, скатившийся с дальних отрогов. Не изменял своим падением степь. Был вместилищем звериной жизни, перемещался по горным ущельям, по окрестным дорогам и тропам, пока снова не стал камнем. Здесь, на пепельной серой равнине, он казался необходимым.

Веретенов осторожно, двумя руками, поднял череп. Костяной свод спасал от солнца малый лоскут земли, на котором сновали муравьи. Жар тотчас же опалил насекомых, и они, обожженные, кинулись спасаться под землю.

Он держал череп, тяжелый, теплый, любуясь его совершенством. Медленно приблизил глаза к пустым верблюжьим глазницам. Сквозь глазницу в череп вливался свет. Гулял в завитках и извилинах, разлагался на тонкие, едва уловимые спектры. Внутренность черепа была разноцветной, как раковина.

Веретенов держал на весу тяжелую кость. Смотрел сквозь нее, словно в прибор, наводил на туманные горы, на бледное небо с одинокой трепещущей птицей, на далекий город. И череп приближал, укрупнял даль, будто в него были вставлены линзы. На горах различались откосы, нависшие камни, протоптанные козами тропы. У птицы в небе были видны рыжеватые перья, прижатые к брюху лапы — два когтистых комка, — крючковатый нацеленный клюв. А город вдруг открыл свои минареты, лазурь куполов, бесчисленные глинобитные стены.

Анатомия бабочки.

Веретенов прижался к черепу ухом, к тому месту, где в кость

уходила скважина, исчезнувшее верблюжье ухо. И череп загудел, как мембрана. Гулкий резонатор вошел в сочетание с чуть слышными гулами мира. С шумом поднебесного ветра. С легким скоком степной лисицы. С заунывной бессловесной песней, льющейся из чей-то груди. Он слушал звучание мира, наделенный чутким звериным ухом.

Голова у него слегка кружилась. Ему казалось, он теряет свои очертания, свои имя и сущность. Становится зверем, камнем, тропой, заунывной песней, азиатским туманным городом. Он растворялся, лишался своей отдельной, исполненной мук и сомнений личности. Становился всем. Больше не надо было собирать по крохам распыленное в мире знание, отбирать его у явлений и лиц, переносить в свою душу. Он был всем, и знание было в нем. Было им самим. Его жизнь, растворенная в жизни мира, и была этим знанием и истиной.

Он стоял, прижимая череп к груди, чувствуя тихие, перетекавшие в него силы».

По идее, смысл этого неизбежно вызывающего нарколепсию отрывка можно передать одним предложением: Веретенов поднял с земли верблюжий череп, посмотрел сквозь него и принялся медитировать. Является ли присутствие этого фрагмента в окончательном тексте романа редакторской ошибкой — или редактор интуитивно догадался, что именно в таких-то сырых кусках и обнажается «прохановская порода»? «Прохановская» здесь вовсе не синоним «графоманская». Любопытно вот что. Манипулируя предметом, герой видит не знак (череп — символ смерти) и даже не метонимию (череп — часть верблюжьего скелета), не часть, по которой можно восстановить целое. То есть, да, это метонимия, но специфическая «прохановская метонимия»: по части восстанавливается вовсе не то целое, которое можно было ожидать, не верблюд, а весь мир целиком — и не только предметный, но мир, в котором существуют этические и нравственные категории, мир, в котором он, герой, занимает некое место — и растворяется в нем.

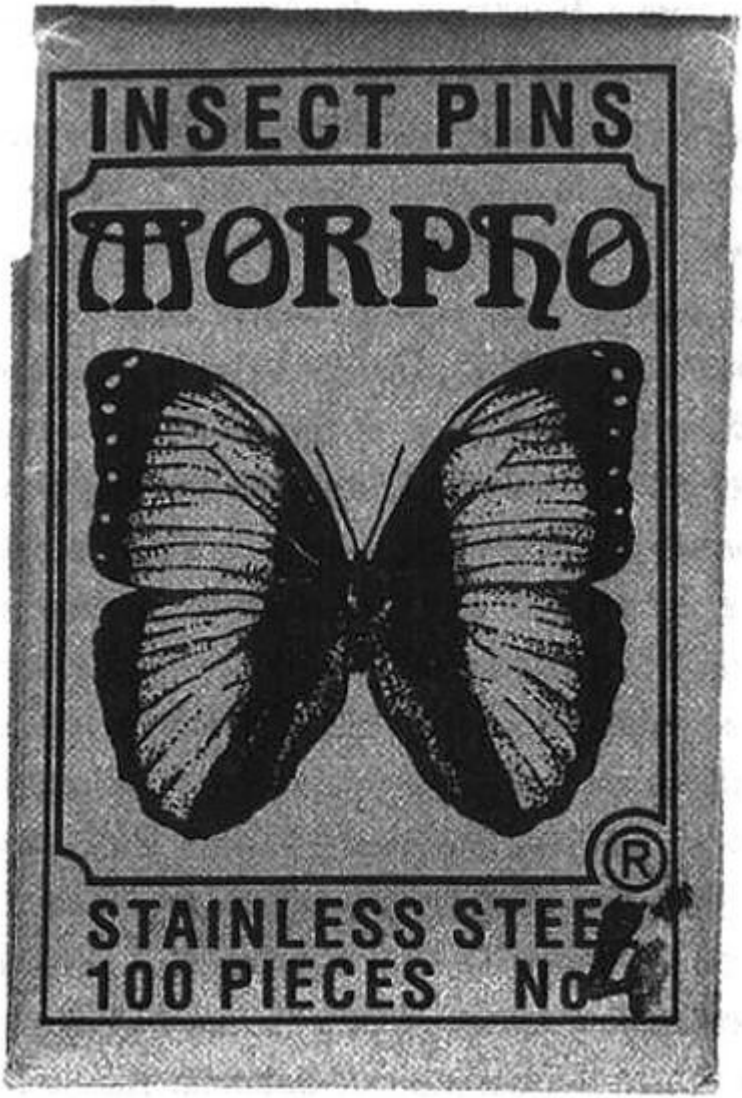
Художник, в отличие от обывателя, видит другие связи между предметами и идеями, которые они воплощают. Для кого-то полуистлевший череп Ленина — знак сгнившего СССР, но для Проханова это трюизм, тупиковая интеллектуальная цепочка; у Проханова череп Ленина отсылает к идее Ленина, и вот этот Ленин — уверяет Проханов — не в Мавзолее, а в Саяно-Шушенской ГЭС, он растворен в энергии турбин, он и есть эта энергия.

Гигантский пассаж про верблюжий череп также любопытен именно тем, что по нему видно, насколько нестандартен

интеллект Проханова. Череп — безусловно, символ смерти, но в качестве магического прибора, бинокля он показывает не смерть, а приближает к себе то, что обычно находится за границей тела, сливает наблюдателя с пейзажем. Смерть в прохановском мире — это не окончательное уничтожение, а растворение в мире; умерший череп прорастает травой, на траву откладывает яйца бабочка, на спине у бабочки изображен череп; как видите, это мир, вся машинерия которого — турбины воскрешения, турбины растворения — работает на то, чтобы выразить присутствие в нем Художника через максимальное количество предметов и явлений.

С возрастом главным инструментом энтомолога становится скорее пинцет, чем сачок; акцент, во всяком случае, несколько смещается. Как и охота, это целый ритуал — умерщвление в банке с эфиром, затем законопачивание в жестяные коробки… «Бабочку умертвляют очень тонким, нежным эротическим нажатием на ее хитиновую оболочку в районе груди. Там, где у женщин соски, там у бабочки очень хрупкий тонкий хитин. Это сжатие — сквозь кисею, сквозь этот воздушный прозрачный бюстгальтер — парализует бабочку». Затем, на другом континенте — «контейнер прибывает в Москву — там ночь, снега, зима, и ты извлекаешь этот кусочек Африки, Латинской Америки, марсианского ландшафта» — вскрытие, работа пинцетом, распаривание и распятие на распялках, затем волнующий, должно быть, момент, когда энтомолог втыкает проволоку в проем крыльев. Тоже, разумеется, ритуал, предоставляющий метафористу с фантазией неплохой спектр возможностей. С преображением из охотника в кабинетного садиста, нельзя исключать, связано его увлечение новым типом романного строения — конспирологическим; его интересует плетение паутин, сложные обмены, многоходовые подстановки и провокации — вместо простой, как война, охоты.

Бабочка все чаще становится эвфемизмом для обозначения ветреной/соблазнительной женщины; вульгарные герои не брезгуют охотиться на «ночных бабочек». В «Гексагене» Белосельцев и Прокуров разглядывают женщин на приеме, называя их именами бабочек: «— Вы сказали, что она похожа на африканскую нимфалиду? — Прокурор нашел в толпе эстрадную звезду, облаченную в тесные панталоны. — Хотел бы я поместить этот экземлпяр в мою коллекцию, предварительно высвободив ее из этих пестрых тряпочек и осмотрев ее тельце!».



Иглы патриотов.

— Так вы считаете, что это путинское окружение взорвало дома?

— Не знаю; конспирология романа выдавила из меня самого реальные ощущения события, стала для меня более реальной, чем фактология. Я же не занимался фактологией, я сам создавал эту текстовую реальность, и как сказано в этом романе, так оно и есть. По логике вещей Дагестан и взрыв домов укладывался в схему смены власти в России. Я об этом рассказал в романе.

— Да в романе-то понятно. А в жизни?

— Так в жизни и было. Березовский спросил у меня: «Кто, по-вашему, взорвал эти дома?». Я ему сказал: «Вы. Мне кажется, что это вы взорвали». А он: «Нет, был другой штаб». «Если вы, Березовский, были руководителем штаба по приводу Путина к власти и этот штаб осуществлял такие крупномасштабные пиар-операции, то этот штаб должен был взорвать дома». Он сказал, что был второй штаб всего этого. Действительно, не более того. А то, что там все либералы, новодворские, «рязанский след», Патрушев — это все такая каббалистика. Потом все говорят: чеченцы, чеченские террористы, лондонские эмиссары, русские спецслужбы — это все уже одна каша. Они все так тесно друг с другом общаются, что палач давно стал жертвой, и жертва мучит этого палача на допросах. Натурщица стала художником — и сама рисует художника. Мой редактор Котомин давно пишет мои романы, а я их сокращаю.

В авторской версии «Господин Гексоген» — роман очень насыщенный, марафонский, требующий от читателя особого дыхания, особых усилий по преодолению этих бумажных пространств. На него могут уйти месяцы: это нескончаемая анфилада заговоров, тайных комнат, интриг, обмороков. Здесь очень длинные отступления: если Белосельцев погружается в ванну, то непременно последует двухстраничное отступление о роли воды во вселенной, с упоминанием Плотина и Виндельбанда; новая эпоха вступает в свои права медленно, и не дело знающего торопить ее наступление.

— А кстати: чем кончался «Господин Гекоген» в «докотоминском» варианте?

— В газетном варианте не было куска, где Путин превращается в радугу. Он родился у меня потом, я просто написал небольшой кусок. А финал там был совсем другим: после того, как взорвался этот самолет, после того как была проделана вся эта ужасная работа, и он, герой, эту схему осознал, понял, в какой степени его использовали, он, Белосельцев, оказался на берегу реки Истры под стенами этого монастыря в ночь перед водосвятием. И вот он идет по этому ночному городку заснеженному, доходит до берега этой черной, незамерзшей реки, с черными ветлами в белых ночных берегах, где метет метель, видит, как сквозь эту метель на эти белые берега идут богомольцы, мужчины и женщины, раздеваются, и вереницей, такие ангелы и ангелицы, входят в черную воду. Горят свечи… И он, Белосельцев, тоже раздевается, идет босой по снегу, без одежды, без имени, без прошлого и без будущего, вступает в эту холодную воду, в эту Лету, реку темную, и движется по ней, вдоль этих берегов в сторону от всех поющих, от всех плачущих, от всех

рыдающих в эту ночную, русскую, белую равнину, в метель по этой черной безымянной воде. Вот так заканчивается «Господин Гексоген»[11].

Мало кто взялся бы предположить, что роману суждено большое будущее. Начать с того, что «Господин Гексоген» стал первым романом, который наотрез отказалась печатать даже оппозиционная пресса. Главный редактор «Нашего современника» Станислав Куняев заявил Проханову, что романы сейчас не читают, и «Господин Гексоген» закупорит журнал. Это был сильный удар по писателю с репутацией графомана: во-первых, отрезана важная артерия, хоть как-то соединяющая его с читателем, во-вторых, это был классический случай предательства своих.

Что тоже было воспринято им как очередное доказательство ухода из оппозиции «огненной силы», которую он чувствовал в себе, но не в этих стариках. А что такое с ними произошло? «Современник» — журнал, во многом держащийся на советско-русско-патриотических энергиях. Постепенно происходила эрозия советского — исчезали советские авторы, исчезал советский опыт, изнурительно повторялись советские воспоминания. И он все больше и больше становился клерикальным, «впадал в богомольство», как и журнал «Москва», где при Крупине стали молиться на каждой странице, как в крутовском «Русском доме», как в ганичевском «XX веке»: обязательно какой-нибудь преподобный вначале, или фотография храма, или проповедь — «Батюшка, благословите поставить точку в конце предложения» или «Батюшка, вот я, помолившись и попостившись, решил написать рассказ такой-то» — «спешное, смешное и неглубокое воцерковление, лишенное мистических основ». «Куняев, старый волчара, который участвовал в гонах, перестал рвать живых оленей и ел теперь только то, что ему приносили более молодые волки в его логово».

Ревизия отношений Проханова с коммунистическими идеологемами — то, что сам он называет «разочарование в красной кумирне, скептицизм, а потом, может быть, и нигилизм» — важная тема «Господина Гексогена» и одна из тех, что позволили ему выстрелить. Однажды Белосельцев заглядывает в Мавзолей и Институт при нем, где с телом Ленина работает Доктор мертвых. В его уста вложен монолог о Воскрешении, Красном смысле и футурологическом проекте Советов; ирония в том, что одновременно вдохновенный вития реставрирует сгнивший труп Ленина. Белосельцев уходит оттуда, чувствуя, что там больше нет силы.

Это видно уже по передовицам 2000 года — Проханов

отдаляется от тех канонических ценностей, которые исповедовал прежде в литературе. После разговоров, встреч, прозрений он явно более скептически относится ко всей оппозиционной риторике: «кумирня, которую мы создавали, показалась мне обветшавшей. Постсоветский красно-белый героический пантеон и связанные с ним мифы» — о ГКЧП, 93-м годе, которые он сам и создавал — «вдруг износились». Внутри этих «патриотических религий, любимых псалмов» стали видны многочисленные дефекты. «Я почувствовал, что создавал этих богов из хлебного теста, покрывая их красками, они были непрочными и готовы были рассыпаться». Он уже не скрывает своей неприязни к ГКЧП, поняв, что то был предательский проект не спасения, но погубления страны. Разочаровывается в Крючкове, с которым дружил, в КГБ. Именно поэтому все спецслужбисты в романе — Гречишников, Буравков, Копейко — оказываются мерзавцами.

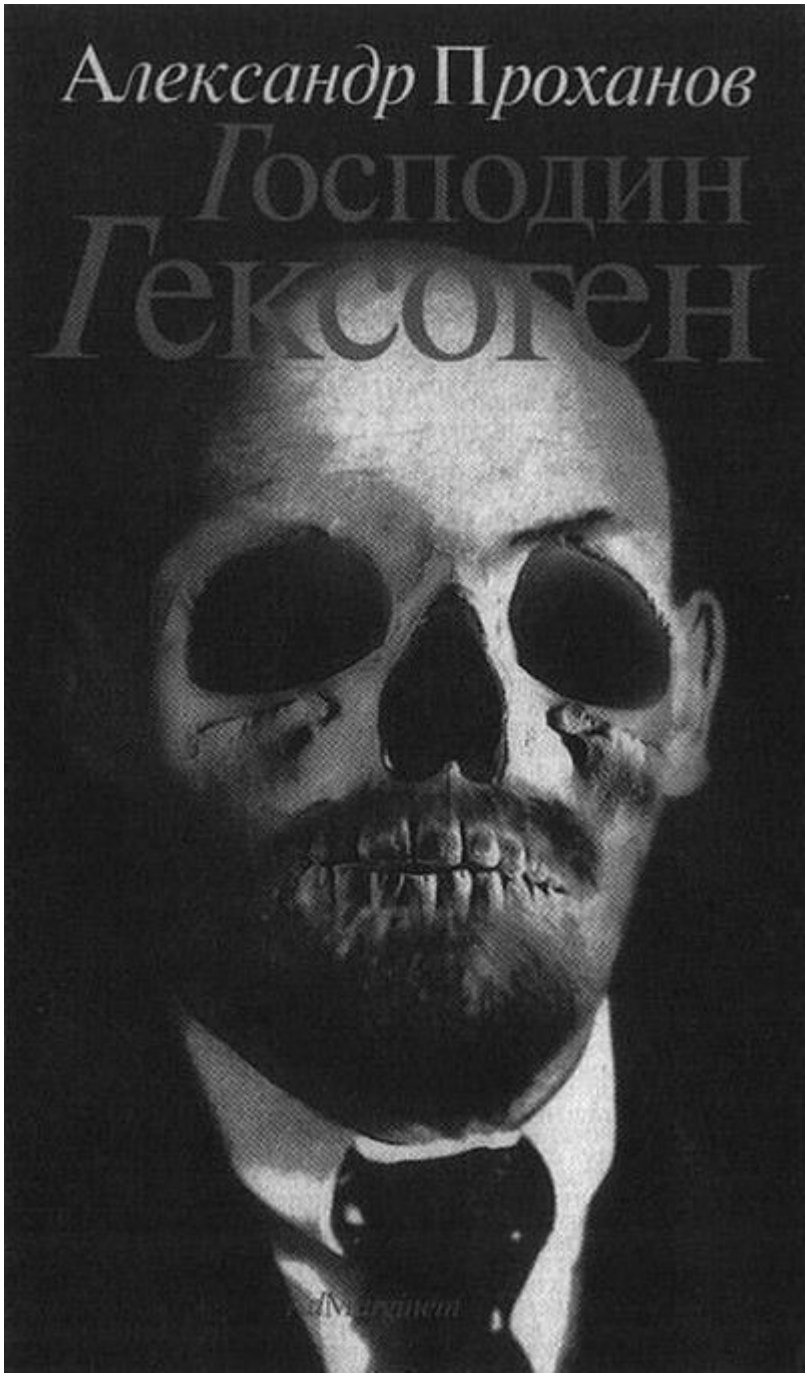
Завязнув во всех этих распрях, Проханов сталкивается с тем, что ему надо очень серьезно думать об издателе, особенно при том, что роман был на злобу дня, и долго мариновать его, пока за него не соизволит взяться какое-то патриотическое учреждение, ему не хотелось. Так ему приходит в голову опубликовать роман в собственной газете, сэкономив на редакторах, типографии, оформлении, в виде ОЧЕНЬ большой газеты. «Я хотел сделать какой-то дополнительный бизнес для газеты».

Едва ли он заработал на нем хотя бы пять центов, но факт, что номер этот теперь не достать даже в редакции «Завтра».

Эта «газета» стала притчей во языцех. Никто ее всерьез не читал, но то ли звучное название впечаталось, то ли кто-то все же проглядел текст и распространял о нем самые невероятные слухи, но что-то такое, помню, носилось в воздухе. На Франкфуртской книжной ярмарке этот номер «Завтра» благодаря И. Зотову попадает в руки к А. Иванову и М. Котомину — издателям Ad Marginem. Про нее написал НГ-ExLibris. И. Зотов назвал прохановскую прозу «сермяжным барокко», отклик был более чем сдержанным, но рецензенту, по крайней мере, не приходило в голову предварять закавыченные куски словами «несмотря на отвращение, привожу цитату» — как это делали его коллеги по НГ всего несколько лет назад. Затем промелькнуло нечто еще менее внятное, но более положительное. Кончилось тем, что с Прохановым повели знакомиться А. Иванова, который, по мнению автора «Господина Гексогена», шел на встречу с ожиданием увидеть там «миловидную, но ненавидящую Еву Браун, которая будет подавать им, не знаю, мацу». Иванов, вспоминая крайне благоприятное впечатление, произведенное на него «красным Савонаролой», отмечает среди прочего странный момент, когда

автор, в порядке предположения, заметил, что, в принципе, может прямо сейчас убить своих потенциальных издателей.

Альянс Проханова с Ad Marginem вызвал недоумение; пошли разговоры о «левом демарше модного издательства»; «попытке красного реванша на смычке политически левых с интеллектуальным авангардом». Для издательства, публиковавшего В. Г. Сорокина, Дерриду и переписку Хайдеггера с Ясперсом, это был в самом деле эпатажный поступок, даже при том, что Ad Marginem в тот момент в самом деле были маргиналами. «На фоне Сорокина и Деррида, — разорялся журнал „Афиша“, — Проханов выглядел конголезской, зараженной СПИДом гориллой, которую вдруг втолкнули в клетку с детьми, нарядившимися мартышками». Недоумевала писательница О. Славникова: «Вещь Проханова вне литературы, абсолютно, это сгусток пошлости и безвкусицы… И пусть заткнутся, ну хватит уже! Потому что если это литература, тогда я, извиняюсь, капитан Флинт». Еще более афористично высказался — если, по крайней мере, верить самому Проханову, который приводит эту цитату с оговоркой «будто бы» — Путин: «Увлекательный роман. Вредный роман. Надо сделать все, чтобы подобные романы больше не появлялись».



Обложка А. Бондаренко.

Само издательство в приватных разговорах и публичных интервью озвучивало следующие версии касательно «Господина Гексогена». Это «героиновый Толстой» (Иванов). Это

«накокаиненный Фадеев» (Котомин). Это «Мифогенная любовь каст — 3» (Иванов). Это «неизвестный текст Пелевина» (Котомин). Позже возникала версия, согласно которой они хотели «втиснуть Проханова в рамки жанра», и поэтому «Господин Гексоген» был отредактирован таким образом, чтобы из него получился «настоящий политический триллер»; триллер снабдили выразительной обложкой.

Реакция союзников по лагерю мракобесов не заставила себя ждать. Круг «Нашего современника» резко осудил роман. Особенно возмущало оформление — разлагающийся Ленин (художник Андрей Бондаренко, похоже, уловил момент с «одряхлением красной кумирни»). Знал ли Проханов про то, что роман выйдет в такой обложке? Нет. «Я, дурак, не пошел к Бондаренко смотреть обложку. Мне было не до этого. Но я полностью им доверился, и они убедили меня, что в обложке успех романа. Если бы я увидел, я бы восстал: к чертовой матери, лучше жопу рисуйте». Мне кажется, он преувеличивает. В конце концов, справедливо вопрошает главный редактор «Дуэли» Ю. Мухин, «а что еще должен был изобразить на обложке художник при таком тексте внутри книги?».

Резко отреагировал Зюганов. Роман вызвал раздражение даже в самом ближнем круге. Писатель Анатолий Афанасьев, ближайший прохановский друг, выговорил ему за махровый антисемитизм: «такие вещи писать нельзя». В самом деле, Проханов снял перчатки и влез в табуированные темы голыми руками. «Господин Гексоген» — если не фашистский, то колючий, не смазанный елеем политкорректности текст: евреи здесь, без экивоков, «жиды», электронная империя Астроса растлевает русский народ, питается его соками, дискредитирует его. (Этот всплеск ненависти к евреям, и особенно Гусинскому, связан с «Новой Хазарией» — идеей-фикс газеты «Завтра» 97–98-го годов.) Александр Сегень, редактор последних романов Проханова в «Нашем современнике», автор «Русского урагана», сам, по уверению Александра Андреевича, достаточно эксцентричный и не реалистический писатель, написал статью «Бэстсэллер — это тот, кто хорошо продается». Владимир Бушин, убежденный коммунист, фронтовик и человек с репутацией финальной инстанции вкуса, был разгневан и высказывался о романе в высшей степени скептически (и особенно пожурил Проханова за обложку, подарив ему «Гексоген», где гниющий Ленин был заклеен обычным портретом, с укоризненной надписью. Кроме того, напомнил автору Бушин, у вас там несколько раз написано «сталинист» — а надо говорить «сталинец». Проханов, по свидетельству Бушина, «возмутился»: «Ты бы еще наклеил

трехлетнего с кудряшками!»).

Что он отвечал на это? «Мне показалось, что эти упреки не связаны с эстетикой и глубинной идеологией романа. Эти упреки связаны с попыткой или с желанием дистанцироваться как бы от моего успеха. Возникло некоторое отчуждение».

С этим ревизионизмом сам Проханов связывает и «новую эстетику», так называемые «галлюцинозы».

К «Господину Гексогену» имеет отношение еще один курьезный эпизод. Однажды ясной зимней ночью 2001 года несколько патриотических литераторов, среди которых выделялись Проханов, Ганичев, Распутин, Карпов, коченели на взлетном поле в Ханкале, ожидая транспорта в Грозный. Всех этих далеко не молодых людей занесло в Чечню неслучайно — они приехали, чтобы описать подвиги русской армии, воспользовавшись добрыми отношениями, сложившимися у Проханова с Квашниным и Генштабом. Наконец из тьмы на поле опустилась огромная «корова» — вертолет Ми-26: писатели завороженно смотрели на то, как сквозь секшие небо лопасти с красными габаритными огнями на концах просачивались рубленые зеленые звезды. В этот момент к Проханову подошел Карпов и ни к селу ни к городу сказал: «Саша, я прочитал твою очередную передовицу. А почему бы тебе не написать в этом жанре роман?» — «Что вы имеете в виду, Владимир Васильевич?» — «Ну почему не использовать эти литературные приемы для того, чтобы перенести их в прозаическое повествование?». Проханов пожал плечами. То было довольно странное заявление: Карпов — человек, далекий от него и по возрасту, и по поколенческой группе, и по эстетике, и вообще не то чтобы сердечный друг, уже второй раз вторгался в его жизнь. Первый — когда, будучи секретарем СП, пригласил его в редакторы газеты «День». И теперь слова эти были произнесены вскользь, между прочим, однако ж через некоторое время Проханов вспомнил их — и подумал: почему бы нет?

Получается, странные «галлюцинозы» появились в «Господине Гексогене» благодаря Карпову? «В некотором роде».

Москва-1999 — ад, похожий на преисподнюю из русских икон; все, что можно, в этом романе мутирует, облучает, сочится гуморами и искажает. Ленин здесь сторожит Кремль от подземного Змея, Евгений Киселев превращается в мобильный телефон, Немцов — в собаку, а Путин — в радугу. «Это отступничество (от „красной кумирни“. — *Л. Д.*), богоборчество — довольно разрушительная процедура для художника: оно, видимо, вызвало в моих текстах какую-то новую энергию, появление каких-то других эссенций, более ядовитых,

сюрреалистических». Трудно сказать, войдут ли знаменитые «гексогенные» метафоры в историю литературы, но после публикации романа кое-какие из них цитировали настолько часто, что их до сих пор можно воспроизвести по памяти: «На тарелках, окутанных паром, розовели креветки, похожие на маленьких распаренных женщин, вышедших из деревенской бани». «Кремлевская стена, мимо которой они проезжали, казалась сочно-малиновой, воспаленной, словно ей дали пощечину».

Помнится, по выходу романа, удивленный этими абсурдными «галлюцинациями» и став жертвой мощной суггестии текста, я пытался понять, каким образом 65-летний номенклатурный советский автор «вдруг» закутался в хитон Данте и принялся лить читателям на голову гигантские чаны своих видений. Можно было предположить, что энергия советских времен, попадая в чужую (политически враждебную) среду, — девяностые годы — начинает бурно реагировать. На шве, границе происходит короткое замыкание, локальный психический конфликт, выражающийся в текстуальной «галлюцинации». Так на стенах готических соборов, где соприкасаются сакральное и мирское, образуются адские химеры и горгульи; так карбид исходит пузырями, когда его помещают в воду; так в пограничной зоне текста возникает пространство ада, кишащее диковинными животными, насекомыми, дигитальными роботами. Метафоры — адская флора, расцветающая в зонах столкновения.

Предполагал ли он сам, хоть сколько-нибудь, что «„Гексоген“ рванет» (заголовок «Коммерсанта»)? Искал ли он хит, как Набоков «Лолиту»? Похоже, это был просто еще один роман, двадцать пятый или тридцатый по счету. Взорвали дома, разразилась война, подполковник выпрыгнул из табакерки, щелкнула очередная конспирологическая пружина — и он должен был отчитаться, заполнить еще одну историческую хронику. Нет, он не проектировал свое литературное будущее, а занимался рутиной, политикой, газетой, и, как всегда, параллельно, «катакомбно» — сочинял.

С другой стороны, роман был на злобу дня, он многое объяснял и был как бы аналитическим комментарием к газетам и телевизору. Всех действительно интересовало, кто такой Путин и кто взорвал дома. Это был не только конспирологический триллер, но и площадной театр, политический памфлет, своего рода красно-коричневые «Куклы» с узнаваемыми персонажами: Зарецкий, Астрос, Истукан, Дочь, Премьер, Прокурор, Избранник. В этом смысле «Гексоген» — «мое вхождение в супермаркет»: художник идет в супермаркет, в подлый мир.

Среди мнений, высказанных о романе, было мало компетентных, и тому есть свое объяснение. Не привыкшие к такому типу словесности рецензенты откровенно путали Проханова с одним из его персонажей — Николаем Николаевичем. Проханов представлялся неофитам не столько самостоятельным писателем, сколько блаженным с даром проводника, «единственным сохранившимся у империи ретранслятором, способным текстуально передать эту мощь, размах крыльев империи-бабочки».

Неудивительно: может быть, самые впечатляющие куски в романе — жуткие фольклорные бреды-заговоры юродивого Николая Николаевича, который раздает беспризорным детям конфеты, обогащает Белосельцева мистическим опытом и собирается взорвать свой автомобиль «Победа» с намалеванным на корпусе портретом Сталина в логове Змея — на Красной площади. Этот народный пророк — последний праведник, после смерти которого на Содом прольется чаша гнева. Именно через эту готическую линию нагнетается ужас, который вырвется на поверхность из начиненных гексогеном подвалов домов, обреченных на заклание. «Змей в Москву через метро пролез. Так и знай, метро — гнездо Змея. Сперва под Москвой туннель выкопали. Потом туда Змей пролез. А уж внутри Змея поезда пустили. Едешь в метро — смотри зорче. За окном кишки Змея, и слизь капает. Если хочешь убить Змея, взорви метро. Только делай с умом, ночью, когда весь народ уйдет и поезда встанут. Тогда Змей просыпается и в Кремль дорогу точит. Тут его и рви. Закладывай мину в трех местах — на „Театральной“, на „Кутузовской“ и на „Войковской“ — и рви одной искрой разом».

Нам приходилось говорить с Прохановым о том, что случившийся в начале нулевых перелом в общественном сознании (инфляция либеральных ценностей), который связывают с пришествием Путина, во многом случился благодаря «Господину Гексогену», воздействию романа на публику. Согласен ли он, что это роман изменил отношение общества к либеральным ценностям и к советской истории? Нет — он не чувствует мессианства этой книги; по его мнению, в тот момент это коснулось только известной московской среды, у которой и так были настроения, а если бы этих настроений не было, он не был бы прочитан. Как бы то ни было, что касается меня, то я — привожу это как типичный пример — стал одной из первых жертв устроенного Прохановым блэкаута, впоследствии повлекшего за собой веерные отключения либерального идеологического комплекса. Снаряженный хорохорящимся журналом «Плэйбой» в

афанасовское логово лютого жидоеда, экипированный вопросами в жанре «разговор с варваром», я обнаружил за забором коттеджа любезнейшего восточноевропейского джентльмена, который, приосанившись, с вельможной улыбкой острил экспромтом и нес очаровательную ахинею. («Что у вас в голове?» — «У меня три полушария, каждое из них отвечает за трехмерную картину мира. Одна — это вертикальная компонента, другая — плоскостной элемент — страсти, похоти, искушения, и третья, связанная с угрюмой неразработанной темной материей, что называется ничто, нада».) Меня поразили его уместные запонки, зимний сад, кабинет, похожий на языческое капище. «Александр Проханов, — отчитался я о визите, — коллекционирует капустниц, пожирает политические трупы и мертвой головой порхает по редакции своей газеты „Завтра“. Духовно-патриотический боа-констриктор, он много лет охраняет яйцо, в котором теплится жизнь великой империи СССР. Ни одному георгию так и не удалось пригвоздить к земле его чешуйчатый хвост; напротив, мистическая мощь Проханова растет с каждым годом — о чем и свидетельствует его роман „Господин Гексоген“, горсть белого порошка в лица либеральных читателей».

Юрий Бондарев однажды заметил: «Наша несколько нервозная критика, извечно преданная групповым направлениям, обязанностям и параграфам разнообразного учительства, нечасто баловала сочувствующим вниманием приход в литературу Александра Проханова, и то, что писалось о нем, было как бы безразлично-ленивым скольжением по ровной поверхности льда, скольжением на затупленных коньках». Это правда, я и сам в тот раз с удовольствием прокатился на этом льду, но теперь, спустя несколько лет, хочется пробить этот лед, провалиться в студеную полынью и пощупать существ, которые таятся там, внутри, на дне.

«Господин Гексоген» стал самым критически востребованным романом за всю жизнь Проханова: столько не писали ни про «Иду в путь мой», ни про «Дерево в центре Кабула». Удивительно, что о своей лояльности «Господину Гексогену» отрапортовали не только далекие от политики эксперты, вроде обозревателей лакированных журналов, впервые оказавшиеся в компании бабушек, орущих «Банду Ельцина под суд!», но и патентованные либералы. Это, конечно, заслуга издателей — помещение в неожиданный контекст. Помнится, стандартным доводом, оправдывавшим появление Проханова в информационном поле, было соображение, что сам Проханов — это, конечно, нонсенс, но как проект «Ад Маргинем» — это любопытно.

Его, бывшего «абсолютно карикатурным, уродливым,

отрицательным», мало того что заметили, так еще в нем вдруг обнаружились какие-то привлекательные черты. Мы несколько раз разговаривали о реакции на «Господина Гексогена», и Проханов не без удовольствия констатировал свои ощущения от наблюдения за теми, кто пересматривал свое отношение к нему: «Они испытывали такие мазохистские вещи».

Как он объясняет происшедшее — знакомство с «модными издателями», визит корреспондента «Playboy», гигантскую прессу, премию «Национальный бестселлер»? Во-первых, «одиозность моей персоны — ее можно было просто выставить на обозрение как в клетке, и к ней слетелись бы люди: одни — чтобы поклевать, другие — чтобы подкормить, как сыча». Затем — «в новом поколении стало созревать утомление от всей этой белиберды либеральной, возник нигилизм определенный. Продвинутая часть все-таки знает историю культуры, и, видимо, настала пора такой контрвластной волны и появилась, по-видимому, новая эстетика в самом романе. Роман стал включать в себя новые энергии. Скептицизм по поводу красной кумирни. Красные мифы, если бы они были изложены в традиционной полной мере, то не были бы восприняты этой едкой и скептической рефлексирующей молодежью; а так она почувствовала некий дриблинг».

Уже к «Нацбесту» тираж романа далеко зашкаливал за 30 000; он впервые за все 90-е годы получил ощутимые гонорары за свои романы. Александр Андреевич мог бы разжиться еще и десятью тысячами нацбестовских долларов, но тотчас же отдал их сидевшему в тот момент в саратовской тюрьме Лимонову. Странно, что этот факт почти не афишировался в прессе. Почему? «А что тут афишировать? Добрые дела разве афишируют…»

> «Кстати, никто меня не поздравил с „Нацбестселлером“. Бондаренко не считается. Бондаренко — это часть газеты, это моя Ева. И это молчание меня ошеломило. Я почувствовал, что та часть льдины, на которой я поставил свой чум, стала отплывать от берега».

Чем кончилась история с пенсионером-камикадзе, взорвавшим себя на Красной площади? Трое сотрудников кремлевской безопасности, из которых один попал в реанимацию, долго лежали в Склифосовского, но выжили. Сам Иван Орлов, поступивший в Бутырскую тюрьму, умер через несколько дней в результате отравления токсичным веществом. Его похоронили в гробу, который он сколотил своими руками. Газета «Завтра», как она всегда поступает в таких случаях, потребовала причислить

его к лику святых. Было бы правильно, чтобы на переизданиях «Гексогена» изображался уже не Ленин, а Орлов на своем «москвиче» — «победе».

Глава 19

Вторая Чеченская война. Мистика романа «Идущие в ночи».

Автор на короткое время превращается в адвоката дьявола. Полемика со Львом Толстым

В «Господине Гексогене» Проханов демонстрирует подоплеку второго чеченского конфликта и его начальную стадию. Мы видим самые неприглядные стороны войны, вплоть до сцены, где русские солдаты насилуют труп мертвой чеченки сразу после штурма Карамахи. Судя по этому эпизоду, уже можно предположить, какими станут будни многомесячной войны, далеко не паркетной; именно им и посвящен роман «Идущие в ночи».

Завязь романа стала формироваться в голове у Проханова в тот момент, когда он с гриппом («42 градуса!») — «валялся в постели и сквозь жар слушал репортажи Бабицкого на радио „Свобода“».

Постепенно к этому ядру стали примагничиваться самые разные частицы: тема погибшего солдата Евгения Родионова, которому чеченцы еще в 1996-м отрезали голову за нежелание принять магометанство; история про выход Басаева из Грозного, когда тот подорвался на мине, — «все это в бреду сплелось в сюжет, и я помчался как угорелый проверять все это». Ему хватило нескольких месяцев, чтобы сразу же, в том же 2000-м, дописать роман.

На второй войне он был трижды: первый раз в феврале 2000-го, потом еще раз через год, с писателями, и еще раз.

В действующую армию он попадает не как все журналисты — по линии Министерства информации, и не по линии Ястржембского, а по особой армейской протекции. Они едут вдвоем с собкором «Завтра», капитаном Шурыгиным. Их селят в Ханкале, при штабе. На железнодорожных путях, ведущих в Грозный, стоял поезд без паровоза. В вагонах жили журналисты, «чтобы дойти от поезда до штаба, надо было, как водолазу, таскать на себе огромные вериги грязи». Именно в окрестностях этого поезда он впервые увидел крайне предприимчивого и удачливого в интервьюировании полевых командиров журналиста Бабицкого, того самого, чьи сообщения слушал по «Свободе» в бреду.

Грозненское граффити.

Только что федеральные войска после изнурительных городских боев взяли Грозный, выставив оттуда Басаева и Хаттаба. Командующим группировкой был генерал Трошев. Он согласился дать Проханову вертолет, и тому удалось пролететь вдоль Сунжи, там, где совсем недавно происходило побоище. «Я видел мусоровоз, которые выкинул на берег реки все эти бинты, трупы, ошметки тел, всю требуху. Их не убирали, потому что территория была еще заминирована. А мины были на самоликвидации: некоторое время должны были лежать, а потом взорваться. Тогда можно было идти. Так что все это там лежало, как бы музей этого шествия армии, я его видел несколько раз с вертолета». «Идущие в ночи» движутся ровно по этому маршруту.

Всем, и Проханову в первую очередь, было понятно, что вторая чеченская, очевидно развязанная под выборы, строится на деньгах и предательствах. По мнению Пола Хлебникова, «с точки зрения военного искусства эта кампания оставляла желать лучшего… Экстремисты в основном остались нетронутыми. Например, очевидными мишенями для российских боевых самолетов были расположенные в Грозном дома Басаева и Хаттаба, превращенные в командные пункты. Именно по этим домам следовало бы нанести удары в первый же день войны, но российские самолеты оставили их без внимания, выбрав для обстрела другие объекты, например, старый пропеллерный самолет, находившийся в грозненском аэропорту, или центральный городской рынок. Корреспондент „New York Times“ в то время даже посетил дом Басаева и опубликовал статью, в которой писал, что дом кишмя кишит полевыми командирами. На этот дом сбросили бомбы лишь через несколько недель, когда главный террорист давно перебрался в бункеры Грозного».

Если вы писатель, все это — замечательный материал для

военного детектива о предательствах и хитрости, но если вы — патриотический писатель, то вам следует показать, как ломается эта логика войны и торжествует честь офицера. Об этом «Идущие» — история про то, как федералы выманили сепаратистов Басаева на заминированный выход из Грозного.

Лейтенант федеральной группировки Пушков вместе со своим взводом один за другим штурмует дома в Грозном. Двоих его солдат берут в плен. Первый отказывается принять ислам, над ним глумятся, а он кротко перечит: «Русский солдат — лучший в мире. Он Берлин взял. Ему памятники повсюду стоят, — тихо сказал Звонарь». Тогда ему, как его прототипу Евгению Родионову, отрезают голову ножом. «Лезвие шло ему по горлу, секло дыхание, голос, погружалось в бурлящие илы, в хрупкие позвонки, глаза его повернулись в глазницах, и он увидел ангела…». Второй солдат становится предателем, принимает ислам и записывает на магнитофон обращение — уберите танки, мы тут пленные, штурмуйте голыми руками. Так Пушкова заманивают в Дом искусств, где он и погибает.

Тем временем тележурналист Литкин (в котором хорошо узнаваем прототип — Андрей Бабицкий) общается с чеченцами и с упоением снимает, как боевики отрезают солдату голову, как минируют трупы русских, как уничтожают перед отходом русских рабов на подпольной героиновой фабрике в Грозном. Автор описывает Литкина с нескрываемым омерзением, как одного из главных врагов на этой войне, однако, удивительным образом, Литкин — еще и двойник автора, темный двойник, таким же драматически раздвоенным позже окажется главный герой «Политолога» — Стрижайло.

Отец Пушкова, полковник, отказавшийся в начале романа поспособствовать переводу сына в тыл, теперь готов на все, чтобы отомстить за него. Он предлагает начальству секретную войсковую операцию — спровоцировать Басаева, якобы продать ему за 500 000 долларов информацию о коридоре между минными полями — чтобы заманить убийц сына в ловушку. Чеченцы верят мнимому предателю, но, как Шарапова в «Месте встречи», берут отца убитого солдата с собой.

(В качестве «подмалевка» для «Идущих», похоже, использовались «Рисунки баталиста», где тоже, по крайней мере, речь идет об отце и сыне на войне, которые в экстремальной ситуации получают возможность раскрыться друг перед другом и поговорить по душам.)

Глазами Литкина романист рисует и других чеченцев — Басаева со своей русской любовницей, местного художника и простых ополченцев. «Школьник Ваха из боевого отряда учителя

Саликова, один, без сопровождения товарищей, вооруженный гранатометом с остроконечным зарядом, имея в запасе еще две гранаты, торчащие из-за спины, как огромные стрелы, покинул громаду дома и пошел сжигать русский танк». «Первым заговорил Леча, чье бескровное, с выцветшими губами лицо напоминало пыльное зеркало, в которое заглянула смерть».

Роман заканчивается каскадом финалов. Мы присутствуем на приеме у Парусинского-Березовского. Все перед ним стелются — от Доренко до Виктюка. Мы слышим разговоры о еврействе, о будущей Новой Хазарии на русской территории, о планах на нефтепроводы в Чечне и радужных перспективах, связанных с войной. Тут появляется Избранник (Путин), очередной цветок в экзотической оранжерее банкира, который, однако, почему-то не особенно и подчиняется Парусинскому, ведет себя странновато, слишком часто произносит слово «русский». Роман сильно выиграл бы без этой главы, которая, во-первых, повторяет прием «Чеченского блюза», во-вторых, просто прилеплена к роману, как уродливый магнит к холодильнику.

Во втором финале к федералам попадает принадлежащая Литкину (которого, наконец, пристрелил кто-то из русских, по ошибке приняв его за боевика) кассета с картинами подрыва басаевской колонны, там они высматривают своего Пушкова и летят на вертолете вызволять его тело. Это опасно, но операция заканчивается успехом.

Наконец, третий финал — жена и мать погибших Пушковых мечется по Москве. В это время чеченский художник Зия рисует цикл картин о войне и примирении.

«Идущие» — сложно устроенный роман с простой идеей: как бы грязна ни была война, есть на ней и те, кто воюют по-честному, и никто другой, кроме них, этого дела не сделает. Отец и сын Пушковы — носители другой правды войны: «воюем не за нефть. Не за банкиров… Воюем за отдаленную, будущую, постоянно у нас отнимаемую Победу…». Они нарушают договоренности, и в этот момент армия начинает одерживать победы. Рифма к этим событиям обнаруживается в Москве, где Избранник тоже ведет себя непредсказуемо. «Он, — речь идет о банкире Парусинском, — вдруг почувствовал, что механизм, заложенный им в Избранника, выходит из-под контроля».

— Давайте я буду адвокатом дьявола. Вот, допустим, некая территория, черт знает где, где вы никогда не были и которая попала в состав России в результате дипломатических махинаций триста лет назад. Что вам она? Как вы можете обосновать необходимость умирать за эту территорию?

— Ну если у меня есть историческое, не бытовое сознание…

Бытовое сознание видит достаточно недалеко: вот мой забор, мой поселок, моя деревня, выпасы, лес, скотина, грибы есть, речка чистая, не очень допекают налоги и так далее. А историческое сознание, оно отождествляет себя с русской историей. Русская история — это история империи, которая постоянно, неуклонно раскрывает свои лепестки, свои крылья, увеличивая свое присутствие в мире. И логика этой империи такова, что случайных кусков у нее не бывает. Это геополитическая империя, которая выстраивалась из необходимости освоения кромки, рубежа. Логика такого рода империи связана с тем, что вновь завоеванные территории или территории, которые присоединялись из интересов безопасности, а не из интересов освоения ресурсов или эксплуатации населения, входили в контакт со следующими лежащими в стороне территориями и снова запускали ту же логику рубежа. Эта геополитическая империя имела тенденцию непрерывного расширения, и в этом ее слабость. А советский проект носил, конечно, глобальный характер, даже мировой. Мировое господство, которое владеет сознанием людей, — это не ослепительная мечта, не ослепительная идея, это жестокая необходимость, целесообразность установить свой контроль сначала над небольшим участком земли, потом сделать безопасной и установить контроль над окрестностью, а потом эту окрестность распространить на все остальные континенты. Это то, чем сейчас занимается Америка, например. Глобализм — это создание огромной мировой империи. Вот так я полагаю… Адвокат дьявола, ну-ну. За это ответишь.

Еще раз Проханов прилетел в Чечню в тот момент, когда Трошев уже ушел из группировки и был командующим округа. Непосредственно командовал войсками Молтенской, «такой молодой генерал, эффектный». Проханов попадает на войсковую операцию: разведка засекла в Аргунском ущелье позывной Масхадова и теперь ловит его там. «Воздухом десант высадился на сопке, пошли „Альфа“, спецназ, СОБР. Обрабатывали. Сначала вертолеты ударили. Пошли „грачи“, штурмовики. Потом артиллерия. Молтенской взял меня с собой на вертолет, мы полетели над горами, где шли бои. Горы, лес, сели на каком-то перевале, на хребте. Справа сверкает ледник, слева все начинает сочиться, грязь ужасная. И стоит куб штабной, антенны, обеспечение связи. Идет боевая операция, и командир, генерал-майор, ведет управление этим боем, наводит на эту цель спецназ, сухопутные войска… мы приходим в самый центр, где начинается вся эта каша. И Молтенской говорит офицеру: „Вот я привез к

тебе гостя, Проханова“. — „Проханов?! Так у меня газета „Завтра“!“. Мы обнимались с ним… Я не забуду эту встречу. И мне было так хорошо, что не впустую, не втуне, что моя репутация, и моя книга, и моя газета тоже сражаются там». Еще он мог бы припомнить венгерский эпизод тридцатилетней давности, когда гарнизонный майор примчался к его коллеге Проскурину только для того, чтобы писатель подмахнул ему свой роман. История определенно повторялась — на новом витке.

В Ханкале к тому времени вместо поезда для журналистов была оборудована «элитная», по выражению Проханова, гостиница: «Я жил в прекрасном номере, спускался по лестнице: стол, прекрасная кухня, рыбы, изысканный повар, дагестанец или армянин. Вечером приходили генералы, можно было коньячок попить. И потом к гостинице приезжал УАЗ, меня доставляли на вертолетную площадку, и вертолет переносил меня в расположение частей и на те объекты, которые мне были нужны. На блокпосты, например. Я ездил в город, в Дом правительства, тогда еще Кадырова не было…».

> «Когда убили Кадырова, я был потрясен этой смертью чеченца-националиста, имама, который раньше призывал боевиков мочить русских. И он сделал этот выбор, видимо, трагический для него, непростой, понимая, что Чечня не справится с этой огромной махиной — Россией, пускай она ранена, смертельно даже, но сделал такой выбор, порвав со своими друзьями, вызвав в стране лютую ненависть, по существу обрекая себя на смерть. Я опубликовал передовицу, она называлась „Ахмет Хаджи Кадыров, ты слышишь меня?“ — такая эпитафия Кадырову и вообще чеченскому народу. Я там воспел русскую любовь и страсть к кавказцам, с которыми они воюют и которых они убивают со времен Лермонтова, написавшего „Валерик“. „Страны не знали в Петербурге, / и провожая вновь и вновь, / жалели сына в черной бурке / за чертову его любовь…“. И они пришли ко мне сюда, позвонили, принесли подарки, вина, коньяки. Говорили о моем творчестве, о романах. Они ведь очень чутки ко всему, что пишется о Чечне».

В «Идущих» Басаев наговаривает Литкину на камеру сочиненные Прохановым вдохновенные проповеди, которые без купюр можно печатать на сайтах сепаратистов: «Кавказ является истинным центром мира. Бог сотворил Кавказ как единый дом, под крышей которого живут благодатные народы. Отсюда

началась история человечества. Чеченцы поставлены Богом охранять эти тайны, беречь их для будущего человечества… Русские пришли на Кавказ, разрушили общий дом… Они подключили огненную энергию Кавказа к своим чахлым пространствам, ленивому населению, сонной тусклой истории. Если бы не было Кавказа, не было бы русской культуры…».

Каковы, по его мнению, перспективы чеченской войны? «Думаю, у террористов нет серьезных перспектив, но взрывать они будут. Это будут взрывы не стратегические. Если они атомную станцию захватят благодаря нашему разъебайству, извините за выражение, или Путина грохнут благодаря предательству Патрушева, не дай бог, например, то это стратегические решения. А так это будет просто кровопускание, беда, как видите, Россия с этим справляется. В момент взрыва все распахивается, видно дно, вопль, слезы, но потом медленно все натекает и все смыкается. Но у них, я думаю, потенциал все-таки невелик. Они в конце концов выдохнутся. Как и в ту первую настоящую чеченскую войну Ермолова».

В «чеченских» романах Проханов, как и Толстой, исследует поведение человека перед лицом смерти; и оба романа, да, «абсолютно толстовские», но «Толстой так никогда не ездил. Его в севастопольский окоп или на рубку леса забросила офицерская служба, долг, я думаю, он не гонялся за ландшафтами, хотя потом он занимался тюрьмами, острогами, когда писал „Воскресение“, изучал, ездил. А у меня в моем творчестве всегда было так: был странный замысел, который часто формировался вокруг явлений значительных, часто катастрофических, и когда этот замысел начинал обретать контуры, какую-то нечеткую зыбкую структуру, я выезжал на ландшафт, и этот ландшафт служил для меня такой кормовой базой, я жадно ел этот материал. В результате либо структура менялась и усложнялась, либо внутри нее появлялись сочные, зримые явления».

В разговоре об «Идущих в ночи» и «Чеченском блюзе» мы сходимся на том, что в советское время автор таких романов навеки был бы окружен сонмом почитателей; тогда как сейчас… Проханов, впрочем, не согласен: «Их прочли. Оба романа прошли через „Наш современник“, оба романа прошли через „Роман-газету“, и оба романа были изданы книгами, и не раз. Критики, насколько я знаю, на них не было, кроме патриотической. Ганичев считает, что ничего более высокого, чем „Идущие“, он не читал за 20 лет. Бондарев считает, что это шедевр. В армии тоже. Трошев читал „Идущие в ночи“, оба романа читал Квашнин. Мне было приятно, что вертолетчики меня в Чечне возили как автора афганских и чеченских романов. В 2000-м я организовал

писательскую поездку в Чечню, и меня, врага режима, там Казанцев наградил медалью. Армия прочитала этот роман. Генштабисты читали. В той степени, в какой вообще армия читает. Раньше-то брали тираж „Роман-газеты“ и забрасывали туда тысячами…».

Странно, что государство со всем своим министерством пропаганды, не занимается этими романами. «Это потому, что я мракобес… Я объясняю отсутствие внимания власти — министра обороны, Путина — к этому роману тем, что они окружены плотнейшим кольцом референтов, демократическими реликтами типа Швыдкого, которые видят во мне врага и блокируют». «Швыдкой втройне должен желать меня зарубить, если он хотел всю Бременскую коллекцию отдать Германии. Или, например, в комитете по премиям сидит Римма Казакова, которая ночью в 93-м году практически пролила кровь своими призывами; она является моим кровником, люто меня ненавидит. А идеологию в стране создают герольдмейстеры — выкрасил еще один двуглавый орел сусальной краской или построил храм на крови в Петербурге, и вот тебе государственная идеология. А государственная идеология, помимо реставрационных компонентов, связана с перехватчиками четвертого поколения и с самосознанием войск, которые еще будут вести ужасные оборонительные войны по периферии разрушенной империи — России. Этих людей нет вообще: ни в культуре, ни в политике, ни в Совете безопасности. По „Идущим“ хотели поставить фильм, режиссер ходил в Совет безопасности, генералы соглашались: да-да, интересно, но денег нет… Совбез — это тупые печальные генералы, отставники, которые ушли из внешней разведки, МВД».

Разве могут романы такого калибра, как «Идущие в ночи», пропасть почем зря? «Нет, они пропадают… Хотя — даже „Триумф воли“ не пропал. Казалось бы, он должен быть абсолютно похоронен, под развалинами Третьего рейха, под философией холокоста, и вдруг из-под всего этого вылезла потрясающая магическая женщина. Я не могу понять, как она, Рифеншталь, победила даже еврейскую блокаду. И с ее реставрацией, ее ренессансом согласилась и еврейская элита. Это сила, видимо, эстетики, что ли? Или магия истории? Мучительное вглядывание в этот роковой, таинственный XX век, и, конечно, Третий рейх, а потом Советский Союз являются его эмблемами… Есть такие эмблемы эпох, которые, когда сами эпохи уходят очень далеко и становятся неопасными, проникают в контекст истории и наполняются историческим свечением, магией исчезнувшего времени… Будут ли транслированы эти романы, я не знаю».

Примерно через год после того разговора Проханов сообщил мне о том, что он назвал «мистикой романа»: «Я недавно узнал, что такой разведчик, как мой Пушков, был на самом деле, он разработал операцию по выводу чеченцев из Грозного и засады — и их там действительно положили около тысячи, а если бы дали ему больше людей — а не дали — то положили бы вообще всех. И зовут его Квачков».

Глава 20

Самодеятельный поход в Кремль и первая встреча с императором Полярной звезды. Описание прогулки по Гайд-парку в обществе Бориса Березовского.

Проханов объясняет автору свои критерии государства и смысл «Крейсеровой сонаты». Газета «Завтра». Процветающий непотизм. Роман «Надпись».

Уютное местечко между Боно и Человеком-Пауком. Злополучный «Теплоход „Иосиф Бродский“». Проханов как «существо особого порядка».

«Симфония Пятой империи». Автор делегирует свои полномочия орнитологам

12 августа 2000 года крейсирующая в районе Баренцева моря российская атомная подводная лодка «Курск» лобовым ударом таранится американской субмариной «Мемфис» и затем торпедируется второй американской подлодкой «Толедо»; чтобы скрыть обстоятельства столкновения, попытки помочь оставшимся в живых морякам не предпринимаются, да и не могут быть предприняты, потому что соответствующее оборудование за несколько лет до этого продано в Голливуд для съемок «Титаника» — по крайней мере, именно эта версия событий возникнет в результате расследования инцидента независимыми западными журналистами и будет многажды изложена в газете «Завтра».

Тогда же во внутреннем арсенальном отсеке Проханова детонирует болванка нового романа, чтобы через три года вырваться на поверхность взрывом «Крейсеровой сонаты». «Соната» — гроссбух, которым эксперты, придерживающиеся теории о Проханове-графомане, имеют достаточно оснований пользоваться как весомым аргументом, но который открывается потрясающей — и с этим вряд ли кто-то может поспорить — увертюрой, посвященной собственно катастрофе «Курска».

Между тем еще месяц назад он был настроен совсем иначе. В июле 2000-го Путин должен был встречаться с журналистской

элитой — главными редакторами печатных СМИ. Проханова туда не пригласили. Это его дико возмутило: как же так, позвали всех врагов России, «либеральный мусор», а его, империалиста, государственника — проигнорировали. И это при том, что власть явно движется в правильном направлении: в мае проведены обыски в «Медиа-мосте», 13 июня по обвинению в хищении госсредств задержан Гусинский, а чуть позже, в начале сентября, начнется травля Березовского. Разумеется, Проханову любопытно встретиться с Путиным, который так явно отмежевывается от ельцинской Семьи и ее реликтов. Подбив участвовать в этом деле Чикина, главреда «Советской России», он сочинил письмо непосредственно Путину, «исполненное изумления и гневных интонаций».

Решено было отказаться от стандартного бюрократического способа отправки письма. Они явились к Боровицкой башне, где постучались в окошко охраны. Представившись сотруднику ФСБ, они заявили, что хотят передать письмо Путину. Очень корректно человек в штатском переспросил их, правильно ли он понял, что они хотели бы, чтобы это письмо было передано непосредственно в руки президента? Проханов подтвердил: «Да, товарищ подполковник, вы абсолютно точно меня поняли». «Хорошо, мы передадим в руки помощника». Письмо оказалось у помощника в тот же день, тот показал его Путину, и Путин самолично позвонил Чикину: приходите.

> «Конечно, это была сенсация — и для публики, и для меня. Я впервые после огромного перерыва попал в Кремль. Последний раз я был в Кремле, когда меня награждали орденами, а с тех пор в Кремль вселился демон, мой враг: это было убежище Ельцина. Когда я проходил мимо Кремля, у меня случался приступ внутренней невралгии, отторжения этой цитадели… И вдруг я опять оказался среди родимых моих, любимых куполов… Путин, как всегда, опоздал, он имеет удивительную способность опаздывать. Он принял нас в библиотечном зале — и очаровал меня, как он умеет это делать; легкий, изящный, комплиментарный, тушуется постоянно в разговорах, не давит на собеседника, чуть что, извиняется так неловко. Он создает для собеседника атмосферу психологическую, в которой собеседнику комфортно, не страшно, ему хочется если не исповедаться, то поделиться, не спросить, а рассказать».

— А чего вы так туда рвались?

— А мной двигала такая статусная обделенность, с одной

стороны, и ненависть к либералам, которые не заслуживали того, чтобы обсуждать проблемы империи и государства. Ущемленное самолюбие, гордыня. Потом, Путин ворвался на волне чеченской кампании. А кто был певцом армии в чеченской кампании? Все мои поездки в Грозный, «Идущие в ночи», Трошев. Единственный главный редактор газеты поехал в Грозный…

В этой библиотеке они провели полтора часа. Самым интересным из обсуждавшегося был китайский вопрос. Все началось с того, что главные редакторы заметили, что отношения новой администрации с США вызывают в патриотическом лагере раздражение. Путин отвечал, что главная, по его мнению, опасность — это Восток: именно Китай является потенциальным противником России. Дальше они вышли на любимую прохановскую тему — треугольник Россия, Китай и Америка, в котором будет решаться судьба XXI века и России в том числе. Путинские высказывания коррелировали с прохановским представлением о том, что, лавируя между Штатами и Китаем, Россия могла бы выиграть стратегическое время. Они поговорили о том, стоит ли размещать «першинги» на российско-китайской границе. Затем — о компартии, о левом движении, «по-детски, тихо, наивно, по-доброму». Путин, по его словам, заявил, что не будет особой беды, если компартия будет ужата и ее влияние будет ограничено.

Карикатура из газеты «Дуэль».

Этот контакт, в ходе которого они лоббировали интересы оппозиции, был замечен: либеральные газеты тотчас же обвинили Путина в красно-коричневых симпатиях. «Мое появление у Путина легализовало меня, я уже не был исчадием ада, на мне лежало ОТК. Я опять был в Кремле. Это всех потрясло». Со своей стороны, он, до того писавший о Путине в жалостно-уничижительном тоне (похож на выпавшего из гнезда воробья, птенца, которого хочется пригреть, и т. п.), сочинил несколько не столько комплиментарных, сколько каких-то ноздревских передовиц: «Путин, налей молока ребенку!», «Путин, посмотри на Дальний Восток глазами Сталина. Посмотри на Чубайса глазами Берии. Ополосни ладони после того, как здоровался с „гориллами российского бизнеса“. Пожми руку русскому адмиралу-дальневосточнику. Обними солдата-срочника на острове Русский» (август, 2000). Особенно оценив послание ельцинского преемника Федеральному собранию, Проханов замечает: «Сберечь от вымирания народ… строгий мобилизационный проект… все это присутствует в деяниях Путина. Все это побуждает людей независимо от их партбилетов и кредитных карточек поддерживать Президента».

Впечатления от этой встречи попали — отдельной главой — в «Идущие в ночи», где Проханов впервые описывает Путина, «похожего на Андрея Болконского», говорящего о русском, имперском.

Этот первый период обольщения длился недолго. Уже осенью стало понятно, что развод новой администрации с Березовским и Гусинским — на самом деле вопрос менеджмента, а не кардинально новый политический курс. 2 декабря Зюганов на съезде своей партии проницательно замечает: «Показательная порка Березовского и Гусинского ничего не меняет. Старые олигархи заменяются новыми: абрамовичами, мамутами и Дерипасками».

По «Господину Гексогену» видно, как заинтересованность и почти влюбленность («Кто этот человек, похожий на шахматного офицера, вырезанного из слоновой кости?») постепенно превратилась в раздраженное недоумение. Подполковник сначала оказывается пустышкой, случайно перенявшей патриотическую риторику, — а затем, фиксирует Проханов, изощреннейшим паразитом, злокозненно похитившим патриотические идеи, с тем чтобы разрушать Россию с еще большей эффективностью.

Омерзение Путин стал вызывать у него именно после истории с «Курском». В официальной версии участие иностранных субмарин будет отрицаться, и этот феноменальный сговор администраций Путина и Клинтона, больше похожий на торговлю

убитыми моряками, обожжет Проханова изнутри. Проведя в свое время несколько недель внутри таких лодок, он с компьютерной точностью моделирует обстоятельства атаки, антураж отсеков и эмоции людей, заживо похороненных на глубине ста метров. С этого же момента Проханов уходит в глухую оппозицию режиму «Преемника», убежденный в том, что в критических ситуациях — а то была действительно критическая ситуация, аналогичная разве что Карибскому кризису 1962 года, — это правительство будет лояльно не собственному народу, а правительству США.

Одновременно Проханов начинает упаковывать инцидент в контейнер мифа. «Курск» предстает в передовицах крепостью, подводным Соловецким монастырем, моряки — монахами, тела которых автор требует поместить «в Кремлевский пантеон».

В ноябре — как будто мало «Курска» — происходит «космическая казнь» станции «Мир»: приходит известие о том, что станция будет уничтожена через три месяца. («„Мир“ — это храм Христа Спасителя советской эпохи, и те, кто его разрушает, будут прокляты, как Каганович»; «русский космический Парфенон».) Автор передовицы призывает — за год до 11 сентября, если кому интересно — «направить падающую станцию на небоскребы Манхэттена».

Весной 2002 года рванул «Гексоген», а летом газета «Завтра» вдруг публикует длиннейшее интервью Проханова с Березовским.

> «Сам по себе этот контакт казался невозможным. Эти две беседы ошеломили общественность. Как левую, так и правую. Возник какой-то вихрь, водоворот сумасшедший».

Березовский мог появляться в прохановских романах (Бернер, Зарецкий, Модельер) и колонках («Нам будет не хватать Березовского… Его запоров, приобретенных на бешбармаках Назарбаева, и расстройств, полученных на дастарханах Алиева»), но в качестве персонажа, а не себя самого.

— Кому это пришло в голову?

— Это пришло в голову мне.

— Из-за финансовых затруднений КПРФ?

— Нет. Мне всегда приходят в голову самые неудачные мысли. Мне захотелось увидеть Березовского. Ведь когда человек находится в фаворе, на вершине своего успеха, славы, он недоступен. Как только его сбрасывают с Олимпа, он оказывается доступным. Так же было со всеми вельможными гэкачепистами, типа Крючкова, например. Так же было с Хасбулатовым. С ними можно было вести общение, разговаривать, узнавать, уточнять,

встречаться. Так же и с Березой. Когда он был здесь, у нас с ним были контакты, но это, конечно, не были глубинные контакты. Это были контакты разведки, это была рекогносцировка, контакты недоверия, тонкой такой неприязни друг к другу. А когда он оказался там, вокруг него стали разворачиваться всевозможные события, мне было просто страшно интересно посмотреть на прототипа моих героев вблизи. Я решил почему-то, что это возможно. Я подал тогда ему сигнал…

— Одно дело пообщаться приватно, другое публиковать интервью.

— А почему? Скажем, Зюганов мог публиковаться в «Независимой газете». А почему в моей газете не могут публиковаться, там, крон-принцы? Я решил раздвинуть рамки. В чем взрывной характер этой беседы? Во-первых, сам факт, что два человека сели за стол и беседовали очень интересно, неожиданно, сместил контексты. А во-вторых, Береза, по существу, плясал там под мою дудку. Он говорил о православных ценностях, коснулся всех острых проблем, включая еврейские проблемы, говорил о Советском Союзе. Это были тонкие смыслы, которые Березовский излагал через меня всему нашему направлению, что, конечно же, соответствовало его концепции. Это тоже был момент совпадения. У Березы уже тогда были планы: участие в думских процедурах, планы взаимодействия с коммунистами, которые тогда казались самой перспективной партией. Он предполагал, что они будут завоевывать Думу, что будет думское большинство, что вся протестная энергия опять будет аккумулирована партией, и что партия съест эту Думу. И многие хотели с этой партией дружить, многие усаживались на тень Зюганова, как мухи, и сидели там. Таким человеком был Глазьев. И у Березы были такие намерения оседлать эту партийную энергию и досадить Путину. И он, по-видимому, изначально хотел союза с коммунистами, полагал, что его деньги плюс электоральная возможность компартии смогут создать думское большинство, а потом доминировать на президентских выборах. Поэтому он охотно меня принял.

— Технически как это произошло?

— У меня были посредники, те, кто с ним общались, и мы поехали вдвоем с одним таким посредником в Лондон. Мы жили там два или три дня, меня поразила красота его виллы, я был в восторге совершенно от этого замка: средневековый роскошный английский ландшафт, газоны, с этой кривизной земли, с какими-то озерами, рощами, бегающими там ланями, казарками.

— Как вы его называли?

— Да как — Абрамыч. Ну как-как… он называл меня Александром Андреевичем, а я его Борисом. Просто разница в

летах или мне не хотелось произносить «Абрамыч», не знаю.

— Как вы можете описать ваш тип общения?

— Очень сердечный. Кстати, на прощание, например, мы обнялись. При последующих встречах нам не нужно было рукопожатие, мы довольствовались просто поцелуями. Общались мы либо в отеле у меня, где я находился, либо у него дома. Или в третьих местах. В ресторанах, какой-то японский ресторан. Одна прогулка была: мы гуляли по Гайд-парку. Это был день, когда в Лондон приехал Путин, и они там с королевой на «ройсе» ехали мимо нас. Сквозь деревья мы видели полицейский кортеж. Мы с Березовским гуляли под этими платанами огромными. И недалеко от нас бдительно следовал его охранник, участник иностранного легиона, видимо, какой-то араб накачанный.

— Вы с ним шутили?

— Мы шутили, смеялись, нам было приятно, весело. Он мне рассказывал, делился своими идеями, которые сами по себе казались шутками. Например, у него возникла тогда идея создать партию Сталина, чтобы эта партия была радикальнее коммунистов. Для этой цели он придумал, как получить возможность регистрации этой партии: надо, чтобы в каждом из регионов кто-то из наших граждан взял себе фамилию Сталин. Тогда бы все главы этих организаций были бы Сталинами. Он говорил об этом с восторгом. Мне это казалось упоительной идеей, я так тихонечко похихикивал, тем более что параллельно двигался кортеж Путина и королевы Елизаветы. У него была очень глубокая мысль, он считал, что, видимо, будущее России — это конституционная монархия. Но как, откуда эта монархия? — Необходимо выращивать дофина, царевича… А для этого должен быть регент. Я видел, конечно, младенца, люльку которого качает Березовский. А экспертная группа, которая воспитывала бы этого цесаревича, привила бы ему новую идеологию, ее могли бы составить лауреаты премии «Триумф», которые создавали бы атмосферу высшей утонченной культуры вокруг дофина.

Судя по всему, сердечность этих отношений все же имела свои границы: они общались именно по делам, а не «просто так». Так, однажды Проханов упомянул, что в один из своих приездов в Лондон отклонил любезное приглашение Березовского составить ему компанию в походе на концерт Маккартни: «Береза звал, а я не пошел, остался в номере и надрался».

«Интересно, — любопытствовал в „Литературной газете“ критик П. Басинский, — сколько верующих в редактора „Завтра“ „бабулек“ после публикации этого интервью сошли с ума, получили инфаркт миокарда? Это как если бы патриарх Алексий

призвал бы своих „пасомых“ перейти в католичество или Толстой стал проповедовать всеобщую резню». Параллели Басинского не вполне гиперболы; в самом деле, по идее, Березовский воплощает все ненавистное Проханову. Однако ж в краткосрочной перспективе их интересы совпали — и он тут же вышел на контакт; вряд ли, впрочем, здесь уместно обстоятельство образа действия «не колеблясь».

— Березовский же появляется еще в «Чеченском блюзе» — олигарх, насилующий в ЦДЛ журналистку.

— Этот олигарх стоял в центре российской политики, этот олигарх ассоциировался со всей трагедией распадающейся страны. Этот олигарх ассоциировался с Ельциным и со всем безумием ельцинской политической, экономической жизни. С нефтью, которая была в Чечне, лакомый кусок для всех, в том числе и для него, олигарха. Он волновал мое воображение. Я его демонизировал, и он не мог не быть вставленным в контекст.

— Читал ли Березовский «Гексоген»?

— Я с ним это не обсуждал.

— Можете предположить?

— Не могу сказать. Но если его читали чеченцы, у Березовского были же тогда референты, наверное, они ему сказали. Он никогда не говорил мне о моей роли в его демонизации, никогда. Не упрекнул ни разу, вел себя так, как будто он не знал об этом.

Интересно — и, похоже, довольно честно — Александр Андреевич ответил на вопрос, как он — он! — мог общаться с ним — с ним! — читателям на встрече в Псковской библиотеке: «Нам было любопытно, мы были как два маршала — Паулюс и Жуков — которые смотрели друг на друга в течение 10 минут с любопытством».

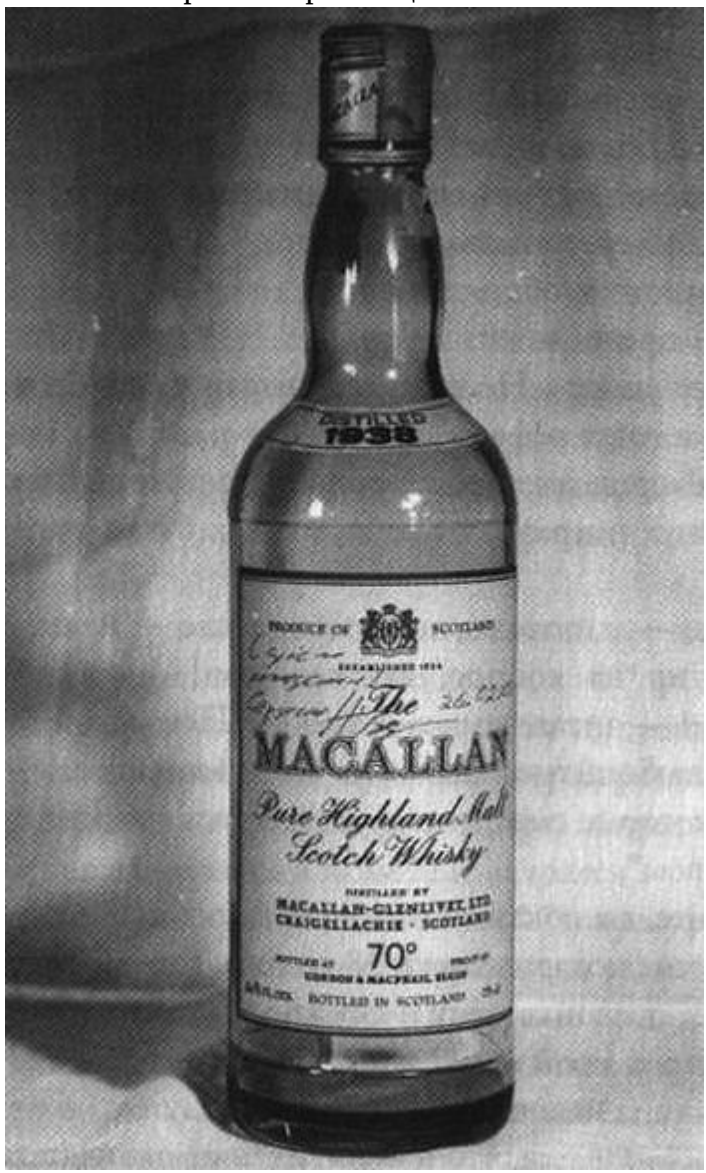
— Помните, вы показывали мне бутылку, его подарок…

— Да, он мне подарил виски 38-го года, года моего рождения. Я потом хотел позвонить ему и сказать: а не могли бы вы сделать такой же подарок моей маме? (Хохочет.) Но это был эффектный подарок, вершина наших отношений.

— Вы говорили мне, что в политике нет окончательных врагов, а есть пока не союзники.

— Да, это верно, только смерть прекращает многовариантность в этом отношении. Публичным политикам наплевать, с каким знаком о них говорят, они любую такую ситуацию оценивают положительно. Я думаю, Береза много пользы извлек из своей демоничности, его образ демона укрупняет его фигуру, создает вокруг него ореол таинственности, мистичности, и люди склонны поклоняться этому

метафизическому злу. И думаю, что он сидит, похихикивает, потирает руки, когда слышит, что это он организовал террористический взрыв, сбил самолет, организовал покушение на Путина. Такова огромная гравитация зла.



«С днем рождения. Сердечно. Б. Березовский. 26.02.03».

— Что за покушение на Путина?

— Ну поговаривают, что Путин приговорен, что Путина приговорили чеченцы, а поскольку Береза его люто ненавидит, тотально ненавидит, из этой ненависти истекает такая инфернальная слабость.

— Его правда в Кремле боятся? Как бывшие марионетки, вышедшие из-под контроля?

— Наверное, да. Он видит в Путине личного предателя: такая сбесившаяся кукла, которая, как Буратино, начали долбать своего Папу Карло длинным деревянным носом.

Вспоминая об общении с Березовским, Проханов отзывается о своем тактическом союзнике скорее уважительно. Он называет его «масштабным человеком» и с удовольствием конструирует его психологический портрет. «Березовский же почему сгорел? Потому что деньги действительно любят тишину. Ему было мало денег. Ему этого было недостаточно. Его темперамент, его страсть, внутреннее властолюбие и, я думаю, его опыт концептуального выстраивания мира — он же был академиком — подталкивали его на конструирование политики. Он опьянел от возможности влиять на политические процедуры. Я понимаю, что от этого можно опьянеть. И это сделало из него такого еврея Зюсса. Это типичный Юд Зюсс. Он играет в очень опасные игры». Еще одна проекция Березовского возникла у Проханова после «оранжевых» событий: «Чичиков. Украина — его победа, третий том „Мертвых душ“. Абсолютно гоголевские персонажи — Ющенко с перекошенной мордой, Тимошенко с косой, ведьма совершеннейшая».

То, что постороннему может показаться «непоследовательностью», а то и «продажностью», на самом деле объясняется довольно просто.

> «Я ведь певец государства, государственник, и для меня здесь высшей ценностью является государство как таковое. Государство, которое обеспечивает целостность территории и благосостояние популяции — народа, живущего на этой территории. Если это отчасти происходит и если власть ставит перед собой такие цели, у меня нет к ней других претензий. Скажем, у меня нет претензий, что власть закрывает газеты, партии, наплевать: если будет сохранена территория, если будет сохранен народ, если будет обеспечено развитие. И моя любовь или нелюбовь к власти связаны с наличием или отсутствием этих мотиваций. Поэтому я достаточно широко смотрю на власть как таковую, пропуская сквозь пальцы нюансы, которые дороги Немцову, Хакамаде и даже моим друзьям-коммунистам. Социальный строй для меня — вторичен, даже третичен, потому что я знаю, что великих результатов можно достичь при любом социальном строе. И при либеральном,

демократическом, и при коммунистическом, и при фашистском. Я же однажды в запальчивости сказал — фраза стоила мне репутации, ко мне пришла какая-то второстепенная журналистка, то ли из Голландии, то ли еще откуда-то, это было в 92-м году, и стала меня пытать, я ей в запальчивости сказал: „Да мне наплевать, пусть здесь будет хоть фашизм, лишь бы была великая Россия“. Все. С тех пор я стал фашистом. А если серьезно, то действительно мне наплевать, пусть здесь будет хоть фашизм, лишь бы страна была огромная, цветущая и развивающаяся.

Для меня критериями государства являются не эти вот нюансы: много ли газет, гражданское общество, гомосексуальные браки или, наоборот, пуританский советский строй, „мы рождены, чтоб сказку сделать былью“ или „Хорст Вессель“, это все ерунда. Лишь бы была территория и она не распадалась, лишь бы процветал народ в России. Народ — это целая полифония народов, цветущий огромный конгломерат, который обеспечивает — за счет этнических браков, за счет смешения кровей — постоянный взрыв возможностей. Государство, в которое заложена идея развития. Что такое идея развития? Аккумуляция всех ресурсов, ископаемых, интеллектуальных, этнических, культурных, для того, чтобы на территории популяции жилось все вольготней, все интенсивнее, все лучше, все интереснее. Это предполагает постоянное расширение и усложнение всевозможных познаний: научных, эстетических, метафизических, религиозных».

Место и статус Проханова в политическом поле продолжают меняться с каждым днем. Сегодня его видят в одном кадре с Хасбулатовым, завтра с Рогозиным, послезавтра с Березовским, а через неделю с Чубайсом — удивляться не приходится. Он ведет жизнь своего политолога Стрижайло — ассамблеи, банкеты, кулуарные переговоры, съезды и презентации. Разумеется, эти контакты Проханова много у кого вызывают скепсис, а у кого-то и ответную реакцию: так, летом 2006-го на некий сайт было выложено интервью Проханова с Ельциным (удивительный образчик жанра политической пародии) — фальшивое, разумеется, но Александру Андреевичу пришлось специально открещиваться от него, и все понимают, почему.

«Либералы сконцентрировались в экономическом подбрюшье Путина, то есть в базисе экономическом, и

стали страшно быстро убегать из надстройки, то есть идеологии, в свое какое-то поле. А сюда, в эту пустоту, которая образовалась, стала просачиваться вся русская, социалистическая рать, тогда началось страшное смущение в нашем красно-белом движении. Альянс, таким образом, был раздроблен. Все истосковавшиеся по позитивному миросознанию оппозиционеры, в основном социалистического толка, сразу устремились в эту путинскую пустоту: Дугин, писатели, Ганичев, певцы. А Путин сохранил весь ельцинский экономический базис, только надстройка стала квази-имперской — гимн Советского Союза, красное знамя. Огромное количество людей поверило в этот квази-имперский проект, не задаваясь мыслью: какая там империя? Какое отношение Екатерина и Петр I, которые расширяли страну безудержно, имеют к Путину, который отдал и Крым окончательно, и Украину? Никакого там окна в Европу нет. Потому что окно в Европу — это победа на Нарве и русские танки на рейде. Они этого не понимали, они упивались риторикой, пением идеологических сирен. И меня поразило, — Путин, как заклинатель змей, волшебник, колдун, сумел прельстить серьезных людей, которые тяготились союзом с коммунистами, потому что это союз был вынужденным, против общего либерального врага. А либеральный враг оказался рассеянным, он убежал, и вместо него возник Никита Михалков с его „русским стандартом“, с его „Сибирским цирюльником“, со всей этой сусальной дешевкой, на которую клюнула национально, казалось, мыслящая элита».

В одной из передовиц проскальзывает горькое замечание о том, что лишь теперь, когда Гайдар и Чубайс заговорили на этом новом языке, понимаешь афоризм о том, что «патриотизм — последнее прибежище негодяев».

Днем он дает объяснения касательно своего эпатажного политического альянса, а утром занимается «Крейсеровой сонатой», любимым своим романом. Это тоже история о том, как Господь пощадил Москву-Содом только потому, что там нашелся один праведник.

Николай Плужников — акустик на подводном крейсере «Москва», в отсеках которого размещена топографическая бомба — разработанное еще в советское время супероружие, смещающее

меридианы и способное смыть Америку как континент. Когда, по сговору с российским правительством, ее топит субмарина ВМФ США, все моряки погибают и возносятся на небо, но за Плужниковым прилетает ангел и транспортирует его в Москву, где в районе метро «Кропоткинская» его подбирает почтальонша Анна Серафимова.

— Почему почтальонша?

— Вообще почтальонша — это Гермес, несущий вести, благие в том числе. Среди этих вестей телеграммы, извещения о смерти, о исцелении, о гибели. Почтальонша — мистическое существо, поэтому если Плужников мистический человек, то она и подавно должна быть ему подстать. Она не может быть продавщицей в магазине, она является ко всем людям, принося им вести, стараясь, чтобы эти вести, даже если они ужасные, все равно были благими.

В Москве Модельером (которого сложно не спутать с Березовским) готовится коронация Счастливчика, все страшно озабочены его рейтингом, против него интригуют Плинтус и Мэр, с одной стороны, и Роткопф, с другой. Плужников становится деятелем сопротивления, за которым охотятся «Блюдущие вместе».

Как и «Красно-Коричневый», это роман о сопротивлении режиму, но «если „Красно-коричневый“ был романом военно-политического сопротивления, то к сегодняшнему дню эти силы абсолютно иссякли и я могу уповать только на чудо, явление среди нас русского праведника».

Москва упивается пышными празднествами — коррида, матч «Спартак — Реал», балет «Лимонов», съезд глав Большой Восьмерки. В финале с небес спускается крейсер «Москва», сбивает космический челнок «Колумбия» с членами G8, спасает город и забирает Плужникова, который до этого побеждает Колосса Московского, гигантского церетелиобразного человека, в котором собралась вся сволочь, от Счастливчика (в голове) до разного рода политологов (в чреслах).

Мы разговаривали о том, каким образом события политической жизни — от гибели «Курска» до газетной утки о том, что литератору И. Кормильцеву якобы заказано либретто для балета «Лимонов» — утилизируются художником, преобразуясь в романную ткань. В сущности, о чем будет следующий роман Проханов, можно прогнозировать примерно за два года.

> «Мы живем, конечно, — на этот раз Проханов решил заложить широкий вираж, — в огромном недостатке природы. В городе природу заменяют вот эти останки

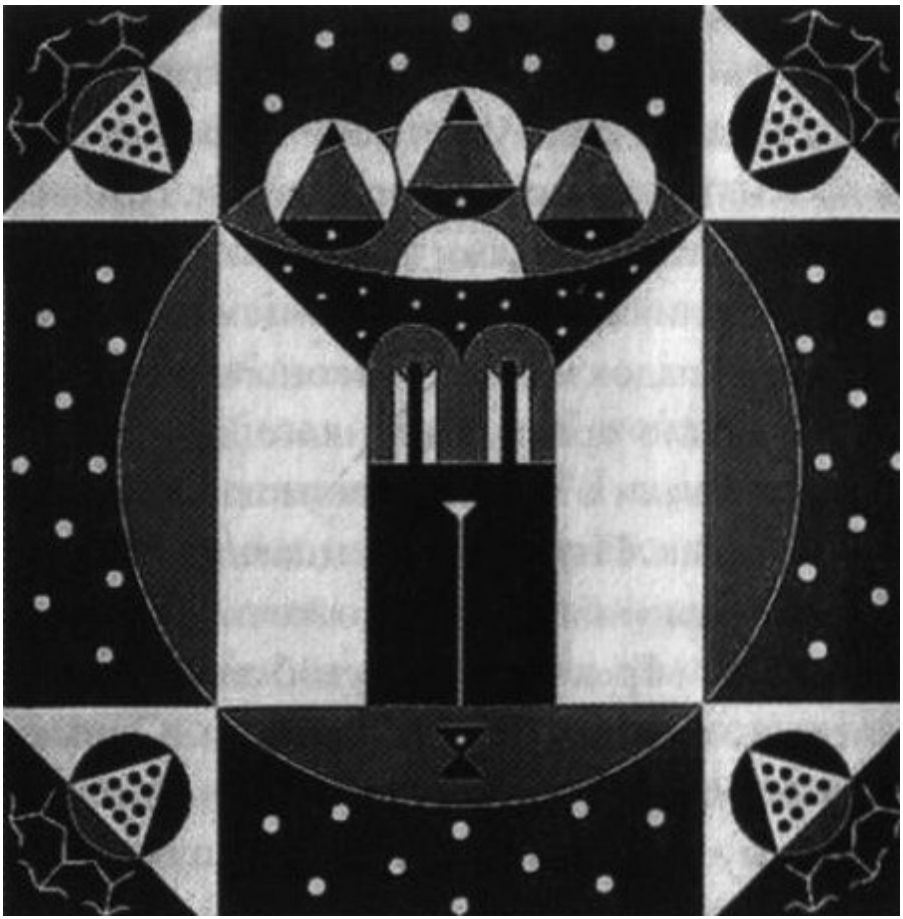
> среды, трэш, обломки, в том числе информационные, такие однодневки, сиюминутно возникающие. Я думаю, что писатель работает на останках, на обломках среды, информационного поля, втягивает их в огненную мартену своих переживаний, чтобы они там на мгновение сверкнули и превратились в пламя. На „Запорожстали“ я видел мартену — открытый гигантский зев в стене, полный красной слюны, с красным огромным языком, и туда, где все булькало, бурлило, хлюпало этой расплавленной белой сталью, туда кидали обломки машин, танковые пушки, изуродованные комбайны, остатки старых мостов. И вся эта ржавчина, мерзость превращались в белое ослепительное пламя. Видимо, человек, работающий на сиюминутном мусоре, избавляется таким образом от него и питает свой безымянный огонь, мартену. Есть задача уничтожить эту отвратительную, мерзкую и сиюминутную среду и, с другой стороны, дать ей измерение вечного. Ты как бы раскочегарил себя до температуры плавления стали, и все, что туда ни кинешь — труп Ельцина или капитель от храма Афродиты — все будет восхитительно».

«Крейсерова» — первый целиком «галлюцинаторный» (другими словами, гротескный, сюрреалистический) московский роман Проханова. Внимательный читатель этого автора вообще вряд ли имеет основания пожаловаться на дефицит диких сцен, но эта книга, безусловно, в состоянии удовлетворить самые специфические интересы. Особенно ярко выписаны в романе несколько битв: малевичевский «Черный квадрат» с «Чашей» Поздеева, американские горки — с горками ленинскими, и космический корабль «Колумбия» — с небесным крейсером «Москва». На мой осторожный вопрос о том, почему он решил применить свой талант баталиста в сатирическим романе, он отвечал: «Поскольку я изверился в способность политических организаций создать альтернативную политику, я вынужден был прибегнуть к метафизическим способам сражений».

— Что это за картина «Чаша», которая бьется с «Черным квадратом»? И Белосельцев в «Гексогене» тоже с ней встречается.

— А это гениальный художник Поздеев, знаете его? Это ваш минус, только неандерталец, конечно, не знает, кто такой Поздеев… Это гигант, я без иронии говорю, он, видимо, ведет свою культуру, свое творчество с 20-х годов, но если те «двадцатники» были абсолютно урбанисты, то у него много

русской мистики, очень много евангельски-библейского, сибирского староверческого, старообрядческого. В своих работах он эволюционировал от восхитительного русского импрессионизма к абсолютной абстракции, кубизму такому упрощенному. Он родом из Красноярска, это человек красноярских столбов, Енисея, природы огромной сибирской. Его замалчивают, весь этот андеграунд наш сучий, они не брали его в свою компанию. Но в центре Красноярска ему установили памятник, прямо на тротуаре: бронзовый интересный старик. И у меня был период обожания, восхищения им, как Платоновым. И я его противопоставляю, его абстракционизм абстракционизму Малевича.



«Чаша» Поздеева.

— А как выглядит сама эта картина?

— Сама картина представляет собой набор геометрических фигур, где угадываются и чаша, и весы, какие-то балансы. Очень русское такое. Много от Петрова-Водкина, все сведено в

состояние гармонии цвета, формы и вот этого символа. Это не черный квадрат, фигура абсолютно одинокая и одномерная, а более сложное, более дифференцированное явление. Поздеев поднялся до такого уровня постижения абсолюта или Бога, что больше ему было не дано понять, и он изобразил его в виде почти абстракции, почти равновесной абстракции. Потому что божество не имеет ни формы, ни цвета, ни имени, ни названия, ничего. Бога изобразить невозможно, но при приближении к постижению его, конечно, исчезают формы, исчезает борода, исчезают глаза, и возникает оптика и равновесие объемов.

Эпизод драки между «Чашей» и «Черным квадратом» — всего лишь один из странных моментов «Крейсеровой сонаты». Отчет о явлении праведника, это еще и сатира на времена, которые вот-вот прервутся апокалипсисом. В эсхатологическом фарсе задействованы едва ли не все участники информационного поля, от Путина до Анпилова: сотни персонажей. Чем все они занимаются? «Между иностранными ослами и олигархами сновали бесцеремонные карлики, писклявые и насмешливые, избравшие предметом своих нападок министра экономики Греха, нетерпеливо ожидавшего начало оргии. Карлики щипали его, забирались в карманы, вытаскивали оттуда слипшиеся карамельки, монетки, трамвайные билетики. Пытались насыпать ему в ширинку нюхательный табак, плевали вишневыми косточками и всячески досаждали. Из вежливости Грех терпел неудобства, вежливо улыбался, прощая маленьким человечкам их проказы. Однако незаметно изловил одного, служившего когда-то при дворе короля Артура. Ловко оторвал ему голову и откинул трепещущее тельце в кусты чайных роз».

Разумеется, все имеет свои объяснения: эпоха, когда политическая жизнь полностью профанирована и превращена в управляемый фарс, требует соответствующего произведения. Но записывать босхианскими уродцами каждый сантиметр картины, не оставлять пустоты вообще? В романе столько лишнего, что толкования, связанные с «намеренной избыточностью» и «барокко», кажутся фальшивыми.

— Моим пером водил какой-то космический хохмач: рот до ушей, желтые зубы и непрерывный такой хриплый хохоток Высоцкого. Что я там набредил? Я писал эстетику распада, тело кита, выбросившегося на берег. Через неделю эта великая огромная целостность, абсолют, лопается, распадается на тысячи фрагментов и из него вылезает грандиозное количество всевозможных демонов. Я видел этих китовьих трупоедов: какие-то разноцветные жучки, перламутровые червячки, улиточки, странные птички, личинки, все копошится в мертвом тулове, и

кажется, что оно еще живо в этом копошении.

«Крейсерова соната» — любимая прохановская работа из «галлюцинаторных», «сделанных в босхианской эстетике»: «она, мне кажется более целостной, более метафизической работой, в которой исчезает обнаженная, голая политика, она закрыта этими разноцветными оболочками, кабелями, она вся сверкает, и весь роман похож на такую елку новогоднюю… Это притча, которая может быть облачена и в лубок, и в евангельский миф, и в восточное сказание».

— При атаке на балет «Лимонов» почтальонша Анна Серафимова со сцены исполнит песню «Я в роще гулял, пруточки ломал»; до того ее споет у вас сам Саровский.

— Это любимая песня Саровского в раю, записанная теми, кто там побывал, а потом вернулся на землю. В раю есть целые художественные коллективы, такая самодеятельность праведников, святых, которые исполняют очень интересные песни, много частушек веселых.

«Крейсерову» можно принять за большой фельетон, гигантскую передовицу (да и сам Проханов в ответ на вопрос, чем отличается «Соната» от большой колонки, ответит: «Примерно тем, чем отличается мизинец моей левой ноги от меня самого в целом»); и тут самое время вновь вернуться к феномену газеты «Завтра».

Безусловно, это один из самых ярких проектов в истории отечественной журналистики — и долгоиграющих, что любопытно. Здесь есть несколько очень квалифицированных — и двое-трое прямо-таки выдающихся писателей, в том числе автор книг «За Родину! За Сталина!» и «Гении и прохиндеи», запечный сверчок — и одновременно боевой питбуль — оппозиции фельетонист Бушин; это единственный человек, который на равных конкурирует в газете с главным редактором.

Главная особенность авторов «Завтра» — «балансирование на грани политической провокации». Прохановские аналитики то гоняются с плетьми за «оранжевыми», то подталкивают оппозицию к тактическому с ними альянсу, то пугают исламом, то вытаскивают из-за кулис какого-нибудь моджахеда-ваххабита в тюрбане и представляют его в качестве единственного стратегического союзника России. Сейчас, впрочем, «Завтра», по-прежнему эпатирующая читателей иконами Сталина и интервью с Чубайсом, производит скорее впечатление газеты подутихомирившейся: кто помнит «День», тот поймет, о чем речь.

Будущее — вот что более всего занимает аналитиков еженедельника. С азартом и озорством интерпретируя всем

известные события, они непременно говорят о перспективе, лихорадочно сканируют варианты, нащупывают возможные ходы, стратегии развития. Многие авторы здесь производят впечатление немного сумасшедших, но исключительно в силу конспирологического мышления, которое «обычным» газетам, в общем, несвойственно. («Конспирологичность» «Завтра», несомненно, связана с особенностями мировоззрения главного редактора: он уверен, что ничто в его жизни не было случайным, все предопределено и все имеет смысл, которому следует изумляться и разгадывать его.) Читать это на первых порах любопытно, но затем утомительно — из-за однообразия этой напористой интонации; хуже всего получается, когда сотрудники пытаются имитировать риторику передовиц Проханова.

Среднестатистическая прохановская передовица представляет собой… нет, лучше представьте себе, что раз в неделю из окошечка газетного ларька на вас выскакивает бешеное существо, брызжущее пеной и гремящее привязанными к хвосту консервными банками. Именно такое ощущение испытывает человек, покупающий газету «Завтра», открывающуюся передовицей главного редактора: полторы-две компьютерных странички текста. Чаще всего миниатюра посвящена событиям минувшей недели, но необязательно — это может быть эпизод из биографии автора, анафема какому-нибудь врагу России, гимн городу Пскову, сатирическая галлюцинация или рецензия на фильм Михалкова или концерт Хворостовского.

Можно относиться к Проханову как угодно — нахлобучить ему на голову венок Лучшего Летописца Эпохи или шутовской колпак Обладателя Неизменно Дурного Вкуса, но его компетентность в качестве историка пока что недоказуема, а вкус — неочевидная категория; непреложна лишь зрелищность аттракциона. «Стоило Собчаку умереть, как он стал распадаться на множество отдельных частей, — Хакамад, инфузорий, мафиатропов, антропофагов, путинофилов, либералококков, скуратофобов и прочих простейших».

Разумеется, 12 рублей еженедельно за этот бред выплачиваешь вовсе не из-за его оппозиционной специфики. «Ельцин поймал на крючок ваххабита», «Лукашенко — великан, Явлинский — пигмей», «Курс доллара „семь-сорок“ рухнул», — вроде бы десять лет подряд тех же щей да пожиже влей, но все равно: не надоедает. Что это — стиль? Жанр? Злоба? Беснование? Единственное, что объединяет гневные филиппики, кроткие проповеди и заунывные иеремиады, — остроумие автора. Его юмор может быть очень разным — от тонкого подначивания Путина, неосторожно отметившего в книге посетителей

Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Шикарно, как и все на Руси», до площадных острот: «Ельцин в Шуйской Чупе совсем ошуел и очупел». Этот юмор отмечает даже такой угрюм-бурчеев, как генерал Макашов, припомнивший недавно прохановское mot про «дерево-антисемит» — по поводу липы, сваленной бурей и раздавившей сходку возле синагоги; и смешно ведь. Даже в самых шизофренически-напыщенных прохановских передовицах — «По молитвам старцев сгорело Останкино» — всегда рано или поздно обнаружится ироническая подоплека: это пафос через смех, правда через абсурд. Именно этим, кстати, отличаются прохановские тексты от тех, что пишут «под него» коллеги: вроде бы тот же кимвал бряцающий, но без атмосферы остроумия звук мгновенно гаснет в вакууме. Вовсе не босхианские уродцы — главные герои этих передовиц, но, как у Гоголя, — смех. «А ведь это не общие слова, не пустые призывы, — заметил однажды про передовицы критик Бушин, — а трепещущие сгустки ума и сердца». Читая передовицы, понимаешь природу ненависти Проханова к «телеюмористам»: это ведь падшие ангелы, конкурирующие с ним существа-наоборот.

Сам жанр — «передовица» — Проханов унаследовал из советских газет, однако стилистически его прямой предшественник — поп Аввакум, также сочинитель гневных энциклик, которые до сих пор вызывают смех и считаются уникальным литературным явлением. Прохановская передовица точно такой же уникальный феномен культуры, как тургеневское стихотворение в прозе, конструктивистский шрифт или новгородская икона. Человек придумал целый жанр и написал в нем около пяти сотен текстов. Шикарных, как и все на Руси, — да, да, именно так; и тыкая пальцем в скомороха-экзорциста, почему бы не припомнить слова критика Писарева: «Где нет желчи и смеха, там нет и надежды на обновление. Где нет сарказмов, там нет и настоящей любви к человечеству».

Проханов меньше всего похож на восточного царька, но в «Завтра» процветает откровенный непотизм, немыслимый в западных редакциях. Здесь работают оба сына Проханова, Андрей и Василий. Зарегистрирована газета на Александра Худорожкова, зятя Проханова, который одновременно является кем-то вроде гендиректора издания. «В этой газете трудно установить пределы моей персоны. Она разлита по всей газете. Это персональная газета, газета вождистского типа, многие говорят, что если я уйду из газеты, газета потеряет массу своих качеств, характеристик».

— Останутся «Жили-были».

— Останутся «Жили-были» и «Душа неизъяснимая». Это будет

уже другая газета, напоминающая статую на носу каравеллы такую, с выточенными золотыми грудями. А пока на носу стоит скорее не статуя, а такой бушприт, который окован сталью и пробивает галеры и галеоны противника.

В «Завтра» очень веселые редколлегии, и особенно любопытно, что в этом веселье принимают участие люди нескольких поколений. Все происходит в кабинете Проханова, без церемоний.

Четверо отцов основателей — условно шестидесятилетние — производят впечатление занимательных московских оригиналов, на которых непременно обратил бы внимание современный Пыляев. Неброско и немарко одетая молодежь — условно тридцатилетние — все, как на подбор, хохмачи. Все начинается с комической переклички, и тотчас выясняется, что ключевых фигур, несмотря на все железные договоренности, нет и не предвидится, кто-то запил, уехал на чью-то свадьбу, что-то пообещал написать, а еще куда-то запропастился младший Брежнев. Тут же кстати вспоминают виденный на какой-то ноябрьской демонстрации транспарант — «Откопаем Брежнева — будем жить по-прежнему»; разыскивают военкора капитана Шурыгина, который рапортует по телефону, что только что вылетел в Ханкалу, чтобы с первой возможностью выдвинуться в Аргунское ущелье; вечером он обнаруживается в ближайшем ресторане с кружкой светлого. Авторы аналитических статей снабжают главного редактора политическими анекдотами, балагурят про чеченцев, пытающихся приобрести у Анжелики Варум права на песню «Ах, как хочется ворваться в городок». Тут же кто-то начинает читать Блока и Волошина — часами, очень серьезно. Проханов подхватывает. Затем все поют; ну хорошо, не совсем «затем», но вечером, а темнеет зимой быстро, Татьяна Филипповна, мисс Манипенни газеты «Завтра», приносит чаю, кто-нибудь бежит в гастроном за «нарезкой» и алкоголем, редакция поет. Поздние прохожие с подозрением косятся на открытые окна первого этажа, кто-то останавливается и слушает.

В последние годы среди читателей «Завтра» редко встретишь хрестоматийную русскую бабушку; обездоленные, разочаровавшиеся слои отошли от газеты, у них есть другие органы вроде «Дуэли» и «Я — русский». «Мы вели эту яростную борьбу, которая отнимала у нас много сил, но наполняла газету остервенением. Газета такого типа, как наша, держится вспышками ярости. Когда раздражающий фактор исчезает, она начинает увядать, провисать. Это же газета особого типа, не информационная; она замышлялась как газета-прокламация,

газета провокация, и когда обстоятельства побуждают нас на такую провокацию и прокламацию, нам хорошо, мы все наполнены гемоглобином».

Кроме пресловутых «бабушек», исчезли и другие читатели, — и Проханов отдает себе отчет в этом. «Во многом исчезла скрытая элита патриотическая, которая в 90-е оказалась пролетаризирована властью. Они ушли во власть, стали компонентами другого уклада, я думаю, что они все больше и больше читают „Коммерсант“ и „МК“. Исчезли спецслужбисты, военные постсоветской поры — а новые, пропрезидентские, у них совсем другие интересы и другие идеалы. Раньше спецслужбы тосковали по тому, что разрушился СССР, что они не смогли уберечь его от краха, а эти новые спецслужбы с удовольствием отлавливают лимоновцев. Для них красный флаг является флагом враждебным. Это люди, которые служат своему Президенту, а получают конверты от корпораций, выполняя их поручения и услуги».

Впрочем, уверен Проханов, «я знаю, что газету „Завтра“ кладут на стол президенту. Не всю газету, а выжимки…».

— Прежде всего колонки «Жили-были» и «Душа неизъяснимая»…

— Несколько раз видели президента плачущего, никто не мог понять, откуда эти слезы. Но я вижу качество слез, и сразу могу сказать, какую рубрику он прочитал.

С другой стороны, газету читают и недоброжелатели; «я думаю, половина наших интернет-заходов из Израиля».

Как главный редактор представляет себе типичного читателя? «Типичный читатель очень похож на меня. Человек, по-прежнему увлекающийся серьезной политикой, но не впадающий в экстатические, часто шизофренические состояния, свойственные нам в 90-х годах. Все, кому нравятся передовицы газеты „Завтра“, — мои читатели. Я думаю, своей экстравагантностью они нравятся и молодым людям, которые могут вовсе не разделять мои убеждения, хотя я думаю, что у молодых людей убеждения все меньше и меньше значат, у них все больше значит форма, в которой эти убеждения излагаются. Значит, это человек, повторяю, может быть патриотических представлений, достаточно эстетизированный, достаточно толерантный, сканирующий спектр патриотических чаяний и представлений, спектр, в котором присутствуют и красные аспекты, вплоть до радикального — не анпиловского, а лимоновского толка, и правые, православные катакомбы, радикальнее Патриархии, альтернативная, ищущая, огненная православная Россия, которая

скептически относится к тяжеловесным золотым иерархах, ко всем этим официальным водосвятиям. Такой синтетический тип человека, он чрезвычайно распространен в нашем обществе. Ты ходишь в майке с Че Геварой, с большим православным крестом, читаешь „Financial Times“, запускаешь китайского змея, с большим интересом относишься к тибетской медицине, но при всем этом твой портрет пишет князь Илья Глазунов».

У Проханова были иллюзии, что «Крейсерова соната» — которую он задумывал как «оруэлловскую аллюзию» и которая должна была появиться в период думских-президентских выборов 2003–2004 годов — станет событием не только литературной, но и политической жизни. Вместо этого гвоздем сезона стал «Диггер» Трегубовой, а «Соната» у тех, кто все же прочел ее, не вызывала ничего, кроме неприязненного недоумения. К счастью, обошлось без судебных исков, и едва ли потому, что это художественное произведение, не подпадающее под юрисдикцию судебных органов. Основные персонажи «зашифрованы» — и даже встречаются со своими прототипами: так, про Плинтуса сказано, что при встрече с Примаковым он не снял котелок. Но есть основания предположить, что Проханова просто никто не воспринял — ни всерьез, ни даже в шутку.

Александр Андреевич был уязвлен, что в битве за звание политического бестселлера его шедевр всухую проиграл журналистской поделке. Реваншист по природе, он в частной беседе с Г. Зюгановым предложил использовать для продвижения романа ресурс КПРФ — благодаря чему партия, по его мнению, могла бы приобрести дополнительные очки. КПРФ, испытывающая острейший кризис идей, который через год приведет ее к предложению своим сторонникам рассылать антипутинские SMS, уже тогда готова была хвататься за все что ни попадя. За что ни попадя — потому что, думаю, даже такие широкомыслящие члены КПСС, как С. Л. Доренко, едва ли согласятся назвать «Крейсерову сонату» типичной партийной литературой.

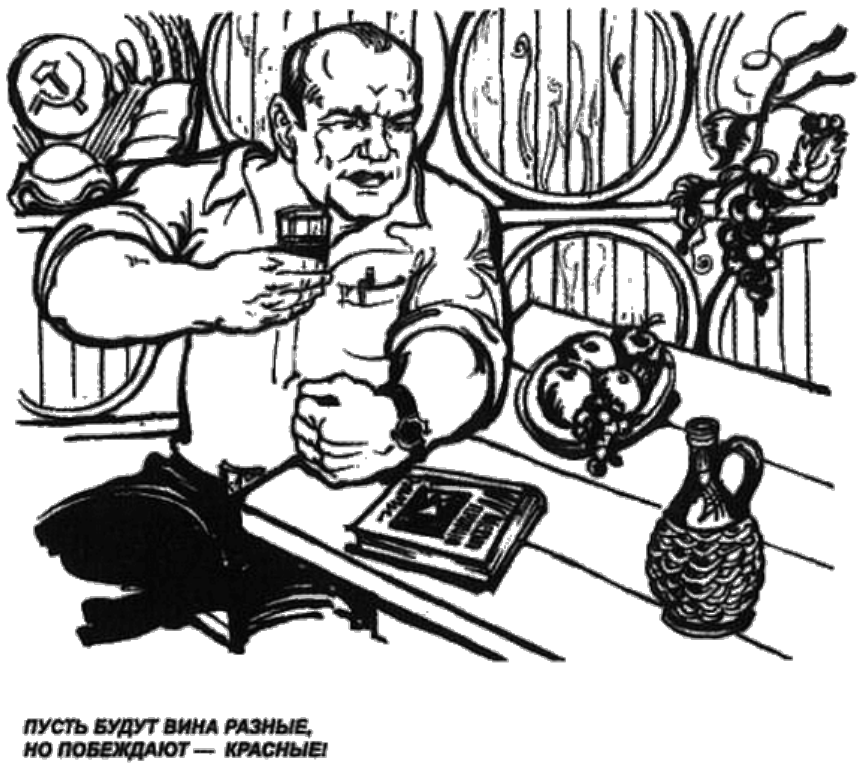
25-го августа 2004 года Зюганов публикует статью «Еще раз о „партийной литературе“».

В результате лидер КПРФ несколько раз засветился в газетах и на телевидении, но на популярности романа — нулевой, к сожалению, — это никак не сказалось. «Сегодняшнему контингенту компартии это не по зубам, — с горечью комментирует Проханов. — Они не справляются даже со своими

текущими задачами».

После «Господина Гексогена» он начинает переделывать свои старые романы, «подмалевки», и они переиздаются в апдейт-версии, один за другим, опять, как и во времена критика Матулявичуса, создавая иллюзию конвейерного производства.

Язвительная Анна Козлова упоминает о «12 романах в год» — и ведь это ближе к литоте, чем к гиперболе. Достаточно сказать, что за то время, пока я лихорадочно строчил эту книгу, Проханов под сурдинку, совмещая писательскую деятельность с журналистской и политической, сочинил и издал не то четыре, не то шесть романов, не меньше чем по 600 страниц каждый.



Зюганов, читающий Проханова. Иллюстрация из газеты «завтра».

Не очень понятно, где проходит граница между понятиями «писатель» и «писатель, пишущий слишком много», но интуитивно кажется — в данном случае это мнение общественности, — что Проханов перешел эту границу и приобрел, особенно в нулевые годы, несколько анекдотическую репутацию, похожую на ту, которой обладали русские

литераторы-графоманы допушкинской эпохи Хвостов и Бобров. Соответственно, именно с писательской плодовитостью связано мнение о том, что Проханов — графоман: будучи не в силах переварить так много текста и понять, каким образом можно сочинить все это, общество предпочитает третировать автора.

Ненасытимый аппетит на письмо, почти анекдотическая плодовитость; разумеется, это никоим образом не уникальные особенности Проханова. Брат Пруста Робер писал, что его (Марселя) читателю надо сломать ногу или заболеть воспалением легким, чтобы получить временную фору, достаточную для освоения таких объемов.

Думаю, хуже всего придется текстологам, подрядившимся составлять ПСС (Полное собрание сочинений) Проханова. Включать ли «подмалевки»? Как быть с обычными и с отредактированными М. Котоминым изданиями? «Последний солдат империи»-1 (с Аввакумовым) и «Последний солдат»-2 (с Белосельцевым) — это одно и то же произведение? Как быть с многажды перепечатываемыми очерками? «Фантомные тексты» — якобы существующие прототип «Надписи», «исчезнувшая „Свадьба“» и «роман о Даманском»?

Одна из главных проблем, связанных с Прохановым, даже не политические его взгляды, а инфляция слова: слишком много, и все время дополняется, нет конца этой массы; девальвируется неизбежно, даже самое прекрасное. Другое дело, непонятно, чья это проблема: не успевающего читателя или не теряющего в качестве Проханова? Да, классический кризис перепроизводства; но что значит «слишком плодовит»? Удивительно, насколько на поверку все это оказывается неплохо. И есть ли «инфляция воды после плотины»?

Факт тот, что журналисты стали интересоваться его биографией, и у него образуется что-то вроде пластинки, которую он с удовольствием ставит всем желающим.

«А хотите я в орденах приду?» — это звонят из малаховских «Пяти вечеров». Они не верят своему счастью: «Вау». — «Могу принести с собой мумию незаконнорожденного сына Ленина». Пауза. «Как не знали? Да-да, от Инессы Арманд. Такой мм-м… маленький, с кудрями, очень похож. Не хотите? — напрасно, очень эффектно будет, если я его достану непосредственно в прямом эфире, из портмоне. Ну все, договорились, буду», — я много раз присутствовал при том, как его звали на всевозможные телешоу; он никогда не отказывается и, раз уж согласился, охотно

лезет в кузов, сам проявляя инициативу. Есть странная ирония в том, что Проханову, которому не удалось прорваться в Останкино на макашовских грузовиках, звонят оттуда по пять раз на дню с просьбой осчастливить студию своим присутствием. Трудно вспомнить ток-шоу, в котором он не побывал и где бы не продемонстрировал свой талант импровизатора, особенно в гневе, когда он начинает фонтанировать в состоянии аффекта. Он понимает, что на эту аудиторию речь воздействует не логикой и смыслом, а эмоциональной насыщенностью, образными комплексами, с размытыми лексическими значениями. Похоже, сначала он ходил туда, чтобы способствовать популярности газеты, но когда выяснилось, что телевидение и газета никак не соотносятся, стал таким образом просто развлекаться это род скоморошества.

Характерно — особенно для человека, чьи проекты преобразования государства называются «симфониями» — звучит его рассказ о том, как он оказался гостем программы «Оркестровая яма». «Была ли это вершина или преисподняя успеха: я спустился в яму, в бездну, в яму телевидения. Как можно было свалиться в оркестровую яму? Я получил приглашение от этого очаровательного человека, божий одуванчик, Варгафтик, человек, который похож на сверчка, музыкальный критик с нежным сентиментальным голосом. С одной стороны сидят такие артисты, всякие скрипачи, с другой стороны сидят, скажем, игроки на рояле». «Тут надо понять прелесть этого необязательного жанра, социологии современной музыки, которую Варгафтик воспринял как какое-то откровение. Я им объяснил, что удар террористов по „Норд-Осту“ был осуществлен потому, что мюзиклы — это музыка среднего класса, который является опорой режима и, по существу, уничтожая средний класс, террористы вырывали основы из-под путинского строя. Затем — что в филармонию ходят в основном люди с советским прошлым, когда классика культивировалась сверху, и теперь эти люди ходят потому, что именно они одни сохранили вкус к этой музыке, но и также для того, чтобы, оставаясь в атмосфере элитарной классической культуры, показывать всему этому богатому быдлу, что они как бы нищие плотью, но возвышенные духом. Затем — что существует музыка секонд хэнд, исполняемая Кобзонами бесконечное количество раз, музыка на потребу вчерашним лимитчикам и сегодняшним наемным рабочим новых корпораций. Существует музыка гранатометов — это протестная музыка подполья, запрещенные огненные группы. И существует настоящая элитарная музыка. Но элитарной музыкой не является музыка Башмета или там Спивакова.

Элитарная музыка — это музыка таинственных сложных биотехнологий (тут Варгафтик открыл свои оленьи глаза), когда снимаются музыкальные показатели с мутированной клетки или с больного сперматозоида, и когда выстраиваются целые симфонии из тех звучаний, которые производят, скажем, отделенная от организма печень, помещенная в физиологический раствор, или химический эмбрион, соединяющий человека с овцой или с рыбой, вот там пишутся эти великолепные симфонии, и что в моем представлении вот эти экспериментальные музыканты своими нотными синусоидами, по существу открыли геном человека. Варгафтик был в полном восторге».

Проханов из тех людей, которые всегда «в своем репертуаре», и, как видите, репертуар этот довольно разнообразен, но при этом однороден. Биография Проханова — история про человека, который, позволяя себе самые невозможные эксцентриады, все делает «как надо», всегда ведет себя достойно — в стране, которая, по существу, не предполагает от своих граждан такого поведения. Именно поэтому у него такая репутация — и такой останется. Это человек, который при любой власти будет немного диссидентом, человек, который своим существованием опровергает коронный довод либералов: тезис о том, что «свобода» не нужна, навязывают «народу» те, кому это выгодно, кому есть что терять. Проханов, с его талантами, мог получить от любой власти все что угодно. В 1991-м он отказался. Он уже несколько раз оказывался героем чужих романов, и, можно предположить, что если бы некий литератор взял его в персонажи «альтернативной истории» — о том, к примеру, как обстояли бы дела, не развались СССР в 1991 году — то Проханов был бы там диссидентом.

Александру Андреевичу заказывают тексты в журнал «AD»; он берет интервью у Ксении Собчак для Rolling Stone; у него персональная программа на «Эхе Москвы». К середине нулевых возникает ощущение, что еще чуть-чуть и кончится тем, что, несмотря на закручивающиеся гайки, ему предложат самому вести на телевидении какое-нибудь ток-шоу. Он, разумеется, не осмеливается поверить в это: «я могу участвовать только в рамках, как фрагмент. Я понимаю, что во мне есть нечто экзотическое, я такая заморская специя, которой посыпают пресные куски — поп-звезд или какого-нибудь упитанного моралиста». «Мне это не интересно — быть политкорректным. Если б я делал передачу, я бы превратил ее в какой-нибудь бурлеск, где, скажем, о конфуцианстве беседовали бы Волочкова

и Макашов». «Телевидение — это шарага, которой надо отдаваться целиком. А моя энергия убывает. Потом, конечно, задача — эллинская, патрицианская — достойно встретить закат и сумерки. А мои телевизионные эскапады, они все-таки несколько скандальны».

У Проханова достаточно захватывающая биография, чтобы простого перечисления событий хватило на книгу; но мне хотелось, чтобы это была не просто «жизнь», но «жизнь и мнения Александра Проханова» — потому что даже его телевыступления не позволяют усомниться в том, что перед нами один из самых интеллектуально одаренных людей своей эпохи, и его соображения по тем или иным вопросам могут представлять интерес не только для его приватных собеседников.

Собственно, один из секретов его привлекательности в том, что он — человек, имеющий оригинальное мнение по любому поводу. Можно спросить о чем угодно — в худшем случае услышите хорошую остроту, в лучшем — развернутую конспирологическую версию интересующих вас событий. Позвоните Проханову (телефон узнать нетрудно), представьтесь корреспондентом любого издания и скажите, что хотите получить комментарий про… Дешевый способ получить дорогую информацию.

Если сам Александр Андреевич вполне доступен публике, то между прохановскими книгами и читателями существует непроходимая стена. В этом — прежде всего — смысле он похож на своего британского предтечу, которого один из критиков назвал «The Kipling That Nobody Read». В сущности, это даже не стена, а целая фортификационная система, состоящая из отдельных линий. Диффамация — политическая и стилистическая. Объем его произведений — производящий впечатление неприступности. Журналистская деятельность, которая — ошибочно! — путается с писательской и якобы является достаточно репрезентативной, чтобы позволить себе пропустить его крупные произведения. Цель этой книги — не снести все эти укрепления (это не нужно, потому что и в них специфика проекта «Проханов» тоже), но пробить в них брешь и провести экскурсию по тысячекомнатной анфиладе, занимающей внутреннее пространство крепости «Проханов».

В мае 2005 в Ad Marginem выходит книга, оформленная подозрительно аскетически: черный параллелепипед, на котором выбито одно — красное — слово. Это «Надпись»; и многие из тех, кто удосужились с ней ознакомиться, называют ее лучшим

романом Прозанова.

Опытный в островах охотник, Проханов умеет загарпунить читателя хорошей завязкой: его герой видит, что вокруг основания купола Ивана Великого вьется какая-то надпись, в которой объясняется все: устройство вселенной, смысл жизни, формула бессмертия. Но просто так ее не прочтешь — для этого надо подняться над Москвой и трижды облететь колокольню.

Роман «Надпись» есть что-то вроде продукта конверсии — это беллетризованная автобиография, про конец 60-х годов, где объясняется, каким образом начитанный московский юноша превратился в денщика Главпура — ну или русского Киплинга.

Михаил Коробейников, автор наивно-фольклорной книги, свой человек в богемно-диссидентской среде, яркими репортажами в «Литературной газете» завоевывает себе имя и становится вхож в салоны, где за коктейлями интеллектуалы из партии и КГБ нащупывают вектор развития советского строя. Одним из коробейниковских заданий становится поездка на Жаланашколь — второе после Даманского место, где СССР в 1969-м столкнулся с Китаем.

В случае «Надписи» дистанцией между героем и автором можно пренебречь. Коробейников — Проханов периода превращения из «романтического этнографа» в пламенного государственника.

Несущие сваи романа — экзальтированные коробейниковские репортажи, гимны армии, целине, стройиндустрии и ВПК: я — мост, я — комбайн, я — баллистическая ракета, я — авианесущий корабль. Молодой автор, восхищенный технотронной цивилизацией Советов, растворяется в ней, отождествляет себя с шестеренками мегамашины. «Я, самоходный комбайн СК-4, заводской номер 275201, с размером жатки 4,1 метра, с пропускной способностью…».

Коробейников, как Сатурн лунами, окружен своими двойниками, и каждый экспонирует ту или иную идеологию, в чем-то близкую протагонисту: фашист Саблин, либерал Марк Солим, православный мистик отец Лев, коммунистический футуролог Шмелев, партийный конформист Стремжинский, подпольный писатель Малеев, диссидент Дубровский, художник Кок, сотрудник андроповского КГБ Андрей. По отдельным признакам можно понять, что события «Надписи» относятся к началу 1969-го, но на самом деле в романный отрезок сплющены события лет пятнадцати прохановской жизни.

Это никоим образом не «роман с ключом», то есть зашифрованные воспоминания, однако у многих персонажей романа есть прототипы: Стремжинский — Сырокомский, Шмелев

— Пчельников, отец Лев Гусев — Лев Лебедев, Солим — Слоним, Саблин — Артур, внук Василия Ивановича Чапаева, Малеев — Мамлеев, Дубровский — Домбровский, Приваков — Примаков, Гришиани — Гвишиани.

По словам Александра Андреевича, у романа любопытная предыстория. Роман, похожий на «Надпись», он создал еще давно, до Афганистана. «Я его отнес в „Знамя“, где у меня уже были публикации, но еще не наступил тот ошеломляющий год, когда там вышли два романа за год. Там ко мне относились очень хорошо. Я его положил на стол. И там работала Наталья Иванова — моя будущая язвительница, и вместе с ней работала такая дама по фамилии Мороз. Они прочитали этот роман и написали на него жуткую, зубодробительную рецензию. Основные упреки — славянофильство, тема отца Льва; они били его с точки зрения нормативного соцреализма. Мало того, через несколько дней после этой рецензии, отвергавшей возможность публикации, один из патронов литературы по линии КГБ подсел ко мне в ЦДЛ, мы выпили, и он сказал по ходу: да, Александр Андреевич, я, говорит, зашел к своему приятелю — смотрю, на столе у него лежит рукопись романа вашего. Я спросил — дайте почитать, я хорошо знаком и люблю этого писателя. И я прочитал — ну, Александр Андреевич, не надо печатать этот роман, совершенно несвоевременно.

И я потом этот роман забросил на антресоли, и до сих пор там лежит, я его не открывал. И этот роман я написал заново, конечно, многое не так, иначе, и главный герой там технократ, а не писатель, но такой роман написан… То есть ему предшествует уже написанный мной роман».

— Как роман мог оказаться в КГБ?

— Как? Может быть, ответственный секретарь журнала почувствовал неладное, решил донести. С точки зрения тогдашней политкорректности роман не влезал ни в какие ворота и попахивал литературным диссидентством. Или могло быть другое, более мягкое: страшась публиковать этот роман и пускать его даже в цензуру, он решил посоветоваться с кураторами — можно ли? Может, это сделал сам ответсек, царство ему небесное. Каким-то образом, может, это связано с Натальей Ивановой…

— Вы зачем мне это рассказали?

— Я льщу себя надеждой, что это сделала Иванова. Мне почему-то хочется думать, что она могла это сделать. Потому что критика этого романа была сделана с точки зрения советских нормативов. Он был антисоветский, если смотреть по этой рецензии. Наверное, это было не так, но мне страшно бы хотелось, чтобы это именно Иванова притащила этот роман в

Комитет. Уж слишком она ненавидела советскую власть, уж слишком голосовала за Ельцина: такое ощущение, что она сжигала досье на себя. Но это не более чем домысел.

Разумеется, такого рода «домыслы» невозможно транслировать, не предоставив слово второй стороне. Злой гений Проханова Наталья-«Невеста Букера»-Иванова принимает меня на Малой Бронной, в своем просторном рабочем кабинете замглавного редактора журнала «Знамя». Идея книги о писателе Проханове явно кажется ей донельзя нелепой, но она скрывает свой скепсис под любезной улыбкой лисы Алисы. Проханов для нее — скверный писатель и «нерукопожатный человек». Что, кстати, она имела в виду, когда написала это? «Я имела в виду, что когда человек пропагандирует человеконенавистнические, кровавые взгляды и призывает к расправам, в том числе и со мной, то я такому человеку руки подать не могу. Или даже по телефону одной из моих знакомых он говорил, что вы будете все висеть на фонарях, правда, все это было сказано в начале 90-х — но вот я, в начале двухтысячных, никак не могу сказать, что желаю, чтобы Проханов висел на фонаре».

Когда он стал нерукопожатным? «Существуют пределы, которые переходить нельзя. Что касается афганской войны, то, что он писал о ней, о Никарагуа, о так называемых „горячих точках“, я так понимаю, это было связано с его общей системой взглядов — в том числе и на жизнь и на смерть, не только на войну. Для него убийство было эстетическим актом, которое он так или иначе препарировал в своих текстах — и не только убийство человека, но и убийство животного, скажем, убийство коровы. Для меня, в принципе, такого рода взгляд на жизнь — отталкивающий. Поэтому когда от любования храмами и описания красот русского пейзажа он перешел к такого рода „поэтике насилия“, мне кажется, с этого момента с ним что-то начало происходить, не только как с художником, но и как с человеком.

Что касается идеологической нерукопожатности — то, конечно, с афганской войны».

Я пересказываю Наталье Борисовне прохановские воспоминания о том, как она якобы писала на прото-«Надпись» внутреннюю рецензию. Она ведь писала на него внутренние рецензии?

— Никогда!

— Давайте я вам расскажу. Это роман про 60-е годы; он якобы попал к вам, вы якобы его завернули как идеологически несоответствующий, потом через две недели он оказался на столе

у офицера КГБ. Значит ли это, спросил я у Проханова, что Наталья Иванова имеет отношение к КГБ, и он сказал — вряд ли, конечно, но он бы очень хотел, чтобы так было.

Иванова смеется:

— Знаете, я никогда в жизни не была в КГБ. У меня был роман о 60-х годах, его написал Руслан Киреев, и я предприняла все для того, чтоб его напечатать тогда в «Знамени», он назывался «Подготовительная тетрадь». И если говорить об этом, такого эпизода с Прохановым я просто не помню. Если я и пыталась завернуть его романы, то связанные с войнами, с горячими точками, но и то у меня… я не помню, я вам клянусь. Что-то было напечатано в «Знамени» помимо меня, но он нравился Кожевникову. Это был мой конфликт с главным редактором.

— А как вы заворачивали?

— Я никак не заворачивала. Я не писала внутренние рецензии. Я выражала свою точку зрения на редколлегиях. Это у него в голове, что Кожевников передал Гроссмана, а Иванова передала Проханова? Потрясающе!! Ну, в суд подам. Потому что этого не было и быть не могло.

Удивительно, насколько Коробейников, типичный вроде бы рефлексирующий интеллигент из книги Вайля и Гениса о 60-х, выламывается из всех представлений о шестидесятниках («В карнавализованном обществе 60-х самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы»). В «Надписи» дан принципиально другой, инсайдерский взгляд на этих людей, чья общественно-политическая жизнь не ограничивалась чтением переводного Хемингуэя и хоровым исполнением Визбора.

Отличие «Надписи» от прочих прохановских текстов в том, что это роман, не создающий миф, а, напротив, демифологизирующий; вместо монолитного «либерального» мифа о «застойных» 70-х нам предлагаются «огненные репортажи» из разных культур этого времени.

«Надпись» — атлас идеологий 60-х, времени, в котором программировалось далекое будущее, и когда Коробейников, прогуливаясь однажды вокруг бассейна «Москва», вдруг увидит в небе жуткое слово «Самсунг», это не покажется анахронизмом: одна эпоха, как яйцо иглу, содержит в себе другую.

Удивительно, кстати, что роман сошел со стапелей в мае 2005-го — месяц столетия еще одного государственного писателя: в «Надписи» есть важный эпизод, когда Коробейников оказывается на приеме в Кремле и видит там Шолохова. Наблюдая в одном кадре генсека и писателя, Коробейников

понимает, что по-настоящему масштабный художник, служа государству-молоху, в состоянии сохранить независимость, работая на паритетных условиях. «Надпись» — роман про движение Проханова в сторону Шолохова, про генезис государственного писателя. Сильной личностью оказывается не тот, кто возненавидит мегамашину и начнет мстить за обиды, нанесенные поколению отцов, но тот, кто, зная об опасности, заключенной в мегамашине, все равно пойдет служить ей, поскольку только она в состоянии обеспечить низкую температуру в холодильнике с вирусами, территориальную целостность страны, сбережение этноса и воскрешение отцов.

Прототип Елены из «Надписи». Лубок работы Проханова.

«Надпись» — роман методологически синтетический: традиционалистский и модернистский одновременно; с несколькими натуралистичными и пародийными сценами, но, явным образом, умеренный, без эпатажа. Почему он вдруг написал почти целиком «без галлюциноза»? «Есть вещи, мне казалось, скажем, бабушка, ее смерть, купание… все родовые вещи, их нельзя описать в виде бурлеска. Они требуют святого, канонического отношения, подхода». «Надпись» бесконечно далека от «босхианских» текстов Проханова — «Гексогена», «Последнего солдата», «Крейсеровой» и «Политолога»: это традиционалистская реалистическая вещь крупной формы в духе «поколения сорокалетних» образца 1979 года, построенная по Достоевской полифонической схеме. По «Надписи» можно учить литинститутских студентов композиции, а впрочем, это, конечно, типичный роман Александра Андреевича — с многоярусными, как злокачественные кисты, абзацами, мучающими однообразным ритмическим рисунком и маразматическими повторами, с экспрессионистскими описаниями полуобмороков главного героя, изумляющегося загадке собственного существования («Надпись» — московский роман, а Москва всегда действовала на прохановских героев как опиат, вызывающий галлюцинации; в «Надписи» легко обнаружить характерную для писателей, имеющих отношение к «русскому ордену», «тему русско-еврейского соперничества за русскую женщину» (термин Ник. Митрохина) — Коробейникова и Марка Солима за Елену; нельзя сказать, что роман сильно проиграл бы от того, что инородное происхождение елениного мужа не было бы подчеркнуто); но вообще-то, все эти мелкие читательские неудобства так же незначительны, как вагонная тряска при путешествии по Транссибу.

Как и всякое жизнеописание, «Надпись» — да и «Человек с яйцом» — стремится объяснить, как герой распорядился своей жизнью.

Но не только. Отличие Проханова от большинства прочих «замечательных людей» в том, что он распорядился ею не просто «странно», «не так, как все» — но, некоторым образом, эталонно; и знакомство с его способом жить могло бы намекнуть, как распорядиться своей жизнью кому-то еще. Возможно, правильно было бы построить книгу о Проханове по образцу ален-де-боттоновского «Как Пруст может изменить вашу жизнь» — называя конкретные практические преимущества,

предоставляющиеся читателю Проханова, не вполне очевидные в силу значительного объема его творчества и подтвержденной мнениями многих экспертов репутации графомана. В этом случае в списке глав должны были бы фигурировать, например, следующие названия: «Как любить свою родину»; «Как поверить в государство»; «Как оценить русскую инаковость»; «Как поверить в то, что русская история не была чередой нелепостей»; «Как быть настоящим мужчиной»; «Как получать эстетическое наслаждение от того, что здравомыслящими мещанами считается безобразным»; «Как научиться презирать Запад»; «Как проигрывать, сохраняя достоинство». У книг Проханова в самом деле есть определенный психотерапевтический потенциал; они действительно способны утешить существо, которое угораздило родиться здесь и сейчас — в стране, где и так невеликое количество красоты скорее убывает, чем прибавляется, которая не использовала те несколько шансов, которые ей предоставлялись историей, у которой едва ли есть сколько-нибудь перспективное будущее и которая рано или поздно будет втянута в какой-то конфликт, где выстоять ей будет вряд ли по силам. Как раз в тот период, когда автор активно занимался этой книгой, Москва, которая — согласно необъявленному, но горячо поддерживавшемуся проекту конца 90-х — должна была стать вторым Лондоном, превратилась во второй Бухарест (или, в версии молодняка газеты «Завтра», «мы увидели, что построили большой „Макдоналдс“, а могли прекрасный храм»); так вот, прохановские тексты несколько скрашивали сомнительное удовольствие от этой трансформации. Единственная причина, по которой я не последовал по стопам де Боттона, — общий чудовищный вид этого списка: я совершенно не уверен, что человек, освоивший все вышеупомянутые навыки, в самом деле станет счастливее. Я вообще не уверен, играет ли в прохановской вселенной какую-нибудь роль такая категория, как «счастье»; счастлив ли лосось, успешно осуществивший икрометание? Скорее уж он оперирует понятиями «судьба», «доля», «участь», «промысел».

Как он, человек отживающего поколения, сформированный совсем в другой среде, ощущает себя в мире Бритни Спирс, Ксении Собчак и Мая Абрикосова? Лучше, чем можно себе представить. Он уверяет меня, что смотрел «Матрицу», «Бойцовский клуб» и еще что-то «с роботоштуками» («я обожаю спецэффекты, хотя больше мне, конечно, нравится классика, Аль Пачино»). Иногда он, правда, плутует — в интервью он высказывается о «Звездных войнах» (пересказывая журналисту

«Nobrow» Сибрука), группе «Нирвана» (предварительно проконсультировавшись со мной), Пелевине (которого якобы читал чуть ли не всего, но на самом деле, похоже, в лучшем случае пролистывал) и даже соглашается на фэшн-съемку в маске Иодо; в общем, он полностью освоился в этом мире, хотя бы и с фальшивым паспортом.

Все эти вопросы можно было задавать себе до какого-то момента. После ноября 2005 года, когда журнал Rolling Stone вышел с обложкой, рекламировавшей героев номера: «БОНО — ПРОХАНОВ — ЧЕЛОВЕК-ПАУК», вопрос следует ставить уже иначе: каким образом он сделался частью этого мира — между Боно и Человеком-Пауком? Как этот мир поглотил его и не подавился?

Некоторым образом ощущениям от пребывания в дивном новом мире посвящен роман «Бой на Рио-Коко», переделанный «И вот приходит ветер», где никарагуанская линия переплетается с московской. Сюжет современных глав состоит в том, что Белосельцев передвигается по Москве, посещая «места с повышенной концентрацией зла», в том числе стрип-клуб «Распутин», гостиницу «Орленок», бюро ритуальных услуг, салоны игровых автоматов и проч. Таким образом, он как бы собирает чемодан компромата на дьявола и одновременно «гасит это зло, переводит его энергию в энергию добра, с ее помощью творит воскрешение», что бы это ни значило. Не мудрено, что в конце концов этот в высшей степени сомнительный план проваливается, более того, Белосельцев, кажется, сам стал «дьяволородицей». Факт тот, что до того он, к счастью, успевает сочинить семь текстов (подозрительным образом совпадающих с очерками, которые Проханов печатал в «Завтра»): «Город золотых унитазов» (о рублевских особняках), «Московский Вавилон» (о столичных рынках), «Красная ласточка революции» (о пикете КПРФ и «Трудовой России» перед Думой), «Тюрьма-матушка» (о женском следственном изоляторе в Печатниках), «Меж люлькою и гробом» (о московских крематориях и кладбищах), «Псков земной и небесный» и «Дух дышит, где хочет» (о мусорных свалках и полях аэрации).

Нынешняя Москва, которую он, в общем-то, проглядел, пропустил, занимаясь политикой, для него — другая планета, которую он, когда есть время, исследует едва ли не систематически. «Эти годы, начиная с 91-го, я был погружен в свой раскаленный красный кипяток, где сгорали, вываривались и исчезали остатки советского, великого советского. И эти тонкие наслоения нового уклада были мне либо не интересны, либо

импульсивно враждебны. Но, по мере того как мой кипяток остывал, эти тонкие эссенции превращались в заметные флюоресцирующие потоки, я к ним приглядывался как к чему-то очень для себя интересному, новому, загадочному и не слишком опасному — и теперь довольно часто я совершаю экспедиции к ним».

Куда именно? «Например, я совершаю экспедицию в гей-клуб. Беру с собой провиант на несколько суток, альпеншток, аптечку, руководство, как обращаться с аборигенами, всевозможные разговорники, ищу, где есть переправы через реки. И двигаюсь туда. Такие экспедиции я совершаю повсюду: и в огромные супермаркеты, и в казино, и в новую гедоническую молодежную среду…»

Я видел Александра Андреевича на одной «гедонической» свадьбе, и он явно чувствовал себя не в своей тарелке; очень сомневаюсь, что он в самом деле был когда-нибудь в гей-клубе.

— И что же с вами происходило, например, в казино?

— Ну, несколько раз проигрывал, потому что я не умею играть.

— Во что вы играли?

— Блэкджек или игральные автоматы. Мне хотелось услышать звяканье этих механизмов, я их эксплуатировал. В этих местах знакомился с девушками, барышнями. Приятно было сесть за стойку бара и угостить каких-нибудь красоток, лица которых были сделаны на таких, видимо, металлургических заводах. Они были покрыты тонкой металлической пыльцой, алюминиевой пудрой, сверкающей золотыми, серебряными блесками, такие лица-маски. Мне доставляло удовольствие с ними посидеть, поболтать, пококетничать.

— Вы ходите сейчас по таким заведениям?

— Мало хожу, но я все равно вижу эту новую Москву, езжу по ней на машине, я восхищаюсь ею, посещаю те места, которые мне не известны, новый уклад я раньше не видел, не знал, и все это мне интересно — ночные клубы, дискотеки.

— Что вы там делаете?

— Что делаю? Что все делают: зайду туда, поужинаю, потанцую, какую-нибудь барышню сниму, в джакузи посижу…

В «Бой» не вошел лучший, наверное, прохановский очерк последних лет — «Игорный дом», напечатанный в «Завтра» в декабре 2001 года. Это история про Москву, напичканную игровыми автоматами, и людей — жертв этих машин. В который раз Проханову удалось «поймать метафору современности»: игральный автомат. Москва — игорный дом. Конец очерка сюрреалистический: игрок сам превращается в автомат, к

которому подходит чеченец, владелец зала, рассматривает новинку, не понимает, откуда она взялась, и прочитывает загадочную надпись: «Гонконг»; больше, чем на странную дзенскую шутку, это похоже на приговор Москве.

Также он рассказывал мне, как недавно «посетил супермагазины, мимо которых постоянно проезжал на автомобиле в течение последних лет, куда у меня не было времени заглянуть, потому что у меня не было необходимости обставлять свою новую стокомнатную квартиру итальянской мебелью». Как ему пришло в голову зайти туда? «Я ехал, по приглашению МПО „Энергия“, на завод Хруничева, одно из святилищ советской военной экспансионистской техники и науки. Все эти гигантские заводы, технократические храмы с охраной, за семью печатями, со сторожевыми вышками, секретами, были святилищами советской цивилизации. Я посетил три или четыре подобных центра, они все деградировали, там нет заказов, стоят недоделанные ракеты, этот несчастный трагический „Буран“, который они даже вывезти не могут, окаменел и превратился в какой-то реликт советского угольного периода. И меня охватила тоска, тоска человека, который так или иначе участвовал в создании этого огромного величия». Пребывая в ипохондрическом состоянии духа, на обратном пути он обратил внимание на гигантские храмы торговли, «капища товаров, которые вырастали по всей кольцевой дороге в туманах, сварке, как огромные мегаполисы». Они выгодным образом контрастировали с заводами им. Хруничева — «угнетенными, обезлюдевшими, с печальными руководителями, утратившими свою вальяжность и орденоносную вседозволенность» — и он решил узнать, что там внутри.

— Вы взяли тележку?

— Нет, я поставил свою машину на стоянке и двинулся к стеклянным огромным пузырям, летающим тарелкам, соединенным надувным городам. Я бродил по этим кристаллическим структурам, которые переходили друг в друга, и можно было просто войти в пузырь с одной стороны, и, двигаясь, по стеклянному кишечнику, пройти тысячи километров и выйти где-то у экватора. (Похоже, он описывает посещение ТЦ «Гранд» на Ленинградке.)

— Что вы приобрели там?

— Мне ничего не хотелось купить. Я подхожу к магазину не как к месту совершения покупок, а как к огромному музею современной цивилизации. Мои путешествия в эти новые уклады чисто познавательные. Я чувствую себя Гумбольдтом, который

исследует народившуюся планету. Как правило, делаю это для того, чтобы потом реализовать в своих новых писаниях. Какое количество глаз, например! Рыбий глаз, бычьи глаза, овечьи, свиные, я не удивлюсь, если увижу там человечьи глаза с остатками моноклей. Или — бесконечное разнообразие кресел. Какое же количество задниц, с каким, видимо, количеством потребностей, с какими утонченными диспропорциями этих задниц сталкивается рынок, что он создает такое гигантское количество кресел. Бесконечная вариация на одну и ту же тему — вот самое загадочное явление последних времен.

Его персонаж фашист Саблин из «Надписи», оказавшись в голландском супермаркете, испытывает то же изумление перед «разнообразием форм, в которые облекался один и тот же товар. Это перепроизводство, навязчивое изобилие, умопомрачительная избыточность порождали болезнь. Психика не выдерживала материального натиска, разрушалась, агрессивно реагировала на безудержное множество. Саблин с ненавистью смотрел на витрины, понимая, что они предназначены отвлечь его от насущного поиска, замаскировать своим блеском, формами то ничтожно малое отверстие, в которое желала проскользнуть его жизнь». Ненависть Проханов заботливо зарезервировал для своего полубезумного героя, но можно предположить, что нечто подобное испытывает к этим храмам потребления и автор.

2005-й, кроме прочего, был годом, когда специфически его темы и способы письма — Чечня, роман на злобу дня, «левый поворот» — в смысле, социальная ответственность и имперский патриотизм — стали общеупотребительными: если не в Кремле пока, то в литературе и обществе. Литература переварила, наконец, его тяжелые вещи. После «Надписи» его уже гораздо реже в открытую называют аутсайдером и графоманом. Несколько молодых писателей самозабвенно присягают ему на верность, припоминая, что читали его с детских лет. Он резко расширяет ареал своего обитания, став, например, штатным фактически, обозревателем «Эха Москвы» (и реклама в программах с его участием продается влет). Но буквально три-четыре месяца спустя «Надпись» заштриховывается другим романом — и тоже прохановским.

Весь роман «Политолог», странное дело, воспроизводит сюжет антониониевского фильма «Blow-up», где фотограф, многократно увеличивая снимок, замечает на нем мертвеца. То же и в «Политологе» — главный герой, политтехнолог Стрижайло,

скрупулезно анализирующий политический ландшафт, тоже обнаруживает в кустах труп — но не чей-то конкретный, а труп Человека вообще.

Увлечение футурологией Фукуямы и генной инженерией, новый статус — главного телебуффона от оппозиции в кремлевских и либеральных СМИ и переживание нового витка политической деградации, в том числе из-за украденной Кремлем идеологии оппозиции, зачистки Ходорковского, полное разочарование в КПРФ и ставка на рогозинскую «Родину» — вот из чего выкристаллизовался «Политолог».

В Михаиле Львовиче Стрижайло узнается вовсе не политолог С. Белковский, как втемяшилось почему-то всем комментаторам, а карикатурный автопортрет самого Проханова — похожая профессия, похожая биография, то же помешательство на Пскове, похожая коллекция «фетишей», в которой, правда, вместо гильз и фляжек — трусы и бюстгальтеры любовниц, и даже день он начинает с газеты «Завтра», которую читает, «чтобы лучше понять левопатриотические настроения». Как и Проханов в последние годы, он нарасхват — за него бьются лидер КПРФ, президент корпорации «Глюкос», опальный лондонский олигарх и, наконец, директор ФСБ. В «Политологе» есть то, что критик Золотусский в свое время с очаровательной неуклюжестью называл «отрицательной энергией самообнажения». Это не то что палинодия главного редактора «Завтра» (за что ему, собственно, каяться?), но анализ вслух собственного рентгеновского снимка: не подсел ли он на Останкинскую иглу, не слишком ли далеко зашел в своих политических альянсах?

Сувенир, который сам Проханов называет «Слеза Ходорковского».

Как и все прохановские герои последних лет, Стрижайло — челнок, курсирующий между десятками планет: он посещает светские рауты и телешоу, а в промежутке таскается на свидания к своей невесте рыбе палтус, которая прохлаждается в рамсторовском рефрижераторе; это и политический триллер, и мистический раек; десятки голов романа расползлись по огромной территории — но это одно существо, которое единственным напряжением мышц может сгруппироваться в компактную огневую точку, — и вот в конце роман смыкает кольца и предстает клубящимся Пифоном.

Конец — это бесланские сцены: Стрижайло, разглядев на своей «фотографии» тревожащую точку, производит финальное фотоувеличение — и отправляется 1 сентября в Осетию, чтобы оказаться в спортзале школы № 1. Проханов так крупно показывает то, что происходило, потому что там убивали не только конкретных людей — но, по его мнению, Человека вообще, человека как особый биологический вид, человека христианской эры, чтобы расчистить пространство для нового постчеловеческого андроида, продукта генных технологий тайных

лабораторий ФСБ. Именно это символическое «перекодирование человечества» — реализованный здесь и сейчас проект будущего из книги футуролога Фукуямы. «Наше постчеловеческое будущее» на пороге и есть «романная ситуация» «Политолога»; роман не просто летопись только что закончившегося 2004 года с его ренационализацией ЮКОСа и Бесланом; речь о свершившейся биотехнологической революции — о почти свершившейся, отсроченной благодаря Стрижайло, который ценой жизни помешал «перекодированию».

В мае 2006-го Проханов крутанул штурвал сильнее прежнего — и, похоже, «Теплоход „Иосиф Бродский“» протаранит-таки мол, за которым укрывались от иронии скептиков самые преданные его читатели — чтобы, затонув, надолго стать рестораном-поплавком, где будут проводиться конференции на тему «Проханов — графоман».

Это раньше он клепал реалистические романы «с галлюцинациями», сейчас Проханов не столько сочинил роман, сколько записал на 600 страницах свой сон, в котором «реалистического» — то есть действительности в ее типических чертах — столько же, сколько в кольриджевском сне о Кубла-хане. Из Москвы в Петербург отплывает теплоход «Иосиф Бродский», на котором политики, олигархи и челядь из культуры справляет свадьбу угольного магната Франца Малютки и светской львицы Луизы Кипчак. Главный герой — глава президентской Администрации Василий Есаул — узнав о том, что его шеф отказывается идти на третий срок, лавирует между кишащими на судне врагами России, пытаясь сохранить власть во что бы то ни стало. Пока на «Бродском» элита закатывает оргии и общается с духом нобелевского лауреата, под Воркутой погибают несколько шахтеров, один из которых превращается в ангела-истребителя; прорыв под землей лаз, он выныривает в Исакиевском соборе, чтобы отомстить либералам, геям и американцам за все, что они сделали с его родиной. Тем временем скрывающийся в Петербурге от преследований газеты «Завтра» «писатель Проханов», побеседовав еще с одним ангелом, отправляется на Васильевский остров, где, прислушиваясь к внутреннему голосу, записывает стихотворение Бродского «Ни страны, ни погоста…»

Сразу следует сказать, что в масштабе 1:1 это гораздо чудовищнее, чем в пересказе; роман, по сути, состоит из бесконечных описаний половых органов, «изысканных» блюд и цветовых галлюцинаций. Это даже не сатира уже — потому что сатира обличает негативные явления действительности, а тут химеры и горгульи, и все. Удивительная вещь для Проханова —

который всегда превосходил конкурентов именно остротой приметливого журналистского глаза. «Теплоход», такое ощущение, написал слепой, у которого остались только воображение, память и идеи. Писатель не стал разыгрывать даже самую очевидную карту — водный маршрут Москва — Петербург. Герои просто плывут по абстрактной Волге, натыкаясь на курьезные анклавы вроде чеченской и китайской деревень или генерала Макашова, бьющего в набат на затопленной колокольне. Это сугубо визионерская вещь, где вместо деталей — символы, вместо логических связок — причудливая агглютинация сна, и ни о каком правдоподобии речь не идет. За голову хватаешься уже когда понимаешь, что главный герой — Василий Есаул — гибрид, держитесь, Игоря Сечина, Владислава Суркова, Дмитрия Козака, Александра Проханова и Александра Руцкого: менеджер-силовик, изворотливый политический модельер, патриот-государственник, империалист, пророк, близнец и антипод Бродского, военный летчик, сбитый в Афганистане и распятый в плену моджахедами. Не спрашивайте, как такое может быть: это сон, и самое время взяться за его толкование, чтобы понять, с какой стати Проханов взялся его пересказывать.

Карикатура из газеты «Дуэль».

У романа, на отделке которого автор хорошо сэкономил, есть, однако, настоящая боеголовка. Изданный 5000-м тиражом, «Теплоход», на самом деле, адресован трем-четырем читателям. «Иосиф Бродский» — ужасно неуклюжая попытка всучить перспективным фигурам из президентского окружения — сечину-суркову-козаку-медведеву — барашка в бумажке, политический аванс, вовлечь их в свою орбиту. Если перевести провокационный месседж витиеватого романа на вульгату, то получится вот что: «Ребята, Путин вот-вот уйдет и сдаст вас — ну так ответьте ему тем же, если не хотите отправиться в Гаагский трибунал. Продолжив политику восстановления империи, вы не потеряете свои должности, яхты и нефтяные компании, но спасете Россию от либерально-еврейского Антихриста, сбережете народ и заслужите вечную славу». Рисуя Есаула силовиком-интеллектуалом, Проханов предлагает своим колеблющимся политическим партнерам ролевую модель, соблазняет их — и проповедует. «Вот та грязь, в которой вы пребываете (сексуальные оргии), вот те, кто растерзает милую Россию (евреи и американцы), вот то, кем вы можете стать (Сталин)». Я, говорит он, снабжу ваш проект идеологией, обеспечу вам миф: героическую биографию — и место в истории. Я инвестирую в вас свою великолепную фантазию и свою безупречную кровь, привью вам лучшие, избранные гены — полковника-афганца, художника-последнего-солдата-империи. Я сделаю из вас, менеджеров-временщиков, былинных героев. Я достаточно квалифицированный соловей Генштаба, чтобы защитить вас от ястребов Пентагона.

Карикатура из газеты «Дуэль».

Из «Теплохода» можно набрать таких цитат, что за Прохановым начнет охотиться «Моссад»; но едва ли можно обвинять Проханова в подсудном — и даже зоологическом — антисемитизме: призывах к этническим чисткам или чему-то подобному. В сущности, «Теплоход» — вовсе не анафема евреям, но предложение о партнерстве, подход делового человека: работайте в своем направлении, мы будем — в своем, и, будьте уверены, если каждый исполнит свое предназначение, мы

непременно обнимемся на Страшном суде, где ваш Бродский станет автором моего «Красно-коричневого», а я, Проханов, выведу на чистом листе его «Ни страны, ни погоста…» — чем, собственно, и заканчивается этот роман, безобразно неполиткорректный, но не расистский, нет.

Если бы не злополучный «Теплоход „Иосиф Бродский“», автор этой книги так и писал бы ее, соревнуясь с героем в долгожительстве: но после моей рецензии на этот роман, где несколько раз было произнесено слово «графомания», Проханов перестал со мной разговаривать. Ну, может быть, не вовсе перестал, но, во всяком случае, мне дано было понять, что я переступил некую черту, и на этом наши с ним отношения — которые я, рискуя показаться наивным, мог бы назвать теплыми, — закончились. Нет худа без добра: где-то надобно ставить и точку.

Эккерман, биограф Гете, обычно начинает свои эпизоды с указания на восхитительную простоту своего общения с поэтом: «Обедал у Гете». «Сегодня прожил подле Гете несколько прекрасных часов». Мои часы, проведенные рядом с Прохановым, несмотря на то что он исключительный рассказчик, неиссякающий генератор идей, образов, шуток и метафор, не были прекрасными — я выходил от него страшно изнуренным. Нет, он никогда не позволял себе разговаривать со мной менторским тоном — если ему и хотелось акцентировать мою неосведомленность, наивность или филистерство, то всегда он делал это крайне иронично; он умеет подтрунивать так, чтобы собеседник не чувствовал себя обиженным. Но даже просто слушая его и практически не вступая с ним в беседу, от него сильно устаешь, испытываешь физиологически ощутимое чувство его интеллектуального превосходства. Рядом с ним всегда горячо, он как вулкан, пышущий жаром, солярис, огромный мозг и память, — и иссушает тебя; раздумывая об эффекте, который производит на окружающую действительность его присутствие, я вспомнил о нашей псковской поездке — тогда я увидел, как рядом с ним в буквальном смысле на глазах замерзала, смерзалась, створаживалась в лед вода; да ведь этот человек — машина, которая перерабатывает, преодолевает текущее состояние любого материала, попадающего в его поле.

В последние годы я не раз и не два ссылался в своих текстах на романы и мнения Проханова, несколько раз я писал заметки апологетического характера о нем самом, но не думаю, чтобы

меня можно было квалифицировать как — возьмем наиболее утрированный вариант — «прохановского прихвостня». Я никогда не голосовал за его романы на «Нацбесте», не гулял на его презентациях; в газете «Завтра», бывает, печатают мою фамилию едва ли не в проскрипционных списках. Я всегда воспринимал Проханова с симпатией, но не более того.

По мере возможности я старался сверять сказанное им с другими источниками. Более того, я из кожи вон лез, чтобы раскопать в его биографии что-нибудь в духе главы «У Тихона» из «Бесов» Достоевского; по правде говоря, мне ни разу не удалось поймать моего собеседника за руку. Однажды — последняя надежда — я проник на сайт «Компромат. ру», клондайк для предприимчивых правдоискателей. Наиболее порочащим материалом из тех, что там обнаружились на соответствующую фамилию, были стихи «Насадил на штык я ваххабита» из газеты «Завтра» 1999 года.

Честно говоря, теперь мне даже кажется, я затрачивал на усилия по сохранению дистанции слишком много энергии. Возможно, впрочем, так у книги появляется шанс стать объективной.

Этот шанс невелик — хотя бы потому, что, я уверен, Проханов не был со мной вполне искренен. «Каковы шансы у самого опытного биографа, что объект его внимания, взглянув на автора будущей книги, не вздумает разыграть его?» — задает себе вопрос барнсовский герой в «Попугае Флобера». Может оказаться, что все сказанное клиентом следует воспринимать с известной поправкой на его неусыпную дипломатичность и жовиальный характер. Во всяком случае, я почти уверен, мне ни разу не удалось застать Александра Андреевича в стопроцентно естественном состоянии. Он всегда позировал — разумеется, без фиглярства и с достоинством. В принципе, как и у всех журналистов, у меня были все возможности отредактировать наши интервью в самом невыгодном для него свете, но менее всего мне хотелось выставить ослом человека, который, сам того не осознавая, был для меня тем, кем аббат Фариа был для Эдмона Дантеса.

У Проханова в «Последнем солдате империи» есть один персонаж — некий инженер Тараканер, участник проекта запуска космического челнока «Буран», крайне скептично настроенный ко всему советскому, неутомимый хохмач. Сцена заканчивается тем, что «Буран», в самом деле, возвращается кишащим космическими тараканами; это знак Белосельцеву, знак того, что скептики, тараканеры, выели сердцевину советского проекта. Тараканер — может быть, самое омерзительное существо, созданное фантазией

Проханова (сделаем вид, что мы не замечаем антисемитских коннотаций этой фамилии; в конце концов, он был бы не менее отвратительным и с фамилией Тараканов); его скептицизм кажется не просто неуместным, а почти кощунственным. Вообще-то Проханов никоим образом не является любимым моим писателем; если уж на то пошло, вместо безумных фантазий о свиданиях с рыбой палтус я бы с удовольствием прочел новый роман того же Барнса, все написанное которым есть эффектная демонстрация того, что не следует доверять ничему — фактам, эмоциям, предрассудкам, да даже и метафорам. Вот и к Проханову я всегда относился с иронией — да и сейчас отношусь, однако до известного предела. Дело в том, что общение с Александром Андреевичем — и знакомство с его произведениями — некоторым образом учит тому, что зона действия скептицизма имеет свои ограничения; что иногда он неуместен, адекватен пошлости, безвкусице. После такого введения самое время приступить к разъяснению того, о чем дальше, похоже, уже не имеет смысл умалчивать — раз уж автор этой книги не собирается коротать остаток жизни в компании тараканеров.

Боюсь, тому, кто возьмется рассуждать о Проханове, чьей конституирующей чертой является, как мы видели, феноменальная способность к Творчеству, к созданию новых материальных и духовных объектов, придется рано или поздно прибегнуть к термину «Дух». Что такое «Дух», — который дышит, где хочет, как часто напоминает нам Проханов, — в его понимании? Пожалуй, не столько христианский Дух, сколько — способность материи к развитию, к самопреодолению, импульс к переходу в качественно новую, более сложно организованную стадию, некая потенциальная энергия, творческая энергия мироздания. Это Дух, который самонаправляет развитие. Развитие в прохановском мире есть благо; любое изменение, ведущее к преодолению противоречий, свойственных текущей стадии, и подъему на новую ступеньку лестницы развития, есть прогресс, в гегелевско-шеллинговском смысле, поскольку в конечном счете ведет к абсолютному торжеству Духа.

Интенсивнее всего Дух проявляет себя через людей творчества. По-разному. Через одних Дух закрепляется на достигнутых позициях, интерпретирует уже свершенное, тестирует материю на наличие скрытых противоречий, сканирует на разрывы и лакуны — и штопает их в пожарном порядке, заполняет лоскутами материи.

Другим людям творчества поставлена задача преодоления. Это их усилиями человечество преобразуется, штурмует новые ступени все той же лестницы. Этим орудиям Духа некогда

выявлять противоречия и копаться в причинах, которые их вызвали, в психологии отдельных индивидов и целых коллективов — им надо преодолевать, приводить материю к новому состоянию. Разумеется, за счет этого «некогда» они теряют нечто.

Проханов яркий представитель класса «штурмовиков». Американский философ К. Уилбер, систематически исследующий то, где и как дышит дух, предпочитает называть таких людей, являющихся инструментами духа, мудрецами: «Я думаю, что мудрецы — это и есть вершина эволюционного развития. Я думаю, что они — лидеры движения самопреодоления, которые всегда выходят за пределы того, что было прежде. Я думаю, что они воплощают в себе само стремление Космоса к большей глубине и более широкому сознанию. Я думаю, что они представляют собой луч света, мчащийся на свидание с Богом».

Если отложить микроскоп, перестать фиксировать отдельные изъяны и попытаться охватить прохановскую биографию одним взглядом, мы увидим, что вся деятельность этого человека обусловлена импульсами, совокупность которых можно назвать программой, заветом, составленным Духом. Человек есть то, что нужно преодолеть. Природа есть то, что нужно преодолеть. Смерть есть то, что нужно преодолеть. Консервативное общество есть то, что нужно преодолеть. Несовершенный политический строй есть то, что должно преодолеть. Обстоятельства — какими бы они ни были — есть то, что должно преодолеть. География (расстояния/климат/пространства) есть то, что нужно преодолеть. Стиль — тоже то, что нужно преодолеть. Если лестница развития существует, то по ней надо подниматься, преодолевать текущие состояния и творчески конструировать новые миры. Это не рацио, это инстинкт.

Этим инстинктом — и этой миссией, возложенной Духом — все и объясняется: поступки, «графомания», эстетические предпочтения, политическое кредо.

Что касается «графомании», то тут лучше всего держать в уме прохановское соображение (или даже афоризм) о том, что «стиль — результат великих неудач художника». Как можно это интерпретировать? Как признание в неудаче — или как открытие, что стиль — это инструмент преодоления?

По существу, история Проханова-писателя — это история о «преодолении стиля» — сначала хемингуэевского, потом набоковского, потом «советского», потом новорусского-вседозволенного — всегда сильными методами, «фольклором», «авангардом» сначала и «галлюцинозом» потом.

Его, кажущееся обывателю анекдотичным, экстенсивное письмо, безудержное писательство, стремление моментально «закатать в роман» все что ни попадя — есть, по сути, инстинкт преодоления хаоса наличных явлений, инстинкт переработки частиц низшего порядка в более сложно организованные системы, инстинкт создания конструкции, движения, развития, перевод слов/информации из одной стадии в другую, не идеальную, но более высоко организованную, отвечающую более строгим требованиям. Просто «события», факты истории, пусть даже самые курьезные, в его иерархии — это частицы низшего порядка; не закатанные в роман, не переработанные, они — ничто, не преодолевший себя материал, не имеющий, по сути, ценности. Чтобы извлечь из него энергию, его нужно преодолеть, переработать.

Пресловутая «энергетика» прохановских текстов, в которой ему не отказывают даже самые скептичные эксперты, как мы видели, не сводится ни к оригинальным метафорам, ни к «галлюцинозу», ни к впечатляющему богатству тезауруса, ни к универсальной эрудиции автора, склонного оперировать терминами и метафорами из гуманитарных и естественных наук — геологии, естествознания, медицины, агрономии и инженерии, ни к словосочетаниям вроде «ионизированная плазма» и «контакт с биосферой», употребленным вне свойственного им контекста. «Энергетика» — это заложенная в стиле способность к самопреодолению.

Генетически прохановская «энергетика» связана с прохановским «конструктивизмом», конструктивистским восприятием материала: он сам обнажает техническую основу и функциональность своих творений, не стесняется экономить на отделке — ради того, чтобы добиться выработки максимального количества энергии. Любимая цитата Проханова — из Корбюзье: «Дом — комфортная машина для жилья». Прохановский роман — машина (не слишком комфортная, увы) для преобразования материи, комбинат, преодолевающий наличное состояние материала — словесного, исторического, идеологического; плотина, куда нагнетается некий природный, собранный в ходе многочисленных разведок материал, с тем чтобы переработать его в новое состояние и извлечь из него энергию. Не случайно любимые объекты Проханова — плотина, ГЭС, АЭС, искусственно сооруженные перегородки, созданные для того, чтобы, одолев природную инерцию, заставить материю работать, выжать из нее энергию. У него даже Курский вокзал описывается как «плотина из стекла и бетона, дрожащая от давления, в бурлящих водосбросах толпы». Такой же плотиной является и писатель,

который нагнетает в текст поток слов и явлений, чтобы затем выработать из них энергию. Слишком толстые романы? Слишком монотонные синтаксические конструкции? «Ющенко ужасен. Засыпан холерными отметинами. Укушен… Обмазан…» Ну так чем больше слов, чем мощнее поток — тем больше энергии, тем больше шансов преодолеть уже достигнутое и известное; безусловное благо в его системе ценностей. Дух дышит где хочет, и в передовице про Ющенко тоже.

Что касается эстетических предпочтений Проханова — наугад вспоминаются кишащие экскаваторами котлованы, конструктивистская архитектура, фольклорный примитивизм — то такой почти эксцентричный выбор также связан с присущим ему представлением о том, что мир, в том числе его наличная, нынешняя красота — это тоже объект не просто эстетического любования, но и то, что нужно преодолеть. Проханов — ярко выраженный наследник — точнее, последыш — советского модерна 20-х годов; его уверенность в том, что у человечества есть некий общий проект, и в необходимости изменения текущего состояния человека и мира — отчетливо модернистская. Красота сама по себе, желающая только законсервироваться в наличном состоянии, — опять же, наугад: викторианской Англии, киплинговского поместья — не имеет в его системе ценности; красиво лишь то, что страстно хочет себя преодолеть. А «просто-красота», желающая только законсервироваться в наличном состоянии — мертвая материя, оставляющая Проханова равнодушным. Это объясняет его кажущееся посторонним абсурдным предпочтение отечественной природы открыточным европейским пейзажам, русской азиатчины — западному орднунгу.

С «текущей» точки зрения у скептиков всегда найдутся предлоги дисквалифицировать его как «плохого писателя», а то и «графомана». Да, со стороны все эти его попытки «закатать» и «преодолеть» могут казаться нелепыми, смехотворными, несдержанными — у здравого смысла на этот счет есть множество диктумов, вплоть до «поспешишь — людей насмешишь» и проч. Однако если смотреть на мир не с точки зрения сегодняшней, синхронной, а «из завтра», — то именно такие экземпляры человеческой породы представляются наиболее ценными, поскольку они подталкивают человечество к самопреодолению и, соответственно, к развитию.

Проханов — тот тип, что порождается российскими просторами, которые, по мнению философа Федорова, служат

переходом к космической шири; бесконечная повторяемость отечественного ландшафта способствует появлению интеллектов, ищущих, как преодолеть это однообразие метафизически, какой смысл заложен в отсутствии здесь всякой структуры, почему рациональный подход пробуксовывает, — и уловить божий промысел, касающийся их самих. Зачем я здесь? — в сущности, это самый частый вопрос из тех, что задают себе прохановские герои — гораздо чаще, чем вступать ли им в партию и нужно ли вторгаться в Афганистан. Затем — отвечают они всей своей деятельностью, — чтобы зафиксировать полноту этого мира и творчески преодолеть ее. Почему может быть интересна его биография? Потому что это не только история на тему «как может быть», «русский эксцентрик» — а «как должно быть», «русский извод Духа-в-действии».

Герой этой книги — один из тех людей, которые оправдывают «эту иррациональную страну»; он живой пример того, как можно перемолоть и утилизовать ее агрессию и безумие, как экспонировать масштабы, оригинальную фольклорную традицию и перспективы футурологии таким образом, чтобы очеловечить их, сделать привлекательными для потребителя (до глобализации надо, наверное, было говорить «для маленького человека»). У писателя М. Шишкина в романе «Венерин волос» Россия называется Негритянским островом: потому что все здесь обречены, как в считалке про десять негритят. Так вот Проханов — та сирена, которая может заманить на этот остров одиннадцатого негритенка, посулив ему роль мессии.

Он искренне уверен, что Россия — другая, и, мало того, все прочие народы, по большому счету, идут в ад и только русские сопротивляются — потому, что в них заложены антизападный иммунитет и любовь к свету и инстинкт построить рай на земле. Отсюда советский «Красный проект», отсюда русские иконы, отсюда русский авангард, отсюда русские песни, русские березы — оригинальное сочетание энергии, дерзания, этики и эстетики. «Эта красная попытка, — твердит он, — будет воспроизведена в XXI, XXIV, XXIX веке. Потому что идеи и задачи, связанные с концентрацией, с организацией мира, с созданием централизма для выживания человечества в условиях Земли и для трансляции этой антиэнтропийной идеи в космос, остаются у человечества». Он искренне верит в то, что и у него самого есть миссия — доставить сведения быстрее, чем все его соотечественники, и тем самым препятствовать инфернализации мира. Все это может озадачивать, но факт: когда он упирается обоими каблуками, искры брызжут во все стороны, и игнорировать этот фейерверк затруднительно даже слепому.

Это мешающее, дестабилизирующее существо, ходячий очаг нестабильности, не позволяющий России превратиться в «тихую европейскую страну» — обеспечивает ей шанс на развитие. Мы обязаны Проханову тем, что благодаря ему быстрее проходим нынешнее состояние. Он — в качестве художника, писателя, политолога, телеперсонажа, по разным направлениям нащупывающего возможность прорыва где только можно — вырывает нас из лунки, увлекает вперед и вверх. Он всегда выбирает энтропию — в надежде выиграть на вспышке энергии еще один отрезок «исторического времени», потому что знает, что у государств и наций есть свой срок жизни. Это существование на грани вымирания — довольно депрессивное состояние. Автор этих строк склонен думать, что читать Проханова не просто «интересно» или «скучно»; его тексты складываются в тот психический протез, который несомненно необходим всякому обладателю российского паспорта, не обладающему таким ресурсом витальности, как сам Александр Андреевич.

Проханов, безусловно, существо особого порядка — и если вас не устраивает нейтральное уилберовское «мудрец», а словосочетание «существо особого порядка» вызывает у вас в памяти только маленьких зеленых человечков, то вам лучше самому придумать слово, как его называть (и не забудьте учесть, что, в широком смысле, преодоление есть спасение). Как бы то ни было, сейчас, когда процессы протекают в открытой форме, лучше воздержаться от аксиологических оценок — хорошо или плохо то, что он делает. Мы можем просто наблюдать и, не устанавливая счетчик, пользоваться той энергией, которую он генерирует.

В общем, мы не рискнем, разумеется, заявить, что Проханов, с его бесконечной способностью к творчеству, к конструированию, к синтезу, к созданию «амальгам», «атласов» и «симфоний» — живое воплощение Духа-в-действии; но трудно, имея представление о его биографии, не согласиться с тем, что Проханов — живой инструмент Духа.

Прохнутый и его
Пятая империя!
-Пятая точка?
Прохнов (в передаче Соловьёва „К Барьеру": „Почти всю мою семью в 37-м расстрелял Сталин...
Конечно он не предатель, предают кого-то или что-то
Рис. Рауля Еркинбаева

Карикатура из газеты «Дуэль».

Весной и летом 2006 года 68-летний Александр Андреевич Проханов больше всего напоминает себя самого тридцатилетней давности. Он опять летает по стройкам и предприятиям: только что запущенная Бурейская ГЭС, Ленинградский судостроительный, Северный трубопровод — от Вологды до Выборга.

Человек с чувством будущего более острым, чем у обывателя, он ощущает качественное изменение ситуации: военные заводы, по его мнению, опять загружены работой, запускаются новые АЭС, у России, снимающей пенки с цены на нефть, образуется новый запас прочности — и даже потенциал, перспектива, ресурс развития. По серии интервью главного редактора «Завтра» с «жрецами» — в основном, учеными, футурологами и менеджерами-оборонщиками — видно, что он все более убежден:

надир пройден. Еще год назад из-за двери его кабинета непременно доносился рефрен: «у путинской России нет никакого потенциала развития!» — если бы к нему пришел взять интервью марсианин, он бы и ему сообщил об этом. Теперь вдруг ему стало очевидно: все, что он истово высеивал на протяжении последних пятнадцати лет, не пропало — а взошло, пусть мучительно, медленно; это открытие, пусть и не подтвержденное пока более трезвомыслящими наблюдателями, преисполнило его колоссальным оптимизмом.

Одурманенный этими афродизиаками, он вновь принимается активно ухаживать за людьми в серых костюмах, в которых, кажется ему, потенциала все же больше, чем во всех прочих. Он помещает в газете свое огромное интервью с Чубайсом — не менее сенсационное, по сути, чем раньше с Березовским. Полушутя, полусерьезно, он называет себя «старцем Филофеем» — тем самым, который пять веков назад объявил, что Россия должна стать Третьим Римом. Он публикует концепцию Пятой империи (Первая — Киевская Русь, вторая — московская допетровская, ивано-грозненская, третья — петровско-романовская, четвертая — советская). Он вот-вот напечатает беседу с Сурковым (возможно, уже и напечатал: автор книги, раздраженный тем, что за 12 рублей ему всякий раз предлагают монотонный гимн кровавому режиму, перестал покупать «Завтра») — во всяком случае, дает понять, что это вопрос дней; там серый кардинал Путина должен обозначить, вскрыть их отношения, рассказать о том, кому он обязан идеологической программой.

Проханов осуществляет вторую попытку обольстить Путина. Первая, в самом начале, провалилась — тот «человек, похожий на фигурку шахматного офицера, вырезанную из слоновой кости», превратился в радугу, мыльный пузырь. «Путина раньше не было. Его клонировали, как овцу Долли. Взяли пункцию из печени Ельцина. Ввели в поджелудочную железу Березовского. Залили волшебным раствором, чей рецепт удалось узнать от тещи Глеба Павловского. Раствор состоит из щепотки гексогена, волоска ваххабита, шляпы Боярского, пуантов Васильева, перхоти Райкина, пота Карелина, слюны Аяцкова, наручников Гурова, тувинского бубна и ночной туфли Собчака, добытой методами внешней разведки». Восемь лет спустя Проханов, похоже, готов признать, что, какова бы ни была генеалогия президента, сейчас он близок к тому, чтобы, по его совету, сделаться «императором Полярной Звезды» (или из Савла стать Павлом — у Александра Андреевича, как всегда, широкий репертуар метафор и аналогий). У него, говорит Проханов, есть сейчас выбор: кануть ему в Лету —

или стать человеком истории, вторым Сталиным.

Трудно сказать, читает ли передовицы «Завтра» сам император Полярной Звезды, но в Грановитой палате безусловно прислушиваются к стуку клюки старца Филофея с Фрунзенской набережной. Судить об этом можно по косвенным, но красноречивым признакам. В 2005 году, когда Проханов заявил на «Эхе Москвы», что единственный возможный партнер для Кремля на Ближнем Востоке — «Хамас», главному редактору А. Венедиктову прислали представление в прокуратуру; с 2006-го «Хамас» вовсю принимают в Кремле. Как верно подмечено Д. Тукмаковым, либералы теперь вынуждены разговаривать на языке прохановских передовиц; и не только разговаривать, добавим от себя.

На вопрос, зачем он так носится с Сурковым — регулярно обедает с ним, созванивается, благожелательно отзывается о нем — о котором раньше высказывался весьма сдержанно, Проханов ответил, что это попытки вдохнуть жизнь в камень[12].

Но ведь?.. Ему кажется, что у него получится. Получится что? «Смысл в том, чтобы „дать этим людям энергию авангарда“». Он посылает Суркову записку по идеологии (состоящую из доктрины Пятой империи — политической, экономической, культурной, плюс приложение — «Бурейская ГЭС» и «Кораблетворение» — про Ленинградский судостроительный), и Сурков уведомляет его, что положил этот текст на стол Путина.

20 июня 2006 года выходит номер «Завтра», почти целиком состоящий из передовиц, — «Симфония Пятой империи»; похоже, не что иное, как копия записки в открытом доступе.

В принципе, не так уж важно, объявит ли кремлевский дирижер, что автор симфонии — именно Проханов, и будет ли вообще исполнено это оркестровое произведение вслух; но то, что эти ноты звучат в головах у всех находящихся в кремлевской оркестровой яме — и что, пока нефть стоит больше 20 долларов за баррель, музыка эта не смолкнет, сомневаться не приходится.

Как бы там ни было, его миссия — выполнена. Он был летописцем, он «выкликал будущее» — и он его приманил; эллипс его биографии замкнулся. Он законсервировал «семя инобытия», уберег его, снес яйцо, он его сохранил в лютую стужу, он его высидел, несмотря на то что оно выглядело как мертвая окаменелость, — и вот теперь, наконец, услышал, что скорлупа ломается, птенец проклевывается, что он жив, дееспособен и сможет существовать самостоятельно (и, разумеется, вести себя не так, как хотелось бы родителям). Жизнеописанием *этого* птенца будут заниматься совсем другие орнитологи, но уже сейчас понятно, что к его хичкоковским налетам следует быть

готовым заранее.

notes

Примечания

1

Эта злополучная часть тела вызвала в свое время пристальный интерес традиционного прохановского оппонента, главною редактора газеты «Дуэль» Ю. Мухина. Поводом стал пассаж в «Господине Гексогене»: «На солнечном дворе стояла железная кровать с пружинами. На ней, раскинув усталые руки, лежала мертвая женщина, и двое солдат насиловали голый остывающий труп. Один колыхался на женщине, двигая тощими ягодицами, другой держал женщину и босую ступню, и его глаза, не видя Белосельцева, были полны безумным солнечным блеском». «А я вот, — замечает проницательный Мухин, — задумался, почему Проханов поручил второму солдату держать труп за стопу? Это что — по Проханову — самая соблазнительная часть женского тела?»

2

Андрей, младший сын Проханова, считающий себя учеником Пчельникова, излагая мне эту теорию, дополнил ее своим не лишенным остроумия замечанием. В XIX веке у России было две беды — дураки и дороги, но в XXI веке эти две беды становятся ее главными преимуществами. Дороги — потому что Россия представляет собой сохраненное бездорожное пространство, позволяющее активировать этот скрытый ресурс, трансформировать его в «коммуникационное ложе». Дураки — потому что это ресурс инаковости, кривизны сознания, ценный в глобализованном, культурно и мировоззренчески унифицированном мире.

3

Тут надо сказать, что термин «филологический человек» в мире Проханова имеет отчетливо пейоративный оттенок. «Филологи» — это люди с метро «Аэропорт», это те, кто больше интересуются текстами, чем жизнью и отношениями людей, это Наталья Иванова и прочие Тараканеры, вылавливавшие в прохановских текстах блох и игнорировавшие их «футурологический пафос», это люди, экранирующиеся текстами от реальности, это Владимир Сорокин; нынешняя власть — власть филологических людей (не случайно министр обороны Сергей Иванов — филолог по образованию, «главком филологических войск», как любит его называть Проханов), которые «слишком много внимания уделяют лингвистике, семантике, вместо того чтобы выстраивать реальный централизм, меняют названия, имена, устраивают праздники, спорят о терминах. Губернатор Тульской области может называться хоть эмиром, но от этого оборонные заводы уже не вернешь, они не заработают. Перевесить порток с гвоздя на гвоздок — вот как это называется».

В романе «Место действия» есть эпизод, где на возводящийся комбинат приезжает устраиваться филологическая барышня, лепечущая что-то вроде: «Я разочаровалась в филологии. Филологический подход устарел. Сейчас не век филологии, а век техники» — ее не берут на работу даже после этой покаянной речи: филологические люди — никчемные существа по определению.

Архетип филологического человека — Битов: интеллектуал, способный подолгу разглагольствовать о чем-то воздушном, человеке в пейзаже, пунктирных линиях и вычитании зайца; мастер сложной, рассказ-в-рассказе, композиции. С уважением относясь к Битову, Проханов не скрывает своего неприятия коллеги, связанной с его «филологичностью». Не исключено, таким образом Проханов переживает свою неспособность держать целую книгу на одной сцене. Тогда как Проханов в каждом романе конструировал стальную башню, бахвалился взятой высотой, бравировал барочными метафорами, Битов — выращивал воздушные замки, творил легко и изящно, лавируя между подтекстами и подводными течениями. За нежелание или неумение делать это Проханова всегда снобировали «филологические люди».

4

Нельзя забывать, что коллективное пение было также одним из рефлексов молоканской, баптистской семейной традиции. В этой среде пение — а Проханов, напомним, был внуком автора 1037 духовных гимнов — всегда было излюбленным занятием. Однако, замечает историк Л. Н. Митрохин, «у них не было ни собственного Баха, ни своего Лютера. А поэтому они порой пели на мотивы популярных советских песен. И здесь начинается обыкновенный российский сюрреализм.

Мир своей душе я искал,
Но его найти нелегко.
Долго я молился и страдал,
В поисках ушел далеко.

Это „Сулико“, если не ошибаюсь, любимая песня земного советского бога».

5

В романе «Бой на Рио-Коко» (чьим «подмалевком» является роман 1984 года «И вот приходит ветер…») главный герой, генерал Белосельцев, пишет отчеты об окружающем его зле, но сталкивается с тем, что иногда у него из-под пера выскакивают непонятные строки. Приглядевшись, он узнает в них свой первый, ныне «утраченный», рассказ «Свадьба». В последней главе «Свадьба» записывается целиком — и действительно выглядит стихотворением в прозе, подлинным шедевром. Желающих ознакомиться с ним отсылаем к «Иду в путь мой»; текст этот, к счастью, не утрачен.

«Свадьба» — прохановский прототекст, яйцо, из которого выросли все его романы, и важный для него образ, или, точнее, сценарий, который он будет воспроизводить много раз; так, «Теплоход „Иосиф Бродский“», например, есть не что иное, как анти-«Свадьба», роман про сатанинскую свадьбу. Свадьба как обряд, по сути, есть мистическое соединение двух сущностей, один из этапов ритуала откладывания яйца, обрядовый эквивалент творческого зарождения, критическое сближение частиц материи, гарантирующее реализацию заложенного в них потенциала развития. Одним из главных eye catcher'ов в «Свадьбе» была «стоглазая яишня», украшение праздничного деревенского стола. Трифонов, по уверению Проханова, среагировал прежде всего именно на «Свадьбу» — так что неудивительно, что в качестве опознавательного знака Проханов взял с собой на встречу яйцо, косвенно отсылающее, в том числе, к конкретному рассказу.

6

Было бы любопытно сравнить два переработанных в текст опыта «лесного затворничества» — «Иду в путь мой» и «Между собакой и волком» Саши Соколова. Оба литератора так или иначе работают с фольклорным и «деревенщицким» материалом, но один пошел путем экспериментов с языком и формой и скептического ерничества, второй — путем экстенсивного освоения тем, поверхностной колонизации языковых ресурсов и экзальтированного энтузиазма. По сравнению с сашесоколовским прохановский текст кажется творчеством юродивого; озадачивает, однако, что интенсивная соколовская модель оказалась непродуктивной в отечественной литературе, тогда как у прохановской, похоже, больше шансов пережить своего создателя.

7

Кстати, о будущем. Пчельников и в 90-е продолжал оставаться патриотом, хотя и экстравагантным (он радовался происходящему — «сбросу этнического балласта», «разрушению все равно ни от чего не защищающей скорлупы»). Он погиб в 2001-м «мистическим образом», «тоже от машины». Все произошло почти так, как со Шмелевым в романе «Надпись», — только это не было самоубийством. «Всю свою жизнь он пел цивилизацию, механизмы, сочетание с любовью и богом, и вот машина, на которой он ехал по МКАДу, заглохла, он вышел посмотреть, залез под капот, и сзади в него врезался тяжелый грузовик. Весь череп ему разнесло… тоже такая цивилизационная смерть, произошедшая на одном из концентрических колец — Москва ему представлялась созвездием колец».

8

В «Надписи» к Коробейнику подкатывался Стремжинский-Сырокомский, но на самом деле реальное давление по этой линии осуществлял на Проханова офицер Севрук, в Афганистане.

9

Странный рефлекс этой остроты обнаруживаем в романе «Идущие в ночи», где Басаев беседует с бывшим учителем, ставшим чеченским боевиком. «Ты что преподавал? Географию? Тогда ты знаешь, где расположен эдем. Напомню — доходишь до штаба русских, кидаешь гранату и оттуда прямо вверх, не сворачивая, — пошутил Басаев, приобнимая командира и похлопывая его по спине».

10

К моменту нашего разговора Проханов переменит свое мнение о Невзорове. «Я его только теперь начал понимать до конца. Невзоров очень артистичный и эксцентричный человек. И мне кажется, что в нем эстетики гораздо больше, чем идеологии, политики. Невзоров помещает себя туда, где много энергетики. Когда началась вся эта либеральная буза, он был либералом, поддерживал Собчака: это было восхитительно, явление на взлете, на подъеме. И как виндесерфер, он помещал себя на эти волны, питался, как художник, этими энергиями. Он как никто в нашей журналистике работал на эстетике распада, не боялся показывать жуткую красоту ада: трупы, помойки, свалки, инфернальные аспекты реальности. Как только возникла энергетика сопротивления — рижский ОМОН, война, кровь, Чеслав Млынник — он перешел к тем, кто сопротивлялся. И его цикл „Наши“ — это ода сражающимся, не сдающимся остаткам советской империи. Когда он делал свои „Секунды“, моя газета и его передача дружили. Он ссылался на „День“, а мы предоставляли ему слово, поддерживали, боготворили его, создавали ему в нашей среде репутацию такого молодого гения. Он был в нашей среде до той поры, покуда она была энергоемкой. Он порвал со всем этим красным движением после 93 года, когда оно скисло, стухло. Он первым заметил это угасание, возникшую энтропию, устал от бессмысленных митингов, шествий. Ему просто стало скучно. И он кинулся туда, где он видел энергетику, к Березовскому и Лебедю. Там была энергетика больших денег, а Береза же был вулкан, он фонтанировал: идеи, связи, концепции, интриги бесконечные. И это очень импонировало Невзорову. Но и там он не прижился, потому что с уходом Березовского и он тоже ушел. Березовский обладает удивительным свойством превращать людей в камни. Авраам наоборот — из камней делал людей. А тут: кто пообщается с ним — каменеет».

11

Существует еще один печатный извод «Господина Гексогена» — в «Роман-газете», где есть и финал с радугой, и финал-финал, с погружением Белосельцева в прорубь; именно этот вариант следует использовать составителям серии «Литературные памятники». Справедливости ради следует отметить варварскую роль, сыгранную редактором романа М. Котоминым: получив рукопись с обоими финалами, он секвестировал второй. Зная, что инциденты такого рода грозят ему и впредь, Проханов выработал специальную тактику для своего редактора: «Я даже специально сейчас буду делать фальшивые финалы — если ему надо что-то отрезать».

Любопытным образом эта метафора перекликается с теми, которыми пользовался его двоюродный дед И. С. Проханов. Тот призывал «созидать духовный дом из живых камней», обещая, что Россию — это «духовное кладбище или долину сухих костей» — ждет «подлинное воскресение, духовное обновление и реформация».